МИХАИЛ ЧИЖОВ

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

МИХАИЛ ЧИЖОВ

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Жизнеописания, воспоминания и дневники выдающихся русских людей – святых и подвижников, царей и правителей, воинов и героев, мыслителей, писателей, деятелей культуры и искусства, создавших Великую Россию.

Аксаков И. С.
Аксаков С. Т.
Александр III
Александр Невский
Алексей Михайлович
Андрей Боголюбский
Антоний (Храповицкий)
Баженов В. И.
Белов В. И.
Бердяев Н. А.
Болотов А. Т.
Боровиковский В. Л.
Булгаков С. Н.
Бунин И. А.
Васнецов В. М.
Венецианов А. Г.
Верещагин В. В.
Гиляров-Платонов Н. П.
Глазунов И. С.
Глинка М. И.
Гоголь Н. В.
Григорьев А. А.
Данилевский Н. Я.
Державин Г. Р.
Дмитрий Донской
Достоевский Ф. М.
Екатерина II
Елизавета
Жуков Г. К.
Жуковский В. А.
Иван Грозный
Иларион митрополит
Ильин И. А.
Иоанн (Снычев) митрополит
Иоанн Кронштадтский
Иосиф Волоцкий
Кавелин К. Д.
Казаков М. Ф.
Катков М. Н.
Киреевский И. В.
Клыков В. М.
Королев С. П.
Кутузов М. И.
Ламанский В. И.
Левицкий Д. Г.
Леонтьев К. Н.
Лермонтов М. Ю.
Ломоносов М. В.
Менделеев Д. И.
Меньшиков М. О.
Мещерский В. П.
Мусоргский М. П.
Нестеров М. В.
Николай I
Николай II
Никон (Рождественский)
Нил Сорский
Нилус С. А.
Павел I
Петр I
Победоносцев К. П.
Погодин М. П.
Проханов А. А.
Пушкин А. С.
Рахманинов С. В.
Римский-Корсаков Н. А.
Рокоссовский К. К.
Самарин Ю. Ф.
Семенов Тян-Шанский П. П.
Серафим Саровский
Скобелев М. Д.
Собинов Л. В.
Соловьев В. С.
Солоневич И. Л.
Солоухин В. А.
Сталин И. В.
Суворин А. С.
Суворов А. В.
Суриков В. И.
Татищев В. Н.
Тихомиров Л. А.
Тютчев Ф. И.
Хомяков А. С.
Чехов А. П.
Чижевский А. Л.
Шаляпин Ф. И.
Шарапов С. Ф.
Шафаревич И. Р.
Шишков А. С.
Шолохов М. А.
Шубин Ф. И.

МИХАИЛ ЧИЖОВ

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2016

УДК 66.1(2)5
ББК 323
Ч 59

Михаил Чижов
Константин Леонтьев / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2016. — 640 с.

Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891), писатель «золотого века» русской литературы, публицист, философ, дипломат, первый и самый последовательный борец с либерализмом в России. Его творчество, политические и эстетические взгляды – арена полярных суждений и точек зрения на будущее развитие России и мировой истории. Особенно значимы его предсказания в XXI веке, когда Россия оказалась на историческом переломе, у «страшного предела». Судьбы любимой Родины и русского народа – основная тема философских и публицистических исследований Константина Леонтьева.

Книга поможет читателю овладеть нетленными принципами Константина Леонтьева: «Во времена неподвижности быть за движение, во времена распущенности – за строгость… быть аристократом при тенденции к демагогии… свободомыслящим при лицемерном ханжестве, набожным при безбожии… то есть не гнуть перед толпой “ни помыслов, ни шеи”».

ISBN 978-5-4261-0144-9

© Чижов М. П., 2016
© Институт русской цивилизации, 2016

Часть I
НЕЖНОЕ МОЛОКО МАТЕРИ

…*Именно для русской* семьи обилие и глубина религиозных впечатлений были бы необходимее, чем для семьи всякого другого племени.

К. Н. Леонтьев

Глава 1
Родители

Живое сложно и туманно.

К. Н. Леонтьев

1

«Родился и воспитан в Калужской губернии, в имении родителей своих».

«Родился в 1831 году; в сельце Кудинове».

И далее в той же «Хронологии моей жизни», из которой взята последняя фраза, следует безапелляционное утверждение: «Отец мой (Василий Дмитриевич Дурново) умер в 1833 году. Я его, конечно, не помню».

Создана эта «Хронология» в 1883 году, исправлена в 1889-м за два года до смерти и не публиковалась вплоть до первого десятилетия XXI века, поэтому среди исследователей творчества Константина Леонтьева ходили лишь невнятные слухи о настоящем отце. И вот окончательное слово самого сына, подсказанное, вероятно, матерью Феодосией Петровной Леонтьевой.

Когда мать была жива, напоминать ей о грехе поздней молодости, конечно, было неприлично. В семье же, а в ней, кроме младшего Константина, было еще шесть детей: Петр, Анна, Борис, Владимир, Александр, Александра, – об этом, разумеется, молчали. Последняя дочь от Николая Борисовича Леонтьева Александра родилась в 1822 году, и вдруг через девять лет появляется на свет у 36-летней часто болеющей матери слабый семимесячный сынок Костинька. Чей он?

К 1829 году имение Кудиново было практически разорено, младшие дети (Александр и Александра) не устроены, то есть не учились в официальных образовательных заведениях из-за отсутствия средств. Официальный муж Николай Борисович удален в тесный флигель, где и проводит остаток дней своих вплоть до смерти в 1839 году. Удаляется не по случайной прихоти жены, а по причине хозяйственной и супружеской непригодности! Сама Феодосия Петровна так описывала состояние дел в том переломном 1829 году: «…я испытала в этот год и была приведена в болезненное состояние; грусть, тоска, потеря сна, аппетита, вид детей, которые могли остаться сиротами, – все это привело меня почти ко гробу; медицинские пособия не помогали; душевный недуг подкреплял физическую болезнь». Депрессия, говоря сегодняшним языком, для сильного человека опаснейшая вещь, грозящая полным разрушением психики.

Близкие родственники в растерянности. Они часто приводят к матери детей, чтобы вид их помог ей восстановиться и действовать. Поставлены в известность родственники, живущие в других губерниях. Родной брат Владимир Петрович, командир конно-егерского полка, обещает пристроить сына Владимира, что дает Феодосии Петровне некоторое облегчение и надежду.

И вот на этом невеселом фоне полуразрушенного имения и невнятных семейных отношений появляется самым загадочным образом в Кудинове элегантный и богатый сосед Василий Дмитриевич Дурново, владелец нескольких деревень в Калужской губернии (Бекасово, Дурнево, Марково-Починок, Протасово). В интерпретации Феодосии

Петровны этот факт выглядит так: «Потом один добрый человек, имевший хорошее состояние, узнав, что имение мое подвергалось продаже с публичного торга, предложил мне внести за него следуемую сумму своими деньгами и тем остановить продажу, пока я найду средства заплатить». Акварельный портрет этого самаритянина кисти известного портретиста того времени Соколова будет украшать спальню Феодосии Петровны до конца ее дней. По описанию Константина Леонтьева: «Он в модном светло-коричневом сюртуке тридцатых годов, в золотых очках. Лицо чрезвычайно тонкое, красивое, нежное, слегка румяное; русые волосы вьются на лбу и на висках, как у всех щеголей того времени…».

Чудес на свете, конечно, немало, но абсолютное большинство их, связанных с отношениями мужчины и женщины, укладывается в более привычную и житейскую схему, далекую от сказочной. В 1829 году у Феодосии Петровны умирает ее отец, Петр Матвеевич Карабанов, в свое время выдавший ее насильно за нелюбимого человека (о чем несколько ниже). С Феодосии Петровны как бы спадает гнет той злой воли отца, из-за чего она столько лет мучилась и рожала детей, конечно же, любимых, но…

И вот не стало у нее отца-мучителя – нет и обязанностей перед ним и перед браком. Счастливый случай сводит ее с соседом – Василием Дмитриевичем Дурново. Они распознают друг в друге родственные души и влюбляются. Не случайно в другом месте своих воспоминаний Феодосия Петровна честно признается, что в 1829 году «находилась по одному непредвиденному случаю в весьма затруднительном положении в отношении к мужу моему, к его семейству, к его родным и даже к обществу…». Таким «непредвиденным случаем», что ставит замужнюю женщину в затруднительное положение к обществу и родственникам мужа, может быть лишь ее любовь и интимные, достаточно открытые, отношения с мужчиной со стороны.

Состоятельный Василий Дурново, вероятно, зовет ее переехать к нему и завести новую семью, предварительно позаботившись об устройстве двух последних детей своей возлюбленной. Но сомнения и угры-

зения совести мучают Феодосию Петровну и вызывают депрессию. В психологическом плане Феодосия Петровна принадлежала к тому, достаточно известному, разряду терпеливых и воспитанных женщин, которые могут выполнять супружеские обязанности с нелюбимым мужем десятилетиями, не нарушая слова, данного перед Богом о верности брака. Смерть отца и новая любовь послужили ей поводом для разрыва с нелюбимым мужем.

Вот как сама Феодосия Петровна описывает это. Однажды ей приснился сон, который был сочтен вещим. Будто она оказалась в темном доме, где не было ни окон, ни дверей, и только откуда-то сверху проникал слабый свет. Как же выбраться отсюда? – думает Феодосия Петровна. И чей-то голос сверху, откуда лился свет, подсказывает ей, что надо собрать волю в кулак и с силой ударить по стене. Она так и сделала, стена рухнула, и яркий свет пробудил ее ото сна. Спустя неделю после сна у нее созрело решение. Она велела позвать к себе мужа, сняла с пальца обручальное кольцо, «широкое и плоское», положила на пол, раздавила ногой на две половинки и сказала ему, показывая на них:

– Вы видите: теперь между нами общего ничего нет; мы друг другу посторонние; имением моим я буду сама управлять; вы не должны ни во что вмешиваться. Если хотите, живите в моем имении, в том флигеле, который назначу. Будете пользоваться домашним содержанием; денег я вам давать не могу; вы сами знаете, до какой крайности вы довели все семейство вашим беспутным поведением. Сестры ваши, если хотят, могут жить со мной и в тех же комнатах, где и теперь живут.

В результате такого решительного «перелома» муж ушел во флигель, из трех золовок уехала лишь одна, а другие полюбили ее «пуще прежнего». Даже соседи, считавшие долгом сплетничать о чужих семейных неурядицах, и те оправдывали ее решение. В ознаменование такого события, вспоминает Феодосия Петровна, она и милый ее сердцу Василий Дурново посадили в саду на липовой аллее два дубка, один из которых был назван ее именем, другой – Василия Дмитриевича. Несмотря на затененное место, дубки принялись хорошо. Дурново умер в 1833 году,

а через три года дубок с его именем засох, другой же цвел и плодоносил до 1868 года, а после тоже высох. Спустя три года Феодосия Петровна скончается. Такие вот дубки, олицетворяющие любовь и судьбы.

Однако закрепить любовь с милым ей человеком она успела. На свет появился Константин Николаевич Леонтьев. Любимый сын от любимого мужчины – непреходящая радость матери.

2

Все знакомые и соседи называли ее «энергичной женщиной». При решительном и вспыльчивом характере по-другому ее называть, впрочем, нельзя. Леонтьев со слов няни записал такой вот эпизод из жизни матери. В 1826 году, собираясь на аудиенцию к только что коронованному Николаю I, она узнает, что горничная выгнала наемного выездного лакея из-за запаха чеснока, который он приложил к больному пальцу. В бешенстве она срывает с головы ток и букли, бросает их на пол и кричит, кричит, что все пропало, что она опоздала на прием. Но все образуется, позван и одет другой лакей, времени еще остается много, горничная приводит ее прическу в порядок, и мать уезжает. Константин Леонтьев позднее отмечал: «Она больше была похожа на крутого и вспыльчивого мужчину».

Характером своим мать Константина Леонтьева была «обязана» отцу – Петру Матвеевичу Карабанову из дворянского рода, известного с XVI века. Основатель его – воевода Великих Лук времен Ивана Грозного Иван Андреевич Булгак. Петр Матвеевич был старшим сыном премьер-майора Матвея Михайловича Карабанова и владельцем 800 душ крестьян в родовых поместьях Спасское-Телепнево, Соколово Вяземского уезда соседней Смоленской губернии.

Петр Матвеевич, дед Константина Леонтьева, отставной майор, предводитель дворянства Вяземского уезда в 1815–1816 годах ничем выдающимся себя не зарекомендовал. Право же быть пламенным патриотом Отечества Российского для дворян тех лет было так же естественно,

как сама жизнь. Будучи 47-летним отцом большого семейства, П. М. Карабанов на свои деньги обмундировал роту ополченцев в Отечественную войну 1812 года, возглавил ее и ушел «воевать француза». Когда же вернулся в свое имение Соколово, то, по словам Феодосии Петровны, «ни дома, ни дворовых строений как ни бывало, все сожжено, разорено в прах». Немало постарались по воровской части и «богобоязненные» крестьяне, о чем напишет в 1881 году Константин Леонтьев в «Рассказе смоленского дьякона о нашествии 1812 года». Крестьяне, чье прозвание с XIV века образовано от «христиане» в отличие от нехристей, и ранее бывших «смердами» (дурно пахнущими), пытали священника, чтобы узнать, где его деньги, рубили на дрова господские кареты и заочно грозились распустить «балахоном брюхо» Петру Матвеевичу. Вернувшись в родное поместье, дед нашел зачинщиков и выпорол их прилюдно так, что они не могли самостоятельно идти, их волокли «на рогожах». Жестоко? Возможно! Но многие из крестьян сами страдали от излишней воли в ту военную пору, говоря, что их «бес попутал». И не они ли сочинили поговорку «Волю дать – добра не видать».

Уже взрослый Константин Леонтьев откровенно любуется дедом, от которого унаследовал характер и силу воли. Дед «был, может быть, одним из самых “выразительных” представителей того рода прежних русских дворян, в которых иногда привлекательно, а иногда возмутительно сочеталось тонкое “версальское” с самым странным, по своей необузданной свирепости, “азиатским”. Истинный барин с виду, красивый и надменный донельзя, во многих случаях великодушный рыцарь, ненавистник лжи, лихоимства и двуличности, смелый до того, что *в то время* (в дальнейшем все выделения курсивом в цитатах сделаны самим К. Н. Леонтьевым) решился кинуться с обнаженной шпагой на губернатора, когда тот позволил себе усомниться *в истине его слов*… слуга Государю и *отечеству преданный*, энергический и верный, любитель стихотворчества и всего прекрасного, Петр Матвеевич был в то же время властолюбив до безумия, развращен до преступности, подозрителен донельзя и жесток до бессмыслия и зверства».

Феодосия Петровна рассказывала Константину об одном из многих случаев необъяснимой жестокости отца. Лет семи-восьми от роду она на полу играла с куклами, мать сидела у открытого окна с вязанием, а за окном работал плотник. Вдруг вбегает Петр Матвеевич и, ни слова не говоря, хватает за горло свою жену, валит на диван и начинает душить. Плотник, почуяв неладное, заглянул в окно и закричал: «Барин, барин! Что ты! Аль в Сибирь захотел?» Петр Матвеевич опомнился, пришел в себя и молча вышел из комнаты. Повода его раздражения мать Константина не запомнила. Леонтьев, оправдывая деда, заключает: «Известно, что никто не может легче иной женщины довести и самого доброго, образованного и порядочного мужа до потери терпения и до насильственных поступков».

И действительно, повзрослев, Фанни, так в детстве звали Феодосию Петровну, несколько переменила свое мнение относительно матери, которая оказалась крайне фальшива и неблагородна и нередко сама давала повод отцу выходить из себя. Отец Фанни при всей жестокости и упрямстве был более прямым, честным, чем его жена.

Как-то во время войны при формировании ополчения один из знакомых Петру Матвеевичу помещиков похвастался, что отдал в ополчение самых слабых и ничего не умеющих крестьян. Вспылив, Петр Матвеевич при всем народе отстегал кнутом негодяя.

Видимо, сама природа предусмотрела, что чаще всего мальчики наследуют характеры матерей, а девочки – отцов. И не только генетика тому причиной, что спустя десятилетия внук Константин за презрительный отзыв француза о России отхлестал хулителя кнутом. Образ прямого и честного деда стал для внука путеводным.

3

Матушка Константина Леонтьева была старшей в многодетной семье Петра Карабанова и Александры Станкевич, дочери костромских помещиков. Две младшие сестры Феодосии уже учились в Екатерининском

институте для дворянок из небогатых семей. Брат – в Горном институте, а Фанни оставалась по капризу отца в имении. Очень хотелось ей удрать из неспокойного дома, где часто ссорились отец с матерью, но своевольный родитель, не объясняя причин, держал ее при себе, а она, не смея заикаться о своих желаниях, плакала ночами от горя и досады. Однако волею случая, а точнее с помощью одной из дочерей знаменитого Кутузова, Анны Михайловны Хитрово, знакомой семьи Карабановых, Фанни к великому своему удовольствию и счастью в институт все-таки попала.

«Я имела хорошую память, училась порядочно; учителя были мною довольны… Начальница и классные дамы всегда отзывались обо мне с похвалой», – вспоминала Феодосия Петровна. К заключительному курсу она по уровню своих знаний и прилежанию претендовала на получение шифра, высшей награды Екатерининского института – золотого вензеля Императрицы Марии Федоровны.

Вдовствующая императрица, дочь принца Вюртембергского Фридриха Евгения, с 1776 года супруга императора Павла, сына Екатерины II, родила ему десять детей, двое из которых, Александр и Николай, стали императорами Российскими. По свидетельствам современников и историков, отличалась она добрым нравом, обладала дипломатическими способностями и много сделала для развития женского образования и русской культуры. В Павловске под Санкт-Петербургом в ее резиденции, где она прожила до своей смерти в 1828 году, собиралась литературная и театральная элита первой четверти XIX века. Ее любимцем был баснописец Иван Андреевич Крылов, которому она, единственному, прощала опоздания на ее литературные вечера, и он из-за своей тучности имел особое право не вставать при ее появлении, чем он, кстати, старался не злоупотреблять. Вдовствующая императрица опекала созданный по ее инициативе, но по указу свекрови – Екатерины, Екатерининский институт и бывала на выпускных экзаменах, где не без своего расчета знакомилась с воспитанницами.

После успешного окончания престижного института Фанни вполне могла иметь «блестящую будущность», но во время экзаменов невольно

ошиблась. В результате место фрейлины при великой княжне Анне Павловне, ровеснице Фанни, оказалось не за ней.

Дело было так. Напомню, что на дворе шел 1811 год. Великая княжна, дочь Павла I, еще не замужняя, подбирала себе фрейлин из числа институток. В поле ее зрения попала девица Фанни Карабанова, которую княжна Анна решила серьезно проверить, задавая ей разные вопросы, в том числе и бытовые. Сочтя ответы верными и главное – верноподданническими, Анна Павловна поинтересовалась доверительно, выясняя отношение Фанни к родителям: «Вероятно, вашим родителям не терпится увидеть вас?» Феодосия Петровна ответила, как думала: «Не сомневаюсь, сударыня, ибо я помещена сюда почти против их воли». Больше великая княжна ни о чем Фанни не спрашивала, как бы вычеркнув ее из списка.

Во все времена сильные и богатые мира сего обычно задают подданным вопросы, ответы на которые им уже известны. Если же ответ расходится с ожиданием, то судьба подданного незавидна. Через год великая княжна Анна Павловна выбрала более подходящую фрейлину из числа выпускниц Екатерининского института – Е. П. Квашнину-Самарину. Та после экзаменов переехала в Зимний дворец, а позднее стала директрисой этого института. Такая вот наука жизни.

Константин Леонтьев позднее отмечал, что матушка его «…при всем огромном уме своем не только смолоду, но и под старость была неловка, не хитра и не догадлива». Еще он отмечал, что матушка в молодости – «несколько серьезная и резонирующая девочка», то есть строптива. Не оттого ли Фанни не отметили после экзаменов? Единственной наградой, которой ее удостоили, – это устная похвала Императрицы Марии Федоровны и обещание «не забывать ее».

Не став фрейлиной, Фанни намеревалась стать в Екатерининском институте пепиньеркой (классной дамой), но жестокий отец не позволил ей этого сделать и забрал домой. И чем же обернулись для нее «учености плоды»? Как они сказались на судьбе Фанни? Самым, можно сказать, неблагоприятным образом.

По возвращению домой отношения сурового отца и строптивой дочери можно охарактеризовать просто: нашла коса на камень. Дочь, осознавая неправоту отца, допускает очередную ошибку. Вместо того, чтобы приласкаться к нему, не знавшему истинной ласки и любви, с просьбой сосватать ей хорошего жениха, она ожидает от отца объяснений причин принудительного возвращения домой. Петр Матвеевич уверен, что ни перед кем не должен объясняться и отчитываться, тем более перед дочерью, и вновь «запирает» ее в доме. Затем, чтобы проучить ее, он выдает Фанни через год после возвращения из института за первого попросившего ее руки кавалера – материально бедного Николая Борисовича Леонтьева, имеющего маленькое именьице в 70 душ крестьян.

4

Род Леонтьевых, хотя и имел славные потомственные традиции, но к XIX вырождается и беднеет. Их прародитель Леонтий известен с XVI века, сын его Гавриил (1600–1654) – боярин, имел трех сыновей: Петра, Бориса и Ивана. Внук Бориса, Иван Петрович Леонтьев, дослужился до звания генерал-поручика, был женат на Александре Ивановне Толстой, они вырастили пять сыновей, один из которых Борис Иванович – дед Константина Леонтьева, надворный советник, единственный из пяти братьев невоенный. Определением Калужского собрания дворянских депутатов Борис Иванович и его дети – Николай, Сергей, Петр и Иван – внесены в 1804 году в часть VI губернской родословной книги. В эту же книгу после рождения записали и Константина Леонтьева. Дядья Константина – люди заслуженные и уважаемые в обществе. Сергей Борисович – участник сражения под Аустерлицем, брал в 1814 году Париж, со службы ушел в чине полковника в 1816 году и женился на княжне Марии Петровне Оболенской. Петр Борисович, кавалер орденов Святого Владимира IV степени и Святой Анны, скончался от ран во время польского восстания в 1831 году.

Послужной же список Николая Борисовича, формального отца Константина Леонтьева, выглядит по сравнению с братьями слабым.

И хотя Николай Борисович начинал военное поприще в элитном лейб-гвардии Измайловском полку, но дослужился всего лишь до прапорщика. В 20 лет его выгнали из полка (13 декабря 1804 г.) «за неприличные званию его поступки» (какие – неизвестно, но, скорее всего, нешуточные). Послужил Николай Борисович и на «гражданке» в качестве земского исправника Мещовского уезда (1826–1832), но перед смертью осужден «за упущение должности», то есть за неудовлетворительное исполнение обязанностей.

Николай Борисович, по позднейшим утверждениям Леонтьева, не был матери парой «ни по уму, ни по нравственным свойствам своим, ни по воспитанию, ни даже по наружности, ибо хотя он был мужчиной и очень видным, но до матери ему было и с этой стороны очень далеко». Кроме того, существовала огромная разница в материальном положении. У отца – восемьсот крестьянских душ, а у мужа, Николая Борисовича, всего лишь семьдесят, и, конечно же, тщеславная Феодосия Петровна страдала из-за этого, не говоря о главном – отсутствии любви и уважения к мужу.

Константину было восемь лет, когда умер Николай Борисович. Не без влияния матушки, Феодосии Петровны, складывалось мнение Костиньки о человеке, давшем ему фамилию. Отец – это малопонятный житель неубранного и тесного флигеля. «…Я был очень равнодушен к нему и мало им занимался, – писал позднее Леонтьев, – при утренней встрече поцелую руку, вечером подойду под благословение и тоже поцелую руку, и больше ничего. И он мною и моим воспитанием вовсе не занимался».

«…Отец мой был из числа тех легкомысленных и ни к чему не внимательных русских людей (и особенно прежних дворян), которые и не отвергают ничего, и не держатся ничего строго. Вообще сказать, отец был и не умен, и не серьезен». Беспощадная сыновья характеристика, направленная не только против отца, но и большей части русского дворянства начала XIX века. Могла ли она быть обусловлена знанием, что Николай Борисович – не его отец? Скорее всего, да.

И потому говорить более подробно о человеке, от которого Константин Леонтьев не унаследовал ни капли крови, ни образа мыслей и взглядов, не имеет смысла.

Глава 2
Комната, формирующая сознание

Монархическим духом веяло в то время в кудиновском доме…

К. Н. Леонтьев

1

В январе 1812-го, года нашествия на Россию полуторамиллионного наполеоновского войска, Николай Борисович Леонтьев посватался к девице Фанни Карабановой и получил «добро» от ее отца. В свой день рождения (23 февраля) того же года 18-летняя Феодосия Петровна обвенчалась с суженым. Молодая семья поселилась в имении Изъялово Серебрянской волости Мещовского уезда, принадлежащего свекру Борису Ивановичу Леонтьеву. Какое приданое было за невестой – неизвестно. Однако, согласно принятым на ту пору обычаям, можно четко отметить, что невесте часть отцовской недвижимости не передавалась. Через 9 лет, после смерти свекра, отписавшего по завещанию сыну Николаю сельцо Кудиново, молодая семья переезжает туда. Вместе с ней поселяются три бездетные сестры Николая Борисовича, воспитанные строгой набожной матерью в православном обычае. Одна из них, Екатерина Борисовна, «горбатая тетушка», впоследствии выходила семимесячного младенца Костиньку, научила его молиться и была для семьи Леонтьевых добрым ангелом-хранителем.

Большой барский дом, где они жили, находился в широкой ложбине, окруженной со всех сторон пологими холмами, заросшими веселы-

ми березовыми рощами с полями между ними. В ложбине громадный пруд, разделенный плотиной на два: господский и крестьянский, по берегу последнего рассыпались дома маленькой деревеньки («сельца») Кудиново с населением в 60 душ. Проехав плотину, путешественник попадал в небольшой двор усадьбы, обсаженный аккуратно остриженными кустами желтой акации. Посреди двора цветочная клумба, в центре ее серебристый тополь, посаженный в честь рождения любимого сына Костиньки. Сразу за клумбой господский дом, по обе стороны от него небольшие флигели, а за акациями – хозяйственные постройки. Позади барского дома протянулись аллеи лип и берез, таких раскидистых и высоких, что малый дождь не проникал сквозь их плотные кроны. По обе стороны от аллей огромный фруктовый сад, занимавший 12 с половиной десятин. Словом – райский уголок Калужской губернии, восхищавший многих его посетивших.

Полноправной хозяйкой в имении была Феодосия Петровна. Сильный ее характер и неспособность, вернее, нежелание Николая Борисовича заниматься хозяйством, давали Феодосии Петровне право командовать, не считаясь с мнением мужа. Честолюбивая, она принудила мужа в 1827 году переписать имение на свое имя, а после упомянутых событий 1829 года говорила: «Я взяла свою волю на 35 году». Именно она распределяла комнаты за домочадцами: в большом доме у нее была особая половина («эрмитаж»), состоящая из нескольких комнат, убранных в ее тонком вкусе.

Например, спальня, по воспоминаниям самого Константина Леонтьева, была оформлена следующим образом: «…она (мать. – *М. Ч.*) велела сшить широкими полосками какую-то бумажную материю: темно-зеленую, ярко-розовую и белую, и декорировала ею стены и потолок; потолок был собран посередине сборками в большую розетку, в середине которой была вставлена такая круглая бронзовая фигурка, какие употребляются для закидывания занавесок около окон. Пол зимой был обит большим ковром, белым с бархатными темно-зелеными узорами, и это было очень кстати и очень хорошо. Мать сумела извлечь пользу

из какого-то темного чулана; над этим чуланом была лестница на антресоли: мать его уничтожила, отодвинув стену дальше в коридор; поставила там деревянные колонки, обила их полотном; велела выкрасить полотно белой масляной краской и обвила их и оклеила спирально поверх полотна таким цветным бордюром, каким оклеивают наверху обои, так что, вместо темного чулана для дров в коридоре, образовалась за колонками в кабинете какая-то ниша, чрезвычайно уютная и красивая…<…>». Эту комнату Леонтьев отмечал впоследствии как важнейшее звено в цепи формирования эстетических пристрастий.

В этой спальне и был рожден 13 января 1831 года семимесячный Костинька. Как бы ни был дорог ребенок, мать, ценившая «уединение, тишину, чтение и строгий порядок в распределении времени и занятий», приказала удалить орущее дитя в дальнюю комнату, ибо не переносила детские крики. Костинька замолкал только в непродолжительном сне. Выхаживала семимесячное дитя одна из золовок, «горбатая тетушка Екатерина Борисовна Леонтьева, отцовская сестра», но надо отдать должное Феодосии Петровне – она целый год кормила сына грудью.

Племянница Константина Леонтьева Мария Владимировна откровенно отмечает в своих воспоминаниях, что, не будь рядом горбатой тетушки Екатерины, Костиньке не выжить бы – так он был слаб и плох. В те далекие времена преждевременно родившихся детей заворачивали в овчину, клали в люльку, а ее подвешивали рядом с постоянно топившейся русской печью для поддержания постоянной температуры.

Бесхитростная сердцем и добрая душой тетушка день и ночь нянчила племянника. Думается, что она выхаживала бы и подброшенного ребенка как Божье создание. Яркий пример сердцем понятой ответственности за любую живую душу, что вдруг оказалась рядом с ней. Тетке, пожилой и горбатой, самой-то трудно было передвигаться, но она всюду сопровождала люльку с поистине золотым племянником. «Одно время они жили даже в бане», – вспоминала Марья Владимировна.

Когда Костиньке исполнилось 8 лет, другие дети уже разъехались по разным учебным заведениям, и все внимание и любовь Феодосии Пет-

ровны сосредоточились на поскребыше – так в русских больших семьях называют самого младшего сына. По легко объяснимой причине (большое количество детей) любовь матери не была слепой: ни одной, по ее мнению, дурной шалости сына мать не прощала. Будучи вспыльчивой и решительной, она крепко порола своего красивого и нарядного любимца за провинности. Окружавшие Костиньку женщины (мужского влияния совсем не было) уделяли его внешности повышенное внимание: наряжали, завивали, душили дамскими духами.

Первое воспоминание из детства о бале в «милом нашем Юхнове»: «А я, еще ребенок, сижу завитой в буклях и лиловой шелковой блузе около величавой и красивой матери своей; сижу и любуюсь…». Любуется он, как молодой поляк в русском мундире лихо танцует мазурку с барышней в белой кисее с каштановыми кудрями, как веют за нею розовые ленты пояса.

Какого же результата можно ожидать от такого женского воспитания? Сам Леонтьев впоследствии вспоминал, что ребенком о себе много думал, разумеется, глядя в зеркало, любил подражать старшим и, соответственно, сам себе казался взрослым. Сверстников рядом с ним не было, женское воспитание не предусматривало мужских игр и занятий, например, верховой езды, которой гораздо позже, но пришлось овладеть. Настоящий отец, «один добрый человек, имевший хорошее состояние» (так называет настоящего отца Кости Феодосия Петровна), умирает через два года после рождения сына, Николай Борисович не уделял внимания незаконно рожденному сыну, и потому рядом с Костинькой до 11 лет шуршали женские юбки.

В основном, именно женщины, по высшему их призванию – создатели и хранители семейно-домашнего уюта, внешней и внутренней его красоты, и заложили в мальчике Костиньке основы эстетического вкуса, глубокого и содержательного. Более нет причин, объясняющих зарождение в юном Леонтьеве поклонения всему красивому, своеобразному, «поэтическому», сохраненному на всю жизнь. И в этом процессе не было ни малейшего принуждения. Достаточно лишь обратить внима-

ние Кости на тот или иной предмет, говоря, что вот эта вещь красива, а эта нет. Запомнить сердцем предстояло самому мальчику, требовалось лишь создать соответствующую обстановку. И мать, имевшая «сильное воображение и очень тонкий вкус», умело обустраивала свое жилье. По словам Леонтьева, «везде у нас было щеголевато и чисто», но особую прелесть для матери и, соответственно, для него представляла спальня Феодосии Петровны, устроенная «в виде цветной палатки», о которой уже рассказано.

Даже в 52-летнем возрасте Леонтьев прекрасно помнит ее мельчайшие подробности и на нескольких страницах любовно описывает прекрасную пристань для души и тела. Была в этой спальне ниша за драпированными колоннами, где на стенах в ряд висели детские портреты, украшенные сверху и снизу розетками трех цветов, таких же, как диван, занавески и стены. Цвета розеток располагались в разном порядке: белый то сверху, то снизу, и чередовался он с розовым и зеленым в определенной последовательности.

Взаимосвязь поэтического окружения и будущих черт характера, определивших взгляды писателя и политика Леонтьева, столь очевидна, что может служить хорошим подтверждением нехитрой мудрости, утверждающей, что все мы «родом из детства». И как бы затем ни тяжела была жизнь, сколько бы тягостей и испытаний (изредка счастья) она ни приносила бы, восприятие ее остается в большей степени детским. Речь идет не об инфантилизме, а о особеннностях характера, заложенного в детстве, умении оценить красоту мира и общества, отличать добро и зло, хорошее и дурное. Если взрослый человек подозрителен, считает окружающих его людей врагами, жаден и потому энергичен в способах добывания денег, иногда переходящих рамки, дозволенных законом и совестью, то, значит, в детстве эти принципы жизни вольно или невольно поставлены на первое место. У Кости на виду лишь образы высокого эстетического вкуса.

Теперь представим болезненного мальчугана в просторном и веселом доме посреди тихого, густого и обширного парка из вековых лип

или в красиво обставленной комнате-спальне. И это не только внешнее окружение: в родительском доме матушкой создан праобраз эдема, разительно отличающийся, как и положено райскому саду, от окружающей жизни.

В первом автобиографическом романе «Подлипки» Леонтьев чувственно описывает то нежное состояние любви, разлитой повсюду в доме, и особенно к нему. «И не она одна – все в доме, если не любили, так, по крайней мере, баловали меня. Старый буфетчик качал меня на ногах, приговаривая иногда: “Чаю, чаю, величаю”. Девушки звали меня ангелочком, кавалером и носили меня на руках… Но больше всего утешала меня Катюша, когда я был слегка болен. Простудишься, положат тебя в спальне у тетушки на постель. Занавески на окнах спущены; в углу золотые образа; перед темными неземными лицами горит лампада; в комнате так много вещей, так тихо, тепло и волшебно. За стенами слышен орган, а Катюша стоит на коленях у кровати моей и говорит мне сказки, или о деревне что-нибудь рассказывает, или задает загадки».

«В этой комнате и в соседней с нею меня учили молиться перед угольным киотом», – эти слова уже из личных воспоминаний. И с первых религиозных опытов, с осознанием красоты богослужения, природы и матери, «хотя вовсе не ласковой и не нежной, а, напротив того, суровой и сердитой», и любви к ним, у Кости формируются привычки и характер. Среди привычек самыми важными являлись «уроки патриотизма и монархического чувства, примеры строгого порядка, постоянного труда и утонченного вкуса».

Потому-то память уже взрослого мужчины сохранила с несколько, может быть, преувеличенной точностью милые подробности домашнего рая: «Когда я был мал, я спал за этими колоннами на диване, и это симметричное разнообразие розеток, которые я, проснувшись поутру, изучал, доставляло мне множество наслаждений», – вспоминает пожилой Леонтьев.

Для матери Константин Леонтьев красочных эпитетов не жалеет, да и кому же петь дифирамбы, как не матери, единственной близкой душе,

оставшейся таковой до последних дней жизни. Не раз и не два в своих воспоминаниях и думах Леонтьев описывал свою мать: «Я видел из-за тысячи с лишком верст ее кисейное серое с черными цветочками летнее платье, ее благородный и суровый профиль, ее большой нос с горбиной, ее круглую родинку с левой стороны на подбородке, ее величавую походку и задумчивый вид». Слепая материнская любовь не застит глаза матери, и такой подход к воспитанию сына есть, без сомнения, самый правильный. Мать одновременно и сурова, и недоступна, и ласкова, когда разрешает ему «лениться» и долго лежать на диване, слушая, как старшая сестра читала «по книжке утренние молитвы и псалом: “Помилуй мя, Боже”…».

Так без принуждения, исподволь Костя приучается слушать других, душой воспринимать завораживающие слова псалма: «Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Костя впервые узнает, если делаешь жертву Богу, то он остается в душе, если же нет, то – Дух покидает тебя, и оставляет один на один с силами Дьявола, зла. Отсюда истина: «Не нам, не нам Господи, а имени Твоему!»

Костик смотрит на угловой киот, и незамутненная зрительная память навечно вбирает сердцем прекрасные черты Спасителя. Ложась спать, Костинька без труда, с закрытыми глазами, воспроизводит черты иконного лика Христа и улыбается от счастья. Это своего рода игра воображения и памяти всегда с ним перед сном как весточка прекрасного детства. Складывается лик Спасителя по памяти легко и быстро, значит, все хорошо в жизни.

Неудивительно, что у мальчика богатое воображение. В доме у него свои таинственные комнаты, населенные только ему известными людьми и воображенными образами. Немалое влияние оказывает чтение матушкой вслух французских приключенческих романов и православных молитв. Но что есть они без восприимчивой души? У Костиньки множество кукол, которым он дает не имена родных и близких, а самые фантастические, а, может даже, и мистические прозвища. Мальчик вы-

думывает разные игры и забавы, в жаркую летнюю пору он, раздевшись сам, заставляет сделать это и мальчика-слугу, приставленного к нему, и они на пруду, изображая то дикарей-островитян, то белых колонизаторов, сражаются на палках за честь и свободу острова.

Кто из нас в детские годы не сражался со сверстниками деревянными мечами, выструганными из поленьев для топки печей? Но только у тех, кто помнит подробности таких сражений, сохранилась на всю жизнь поэтическая свежесть и чистота детских лет.

2

Обещание императрицы Марии Федоровны «не забывать ее» оказалось гораздо ценнее любых подарков, дипломов и шифров. Через 15 лет после окончания Екатерининского института бедная дворянка Феодосия Петровна Леонтьева по ее протекции устроила почти всех своих детей. Два старших сына (Петр и Борис) с помощью Марии Федоровны определились в Пажеский кадетский корпус, обучались в котором только дети дворян первых трех классов табели о рангах. Конечно, такого права не было у детей прапорщика лейб-гвардии Измайловского полка, удаленного из армии за участие в каком-то буйстве с характеристикой «за неприличные званию его поступки» еще в 1804 году.

Два младших сына (Владимир и Александр) учились за казенный счет в военно-инженерном училище уже по протекции Великого князя Михаила Павловича, а дочери в том же Екатерининском институте, который когда-то окончила их матушка Феодосия Петровна.

Высочайшая милость, проявленная императрицей Марьей Федоровной к бедной и безвестной дворянке Леонтьевой, а, точнее, к ее детям, разумеется, стоила дорогого. И благодарная Феодосия Петровна на свою венценосную помощницу молится и приучает к этому своих детей. Она часто рассказывала домашним о встречах с императрицей, с императором Николаем I, обласкавшим ее и старшего сына, о том, как она «не выдержала, упала перед Императрицей на колени и потом почти до зем-

ли поклонилась Государю». Эти рассказы оставляют неизгладимый след в памяти самого впечатлительного изо всех Костика. Мальчиком он проникается красотой русского классического имперского мира, детским чутким сердцем улавливает силу и мощь монарха, перед которым даже строгая и неприступная матушка, смиряя себя, валится на колени. Какое мальчишеское сердце, пусть даже самое нежное, способно устоять перед благоговением силы, демонстрируемой мужчиной? Видимо, так должны формироваться имперские взгляды.

Феодосия Петровна как могла развивала воображение сына. Частые поездки, в которые она брала любимого сыночка, пробуждали в нем наблюдательность и умение запоминать увиденное: «…с раннего детства я не раз ездил с матерью в столицы и очень многое внимательно замечал…», – анализируя свое духовное становление, пишет Константин Леонтьев.

Основа гармоничного воспитания – медленное, соразмерное с физическим развитием, восхождение к духовной свободе. Мех овчины, в которой дохаживают семимесячных детей, пеленки, люлька. С умением ползать и вставать появляется детская кроватка, с первыми шагами жизненное пространство расширяется до комнаты. При беге становятся доступны все комнаты, потом парк со столетними липами и все сельцо Кудиново. Мир распахивается в строгой последовательности, сопровождая развитие тела, и, если следующая картина огромного мира вовремя не появляется перед глазами, наступает диссонанс духовного и физического. Краски блекнут, выгорают из-за задержки, развитие страдает, а то и прекращается. Все помнят, как трудно, порой невозможно научить взрослого человека плавать или скакать на лошади. И дело не в «тяжелых костях», а в своевременности овладения любым навыком.

И потому нужен и Юхнов, что в 20 верстах от Кудинова, и столицы, находящиеся за сотни верст от родного дома, в котором «две первые зимы ежедневных утренних молитв не прошли для меня даром». Имеются в виду молитвы, которые мать заставляла читать дочь, вер-

нувшуюся из Смольного института. Молитвы, что слышал маленький Костик, произносились, когда он, лежа на материнском диване, смотрел в зимнее окно, за которым синел засыпанный снегом липовый сад. От слов псалма, с которыми ассоциировался этот вид в окне, на всю жизнь в душе Леонтьева «светился какой-то дальний, и коротко знакомый, любимый и теплый свет».

Чтобы что-то полюбить и уверовать, надо знать это и видеть. И потому закономерен вывод, к которому пришел взрослый Леонтьев, вспоминая о своих детских впечатлениях: «Поэзия религиозных впечатлений способствует сохранению в сердце любви к религии».

Нужны поездки чуть ли не в младенчестве и в Оптину Пустынь, чтобы почувствовать прелесть совмещения красоты природы и религиозных обрядов, позволяющую сделать первые самостоятельные выводы: «Вы меня больше сюда не возите, а то я непременно тут останусь». Так изрек юный Леонтьев, увидев Оптину Пустынь.

В Петербурге довелось познать с детства уют и теплоту домовых церквей, куда допускались только знакомые или рекомендованные люди. Юный Костинька уже с 11–12 лет в Петербурге отпрашивался у матери, чтобы отстоять в такой домовой церкви всенощную. И хотя Леонтьев признавал религиозное влияние на него матери в детстве и отрочестве «средней силы», но отметим, что оно (влияние) осуществлялось без малейшего принуждения с ее стороны.

Да и сама дальняя дорога полна поэзии и мистического волшебства. «Из черной ночи блестят до сих пор передо мной огни станций с какими-то новыми именами, к которым я тогда жадно прислушивался… Валдай, где приносили колокольчики и баранки; Клин, где вечером под стеклом блистало столько великолепных тульских вещей; Торжок с пестрыми туфлями, ермолками и сапогами; древний Новгород, где жил Рюрик; Померания, Подсолнечная… Какие имена! Фонари у дилижансов, мрачные лица закутанных высоких незнакомых пассажиров – все это нравилось мне <…> Днем я помню огромные поля – пустые, болотные, туманные; огромные коряги и пни рядами стояли

на них. Не черные ли чудовища это ждут чего-то на этих полях? Не начнут ли они борьбу?» Все дает пищу воображению и созданию образов, составляющих поэтическое детство.

Что, кроме теплого чувства преклонения перед монархической и Божьей милостью, еще можно извлечь мальчику из благожелательной атмосферы большого кудиновского семейства? Братские чувства. «Нас было семеро детей у матери, – вспоминал Константин Леонтьев и с особой теплотой говорил об одном из них – Александре. – Он был рожден с наилучшей из всех нас душой… и он смолоду был общий любимец. – Мать, я думаю, до последнего часа не знала, кого из двух нас она больше любит: меня или Александра? <…> И у меня он тогда был фаворитом из всех моих братьев. Я с детства любил красоту, а он был красивее всех братьев; он был добрее всех; его взгляд был ласков; глаза красивы; манеры ловки; рост и сложение прекрасны. Он был со слугами тогда добр и приветлив. Лицо у него было одно из тех милых полутатарских лиц, которых у нас так много между дворянами, но только прекрасное в своем роде. Матери он тогда был покорен; семью любил».

Заметим, что написаны эти воспоминания взрослым Леонтьев в 1874 году после возвращения из Турции. И, значит, в этом описании молочного брата выражен, по сути, эстетический и нравственный идеал человека, который выработан Леонтьевым опытом и детскими чувствами. Искренней теплотой пропитаны воспоминания о старшем брате, о его любви к дому, Кудинову, семье, где ему было приятно и весело. Леонтьев задается вопросом, какие же «удивительные веселости» были у Александра, чтобы, вспоминая их, заплакать после отпуска. Не о «веселостях», конечно, идет речь, а той семейной теплоте, что создавали Феодосия Петровна, горбатая тетушка Катерина и многочисленные дети, – важнейшая часть большой семьи.

Константин отмечал: «Он из-за пустой шалости, из вздорного кадетского молодечества должен был выйти в пехотный полк, есть пустые щи и чорный хлеб… утомляться на учениях, вставая до света…». Почему Александр не искал «подобно мне, *освежения* и здоровья…? – спраши-

вал себя младший брат Константин и отвечал, – он жил без *рефлекса*». Что подразумевал Леонтьев под этим словом, трудно сейчас в полной мере ответить. Может быть, жизнь без **комплексов**, которая и приводит к тому, что «хорошая, добрая *натура* может стать гадким и жалким *характером* при вредных влияниях и дурном направлении».

Брат Александр, его любимец и «фаворит», «стал седым и гадким стариком, с какими-то рубцами сыпей на лице, с какими-то ранами на теле, всегда без места, без денег, иногда полупьяный, всюду презираемый порядочными людьми, но все так же самоуверенный и нераскаянный, как и прежде…».

Леонтьев отдает дань модной в ту пору теории Дарвина о приобретенных качествах в зависимости от среды обитания, как природной, так и общественной. Однако стоит лишь вспомнить отца Александра, Николая Борисовича Леонтьева, изгнанного из лейб-гвардейского полка за буйство, а потом неважно исполнявшего обязанности земского исправника, то многое в характере Александра становится понятным. Яблоко от яблони недалеко катится. Счастье великое, что у Леонтьева был другой отец.

Глава 3
Выбор пути

Последовательно не помним ничего, а все
в виде отдельных и мгновенных образов.

К. Н. Леонтьев

Так отзывается Константин Леонтьев о годах своего детства. И в самом деле, если не присочинить что-либо, ставшее известным и прочувствованным в более зрелом возрасте, то в подростковом возрасте именно такие «отдельные и мгновенные образы», поразившие сознание, и остаются в памяти на всю жизнь.

Что же запомнилось зрелому Константину Леонтьеву из подросткового детства? Всех образов, тем более мгновенных, отразить нам, конечно, не суждено не только согласно народной мудрости о том, что чужая душа – потемки, но и малого количества письменных источников. Но, если принять, что роман «Подлипки» написан с натуры на 90% (тому есть свидетельства), то картина отрочества и юности получится почти полная.

Сам же Леонтьев о годах отрочества записал в «Хронологии моей жизни»:

«…(В 40-м году был у нас голод). – 40-й год мало помню. Владимир Петрович Карабанов, *дядя мой,* женился на Анне Павловне Охотниковой. В 41-м году поступил в Смоленскую Гимназию, под присмотр дяди Владимира Петровича Карабанова.

Владимир Петрович Карабанов умер в 1842 году Великим постом. В 42-м году весной и летом Кудиново; осенью на зиму в Петербург. В 43-м году все лето у Самойловича приготовление (42–43 г.) в Дворянский полк. Осенью 43-го года и зимой 44 г. *кадет*; в Дворянском полку. Весной 44-го года отпуск в Кудинове; приготовление из Латинского языка в 3-й класс Калужской гимназии. Осенью 44-го года поступление в Калужскую гимназию. <…>

В 49-м году кончил курс в Калужской гимназии. Осенью 49-го года поступил на два месяца в Ярославский лицей; в октябре вернулся в Кудиново; в ноябре поступил в Московский университет на 1-й курс Медицинского факультета».

Прокомментируем этот краткий «послужной» список дворянского недоросля в прямом понимании смысла этого слова. Несмотря на все строгости суровой матери, Костя в немалой степени избалован, точнее, изнежен и считался «домашним» мальчиком. Конечно, матушка Феодосия Петровна понимала это и не решилась выносить своего «воробышка», романтически и возвышенно воспитанного сына, из теплого гнездышка на ветреную сторону суровой гимназии, боясь жестких нравов, царящих там. В гимназиях той поры за невыученные уроки нещадно секли розгами.

Нелюбимый Леонтьевым впоследствии как поэт Некрасов так саркастически отзывался о гимназических нравах и правилах того времени.

Но живо вспомнил я тогда
Счастливой юности года,
Когда придешь, бывало, в класс
И знаешь: сечь начнут сейчас!

Феодосия Петровна не исключала, что сынок ее, имевший схожий с ней характер, мог и не выучить урок по нелюбимому предмету, и получить другой, более жестокий урок. И тому есть подтверждения из романа «Подлипки»: «А я своих учителей часто выводил из терпения: бывали минуты, когда я решительно не мог ничего понять. Я несся куда-то, смотрел в окно; в голове спутывалось все: урок с мечтой о славе, о любви и о войне, я не знаю еще о чем. Я глядел туманно на учителя и отвечал не то».

Одно дело, когда мать секла любимого Костиньку, совсем другое – пахнущий дешевыми сигарами чужой и злой, выведенный из терпения учитель. Подобное не только пережить, представить было жутко. В Смоленске же начальствует младший родной брат Феодосии Петровны генерал-майор и предводитель губернского дворянства Владимир Петрович Карабанов. При его присмотре можно не опасаться порок. Тем не менее матушка провожает любимое дитя, обливаясь слезами, потому что в глубине сердца есть знание, что он избалован. Тем более нужен дядя «с таким весом, характером и такими связями» для мужского воспитания и дальнейшего продвижения племянника по служебной лестнице.

Наезжавшего изредка в Кудиново дядю Владимира Петровича подросток Костя боготворил: «Он был начало всякого блеска, золота, крестов, родни московской, вороных шестериков, запряженных в карету (не нашей чета!). Взгляд открытый и строгий, легкая лысина на благородном лбу и завитки слегка седеющих темных волос; Георгиевский крест всегда на модном статском платье, а в случае парада – мундир военный и целый ряд отличий на груди, белые большие руки и благоухание от во-

лос, одежды, даже от гладко выбритой щеки». Владимир Петрович – геройский офицер – «голова у него была разрублена в одном месте; левая рука прострелена, в груди две раны...».

Исключительное счастье, что избалованный мальчик попал в надежные, крепкие мужские руки родного дяди. Позднее Леонтьев в «Подлипках» самокритично признает: «После глубокого добродушия, милости, баловства Подлипок мне показалось тяжело» у дяди. Да и как не признать «тяжелой» жизнь, когда тебя впервые заставляют одеваться и обуваться, ведь даже этим Костинька владел плохо. «Но зато здесь я выучился впервые принуждать себя; дядя запретил раз и навсегда Терентию (слуга. – *М. Ч.*) обувать меня в постели, приказывал рано будить, говорил по-своему о твердости и дворянской чести». Наверное, именно из Смоленска вынес Леонтьев благотворную пользу принуждения, о котором в своих публицистических статьях он будет много и подробно писать. Еще один момент из жизни у дяди: «Желая сделать из меня человека, он опасался добродушного растления Подлипок: “Сестра слаба, а я… хочу, чтобы ты не сделался Митрофаном, <…> а для тебя нужна ежовая рукавица”.

Особо примечательно использование 30-летним Леонтьевым (именно в этом возрасте он писал свои «Подлипки») слова «растление». Так глубоко он прочувствовал свое отставание в практической жизни. В ней все сложно. Вот, например, такой случай. Мальчик Костинька вытаскивает из шляпы удачный билет для одного из дядиных гостей, и тот обещает ему за счастливый жребий фунт конфет. Однако проходит три дня, а Костиньке конфет не несут. Тогда он напоминает сыну осчастливленного гостя об обещанных конфетах. На другой день конфеты с запиской доставлены в дом Владимира Петровича. Дядя, увидев человека со свертком, поинтересовался, кто он и откуда. Прочитал записку, в которой объяснились причины задержки в подарке, все сразу понял и позвал племянника.

– А, взяточник и лгун! Хорош. Попрошайка и лгун! Да ты знаешь ли, что такое мужчина, который лжет?.. Негодяй!

Вызвав слугу, приказал тому готовить розги. Как ни умолял Костя дядю, как ни плакал, стоя на коленях, Карабанов был неумолим. Слуга

порол его, а дядя сидел рядом на диване и смотрел за выполнением экзекуции. Результат не заставил себя ждать. В Крымскую кампанию молодой врач Леонтьев оказывается от взятки, предлагаемой ему больным офицером. И на всю жизнь возненавидел взяточников.

За те недолгие полгода в Смоленске Костя приобрел столько положительных мужских качеств, что их хватило навсегда. Тому, что эти качества не выветривались и не истончались со временем, Костя обязан особой впечатлительности и эстетическому вкусу. Некрасиво брать взятки, некрасиво врать, некрасиво, чтобы тебя одевали слуги, некрасиво ссориться с родными, некрасиво…

Несомненно, что Владимир Петрович выбил бы полностью из племянника дух Митрофанушки, но случилось непоправимое: 45-летний Владимир Петрович Карабанов неожиданно умирает. Видимо, боевые раны сыграли свою зловещую роль...

Феодосия Петровна, пребывавшая в счастливой уверенности, что вопрос с устройством Костиньки решен надежно и надолго, была вдвойне потрясена и ранней смертью брата, а, главное, необходимостью вновь искать варианты для становления капризного сына. Теперь, видишь ли, Костинька задумал стать военным, наглядевшись на ордена покойного дяди. Он возмечтал о красивой военной форме, о командирских подвигах на поле брани. Мечты о подвигах и славе всерьез овладели мальчишеским сердцем. Теперь уж Феодосия Петровна не могла перечить желаниям любимца, а тем более выпороть за неповиновение. Пришлось уступить.

Осенью 1842 года мать с сыном отправляются в далекий и холодный Петербург, чтобы поступить в Дворянский полк. Оказалось, что путь в полк сложен: нужна соответствующая подготовка, в том числе и конная – умение гарцевать на коне. В пансионате Самойловича 12-летний Константин проходит подготовительный курс. В сентябре 1843 года он полноправный кадет.

Через 20 лет у Леонтьева в романе «В своем краю» промелькнет фраза о подростковой жестокости. В годы (12–14 лет), когда он начал

военную службу, жестокие мальчишеские «шалости» часто ломали психику подростка. Или ты твердо становишься на почву беспрекословного выполнения воинского устава, хотя при этом засыхают малейшие ростки чувства и сострадания, или скатываешься в болото физически слабых неудачников и неумех – объект постоянных насмешек и издевательств. Иного в закрытых мужских сообществах военного направления не дано. Военные училища подросткового возраста – это своеобразный монастырь с более жестоким уставом, чем у взрослых. Монахи могут скрывать свои негативные наклонности под изощренным сознанием, а у детей «простота» на виду.

«Воспитанный по-женски» (выражение Марьи Владимировны Леонтьевой) Костинька попал во вторую группу презренных неумех. Сурового влияния дяди Владимира оказалось явно недостаточно для укрепления мужественности в подростке. Все возвышенные мечты о военной службе быстро улетучились от жесткой муштры и конной джигитовки. Кадета Леонтьева хватило только на год, недаром покойный дядя говорил ему, что военная служба не для него. Вернувшись весной 1844 года на побывку в родное Кудиново, Костинька жестко заявил матушке, что в Дворянский полк он более ни ногой. Однако военный урок не прошел для самолюбивого мальчика бесследно: он упорно принялся овладевать секретами верховой езды вдали от насмешливых глаз жестокосердных кадетов-сверстников и достиг определенных успехов.

Феодосии Петровне в очередной раз пришлось схватиться за голову: «Что делать с беспокойным любимцем?» Неужели сбываются все мысли, которые владели ею сразу же после рождения первого сына тогда в далеком 1813 году? Тогда она с жалостью к себе думала: «*…сын родился*! Эка важность! А на что этот сын? Ходить за ним, страдать об его болезнях, воспитывать его, определить к месту». Возможно, это были лишь краткие всплески эгоцентризма усталой после мучительных родов женщины. Но они были, а теперь возвращаются: думай, находи решения, принимай меры по устройству последыша. А ей уже 50 лет, и здоровье после рождения семерых детей уже не то, что прежде, да и

знакомства подрастерялись, поизносились. Феодосия Петровна решает идти старым проторенным и испытанным путем – гимназия, но на этот раз более близкая, калужская.

По этому поводу Леонтьев в своем романе «Подлипки» заметит: «Знаете – старшие наши умели искусно мирить в себе два разнородных мира». Все бы хорошо: гимназии для детей дворян давали и начальное образование, но состав учебных программ в Дворянском полку отличался от гимназического курса, и в знании латинского языка образовался пробел, пришлось нанимать репетитора. Ближе к осени 1844 года юный Леонтьев сдает экзамены, и его зачисляют в третий класс калужской гимназии.

Мать пишет прошение в Дворянский полк, чтобы сына уволили в связи с болезнью. Какой? Скорее всего, это был предлог, чтобы особо не распространяться о причинах ухода из кадетского корпуса, еще год назад такого вожделенного. С тех пор не только слово «болезнь», но и она сама стала постоянным спутником жизни Константина Леонтьева. Мысли, как замечено, имеют способность к самореализации.

Обучение требовало денег, к тому же Феодосия Петровна не хотела, чтобы сын жил каким-то приживальщиком у калужских родственников Унковских. Мать сняла для него и горбатой тетушки Екатерины Борисовны Леонтьевой квартиру. Куда же милому дитяти без своей любимой тетушки, для которой племянник словно свет в окошке. Вот уж кому обязан Леонтьев, как говорится по гроб, так это тетушке, положившей за него жизнь. Мало того, каждую зиму Феодосия Петровна приезжала в Калугу и жила там месяцами, осуществляя дополнительный надзор за сыном, настроение которого так бывало непостоянно. Матриархат для Константина продолжался до 18 лет.

Под таким двойным контролем учился он хорошо, хотя и был чрезвычайно мечтателен и часто глядел в окно во время занятий, но старался избегать порок за неуспеваемость. Каких-то подробностей из гимназической жизни мы совсем не знаем, видимо, никто из преподавателей и учеников особенно не привлек его внимания, и мало что осталось в памяти,

о чем стоило бы сказать. В автобиографичных «Подлипках» о занятиях в гимназии почти совсем нет авторских суждений и впечатлений. Взгляду Леонтьева, любившего изящное, видимо, не за что было зацепиться.

Гимназистом 17 лет, будучи на каникулах в Кудинове, он опасно заболевает холерой. Доктор уже не надеялся на выздоровление, и Константин, испытывающий по-прежнему сильное влечение ко всему религиозно-мистическому, захотел исповедоваться и причаститься великих таинств. Привезли к нему священника Дмитрия Смирнова из села Велино. Константин так искренне исповедовался, убежденный, что переходит в другую жизнь, что отца Дмитрия тронула до слез искренность и вера мальчика.

Племянница Константина Леонтьева сухо замечает в своих воспоминаниях, что «вылечил его крестьянин-самоучка». Видимо, болезнь сыграла решающую роль в выборе будущей профессии для Константина. Обрадованная исцелением сына мать щедро одарила лекаря и, верно, подумала, как хорошо быть доктором: и людям от него великая помощь, да и деньгами излеченные пациенты не обделяют с радости.

После успешного окончания гимназии с правом поступления в университеты без экзаменов (их ввели с 1835 года) естественно встал вопрос: по какой стезе идти далее. Мать настаивала на получении диплома доктора, а повзрослевший сын вознамерился стать правоведом, так в ту пору называли будущих юристов, может быть потому, что двоюродный брат (сын Владимира Петровича Карабанова) правовед.

Отношения между матерью и оперившимся сыном носили, мягко говоря, непростой характер. Феодосия Петровна, похожая характером на «вспыльчивого мужчину», с трудом выносила претензии Константина на собственное мнение. Они часто спорили по любому вопросу, хотя и любили, точнее, обожали друг друга. Однако это обожание действовало в сознании, на расстоянии, а при сближении любое противное слово рождало неприятие, отторжение. У матери и сына были натуры «звезд», каждая из которых хотела блистать в обществе, быть исключительной и очаровательной. Жизнь мало предоставляла им таких возможностей, и настроение

у них всегда было на взводе, на грани срыва. Они, безусловно, походили друг на друга своей однополюсной заряженностью: горячие, прямые, не боящиеся ссор, порой вздорные, парадоксальные и… одинокие.

При выборе дальнейшего пути, видимо, пришли к такому компромиссу. Константин поступает в Ярославский Демидовский лицей с акцентом на подготовку правоведа, но если ему там не понравится, то он, выполняя волю матери, поступает на медицинский факультет Московского университета. Объясняя позже причины ухода из Демидовского лицея, Леонтьев писал о недовольстве уровнем лицейской подготовки. «В Ярославле я сам прожил осень 49-го года, от августа, кажется, до конца октября. – В Лицее студентом. Но тогда там так мало занимались, что я испугался и соскучился и перешел в Москву середи зимы на Медицинский факультет».

Думается, что причина зарыта глубже: «домашнему» 18-летнему юноше, одинокому по натуре, стало трудно среди пустых, по его мнению, сотоварищей по курсу. В душе он согласился с матерью, что блестящая Москва даст больше преференций в сравнении с провинциальным Ярославлем. Так как Демидовский лицей находился под патронажем Московского университета и Московского учебного округа, то перевод осуществился быстро: в ноябре 1849 года юноша Леонтьев стал посещать лекции на медицинском факультете.

Глава 4
Университет

Неизящное просто не соблазняло меня.
К. Н. Леонтьев

1

«Принят был в дом Охотниковых, на Пречистенке, против Троицы Зубово», – так отмечает Леонтьев начало своего университетского пе-

риода жизни. Поселяется он у молодой тетки Анны Павловны Карабановой, урожденной Охотниковой, второй жены дяди Владимира Петровича, того самого, что в Смоленске пытался сделать из юного Костиньки настоящего мужчину. Анна Павловна после смерти мужа перебралась в свое московское родовое родительское гнездо Охотниковых на Пречистенке, а летом жила в имение Спасское-Телепнево, завещанное ей Владимиром Петровичем, умершим в 1842 году.

«Есть на Пречистенке очень большой, длинный, трехэтажный дом против церкви Троицы в Зубове. Теперь в нем гимназия Поливанова; а тогда принадлежал богатой, пожилой и почтенной женщине Наталье Васильевне Охотниковой (мать Анны Павловны – *М. Ч.*)», – вспоминал Леонтьев о своем московском богатом пристанище. Великолепный дом с колоннадой и классическим фризом по фасаду за колоннадой, конечно, грел воображение Леонтьева своими изящными архитектурными формами. Дом – первый диссонанс в студенческом бытие будущего медика.

Леонтьев считал, что такой прекрасный и представительный дом, где бывает много богатых, известных людей, уже есть своеобразный залог для жизни на широкую ногу, однако… не для него эта яркая, шикарная жизнь. Порой бедному студенту не хватало денег на сытный обед, да и на завтрак тоже. Вот эти горестные признания: «Был против Университета трактир “Британия”, в который я ходил читать журналы, слушать орган и пить чай (завтракать часто я не смел, потому что не было денег)». От имения-то в Кудиново доход «капал» мизерный, а грезы от рассказов, слышанных от матери в детстве, несли в себе другой оттенок.

Мать встречалась с монархами и другими сильными мира сего, минуты и часы решали ее судьбу. А он? Романтические скитания то в Смоленск, то в Петербург, то в Калугу, то в Ярославль – где они? Вопросы без ответов. Они-то предрасположили Константина к драматизации своих ощущений. Эти чувства особенно усилились в университете среди множества незнакомых молодых людей, к ним надо или привыкать, или отвергать их, как не соответствующих его юношеским нравственным

и эстетическим установкам. Леонтьев тоже никому не был нужен, никто не бросался к нему с восхищенными возгласами, как в детстве, никто не обещал ему счастливой жизни, как обещала горбатая тетушка или мать. Константин в такой, как ему казалось, бездушной обстановке быстро утратил отроческие максималистские мечты о продолжении той благостной неги, что сопровождала его предыдущие годы. Осознание многолетней длительности этих скучных и нудных занятий приводило Константина в уныние, нагоняло тоску, ничто не давало успокоения измученной сомнениями душе, ничто не радовало ее. Соприкосновение с жесткой действительностью вызывало буквально физическое страдание, настолько она (действительность) расходилась с мнимыми ожиданиями. Позже Леонтьев охарактеризует свою юность, как «мечтательную, тщеславную и отвратительно-страдальческую».

Трагическое несовпадение того прекрасного, живого, праздничного, что он ждал от жизни, и того скудного, серого, неизящного, что имелось в наличии, вызвало сильнейшую хандру. И это состояние Леонтьева самокритично подтверждалось поздними воспоминаниями: «Я был самолюбив; хотел от жизни многого, ждал многого и вместе с тем нестерпимо мучился той мыслью, что у меня чахотка». Возможно, что и мысль о чахотке его мучила, но главное, думается, его тревожило отсутствие популярности, той известности, о которой часто говорила мать. Те завышенные оценки, что давали ему родные, и задержка в их осуществлении раздирали душу. «Все тогда мучило меня: безверие, жизнь в семье, болезни, безденежье, подавленное самолюбие, университетские занятия, которые мне не нравились и к которым я принуждал себя, чтобы кончить *во что бы то ни стало* курс в высшем заведении».

Товарищи по курсу не нравились. Леонтьеву казалось, что они ничего не понимают, и потом «у многих были такие некрасивые лица; а я всегда любил изящное даже и в товарищах», что они ни о чем не беспокоятся и думают только о своей карьере и об экзаменах. Веселая грубость однокурсников, терзающих трупы в анатомическом музее, силь-

но раздражала его, поэтому он долго не мог привыкнуть к «анатомке». Короче, ничего и никто не нравились. Да и как иначе, если опыт принуждения, данный впервые дядей Владимиром Петровичем в 11-летнем возрасте, был очень мал и несоизмерим с тем уровнем принуждения, которое предстояло усвоить в университете.

«Я же с утра до вечера думал и мучился обо всем. <…> Я был тогда точно человек, с которого сняли кожу, но который жив и все чувствует, только гораздо сильнее и ужаснее прежнего. <…> Что мне было делать, когда пришлось (не преувеличивая скажу) – плакать в трактире над историей этого “Лишнего человека”?» Имеется в виду повесть И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека», изданная в 1850 году. Страдания (не странное ли дело?) стали приносить неизъяснимую сладость и осознание своей исключительности на фоне однокурсников, довольствующихся малым в этой грубой, одномерной жизни. «Снять кожу», посыпать соль на рану, представить, что у тебя чахотка и воображать смертную муку, которая недоступна молодым товарищам. И одновременно все это приметы свободы от недалеких, по его мнению, студентов, ибо тоска и одиночество – это своеобразная плата за нее.

Юношеским осознанием своего «я» в этом подлунном неласковом мире мучился, конечно же, не один Леонтьев. Многие интеллигенты, в том числе известные писатели, прошли через испытание разрыва представлений о своем исключительном призвании и реальной действительностью. Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, Тургенев пережили подобное. Неудивительно, что образ мятущегося интеллигента стал сквозным в русской литературе XIX века, заставив весь мир говорить о «загадочной русской душе». Можно, наверное, утверждать, что эти сомнения в той или иной мере присущи каждому.

Потому-то молодой Леонтьев и плакал, по собственному признанию, над «Дневником лишнего человека», что Тургенев «угадал меня». На самом деле в повести есть много моментов «угадывания» судьбы Леонтьева. Это и отец – игрок, не имевший в доме «никакой власти», мать, что «падала под бременем своих достоинств и мучила всех, начиная с

самой себя». Да и сам он «был мнителен, застенчив, раздражителен, как все больные…», самолюбив, а порой «неестественен и натянут». Леонтьев в повести Тургенева находит в самом себе десятки похожих черт и начинает считать себя таким же «лишним», как тургеневский герой, у которого чахотка и который вот-вот умрет, не совершив в жизни ничего для своей славы и известности. Леонтьеву жаль себя, как и умершего героя Тургенева, и особенно его томила «равнодушная природа», что будет сиять красою и без него, единственного и неповторимого, а он «*отцветет, не успевши расцвесть*».

«Я на лекциях даже почти ни с кем не говорил и как будто боялся всех», – это ли ни есть свидетельство эгоцентризма. Даже друг нашелся для него в единственном роде и такой же, как и он, умный, наблюдательный, но еще более желчный и критичный и двумя годами старше. Алексей Георгиевский, земляк, сын коллежского асессора из маленького городка Боровска Калужской губернии. «У него, – вспоминал Леонтьев, – ирония и отрицание происходили не от недостатка поэзии или идеализма, а скорее от злобы на жизнь, которая не давала ему ничего». Жизнь также не давала ничего и Леонтьеву, и потому они временно сошлись. Сошлись до тех пор, пока жизнь стала что-то давать Леонтьеву, пока для него не забрезжило нечто похожее на литературную славу. Леонтьев находил, что Георгиевский является для него, как Мерк для Гёте, Мефистофель для Фауста, а горя и оскорблений от общения с ним больше, чем радости. Георгиевского считали в университете чудаком, тех же, кто с ним сближался, он подчинял своему уму немедленно. Леонтьев считал его гением, может быть, отчасти злым. Позже Леонтьев удивлялся, как он мог два года подчиняться уму Георгиевского и считал эту зависимость рабством.

Кроме товарищеского «рабства», Леонтьев попадает и в рабство любовное. Того, о котором поется: «И нежной страстью, как цепью, к ней прикован я». «Была одна девица, – вспоминал Леонтьев, – отношения наши <…> принимали разные формы от дружбы до самой пламенной и взаимной страсти. <…> …и эти отношения были какие-то нерешитель-

ные, неясные, шаткие и они причиняли больше боли, чем радости. – Есть одно стихотворение Ключникова

Я не люблю тебя, но полюбив другую,
Я презирал бы горько сам себя…»

Леонтьеву это стихотворение ближе и ценнее всех любовных стихотворений, ибо оно соответствовало тогдашнему грустному его настрою. Он находил «несказанное наслаждение» беспрестанно повторять эти строки не только про себя, но и вслух Зинаиде Кононовой, возлюбленной своей. Жестоко, не правда ли? Но и в жестокости этой, и в самой несчастной любви таится неразгаданная прелесть, что сжимает в пугливой истоме сердце.

В таком душевном разладе с самим собой находился студент-медик в первые два года обучения в университете. Чтобы выжить, Леонтьеву требовалось или резко усмирить свое непомерное честолюбие, или приступить к упорному труду, способному оздоровить психику. Надо было искать самоутверждения в чем-то. Надо было найти точки приложения сил и терпение для духовного перерождения. Судьбе было угодно подтолкнуть его к письменному столу, чтобы изложить свои дерганные любовные отношения, эту мучительную прелесть страдания, доверить бумаге сложные переживания, как любовные, так и чисто житейские. Так появилось первое художественное произведение Леонтьева «Женитьба по любви».

2

Он назвал произведение комедией, видимо, под впечатлением «Горя от ума» Грибоедова, хотя комедийного и в той, и в другой совсем нет, но велика сила моды тех лет. «Комедия эта была написана не для сцены, а для чтения. В ней, я помню, было много лиризма; потому что она вырвалась у меня из души», – анализировал зрелый Леонтьев.

И первым, кто оценил комедию, был именно Георгиевский, его гениальный друг, по признанию Леонтьева, любивший литературу и хорошо разбирающийся в ней. Написав комедию, Леонтьев читает ее Георгиевскому и еще одному верному товарищу по фамилии Ермолов, уроженцу Нижегородской губернии. После неспешного чтения, «с глубоким чувством», возбужденный Георгиевский встал, «его румяное и полное лицо утратило выражение гордости и насмешки, оно стало радостным; он обнял меня и сказал:

– Ну вот, Костя, что ж ты жаловался? Вот тебе и награда за страдания твои. Это настоящий талант.

Николай Ермолов тоже откликнулся:

– Знаешь, как странно видеть в своем близком знакомом вдруг такого даровитого человека!.. по правде сказать, я и не думал, что ты можешь так серьезно писать!

Леонтьев признавался: «Как меня все это ободрило и утешило – сказать не могу». К этому можно добавить, что друзья у Леонтьева были настоящие, откровенные и, в общем-то, верные и не лицемерные. Особенно Георгиевский, несмотря на желчность и злобу на неласковую жизнь, откровенно оценивший талант друга, посоветовал найти покровителя из литературного мира:

– Ты смотри, однако, – всем этим известностям не слишком уж верь. Они тоже ошибаться могут. Не верь им во всем. Верь себе больше – своему чувству; у тебя талант может выработаться большой. Скажут тебе – это дурно, это хорошо; а ты не слишком верь.

После встречи с Тургеневым (о чем речь пойдет ниже) Леонтьев, получивший одобрение знаменитого писателя, тут же изменился. «Я помню только, что мне вдруг стало гораздо *легче,* когда я написал ее». Моментально испарились и болезни, и плохое настроение, сразу же наладились отношения с Зинаидой Кононовой, даже курс университетского обучения вызвал интерес Леонтьева: «…в первый раз после долгого отвращения и тяжкой борьбы стал “препарировать” в анатомическом театре мускулы и жилы на отрезанных мертвых руках и ногах; делал

физиологические опыты под руководством профессора Глебова и заслужил даже его одобрение за представленный ему отчет о роде страданий и об образе смерти одного несчастного голубя…».

Обретение своего «я» состоялось! Появилась возможность блистать.

Но признание литературного дарования вызвало другую болезнь, теперь уже «звездную», острота ее острее любой другой, ибо заточена на грубом наждаке предыдущих страданий. Алексей Георгиевский стал казаться ему «все несноснее, придирчивее, несправедливее и неделикатнее». Леонтьев сам признает, что после счастливого знакомства с Тургеневым именно в это «время задумал впервые и решил прервать, наконец, все сношения с Алексеем Георгиевским», так как «его независимый и мощный ум не только не удовлетворял, но даже и подавлял меня беспрестанно». Завышенное самомнение услужливо подсказало Леонтьеву, что «*теперь* я в силах буду найти себе и помимо Г-го собеседников “наивысшего порядка” и что мой самодовольно-ядовитый и без достаточной причины придирчивый товарищ мне уж не так необходим для умственной жизни, как я с полгода тому назад воображал».

Леонтьев на летних каникулах в Кудинове, гуляя по живописным рощам и аллеям сада, вынашивает план разрыва отношений с Георгиевским. И вот: «Какая-то струна в сердце моем от этой думы, долгой и упорной, перетерлась и порвалась раз и навсегда, невозвратно!..». Как они похожи – мать и сын – даже в действиях, не говоря уж о характере. Вот уж воистину не столько карамазовская, но карабановская сила вступает в действие. Вспомним вещий сон Феодосии Петровны, предшествовавший разрыву отношений с нелюбимым мужем Николаем Борисовичем. Как он похож на «струну» Константина Леонтьева! Человек (муж, друг) стал не нужен, и его как отработанный материал можно выкидывать на свалку. Теперь есть знаменитый Тургенев, а резкого, прямого и нелицеприятного Георгиевского можно, мягко говоря, забыть. Ни к чему более мучиться сомнениями, которые возникают после справедливых слов друга, воспринимаемых как «личное злорад-

ство». Иное поведение молодой Леонтьев считает «слабостью и легкомыслием». Оправдывая себя, он замечает однокурснику: «Люди, голубчик, обучат решительности. Всему – и моей уступчивости, и моему ослеплению есть *предел*!».

Думается, что дядя Владимир Петрович Карабанов не счел бы подобное поведение мужественным. Тем более, Леонтьев в своих воспоминаниях, а они написаны в более чем зрелом возрасте (1887), откровенно признается в ненависти к Георгиевскому. Леонтьев вспоминает, как «исполнялся злобою и с наслаждением воображал его убитым и лежащим передо мной на земле в крови…». Часто ненависть возникает у человека, душой сознающего себя неправым в жестоком разрыве. И чем несправедливее проступок против друга, тем выше градус ненависти к нему. Такая вот диалектика отношений меж друзьями порой проявляется.

Леонтьев, вспоминая события тех юношеских лет, не осуждает свою меркантильность, цинично спрашивая, чем может помочь ему казенный студент Геогиевский, никому неизвестный, ниже его поставленный в обществе, в деле укрепления внешней силы для дальнейших литературных трудов, для создания литературной протекции, ободрения, помощи, советов. Следует вывод – ровным счетом ничем: «…чувство мое к нему было бескорыстнее, чем к Тургеневу, и мое “обожание” его ума безусловнее, чем почтение мое к дарованиям Тургенева». Значит, и Тургенев нужен ему лишь для укрепления «внешней силы» в литературных кругах. Леонтьевская искренность делает ему честь, признания своих недостатков – удел сильных мужчин.

В этих воспоминаниях Леонтьев похож на рефлексивных героев русской литературы XIX века, особенно тех, как ни странно, что создавал Достоевский, будущий антагонист Леонтьева. Может, потому и не любим, что схож? От испепеляющего самоанализа становится как-то неловко, и приходит мысль, что этими откровениями Леонтьев как бы дает нравственный завет молодежи: отходя от православной веры отцов, легко скатиться в болото вопиющей безнравственности и цинизма.

3

Лето 1851 года Леонтьев проводит в Кудинове и веселится от души. Радость от признания его литературных талантов кружит голову не только в танцах на балах, но и в славословиях родных и знакомых. Как же, он – литератор, которому благоволит сам Тургенев. Его собственная хронология свидетельствует об этом: «Балы в Изъялове, Перестремах и Конец-Полье» и новые знакомства – Иванов, Николай Детлов, Палицын, Анночка Лаптева.

Зимой на третьем курсе вновь серьезно заболевает. Возможной причиной могло стать излишне экзальтированное поведение: «…Я помню, как меня душило платье в минуту ревности; я убежал с танцевального вечера, не спал всю ночь, курил и затягивался так насильно до тех пор, пока кровь не показалась горлом; хотел стреляться с соперником; написал ей (Зинаиде Кононовой – *М. Ч.*) ночью письмо до такой степени пылкое и грустное, что она сама на другой день бросилась ко мне в объятия… И отчего вся эта буря? Оттого, что она на вечере была в черном платье с голубыми бантами на голове; оттого, что нежная бледность ее в этот вечер доводила меня до безумия; оттого, что она, любя меня от всей души, захотела только повеселиться с Т…». Противник дружеского «рабства» со стороны Геогиевского, он хотел устроить рабство для своей возлюбленной Зинаиды Кононовой. Если же она ему не повиновалась, он вводил себя в состояние болезни, чтобы непокорная девушка почувствовала себя виновной и бросилась бы к нему с раскаянием.

Трудно сказать, какова была истинная причина болезни в зиму 1852 года, но она заставляет студента третьего курса Леонтьева бросить учебу и уехать в Кудиново. Весеннюю сессию он пропускает, а лето проводит в нижегородском имении Бритове у однокурсника Николая Ермолова, того, кому он читал свою комедию. Такое многомесячное житье у знакомых и друзей было в порядке вещей того времени. Достаточно вспомнить гостевой приезд Базарова к Аркадию Кирсанову в романе

Ивана Тургенева «Отцы и дети». Хорошая, к слову сказать, традиция того времени, способствующая сближению дворян, но к сплочению против нарождающегося «третьего элемента» не привела.

Осенью 1852 года «прогульщик» Леонтьев не сдает экзамены за третий курс и остается на второй год для более глубокого овладения предметами этого курса. «…Я пять лет подряд в Москве все грустил, все раздирался, все анализировал и себя и других, и, содрогаясь, все подозревал, что и меня другие анализируют с “язвительной улыбкой”; все учился и нестерпимо мыслил; мыслил и учился <…> Болезненно любил, болезненно мыслил, беспокойно страдал, все высокими и тонкими страданиями… Я вспоминал об этом с ужасом и почти со стыдом…», – самокритично признавался Константин.

Этой же осенью, восстановившись на третьем курсе, ближе к зиме он едет по приглашению Ивана Тургенева в Спасское-Лутовиново. Трудно сказать, пошло ли это совместное житье-бытье Леонтьеву на пользу, но вот что отметил Иван Сергеевич Тургенев в письме Павлу Анненкову от 10 января 1853 года: «У меня гостил несколько дней Леонтьев… Талант у него есть, но он весьма дрянной мальчишка, самолюбивый и исковерканный. В сладостном упоении самим собой, в благоговении перед своим “даром”, как он выражается, он далеко перещеголял полупокойного Федора Михайловича (Достоевского – *М. Ч.*), от которого у Вас так округлялись глаза. Притом он болен и раздражительно плаксив, как девчонка».

Это, так сказать, за глаза. В этой характеристике великого писателя много правды: именно таков Леонтьев в молодости. Главное, что Иван Тургенев имел полное право критиковать своего ученика. Прежде всего как литературный наставник, сделавший для него очень многое, и как воспитатель, что возился с ним как с собственным дитятей.

Получив хороший урок (второй год на одном курсе), Леонтьев, наконец-то, вникает в основной предмет – медицину. Оценка преподавателей также меняется в лучшую сторону, ведь многие из них самозабвенно отдавали профессии свое время, здоровье и знания. «Он учил

нас самому нужному в жизни, – практическому врачебному эмпиризму: приучал нас подступать к больному, учил сразу *диагностике* и частной *терапии* (лечению). <…> Он говорил все такие ясные, ощутимые вещи; у постели больного он обращал наше внимание на такие частности, которые раз и навсегда оставались в памяти», – так он отзывается о профессоре Млодзеевском. Наряду с обязательными предметами Леонтьев увлекся френологией, наукой, которая ставит своей целью нахождение взаимосвязи между размерами и строением черепа и умом его обладателя. Изучал ученые труды сторонников френологии, читая книги Галя, Шпурцгейма, Комба, Каруса, Гучке и по-интеллигентски мечтал найти «в *физиогномике* или в какой-то *Физиологической психологии* исходную точку для великого обновления человечества, для лучшего и более сообразного с “натурой” людей распределения занятий и труда». В студенческие годы он с надеждой смотрит в светлое будущее, утопически веря в прекрасное, здоровое человечество.

Типичные рассуждения возвышенного романтика и «крайнего демократа», таковым считает себя Леонтьев в эти студенческие годы. Он признавался, что «юношей заплатил дань европейскому либерализму», вызванного неумеренным и малокритичным чтением произведений сторонников демократического радикализма: Жорж Санд, Белинского, Герцена. Доказательством мировоззрения Леонтьева в те годы служит спор с матерью, касающийся Зинаиды Кононовой, предмета его любовных страданий. Мать, недовольная его выбором, критикует избранницу сына, приговаривая, что она лукава, нехороша собой, старше его и не обладает достойными душевными качествами. Раздраженный Константин вскипел:

– Я знаю о Вашем преклонении перед Императрицей Марией Федоровной, но никогда его не критиковал, не касался я и Ваших монархических чувств, несмотря то, что мне *республика гораздо больше нравится*.

Политика в юношеские годы Леонтьева не интересовала, все отношение к ней определялось чувствами на уровне «нравится» – «не нра-

вится», как в вышеприведенном споре. Леонтьев сам в этом откровенно признавался: «О государственных собственно вопросах и я не размышлял в эти годы; я даже вовсе тогда не понимал их и не искал понимать, сводя все на вопросы или личного счастья, или личного достоинства, или к поэзии встреч, борьбы, приключений и т. д.».

Патриотично настроенный и романтичный юноша Леонтьев со своим «внутренним міром», со своими идеалами «в то время скорей всего Жорж-Сандовскими» решает отправиться на Крымскую войну за свежими впечатлениями. Еще до войны, студентом, по его собственному признанию, он много думал о войне, боялся, что при его жизни не случится никакой большой и тяжелой войны. «И на мое счастье» она начинается, тогда он из числа тех, кто «больше думает о *развитии* собственной личности, чем о пользе людей», подает рапорт с целью дальнейшего своего развития. Сильный и смелый ход! Он словно прочитал мысли Тургенева и решился не быть «дрянным мальчишкой, исковерканным и самолюбивым». Уже в юношестве Леонтьев мог похвастаться сильно развитой интуицией (недаром ее называют Божьим даром), впоследствии составившей главное достоинство его историософии, всех его публицистических трудов.

Судьба бывшего друга Георгиевского печальна. Леонтьев вскользь замечает, что тот покончил с собой то ли в 1864, то ли в 1865 году. Нетрудно предположить, что и сам Леонтьев аналогичным образом мог закончить счет своих земных дней, продолжи он жизнь в постоянных душевных компаниях, коими отличался в студенческие годы. Тем не менее именно им, подтолкнувшим его к мысли, что достижение личной цели – это еще не все, он обязан духовному спасению. Каждый человек для полного личностного выражения должен подчинить себя цели, которую ставит перед ним государство, тем более такое большое, как Россия. И он находит в себе силы, недоучившись, «освежить» себя «в грубой и тяжкой жизни в глуши», то есть на войне и в работе, необходимой России.

В идеях его сила и спасение.

Глава 5
Тургеневские уроки

Я был уверен в себе и в своей блестящей судьбе.

К. Н. Леонтьев

1

Студент Леонтьев, выплеснув себя и свои чувства в комедии «Женитьба по любви», не решается верить друзьям и себе, что она хороша, и по совету Георгиевского стремится отдать ее на суд зрелому и опытному литератору. Он думал о графине Растопчиной, о Евгении Тур, об Александре Островском с его прославленной комедией «Свои люди, сочтемся», и колебался, хотя чувствовал себя достаточно смелым, чтобы решиться на этот шаг. Эстетичность, впитанная с молоком матери, требовала «советника *джентльмена*, барина, дворянина хорошего, с такой же болеющей душой, как моя, но с весом… и, не зная лично Тургенева, все мечтал о нем».

Помог случай. Упорным мыслям и мечтам часто свойственно реализовываться. Весной 1851 года Леонтьев в газете находит объявление, что братья Тургеневы вызывают должников и заимодавцев скончавшейся их матери по адресу «Дом Лошаковской на Остоженке». Не откладывая дело в долгий ящик, поутру Леонтьев «с стесненным сердцем» отправился с рукописью на литературный суд к вожделенному Тургеневу.

Сидит Леонтьев в приемной и мечтает о «джентльменской» внешности Тургенева. Всех, с кем его сводила судьба, он автоматически делил на достойных знакомства с ним и недостойных. В данном случае встреча вынужденная, предпринята им, значит оставалось лишь заклинать, чтобы литературная знаменитость отвечала его представлениям о внешней красоте. Внешне привлекательному человеку Леонтьев многое прощал,

полагая, что красивая форма неразрывно связана с богатым внутренним содержанием. К горбатой уродливой тетушке Екатерине Борисовне, даровавшей ему своим уходом жизнь, он относился согласно своей теории, отмечая высоту ее подвижнической натуры.

Судьба благоволит Леонтьеву: Тургенев красив внешне: «Росту он огромного, широкоплечий, глаза глубокие, задумчивые, темно-серые, волосы у него тогда темные густые, курчавые с небольшой проседью; улыбка обворожительная; профиль немного груб и резок, но резок барски и прекрасно. Руки как следует красивые “des mains soignees”* и большие, мужские руки. Ему было тогда около 30 лет. Надет на нем был темно-малиновый шелковый летний шлафрок и белье прекрасное. Если бы он и дурно меня принял, то я бы за такую внешность полюбил бы его. Я ужасно был рад, что он гораздо *героичнее* своих *героев*».

Теория Леонтьева о тесной связи внешней красоты и внутренней в случае с Иваном Сергеевичем Тургеневым оказалась верной на 100%. Писатель отличался редкой добротой и отзывчивостью, он любезно принял молодого автора. Отчасти растерявшийся Леонтьев отвечает на рукопожатие, извиняется, что забыл прицепить шпагу, и, ни слова не говоря, садится в кресло и начинает читать комедию. Прослушав четверть часа, Тургенев советует автору оставить ему рукопись для более внимательного прочтения и обдумывания содержания.

Через день Тургенев принимает Леонтьева, и они «говорят долго». Нетрудно представить, как волновался начинающий автор, но результат превзошел все его ожидания: Тургенев похвалил его: «У вас большой талант…<…> Описания ваши очень милы. Эти серо-зеленые холмы…. Это правда: в таких местах бывает много серого мху. <…> Не портите только вашего светлого таланта каким-то юмористическим любезничаньем с читателем… <…> Кончайте вашу комедию и ваш роман, и я их напечатаю в Петербурге. Не торопитесь и о деньгах не думайте. Если будет очень нужно, я вам дам лучше. Только не портите

* Холеные руки (*фр.*).

вашего таланта и не давайте без моего совета редакторам эксплуатировать себя – они рады заставить вас писать фельетоны и тому подобную гадость».

Трудно припомнить в мировой литературе случай подобного благожелательного отношения к начинающему автору. Несомненно, что у Тургенева много дел: и бытовых, касающихся заимодавцев матери, да и литературных: он готовил «Записки охотника» к выходу отдельным изданием, но искреннее желание помочь молодому человеку для него неоспоримо. Он советует Леонтьеву быстрее закончить комедию и обещает доставить в Петербург, устроив ее в «Отечественных записках» по 50 рублей за лист (печатный), то есть за ту же цену, что и сам получал.

Летом Тургенев и Леонтьев разъезжаются по своим имениям: один в Орловскую, другой в соседнюю, Калужскую губернию. Леонтьев отшлифовывает комедию и отсылает ее по почте Тургеневу. Вместе с ней направляет начало небольшой поэмы, написанной «плохими гекзаметрами». И тотчас же, на следующий день (12 июня 1851 г.) по получению рукописей, Тургенев отвечает юному дарованию длинным любезным письмом, в котором проводит тщательный разбор стихов Леонтьева, оговариваясь: «Позвольте сообщить вам несколько замечаний о гекзаметре, которые, я надеюсь, не будут вам бесполезны, и не взыщите за наставнический тон».

В своих воспоминаниях 1887 года Леонтьев отдает долг вежливости учителю: «…оно (письмо. – *М. Ч.*) делает большую честь его доброму сердцу и его литературной добросовестности».

Тургенев заканчивает эпистолу следующими теплыми словами: «Пока будьте здоровы, работайте. Смею думать, что вы теперь не сомневаетесь в желании моем быть по мере сил полезным вам и вашему таланту; надеюсь, что со временем к чувству литературной симпатии прибавится другое, более теплое чувство – личное расположение. Желаю вам всего хорошего.

Ваш покорный слуга Иван Тургенев».

Осенью 1851 года Тургенев повез рукопись комедии «Женитьба по любви» в Петербург в журнал «Отечественные записки», издаваемый известным редактором и журналистом Андреем Александровичем Краевским, ранее помогавшим Пушкину в издании «Современника». Он да критик журнала Степан Семенович Дудышкин «взяли ее с радостью и согласились дать сразу 50 руб., т. е. тургеневскую тогдашнюю цену». Однако цензура сочла комедию безнравственной и не пропустила ее. Тургенев вернул в Москву перечеркнутые листы рукописи и дал Леонтьеву в утешение письмо редактора Дудышкина. Тот дивился таланту юного автора и советовал крепиться и не переживать. Тургенев тоже успокаивал Леонтьева, надеясь, что тот не падет духом, а лишь умножит силы к написанию новых произведений.

Самоуверенный Леонтьев, по собственному признанию, ничуть не расстроился: «Мною надолго, надолго тогда овладело в отношении искусства какое-то торжественное спокойствие». Что скрывается за словами «торжественное спокойствие»? Может быть, Леонтьев возомнил себя богом на Олимпе, и потому за дальнейшее будущее вовсе не беспокоился. Еще проще – Леонтьев зазнался из-за неумеренных, большей частью, авансовых похвал Тургенева, Краевского, Дудышкина.

Между тем шефство Тургенева над Леонтьевым продолжилось. Поздней осенью 1852 года Тургенев по пути в Петербург остановился на несколько дней в Москве и несколько раз встречается со своим протеже. Тургеневская доброта и отзывчивость – естественная русская потребность в благодарных учениках, продолжателях общего дела. На этот раз Тургенев вводит его в круг известных литераторов, встречающихся в доме у графини Елизаветы Васильевны Салиас-де-Турнемир (псевдоним Евгении Тур), родной сестры будущего известнейшего драматурга А. В. Сухово-Кобылина, автора будущей комедии «Свадьба Кречинского», также вначале запрещенной цензурой, но потом с успехом опубликованной. Леонтьеву, прежде всего, нравится его внешность: «Это был тогда очень смуглый и очень краси-

вый брюнет, собою видный, рослый, с чрезвычайно энергичным выражением лица».

Сильные и умные личности – явная слабость Леонтьева, и любуется он ими как литератор и как… женщина. Ибо только она способна так тонко подмечать малейшие особенности фигуры, движений головы, повадок…

В юные годы Леонтьев еще не исповедовал тот радикальный эстетизм, выраженный им позднее в статье 1863 года «Наше общество и наша изящная литература»: «Когда лицо сильно, оригинально и полно движения – оно уже не вполне отрицательно, как бы вредно оно ни было. <…> Художнику меньше, чем кому-нибудь, позволительно определять людей односторонними признаками нравственно-политических, религиозных или антирелигиозных направлений». В восьмидесятые годы он назовет эту мысль вредной, но свое крайнее воплощение она найдет в романе «В своем краю» (1864).

Как-то раз Леонтьев завел с Иваном Сергеевичем Тургеневым разговор на тему физиологического эстетизма:

– Не знаю, что это на меня действует: медицинские ли занятия развивают во мне потребность какого-то сильного физиологического идеала, или это требуют мои художественные наклонности… только я ужасно люблю смотреть на людей сильных, здоровых, красивых; я когда шел к вам в первый раз, ужасно боялся, что найду вас похожим или на чахоточного «Лишнего человека», или, еще хуже, на «Щигровского Гамлета»… Особенно не люблю, когда литераторы с виду плохи, – так мне тяжело и грустно…

Лицо Тургенева помрачнело, глаза сделались задумчивыми и грустными, Леонтьев, не зная причины, прекратил этот разговор. Позднее он выяснил, что Тургенев физически не очень-то и крепок и у него слабое сердце.

И вот салон знаменитостей. В нем 20-летний Леонтьев знакомится с Н. П. Кудрявцевым, Т. Н. Грановским, М. Н. Катковым, П. М. Леонтьевым (соиздатель с Катковым «Московских ведомостей»), Е. М. Фе-

октистовым, графиней Е. П. Растопчиной, В. П. Боткиным Для литератора, которому прилично одеться проблема, такие знакомства более чем достаточны, если не сказать избыточны. Был бы талант да трудолюбие, а деньги на богатую одежду приложатся от собственных литературных заработков.

Оценка его таланта постоянными участниками салона графини Салиас-де-Турнемир явно завышена, но Леонтьев этого не чувствовал и тогда, и спустя десятки лет. Вот два эпизода.

Как-то он описал зимнее утро в барской усадьбе: «Если б вы знали, какая томящая тоска охватила мою душу! На дворе чуть брезжило; окно мое было в сад, и за ночь выпал молодой снег, покрыл куртины и сырые сучья. Если вы никогда не видали первого снега в деревне, на липах и яблонях вашего сада, то вы едва ли поймете то глубокое чувство одиночества, которое наполнило мою душу!» Довольный Леонтьев на следующий день привез этот литературный этюд в салон Евгении Тур. Хозяйка, выслушав, сказала: «Лучший бы из русских поэтов не постыдился бы подписать под этим имя свое».

Леонтьев с величайшим удовольствием вспоминал и такой эпизод. Как-то Тургенев, полулежа в гостиной у Евгении Тур на диване «в какой-то львиной позе», рассуждал о «новом» слове в русской литературе и о тех писателях, кто потенциально мог бы сказать это слово. В частности, он заметил, что «ни от меня, ни от Писемского, ни от Гончарова он *нового слова* не дождется. – Его могут сказать только двое молодых людей… Лев Толстой и вот этот». И, не меняя своей барской позы, Тургенев указал на Леонтьева пальцем.

По признанию Леонтьева: «Я даже не покраснел и принял это лишь *как должное*». Нет слов, чтобы передать, как важна творческая смелость для начинающих писателей, ведь неумеренная самокритика, переходящая в неуверенность, может погубить и гения. Однако и зазнайство не способствует творческому совершенствованию, как и неуверенность в своих силах. Такова природа творчества. Другое дело, что природа или Бог, как угодно, отпускает гениям в большинстве сво-

ем мало времени для жизни. Трудно понять почему: то ли гении заслоняют людям путь к Богу, и он, недовольный, сокращает им жизнь, то ли гении быстро распыляют свой потенциал…

2

Леонтьев после первой неудачи во взаимоотношениях с петербургскими цензорами создает повесть «Немцы», и опять цензура, уже московская, не пропускают ее. Тогда Евгения Тур решила помочь молодому автору. Она просит Каткова прочитать повесть и пристроить ее в своих «Московских ведомостях». Каткова леотьевское сочинение удовлетворило, при этом заметил, что для такого молодого человека повесть написана «не-лично», и это свидетельство большого таланта. Московский цензор пропустил ее, переменив лишь название: вместо «Немцы», он предложил «Благодарность». Она стала первой художественной вещью молодого Леонтьева, опубликованной в печати, – газете «Московские ведомости» (номера 6–10 за 1854 г.). Вместо фамилии автора красовались три звездочки. Почему? Трудно сказать, тем более, учитывая самоуверенность автора. Как-то нелогично для человека, желающего стать известным: ведь надо же приучать читающую публику к своей фамилии. Хотя Леонтьев имел особое мнение по этому поводу, говоря о своей первой повести: «Маленькая повесть в газете и небольшая похвальная статья в журнале – имени никому не дадут». Можно спорить: ведь курочка, как говорится, по зернышку клюет, да и тираж газеты был несравненно выше, чем, например, журнала «Отечественные записки». Кстати, в них Краевский посвятил повести «Благодарность» небольшую, но «очень похвальную статью в Библиографии и жаловался, – зачем автор *этого милого произведения скрыл свое имя».*

Это обстоятельство – первый повод усомниться в излишнем самомнении Леонтьева, которое он сам на себя напускает. К тому же, отдавая Константину Николаевичу должное, через 20 лет он критически относится к своим первым вещам, называя их негениальными и незрелыми.

Особенно не любил повесть «Лето на хуторе», «очень яркой описаниями и которую я терпеть не могу. Ибо – в ней все фальшиво с начала до конца, кроме некоторых сторон характера девушки Маши, списанной с одной горничной». Замечательно и полно охарактеризовано, так, что трудно что-либо добавить, особенно к характеристике, выраженной словом «фальшиво». Именно оно первым приходит на ум при чтении этой повести. Все очень возвышенно и… пусто. Не трогает ни ум, ни сердце!

Но знаменитые покровители, казалось бы, знатоки человеческих душ, писатели продолжали невольно портить и без того не простой характер незрелого и до боли самовлюбленного юноши Леонтьева. Кроме похвал, они стали баловать его деньгами. «Я испытал в то же время и два других удовольствия – я в первый раз получил деньги за мое сочинение и при этих деньгах очень лестное приравнение к Грановскому». Будущий сенатор и начальник главного управления по делам печати Евгений Феоктисов, двумя годами старше Леонтьева, по просьбе Михаила Каткова, редактора газеты «Московские ведомости», заехал к Леонтьеву на Пречистенку и высыпал на стол около 75 рублей серебром, говоря: «Михаил Никифорович извиняется, что мало. – Газета очень бедна и больше 3-х рублей за столбец не может дать. Это цена Грановского».

Перечисление денежных авансов и заимодавцев доставляет Леонтьеву явное удовольствие. Вот он написал «два слова» Краевскому, и тот выслал ему 50 рублей. Леонтьев удивительно быстро привыкает к богемной жизни: блистать во всем – его слабость, перенятая от матери. «Мне для одной простенькой любовницы занадобилось еще – я поехал на три дня в Петербург, и он (Краевский – *М. Ч.*), ни слова не говоря, дал еще 150 рублей». Авансы, авансы, авансы. Словесные, денежные.

Феоктистов, строгий нравами, нелицеприятно отзывается в письме Тургеневу (24 декабря 1851 г.) о молодом Леонтьеве: «Он мне решительно не нравится: знаете ли, ведь это тоже губитель женских сердец… Признаюсь Вам, я не вижу даже в нем того ума, который Вы в нем находите».

Естественным продолжением такого образа жизни могла стать для Леонтьева судьба его брата Александра, «ярмарочного и трактирного льва, обольстителя, игрока и щеголя». Потому что почти сразу же за кратковременным всплеском, вызванным конфликтно-эмоциональной любовью, у Леонтьева начинается творческий кризис. «Я думаю, что в развитии каждого художника бывают попеременные эпохи искажения и возрождения. После 52 года именно, я думаю, на меня нашел период искажения. Меня ничто не удовлетворяло в моем творчестве. **Раз** (выделено мной – *М. Ч.*) излив свои страдания и свои мечты об успокоении, я уже не знал, что бы мне выдумать поглубже, позамысловатее…».

Леонтьев вначале ищет причины творческого застоя не в отсутствии жизненного опыта и ярких впечатлений, не в богемном образе жизни, не в связях с любовницей и потерей времени на нее, а на стороне. Его мнение на этот счет: «…препятствий творчеству было много разом; я их перечту: моя страсть… занятия наукой; влияние научных приемов, охлаждающих порывы искусства; советы Тургенева – не спешить; писать, но не печатать».

И тем не менее Леонтьев нашел в себе силы, чтобы покинуть богемную среду.

3

Спектр общения с Тургеневым был достаточно широк: разговоры о литературном стиле и приемах, о писателях и просто о жизни и отношении к ней. Однажды Леонтьев изрек, что хочет жениться. Тургенев, влюбленный в Полину Виардо, дал следующий совет:

– Нехорошо художнику жениться! Если служить Музе, как говорили в старину, так служить ей одной; остальное все надо приносить в жертву. Еще несчастный брак – может способствовать развитию таланта; а счастливый никуда не годится.

По сути, Тургенев повторяет афоризм Сократа, сказавшего: «Женитесь обязательно; если вам попадется хорошая жена, вы будете

счастливы. Если плохая – станете философом». Сам Тургенев, прожив 65 лет, так и не женился, а без взаимности любил замужнюю Полину Виардо, содержа, по сути, ее семью. В студенческие годы Тургенев обольстил крепостную девушку, родившую ему дочь. Позднее он ее удочерил и отправил во Францию, в дом Виардо, с которой познакомился в 1843 году, и хорошо знал на собственном опыте, что советовать Леонтьеву. В частности, Тургенев рекомендовал ученику быть «больше лихим», чем углубленным в себя и в свои чувства, и подходить к женщине «с мыслью, что нет недоступной, что и эта может стать нашей любовницей». Этот совет Леонтьев в жизни использовал широко и даже вложил в уста Алкивиада в повести «Аспазия Ламприди», когда его девушка обвенчалась с другим: «Нет милой жены, но зато есть свобода отыскать другую, еще более милую».

«Такая жизнь, более буйная, была бы вашему таланту гораздо полезнее…», – заключил Тургенев. Леонтьев запомнил этот совет опытного наставника и постарался, может быть даже излишне, быть «лихим».

Первые уроки литературного эстетизма Леонтьев получил именно от Тургенева. Достаточно вспомнить всего лишь один эпизод. Леонтьев написал в повести «Булавинский завод» (неопубликованной), что «и забор не ускользнул от проказ трубы», на что Тургенев с усмешкой заметил:

– Не острите; бросьте это; у вас может выработаться спокойное, светлое или грустное миросозерцание, но юмористику в искусстве вы оставьте.

И добавил, что проще и лучше написать: «забор был закопчен». И более поздняя гордость Леонтьева, что никогда в своих произведениях не платил дань «взвизгиваниям реализма» и не использовал слова типа «сопение», «сморкание», «взъерошенный», во многом обязана урокам Тургенева, хотя тоже немного страдавшего от этого «реализма».

Однако следующим советом Тургенева Леонтьев пренебрег. По признанию Леонтьева, учитель часто повторял, чтобы тот не торопился печататься, имея в виду качество созданного. Конечно, он видел недостатки Леонтьева, но добрый душой Тургенев искренне желал уберечь юного

автора от ошибок. Тургенев говорил близким друзьям: «Надо “Немцы” Леонтьева отдать Краевскому, а “Лето на хуторе” в “Современник” – вот у молодого человека и вырастут крылья». Тургенев убеждал Леонтьева, что он сам счел бы за счастье уничтожить некоторые прежние свои повести и стихи, что «прежде 30 лет редкий писатель произвел истинно хорошие вещи».

Анализируя свое творчество в период между 1854 и 1861 годами, Леонтьев признавал, что за семь лет напечатал мало, всего лишь четыре вещи: «Лето на хуторе», рассказ «Сутки в ауле Биюк-Дорте», комедию «Трудные дни», повесть «Второй брак». Но и количество законченных вещей у него такое же в этот период! Таким образом, все, что им написано, было и опубликовано, а вот с этим-то как раз и стоило повременить, по совету Тургенева. Не случайно Леонтьев через 30 лет подверг эти вещи жесточайшей критике, называя их «очень плохими» по причине похожести изложения на «ненавистную господствующую у нас школу», что в них «слишком заметно влияние Тургенева и тому подобных!..». Но никто еще в мировой литературе не называл произведения Тургенева «плохими», и надо признать, что Леонтьев очень несправедлив к своему учителю, что не делает ему чести. Тем более, в молодости Леонтьев отмечал: «И если не всему, то очень, *очень многому* в этом просветлении моей жизни был главной причиной Тургенев. Он наставил и вознес меня; именно *вознес.* Меня нужно было *вознести*, хотя бы только для того, чтобы поставить на ноги». «Плаксивый, дрянной мальчишка» нетнет и просыпался в нем.

Тургенев пытался «помирить меня с гением (Гоголем. – *М. Ч.*), которого последние и самые зрелые, но злые все-таки и сухие творения («Ревизор», «Игроки», «Мертвые души») почти заслонили от меня все эти другие восхитительные его повести; восхитительные не только по форме, но и по содержанию, по выбору авторского мировоззрения». Речь идет о «Тарасе Бульбе», об очерке «Рим», повести «Вий», но Леонтьев «забыл» о «Выбранных местах из переписки с друзьями», «Размышлениях о Божественной литургии», «О тех душевных расположениях и не-

достатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии». Уж эти-то произведения должны бы понравиться зрелому Леонтьеву, с которым уже произошел нравственный перелом (1871), вернувший его к сердечному православию. Но нет. Все творчество Гоголя, к которому «питал личное нерасположение», Леонтьев рассматривал, как вещи, созданные «неприятным половым». И не изменил взгляда на протяжении всей своей жизни, считая, что Гоголь слишком чернит российскую действительность...

Неоценимо одобрительное слово, произнесенное знаменитым писателем любому начинающему автору. Сказал это слово Тургенев редактору «Отечественных записок» А. Краевскому, и дверь в журнал открыта всем вещам Леонтьева, даже слабым, по его позднему признанию. Студент, военный и гражданский лекарь, начинающий чиновник министерства иностранных дел России был постоянным автором этого известнейшего российского журнала на протяжении 12 лет. Одно слово! И оно действовало до поры перехода журнала в руки Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина, ярых антагонистов Леонтьева. В «Отечественных записках» опубликованы романы, повести, очерки и статьи: «Лето на хуторе» (1855), «Сутки в ауле Биюк-Дорте» (1858), «Письмо провинциала к Тургеневу по поводу романа “Накануне”» (1860), «Второй брак» (1860), «О сочинениях Марко Вовчка» (1861), «Подлипки» (1861), «В своем краю» (1864), «Ай-Бурун» (1867).

4

Пока же никто, ни Тургенев, ни Леонтьев, не знает, каким фиаско закончится их столь благостно начавшееся знакомство.

Между тем у Леонтьева появляются первые сомнения в ценности того богемного образа жизни, в который он все более и более погружался. Легкие деньги, легкодумные заимствования под будущие повести и романы, балы, любовницы. Он решается на мужественный поступок: бросить налаженную на первый взгляд светскую суету и идти на войну.

И это мужское решение, его решение, несомненно, делает ему честь. Наверное, он в это время думал о дяде Владимире Петровиче, дававшем ему первые уроки мужества, и представлял, что он одобрил бы поступок племянника. Как одобряли его и Катков и Тургенев.

Катков, благоволивший ему, советовал:

– Я очень рад, что вы едете в Крым; хоть вы и не будете в строю; но все-таки, может быть, окуритесь порохом. Во всяком случае – смолоду поживете широкой, действительной жизнью.

Фраза эта о «действительной жизни» как противопоставление той, которую он проживал, укрепляла дух Леонтьева.

Тургенев также поддержал намерение Леонтьева сменить образ жизни. Ему ли, написавшему три года назад о плаксивости Леонтьева, не знать, как нужна, просто необходима мужская встряска изнеженному jolie garcon (милому мальчику) Леонтьеву:

– Смелей бросайтесь в жизнь! Смелей! Женщины! Лошадь, товарищи… Вы ведете жизнь одинокую и все заняты вашим внутренним миром; оставьте разбор самого себя. Greifft hinaus ins vollen menschenleben!*

Собственное решение, поддержанное великими покровителями, «уроки патриотизма и монархического чувства», заложенные в детстве, интуиция, постоянное желание развиваться – все это ложится на чашу весов судьбы. Как позже заклинал его герой из повести «Исповедь мужа»: «Боже, дай мне силы быть счастливым», так примерно восклицает и Леонтьев (иначе, откуда же эти откровения?), отправляясь на войну.

Безусловно, что Леонтьев, общаясь с опытными писателями, научился писать романы в контексте общественной пользы и морали, которым отдали дань многие, в том числе и Тургенев, но Леонтьев хотел развивать только свою личность, а не читателей.

«Я в Москве имел уже сам связи с людьми известными, влиятельными, богатыми, с учеными, с литераторами… Я по охоте бросил все это, оставил не комнату, а хорошие комнаты в доме богатых родных Охотниковых, общество молодых девушек, которые говорили по-английски,

* Черпайте жизнь человеческую полной мерой (*нем.*)

грассировали и танцовали на лучших московских вечерах. Я бросил все это именно для того, чтобы кинуться головой вниз в жизнь более грубую, более страшную, более тяжкую для тела, но более здоровую и легкую для души и ума… Игра моего воображения внушала мне, что стыдно мне, поэту, когда другие воюют и лечат воюющих, просто жить студентом, который сидит с книжками…».

После экзаменов, завершивших четвертый год обучения (18 мая 1854 г.), и не окончив полного университетского курса, Леонтьев с низшим званием «лекарь» добровольцем уходит на фронт. Никто не заставлял его предпринимать этот шаг, никто не подталкивал. Сам решил, сам написал заявление о сдаче промежуточных экзаменов на «лекаря». Хотя понимал, что такое обращение к нему, как «лекарь», звучит несколько неуважительно, подчеркивает явную степень незаконченности образования, некого несовершенства, с которым он впоследствии будет истово бороться.

Будучи не «казенным студентом», Леонтьев имел право выбирать место службы, и он в своих прошениях четко указывал два пункта: Севастополь и Керчь. Указывал потому, что там ожидались военные действия. В Севастополе ему было отказано из-за отсутствия вакансий, осталась только Керчь, куда Леонтьев и направляется в августе 1854 года.

По дороге заезжает в милое свое Кудиново – собраться, проститься. В гости к ним приезжает сын знакомых Илья Карпинский, будущий чиновник 4-го департамента Правительствующего Сената. Позже тот напишет в дневнике:

«Знаете ли что, гос. Новый Литератор, когда я вспоминаю Кудиново, то невольно мысленно переношусь в то место сада, где мы некогда с вами купались, – где ваше пылкое воображение, Молодой Литератор, воспламенялось в высшей степени. Помню, как вы однажды, вообразив себя диким, вымазывались глиной и нападали на меня врасплох. Тогда я вооружался – и была потеха.

Потом переношусь в то место, где мы ездили верхом, т. е. я и вы, Милый Литератор, и где моя лошадь, предвидя во мне будущего юри-

ста, скидывала меня. <…> Далее вспоминаю ту аллею, где мы во время оно прогуливались, и вы – вы, Молодой Литератор, приходя во вдохновение, пели…».

Пел от того счастья, которое ему предстояло испытать на войне! Похвально, не правда ли? Уже на закате своих земных дней Леонтьев даст такое вольнодумное, эстетическое определение: «Война – как одно из высших, идеальных проявлений жизни на земле, несмотря на все частные бедствия, ею причиняемые. (Бедствия сопряжены для многих и с такими особыми радостями, которых мир не дает!)».

Молодость зовет Леонтьева на войну, к людям, простым и сложным, богатым и бедным, благородным и подлым, от кабинетных литературных исканий в гущу яростно горящей военной жизни. В его решении наиболее полно отражается весь умственный его потенциал, счастливо спасший его от аристократического ничегонеделания и пустопорожней мечтательности, и никчемной болтовни, коими злоупотребляла большая часть его поколения. Леонтьев чутко определял степень достаточности того или иного своего занятия или периода жизни. Не развиваются ум и сердце, не получают они новых ощущений, нет вокруг интересных людей!? Значит, долой старое, отжившее, да здравствует смена обстоятельств.

«Ехать я решился; я бы пешком тогда пошел в Крым, чтобы только не упустить из моей жизни такой редкий случай, как большая война, чтобы броситься в жизнь (по Тургеневу), чтобы переменить на что-нибудь более мужественное и драматическое ту мирную и будничную среду, которая окружала меня в Москве. – Я презирал себя до сих пор, если бы не поехал».

Часть II
ПЕРВИЧНАЯ ПРОСТОТА

Я идеями не шутил.

К. Н. Леонтьев

Глава 1
Крым. Год первый

Моей душе нужен крутой поворот, потому что в ней все былое притупилось.

Леонтьев – матери, 24 января 1855 г.

1

Так называемый «восточный вопрос», который радикально определит не только судьбу России, но жизнь и линию творчества Константина Леонтьева, как, впрочем, и многих тысяч людей, в начале 50-х годов XIX века стремительно набирал неприятные для России обороты. Начался он с религиозных споров вокруг влияния России и допуска русских на Святую землю, а потом и вовсе перерос в глобальную Крымскую войну, которую Федор Тютчев называл мировой по числу участников.

Старый Свет назывался (и называется) так не только потому, что был открыт Новый (Америка), а потому, что он, как старик, стал дряхлеть и для взбадривания использовал инъекции капитализма, примочки безбожия, гимнастику революций. Юная, по мнению большинства славянофилов, Россия почивала на лаврах, а Европа стремительно переходила от веры во Христа к вере в золотого тельца. Какие там заповеди

Христовы, особенно в международных отношениях? Человек человеку волк, и формальные сказки о буржуазном равенстве людей, и, тем более, государств – всего лишь призрачные одежды для королей, о которых писал датский сказочник Андерсен.

Европа после поражения Наполеона в муках корчилась родами капитализма. Роды грозили стать многодетными: сразу несколько стран выходили на капиталистический путь развития, и появляющимся на свет буржуазным близнецам были несказанно тесны рамки Священного Союза, как чрево матери. Взимоотношения Европы с Россией, на первый взгляд укрепившиеся после войны с Наполеоном, во многом напоминали иносказательную, с потайным смыслом, хитрую игру этого честолюбивого старца с несмышленым подростком.

Надо быть великим идеалистом, как император Александр I, под патронажем которого заключен Священный Союз, закрепивший результаты победы над корсиканцем и расстановку сил в послевоенной Европе, чтобы записать в нем: «В политических отношениях руководствоваться не иными какими-нибудь правилами, как заповедями сея Святыя веры, заповедями любви, правды и мира». Этот Союз, основанный на призывах к любви и дружбе среди европейских монархов, носил некий сакральный, мистический и одновременно наивный характер, далекий от реальной политики и дипломатии. Его, если пользоваться современными терминами, можно назвать договором о намерениях.

Блажен, кто верует, светло ему на свете.

Пришедший на смену брату Александру император Николай I считал себя начальником всей Европы. Он был решителен, смел (события декабря 1825 г. на Сенатской площади тому свидетельство), красив, удачлив с женщинами, но в международных делах слишком уверовал в свою непогрешимость. Он откровенно прозевал, что в Европе родился капитализм с сатанинскими задатками, требующий для своего развития новых территорий, сырья и власти. И не хотел понять, что время, когда ни одна пушка в Европе не могла выстрелить без согласия Петербурга, безвозвратно кануло в Лету. Николай не понял, где место России и в чем

ее роль, а прозреть пришлось лишь в тяжкий, предсмертный час в разгар Крымской войны.

Казалось, что к успехам, достигнутым братом Александром, добавились собственные политические достижения. Успех Николая I в подавлении Венгерской революции 1848–1849 годов русскими войсками имел и негативную подоплеку, став дополнительным и очень памятным раздражителем для руководства стран Западной Европы. И хотя поход на революционную Венгрию был предпринят Россией в исполнении союзнических обязательств, предусмотренных параграфами Священного Союза, но с тех пор для большинства европейцев Россия – «жандарм Европы». Информационная война и тогда велась не по правилам Христовым. Как же не объединиться против жандарма?

Многие на Западе тогда зачесали в затылках: «Эге, этак русские запросто завоюют всю Европу, если захотят. Надо ее остановить и проучить».

К началу 40-х годов император Франции Наполеон III уже «отметился» резкими русофобскими речами: «Я намерен… приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать распространению вашего (российского. – *М. Ч.*) влияния и заставить вас вернуться в Азию, откуда и пришли. Россия – не европейская страна, она не должна быть и не будет таковой, если Франция не забудет о той роли, которую ей надлежит играть в европейской истории… Лишить вас Финляндии, балтийских земель, Польши и Крыма не составит труда. Это станет грандиозным падением России, но вы сами его вызвали…». В Зимнем же дворце на этот выпад и в ус не подули.

Форпосты капитализма и заклятые друзья – Франция и Англия – в желании откусить хоть немного от шикарного, «вкусного» и огромного российского пирога нашли наконец-то общий язык. Прежде всего вновь обретенные союзники поссорили Турцию с Россией, столкнули их в открытом противоборстве, чтобы овладеть ослабевшими противниками. Начали, казалось бы, с малого: с религиозного вопроса. Но английские и французские политики прекрасно понимали, что этот вопрос для России наиглавнейший.

Леонтьев позднее отмечал, что «принцип, во имя которого мы всегда вмешивались в дела Востока, был не племенной, а вероисповедный» – и это точное определение. Послы союзников зачастили к турецкому визирю. И вот первый результат: в Иерусалиме открыт ряд западных духовных миссий. Первой стала англиканская (1841), второй – католическая (1846), и лишь третьей стала русская миссия. Та самая, православная, верная заветам Иерусалимской церкви, основанной византийскими императорами.

Казалось, это лишь несущественные христианские неурядицы. Султана же Абдул-Меджида Англия и Франция подтолкнули на более решительный шаг: раздел территорий Храмов Гроба Господня в Иерусалиме и Рождества Христова в Вифлееме между католической и православной церквами. Во время этого раздела «пропала» золотая вифлеемская звезда, украшающая место рождения Христа.

Николай I усмотрел в этом факте унижение православных святынь и несоблюдение условий Кючук-Кейнаджирского мирного договора. В феврале 1853 года через специального посланника адмирала А. С. Меншикова он потребовал от султана подтверждения протектората России над всеми православными людьми и святынями в Османской империи.

Там «Святые места»… *Там* близко и Гроб Господень… *Там* еще не угасли вполне – Святые и великие очаги Православия… *Не можем* мы отдать всей этой *нашей* Святыни и древних источников силы нашей, – так отзывался Леонтьев о важности этих святых мест.

Без сомнения, эти библейские места для России, самой крупной православной державы, были наиважнейшими для ее политики и общественной жизни. Именно Православие – основа и основная сила в противостоянии с Западом. Ведь религиозная составляющая – это не просто слово в знаменитой триаде российской государственности: «Самодержавие, Православие, Народность», а духовная скрепа, которой надо дорожить, как зеницей ока.

С тех давних пор русскоязычные гиды в палестинском Вифлееме в храме Рождества Христова, показывая на серебряную вифлеемскую

звезду, лежащую на месте рождения Христа, говорят, что до середины XIX века здесь красовалась золотая звезда, отлитая в России. И добавляют, что ее похищение, произошедшее, видимо, при разделе храма, стало причиной Крымской войны. Мы простим гидам, любящим сенсационность, их простосердечность.

Султан под нажимом английского посла Стрэтфорда ответил Меншикову отказом и разрешил англо-французской эскадре войти через проливы Дарданеллы и Босфор в Черное море, а 4 октября 1853 года объявил войну России и тут же начал боевые действия на Кавказе, но потерпел сокрушительное поражение. В это же время русский черноморский флот под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова 18 ноября 1853 года в Синопском сражении полностью уничтожил турецкую эскадру и захватил господство в Черном море. Но, к сожалению, развивать первые успехи никто из руководства армии и флота не собирался: общего плана ведения военных действий у России не было. Император Николай I ожидал, что турецкая империя вот-вот падет к ногам России.

Англия и Франция между тем не дремали и, зная, что Османская империя может развалиться под ударами России, 23 декабря 1853 года ввели в Черное море мощный союзный флот для поддержки турецких сухопутных сил. Они же 15 марта 1854 года объявили войну России и перешли к активным действиям в Черном море, ударив с кораблей по черноморским портам: Одессе, Керчи, и блокировали русский флот в Севастополе. В начале апреля Австрия совместно с Англией и Францией выдвинула ультиматум, поддержанный Пруссией, о немедленном выводе русских войск из придунайских княжеств. Нессельроде попытался было выторговать обмен: мы убираемся из Молдавии и Валахии, а англо-французская эскадра – из Черного моря.

Не тут-то было: по западному принципу – слабый должен покориться. Союзники знали, что русский парусный флот не сможет противостоять их паровому флоту с винтовыми двигателями. Знали, что у русской сухопутной армии на вооружении лишь кремневые ружья времен Петра I, которые были хороши против восставших венгров и поляков,

но слабы перед нарезными винтовками (штуцерами) агрессивных союзников. В августе 1854 года Россия под нажимом Австро-Венгрии вывела войска из дунайских областей. Турки шли следом и резали болгар.

Лев Толстой, бывший в ту пору в придунайской армии, записал: «По мере того, как мы покидали болгарские селения, являлись турки и, кроме молодых женщин, которые годились в гарем, они уничтожали всех».

Казалось, статус-кво восстановлен, но союзники не зря готовили военный план, а он был всеобъемлющ. Лорд Пальмерстон, премьер-министр правительства Великобритании, разработал план расчленения России: Закавказье и Крым должны были быть отданы Турции, Финляндия – Швеции, Молдавия, Валахия и Бессарабия – Австро-Венгрии, Курляндия, Эстляндия и Лифляндия – Пруссии.

Весной 1854 года англо-французский флот вошел в Балтийское море. Война подошла к Зимнему дворцу.

Русское общество на время объединилось в своем патриотическом порыве и воспылало ненавистью к западным захватчикам: как так – не прошло и сорока лет, как Франция опять угрожает столице и России. Князь Владимир Мещерский отзывается о настроениях в Петербурге так: «В нашей семье все, разумеется, горело этим патриотизмом. Старший сын Карамзина, Андрей Николаевич, бросил свою богатую и счастливую жизнь в Демидовском палаццо… и поступил снова в военную службу, в действующую армию. Остальные два сына и старший брат мой поступили в ополчение». Ополчение предназначалось для обороны береговой полосы от высадки десанта. Дядя же князя Мещерского, Андрей Николаевич Карамзин, погиб 16 мая в Дунайской армии.

Владимир Мещерский отмечает, что состоятельные дворяне жертвовали «на наших солдат и офицеров-севастопольцев все, что могли». Рассказывает он и о пожертвовании богачом Яковлевым одного миллиона рублей на нужды армии.

Против 43 паровых кораблей противника русские выставили всего 11, не считая парусных с той и другой стороны, но, слава Богу, балтийский флот России впервые в мире использовал русское изобре-

тение – магнитные мины. Они-то и спасли Кронштадт и Петербург и практически весь Северо-Запад России.

Характерный штрих. Угроза взятия Петербурга была столь велика, что император Николай приказал перевести государственного преступника, анархиста Михаила Бакунина, из Петропавловской крепости в Шлиссельбургскую. Министр иностранных дел Нессельроде, о котором говорили, что он «больше сделал для кулинарного искусства и для цветов, чем для иностранной политики России», не без оснований полагал, что враги, освободив главного анархиста, попытаются использовать его в своих целях.

К чести русских моряков и ополченцев все вражеские попытки высадить десант были отбиты. Так же успешно шли дела и на Дальневосточном театре военных действий – потуги союзников взять Петропавловск-Камчатский оказались бесплодны. И нельзя сказать, что эти серьезные вылазки союзников носили лишь отвлекающий характер, разведка боем, так сказать. Они не оценили в полной мере русскую удаль и военную выучку, которая успешно компенсирует техническое несовершенство оружия. Тогда главный удар союзников сместился к югу, в Крым, а сама война локализовалась в известную всем оборону Севастополя.

2

Жажда подвига, желание заставить мир говорить о себе, юношеское себялюбие (как без этого) и максимализм – вот истинные причины безрассудных поступков молодости. И разве можно юноше упустить без внимания такую замечательно подвернувшуюся случайность, как война. Конечно, если он не инвалид, прикованный к постели, или умалишенный, или тайный поклонник страны противника, или патологический трус, вздрагивающий от тележного скрипа. Миллионы молодых людей под влиянием юношеских грез о славе и бессмертии идут на подвиги под пулеметным или оружейным огнем, распевая гимны своих стран или выкрикивая имена любимых вождей.

Чем же отличался от них молодой Константин Леонтьев? Почти ничем, если не считать его особую творческую живость восприятия окружающего. Да, он имел нежное сердце, взлелеянное в благостной и любящей обстановке семейной жизни барской усадьбы, да высокое мнение о своем таланте писателя. Кто-то называет его самодовольным «нарциссом», любующимся своим отражением в зеркале. Во-первых, кто же из юношей и девушек не любит этого делать? Люди точно знают, что в старости – это не будет интересным занятием, наоборот, старики избегают смотреть в зеркало, а некоторые дамы, ранее блиставшие красотой, даже намеренно прячут его, чтобы понапрасну не расстраивать себя своим поникнувшим от морщин лицом. И потому молодость – самое подходящее время, чтобы любоваться прекрасным цветом своих щек, нежной припухлостью губ, молочно-голубым отливом выпуклого глазного яблока, бархатом кожи и выразительно-загадочным прищуром широко поставленных глаз.

Во-вторых, что же в этом зазорного, и кто не грешил повышенным самомнением, что только он способен перевернуть мир? Ведь еще Пушкин сказал бессмертные слова:

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.

А тут, в общем-то, не только для века, а для всей человеческой природы этот «обычай» характерен на все времена. Вот Леонтьев и не спорит ни с природой, ни с количеством адреналина в крови, и уж тем более не будет спорить с собственной творческой дерзостью, понимая, что без нее не пробиться в круг избранных. Savoir vivre* – так говорят французы. В смысле – умение зарабатывать деньги и положение, но для него оно не есть главное. Да и в дальнейшем не будет таковым.

Почему-то у биографов Константина Леонтьева мало слов о его любви к своей стране, России, к русским простым людям (хотя к ним

* Умение жить (*фр.*)

его чувство точнее бы назвать уважением), нет увязки этого глубокого, проходящего через всю жизнь чувства, с мировоззрением. Напишут лишь позднее, что Лев Толстой искал на войне правду военной жизни, а Леонтьев будто бы – красоту. Возможна ли, возможна ли… красота в лазарете, полном окровавленных раненых?

Но и молодого Льва Толстого в его «Севастопольских рассказах» занимает не только тема страданий человека на войне, а вопрос человеческих отношений. «Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего в наш век есть только три рода людей: одних – принимающих начало тщеславия как факт необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющихся ему; других – принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих – бессознательно, рабски действующих под его влиянием?» – писал Лев Толстой в «Севастопольских рассказах». Константин Леонтьев, безусловно, принадлежит к первому типу людей, отмеченных Львом Толстым, который всего-то на два года старше Леонтьева и который в тщеславии не видит ничего худого.

Мнение Леонтьева таково: «Вот если бы какое-нибудь мелкое движение самолюбия заставило человека изменить долгу и любви или какому-нибудь высокому делу или чистому чувству – то можно за это его осудить. А если люди дело свое делают, долг свой исполняют, как исполняют его более или менее все русские офицеры в очерках Толстого, так что же за беда, что они позабавятся немножко и тем стремлением к высшим, которое молодой (в то время) автор называл тщеславным?» Эти строки Леонтьева отосятся к 1890 году, в них часть анализа романов графа Л. Н. Толстого (критический этюд «Анализ, стиль и веяние»).

3

Константину Леонтьеву присвоен чин титулярного советника, тот, что имел главный герой гоголевской «Шинели», и назначают 20 июня

1854 года в Белевский полк батальонным лекарем. А с 1 августа он уже определен младшим ординатором в Керчь-Еникальский военный госпиталь, где прослужил лекарем почти восемь месяцев, оперируя и выхаживая раненых, доставляемых из осажденного Севастополя. В Керчь Леонтьев прибыл 23 сентября, затем тут же перебазировался в крепость Еникале, что находилась в 12 верстах от Керчи, и проработал в госпитале крепости до ее сдачи англичанам 12 мая 1855 года.

Работа лекарем требовала настоящего мужества.

«Вчера, к неописуемому собственному удивлению, сделал ампутацию в первый раз и, пока еще не остыло первое ожесточение, постараюсь сделать на днях еще пару…», – пишет Константин Леонтьев матери Феодосии Петровне. Согласимся с Леонтьевым, что даже в звании лекаря непросто впервые ампутировать человеку конечность. Надо, как он правильно отмечает, еще и «ожесточиться», то есть внутренне настроиться. И это ожесточение тоже значительнейшая часть его становления, его роста и возмужания. Мужчина, как известно, не тот, на ком штаны, а на лице борода и усы, а тот, кто берет на себя ответственность и что-то может делать своими руками.

Молодой Леонтьев и сам сознает пользу от подобной жизненной практики. В этом же письме он отмечает: «Эти четыре-пять месяцев сделали свое дело, заставили забыть душевную постоянную тоску, придали опытности в житейских сношениях и обратили к какой-то простоте, которая хоть и не имеет старинной свежести, но не лишена своей ценности».

Особо обращают на себя внимание два слова «старинная свежесть». Неужели они уже несут в себе тот зачин преклонения перед прекрасным прошлым, который впоследствии Леонтьев разовьет в теорию о 3-х периодах истории государств? Может, он имел в виду стройную свежесть византийской церкви Святого Иоанна Предтечи у подножия горы Митридат в Керчи? Не она ли впервые пробудила у Леонтьева интерес к Византии? Она, однокупольная при четырех столпах, сложен-

ная из чередующихся рядов из белокаменных блоков и красной плинфы с фресками XIII века внутри. Она так не похожа на те, виденные и посещаемые им в средней полосе России.

Причерноморский юг захватил воображение Леонтьева. Особенно ярко эта любовь к южной природе и людям, населяющим эти прекрасные, чудные по красоте места, проявится позднее, в годы дипломатической работы. Но в Крыму ему «так сладко на душе… Страна вовсе новая, полудикая, живописная; холмы то зеленые, то печальные, на берегу широкого пролива; красивые армянские и греческие девушки. Встречи новые. Одинокие прогулки по скалам, по степи унылой, по набережной при полной луне зимой». Вполне экзотическая обстановка.

Леонтьев находит время, чтобы изучить древнюю Керчь, бывшую столицу Боспорского греческого государства с названием Пантикапей, возраст которой перевалил за 2,5 тысячи лет. Изучить и восхититься высокой культурой, процветавшей здесь тысячи лет назад. Потом на этих землях будет Тмутараканское княжество, и древний Пантикапей превратится в русский Корчев. Через столетия им овладеют генуэзцы и дадут ему свое название – Черкио, а с 1774 года Керчь в составе Российской империи.

Он поднимается на гору Митридат, любуется панорамой Керченской бухты, осматривает дорический периптер здания недавно построенного музея древностей. Она, эта древность, дышит в лицо, как вечерний бриз, она, кажется, имеет свой неповторимый по свежести запах, ничуть не напоминающий тлен старинных рукописей и затхлость старых зданий. Она, лишь стоит слегка напрячь внимание, будет шептать только в твое ухо те заветные мудрые истины, давно ушедшие из сознания современных людей. Скорее всего, уже тогда Леонтьеву пришли такие естественные мысли, что люди, жившие тысячелетия тому назад, отнюдь не глупы и достаточно совершенны, а, может быть, даже гораздо благороднее, умнее, прекраснее, душевнее его современников, слишком уповающих на технический прогресс.

Керчь привлекает Леонтьева не только как сокровищница древностей. Ему очень хочется перевестись в дивизионный, более значимый и крупный госпиталь, что располагается в центре города. Дивизионный доктор Бауман обещал оказать ему содействие в переводе, но не сдержал своего слова.

Длинными зимними вечерами, в то время когда смотритель, аптекарь и другие «гошпитальные» играют в карты в соседней комнате, Леонтьев не ленится, не валяется на кровати, а читает книги по медицине. Трактаты Андраля, Гуфеланда, Гризоля, Басова, Экка. Книг, кроме медицинских, у него не было. Литературу, что сильно занимала его в Москве, в Еникале он почти оставляет. По этому поводу Леонтьев замечает, что совесть не позволяла ему здесь ею заниматься. При виде стольких больных, в основном с застарелыми и незаживающими ранами, он желал для себя только одного: как можно меньше делать ошибок в диагностике и лечении. И тем не менее приступает в Еникале к созданию комедии в 4-х действиях «Трудные дни».

Работы в госпитале много. Младший ординатор Леонтьев в палатах ежедневно с 8 утра до 2-х часов дня и при этом с трудом успевает сделать все необходимое. В иные месяцы у него до 200 больных в день, большинство из которых – раненые из Севастополя. Леонтьев не оставил описания своего лазарета, он не реалист, а эстетик. Какую красоту можно найти в грязных, переполненных ранеными палатах? Ровно никакой!

О лазаретах можно, например, судить по «Севастопольским рассказам» Льва Толстого. «Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными, угрюмыми физиономиями, занятых около койки…. Вы увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти…».

Характеристика лазаретов мало занимает молодого Леонтьева. Мир человеческих отношений и собственных оценок для него гораздо важнее. Вот запомнился ему эпизод с керченскими беглецами: молодым человеком с молодой женой и старой матерью. Он описывает их внешность, замечает, что у молодого мужа руки маленькие и белые, а ногти длинные и грязные, что, по мнению Леонтьева, является порочным несоответствием. У мужчины должны быть большие, рабочие руки и коротко остриженные, чистые ногти, иначе как же работать физически с длинными ногтями. После такого анализа беглеца Леонтьев задается вопросом: любит ли его жена или нет? Наверное, нет, – приходит он к выводу.

Леонтьев анализирует свои переживания и, прежде всего, их пытается донести до читателя. Его прозу тех лет отличает высочайшая исповедальность и откровенность, он не анатом тела, его интересует и своя душа, и душа окружающих его сослуживцев и даже случайных прохожих. Леонтьев препарирует себя, очутившегося после «нестерпимого» московского мирного мышления в условиях так называемых ужасов войны. В них он, как ни странно может показаться, счастлив, в них он бодр и деятелен, так что «простая и грубая» жизнь даже телесно переродила его. Позднее, в письме (10 марта 1887 г.) своему другу Т. И. Филиппову он небезосновательно полагает относительно своего очерка «Сдача Керчи в 55 году», что «российскому юношеству небесполезно читать и легкие вещи в этом духе написанные».

Касаясь политических своих привязанностей, Леонтьев отмечает, что из всех русских, служивших в этой крепости, он был самый либеральный и, так сказать, «политикующий» человек жорж-сандовского типа. При этом справедливо полагает, что при его смутных и неявных политических мнениях либерального толка лучше держать язык за зубами, запирая «дверь в ограждение уст».

После изматывающего рабочего дня он, «усталый, но бодрый и здоровый», с аппетитом ест очень простую и грубую пищу, а потом идет в свою комнату читать медицинские трактаты и писать, иногда по при-

нуждению, письма любимой матушке. И эти подробные описания тоже суть литературные занятия. «Вообразите себе небольшую комнату с белой штукатуркой, окнами в самый бок горы; дверью к крепостной стене и отчасти к морю; комнату довольно теплую, страшный беспорядок на 2-х окнах от книг и разных мелочей; три простых крашеных столика, на одном из них ваше зеркало, на другом всякая всячина; кровать…». Так он описывает свое скромное жилье в Еникале.

В письмах матери Леонтьев мало касается врачебных трудностей, и можно подумать, что у него крепкие нервы. На самом деле он, любящий сын, не хочет расстраивать ее излишними мрачными подробностями: «Однако, благодаря Богу, порадую Вас тем, что лицом в грязь не ударил до сих пор». И при этом не забывает подчеркнуть ценность материнских уроков: «Живу я по-прежнему у смотрителя и лажу с ним тоже по-вашему – без дружбы». Житейская мудрость, которую расшифровывать даже как-то неловко, так она очевидна.

С матушкой же его связывает не только слепая сыновья любовь, но и дружеские отношения, которые нужны с очень близкими людьми, а не со смотрителем. Они более ровные, почти деловые и более спокойные, чем радикальная любовь, которая, по мнению Леонтьева, менее эстетична, чем глубокая дружба. Двадцатитрехлетний Леонтьев обращается к матушке исключительно на «Вы»: «Вчера, мой друг, я получил Ваше письмо… Я уже подумал, что Вы не хотели мне отвечать, что все Ваше спокойствие и Ваше ласковое обращение со мной перед моим отъездом были только маской, под которой Вы скрыли до поры до времени решение прекратить со мной всякую близость и откровенность».

Леонтьев суховат с матерью в своих эпистолах, въедливо расчетлив в описаниях затрат: «…стол мне обходится около 2–3 рублей серебром в месяц, а иногда и меньше», сетует на недостаток денег: «...когда у меня будут средства хоть небольшие, да независимые». И чувствуется особая нежность в этих «мой дружочек», с которой бы он рад пожить, «но только при хороших условиях с моей стороны!».

Глава 2
Крым. Год второй

Одна из главных целей, известная степень душевного излечения достигнута, остальные надо предоставить судьбе.

Леонтьев – матери 24 января 1855 г.

1

Кровь же молода, и она кипит в сердце патриота. Хотелось быть «в деле», участвовать в боевых действиях. Еще с лета 1854 года (до высадки союзного десанта) Леонтьев просился в Севастополь, но там были заняты все врачебные вакансии. Весной 1855 года он решает писать рапорт о направлении его в Севастополь, но приезжий именно оттуда врач говорит ему, что действительно врачей там во время Альминского сражения поубивало, а теперь их туда так много понаехало, что ему откажут. Тогда Леонтьев, «надев вицмундир и шпагу», едет к командующему войсками Восточной части Крыма генералу Врангелю с просьбой о переводе в действующий полк.

Так угодно было распорядиться судьбе, что накануне внезапной высадки десанта противника у Керчи Леонтьева приглашают в канцелярию и знакомят с приказом о прикомандировании его к Донскому казачьему 65 полку (в своих воспоминаниях он называет его 45-м).

С вечера он решает не торопиться, а выехать на специально нанятых неторопливых еврейских дрогах часов в 10, но был разбужен криком своего денщика:

– Вставайте, Ваше благородие… англичанин пришел!

Так начался самый, быть может, памятный день его военно-медицинской службы. Несмотря на суматоху, поднявшуюся в крепости при виде вражеских кораблей, повеселевший Леонтьев замечает, как неожиданно весел стал главный доктор лазарета в ожидании настоящего

боя, как буквально сиял от радости молодой артиллерийский подпоручик с веселой отвагой на лице. «Итак – война! И у нас – война!» Он прощается с сослуживцами и отбывает в Керчь на поиски казачьего полка.

В бауле покидающего госпиталь в Еникале молодого Леонтьева немногочисленные листы описания зимнего утра в русской усадьбе, заслужившего похвалы Евгении Тур, начальные строки будущего романа «Подлипки» и комедии «Трудные дни». О последней он пишет матери: «…начал новую вещь в часы свободы, да еще сценическую…». Да в далеком Петербурге готовится к публикации в журнале «Отечественные записки» повесть «Лето на хуторе» (опубликована в 5-ой книжке журнала). Вот, пожалуй, и все. Но задумок много, и это беспокоит Леонтьева:

«Вы знаете мою манеру задумывать 10 повестей разом, эта несчастная способность делает то, что конец любой какой-нибудь вещи пишется тогда, когда мысль или чувство сюжета уже остыло во мне».

В Керчи поначалу все спокойно. Леонтьев отправляет денщика с вещами на квартиру к другу, молодому доктору Лотину, а сам, проголодавшись, идет в гостиницу Дмитраки пить на балконе кофе с белым хлебом.

Леонтьев пьет кофе с густыми сливками, слушает, как возрастает шум на улице, как все чаще и чаще экипажи гремят по булыжной мостовой под балконом, как проскакал отряд кавалерии. Молодой ординатор мечтает о перестрелке, о бомбардировке с кораблей, о будущей схватке. Он будет «взирать, ничуть и сам не избегая опасности, на эту внезапно развернувшуюся на интересном месте страницу из современной истории… Сижу и думаю – философ! Не боюсь – стоик! Курю – эпикуреец!» При этом Леонтьев не исключает возможности попадания в плен, но он не страшится, а даже, может быть, ждет его, чтобы еще более насытить мозг и тело всеми испытаниями, с такой легкостью «предоставляемые» войной. Он очень возвышенно думает, что он не только доктор, что в нем есть и нечто другое: «я будущий романист… Я останусь в плену и потом напишу большой роман “Война и Юг”…»

Леонтьев в тот период времени невольный пантеист, всерьез считающий, что познание природы и своего «я» освобождает от страха смерти, и пытается проверить это утверждение. Случайно подошедший к нему казак с запасной лошадью прерывает его размышления, и они в самые последние секунды успевают скрыться от входивших в город неприятельских войск.

Они скачут по по-весеннему зеленой крымской степи, и радость переполняет романтическое сердце Леонтьева. «Я был в упоении… Нет, я не так говорю! Я теперь был еще в большем упоении, чем давеча в городе!» Леонтьев замечает и синее небо без единого облачка, и поющих жаворонков, поднимающихся все выше и выше в бескрайнее небо, и высокую, душистую, густую траву.

«Природа и война! Степь и казацкий конь верховой! Молодость моя, моя молодость и чистое небо!.. Жаворонки, эти жаворонки, о Боже! И быть может еще впереди – опасность и подвиги!»

Как похожи все мы в дни прекрасной молодости. И не надо строго разбирать молодого человека и пока приписывать ему, полному щенячьего восторга, поиски некой «принудительной и стеснительной формы людских отношений», ярким проявлением которых является война. Доверь молодому, сильному бойцу коня, ружье и пику, разреши скакать по бескрайней, весенней крымской степи во весь опор, так неужели не вспыхнет сердце и не запоет душа при звуках гулкого топота подков, ударяющих в тугую землю, словно в звонкий барабан. На то и дана нам молодость, чтобы дышать полной грудью слитого с божественной природой гибкого тела.

Леонтьев писал: «Здесь, в этом удалении от всех своих, в удалении от книг, литературы, от Москвы, от родины (почему-то милой, однако), в этой простой, здоровой, первобытной жизни я буду счастлив; я уже счастлив и теперь до райского спокойствия». Подобное превалирование жизненных радостей и горести, возвышенной красоты их ощущений над литературой Леонтьев никогда не скрывал.

В сложном водовороте военных буден он может проявить непозволительное своеволие, если судить по самым строгим меркам. Все оттого, что донцы голодали в походах и дежурствах. И как-то мимо их отряда пастух гнал стадо овец. Кто-то выяснил, что стадо принадлежит испанскому консулу (улыбка судьбы), очень обеспеченному человеку. Леонтьев же сразу делает предложение: «Вот бы взять одну с собой, да изжарить». Командир отряда и казаки промолчали. Леонтьев воспринял это молчание за знак согласия и воодушевленный мыслью, что теперь война, а они защитники отечества и этого стада, обратился повелительно к ближайшему казаку:

– Ну, что смотришь, брат! Бери, чего зевать! У консула много… Теперь война. Ведь нам тоже надо есть…

Казак тотчас же соскочил с коня, схватил овцу и устроил ее перед собой на седле.

Это гораздо позже Леонтьев будет жестко говорить о необходимости дисциплины, а по молодости да по неопытности чего не сотворишь, оправдывая себя исключительностью обстоятельств.

Его решительность при экспроприации казаки считают смелостью и в другом подобном случае: когда донимала нестерпимая жажда после выпитой из ручьев дурной солоноватой воды, а перед глазами погреб, где прохладная простокваша, они обращаются уже к нему, а не к командиру.

– Ваше благородие, – сказал один из них весело, – просили, просили простокваши, а приказчик не дает.

– Вот глупости! – ответил Леонтьев, – как он смеет, дурак, усталым войскам не давать! Ломи, ребята! И я выпью!

И вышибли дверь, и выпили «прямо из горлача», и ничего не случилось.

«Где ты, где ты, больной студент, боявшийся в Москве всякой неосторожности, – и *основательно* боявшийся ее, ибо ничего там не сходило с рук?.. Где ты?.. О, как я рад, что я теперь – *не ты*!»

Общеизвестно, что есть люди, быстро обучаемые и принимающие житейские советы, а другие, как не корми, все в лес смотрят. Эти не-

вольные «грабежи», как потом пояснил Леонтьев, были совершены им до того, как офицеры растолковали, что так делать нельзя, это позор для армии и нарушение войсковой дисциплины. И Леонтьев на всю жизнь твердо усвоил, что его наглое «хочу» может привести к хаосу. Армия превратится в сборище бандитов, ищущих на полях сражений не победу и славу, а наживу. Свою размашистость, идущую от широты природной натуры, со словами «ломи», «бери» Леонтьев сумел быстро обуздать.

Суть многих идей Леонтьева есть выводы, подсказанные конкретной жизнью, они в основе своей, можно сказать, буквальны. И в этом их огромный плюс. Когда старшие товарищи по казацкому полку, офицеры, доходчиво объяснили ему о необходимости железной дисциплины в армии и государстве, без которой ни тому, ни другому не быть, он с благодарностью воспринял этот и другие уроки, гласившие «волю дать – добра не видать» и «боле воли – хуже доля». Поговорки эти – свидетельства народной мудрости, а не продукт интеллигентской мысли, призывавшей к вольной волюшке.

Наука же та, товарищеская, у возмужавшего Леонтьева с годами выросла до чеканных обобщений: «Созидание есть, прежде всего, прочная дисциплина интересов и страстей. Либерализм и дальнейшее подражание Западу не могут создать ничего».

2

Однако вокруг много и другой «мудрости» – взяточничества, например. В одном из писем матери он сообщает, как вправил грыжу пожилому казачьему офицеру, и тот в благодарность стал совать Леонтьеву в сенях «что-то в бумажке; я засмеялся и сказал, что в подобных ободрениях не нуждаюсь». И хотя жалованье у лекаря небольшое: всего-то 20 рублей в месяц, и Леонтьев стеснялся того, что не может помочь деньгами матери, но честь свою он берег с молоду.

Между тем казнокрадство было официальным. Под Севастополем для того, чтобы получить из казначейства средства на содержание во-

енных частей, их командиры давали казначейским чиновникам взятки, составляющие восемь процентов от суммы перевода. И все об этом, как обычно знали, но мер не принималось никаких. И не той ли поговорке о войне как о родной матери мы обязаны Крымской войне?

Об этом позорном для армии взяточничестве Леонтьев с предельной откровенностью пишет в рассказе «Сутки в ауле Биюк-Дортэ», навеянном службой в казацком полку. В этом ауле, где «войско, войско сверкало везде», встречаются два друга по гимназической скамье. Один, Муратов, стал помещиком, хозяином 800 душ крестьян, и поступил в народное ополчение, пришедшее в этот аул на помощь действующей армии. Другой, Марков, гусар, временно расквартированный у некоего интенданта Житомирского, сколотившего на войне целое состояние. Во время вечеринки Марков обвиняет Житомирского в воровстве («наворовал сколько»), выхватывает саблю, крича:

– Я русский, слышите, господин Житомирский? Я – русский… и тоже не позволю никому… Вы видите эту саблю?

Марков называет его подлецом, но Житомирский не принимает вызова и ретируется с позором, стукнувшись о низкую притолоку. Этот, казалось бы, незаметный штрих, как описание болезненного удара головой струсившего человека, говорит о существенно подросшем художественном мастерстве молодого прозаика. Леонтьев подчеркивает, делает зримой, обоснованной эту трусость, которая командует «владельцем» своим так, что даже физическая боль от невольного удара о косяк не может остановить и образумить труса. Как говорится, это край падения, уже морального.

В этом рассказе, в отличие от повести «Лето на хуторе» с ее подетски серьезным пафосом и назидательной моралью, появляется ирония. А она, как известно, лакмусовая бумажка зрелости художественного таланта. Иронично описано «сверкающее» войско и преступный совет лекаря давать больным солдатам больше рвотных лекарств, вместо по-настоящему нужных. «Русский человек здоров», – звучит как издевательский лозунг для более поздних событий.

Наполнена обличительным ядом иронии и следующая сценка:

«– Помилуйте-с! Это долг человеческий есть, – воскликнул красивый франт, но, согнутая в виде сосуда, кисть руки, скромно выставлявшаяся из-за складки шинели, не отказывалась от награды.

Муратов сунул целковый и поспешил выйти на чистый воздух».

Насмешничает Леонтьев в своем рассказе «Сутки в ауле Биюк-Дортэ» и над далеко не безобидными для крестьян причудами помещиков: «…у них было много разных должностных лиц в имении, то она (жена. – *М. Ч.*) и требовала, чтоб все эти лица не иначе являлись в дикий дом с бельведерами, как во фраках.

Муж было начал говорить:

– Душа моя, это лишнее… Стеснять…

На что она надулась и не говорила с ним до тех пор, пока он не объявил приказания».

Подобная критика слепого и бездумного преклонения русских дворян перед Западом – новое в творчестве Леонтьева. Чувствуется некая связь его воззрений с прекрасной комедией «Горе от ума» Александра Грибоедова.

И нравы, и язык, и старину святую,
И величавую одежду на другую
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то странный выем.

Так тоскует Чацкий у Грибоедова по утере русской национальной самобытности и необходимости носить шутовской фрак.

Вспоминает Леонтьев Грибоедова и по другому поводу. Служа в донском полку, он узнает от простых казаков такое поверье, якобы отмеченное в Священном Писании, что мир погибнет от китайцев. Оно так крепко отложилось в сознании Леонтьева, что этот факт он также привел в упомянутом рассказе, искусственно введя в ткань повествования образ неизвестного гвардейца, якобы посетившего героя рассказа Муратова в его доме.

«…один гвардеец заехал к нему и, за стаканом чая толкуя о южной природе, о восточных племенах, сообщил ему, между прочим, что у донцов есть поверье, будто, когда китаец поднимется, тогда никто не устоит против него, что Гоги и Магоги Апокалипсиса именно и есть китайцы».

Гоги и Магоги всплывут и в романе «В своем краю», а также в статьях о «свирепой государственности Китая», написанных в последние годы.

Можно бы, конечно, не останавливаться на этом мелком эпизоде, но для Леонтьева не было незначительных жизненных фактов. Такой уж был у него склад ума, способный к тщательной проработке переживаемых событий. Потому что в жизни, даже самой простой и непритязательной, очень малое явление, вовремя уловленное, самым существенным образом переворачивает мировоззрение. Суметь бы только не пропустить этот судьбоносный случай и проанализировать его. Такой способностью ума обладал Леонтьев, и ей он был обязан своими пророчествами.

Что же мы можем прочитать у Грибоедова?

Ах! Если рождены мы все перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев.

Леонтьев позже будет биться за это спасительное для русских «незнание иноземцев».

3

Крымская кампания вовсе не походила на войны, образ которых у нас создался после XX столетия. Отсутствовала линия фронта как непреложная часть военных действий, гражданское население почти не испытывало притеснений, потому что мало вмешивалось в военные действия сторон. В повести «Исповедь мужа», созданной по впечатлениям Крымской войны, Леонтьев описывает, как в имение его русского героя приезжает английский офицер, с которым он и его жена Лиза гуляют,

беседуя, по набережной моря. После падения Севастополя этот вражеский офицер, в очередной раз приехав в гости, чувствует перед хозяином имения неловкость за победу, одержанную его войсками над русскими.

Такая вот локально-автономная война с ограниченными боевыми действиями, основными из которых была осада Севастополя и взятие Керчи, отданной англичанам без боя. Союзники, а в конце 1854 года к Англии и Франции присоединились Австрия и королевство Сардиния (будущая Италия), пославшая в Крым 15-тысячный отряд, планировали после взятия Керчи двигаться на соединение с войсками, осаждающими Севастополь, попутно взяв Феодосию. Однако донские и черноморские казачьи полки, в одном из которых служил Леонтьев, не выпустили союзный десант с Керченского полуострова. Англичане и турки, составлявшие основу десанта, боялись казачьих войск, слава о которых гремела по всему миру с конца XVIII века. Ведь еще в 1775 году английский король Георг III просил Екатерину II продать Англии 20 тысяч казаков для подавления восстания за независимость в американских штатах. Казаки гарцевали и по Парижу в 1814 году, так что слава о них опережала бег иноходцев.

Союзные войска, встретив дружный отпор казаков, далее притихли и занялись погромами в Керчи. Если мусульманский разбой, по словам Леонтьева и других очевидцев, носил, в основном, сексуальный характер, то в бесчинствах англичан было больше варварства, бессмысленной грубости и тупого вандализма. Английские матросы, ворвавшись в музей древностей на горе Митридат (построен в 1835 г. архитектором Торричелли), все там перебили и переломали, что было можно переломать и перебить. «Они не только грабили (это еще все-таки понятно), они разрушали и портили множество вещей только из одной жажды разрушения», – вспоминал позднее Константин Леонтьев, побывавший в Керчи после подписания мирного договора. И как пример абсолютного вандализма он приводит случай, когда англосаксы вытащили из квартиры полковника Иваницкого рояль, запряглись в него и везли его как экипаж по мостовой, пока он совсем не развалился.

Это и есть тот жизненный и незаменимый опыт, уроки которого лучше прочувствовать наяву или хотя бы один раз увидеть, чем 100 раз услышать о них. Воочию видел Леонтьев варварство носителей хваленой западной культуры. Эти картины стали первыми камнями в фундаменте его взглядов на лицемерие и пошлость «средних европейцев». Ничего не бывает случайного в действиях и мыслях, на первый взгляд, спонтанных, если они проистекают из жизненного опыта.

Спустя месяц после сдачи Керчи положение на востоке Крыма стало для русских войск стабильным. «Пока все благополучно, милый друг мой. Керчь сдана неприятелю – это правда. Еникале взят. Но войска отступили вглубь полуострова, и я со своими донцами живу на биваках. Не беспокойтесь за мое здоровье: от простуды я предохранил себя, за седлом у меня ездит теплая шинель и большие сапоги на гуттаперче. А усталости я не чувствую никакой; скорее даже отдыхаю в этой свободе на чистом воздухе после гошпитальной жизни». Так он пишет матери в очередном письме после перехода в действующую армию.

До древней Феодосии англичанам было не дотянуться, и Леонтьев отправляется в этот город, получив отпуск. Город носит имя его любимой матери. Дано оно греческими купцами, основавшими город более двух с половиной тысячелетий тому назад. «Богом данная» – таков перевод с греческого. Купцов-мореходов привлекла в это место удобная бухта, защитившая их от жестокой бури грозного Аксинского понта, то есть Негостеприимного моря, так впервые они его назвали. Милетским грекам на крымских берегах понравилось все. И море, по их мнению, стало Гостеприимным (Эвксинским). Греческая колония разрослась, укрепилась, но в IV веке нашей эры крепость разрушили гунны, потом колонией владели поочередно половцы, татаро-монголы, генуэзцы, с XV века турки, и только с 1774 года город вместе со всем Крымом вошел в состав Российской империи и вернул старое название «Богом данная».

В этом городе Леонтьев встречает свою будущую жену. Женщины в жизни Леонтьева играли не просто большую роль, а определяли многие его поступки и весь ход судьбы, они как бы создавали канву, по которой

он вышивал разноцветными нитками свои эстетические и историософские картины. При их создании зарождались попутные оригинальные идеи, проявлялась уникальная самобытность. Ведь даже названия поражали мистической силой: Феодосия – имя матери, имя города, где он знакомится с той, что принесет и радость, и глубокую печаль.

Через неделю, 13 июня 1855 года, он пишет матушке Феодосии Петровне: «…Я нахожусь в Феодосии, чтобы принимать морские ванны и возобновить лечение рыбьим жиром. Городок очень красив; он кажется древнее и чище Керчи, но богаче зеленью, а кроме того, здесь есть руины, настоящие живописные руины, какие я вижу первый раз в жизни. Это развалины генуэзских укреплений... Я устроился в квартирке за 6 руб. сер. в месяц… У старухи-хозяйки (старой гречанки из мещан) есть две дочери, которые только и делают, что поют то русские романсы, то польки и пр.».

В одну из этих дочерей, Лизу, Леонтьев влюбляется, она отвечает взаимностью. Они вместе ходят в церковь, и она благословляет его в один из молебнов маленькой иконкой Святого Павла, которого считает своим покровителем. В честь этого апостола назван дед ее, и она присваивает себе отчество «Павловна», хотя отца зовут Борис. Отец отличается большими странностями, его не любят дочери, он не понравился и Константину, а окружающие дразнят его странным прозвищем «Параскева Панайоти». Поначалу Леонтьев воспринимает этот бурный роман как обычное курортное развлечение, в котором немалую роль играла природа:

Фиалки волн и гиацинты пены
Цветут на взморье около камней.
Цветами пахнет соль…*

Он, романтически настроенный, забывает советы своей обожаемой Жорж Санд, предупреждающей, что не надо дарить направо и налево свое сердце, чтобы, повзрослев, не испытать жестокого разочаро-

* Стихи Максимилиана Волошина.

вания, не стать раньше времени стариком, промотав свою жизненную энергию. Но где там вспоминать кажущиеся теперь нудными советы. Красота Лизы, красота ее матери, красота окружающей природы берут Леонтьева в плен, кружат его полную романтическими картинами голову. После кратковременного отдыха Леонтьев возвращается в казачий полк, но сердце его в Феодосии.

Вместе с казаками Леонтьев переживает 27 августа 1855 года печальное событие всей Крымской кампании – сдачу Севастополя.

«Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, разливаясь и тревожно трепеща всей своей массой… медленно двигалось в непроницаемой тесноте прочь от того места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, – от места, всего облитого его кровью, от места, одиннадцать месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага, и которое теперь велено было оставить без боя», – так плачет сердце Льва Толстого о сдаче города русской славы.

Однако у ослабленных союзных войск нет сил, чтобы преследовать отступающих русских. Военные действия начинают понемногу стихать, но раненые продолжали поступать, и их надо ставить на ноги.

Из полка, где он считался «чем-то вроде приятного гостя», Леонтьева как военного медика определяют с 5 октября 1855 года в Келечь-Мелетское госпитальное отделение. О каждом своем новом месте службы Леонтьев как любящий сын тут же ставит в известность мать. Вот, что он пишет 7 октября: «…Больных у меня не больше 10-ти, есть хорошая, не читанная еще медицинская книга; может быть, и вдохновение посетит меня немножко, а то что-то не писалось все время». Ждет он вдохновения и от любви, о которой матери, конечно же, ничего не сообщает.

Любовь к Лизе заставляет Леонтьева искать способы к дальнейшему сближению, к переводу в Феодосийский временный госпиталь, куда он отправляется 24 ноября. Его сердце трепещет от будущей встречи с любимой, реалии превосходят ожидания, и он слегка забывается в своем любовном угаре: часто опаздывает на службу после бурных ночей. Начальник госпиталя делает ему замечания, но дворянин Леонтьев не

хочет слышать их от начальника-разночинца. Размолвка закончилась тем, что его 18 января 1856 года переводят в заштатный Карасу-Базар (нынешний Белогорск), расположенный в степи на половине пути между Феодосией и Симферополем.

Глава 3
Крым. Год третий

Я честолюбив, может быть, очень…
Самолюбие мое немного повыше целит,
а деньги дороже генеральства самого.

К. Н. Леонтьев – матери
25 августа 1856 г.

1

«Карасу-Базар скверный город. Вообще точно так, как описывают восточные города: в переулках грязь такая, что я не видал нигде; едешь верхом – все сапоги забрызгаешь; везде татары и армяне… кругом города высокие холмы, а сам он в яме; и в госпиталь надо ходить через поле, – всего три версты… В таких походных лазаретах, где нет даже пола, както скучно делать визитацию…», – пишет он матери. Но и здесь, в этих ужасных условиях он создает небольшую научную статью «Острое воспаление селезенки», которую в 1858 году опубликовал в Медицинском журнале Федор Иванович Иноземцев.

Позднее он вспоминал, что люди здесь «сотнями гибли от тифа, лихорадки и гангрены, где что ни полчаса, то звонили в Церквах для покойников, где из 14 врачей – на ногах были двое, а остальные были уже в гробу или в постели; у меня долго был один *двугривенный*; меня кормили долго другие; я был влюблен и любим; я чуть не умер там».

Такие краткие описания российских лазаретов дорогого стоят, при их прочтении становится по-настоящему страшно за русских людей,

ни за понюх табаку погибающих не от пуль, а от заразы и антисанитарии. Даже знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов не мог поправить положения в подобных лазаретах, натыкаясь на каменную стену начальственного равнодушия и враждебности. Пирогов сетует на «преграды, которые растут, как головы гидры: одну отрубишь, другая выставится», и с горечью подсчитывает в своих воспоминаниях потери своих друзей-врачей. «Сохраничев умер, Джюльяни умер, Каде умирал, но каким-то чудом ожил. Петров лишился ног, Дмитриев от тифа сделался меланхоликом. У всех был тиф… Я сам прохворал четыре недели… Да хоть шло бы все это впрок… А то хоть из кожи лезь, все то же. Хоть охрипни, крича, никто не слушает».

В худшем положении Леонтьев: ну, в самом деле, кто он такой, и кто Пирогов. И потому он просто-напросто по-молодецки бежит из этой госпитальной ямы, бежит от смерти в Феодосию к людям, которые к нему неравнодушны, к любимой Лизе. «Я убежал оттуда в Феодосию, бросив больных своих, и только благодаря стараниям друзей избавился от суда».

Уже через месяц новое письмо матери от 16 февраля 1856 года из Феодосии о том, что он подает «прошение в отпуск по болезни, которая действительно есть; лихорадка преследует меня постоянно…». Но при этом добавляет: «Один переезд в Феодосию уже поправил меня».

Леонтьеву лишний раз пришлось убедиться в железной дисциплине царской армии. В качестве наказания его опять направляют в казачий полк, где, однако, командиром был не добрейший полковник Попов, а другой, с которым Леонтьев не находит общего языка. Здесь он уже не «приятный гость», а, по сути, поднадзорный, так как рекомендация явно была написана негативная.

«Поскорее бы отсюда, – писал Леонтьев матери из казачьего полка, – в этом отряде я сумел себя очень неприятно поставить… причиной этого не служба, а частные дела, в которые здесь по малолюдности и безделью мешается даже всякий начальник». Но «частные дела» – черные полосы – сменяются более приятными, светлыми: «Опять степь;

опять вино и водка; опять тишина, безделье, конь верховой и здоровье». А иногда и вовсе кутеж: «…получил вдруг много денег и от казны и от родных; опять здоровье, трактиры, музыка, знакомства с английскими гвардейцами... (военнопленными. – *М. Ч.*)». И во всем этом разгуле вырастает яркий русский философ.

С приходом крымской весны новый приказ, и путь его лежит в Симферопольский военный госпиталь. И вновь (20 апреля 1856 г.) письмо матери, единственной близкой душе: «Симферополь не нравится мне; толпа народа; город, как наши губернские; но грязнее; дороговизна…».

К этому времени противоборствующие стороны в Крымской войне, истощив силы, а главное – желание сражаться, подписали 18 марта 1856 года в Париже «позорный», по словам Константина Леонтьева, мирный договор. Согласно ему Россия сохранила за собой Крым, но лишалась права иметь военный флот на Черном море и «военно-морские» укрепления на его берегах.

Однако военная служба продолжается и в мирное время. Леонтьев задумывается о дальнейшей карьере. Его раздирают сомнения: «Так как вспомнишь, что уже 26 год пошел, как-то словно страшно станет, что ничего капитального еще не сделал. Нет, надо надо ехать домой и, посвятивши целый год тишине и свободе, написать что-нибудь определенное, которое могло бы и мне самому открыть, до какой степени я силен и в чем именно слаб!» (6 марта 1856 г.).

Мать настаивает на продолжении врачебной деятельности, Леонтьев вроде как и не возражает, но будущий литературный успех, в котором он мало сомневается, мутит сознание и делает грядущие медицинские намерения неясными. «Я слишком небогат, чтобы составлять непреклонные планы, и вдобавок еще слаб здоровьем. Вы об этом знаете…», – пишет он матери 25 августа из Симферополя. Леонтьев колеблется в намерениях совершенствовать себя в медицине. Он мечтает, поднакопив денег, отправиться в Италию, «где вместе с климатом почище крымского для груди есть и университет для занятий», но к окончательному решению так и не приходит.

Нежное и любящее сердце Константина («потому что я люблю в Вас не только мать, но и женщину») просит ответной, не заочной, а реальной любви. Лиза Политова вполне «годилась в героини романа из крымской жизни», и он не стал противиться голосу судьбы. В полном соответствии с канонами похождений средневековых менестрелей и своих, надо полагать, страстных мечтаний Леонтьев похищает ее из феодосийского дома (что для него 116 верст) и пытается увезти ее в Симферополь.

Отец Лизы заявляет о похищении в полицию, та преследует беглецов, настигает их в Карасу-Базаре и хочет посадить одну только Лизу в тюрьму, но Леонтьев решительно защищает ее, и они вместе остаются на целый день и ночь под стражей. Наутро он отправляет девушку к матери, а самого неудачного похитителя под стражей возвращают в Симферопольский госпиталь.

«Через два месяца беглянка опять со мной. Мы забываем весь мир и блаженствуем, как дети, на дальней Слободке. На службу я не хожу. По правде сказать, мне кажется, я больше думал о развитии моей собственной личности, чем о пользе людей; раз убедившись, что я могу быть в самом деле врачом не хуже других, я успокоился, и любовные приключения казались мне гораздо серьезнее и поучительнее, чем иллюзия нашей военно-медицинской практики! Здесь, на Слободке, не было обмана, здесь достигалась цель…».

Крутое, если говорить современным языком, признание. Какова же цель? На первый взгляд, она ничтожна: предаваться плотской любви в тихом уголке с девушкой низкого происхождения. Этот мезальянс явно не заслуживает быть великой целью, но, кажется, что для Леонтьева любовное приключение не просто интрижка, а большая любовь. Ему не важны ни ум партнерши, ни ее состояние и происхождение, ни то, что она мало, что умеет делать по хозяйству, ему нужна верность чувства. Высокомерный барин целует ноги мещанке. Это дорогого стоит, этот романтический полет души формировал пристрастия. Красота заслуживала того, чтобы на нее можно было молиться.

Здесь в пригороде Симферополя (на Слободке) потерявшего от любви голову Леонтьева находит по поручению тетки А. П. Охотниковой старый знакомый Иосиф Шатилов. Тот восхищается леонтьевским романом с Лизой, ее неземной красотой и вместо воспитательных душеспасительных бесед дает молодым 100 рублей, чтобы они побывали на прекрасном Южном берегу Крыма. «Мы опять блаженствуем наедине среди невиданных ни ею, ни мной никогда красот южной, приморской и горной природы. Мы возвращаемся *без хлеба*, закладываем ложки и опять расстаемся», – вспоминал повзрослевший Леонтьев спустя 20 лет.

Они то расстаются, то опять встречаются, их тянет друг к другу невидимая сила страсти, которой до этого ни он, ни она еще не испытывали.

Иосиф Николаевич Шатилов был достаточно известным человеком в России. Ботаник и селекционер, выведший новую породу овса, который стал называться его именем «шатиловский», орнитолог, собравший коллекцию и систематизировавший крымских птиц. Это он невольным своим примером сподвиг Константина Леонтьева заняться изучением крымской флоры, фауны, антропологией и написать интересный труд «Об учебнице естествоведения в Крыму», законченный 8 февраля 1859 г. в селе Спасском Нижегородской губернии у баронов Розенов.

С Шатиловым Леонтьев познакомился в Москве в доме тетки Анны Карабановой (Охотниковой) в университетские годы. Когда Леонтьев уже работал в Еникале, Шатилов, зная об этом, послал ему письменное приглашение на Святки в январе 1855 года. А в сентябре 1856 года Шатилов уже хочет видеть Леонтьева в своем имении в качестве доктора. Вполне объяснимое желание, чтобы врачом был человек из общего круга знакомых. Леонтьев пишет матери в этот год из Феодосии: «Осип Николаевич, не шутя, предлагает мне молить Бога о скорейшем изгнании французов из Крыма; после чего он мне дает 700 руб. сер. в год и жилище в Махалатке на Южном берегу Крыма само собою разумеется как домовому врачу!»

Пока же третьего сентября 1856 года Шатилов посылает в Симферополь за Леонтьевым фургон, и тот привозит молодого врача в степное шатиловское имение Тамак, расположенное на границе Перекопского и Феодосийского уездов. Леонтьев гостит у Шатилова 10 дней и в ответ на предложение хозяина быть у него «домовым врачом» заламывает, по-русски говоря, высокую цену – 1000 рублей серебром в год. Расчетливый Иосиф Николаевич отказывает ему. Леонтьев не обижается, а когда второго октября он получает, наконец-то, долгожданный и долго просимый шестимесячный отпуск, то приезжает в Тамак, чтобы проститься перед отъездом в Кудиново. За те полмесяца, что они не виделись, Шатилов, признавая способности Леонтьева (разница в возрасте 7 лет) и зная о бедственном его финансовом положении, подговорил окрестных помещиков, и те предложили Леонтьеву должность врача в округе за 800–900 рублей вскладчину.

Константин Николаевич соглашается и приступает к исполнению своих обязанностей. Не очень обременительная работа оставляет достаточно времени для… ботанических опытов. Вот когда его любовь к прекрасной природе получает полное удовлетворение: он объезжает в поисках редких растений и типов людей весь Крымский полуостров. Леонтьеву лишь кажется, что он далеко отходит в своих ботанических изысканиях от литературного труда. Чем глубже он окунается в другую работу (любой труд пробуждает мысль), тем выше становится его литературная форма, обогащается воображение.

Однако ему отнюдь не чужда уютная обстановка. Чтобы утром встать не ранее 8 часов, а к этому часу чтоб дымился горячий кофе, а на столе лежала толстая и, желательно, дорогая сигара. Все или почти все это он нашел в Тамаке: «Тамак – жилище спокойствия; у меня маленькая, теплая, опрятная комната во флигеле; утром я езжу и хожу осматривать больных… Обедаем вкусно; вечером читаем вместе. Говорим много о Москве. Писать еще не собрался. Не огляделся как-то», – пишет Константин матушке.

Здесь он много читает и, прежде всего, авторов естествоиспытателей и путешественников – Кювье и Гумбольта, но и не только. В Тамаке довелось ему прочитать большую статью Николая Чернышевского «Критика Гоголевского периода русской литературы», напечатанную в журнале «Современник» за 1855–1856 годы. И его честолюбивый ум выхватывает следующую фразу: «Пусть же теперь явился бы человек, равный хотя одному из этих пяти (Пушкин, Грибоедов, Кольцов, Лермонтов, Гоголь – *М. Ч.*), он начал бы своими творениями новую эпоху в развитии нашего самосознания. Почему же нет таких людей? Или они есть, но мы их не замечаем?»

Молодой Леонтьев откладывает книжку журнала и самовлюбленно думает: «Не я ли один из этих будущих писателей?» Под впечатлением от этих мечтаний он пишет матушке: «Я честолюбив, может быть, очень, но не на наши русские чины, которые принимать только как выгодное следствие службы, а не как цель ее. Самолюбие мое немного повыше целит». Что ж, откровенность молодых одаренных дворян перед родными и даже друзьями – своеобразная мода тех времен. И все же, и все же он признавался и в зрелые годы: «Я нахожу теперь, что самый глубокий блестящий ум ни к чему не ведет, если нет судьбы свыше». Стоит ли согласиться с этим? Скорее всего, да. Далее посмотрим, как высоко взлетела судьба Константина Николаевича Леонтьева.

Глава 4
Крым. Год четвертый

1

«Я катался верхом, гулял, читал – занимался сравнительной анатомией – и даже стрелял… Здесь, наконец, я стал опять писать на покое. Ничто не способствует так творчеству, как правильная жизнь после дол-

гих треволнений и странствий». Именно в Тамаке Константин Леонтьев завершает пьесу «Трудные дни», рассказ «Сутки в ауле Биюк-Дортэ» и продолжает работу над романом «Подлипки».

Жизнь, однако, не стоит на месте и своими неожиданными выпадами и предложениями ставит человека перед разнообразными выборами. Шатилов знакомит Леонтьева с семьей Кушниковых, чье имение находится в 40 верстах от Тамака. Отец семейства – прожигатель жизни, по словам Леонтьева, всегда в отъезде, мать – женщина 35–36 лет, «удивительно свежа и красивее дочери». У них 18-летняя дочь, которая и привлекла внимание Леонтьева, когда он гостил у них на Святках в январе 1857 года. Мамзель Кушникова весьма нравится Леонтьеву, и у него возникает очень меркантильная идея: ввиду хорошего приданого в 25 тысяч рублей серебром не взять ли ее в жены, чтобы обеспечить небедное существование, ведущее к серьезному и свободному занятию литературой без оглядки на деньги. Однако 26-летний Леонтьев робеет в присутствии юной особы, сомневается: нравится ли он ей. Леонтьев считает, что в ней много ума и хитрости, что она слишком светская особа и «в ней совсем нет простодушия». В письме матери он делает вывод, что «мы взаимно наблюдаем друг за другом и ничего больше». Тем не менее Константин не оставляет надежды посвататься к ней и спрашивает мать: «В случае успеха у девицы и в случае моего собственного решения – могу ли я рассчитывать на Вас? То есть угодно ли Вам будет отдать мне Кудиново под официальную гарантию документа, где будет указана сумма, которую я обязуюсь выдавать Вам ежегодно?»

Итак, Леонтьев забывает о своей горячей гречанке Лизе и ищет взаимности у богатой наследницы.

«Повторяю, что нахожу ее вполне соответствующей моим представлениям о жизненном поприще, и все зависит только от нее. Я не буду торопиться. Эта девица весьма сдержанная и скрытная, которую не скоро узнаешь!» Заключительные строки этого письма к матери дышат надеждой, нетерпением и задором: «Прощайте. Тайна! Откровенность! Еди-

нодушие!» Надежда его в том, что, может быть, удастся сбросить с шеи висящий камнем хомут безденежья и мелких, но болезненных долгов.

Долги имеют неприятную особенность копиться, особенно у тех, кто легко берет в долг, не задумываясь о его возврате. Уверовав в свою литературную исключительность, Леонтьев, видимо, полагал, что все вокруг обязаны поддерживать его талант, в том числе и финансово. «Меня кормили долго другие», – признается он в своих воспоминаниях. Леонтьева безвозмездно ссужал Иосиф Шатилов, его кормили даже в «немецкой честной семье», где снимал комнату в их симферопольском доме с 14 мая 1856 года до отпуска в Тамаке, его кормила будущая теща в Феодосии, он должен был даже Дмитраки, владельцу гостиницы в Керчи.

Леонтьеву судьбой не предназначалось стать материально обеспеченным человеком, он им и не стал. Он «был представитель “идеализма”, и потому Леонтьев не умел, а точнее, не хотел, подобно знакомому врачу Лотину, заводить себе связи при штабе, чтобы с помощью их заниматься предпринимательством или получать какие-то иные преференции. И это уже натура, накладывающая непостижимым образом отпечаток на внешний вид его обладателя и характер.

Барышня Кушникова, несмотря на свою молодость (недаром Константин робел при ней), заметила эту особенность характера претендента на ее руку и сердце. Мы не узнаем, как, когда и в какой форме ему отказала эта скрытная и умная молодая особа, но факт остается фактом. День в день после истечения шестимесячного отпуска, то есть 2 апреля 1857 года Константин Леонтьев возвращается из Тамака к месту службы в Феодосийском госпитале.

В Феодосии живет его любимая Лиза (Кушникову Леонтьев в письмах не называет любимой). Константин преподносит ей дорогие подарки и вновь живет не по средствам. Опять безденежье и долги. В майском письме матери Леонтьев признается, не называя имен: «Одна старуха гречанка, которая не раз одалживала меня, ходила за мной, когда я был болен, и кормила, когда был без денег…» Речь в письме шла о будущей его теще.

Еще одно признание в неумении планировать свой бюджет: «До первого июля буду есть, курить и пить кофе на счет одной милой девушки, с которой мы всегда делимся, как можем: когда у меня есть деньги, она берет от меня подарки, а теперь она взяла шить наволочки и чехлы на стулья у кого-то, чтобы я мог есть и курить табак до июля» (май 1857 г.).

После строк о том, что Лиза будет шить чехлы и наволочки, представляется странным позднейшее утверждение племянницы Леонтьева Марьи Васильевны, что Лиза «ничего никогда не умела делать». Но мы оставим эту тему, не являющуюся предметом нашего разговора. И тем не менее это утверждение подчеркивает, что не все источники (так всегда) справедливы и объективны.

Вполне возможно, что шитье наволочек – это лишь желание Лизы, не подкрепленное умением, своего рода хитрость, чтобы привязать увлекающегося и нерасчетливого Леонтьева. Все, вероятно, происходило так, как утверждала Жорж Санд: «…самая недалекая женщина становится проницательной, когда речь идет о главном, единственном интересе ее жизни». Речь, как легко догадаться, идет о любви и замужестве.

Кто-то подумает, что в этой любви есть нечто зависимое и рабски порочное, оплаченное, вроде отношений нанимателя и содержанки. Отнюдь нет! И простое тому доказательство, что в 1861 году неожиданно для многих и, может быть, для себя, он из Петербурга отправляется в Крым и венчается на бедной Лизе.

2

Раздосадованный отказом Кушниковой он пишет матери: «…Выгод, повторяю, я здесь никаких не имею и не хочу марать себя в мирное время военной службой. Итак, не беспокойтесь обо мне насчет Москвы. Что будет, то будет, если я не вынесу климата – пусть! Лучше совсем пропасть, чем пресмыкаться в неизвестности».

Романтик и одновременно (вот непостижимое сочетание) максималист Леонтьев ищет славы. Без нее он не видит себя в жизни. Авансы о таланте, выданные ему известными писателями для поддержки, не дают покоя, не дают, что самое главное, сосредоточиться на упорном труде. Да, в Тамаке он начинает большой роман «Подлипки», но слишком часто отвлекается от него. Такой же отвлеченной и размытой получается сюжетная линия основного произведения о своем детстве и юности. Леонтьева совсем не терзают литературные искания, его не волнуют социальные проблемы: в центре всех его произведений ОН сам и его переживания, сомнения, радости. Он – сторонник «чистого искусства».

«Самое пламенное мое желание, – продолжает он письмо матери, – провести 4–5 месяцев в Кудинове, кончить роман и тогда ехать работать в Москву… Да неужели Вы примите за фразу, если я Вам скажу, что Ваше общество было бы мне истинно дорого! Когда тесно – мы ссорились, да и как же: Вы кропотливы и щепетильны, я небрежен в хозяйстве. Вы пуританка по образу мыслей, а я больше a la Беранже по нравственности». Относительно небрежности в делах – это верная собственная характеристика, однако причислить себя по образу мыслей к Беранже было бы легкомысленно. Разве похож Леонтьев на такой вот образ Беранже:

Где он появится в народе,
Веселье разольется там.
Веселье бодрость даст рабам,
А бодрость – мысли о свободе.

Да, гулякой бездумным Леонтьева никак нельзя назвать. В его преклонении перед женщинами и расходах на них видно чувство гордости за себя, доброго и оригинального. Сказав, что «дешевые удовольствия не по нам», Леонтьев тем самым полностью разошелся с Беранже и по нравственной своей характеристике. Веселить свой народ, чтобы пробудить мысли о свободе, Леонтьев не собирался, да и впредь он этого делать не будет никогда. Напротив! Даже в его веселье с женщинами всегда присутствует немалая толика грусти по литературной славе.

В трудолюбии же Леонтьеву нельзя отказать: после утренней, весьма продолжительной раскачки все свободные минуты он за столом. Пишет письма родным, знакомым, пишет романы, а потом и публицистические статьи. Пишет споро, ибо мысль и перо сшиты прочной творческой нитью. Он чувствует этот природный дар и потому мнит о себе многое. И при этом не оставляет своего намерения завершить труд по сравнительной антропологии и видам крымской флоры и фауны.

Восьмого июня 1857 года Константин радостно сообщает матери: «Я теперь работаю без перерыва; собрал много медицинских случаев, наблюдений о Крыме; сделал выписки из разного рода научных книг, которые были под рукой, наконец, надеюсь в конце этого месяца на 3–4 дня съездить в Одессу, чтобы представить Пирогову несколько планов сочинений в надежде, что он даст мне средства поехать в Париж для занятий в Ботаническом саду, или, если это невозможно, хорошее место в Москве, чтобы работать в свое удовольствие, или, по крайней мере, поощрит и рекомендует». Через 10 дней он из Феодосии посылает матери следующее письмо. В нем говорилось: «Третьего дня вернулся с Южного берега, где пробыл с неделю… Я ездил с целью осмотреть Никитский ботанический сад для одной статьи, которую я уже кончил начерно и готовлю с помощью писаря для подачи Пирогову, которого ждут сюда. Не знаю, что из этого будет, но я доволен собою, я все сделал, что мог, положил на эту поездку последние 20 рублей серебром».

И одновременно Леонтьев самокритичен, что и отличает его от всех по-мальчишески увлекающихся людей. Он не вдруг, а осознанно почувствовал ту «бездну фактов», которые остались вне его ума и внимания, а которые нужно было бы знать, чтобы досконально изучить научную тему, и не решился послать свой труд тогда уже великому Пирогову. И все же продолжает свою работу: «Хожу пешком по окрестностям и изучаю растения», хотя, может быть, уже и через силу.

«К сожалению, наука (вообще), в которую я больше и больше стал вникать здесь на досуге, продолжала портить мой *стиль* и мой *дух*. Всякое высокое развитие очень трудно. Нужно много грубых камней, чтобы

найти в них жилку золота; нужно множество розовых лепестков, чтобы выработать одну ложку дорогого душистого масла. Немного остается истинного векам – и у великих художников, у тех, у коих уменье соединилось в жизни и с удачей».

Да, достижение значительных высот в науке, искусстве, да и в любом другом приложении сил и ума, необычайно трудозатратный процесс даже для великого ума. Покорить высоту – это, прежде всего, аскетизм и фанатизм. Леонтьев далек от аскезы и фанатизма. Он сам понимает эту истину. Помогает ему в этом не только аналитическая жилка характера, но и привязанность к своим барским слабостям и пылкая горячность. Парадокс? Отчасти, да. Судьба ставила перед ним такие задачи, что сделала Леонтьева, согласно пушкинскому определению, «другом парадоксов», хотя любое напоминание о его парадоксальности очень не нравилось Леонтьеву.

Летом 1857 года Леонтьев понял, что уже перерос этот научно-естественный период и ему надо умственно двигаться дальше и самому «открыть, до какой степени я силен и в чем именно слаб». И еще он благодарен судьбе – читай: войне – за весь этот благотворный период возмужания и взросления, физического и творческого, но движение вперед – вот цель. И подает рапорт об увольнении с военной службы.

Наконец, 10 августа 1857 года прошение удовлетворено выходом соответствующего приказа. В сентябре Леонтьев покидает Крым. Прощаясь, он обещает Лизе, что вернется за ней, как только немного определится с работой и заработком.

Везет он с собой из Крыма «южно-бережский гербарий и маленькую коллекцию крымских черепов», а также ироничное воспоминание. «Другие доктора возвращались с войны, нажившись от воровства и экономии; я возвращался зимою без денег, без вещей, без шубы, без крестов и чинов» и вовсе не собирался, по его утверждению, краснеть «перед открывшимся тогда либеральным и честным направлением умов». Ведь он в ту пору, судя по его повести «Исповедь мужа», придерживался взглядов либеральных: «Севастополь сдан. Иные говорят:

чем хуже, тем лучше. Может быть, для России они и правы; но мне, крымскому жителю, страшно за Крым».

Из Крыма Леонтьев уехал. Для него, либерала, в то время поражение России в войне означало благо, могущее благотворно встряхнуть ее.

Пока еще Леонтьев не понимал, что его прежние литературные образы не способны глубоко затронуть чувства читателя и не дают повода для философско-художественной работы мысли и чувств. Как говорят и поныне опытные школьные учители литературы о слабых сочинениях своих учеников: «Ни уму, ни сердцу». О произведениях Леонтьева той поры можно говорить нечто уклончивое, но мастерство его под влиянием быстрого взросления крепнет на глазах. И при этом он постоянно сомневается.

И эти сомнения – уже большой шаг вперед. От юношеского максимализма мало что остается.

Глава 5
Последние врачебные тайны

Примеров русского незнания, русских заблуждений, русской *фразы* нет конца.

К. Н. Леонтьев

1

Ко времени своего возвращения из Крыма в родное Кудиново Леонтьев настроен довольно решительно: «Лучше совсем пропасть, чем пресмыкаться в неизвестности. Я имею такого рода религию: кто кому нужен – тот будет жив, а кто ни на что не пригодится Богу на земле, так и жалеть его нечего!» Что же, настроение вполне в духе того времени, в духе Базарова, героя романа Ивана Тургенева «Отцы и дети», признававшего только великие дела. И, конечно, нельзя исключать молодость:

кто же в эти годы не мечтает перевернуть мир. Видимо, ботанические и другие естественнонаучные опыты в Крыму сформировали и в Леонтьеве эмпирические настроения типа базаровского хрестоматийного: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».

Леонтьев не исключает для себя возможности перебраться в Московский военный госпиталь с тем, чтобы «попробовать подготовиться на доктора». Ему досадно, что в 25 лет он все еще «живет в нужде и не может даже достичь до того, чтобы хоть одетым порядочно быть», а это важно – быть хорошо одетым человеком. Иначе, как оценить внешний вид других, когда сам неряшливо одет? Это есть задача первейшая, особенно в молодые годы. Недаром же в новом романе «Подлипки» он замечательно и откровенно в духе исповеди Жан Жака Руссо признался, что «нравиться нужно всем женщинам. Что за жизнь без этого?!» Но для этого нужно прилично одеваться и иметь хороший доход. «И что за развлечения с 20 рублями серебром в месяц. Уж веселиться, так веселиться, а дешевые удовольствия не по нас!» Так-то!

Конечно, то увлечение демократическим радикализмом в стиле Жорж Санд, Белинского и Герцена за годы войны у Леонтьева изрядно выветрилось, но упомянутые крымские натуралистические опыты заставляют считать Леонтьева материалистом, подтверждением чему служит желание посвятить жизнь «положительной науке». Той, о которой Д. И. Писарев рассуждал без тени иронии таким образом:

«Лучшие наши писатели понимают, что им самим следует учиться и развиваться и что вместе с ними должно учиться то русское общество, которое для красоты слога называют образованным… Микроскоп и лягушка – вещи невинные и занимательные… Молодежь постарается завести себе свой микроскоп и, незаметно для себя, проникнется глубочайшим уважением и пламенной любовью к распластанной лягушке. А только этого и нужно. Тут-то именно, в самой лягушке и заключаются спасение и обновление русского народа». Все просто у демократов – разрежь лягушку (обучи народ грамоте и наукам), и русский народ будет обновлен, надев, видимо, новый кафтан. А зачем его

обновлять или спасать, тем более, указами или советами людей, далеких от него? Леонтьев позже ответит на этот вопрос, но пока в голове у него либеральный туман.

Однако в Кудинове Леонтьеву не до биологических опытов и обновления русского народа через любовь к растерзанной лягушке. Он видит постаревшую мать, «уставшую, обманувшуюся в себе и других женщину». Ему от души жаль ее, одинокую и, как всегда, без денег. Сыновий долг требует приступить к энергичным поискам работы, но не отпускают мысли о литературных успехах, авансы которых так сладко звучали из уст завсегдатаев салона Евгении Тур.

Кудиново, между тем, не стало для Леонтьева «волшебным замком» (из письма матери от 1 мая 1857 г.). Здесь его охватило чувство одиночества, то самое, с описания которого начинается роман «Подлипки». Подобное чувство характерно для впечатлительных людей при резкой смене обстановки и окружения. Леонтьев обходит давным-давно и с доскональностью изученные места своего детства и не узнает их. Не потому, что они сильно изменились, а потому, что он стал уже не таким. И то, казавшееся когда-то ярким и сильным, стало серым и слабым, а нечто другое усилилось в цвете, экспрессии и кажется прекрасным. Физически он здесь, в Кудинове, но мысли далеко, и по инерции прошлых лет войны Леонтьеву хочется сделать то, что делал там, на войне. Но этого, оказывается, делать вовсе не надо. Военно-медицинское его умение здесь никому не нужно. Разрыв между желанием писать роман и голосом совести (иди и заработай денег) приводит его в замешательство. Да, он хотел осуществить свое «самое пламенное желание провести 4–5 месяцев в Кудинове, кончить роман (имеется в виду «Подлипки». – *М. Ч.*) и уж после этого ехать работать в Москву». Он намеревался писать день и ночь, но мысль о заработке мешает ему, опускает руку с наточенным пером.

После встречи Нового года (1858) он все же едет в Москву. Какие-то друзья «сватают» его на место «дамского доктора». Профессор Иноземцев, к которому Леонтьев обратился за помощью, предлагает ему остать-

ся на кафедре, но Леонтьев после раздумий отказывается и от этого лестного предложения. Ему хотелось, как и перед войной, уехать вдаль, ну хотя бы за 150 верст от Москвы в богатое имение Нарышкиных, чтобы иметь «больше досуга для мысли и творчества», чтобы успокоить измученную мыслями душу. Леонтьев хочет видеть и простой народ, и высшее общество, «если помещики попадутся хорошие». Знание особенностей этих социальных групп Леонтьев считал более важным, чем «тот средний профессорский и литературный круг, в котором я по средствам своим сначала принужден был бы, вероятно, вращаться в Москве». И как итог его предпочтений звучит признание: «Я искал места в деревне, в провинции. <…> Я хотел многого…» Мы, к сожалению, не знаем, обращался ли честолюбивый Леонтьев к своим высокопоставленным друзьям из окружения Евгении Тур.

Леонтьеву хочется на свободу, душа его требует безграничного простора то ли крымских степей, то ли русских полей, зеленеющих под холодным небом яркими озимыми. Крым привил ему «охоту к перемене мест», и эта «охота» – одна из важнейших для писателя. Она да война. Любая война устраивает участнику такой незабываемый экзамен, вопросы и ответы которого помнятся всю оставшуюся жизнь. И не только помнятся, но и освещают (а порой затемняют) путь в будущее.

«Я благодарен Крыму до сих пор, хотя никогда в жизни я не был принужден отказывать себе во столько, как в настоящую пору; оно и выходит на поверку, что человек, не лишенный ума и души, может переносить все…». И признание это, и сам факт пережитого наложил тот несмываемый отпечаток эмпирического знания жизни, которого не было у его собратьев по перу, кроме Льва Толстого. Отзывы Леонтьева той поры о собратьях по перу высокомерны и снисходительны в свете собственной военной исключительности.

Потому-то для него Панаев и Некрасов «отвратительны», Гончаров – «толстый», «Майков очень жалок. Жена его носит очки». Последнее замечания особенно отдает ребячеством, но, как всякий большой художник, он в самой-самой глубине своего сердца остается ребенком,

пусть и прошедшим войну. Можно даже сказать, что это нежно сохраняемое свойство детскости (не путать с инфантилизмом) и позволяет многим оставаться романтиками и переносить любые невзгоды. С таким чувством не будешь следовать вороватым взрослым дядям, наживающимся на трудностях войны.

«Я… на всех почти ученых и литераторов смотрел как на необходимое зло, как на какие-то жертвы общественного темперамента и любил жить далеко от них, эксплуатируя их лишь для моих целей». И далее слова, объясняющие отчасти его отшельничество и искусственно созданное впоследствии им самим «забвение». «Может быть, от этого и из них никто не стал заботиться обо мне, и все забывали меня в моем удалении, самолюбивом лично и самоуверенно художественно…». Сказано с чувством собственной силы и откровенно.

Наблюдательный Василий Розанов как-то заметил по поводу страстей Леонтьева: «Он не имел другого отношения к вещам и идеям, кроме влюбленного или… негодующего и презирающего до степеней невообразимых…». Для бескомпромиссного Леонтьева не существует полутонов, а только «да» или «нет», третьего не дано. Хотя, разумеется, понимал, что наносит себе вред, но…

2

Наконец, место находится. И опять помогает Иван Сергеевич Тургенев. По его рекомендации Леонтьеву предложена должность (на правах государственного служащего) домашнего врача в Нижегородских имениях баронессы М. Ф. Розен, жены полковника Д. Г. Розена, участника Крымской войны, и помещика А. Х. Штевена, отставного действительного статского советника. Земли эти, заселенные мордвой с исконных времен, отличались отменным плодородием и глухими лесами. Еще в 1678 году князь Василий Федорович Одоевский «поставил на речке Астре в Чукальском бортном ухожее будные промыслы для производства поташа». Через 6 лет князь начал строить каменную церковь в честь

Всемилостливого Спаса. Так возникло село Спасское, где Константину Леонтьеву предстояло служить.

Село Спасское. Издали глазу придирчивого эстета открылся великолепный двухэтажный каменный замок, построенный в готическом стиле с белыми колоннами, выходившими на западную сторону, с которой и прибыл новый доктор. С южной стороны замка парадная лестница спускалась к обширному пруду с арочным мостом. По периметру дома цветники и декоративный кустарник, переходящие в регулярный английский сад, с восточной же стороны блестел златой купол большого храма. Слева, рядом с господским домом, синел другой, уже небольшой купол, там, видимо, была домовая церковь владельцев этого великолепия. На север от господского дома тянулись кирпичные одноэтажные постройки, в которых находились винокуренный, конский и кирпичный заводы, богадельня и больница – будущее рабочее место Леонтьева. Где-то за прудом темнели скотные дворы.

– Изрядно, – пробормотал молодой доктор, пораженный роскошным видом: богатство сверкало, как позолоченные купола сельской церкви. – Хорошо бы остаться здесь надолго, чтобы спокойно, без дум о куске хлеба, заниматься литературным и естественнонаучным трудом, – примечталось Константину Леонтьеву.

И вот как сам он описывает в романе «В своем краю» имение, где он прожил лишь два года. «На самом берегу Пьяны дом большой, кирпичный с белыми украшениями, с маркизами и террасами, ковры цветников сбегают к реке из парка, фонтаны бьют все лето, по холмам шире другого уездного города раскинулись избы; сколько новых срубов! Сколько картинных уголков!» В этом описании пруд заменен на реку Пьяну, название которой – лишнее доказательство, что действие в романе происходит в Нижегородской губернии. По югу ее вьется, как след от бредущего пьяного мужика, река с многозначительным именем. По ходу романа много раз упоминается основное население здешних мест – мордва; монастырь, куда направляются герои романа, – Саровский, ныне процветающий.

Богатое имение принадлежало Марии Федоровне Розен (урожденной Ладыженской, а по сведениям нижегородских краеведов, Бессоновой). С ней Константин Леонтьев быстро нашел общий язык. Легко сошелся он и с мужем ее – бароном Дмитрием Григорьевичем Розеном – сыном очень известных и богатых родителей.

Отец Дмитрия Розена, Григорий Владимирович, участник Бородинского и других сражений Отечественной войны 1812 года, командовал отдельным Кавказским корпусом с 1831 по 1837 год в звании генерал-адъютанта. Мать – графиня Елизавета Дмитриевна Зубова, чей племянник впоследствии поможет Леонтьеву в устройстве на дипломатическую службу. Известен Дмитрий Розен, прежде всего, как близкий друг Михаила Юрьевича Лермонтова еще со времен службы в лейб-гвардии Гусарском полку. Именно у Дмитрия Розена Лермонтов останавливался в Москве в апреле 1841 года, направляясь в последнюю ссылку в Пятигорск, где погиб на дуэли. Лев Толстой также близко познакомился с Дмитрием Розеном во время Крымской войны. Вот что записал в дневнике Лев Толстой 2 сентября 1855 года: «Неделю не писал дневник. Проиграл 1500 рублей чистыми. Севастополь отдан, я был там в самое мое рожденье. Нынче поработал над составлением описанья хорошо. Должен Розену 300 рублей и лгал ему».

Бывая в Спасском наездами, опытный и много знавший и видевший Дмитрий Розен привил молодому доктору интерес к политике, ставшей затем основным призванием Константина Леонтьева. Разговоры, несомненно, касались литературы Розен, лично знавший всех известных на ту пору писателей и поэтов, рассказывал Леонтьеву о них, формируя его взгляды на литературный процесс. Розен, видимо, первым подверг критике возвышенные и либеральные воззрения Леонтьева на особую русскую эмансипацию. Леонтьев в ту пору «воображал, что наша эмансипация совсем не то, что западная: я не мечтал, а непоколебимо почему-то верил, что она сделает нас сейчас или вскоре более национальными, гораздо более русскими, чем мы были при Николае Павловиче. Я думал, что мужики и мещане наши теперь более свободные,

научат нас жить хорошо по-русски, укажут нам, каким и господам, и нам быть следует, – представят нам живые образцы русских идей, русских вкусов, русских мод; даже русского хорошего хозяйства, наконец! Особенно в хозяйство их мы сначала слепо верили! Верили, кроме того, в знаменитый, какой-то особливый "здравый смысл", в могучую религиозность их, в благоразумное и почти дружеское отношение к землевладельцам и т. д.»

Надо сказать, что самонадеянный Леонтьев плохо воспринимал советы «старика» хозяина (Дмитрий Розен старше на 16 лет). «Я тогда улыбался с гнусной тонкостью, – признавался Леонтьев позднее, – я смолоду имел глупость тоже либеральничать...», но многое, тем не менее, запомнилось.

Весь опыт бесед в Спасском, весь без исключения, пришлось Леонтьеву в 60-е годы пересмотреть кардинально. Все его наивные (и не только его, а большинства интеллигентов) размышления оказались на поверку лишенными того самого здравого смысла, который ускользнул из демократического течения, по которому бездумно поплыла Россия. Через 30 лет он советовал своему молодому другу Осипу Фуделю, желающему стать священником: «…не увлекайтесь также поэзией "сельского" народничества. – Я ее сам*, разумеется*, пережил и понимаю; но опыт и более зрелая религиозно-практическая мысль раскрыли мне глаза…».

Раскрыли глаза настолько, что Константин Леонтьев первым заметил и нашел причину той бесконечной социальной пропасти, разверзнутой между крестьянами и владетельными помещиками, что стала основой грядущих потрясений и революций.

Вот вдумайтесь. «Однако народ на купца, который *не носил фрака, держал посты и строил церкви, смотрел более как на своего человека,* чем на такого чиновника или учителя, какие бы добрые и честные и бедные люди они ни были. Здесь не было, как в новой Франции, антагонизма между бедностью и богатством (и не могло быть по самой *сложности* нашего прежнего устройства); здесь был *антагонизм между европеизмом и народностью*». Чужими, плохо знающими рус-

ский язык, не своими людьми были бароны, графы, князья для крестьян. Чужих не жалко, их надо изгонять, подпускать «красного петуха», громить усадьбы.

3

В Спасском Леонтьев получает прекрасную возможность для изучения тонкостей взаимоотношений помещиков и крестьян, так как к тому времени стало известно твердое решение императора Александра II освободить крестьян от крепостной зависимости.

Это намерение, прежде всего, выражалось в высочайшем рескрипте, направленном виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову, с разрешением освобождения литовских крестьян. Текст данного рескрипта в копиях разослали по всем губерниям России с надеждой, что на местах губернаторы сами предпримут попытки освобождения крестьян от крепостной зависимости. Первым, кто откликнулся на просчитанный замысел императора, был нижегородский губернатор и бывший декабрист А. Н. Муравьев. Уже 17 декабря 1857 года он на заседании губернского дворянского собрания зачитал рескрипт императора и предложил дворянам высказать свое мнение по вопросу улучшения быта помещичьих крестьян. Инициативу по разработке предложений и внедрению их в жизнь взяли на себя молодые дворяне-ополченцы, вернувшиеся с Крымской войны. Была составлена резолюция, подпись под которой поставил вышедший на пенсию Алексей Христианович Штевен, Арзамасский уездный мировой посредник, улаживающий земельные и другие споры крестьян и помещиков…

Леонтьев активно включился в дореформенные планы и мероприятия местных демократически настроенных и активных дворян. Вместе с ними Леонтьев снаряжает весной 1858 года в столицу Алексея Христиановича Штевена, которому нижегородский губернатор Муравьев поручил лично доставить императору резолюцию дворянского собрания. Штевен (интересный штрих: фамилия основателя Никитского бо-

танического сада в Крыму Стевен) сделал все, что ему поручалось, но на аудиенцию к Александру II придворные чиновники его не пустили из-за… бороды, которую он отпустил, выйдя на пенсию. Они предложили ему сбрить ее.

Была такая мода, введенная Александром II: брить подбородок, и при этом густые бакенбарды могли висеть ниже чисто выбритого подбородка. Даже нигилисты следовали императорской моде, над которой подтрунивает Тургенев в романе «Отцы и дети». Он награждает лицо своего героя Базарова: «…большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету». Сам же Тургенев, как и Леонтьев, носил окладистую бороду.

Однако Штевен отказался выбрить подбородок и передал письмо через канцелярию. Ответ пришел очень быстро, император приветствовал инициативу нижегородского дворянства, и реформа началась с образования дворянского комитета. Главной его задачей стала подготовка положения по освобождению помещичьих крестьян, но его написание растянулось на несколько лет, так как среди комитета были явные противники реформы. Однако это не предмет нашего рассмотрения.

4

Баронесса Мария Федоровна (прототип графини Екатерины Николаевны Новосильской в романе «В своем краю») занималась хозяйством и воспитанием двух своих детей и, как водится, скучала, не находя интересных собеседников. Потому близко сошлась с красивым доктором (он на 9 лет моложе ее), обладавшим красноречием и аристократическими манерами. Они часами беседовали на разные темы, как герои пушкинского «Евгения Онегина»:

Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,

И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Все подвергалось их суду.

Сам же Леонтьев в романе «В своем краю», начатом в Спасском, пишет об одном таком споре так:

«– Я думаю, главное, чтоб не было насилия! – возразила Екатерина Николаевна, – это главное…. Или нет?

– Все условно-с.

– А как же оправдать насилие? Все условно. Пожалуй, и не оправдаете.

– Оправдайте прекрасным. Одно оно лишь верная мерка на все. Потому, что оно само цель… Что бояться добра и зла? Нация та велика, в которой добро и зло велико. Да, зло на просторе родит добро! Не то нужно, чтобы никто не был ранен, но чтобы были раненому койка, доктор и сестра милосердия. Не в том дело, чтобы никто не был обманут, но в том, чтобы защитник и судья для обманутого, пусть и обманщик существует, но чтоб он был молодец и по-молодецки был наказан… Но избави нас от бессилия, сна, равнодушия, пошлости лавочной осторожности.

– А кровь?

– Кровь, – спросил с жаром… – Кровь не мешает небесному добродушию. Жанна д'Арк проливала кровь, а она разве не была добра, как ангел. И что за односторонняя гуманность, доходящая до слезливости, и что одно физиологическое существование наше? Оно не стоит ни гроша! Одно столетнее величественное дерево стоит двух десятков безличных людей; и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры!

– Извинять жестокость в каком-нибудь случае, это еще понятно, но оправдывать, обращать в принцип…

– Он увлекся.

– Нет – это его всегдашняя манера преувеличивать собственные дурные мысли и без стыда говорить о них…»

В приведенном отрывке намеренно не указаны персонажи, кроме первого, Екатерины Николаевны, чтобы подтвердить предыдущий тезис о многочисленности тем, обсуждаемых неким героем. Герой временно стал безличен, чтобы показать: все, сказанное им, суть авторская точка зрения. И это для Леонтьева главное. Он не то, чтобы плохо маскируется, Леонтьев намеренно опускает литературные «хитрости» в целях быстрейшего доведения до читателя своей точки зрения. Автор романа – безапелляционный ментор, обучающий глуповатого читателя. Чем-чем, а высокомерием и преувеличенным мнением о своих способностях Леонтьев до 1871 года отличался изрядным. Может быть, это даже и хорошо, потому что скромному и слишком самокритичному человеку пробиться на литературный верх невозможно.

Да, Леонтьев человек конкретного дела, он даже в своих, особенно первых, художественных произведениях – не литератор, а суховатый и слишком настойчивый пропагандист своих идей. Он, скорее всего, сам герой романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» Базаров, о котором в критической статье «Базаров» напишет Дмитрий Писарев следующее.

«Словом, человек дела, будь он медик, ремесленник, педагог, даже литератор (можно быть литератором и человеком дела в одно и то же время), чувствует естественное, непреодолимое отвращение к фразерству, к трате слов, к сладким мыслям, к сентиментальным стремлениям и вообще ко всяким претензиям, не основанным на действительной, осязаемой силе. Такого рода отвращение ко всему отрешенному от жизни и улетучивающемуся в звуках составляет коренное свойство людей базаровского типа».

Леонтьев впервые в этом романе выступает как «безжалостный мудрец» (Б. А. Грифцов), который мыслит глобальными категориями. Если всем жалко два десятка человеческих душ, то пусть жалеющие их представят беспристрастные и научные критерии ценности и значимости владельцев этих душ, чтобы провести независимое сравнение их с одним деревом, значение которого вполне доступно не только эстетической, но и экономической оценке. Кроме того, прекрасное дерево может

радовать не только глаз людей, но и защитить их своими корнями от оползня, совершись которое, были бы унесены уже не десятки, а сотни крестьян, живущих по-над склоном горы, где растет красивое дерево. Да и чья рука из тех же крестьян поднимется на него с топором? Редкая рука, наверное, потому что тот, кто решится рубить, так же безнравственен, как и тот, кто отдает команду на его уничтожение! Таким образом, красивая форма дерева несет функцию принудительного ограничения для людей. Говоря же о тех, кто не способен поднять руку на красоту, Леонтьев прибегает к эстетической оценке личности и «силе живого своеобразия» в ней. Недаром же упоминается Жанна д'Арк, личность с живым своеобразием, доброта которой не мешает принимать непопулярные решения с гибелью людей во имя более высокой цели. Такому выработанному типу «безжалостного мудреца» Леонтьев будет соответствовать до конца своих дней.

В романе «В своем краю» менторское нетерпение Леонтьева портит его стиль. Особенно заметны недостатки его литературного мастерства в сравнении с тургеневским («Отцы и дети»). Тургенев так умело, в мягком, ненавязчивом поучении скрывает мораль и цель произведения, что даже опытный Писарев, анализируя образ Базарова, оговаривается: «Дело в том, что Тургенев, **очевидно** (выделено мной. – *М. Ч.*), не благоволит к своему герою».

Леонтьев в своем деловом упоении рубит наотмашь, и в руках у него не топор даже, а колун, что пригоден при колке сучковатых, извивистых поленьев. За что и получает по полной программе от язвительного Салтыкова-Щедрина в критической статье, опубликованной в 1864 году в журнале либеральных демократов «Современник» сразу же после появления романа «В своем краю» в «Отечественных записках». Конечно, Салтыков-Щедрин видит социальную направленность романа против «лавочной осторожности», но в образе Богоявленского весьма заметен убийственный намек то ли на Добролюбова, то ли на Чернышевского, а этого простить противнику нельзя. Потому-то Салтыкову-Щедрину вовсе не требуется пускаться в долгий разбор и касаться идейной сути произ-

ведения. «Подследственному» писателю легко вынести смертный приговор, «осудить» его по сумме формальных признаков, пользуясь приемами юристов, высмеивая попутно большую путаницу в любовных похождениях героев, что и делает М. Е. Салтыков-Щедрин блестяще.

Прежде всего он называет произведение Леонтьева «романом-хрестоматией», а самого Леонтьева – компилятором: «Он даже не спросил себя, для чего он компилирует, какие могут быть достигнуты цели с помощью подобной компиляции… Перед нами не произведения, а образцы сочинений, и, во-вторых, что г. Леонтьеву не сочинить так, как сочинит г. Писемский».

Жестоко, но поучительно.

Творческая судьба готовила Леонтьеву между тем другое, публицистическое предназначение. Невозможно во всех делах быть мастером, и это признал позднее сам Леонтьев в заметке «Где разыскать мои сочинения после моей смерти». «Есть очень злая критика, видимо, Щедрина по манере, в “Современнике”. Роман очень язвительно сравнен с хрестоматией, в том смысле что он будто бы весь сшит из кусков Тургенева, Толстого, Писемского и Григоровича… Критика очень хороша, и роман за грубость некоторых приемов заслуживает строгого разбора… По мысли, конечно, он самобытен».

В период жизни у Розенов у Леонтьева четко определилось отношение к нравственности. Если Пушкин в своей «Капитанской дочке» верит, что избежать социальных и личных потрясений можно благодаря простому улучшению нравственного состояния общества, то Леонтьев ясно отдает предпочтение эстетике перед этикой. Если сказать проще, то он в рассуждениях Милькеева (героя романа «В своем краю»), приведенных выше, желал бы сохранить прекрасное дерево за счет десятка серых жизней крестьян. Тем самым он говорит новое слово: нравственность есть величина относительная, зависящая от непостоянства характера воспитателя, к которому попадет тот или иной человек. А если нравственных воспитателей вообще на земле не останется? Потому-то, по его идее, и нужна эстетика, мерило более постоянное и находящееся

в прямой зависимости лишь от целесообразности природы и наследственности – ее основы.

Но роман «В своем краю» будет написан позднее, пока же Леонтьев дружит не только с баронессой, но и с ее детьми, и те явно находят с доктором общий язык. Леонтьев и дети баронессы переполнены взаимными симпатиями. Полновесное и достаточное этому выводу подтверждение можно найти в Российском государственном историческом архиве, где хранится его труд «Об учебнице естествоведения в Крыму», набело переписанный детскими руками Розенов. Согласитесь, что ребенка 12–15 лет невозможно силой заставить заниматься подобной утомительной работой. Такое действо – плод глубинного уважения и искренней любви.

Доказательством доброго нрава Константина Леонтьева служит его встреча с повзрослевшими детьми Розенов в Москве через 20 лет. В январе 1877 года они, зная о вечных его проблемах с деньгами и местом жительства, предлагают ему надолго поселиться в Спасском. Вот что отмечает Леонтьев в «Исповеди»: «Новый 77-й год один в Москве. Краткая поездка в Петербург. Москва до весны». Можно было бы согласиться, но Леонтьев не хотел быть нахлебником. Второй раз Розены (дети) приглашали провести у них осень и зиму 1877–1878 годов. И вновь Леонтьев отказывается, хотя материальное положение его не улучшается. Оценка встречи Нового 1878 года из той же «Исповеди»: «В Кремле в доме Неклюдовых». Все один и один. Что же, писателю одиночество – непременное условие и образ жизни.

Наряду с написанием первых глав нового романа «В своем краю» Леонтьев заканчивает роман «Подлипки», а в феврале 1859 года и свой первый и единственный научно-естествоведческий труд о Никитском ботаническом саде, объединяющий и ряд других научных данных о полуострове Крым. Он отправляет труд, сопровождая его 10 февраля 1859 года письмом на имя министра народного просвещения Евграфа Петровича Ковалевского.

Министр через месяц ответил лекарю Леонтьеву: «Прочитав с удовольствием присланную Вами, Милостивый Государь… рукопись под

заглавием: “Об учебнице естествоведения в Крыму” и разделяя мнение Ваше собственно о пользе заведения, в котором изучение этой отрасли науки могло быть наглядным, независимо от места местности, я покорнейше благодарю Вас за сообщение мне сего Вашего труда». Было заведено в то же время «Дело Канцелярии министра народного просвещения по письму лекаря Леонтьева…», но раскрутить его, говоря сегодняшним языком, не удалось.

Отчего такая оперативность с ответом министра, а, значит, полезная управляемость государственной машины становится возможной? Скорее всего, благодаря принципу сословности, существовавшей в России. Не всякий житель страны, тем более такой огромной, нашел бы смелость написать письмо самому министру, его Высокопревосходительству. И не потому, что, по позднему утверждению большевиков, Россия была сплошь неграмотной, а, прежде всего, потому, что каждый знал, как говорится, свой шесток и свои обязанности. Да, именно обязанности прежде всего, а не права, так как в русском обществе существовал порядок, когда широкое и качественное выполнение своих обязанностей приносило определенные права, а не наоборот, как в римском праве, по которому жил и до сих пор живет западный мир. Обладаешь, например, естественнонаучными знаниями, значит, имеешь право писать министру, так как разбираешься в данном вопросе. И потому министерства, канцелярии, суды и прочие узлы государственного механизма не были загружены мелкими делами, как при эгалитарном смешении на Западе, по более поздним словам Леонтьева.

Вот и революционер Прудон заметил, что: «Судьба вместо того, чтобы урбанизировать человека, чаще всего лишь подчеркивает его грубость». Леонтьев прежде Прудона заметил это в своей статье «Грамотность и народность», созданной в 1868 году: «Да! В России еще много безграмотных людей, в России много еще того, что зовут “варварством”. *И это наше счастье, а не горе.* Не ужасайтесь, прошу вас, я хочу сказать только то, что наш безграмотный народ более, чем мы,

хранитель народной физиономии, без которой не может создаться своеобразная цивилизация».

Вот так, через рассуждения о грамотности народа Леонтьев вполне логично переходит к таким высоким понятиям, как цивилизация, экстраполируя его в область мировой истории. Где Леонтьев наблюдал картины крестьянской и помещичьей жизни? Здесь, в селе Спасском Нижегородской губернии. Вообще следует отметить, что любой жизненный факт, случай, сюжет, подаренные жизнью, Леонтьев использовал на все 100%, то ли в художественных произведениях, то ли в публицистических статьях, делая из них своеобразные выводы.

Идет неспешная, спокойная, сытая жизнь в тепле и уважении с возможностью заниматься литературным трудом, наряду с основным, лекарским. Зачем желать большего? Заработок у Леонтьева хороший. Часть денег он регулярно отсылает матери для содержания ветшающего имения в Кудинове, частью гасит долги, например, Дмитраки, хозяину кофейни в Керчи. Деньги остаются даже на покупку книг за границей. В 1860 году он произведен в титулярные советники согласно представлению Нижегородской врачебной управы (не будем забывать, что должность в Спасском у него государственная). Но…

Ох, уж это многозначительное «но». Леонтьев чувствует, что столь значительная удаленность его от литературных центров не позволит ему выдвинуться в ряды известных писателей. Значит надо ехать в столицу, но только ли процесс личного совершенствования погнал его из благополучного Спасского в Кудиново, а затем в Петербург?

5

Не история ли с Феничкой тому причиной? В романе «Подлипки» Леонтьев как-то обронил, что «нравиться нужно всем женщинам». По всей видимости, это были не пустые слова, а некая программа поведения, временами, возможно, и бессознательная, в силу, так сказать, выработанной с детства привычки. Леонтьев совершал в любовном угаре

поступки, не только похожие на историю с Феничкой, но и те, о результатах которых Леонтьев замечал: «Бывало и похуже».

Возможно, Леонтьев доходил в своих «эстетических» предпочтениях женщин до того края, за которым практически зияла пропасть аморальности, но Бог не позволил ему в нее свалиться. К временам его молодости и врачебной практики относится не скрываемая им история с Феничкой. Вот как передает этот случай Лев Тихомиров, близко познакомившийся с Леонтьевым в последние годы его жизни.

«В одном глухом угле хозяин, где он (Леонтьев. – *М. Ч.*) проживал, опасно заболел, и Леонтьев очень внимательно ухаживал за ним. Хорошенькая Феничка, жена больного, очень любившая мужа, не знала, как и угодить доброму доктору. Но на беду у него зашевелилась эстетическая чувственность, и он стал соблазнять Феничку. “Эх, Феничка, Вы мне все предлагаете разные угощения, а мне нужно только одно”, т. е. ее саму. Он ей так прямо и сказал, и она отдалась ему. Леонтьев не подумал даже о том, что сначала это могло случиться просто из страха рассердить доктора и оставить мужа беспомощным. Потом она, однако, привязалась к соблазнителю, да, вероятно, ей стыдно было и глядеть в глаза мужу, начавшему поправляться. Леонтьеву уже нужно было уезжать, и Феничка умоляла взять ее с собой. Но Константин Николаевич начисто отказался и прямо сказал, что вовсе не намеревался себя навсегда связывать… Я, конечно, не мог не высказать Леонтьеву, что он нарушил тут элементарнейшее требование порядочности. Он с этим ничуть не согласился.

“Ведь я тогда не верил в Бога, – возразил он. – Конечно, если Бог запрещает, то я должен слушаться. Но если Бога нет, почему же мне стесняться? Ведь это мне было очень приятно. Почему я должен лишать себя удовольствия? Да ведь и Феничке было приятно, а муж ничего не знал”».

На первый взгляд чистейшей воды эпикурейство, крайний эгоизм, осужденный в десятках произведений прозы и поэзии XIX века, начиная с «Бедной Лизы» Карамзина и заканчивая проклятием ставрогинского насилия над Матрешей в «Бесах» Достоевского и чувственными «опытами» Нехлюдова в «Воскресении». Вот как они отражены у Льва

Толстого: «…ему было жалко ее, но, странное дело, эта жалость только усиливала вожделение к ней». Слова специалиста, не правда ли?

Нехлюдов, а по сути сам Толстой, надо отдать должное, весь в сомнениях: «Что же это: большое счастье или большое несчастье случилось со мной? – спрашивал он себя» (после соблазнения Катюши). Леонтьев более уверен в себе и честно признается, что ему было «приятно». Различие в одной лишь уверенности? Ставрогин же вообще не анализирует свое поведение, он, согласно Ницше, находится «по ту сторону добра и зла».

Далее Лев Тихомиров продолжает: «…даже неприятно было слышать его признания, в которых он доходил до циничности, замечая иногда: “Бывало и похуже”. Но сам говорил об этом, как будто испытывал потребность исповеди и самообличения».

Да, Леонтьев исповедуется, но смысл исповеди понят Тихомировым совсем не так, как хотел, обличая себя Леонтьев. Он подчеркивает значение веры в Бога, единственного и беспристрастного оценщика и пастыря нравственного поведения человека. Нет Бога в душе, говорит Леонтьев, и человек свободен от любых обязательств, данных при рождении (крещении) и приобретенных за годы воспитания и образования. Поэтому вывод Леонтьева, упущенный Тихомировым, звучит так: отдайте душу Богу, а не дьяволу, и с вами не случится то, что случалось со мной, что может случиться с каждым человеком (до человечества ему дела нет), если он впадет в грех атеизма.

К такому же выводу приходит и Толстой, заканчивая 16 декабря 1899 года свое «Воскресение» словами: «…несомненное спасение от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми перед Богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей».

Виноватость перед Богом – это и есть страх Божий, согласно Леонтьеву, единственный и насущно необходимый регулятор человеческих отношений.

Часть III
БЕЗВЕСТНОСТЬ

Не порок в наше время страшен; – страшна пошлость, безличность!

К. Н. Леонтьев

Глава 1
Славянофилы и западники

Надо, чтобы нам не испортили эту роскошную почву, прикасаясь к которой мы всякий раз чувствуем в себе новые силы

К. Н. Леонтьев

1

В конце 50-х годов после Крымской войны на распутье оказался не только Константин Леонтьев, но и Россия. Кабальный Парижский мирный трактат, закрепляющий итоги Крымской войны, был для России не только политически унизителен, но и экономически разорителен. По-иезуитски хитрые союзники вроде бы красиво и благосклонно записали в трактате: «быть на вечные времена миру и дружеству» между Россией и другими державами. Территории и города, занятые противником, должны быть освобождены и возвращены России, а именно: Севастополь, Балаклава, Камыш, Евпатория, Керчь-Еникале и другие. Вдаваться во все подробности мирного договора не имеет смысла, главное, что экономическое давление, хитро замаскированное, тут же стало явным, как шило в пустом мешке. Запрет России иметь флот в Черном

море являлся для нее по сути дела эмбарго. Экспорт пшеницы и других товаров, производимых на юге России, через Азовское и Черное моря стал невозможен.

Пульс российской внешней политики затих, а по некоторым направлениям ее и вовсе замер. Назначенный императором Александром II министр иностранных дел А. М. Горчаков, тот, что учился вместе с самим Александром Пушкиным в Царскосельском лицее, пошел по пути укрепления… внутренней политики государства российского. В своем известном циркуляре от 21 августа 1856 года он связал вопросы внешней политики с принципами и целями политики внутренней, тем самым как бы предусмотрел необходимость экономических реформ. Тогда служебные циркуляры были не столь официозны, и в них допускались некоторые авторские вольности (размышления). Так, в этом документе есть следующие слова министра Горчакова, ставшие известными на весь мир: «Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится. Россия сосредотачивается… Политика нашего августейшего государя имеет национальный характер, она ни в коем случае не является эгоистичной…». Такие вольности в современной дипломатии недопустимы: много лишнего словесного «мусора». Но вот этот-то «мусор» и являлся признаком национального своеобразия, которое всеми способами отстаивал Константин Леонтьев.

Лишь в 1870 году (спустя 14 лет), воспользовавшись поражением Франции от Пруссии, Россия в одностороннем порядке расторгла этот позорный договор, заключенный в 1856 году в Париже. Ослабленные собственным противостоянием враги России не посмели ей возразить.

Новый император Александр II, боясь, что паром народного недовольства от мрачных результатов Крымской войны сорвет крышку бурлящего котла, каким в ту пору представлялась Россия, объявил «гласность». Поэт и дипломат Федор Тютчев назвал это время «оттепелью».

Высший цензурный комитет, детище Николая I, третьего декабря 1855 года упразднили. Эта дата – своеобразный «день рождения» обличительной журналистики и целого направления в русской литературе

с чертами «грубой выразительности» (Павел Анненков). Одно за другим стали возникать новые независимые издания. Писатели и журналисты, словно наперегонки, принялись критиковать взяточников, откупщиков, бюрократов.

Наступило так называемое время обличителей, всегда грозящее другой крайностью: вместе с недостатками выплескивалось из купели и само дитя – монарх. За критикой шел следующий более радикальный период – переустройство всей политической и экономической системы России. От обличения казнокрадов – к уничтожению существующего строя. Джинн недовольства был выпущен, и вернуть его назад в лампу оказалось делом невозможным. Началась перестройка XIX века.

Конечно, николаевская Россия значительно отстала от европейских стран по уровню развития промышленности, военного снаряжения и транспорта. К середине XIX века действовала всего лишь одна железнодорожная ветка между двумя столицами, да и сельское хозяйство, продукция которого была основной статьей экспорта, сдерживалось крепостным правом. Но как только была объявлена гласность и режим смягчился, Россию захлестнули волны революционных идей. Проникая во все слои общества, они разъедали верноподданнические чувства народа. Создавалось новое сословие – разночинная интеллигенция, взявшая на себя исполнение функций учителя народа.

Вот как характеризовал Дмитрий Иванович Менделеев в своих дневниках студенческие волнения 1861 года, происходившие в Петербурге: «Я получил подлинные убеждения в возникновении беспорядков… под влияниями, совершенно чуждыми России и пришедшими из-за границы, где в то время… много было организованных сил, стремившихся, во-первых, приостановить явный прогресс, начавшийся в нашей стране, и, во-вторых, желающих сосредоточить все внимание России на внутренних беспорядках, чтобы отвлечь ее этим путем от вмешательства во внешние европейские события, среди которых тогда больше всего имели значение политические объединения Италии и особенно Германии… Все дела этого ряда тогда несомненно имели организацию и представи-

телей ее в виде властных лиц, подобных Бисмаркам и Кавурам…». И далее Менделеев отмечает, что укрепление России или неизбежная война с ней принесли бы европейским странам миллионные потери в денежном выражении. Возбуждение же внутренних беспорядков, покушений на русского царя есть несравненно более дешевый способ ослабить Россию и вывести ее из списка игроков европейской и мировой политики. И это мнение, пишет далее Менделеев, не только лично его, но и многих профессоров Петербургского университета.

Брожения в самой России воспринимались на окраинах как слабость власти, и там регулярно вспыхивали национальные восстания, руководители которых ставили цель – отделение от России. Как только жесткие порядки, ранее установленные Николаем I в Польском царстве, смягчились, так сразу разгорелось большое вооруженное восстание, начавшееся в январе 1863 года нападением повстанцев на русские гарнизоны. Благородные уступки Александра II обернулись новым кровопролитием в Польше, которое отрезвило многих из либеральной интеллигенции и подвигло к мысли о необходимости более жесткой дисциплины как во внутренней, так и во внешней политике. Демократические уступки и в народе олицетворялись с хаосом и человеческими жертвами. Лишь с использованием против польских повстанцев регулярной русской армии и расстрелов причастных к убийству русских солдат удалось погасить пожар волнений.

Прошло десять лет, как Александру II «освободителю» пришлось испить полной чашей всю горечь от своих половинчатых, непоследовательно проведенных реформ. Убийство президента США А. Линкольна подсказало врагам России новый путь сопротивления – терроризм. Уже 4 апреля 1866 года Александр II подвергся первому покушению, а потом еще пять раз в него стреляли, его взрывали, пока 1 марта 1881 года террористы не добились своего. Царя-освободителя преследует в России кучка заговорщиков, а царя тирана Николая I-«палкина» «берегли», как зеницу ока. Не должен ли этот парадокс подвигнуть прозападную либеральную интеллигенцию к философским размышлениям? Нет, им не

надо философствовать, они знают, что при жесткой дисциплине в стране им головы не поднять (они трусоваты), а вот либеральные порядки, граничащие с хаосом, им по нутру. Это их стихия в противовес славянофилам, так назывались в XIX веке сторонники особого пути России.

Уже в 1862 году стали распространяться революционные прокламации, призывающие к свержению самодержавия и уравнительному разделу земли. Можно было бы хлестко сказать, что власть и общество в России вступили в прямую конфронтацию, но это неверно. И во власти, и в обществе (образованной части народа) были сторонники как западного пути развития, так и собственного, русского. Так что раздел шел в основном по линии отношения к Западу.

2

Время разгула обличительства и отрицания прошлого, когда, по словам Леонтьева, «кроткий Михайлов печатал свои кровавые прокламации, советуя в них идти дальше французов времен террора», породило в 60-е годы и ответную реакцию. Славянофилы времен «старинных» мечтателей Ивана и Петра Киреевских, А. И. Кошелева, С. Т. Аксакова, А. С. Хомякова во время польской смуты стали деятельными защитниками государства, Церкви, общины, народных традиций и преданий. «И множество людей помирились с их мечтами за некоторые практические их выводы», – писал Леонтьев. Помирились с ними за их высокий идеал, ставший ясным для всех: «…русский мир и союз его с Самодержавием, Земская дума совещательная с полной свободой действия верховной власти; русская песня и русские обычаи; горячая Вера в Православие, добро и прекрасное; и чистота семейных нравов, полная внутренней свободы, веселья и любви».

К 30–40-м годам позапрошлого века восходят первые противоречия между славянофилами и западниками. На начальном этапе они незначительно отличались между собой в достижении цели, состоявшей в торжестве добра и справедливости. Со временем разница во взглядах

стала нарастать, и к концу 40-х годов можно выделить пять основных пунктов размежевания.

Итак, первый. Западники видели в реформах Петра I начало движения к Европе, а, значит, прогресс. Для славянофилов это движение означало, прежде всего, отход от русских народных начал в пользу подражания западным образцам, порой бездумное «обезьянничанье» (Данилевский), приводящее к расколу русского общества, а затем и к деградации, прежде всего, культурной. Внешне эти расхождения проявлялись в отношении к западным ценностям. Западники ими восхищались, говоря «куда нам, русским», а славянофилы считали европейские «ценности» вредными и упрекали Запад в поклонении Мамоне, а не Богу, эгоизме, эгалитарности и частых революциях. Позиция Леонтьева по этому вопросу была такой: «…народ еще хранит в столь многом свято свое родное (как бы грубо оно ни было, это не беда), *и облечение общих идей в родные формы может принести и уже во многом принесло богатую жатву».* Леонтьев активно поддерживал славянофильскую критику Запада: «Гнилой Запад (да! – гнилой так и брызжет, так и смердит отовсюду…)».

Второй. Славянофилы признавали в качестве единственной формы управления неограниченную власть самодержца, тогда как западники старались найти гармонию между монархической властью и парламентом или каким-либо другим законодательным органом власти. Леонтьев характеризует такое отношение афористично и пророчески: «Я осмелюсь даже, не колеблясь, сказать, что никакое польское восстание и никакая пугачевщина не могут повредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень законная демократическая конституция».

Третий. Самые глубокие расхождения наблюдались по вопросу взаимоотношений личности и государства. Западники молились на так называемые права человека как закономерный результат римского права, когда личность ставилась выше государства и требований большинства в обществе. Славянофилы усматривали в этом торжество эгоизма и проводили четкую грань между индивидуальностью и индивидуализмом. Леонтьев считал, что «если бы идею личной свободы

довести до всех крайних выводов, то она могла бы, через посредство крайней анархии, довести до крайне деспотического коммунизма, до юридического постоянного насилия всех над каждым или, с другой стороны, до личного рабства». Славянофилы противопоставляли западному эгоизму русскую общинность или соборность, в достаточной мере выраженную в сельской общине («міре»). Леонтьев отзывался об общине, которую порицают только крайние «европеисты», так: «Европейцы, чуя в нас для них что-то неведомое, приходят в ужас при виде этого грозного (общины. – *М. Ч.*), как они говорят, "соединения самодержавия с коммунизмом", который на Западе *есть кровавая революция, а у нас монархия и вера отцов».*

Четвертый, духовный аспект. Западники, променявшие Бога на золотого тельца, разумеется, были в основном атеистами, к тому же еще и воинственными, подвергая веру отцов остракизму. Для славянофилов Православие было основой основ жизни России. Леонтьев прямо и кратко говорил, что без Православия России не жить. Хомяков отмечал, заглядывая вперед: «Спор религиозный заключает в себе всю сущность и весь смысл всех предстоящих нам жизненных споров».

Пятый. Славянофилы и западники опирались в своих воззрениях на разные философские системы. По формулировке Владимира Сергеевича Соловьева, западники ставили «на линию Гегеля», основанную на буржуазной рациональности и личной пользе, славянофилы предпочитали Шеллинга, соединяющего научное познание с религиозными прозрениями. Для укрепления самосознания русского народа, полагал считавшийся славянофилом Астафьев, необходима философия, а не Православие. Против этого решительно восставал Леонтьев, считая, что «лучше 10 новых *мистических* сект (вроде скопцов и т. п.), чем 5 новых *философских* систем (вроде Фихте, Гегеля и т. п.). Хорошие философские системы, именно *хорошие*: *это начало конца*».

Взгляды Леонтьева, судя по приведенным высказываниям, кажется, отвечали славянофильским воззрениям и официальным правительственным установкам. Но это лишь на первый взгляд. Рассмотрим,

например, вопрос Православия. Известно, что Православная Церковь России действовала под жестким присмотром правительства. Одно лишь существование Святейшего Синода, образованного Петром I в качестве структуры правительства Российского, говорит о несвободе Церкви. Алексей Степанович Хомяков, считавшийся по уму и по энциклопедичности знаний равным Ломоносову и Пушкину, утверждал, что Церковь не должна иметь «ничего общего с государственными учреждениями», что «Церковь – не авторитет, а истина». Кроме того, начиная с Петра I, правительство Российское неуклонно боролось со старообрядчеством, приравняв его в годы правления Николая I к ереси, принуждало старообрядцев покаяться и перейти на сторону официальной Церкви. Тот же Хомяков утверждал вразрез официальной линии, что «в делах веры принужденное единство есть ложь, а принужденное послушание есть смерть».

Леонтьев также был за большую самостоятельность Церкви, говоря: «Церковь должна быть независимее нынешней. Иерархия должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее. Церковь должна смягчать государственность, а не наоборот», и ратовал ради своеобразия русской культуры за старообрядцев, хранителей русской самобытности и старинных обрядов, что прекрасно выразил в статье «Грамотность и народность».

Особо славянофилы относились к Самодержавию, считая, что монарх должен опираться не на бюрократию, а на общины, а те, в свою очередь, доводили бы нужды и чаяния народа через Земские соборы до монарха. Иван Сергеевич Аксаков предлагал сломать весь административный аппарат, чтобы царь соотносился напрямую с сельскими общинами. Леонтьев резко критиковал эту точку зрения, справедливо считая ее шагом к разрушению Российской государственности.

И ранние, и поздние славянофилы были против сословности русского общества, а Леонтьев им возражал: «Сословный строй в десять раз прочнее бессословного». Был Леонтьев, по личному признанию, славянофилом «на свой салтык», находя в славянофилах достаточно либеральности: «С этой стороны (сословности. – *М. Ч.*) славянофилы представля-

лись мне всегда людьми с самым обыкновенным европейски умеренно либеральным образом мыслей. И государь Николай Павлович был прав, подозревая постоянно, что под широким парчовым кафтаном их величавых “вещаний” незаметно для них самих скрыты узкие и скверные панталоны обыкновенной европейской буржуазности». Если уж славянофилы таковы, то что же ждать от западников?

Наряду с этим «московские славяне переносили собственную нравственность на нравы нашего народа. Я сомневался, правы ли они. Мне казалось, народ наш нравами не строг», – такое мнение высказывал Леонтьев. И, действительно, он как в воду глядел, наш народ оказался нравами не строг. Из этого последует тот вывод, о котором уже сказано: нравственность должна носить зависимый характер, быть вторичной по своему положению относительно религии, эстетики, государственности. От славянофильства Леонтьев воспринял основную идею, идею культурной самобытности России, в полной мере соответствующую его эстетическим воззрениям на полноту жизни. В дальнейшем эта идея получила у него значительное развитие.

Как бы там ни было, Константин Леонтьев трепетно уважал и славянофилов, и западников 40-х годов, говоря, что «лучшее украшение нации – лица, богатые дарованиями и самобытностью. <…> Какими оригинальными дарованиями, каким русским творчеством заменят поколения 70-х годов, когда исчезнет богатое духом поколение 40-х годов? Когда-нибудь не станет ни Островского, ни И. Аксакова, ни Каткова, ни других современников Ап. Григорьева; как не стало ни Грановского, ни Кудрявцева, ни К. Аксакова, ни Хомякова, ни Станкевича, ни Кольцова, ни Шевченки и Белинского. <…> Многие из этих людей 40-х годов (отцы тургеневские) доказали, что они способны быть не только мыслящими Рудиными, но и стать во главе практических учений; способны неусыпными трудами прокладывать свежие труды; являться в трудные минуты с духовной поддержкой колеблющемуся обществу. Кто заменит их?» Так приходит понимание того, что качество важнее и нужнее любого, даже самого необъятного количества.

Это горячее восклицание Леонтьева относится к 1869 году, а девятью годами ранее, в начале 1860 года, он неожиданно покидает благополучное Спасское ради Кудинова.

Глава 2
Неоцененные мысли

Душа полна, и грусть ее отрадна, потому что она слышит близость бога красоты.

К. Н. Леонтьев

1

Ранней весной 1860 года двадцатидевятилетний Леонтьев внезапно появляется в Кудинове. Наверное, удивленная матушка с нескрываемым неудовольствием спросила его: «Что помешало тебе, сынок, работать и жить в сытом и денежном Спасском? Ведь от добра добра не ищут». Недовольство Феодосии Петровны легко понять: только-только наступило относительное благополучие, и от сына пошли денежные переводы, как ее неусидчивого Костиньку опять куда-то потянуло.

Ответы уклончивые, потому что Константин принял решение порвать с медициной, но знал, что мать будет против этого. Он не хотел новых ссор, так как стычки с матерью бывали очень резкими: ведь еще из Крыма он менторски увещевал ее: «Вникните в дело, разберите хорошенько, и Вы увидите, что в ссорах со мной вредило Ваше упорство. Вспомните, капризы Ваши я всегда сносил без злой памяти, когда Вы в них каялись. Капризы снести можно всегда, когда видишь, что человек не прав, а сознаться не хочет, потому что он родил другого, а не другой его».

Феодосия Петровна не считала споры с Костей капризами, ведь она мать, он же как сын должен уважать мнение пусть не матери, а хотя бы старшего по возрасту человека. Ах, эта современная молодежь! Вот и

сейчас, как остаться спокойной, если масштабы Константин обозначил себе далеко не семейные, а всероссийские. Как воспринять слова, что ему, видишь ли, надо ехать в Петербург и пуссировать (продвигать – так тогда выражались образованные люди) свои произведения в журналы и газеты, надо знакомиться с редакторами и издателями, потому что без личных знакомств литературных дел не решить. И это его нездоровое увлечение литературой (от которой она не ждала никаких выгод) было нестерпимо – опять неопределенность с деньгами. Опять долги? Почему Константин не хочет понять мать, ведь она устала от вечной нужды и хотела бы провести остаток дней своих хотя бы в относительном достатке и в своем родном имении?

У Леонтьева тоже роились сомнения о дальнейшем пути, о силе их можно лишь догадываться. Он надеялся, что Кудиново, которое он называл «целителем», спасет, поможет сделать правильный выбор. Он нужен ему, как глоток свежего воздуха после длительного пребывания под водой, в пруду, возле старинного липового парка, как печное тепло для иззябшего тела после поездки в мужицких розвальнях, как ласка матери, даримая любимому, вечно где-то пропадающему сыну. Романтичному Леонтьеву верилось: все будет хорошо.

Просыпались после зимней спячки сосновые боры с вытаявшими вокруг золотистых стволов закраинами, где уже в нетерпении копошились проснувшиеся муравьи, вечные труженики, и еще какая-то мельчайшая живность. Дивные, прохладные летом дубравы и липняки еще спят, все более и более сливаясь цветом с темнеющим и оседающим под жарким апрельским солнцем снегом. Ноздреватый речной лед вспух, словно опара для будущих пирогов у кухарки Агафьи. И повсюду в лесах и полях тишина и покой, а в старом парке шум и гортанные крики нескучных и озабоченных грачей, обновляющих отсыревшие гнездовья. Средняя полоса России. Неяркая, нежаркая, возможно, для нерусского взгляда даже скудная в красках природа.

Постаревший одноэтажный барский дом. Все его ранее скрытые от молодого, невнимательного взгляда изъяны теперь все более заметны

под взыскующим красоты взглядом молодого писателя. Они особенно режут глаз после ухоженных нижегородских владений баронессы Розен и Штевена.

Старшие братья в столицах, а бесхозяйственный склад ума матушки довольствуется теперь самым малым, что есть вокруг. Ей уже 63 года, и старые болячки часто напоминают о себе. Но она в его воображении до сих пор молода, с лицом без морщин, в белом кисейном платье с голубыми горошинами. В памяти, лишь только он задумается о матушке, она в наклоне перед ним, восьмилетним, чтобы поцеловать русую его макушку, оторвавшись от игры на пианино.

В памяти нашей события отнюдь не сортируются по важности и значимости, и запоминаются на всю жизнь вовсе не главные, а чаще всего второстепенные сценки, те, для которых невольная и случайная готовность нашего сознания была наивысшей в момент восприятия. Вот ему запомнилась мать в белом кисейном платье, и не вытравить этот образ никакими более сильными и поздними впечатлениями и событиями. Они – сильные и зрелые – способны исчезать, а ранние, слабые и детские, останутся навечно, ибо душа запомнила.

Чтобы почувствовать настроение Леонтьева в те 10 месяцев его жизни в Кудинове, нужно вернуться к строкам романа «Подлипки». «Много переменилось в Подлипках и к худшему, и к лучшему. И в саду, и в доме, и на дворе, и в людях, и во мне самом много перемен. Сад стал гораздо гуще; маленькие елки на куртинах прежде чуть были видны от земли, а теперь они гораздо выше меня; пруд со стороны двора заслонился целым рядом серебристых тополей… Дом осел; все комнаты мне казались малы, окна кривы, и обои сморщены и стары. Великолепная угольная комната была уже не пунцовая, а зеленая; узоры на обоях новые, без жизни и значения в моих глазах».

Смысл последних слов поистине замечателен: все в нашей жизни приобретает значение через личное восприятие. Исторические события, знакомые и близкие люди, работа, любовь, и все внешние проявления этих многообразных форм – сущее – познается человеческим сознанием

через личное «я». Это еще не экзистенциализм в полной мере, но Леонтьев уже пришел к мысли, что материалистическое противопоставление субъекта и объекта, при котором человек лишь один из многих предметов изучения, слишком грубо и непоэтично. Жить по принципам, что все вокруг познается из опыта и только из него, он считает неверным, а где же человек с его сердцем, душой, наконец. Ведь все познать опытным путем невозможно, и потому нужны идеи, рожденные силой ума в поисках истины. Студентом он мечтал в физиогномике найти отправную точку для великого «обновления человечества», теперь он одержим идеей пропаганды эстетики как самого важного фактора для «обновления человечества». Идея, которой будут жить тысячи, миллионы людей. «Начиная от минерала и до самого всесвятейшего человека» – ко всему приложима эстетическая оценка, которую Леонтьев выражает двумя словами «разнообразие в единстве».

Сможет ли его идея увлечь массы, можно ли опытным путем проверить ее живучесть и применимость? Думается, это в ту пору Леонтьева не волновало, как не будет волновать и позже, когда душа его будет занята «трансцендентным эгоизмом», то есть спасением собственной души перед Богом. Эта идея нужна ему как мерило жизнеспособности человечества и истории. Если видимое разнообразие и интенсивность жизни (эстетика) чувствуется в малейших ее проявлениях, то человек жив и многопланен, и потому человечество способно развиваться и не стареть.

И весь этот сложный бег мыслей начинается с вида новых обоев, от комнаты, в которой только что закончен ремонт. Комната безлична, чиста, хорошо пахнет, но новые обои, пусть даже и очень красивые, не несут никаких ассоциаций (идей) так же, как белый чистый лист бумаги. Без «жизни и значения в моих глазах» они мертвы, эти новые обои. Они, эти ассоциации приходят, например, во время разговора с матерью, когда он смотрел на этот голубой завиток неведомого, сказочного растения, цветущего на старых обоях. А вот эту трещинку Костя сам проковырял пальцем во время наказания, когда стоял в углу и старался не плакать

и думать так, чтобы запомнилась причина наказания и даже мысли, владевшие тобой в тот период. И потому новые красивые обои хороши, а за старыми обоями, как за старыми знакомыми людьми, стоит память или жизненная красота и значение. Эта жизненная красота и есть та «эстетика жизни», по более позднему определению Леонтьева.

И если воспоминания и выводы его навеваются при виде этих обойных завитушек, значит, человек – не вещь, произвольно формирующаяся под влиянием естественных и социальных условий, а самодовлеющая личность, имеющая право и умеющая сама себе «выбирать» идеи (оживлять рисунок), то есть быть свободной. И потому не может существовать никаких оправдывающих для такой личности обстоятельств, они всегда будут ниже его.

Критик Дмитрий Писарев говорил о таких людях: «Люди третьего разряда (по Писареву, он – высший. – *М. Ч.*) идут дальше – они осознают свое несходство с массою и смело отделяются от нее поступками, привычками, всем образом жизни. Пойдет ли за ними общество, до этого им дела нет. Они полны собой, своей внутренней жизнью и не стесняют ее в угоду принятым обычаям и церемониалам. Здесь личность достигает полного самоосвобождения, полной особенности и самостоятельности». Сказано так, будто перед глазами Писарева был Леонтьев со своей зародившейся теорией эстетики и своей свободной личностью, способной принять ее. Однако Леонтьеву есть еще дело до того, пойдет ли общество за ним.

Леонтьев не просто чувствует, он твердо знает, что нужно очередное обновление условий жизни, «освежение», по его словам. Уж если в 25 лет в Крыму он стенал, что мало сделано им в эти годы, то через 5 лет этот вопрос еще более упорно и сильно бьется в сознании, словно только что пойманная и помещенная в клетку птица.

Потом птица сомнений обессиливает, и он, спокойный, шлифует строки романа «Подлипки», возлагая на него основные надежды. Леонтьев надеется, что это будет новое слово в русской литературе, потому что никто еще до него так откровенно не заглядывал в душу

мальчика и юноши, в которой главным, по его мнению, есть борьба желаний, совести и веры.

Перед глазами Леонтьева повести Льва Толстого «Детство» и «Отрочество» и критическая статья Николая Чернышевского о них и о «Севастопольских рассказах». Не только литературоведу, но любому читателю сразу станет видна та идейная пропасть, что разделяет Леонтьева и Толстого. И, понимая это, Леонтьев уже заранее переживает за литературную судьбу своего первенца, романа «Подлипки». Он ищет в своем романе то, что нравится Чернышевскому в рассказах Толстого, и не находит, а временами находит. «Как одни чувства и мысли развиваются из других… как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другое чувство, снова возвращается к прежней исходной точке и опять, и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний», – так говорит Чернышевский о Толстом. Но ведь Леонтьев таким же образом раскрывает диалектику души Володи Ладнева, героя своего романа. О нем кто-нибудь так скажет, как сказал Чернышевский?

Леонтьев мучается и сомневается, он горяч, горд, самолюбив и нетерпелив, ему хочется всего и сразу, и этим он очень похож на женщин, которые во время болезни ждут мгновенного исцеления после первой же принятой таблетки. Да, у него «бабье воспитание», но его роман можно полюбить. Леонтьев обращает на это внимание, включив в роман слова одного из персонажей, сказанные герою (Ладневу): «Я люблю вас. Если бы не ваше бабье воспитание, так вы были бы отличный малый. Да я вас переделаю!»

Но переделать Леонтьева невозможно. И это вообще-то скорее хорошо, чем плохо, потому что в романе «Подлипки» выражено личное мировосприятие. Леонтьеву не надо что-то сочинять, приукрашивать, расцвечивать. Все свои личные переживания и воспоминания он склонен считать типичными и узнаваемыми для любого умного и мыслящего человека. Всех будущих читателей он как бы ставит на свое место,

возвышает их чувства до собственных и надеется, что они сольются в общее, высокое, искреннее божество, и от возникшей душевной сопричастности читатели полюбят его литературное детище. Читатель будет узнавать себя, восхищаться, как тонко угаданы его переживания, и не отрываться от полюбившихся строк. Однако Леонтьев переоценил читателя. В конце 50-х, 60-х годов российскому читателю в литературных произведениях нужна только общественная польза. Все для ума и ничего для сердца. Время крутое, умственное, практическое. Россия варилась в котле реформ, чувства и мнения людей в котором, как микробы, уничтожались.

И ведь знал Леонтьев, что сейчас в России именно такой читатель, ищущий в романах социологических выводов, а не духовных подсказок. Знал, потому что лишь недавно критиковал роман Тургенева «Накануне» в своей первой статье «Письмо провинциала к г. Тургеневу», где отметил: «Теперь нравственно-исторические вопросы везде пролагают себе путь, везде слышен голос искренней любви к пользе, поэзия говорит о высокой деятельности, и критика принимает нередко более исторический, чем художественный характер… Я мучился отвлечь нравственный вопрос от эстетического». Мучился, но тем не менее писал роман «Полипки» в своей прирожденной манере, чтобы «душа полна, и грусть ее отрадна, потому что она слышит близость бога красоты!»

2

Леонтьеву в своем одиноком нравственно-эстетическом созерцании очень близок Жан Жак Руссо. Он также почти все время думает только о себе, о своих переживаниях, гордится собой и не осуждает свои пороки, потому что не считает их таковыми в силу своего мировоззрения, выраженного словами героя романа «В своем краю»: «Да, зло на просторе родит добро», или «оправдайте насилие прекрасным», так как оно мера всему. В то время у него мелькнула мысль, чтобы сделать свою жизнь предметом творческого исследования. Зачем выдумывать немыслимые

сюжеты и героев с необычной судьбой? Собственная жизнь как предмет изучения, тем более обогащенная прочувствованным опытом, может стать в дальнейшем не только источником литературных произведений, но и философских обобщений. Ведь он проживает с чувством, с душой эту самую непростую штуку, называемую жизнью, так почему ее движение и диалектика не главная цель. Значит, надо, прежде всего, жить и анализировать пройденный путь, на котором всегда найдутся захватывающие воображение моменты.

Размышляя о дальнейшем своем пути, он берет в руки «Фауста» Гёте. Эта случайность, как всегда, закономерна и нужна. «Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно зеленеет». Леонтьев читает и перечитывает вечные строки, и его душа так же страдает, как неспокойный дух героя, которым (духом) хочет овладеть Мефистофель, чтобы быть похожим на людей. Ему, дьяволу, бессмертному и всезнающему, прискучило быть неким Ничто, ему хочется познать Нечто, чем постоянно занят думающий человек.

Леонтьев, как и Фауст, хочет познать «всю мира внутреннюю связь». Так же, как Фауст, забросивший свои научные опыты, он решает порвать с медициной, ибо та не может дать тех примеров, раскрывающих «все тайны мира». Леонтьев, подобно Мефистофелю, хочет стать всезнающим циником, готовым ради удовольствия идти на любые аморальные «подвиги», а потом с легкостью оправдать их. Вспомним историю любви Фауста к Маргарите, Нехлюдова к Катюше Масловой, Леонтьева к Феничке. Вечное томление человеческого духа и вечное противопоставление эгоистического «хочу» моральному «надо».

Но у Леонтьева свое мгновение, которое он хочет остановить, называется Красота. Красота природы, человеческих отношений, физическая красота человека и гармония, возможная после насилия, трагедий и мук.

– Оправдайте прекрасным. Одно оно лишь верная мерка на все. Потому что оно само цель… Что бояться добра и зла? Нация та велика, в которой добро и зло велико, – отвечает Леонтьев устами своего ге-

роя Милькеева в романе «В своем краю» на риторический вопрос, чем оправдать насилие.

Вот к таким радикальным выводам пришел Леонтьев в годы первого своего затворничества в Кудинове с февраля по ноябрь 1860 года. Замкнутость такого житья отнюдь не тяготит его, и после раздумий и выводов он едет в Петербург, чтобы научить людей уму-разуму, тому, что уложилось в его голове за эти месяцы одиночества.

Он, повторимся, как и Ж. Ж. Руссо, видит себя учителем людей. «Все хорошо, что прекрасно и сильно, будь это святость, будь это разврат, будь это охранение, будь это революция – все равно! Люди не поняли этого. Я поеду в столицу и открою всем глаза – речами, статьями, романами, лекциями – чем придется, но открою», – думает он, укладывая вещи в саквояж. Константин Леонтьев жаждал влиять.

Боже мой, сколько таких свободолюбивых гордецов, мечтающих покорить столицы своих стран, стремились всем протереть глаза, как стекла запотевших очков, от пленки незнания и непонимания, столь явных им, но недоступных рядовым. Хотели ли рядовые, чтобы кто-то посторонний силой открывал им глаза? Об этом Леонтьев явно не задумывался. В этом беда всех открывателей только им известных истин, порой диаметрально расходящихся с канонами упрямой жизни. Сколько их, сломленных упрямой молвой непонимания, заканчивали жизнь в психиатрических лечебницах или сточных канавах, или мрачных подвалах ночлежных домов и трущоб, в изобилии предоставляемых российскими столицами?

3

«Я долго жил, слава Богу, вдалеке от столиц и мелкого обмена литературных кругов; и приехал в Петербург, когда стал выходить журнал “Время”». Леонтьев один из многих литераторов провинциалов, что пытались покорить столицу, хотя, если быть точным, она в лице редакции «Отечественных записок» была уже отчасти покорена. Двери в редак-

цию этого известнейшего журнала России открылись Леонтьеву с легкой руки Ивана Тургенева, но что-то помешало Леонтьеву стать в ней полностью своим человеком и сотрудником. То ли темная, в буквальном смысле слова, история, произошедшая с количеством денег, которые Краевский вынес из «темной комнаты» юному Леонтьеву в качестве аванса за повесть «Лето на хуторе» еще в 1852 году, стала тому виной. То ли сам Леонтьев не хотел быть в редакции «пролетарием, тружеником», ищущим редакторских денег, то ли из-за того, что «Отечественные записки» – рупор западников, неизвестно.

Он сближается с помощью брата Владимира, у которого живет в Баскаковом переулке, с Николаем Страховым, одним из критиков журнала «Время», издаваемым братьями Федором и Михаилом Достоевскими. Заметим, что не с Дудышкиным, критиком «Отечественных записок», очень его хвалившим. «Во “Времени” я встречал именно то, чего мне хотелось: теплое отношение к нашему недавнему прошедшему (имеется в виду литература 40-х годов. – *М. Ч.*), к нашему *европейскому,* положим, но все-таки искреннему и плодотворному разочарованию». В статьях журнала «Время» Леонтьев находил благосклонное отношение к славянофильству, но отмечал, что оно должно быть еще ярче и явнее.

В Петербурге Леонтьева, как и следовало ожидать, подстерегало острое разочарование. Тот благодарный восторг и нескрываемое обожание, что зажигались в глазах баронессы Розен от смелых и необычных идей доктора Константина Николаевича, высказываемых им в бесчисленных беседах, в Петербурге Леонтьеву увидеть не пришлось. Здесь и без него было предостаточно пророков, публицистов и модных ораторов. Блистали Чернышевский, Добролюбов, Некрасов из леворадикального лагеря, им любовно внимала доверчивая публика, ловя каждое слово из статей «Современника». На охранительных, «почвеннических» позициях стояла редакция журнала «Время» с ведущими критиками Аполлоном Григорьевым и Николаем Страховым. Но и им эстетические откровения Леонтьева не интересны, за исключением, может быть, Григорьева.

«Я скажу только, почему “Время” было мне тогда более по сердцу, чем взгляды московских славянофилов», – так он обозначил причины своего внимания к журналу в письме Николаю Страхову (1869). И объясняет, как и почему зарождались его убеждения, как он уходил от влияния окружения и привыкал самостоятельно мыслить и делать собственные выводы и предложения относительно будущего устройства России.

Идейной платформой журнала «Время» была теория «почвенничества», согласно ей необходимо уничтожить сословия, образованные люди должны сблизиться с народом (слиться с «почвой») и взять от него высокие моральные устои, а народ в свою очередь одарить знаниями. Нужно ли одаривать народ излишними знаниями – это Леонтьеву еще предстояло выяснить, но уничтожать сословия, создающие «своеобразие в единстве», – это было не по нему. С этим он не согласен! Его идея эстетики жизни помогла ему быстро разобраться с реальной политической расстановкой сил в столице, а, значит, и в стране. Идти за Добролюбовым, призывающим Россию к топору, неэстетично, а, значит, не нужно. И потому разом отметались все неэстетичные платформы и течения, в том числе либеральные, революционно-демократические, кроме одной – консервативной.

Свой приход к консервативным воззрениям Леонтьев объяснял так: «Под влиянием отвращения, которое возбуждал “Современник”, я стал ближе всматриваться и в окружающую меня русскую жизнь, и в те проявления ее, которые я встречал во время моих странствий; я начинал уже чувствовать в душе моей зародыш славянофильских наклонностей; но – но не дозрел еще, не дорос до отвращения к избитым и истертым, как «крыловский червонец», – формам западной жизни.

Московские славянофилы имели этот идеал… для них он давно был ясен: русский мир и союз с Самодержавием, Земская дума совещательная с полной свободой действия верховной власти; русская песня и русские обычаи; горячая вера в Православие, добро и прекрасное; чистота семейных нравов, полная внутренней свободы, веселья и любви…

Для меня идеал этот тогда не был еще ясен; и даже отношения мои к тому, что в нем было ясно, не были еще теплы».

И обращает на себя внимание неприметное с виду упоминание о **русских песнях и русских обычаях**. Не в любовании ими, а в сохранении их Леонтьев видел огромный смысл и высокую цель приумножения русской самобытной культуры и всей нации. Ведь эти песни и обычаи – часть русского векового менталитета, национального «своеобразия в единстве», они не позволяют народу иссушать глубинных корней своих, питающих прекрасное древо культуры. Главное, по мнению Леонтьева, сохранить себя и русский народ от западных заимствований, несущих серое однообразие, скуку и пошлость.

И далее более развернуто: «В будущем мы желаем для России жизни более широкой, но своеобразной донельзя – перед этим своеобразием пусть побледнеет и покажется ничтожным наше полуевропейское недавнее прошедшее. Однако и к этому недавнему прошедшему мы не можем относиться без теплоты. И в нем мы видим элементы, без которых не может обойтись богатая национальная культура и жизнь; мы бы желали только, чтобы эти обильные элементы приняли бы русские формы».

Рассматривая мировоззрение Леонтьева с разных сторон, нужно, прежде всего, главным выделить одно – стремление охранить Россию от возможных бед. Одним словом это чувство называется – патриотизм. Назвать кого-то патриотом – этого еще мало. Надо посмотреть, как и что делает человек для Родины, защищая ее от врагов внешних и самых опасных – внутренних. Леонтьев торил свой путь так, чтобы ясно видны были перспективы развития России, чтобы она была независима не только по записям в международных актах, но и духовно чиста от воздействия другого, вредного ей мировоззрения, несовместимого с русской культурой.

4

Почему Леонтьев близко не сошелся с братьями Достоевскими? Часть ответа во внешней форме, которая «есть деспотизм внутрен-

ней идеи», то есть во внешности Достоевских. Сухой, замороченный и несколько чопорный вид Федора Достоевского отпугивал Леонтьева. Возможно, что Леонтьеву еще с юности передалась настороженность Тургенева, с которой тот относился к Достоевскому: «Когда он отдавал свою повесть Белинскому для издания, так увлекся до того, что сказал ему: “Знаете, *мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести*!” Зачем же делать себя смешным…». Короче, не пришлось им познакомиться в начале 60-х годов. Судьбе не угодно было сближать Леонтьева и Федора Достоевского в первые, горячие годы перестройки русского общества.

Леонтьеву больше нравился «беспутный», по определению друзей, и красивый внешне Аполлон Григорьев, с ним он на некоторое время (до отъезда в Турцию) сошелся. Нет, не коротко, но все же имел с ним несколько доверительных бесед. Григорьев после ухода от Достоевского в конце 1862 года создал свою политико-литературную газету «Якорь».

«Итак, взгляды “Времени” были мне по сердцу; но, не любя никаких литературных сближений, я не спешил знакомиться с Григорьевым», – вспоминал Леонтьева, которого все же тянуло к Григорьеву. Завораживал его романс:

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!..

Григорьев хорош внешне, нравились «его добрые глаза, его красивый, горбатый нос, покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность… Он был похож на хорошего, умного купца, конечно, русского, не то чтобы на негоцианта в очках и стриженных бакенбардах». Впоследствии многие критики отмечали схожесть, конечно, не только внешнюю, Аполлона Григорьева с Митей Карамазовым из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Нравился Леонтьеву и лирический герой произведений Григорьева – романтик с неуемными страстями, душевный мир которого не может найти покоя, чувствуя постоянную дисгармонию между собой и меркантильным миром. Григорьев прежде всего считал миссией художественного творчества не рабское служение какой-то идее, а выявление «вечных начал» жизни (внутренняя свобода, красота и своеобразие внешних проявлений, примат духовного над материальным). Оно же, духовное, чаще всего лежит глубоко спрятанным под видимыми и случайными явлениями. Таким своим взглядом Григорьев был симпатичен Леонтьеву, и тот во многом помог ему в творческом осмыслении литературных и эстетических предпочтений. Леонтьев признавался: «Я не понимал, например, тогда ясно – почему Григорьев, отдавая справедливость дарованию Писемского, столь явно предпочитает ему Островского. И в том и другом я видел лишь комизм. Я не умел тогда понять, что Островский более положительный писатель, чем Писемский, что положительность его особенно дорога своим реализмом, ибо положительность его изображения была не в идеале, а в теплом отношении к русской действительности, в любви и поэзии….».

Итак, для Леонтьева поэзия Григорьева стала дверью в мир прекрасного в «русской жизни и русском творчестве». Леонтьев, «пропитываясь» григорьевскими взглядами на искусство, сам становился тверже и увереннее в собственных взглядах на эстетику. Они, Григорьев и Леонтьев, дополняли и поддерживали друг друга в своих поисках прекрасного в окружающей жизни. Разобравшись в творчестве Григорьева, Леонтьев понял: он не одинок, есть человек, имеющий похожие мнения.

Анализируя Григорьева, Леонтьев сделал для себя открытие: широта души выше чистоты ее. Он полагал, чем шире полотно натуры, тем менее заметны на нем пятна повседневной жизни, как, например, на большом художественном полотне мало видны изъяны. По Леонтьеву, широкую душу имеют сильные, смелые, свободные люди. Такая натура – удел немелочных людей, и это часть эстетики жизни. Принципу главенства широты перед чистотой Леонтьев не изменил до конца дней своих.

Сопоставляя их, Леонтьев приводил слова Шиллера: «Человек, который ворует, не годится совершенно для величаво-поэтического изображения; но если этот вор вместе с тем и убийца, то хотя морально он еще ниже вора, но эстетически он уже на одну ступень выше». Леонтьев соглашается с Шиллером, называя его слова «хорошими». От себя же добавляет: «Человек, унизивший себя подлостью, может посредством преступления восстановить себя несколько в нашем эстетическом мнении». И в этих кабинетных, интеллигентных мудрствованиях Леонтьев приближается (вернее Достоевский его приблизил) к герою романа Достоевского Свидригайлову, который говорил Раскольникову: «Ты – Шиллер, а я – шулер». То есть Шиллер – это убийство с «идеей», это нечто возвышенное, единичное, «эстетичное». Шулерство – то же самое, но без «идеи», без оправдательных красот и объяснений.

Такой вот **сверхпрямолинейный** взгляд на эстетику стал поводом для последующих обвинений Леонтьева в «кровожадности», аморальности и неискренности перед Христом, проповедующим, прежде всего, «не убий». Хотя геометрическая линия не может быть сверхпрямой или недостаточно прямой: она или прямая, или нет, – думается, что подобного объяснения своей эстетики Леонтьеву не надо было делать. Он был совсем другим человеком: ни шулером, ни Шиллером. Идеи Леонтьева, особенно после выхода в свет романа «В своем краю», стали известны в писательском сообществе, в том числе и Достоевскому, разумеется. В романе «Преступление и наказание» они нашли отражение в образе Свидригайлова, аморальность которого Достоевский значительно усилил художественными приемами.

Леонтьев обычно не осторожничал в своих выводах и не допускал оговорок типа «может быть», «наверное», «скорее всего» и т. д. И это, несмотря на «бабское» воспитание. И уж совсем нелепо искать в характере Леонтьева андрогинные свойства, как делают многие исследователи его творчества. Выражаясь современным языком, его можно отнести к твердым «натуралам» с не менее твердым мужским характером. Что он и доказал всей своей жизнью.

Цитату Шиллера можно иллюстрировать довольно известным анекдотом. Безбородый судья, обвиняя виновного в убийстве, заметил в ходе процесса, что совесть у подсудимого так же черна, как его борода. На что обвиняемый заявил, что у господина судьи бороды вообще нет. Потому-то неосторожных сравнений следует всегда сторониться. Всегда! Ибо недоброжелательных пересказчиков вокруг заметных личностей предостаточно.

«За что надо уважать Григорьева?» – спрашивал себя Леонтьев и отвечал: «Пока все еще трепетало перед тем внезапным порождением прежнего либерализма, которое… известно под именем “нигилизма русских”, Григорьев продолжал служить прекрасному; не тому только прекрасному, что зовут “искусством” и что цветет на жизни, как легкий цвет на крепком дереве, но прекрасному самой жизни, прекрасному в мире современных движений, в мире политических учений, в мире борьбы».

Не признававший полутонов Леонтьев в своей положительной оценке Григорьева всегда последователен и постоянен. Он вспоминает, что как-то на выпад одного не умного либерала, «не совсем дурака», по замечанию Леонтьева, сказавшего: «Зачем читать “эту мертвечину – Аполлона Григорьева”», – перестал с ним видеться, так он стал ему неприятен и «гадок».

Леонтьев и Григорьев похожи в желании найти в повседневности яркие, цветные вставки, чтобы воспеть и показать их во всей красе людям. Другое дело, хотели ли они (люди) восхищаться найденными для них прекрасными картинами природы, красоты людей и отношений между ними. Вероятнее всего, что и славянофильство, а точнее русофильство того и другого обусловлено наличием острой, цветастой самобытности в русской глубинной жизни и ее проявлениями в народных танцах, кулачных боях, обычаях, в богослужениях и многом другом. И как при игре в карты, оба они всю имеющуюся умственную и душевную наличность поставили на красоту, порой оправдывая привлекательное зло. Только Григорьев не говорил об этом вслух, а Леонтьев, вспомним цитату Шиллера и роман «В своем краю», прямо отстаивал свою точку зрения.

«Ап. Григорьев равно умел своей художественно-русской душой обращаться и к Славизму и Православию, и к притупившемуся у нас (вероятно, на время) философскому пониманию, – и к железным проявлениям материализма, того материализма, который, хотя по содержанию не русский, не немецкий, не французский, а всемирный, но которого приемы – как бы грубы они не были – мы должны признать вполне русскими», – говорил Леонтьев словно о себе.

И Григорьев, и Леонтьев не были поняты современным им писательским сообществом, делавшим ставку на «злобу дня», а где и как найти красоту, добро и справедливость, литераторы-реалисты не говорили, но зато выглядели как радетели народа, не очень-то нуждавшегося в таких руководителях.

И в «общественной пользе» ли назначение художественной литературы? Говорить о новейших политических течениях, ковыряться в нудной действительности, рассказывать о расстановке сил, как говорил Горчаков в своем меморандуме, – это дело политиков, а не писателей. Душа человеческая также необъятна и бесконечна, как космос, и рассказывать о ней красивым словом великого русского языка можно бесконечно. И страдать русская душа может так по-своему, так не похоже и так поучительно, что не хватит чернил, чтобы описать ее движения.

Глава 3
«Подлипки» и другие

Воображение было у меня всегда необузданное.

К. Н. Леонтьев. Роман «Подлипки»

1

Где же можно найти красоту в это неопределенное время, которое Иван Тургенев летом 1860 года охарактеризовал в письме А. А. Фету

как «эпоху покоя без отдыха, надежд, похожих на сожаление, и сожалений, похожих на надежды». Где найти опору в эту эпоху, когда чувствам нет доверия, а сердце ожесточилось в поисках действий, которые должны перевернуть мир? Что за этим последует, неважно. Лишь бы перевернуть этот мир.

– Да хотя бы в красоте семейной жизни, – так отвечает на этот немой вопрос Константин Леонтьев своим романом «Подлипки», опубликованным в конце 1861 года в «Отечественных записках» (книги 9, 10, 11).

И тишина, как со стороны критиков, так и читателей. Современники Леонтьева в пору перестройки, в пору первого в истории России размежевания власти и народа не хотели читать монологи доброго барчука Володи Ладнева, озабоченного, по их мнению, лишь своими душевными переживаниями, своими отношениями с родственниками и с девочками-девушками по мере взросления героя.

Все литературные произведения Леонтьева отражают тот или иной период жизни самого автора, фантазийно украшенный, и потому можно сказать, что «Подлипки» – это роман о детстве и юности Константина Леонтьева. Роман, начатый еще с Крымских времен, разумеется, дополнялся и шлифовался до последних дней перед отдачей его в журнал.

Роман представляет собой, на первый взгляд, цепь мало связанных между собой эпизодов из жизни героя, перетасованных, как в карточной колоде. В прологе и в начале романа Володе лет 20, затем он «превращается» в подростка, живущего у дяди, вице-губернатора, «в одном из восточных городов», в эпилоге ему опять 20 лет. Но некоторым, более поздним критикам, как Б. А. Грифцов, Б. А. Филиппов, фрагментарность романов Леонтьева нравится.

Используя такой способ изложения, Леонтьев утверждает: жизнь зыбка и непостоянна в своих проявлениях, отношение к ее ценностям меняется с возрастом. Прием для построения сюжетной линии для тех времен необычный, новаторский. Отвлеченное новаторство в пору ожидания революции вещь рискованная, так как раздражает и отвлекает от главного. Ведь «передовые» люди, или «прогрессисты», как тогда они на-

зывались, могли серьезно упрекнуть автора, что он уводит их в царство несуществующих теней, то есть от острых проблем современности.

Кому, например, интересны дремой навеянные сказочные персонажи: «Фамилию соседей производил я от формы пятна. Одно, например, напоминало мне чудовище, которое я видел в мифологической книжке, то самое, что испугало лошадей Ипполита; владетель пятна, поэтому назывался Зверьев; другой был Колоколов, третий Сковородкин… Тогда я был семейный человек: у меня было 40 детей; дочери: Орангутанушка, Заира, Фрезочка, которая утонула однажды в Ганге… Сыновья все были военные, один только был статский. Имя его было Дюсюк; я терпеть не мог его гражданской фигуры и куклу, соответственную этому представлению…».

Такие мифические зарисовки полусонного, еще детского, разума чередовались с психологическими исканиями и сомнениями: «Я не умел распознать тогда ту летучую сумму приемов, которая зовется натурой человека; я не видел никакой разницы между ним (другом. – *М. Ч.*) и собою – видел только одно общее направление. Голова моя была так полна литературными мыслями о женщинах, любви, дружбе, Боге и природе, тонкой путаницей неопытного самолюбия, лекциями, мелкими и новыми встречами с теми людьми, которые играют в нашей жизни роль гостей, сенаторов, дам, воинов и народа… Я не успевал и не умел отчетливо следить за чужими движениями, тоном и взглядами; “серая теория”, по выражению Мефистофеля, все более и более приобретала мое уважение, и “золотое дерево жизни” представлялось менее “зеленым”, блекло нечувствительно с каждым днем».

Прекрасные строки, живописно раскрывающие вечные сомнения жизни! Они точно передают юношеские помыслы, эти строки отражают полноту того забытого, казалось бы навечно, времени, каждый миг из которого неповторим, как дыхание вечности. Молодость, нега раздумий и воздыханий, танцы, поцелуи, признания безо всяких там тенденций, учета общественного мнения, натуралистического бичевания недостатков. Такова ведь жизнь молодых людей на самом деле, если не притяги-

вать за уши обличительный пафос, которым полна тогдашняя литература. Леонтьев живописует романом национальную память о том времени, о том русском мире, ныне исчезнувшем, мире семейных ценностей, мире любви и нежности, родственной заботы и помощи.

Такое экзистенциальное направление в художественной литературе станет модным лишь в XX веке, то есть на 50 лет Константин Леонтьев опередит «поток сознания» Марселя Пруста с причудливыми ассоциациями и мелкими подробностями, воссоздающими проходящее время, людей, тончайшие переливы отношений, чувств, то есть всем тем, чем живет душа человеческая. В таком стиле Пруст создаст целый цикл романов с многозначительным названием «В поисках утраченного времени». Такой метод стал определяющим для творчества многих писателей эгоцентриков XX века.

Ох, как несовременен был Константин Леонтьев, не вписывался в рамки тогдашних мер и весов искусства и литературы, потому что уже ушел в своих мыслях далеко вперед. Не хотел он петь по-другому и выполнять чуждый социальный заказ. Душу человеческую он считал более важным материалом для изучения, чем материальные потребности, вылезающие на первый план в буржуазном обществе. Себя бы изучить в полной мере, а на изучение пошлости и язв общества к чему замахиваться: они все равно неискоренимы без силового подавления. Их (язвы) можно только вырезать (Леонтьев – хирург), прижечь йодом, сулемой или холодом. «Подморозить», – как позднее хлестко он скажет о России, и одним только этим советом обеспечит себе мировую известность. Но, чтобы придти к обобщениям, надо мыслить!

Человеческая личность для Леонтьева уже в те годы (ему уже 30 лет) представляется необъятным пространством для изучения, чем-то вроде Вселенной. Человек, как Космос, – мерило и источник всех достижений и неудач, добра и зла, лжи и правды, потрясений и спокойствия… Всего! Человек создан по образу и подобию Божьему, следовательно, и отвечать он должен за свои действия по полной программе. И потому человек должен совершенствоваться, учиться любить прекрас-

ное, быть мудрым – ведь только ему Бог вдохнул сознание и научил речи. Значит, человек обязан защищать все живое и неживое не земле, особенно прекрасное, потому что оно хрупко, исходя из миссии, данной ему Господом. В эти годы Леонтьев пишет интеллектуальный роман «В своем краю» и выражает свои мысли устами героя Милькеева: «Главный элемент разнообразия есть личность, она выше своих произведений. Многосторонняя сила личности или односторонняя доблесть ее – вот более других ясная цель истории; будут истинные люди, будут и произведения! Чем больше развивается человек, тем больше он верит в прекрасное, тем меньше верит в полезное».

Неоспоримое указание, что вкус надо развивать, хотя у каждого понятие о нем различно. Такая вот антиномия! Это для Леонтьева очень важно, но главным для него остается человек – создатель и движущая сила государственной и цивилизационной истории. Сильная личность – ясная цель в истории! Так по Леонтьеву. Человек для него не просто абстрактная субстанция, каким позднее представит его немецкий философ Фридрих Ницше, а носитель государственных, социальных, религиозных интересов, через которые он влияет на ход истории. В этом своем материалистическом взгляде Леонтьев тесно смыкается с Василием Никитичем Татищевым, первым русским историком, который, открывая свой труд «Историю Российскую», говорит: «История – слово греческое, означающее то же, что у нас *события или деяния*; и хотя некоторые полагают, что поскольку события или деяния это всегда дела, учиненные людьми, значит, приключения естественные или сверхестественные не должны рассматриваться, но, внимательно разобравшись, всякий поймет, что не может быть приключения, чтоб не могло деянием назваться, ибо ничто само собою и без причины или внешнего действа приключиться не может. Причины же всякому приключению разные, как от Бога, так и от человека…».

Леонтьев идет от христианского понимания человека (он всегда чей-то сын и наследует душу родителей), ведь полуночный жених – это и есть Иисус Христос, сын Бога. «Но в полночь раздался крик: вот, жених

идет, выходите навстречу ему» (Мф. 25: 6) – так сказано в Евангелии от Матфея. А вот так у Леонтьева в романе «Подлипки»: «Собиралась семья в длинную белую залу, освещенную только на одном конце церковными свечами, и что за томительный восторг охватывал мою душу, когда высокий отец Василий, наполнив залу кадильным дымом, сквозь который из угла блистали наши образа, начинал звучным, густым, возрастающим голосом: “Се жених грядет во полунощи!” Тогда я, бывало, кланялся в землю, и мне, поверите ли, казалось, что в самом деле идет откуда-то таинственный Божественный жених среди ночи… Раскрытая дверь темного коридора, глубокое молчание всех других комнат… самый ландшафт в огне, освещенный месяцем зимний сад, полосы тени от деревьев по снегу, пустынная, обнаженная аллея, пропадающая за недоступными сугробами, и таинственная мысль о бездюдности полей…»

Так тогда жили в России православные люди, и о них красиво рассказывает Леонтьев. Так лелеяли они русскую свою душу, свою идею: «Живи не так, как хочешь, а как Бог велит», о которой позже заговорят люди всей планеты. Наличие миллионов таких душ и должно было бы обеспечить России возможность создания высшей цивилизации, доселе не существовавшей на Земле. Начало же этого пути к особой русской цивилизации – в людях, населяющих русскую деревню Подлипки. Аналогичные выводы сделал и Николай Данилевский в своем труде «Россия и Европа»

Видимо, впервые такая возможность для России просматривалась Леонтьевым именно при создании романа «Подлипки». Однако этот путь для России закрыл по-мещански пошлый эвдемонический прогресс со своим абсолютно безнравственным стремлением к счастью путем накопительства, остро неприемлемого русской душой того времени. И об этом говорит Леонтьев в своем первом романе о детстве и юношестве.

Первооткрывателю всегда тяжело. Планида у него такая. И когда спустя три месяца после выхода в свет его любимых, но незамеченных «Подлипок» печатается в февральском (1862) номере «Русского вестника» роман Ивана Тургенева «Отцы и дети», имевший в печати оглушительный резонанс, Леонтьеву становится особенно тяжело. Может быть,

кто-то бы и вчитался в сложную и красивую вязь леонтьевских воспоминаний, но где там: все и всех заслонил шумный успех «Отцов и детей», сделавших автора сразу европейски знаменитым писателем. Какие же разные были они, эти шестидесятники: Тургенев и Леонтьев: первый писал «на злобу дня», затрагивал кардинальные проблемы общественной жизни, другой мягко философствовал на тему строения и строительства души человеческой. И потому их романы, как звезды, если смотреть на них с Земли. Близки по времени создания, но по расстоянию – между ними «дистанция огромного размера».

Скорее всего, Леонтьев завидовал успеху своего учителя. Как-то не принято у великих и знаменитых людей отмечать такое чувство, как зависть, злобу, жадность, жестокость. Но, что поделаешь, они суть человеческого характера, и, как показывает жизнь, для публичных людей эти пороки присущи гораздо в большей степени, чем простым гражданам. Да, он сожалел, что его «Подлипки» не имеют такого же успеха, как «Отцы и дети», но подражать и менять свои взгляды не собирался, а потом и вовсе признался в письме к Страхову: «…ведь я, слава Богу, не Тургенев».

Почему такое признание? Потому что Тургенев невольно своим романом разрушал ту жизнь, о которой так восторженно говорил Леонтьев. Сам же Тургенев признавал в своей статье «По поводу романа “Отцы и дети”» (1869): «Не стану распространяться о впечатлении, произведенном этой повестью; скажу только, что, когда я вернулся в Петербург, в самый день известных пожаров Апраксинского двора, – слово “нигилист” уже было подхвачено тысячами голосов, и первое восклицание, вырвавшееся из уст первого знакомого, встреченного мною на Невском, было: “Посмотрите, что ваши нигилисты делают! Жгут Петербург!” Я испытал тогда впечатления, хотя и разнородные, но одинаково тягостные». Какое позднее прозрение знаменитого писателя.

Да, роман Леонтьева заполнен патриархально-элегическими чувствами, нежными описаниями природы и людей, необыкновенных и явно заурядных, на уме у которых мелкий флирт с его вершиной – адюльте-

ром, случившимся, например, в семье Ковалевых. Но и в этой колоде, казалось бы, случайных эпизодов просматривается такой выигрышный вариант, как диалектика души юного героя Володи Ладнева с детских лет до студенчества, хотя за сюжетом трудно следить. Душа героя остается чистой, и спасению ее способствует «*жених во полуночи*», то есть Христос, останавливающий Володю Ладнева от плотского обладания простой деревенской девушкой. Ему развлечение, а ей последующая мука и страдания, о которых хорошо позже расскажет Лев Толстой в «Воскресении», являющемся как бы окончанием той истории с героем Леонтьева.

Да, в романе «Подлипки» десятки персонажей с недостаточно четко проработанной судьбой, 5–6 описаний детско-юношеских привязанностей героя, которые автор называет любовью, но ведь в жизни детской и юношеской так и происходит. В русских семьях той поры много детей, много родственников с самыми разнообразными судьбами, о которых ты сохраняешь в душе самый «смутный символ». Кто-то из них запоминается и служит примером на всю жизнь, а большинство проходят, словно тени, не задевая сознания.

Весь роман словно соткан ковром из хорошего языка и редкой искренности, но тем не менее Леонтьев извиняется перед читателями: «Не сердитесь за эти описания, не думайте, что я хочу хвалить одиночество. Нет, мое временное одиночество случайно и незлобно. Все, что двигалось и дышало здесь, плакало и веселилось, – дорого мне, и о людях-то, о прежнем многолюдстве я хочу вам говорить гораздо больше, чем о самом себе».

Все, что двигается, дышит, плачет и веселится, – вот объект изучения писателя Леонтьева, вот объект «своеобразия в единстве» и «смуты жизни».

2

Роман И. Тургенева «Накануне» увидел свет в 1860 году. Леонтьев, истово следивший за творчеством и успехами своего первого учителя,

тут же прочитал роман и под впечатлением от него достаточно быстро, будучи в Кудинове, написал критическую рецензию. Чтобы не обижать мэтра, он послал ее на согласование Тургеневу. Тот, как говорится, дал добро на публикацию, и в том же году статья под названием «Письмо провинциала к Тургеневу» появилась в «Отечественных записках».

В ней Леонтьев не делает никаких широковещательных выводов, он просто делится своими впечатлениями от прочтения без всякого полемического задора. «План романа, – сказал я, – прост. Я выразился не совсем удачно; лучше было бы назвать его слишком выразительным, ясным, резким; от него не веет волшебной изменчивостью, смутой жизни. Возьмите все лица: как ясно, что все они собрались для олицетворения общественных начал». Однако в жизни общественные интересы не есть вечное и непреходящее, как личность и ее развитие: «Разве изящество и многообразие натуры не есть сила сама по себе?».

В кажущейся простой и непритязательной статье много глубоких мыслей о литературе и о важнейших ценностях искусства. Таких, например, поэтически и образно высказанных: «Душа полна, и грусть ее отрадна, потому что она слышит близость бога красоты! Ничего подобного не слышится при чтении “Накануне”. Определить с точностью, почему это, едва ли возможно… Вы не перешли *за ту черту*, *за которой живет красота*, или идея жизни, для которой мир явлений служит только смутным символом. А какая цена поэтическому произведению, не переходящему за эту волшебную черту? Она невелика». А ведь это целая теория, развернув которую, можно было бы использовать для определения роли и значения искусства в жизни и истории народов. Согласно ей «мир явлений» – это всего лишь незначительный антураж или «смутный символ», внутри которого должна жить красота искусства, возвышающая душу человека, Божьего создания.

Леонтьев, не называя прямо причин, приходит к мнению, что подобные произведения на злобу дня очень схожи с социологическими исследованиями: «Обыкновенно такие произведения с первого раза все наружу и лишены той способности к вечному обновлению, которою одарены

создания более туманные». Как туманны, например, в хорошем смысле этого слова его «Подлипки».

Есть несколько приемов или подходов, исповедуемых критиками. Николай Чернышевский, как известно, создатель того направления художественно-публицистической критики, в статьях которой почти ничего не говорится о самом произведении и его героях, а все внимание автор обращает на общественно-политическое значение произведения, из содержания или контекста которого делаются соответствующие выводы. Он считал, что «…только те направления литературы достигают блестящего развития, которые возникают под влиянием идей сильных и живых, которые удовлетворяют настоятельным требованиям эпохи. У каждого века есть свое историческое дело, свои особенные стремления». К основному делу XIX века Чернышевский относил «гуманность и заботу об улучшении человеческой жизни». Таким принципам следовали и Н. Добролюбов, и Д. Писарев. Похвальное стремление, только бы не ошибиться в средствах его достижения, чем грешили вышеупомянутые.

Аполлон Григорьев как критик работал в органической манере, подробно разбирая характеры героев, словно живых людей. Его не интересовало, как произведение сделано и как связаны между собой герои, ему важна была яркость и самобытность художественных образов.

Виссарион Белинский, находя в литературных произведениях четыре им же определенных критерия художественности, как простота вымысла, совершенная истина жизни, народность и оригинальность, считал их достаточными и исчерпывающими, чтобы пробудить интерес у простого читателя из народа. Его стиль разбора можно назвать социально-историческим.

Существовал также формально-художественный метод критики, практикуемый Салтыковым-Щедриным, под каток которого попал однажды леонтьевский роман «В своем краю». В нем разбирается стиль произведения, замечаются шероховатости в подборе слов, нечеткости в сюжетных линиях, дается оценка художественности произведения.

Такой примерно стиль, еще не оформленный полностью, применил сам Леонтьев в критической статье «Письмо провинциала», а затем и при литературно-критическом разборе рассказов Марко Вовчка (украинской писательницы Марии Александровны Маркович) «По поводу рассказов Марко Вовчка». Мужики в рассказах выглядели, не сказать, что умнее, но уж во всяком случае предпочтительнее помещиков, особенно в духовном плане. Вот главная идейная особенность произведений Маркович.

Эти рассказы увидели свет в 1857 году накануне реформ и имели в России значительный успех. Простотой стиля, умением замечать нюансы и описывать наблюдения в художественной, занимательной форме восхитился тогда и Леонтьев. Тогда, как мы уже отмечали, Константин Николаевич еще был либералом, надеющимся набраться от мужиков не только природному уму-разуму, но, прежде всего, познать самобытность их поведения в радости и скорби, рассуждений, хозяйственной сметки, отношения к Богу, внешнего антуража: домовых приспособлений, одежды, утвари. Но влечения эти к простому мужику объяснялись не социальными побуждениями, а исключительно эстетическими, он предпочитал любоваться крестьянским бытом со стороны, как зритель восхищается красочным действием, происходящим на сцене. Или как посетитель картинной галереи, разглядывающий с восторгом яркие мордовские сарафаны на женщинах, заполнивших картины Филиппа Малявина. Потому-то в его романе «В своем краю» крестьяне проходят в основном поодаль, никоим образом не вмешиваясь в нить повествования. Главное, в чем его убедила крестьянская масса, в отличие от Добролюбова и Чернышевского, что она не способна стать главной силой острых социальных потрясений, что политика вершится в столицах. В этом, кстати, одна из основных причин отхода от медицинской деятельности и отъезда из глухой провинции: ведь Леонтьев, что ни говори, был человеком честолюбивым.

В своем «Письме провинциала» (Леонтьев подписал статью «Знакомый провинциал») он мягко осуждает Тургенева за недостаточную

художественность, схематичность главного героя Инсарова, слишком правильного, сухого и педантичного, «не живого», по словам Леонтьева, ибо «живое всегда не слишком ясно и не слишком темно». Конечно, «золотая» середина более желанная категория, но стать ей по-настоящему «золотой» суждено не всегда. Она, скорее всего, серая, или, как говорят в народе, «и вашим, и нашим».

В этой статье Леонтьев предсказывает, что скоро появятся русские Штольцы (один из героев романа И. Гончарова «Обломов») и русские Инсаровы («Накануне»). И действительно через два года появился нигилист Базаров («Отцы и дети») – русский Инсаров, если применить терминологию Леонтьева. По более поздним воспоминаниям, он отмечал, «что только “Время” Достоевского обратило внимание на “Письмо провинциала”; во многом соглашалось и жалело, что не знает, *кто автор*».

Откровенно говоря, Тургенева мало заинтересовал критический разбор протеже не потому, что Леонтьев только учился мыслить на отвлеченные темы. У Тургенева в то время заботы были более существенные. Его обеспокоила статья Н. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», также посвященная роману «Накануне». В ней Добролюбов утверждал, что «теперь в нашем обществе уже есть место великим идеям и сочувствиям и что недалеко время, когда этим идеям можно будет проявиться на деле». Такие революционные выводы из романа были Тургеневу, потомственному дворянину и либералу, совсем не по душе, он вовсе не желал никаких революций и проявления своих «идей на деле». Да и личный его путь никак не смыкался с революционными дорогами разночинцев Чернышевского и Добролюбова. Ознакомившись со статьей Добролюбова в рукописи, он попросил Некрасова, главного редактора журнала «Современник», не печатать ее. Услышав слова отказа, Тургенев в гневе крикнул Некрасову: «Я или Добролюбов?» Некрасов выбрал Добролюбова, и Тургеневу пришлось уйти из журнала «Современник». Это было в 1860 году.

Весной же следующего года Тургенев крупно, чуть ли не до дуэли, из-за пустяка рассорился с Львом Толстым, будучи в гостях у четы Фет

в деревне Степановке. Тогда он в гневе бросил в лицо Толстому жестокие слова: «Так я вас заставлю молчать оскорблением!» Причины для ссоры были более, чем весомы: Тургенев отказался жениться на сестре Льва Николаевича Марье, хотя обещал, а вместо этого еще ближе сошелся с Полиной Виардо. Потому-то Толстой и Достоевский считали Тургенева не совсем русским, а как бы иностранцем.

Такое же мнение укрепилось и у Леонтьева, и переписка между ним и Тургеневым в 1861 году прекратилась. В воспоминаниях о Григорьеве (1869) Леонтьев был достаточно резок, заявив: «Духовно не стало Тургенева после “Отцов и детей”. – “Дым” доказал, что сам автор духовно стал не что иное, как прах».

Точку во взаимоотношениях Леонтьева и Тургенева поставил Иван Сергеевич письмом от 1876 году. В нем он сожалеет, что Леонтьев не занимается писанием ученых, исторических или естественнонаучных работ и добавляет прямо: «Так называемая беллетристика не есть ваше призвание; несмотря на ваш тонкий ум, начитанность и владение языком, ваши лица являются безжизненными». Несомненно одно, что писатели они очень разные: умеренный западник и либерал Тургенев, а другой эстет-консерватор, ищущий свою душу. Первый умело держит нос по ветру политических бурь, и он – редкостный мастер своего дела. У второго плохо по литературным меркам сделаны литературные произведения, но у него очень самобытные политико-философские статьи с «ужасными» прозрениями, до сих пор удивляющие людей. Так что, отчасти, Тургенев оказался здесь на высоте со своим советом писать ученые статьи, хотя в романе «Египетский голубь» образ повзрослевшего Владимира Ладнева очень даже жизненен.

3

Примечательно отношение Леонтьева к реализму, торжествующему в русской литературе, родоначальником которого он считал Николая Гоголя. Статью, посвященную его творчеству, он разместил

во влиятельной либеральной газете «Голос» (№ 67 от 20 марта 1863 г.), основанной редактором «Отечественных записок» А. А. Краевским. «Вышло так, что реализм и объективность у нас приняли характер особенно отрицательный. Полагалось, что у нас быть верным жизни – значит насмешливо смотреть на нее… общие черты века и местности: большая верность жизни, почти всегда *равенство ей* по содержанию, верная до кропотливости обработка характеров, любовь к мелочам… благоговение перед реальным фактом, большая или меньшая воздержанность от лиризма и личного увлечения, перевес комизма над трагизмом; обязательность некоторых юмористических приемов, более робкое обращение с положительной стороной жизни, чем с отрицательной, насмешливость…», – писал Леонтьев. Являются ли названные особенности, присущие реалистической школе, недостатками, судить читателю. Одно лишь несомненно: русская литература XIX века взяла за основу описание рефлексирующего героя и всего, что его окружает, используя мировоззрение этого героя. Леонтьев пытался и находил положительных героев. И они были: генерал Скобелев, дипломат Игнатьев, преподобный Амвросий Оптинский и многие другие.

Эстетически отвергая натуральную школу Гоголя, Леонтьев высоко ценил его «Размышления о Божественной литургии», «Выбранные места из переписки с друзьями», повесть «Тарас Бульба», лирические отступления в «Мертвых душах», очерк «Рим». «Авторская исповедь» Гоголя послужила Леонтьеву толчком к написанию «Моей исповеди» (1878). Леонтьев писал, что они помогли «помирить меня с гением, которого последние и самые зрелые, но злые все-таки и сухие творения (“Ревизор”, “Игроки”, “Мертвые души”) почти заслонили от меня все эти другие восхитительные его повести; восхитительные не только по форме, но и по содержанию, по выбору авторского мировоззрения».

В 1863 году Леонтьев создает объемистые критические статьи «по поводу “Казаков” гр. Толстого» и по поводу «Отцов и детей». Аполлон Григорьев, главный редактор газеты «Якорь», издаваемой Федором Стелловским, находит эти статьи слишком большими и не печатает их.

В письме к Николаю Страхову (май 1863 г.), критику журнала «Время», Леонтьев жалуется, что устал ездить к Григорьеву за решением и не будет тратить время на исправление и окончание статей, пока Григорьев не скажет: «да» или «нет». При этом он уверен, что для умеренных изданий его статьи точно не подойдут, и даже сомневается: решится ли «Время» братьев Достоевских напечатать его статьи.

Почему он все же надеется, что «Время» возьмет его статьи? Потому что Федор Достоевский сочувственно относился к идеям Леонтьева, изложенным в письме Страхову. В романе «Идиот» словами Епанчиной о Настасье Филипповне: «С такой красотой можно мир перевернуть», – Достоевский заявит о своей эстетической концепции. Но красота не спасла мир. То, что она не способна это сделать, Леонтьев догадывался уже в начале 60-х годов, говоря о войне и «доблестных предрассудках» (из письма Страхову). Уже тогда у него назрели мысли о жесткой государственной дисциплине при добрых отношениях между людьми. У Леонтьева был свой взгляд на диалектику политических отношений: не столько социальные и политические обстоятельства ответственны за счастье народа, не «разумные» и мудрые теории, сколько прекрасная «натура» русского народа, сложившаяся на протяжении веков.

Письмо Страхову отправлено 20 мая 1863 года, а через четыре дня журнал «Время» закроют из-за статьи «Роковой вопрос» того же Страхова, неудачно осветившего отношения России и заклятого недруга ее – Польши. Так что статьи Леонтьева о толстовских «Казаках» и тургеневских «Отцах и детях» не только не вышли, но и были утеряны вообще.

4

Леонтьев о романе «В своем краю» говорит: «Мысль его была сложная; прежде всего то, что главное в жизни – это прекрасное и, как важный элемент, его, зло, борьба, страдания, но высокие; – хотелось представить и поэзию хорошей помещичьей жизни в России». Все то,

что он скрупулезно перечисляет в письме Страхову от 20 мая 1863 года, Леонтьев пытается в художественной форме воплотить в романе. Это было сродни idée fixe, а, как известно, всякая фанатичная навязчивость плохо заканчивается.

При первом рассмотрении «поэзии хорошей помещичьей жизни» можно согласиться, что она есть.

«В старой липовой роще, на горке, над большим озером, был второй привал. Что за веселая картина!.. Над мирным озером, где все дно было видно, — зеленая горка, на горке липы, под липами тень, а по воде и по лугам вокруг нестерпимое солнце... В тени стелют пестрые, бархатистые ковры, готовят большую палатку для ночи, разводят костер для обеда, лошади ржут, и люди шумят, звонят бубенчики, и колокол сзывает к завтраку! Одна забава сменяется другой, отдых — развлечением...».

Расцвечивают «хорошую помещичью жизнь» и красочные картинки из народной жизни: «Шум, пение, пляска, зеленый двор, столы на козлах, уже почти опорожненные; розовые, синие, красные сарафаны и рубашки, золотые сороки, свист и топот женщин; черный плис и светло-зеленые поддевки молодцов... оранжевые кафтаны мордовок с шариками пуха в серьгах…».

Только где же авторское, тщательно скрытое, но одобрительно чувственное отношение к описанным картинам? Ясно, что ремарки «никому не скучно», недостаточно. Где те глубокие движения души, которые так удачно показаны в «Подлипках»? Например: «но по-прежнему всякая тоска, всякое страдание казались мне ошибкой, слабостью, неправильным состоянием души. В этих минутах сердечного дрожания (если можно так выразиться) я не умел еще видеть первые черты того, над чем я так смеялся, чего не понимал и что считал постыдной маской, давно оставленной лучшими людьми, – первые черты *разочарования*…».

В изложении событий романа «В своем краю» чувствуется торопливость, даже монологи героев обрываются почти на полуслове. Потому неудивительно, что глубина рассуждений падает, канва повествования становится нечеткой, а, главное, не запоминающейся.

«Все реально, все реально! Всякая глупость, всякая фантазия человека реальна, потому что она *есть* или *была* и отслужила своим появлением службу в общем ходе дел. **Да ведь и все эти кусты реальны только для наших чувств** (выделено мной. – *М. Ч.*). А кто их *знает,* что такое они сами! Да и что мы-то сами? Нет, довольно, поедемте, ради Бога, я опять вспомнил... Вставайте, вставайте!»

В этом экзистенциальном выкрике: «Да ведь и все кусты реальны только для наших чувств» сосредоточилась вся сюжетная философия Леонтьева. Из нее следует прямой практический вывод: чтобы расширить свои чувства, надо видеть дальше «кустов». Леонтьев этой философии всегда верен, поэтому хочет сам все пережить и сделать свой, чаще всего, буквальный и прямой вывод. Люди, да и сама жизнь, к великому сожалению, не любят упрямой правды, она колет глаза, она, как солома, мало пригодна для лукавого гедонического сна. Она (солома) в качестве матраца хороша только для смертельно уставшего от физического труда человека. Никто не будет признаваться в любви к физическому труду, боясь кривой ухмылки. Действительные, душевные откровения не модны, в любые времена общество предпочитает уклончивость, иносказание, оно любит затушевыванные художественными приемами истинные чувства. Леонтьев слишком откровенен, и читатель и критик отворачивались от его произведений, как от колючей правды. Один читатель искал социально-политическую полезность в романах, другой хотел пощекотать нервы, третий впасть в любовную нирвану, образцом которой служили, например, «Отцы и дети».

Леонтьев чувствовал и знал, что его роман «В своем краю» слабее первого, «Подлипок». Другое дело, он не хотел до конца, до точки признаваться в этом, как любой автор, так как второй роман выражал его собственный нестандартный взгляд на эстетику, ради которой, по его мнению, можно пожертвовать жизнью двух десятков «безличных людей». Хорошо, что у него доставало самокритики называть роман построенным «рутинно-драматическим порядком» и **ненавидеть** его за то, что «этот роман похож на русский роман вообще, на Тургенева, напри-

мер. – А мысль его, конечно, не пустая, и все в нем правда». Так он писал Всеволоду Сергеевичу Соловьеву 18 июля 1879 года.

Согласимся, что правда нужна в историческом романе, отражающем реальные события и конкретных исторических деятелей, иначе произойдет подтасовка и обман. Но легко ли поверить такой вот восторженной (значит ли это, что она правдива?) характеристике Катерины Николаевны Новосильской?

«Над всей этой жизнью царил ее дух. Не отходя иногда по целым дням от камина в своем кабинете, она умела простирать свое влияние до последней избы. Всякий ждал от нее чего-нибудь, и все получали возможное: один ситцу на рубашку, другой – помощь на приданое дочери, третий – угол старой матери; тот лекарства, тот – прощения или материнского укора, и всякий ждал улыбки и приветствия: мужик, сосед, слуга, учитель, заезжий вельможа и нищий!

Она не совершала внезапных подвигов… но вся ее жизнь была тихий, незаметный для многих, но постоянный подвиг…». И далее еще достаточно строк в том же восторженном духе.

Вполне возможно, что такие русские барыни, как Екатерина Новосильская (читай баронесса Мария Розен), встречались в России. Возможно, в жизни все возможно. Но художественная литература тем и ценна, что в своей основе должна подразумевать **замысел** правды жизни, а не саму правду, которая бывает порой настолько нелогична, что кажется грубым, бьющим в глаз вымыслом. И эти встречаемые в повседневной жизни полярные радости и ужасы более всего и разводят их с ней, с ее здравым смыслом, обычно предпочитающим нечто виртуальное. Возможно, что жизнь у Розенов была именно такой, как ее высокопарно воспел Леонтьев, но она, скорее, исключение, чем правило. Достаточно вспомнить жизнь самого Леонтьева в Кудинове: «Нужда, голод, холод. Ужасное уныние». Это тоже не типично, так как восприятие в каждый момент может меняться в зависимости от настроения и окружающих людей. Другое дело картины романа – внешняя уравновешенность при внутреннем, недоступном глазу кипении

страстей и проявлений различных характеров: мелких, благородных, крупных, подленьких, сереньких. Нужно вскрыть все то, что человек упорно лакирует благодетельностью или прячет за маской ханжеской скромности, а у других ненавязчиво показать духовную высоту широкой натуры. И где в этом романе диалектика души героев, что удачно воплотилась в «Подлипках»?

Удался ли роман Леонтьеву? Определенно – нет. В объеме первого печатного листа он выплеснул на страницы тот знаменитый и неистовый спор «о прекрасном» между Милькеевым и Новосильской и как бы выдохся. На последующих листах невнятные перечисления любовных похождений героев, словно заплатками закрывшие прорехи в ткани психологических портретов. Ведь своими действиями Милькеев никак не подкрепляет свою теорию любви к прекрасному, он так и остался в нерешительности меж двух соблазнительных девиц, не выбрав более достойной своему высокому эстетическому вкусу. Значит, образ Милькеева психологически незрел и по знанию жизни беспомощен, а, следовательно, на распутье оказалась вся идея романа. На распутье жизни часто оказывался и сам Леонтьев, выбор ему всегда давался с трудом, он долго колебался с принятием решения. Так что колебания Милькеева – это отражение тайн внутреннего мира самого автора.

Мы-то знаем, что Леонтьев торопился закончить роман в срок, да к тому же дипломатическое ученичество (шел 1863 год) более привлекательно и полезно, как в плане материальном, так и жизненном, но читателю это совсем не важно. Он требует качественно и эстетично исполненных строк. И тут Леонтьев противоречит сам себе. Говоря о величии эстетики, он допускает непонятные, некрасивые стилистические промахи. Создается впечатление, что у него нет времени лишний раз и, притом, вслух перечитать текст. В одном абзаце есть и «куча саней», и хозяйка, обозревающая свой «хвост».

Проведем небольшой сравнительный анализ бытовых подробностей. «Дом, как полная чаша, простор, веселье: едят по-старинному: и много, и часто; большие комнаты под разноцветный мрамор; люстры с пере-

ливными хрусталями, колонны; на всех дверях резные фрукты, цветы, корзины с дрожащими колосьями; газеты, книги новые, гостеприимство; все старинное – хорошее, и все новое – почтенное. Сады, прогулки, купанье летом; катание зимой на санках одиночками или на целой куче саней, прицепленных к передним большим, запряженным шестериком, в которых, стоя и обернувшись назад, сама хозяйка любуется на свой веселый хвост. Дети, простые иногда до грубости, но добрые и честные. Люди сытые, довольные, вежливые, разнообразные…».

Для прямого сравнения обратимся к роману Ивана Тургенева «Отцы и дети» и описанию подобной помещичьей усадьбы. «В доме видимо царствовал порядок: все было чисто, всюду пахло каким-то приличным запахом, точно в министерских приемных…. Это была просторная, высокая комната, убранная роскошно, но без особого вкуса. Тяжелая дорогая мебель стояла в обычном чопорном порядке вдоль стен, обитых коричневыми обоями с золотыми разводами».

В чем разница двух описаний? Из последнего, тургеневского, можно сделать вывод, что хозяин когда-то внезапно разбогател и для вложения денег купил богатую, но безвкусную мебель, или торопился обставиться «красиво», чтобы привлечь чье-то внимание. У Леонтьева лишь описание, не дающее повод к развитию воображения. Единственно точно подмеченная деталь – дети. Подростки, действительно, независимо от происхождения всегда «просты» до жестокой грубости.

Ведь типичное – не есть среднеарифметическое дурного и хорошего, высокого и низкого, подлого и возвышенного. Типичен тот образ, что несет в себе узнаваемые черты, характерные не только для конкретного времени, но пронизывающие толщу веков. Но типичное не есть цель для Леонтьева, он к нему отнюдь не стремится, так как его герои – суть одиночки, сильные личности, далеко выходящие за пределы повседневной житейской суеты. Леонтьев с его эстетической теорией отражает только то, что ему любо, и тех, кто люб, вкладывая в их уста собственные мысли. Он был предтечей взглядов Ницше, ставших популярными в конце XIX века, и дань которым отдали в своих

произведениях десятки знаменитых авторов. Достаточно вспомнить популярный роман Джека Лондона «Морской волк».

И потому больше веришь Тургеневу, когда он отмечает следующее: «Ломание Базарова в первые минуты посещения неприятно подействовали на нее (Одинцову. – *М. Ч.*), как дурной запах или резкий звук; но она тотчас же поняла, что он чувствовал смущение, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова». Мастерство Тургенева неоспоримо: в двух небольших предложениях наглядно и просто представлено важнейшее свойство характера главных героев: неприятие пошлости.

Однако и картины жизни в изложении Леонтьева пусть не типичны, но реальны и отражают яркие частности той далекой жизни, для понимания которой нужен Леонтьев, так же, как и Тургенев. И Леонтьев глубоко прав, восклицая: «Самые подробности о великой борьбе 12-го года исчезают на всех концах России вместе со стариками и старухами, которые и не подозревают, какие сокровища уносят с собою в могилу. Ввиду подобного невежества нельзя не дорожить всяким биографическим отрывком, всяким плохим подобием записок и воспоминаний». Можно считать роман Леонтьева «В своем краю» воспоминаниями о частном случае дворянской жизни середины XIX века. Воспоминания экзальтированны, но реальны.

Летом 1864 года, в момент публикации романа, Леонтьеву было не до него: он втягивался в сложную консульскую работу в турецком Адрианополе. Любящая его шестнадцатилетняя племянница Маша, чтобы порадовать дядю, сообщает ему в письме от 27 июня 1864 года: «Вы, вероятно, никак не ожидаете, что роман уже помещен; его разделили на три части, потому что он оказался велик; вторую часть разделили на две. Майкова была в Павловске у Дудышкина и говорит, что он в восхищении от него, что он никак не ожидал такого… Был у нас Каподистри и говорил отцу, что он хочет переводить его на французский язык».

Однако слабостями романа, которые видел и сам Леонтьев, особенно в последующие годы, не преминули воспользоваться писатели

либерально-демократичного толка. О жестокой рецензии без подписи, написанной Салтыковым-Щедриным, уже сказано. Вот и публицист Василий Боткин, брат знаменитого терапевта, воспользовался случаем, чтобы больно ударить Леонтьева. Он так отозвался о романе в письме Тургеневу: «Ты знаешь, что твой бывший протеже Леонтьев разразился романом, который был напечатан в “Отечественных записках”, и преплохим, и прескучным – и тем более противным, что он исполнен всяческих претензий».

После убийственной статьи Салтыкова-Щедрина, обвинившего Константина Леонтьева в плагиате, брат его Владимир встречается с выдающимся критиком Павлом Анненковым, впервые введшим в литературный оборот термин «реализм». Анненков пообещал написать критическую статью о романе Леонтьева, но как либерал-западник, узревший в романе «В своем краю» славянофильские мотивы, специально проволынил с написанием, ссылаясь вначале на то, что с «Петербургскими ведомостями» он поссорился и не знает, где «разместить статью». Потом и вовсе заявил, что не знает, как он будет писать о романе и самом Леонтьеве, если он с ним лично не знаком. Впрочем, от Павла Анненкова, политические взгляды которого диаметрально расходились с леонтьевскими, лояльного отношения к автору романа ждать не приходилось.

Сам Леонтьев частенько признавался в несовершенстве романа, ведь художественное чутье невозможно обмануть. После публикации романа он в письме к историку К. Н. Бестужеву-Рюмину, будущему основателю Высших женских курсов, названных в дальнейшем его именем, пишет из турецкого Адрианополя: «Конечно, в сравнении с идеалом, который носят в душе понимающие искусство, мой роман **швах** (выделено мной. – *М. Ч.*), но больше же он заслуживает критики и статей, чем Помяловский и К*? Все молчат! Терпи казак – атаманом будешь?» И тут же Леонтьев жалуется на «несчастную звезду в литературе – не везет».

Может быть, этот роман о пустоте той жизни, от которой Леонтьев через два года убежал, почувствовав ее смертоносное дыхание?

Признаваться в подобном страшно, и тут Леонтьева не спасала даже эстетика и поэзия той, «хорошей» барской жизни. Нужен был какой-то более конкретный, а не романизированный путь для доказательств полноты его эстетической теории.

Глава 4
Эстетика теории и жизни

...я исполняю долг жизненной полноты.
К. Н. Леонтьев. «В своем краю»

1

В столице Леонтьева ждали безвестность и безденежье. Он поселяется у старшего брата Владимира Николаевича, живущего с семьей в большой съемной квартире в Баскаковом переулке. Чуть позже он съезжает от него на Литейный проспект в дом (№ 45) Оржевского, потом на Лиговку в доходный дом Фредерикса.

Владимир Николаевич – по годам – ровесник Ивану Тургеневу и тоже литератор, сотрудник радикального либерального журнала «Современное слово». Владимир – единственный из братьев, к которому Константин испытывал искренне душевное влечение. Теплый климат семьи брата успокаивал, отводил досаду от взаимоотношений с литературной жесткой братией.

Настороженно относящийся к узам брака Константин Леонтьев, часто вспоминающий остерегающие слова своего мэтра Тургенева «нехорошо художнику жениться», сам знал советы мудрых греков: «Бессмертные творят, смертные производят себе подобных». Его холодный мужской взгляд всегда теплел при виде доброй, согласованной семейной жизни брата, в которую он невольно вписался. Чувство непонятной и внезапной грусти, столь характерной для любого романтика, тем более

Леонтьева, не признающего «золотых» середин, отступало при общении с братом и его 12-летней дочерью, с опасливой нежностью заглядывающей в дядины глаза. Он по просьбе Владимира учит Машу тонкостям истории, словесности, биологии, и она приятно удивляет Константина Николаевича своей сообразительностью.

Леонтьеву еще не известна судьба неизданного пока романа «Подлипки», но трудности взаимоотношений с литераторами и неудачи с проповедью своих взглядов на эстетику нагоняют на него меланхолию, как в студенческие годы. Опять вернулись тоска и страдания: «…борьба идей в уме моем была до того сильна в 1862 году, что я исхудал и почти целые петербургские ночи проводил нередко без сна, положивши голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья». Видимо, подобное состояние было у него и в 1861 году, и ничто не давало утешения, потому-то с приходом весны Леонтьев отправляется в родное Кудиново.

Все чаще и чаще в голове мелькали мысли о браке как утешении. Вон Федор Достоевский привез с каторги чахоточную жену Марью Дмитриевну, а не складывается у них семейная жизнь. Она ревнует его к литературному труду, переходящему временами далеко за полночь, жалуется на одиночество, а он в театр свести ее не может из-за постоянного ее кашля. Будет ли утешение в семейной жизни?

Перечитывая главы своего первого романа «Подлипки» перед сдачей его в редакцию журнала, Константин Леонтьев натыкается на свои же слова, зовущие к действию: «В голосе его, на лице, озаренном месяцем, я читал смущение и полноту чувств человека, приступающего к решительному и благородному делу, от которого уже нет возврата к прежнему. Не жениться, мне казалось, он не мог после своих слез и клятв. Не жалей он простой народ, будь он человеком, вроде брата, – обмануть Катюшу было бы в порядке вещей. Но он одинокий и мыслящий бедняк, он понимает, что такое бесчестие».

И вот он, «одинокий и мыслящий бедняк», таковым Леонтьев считал себя во время жизни в Петербурге, бросает все свои литературные

дела и летом отправляется из Кудинова в Крым к Лизе Политовой, чтобы исполнить один из своих идеалов – «идеал соединения образованного человека с простолюдинкой высокой души». Этот идеал полностью укладывается в его теорию эстетики, а действие (поездка) успокаивает, возвращает силы, подорванные мечтательностью и слабостью. Поступок Константина Николаевича Леонтьева дорогого стоит! Способность к серьезному мезальянсу – свидетельство истинной демократичности: не на словах, а в реальной жизни быть рядом душой и телом с человеком из народа. Это не натужные походы в «народ» с платочком, надушенным французским парфюмом.

И, конечно же, он, Леонтьев, потомственный аристократ, не ходил к проституткам, как некоторые революционные демократы, а после встреч не сочинял пошло-сладенькие стишки:

Я пришел к тебе, пылая страстью,
Для восторгов, неги и любви.

И в дневник он не будет записывать пошленькие поучения «подругам», которым «приносил» удовольствие и выгоду: «Один господин говорил: кто у меня бывает, тот делает мне честь, а кто не бывает – тот доставляет удовольствие, а вы можете сказать, что кто у вас бывает, тот приносит вам удовольствие и пользу».

Леонтьев не только упрека, даже дурной мысли не хочет допускать в свой адрес. Возможно, женитьбой на простой девушке он хочет доказать, прежде всего себе, что он дворянин, человек чести, слова и достоинства, и не гоже его равнять с какими-то разночинцами, пользующимися услугами девиц легкого поведения.

Железной дороги в 1861 году до Крыма еще не было, и он долго трясется в мальпосте (почтовая карета), жадно вбирая краски русского лета от прохладной Балтики до знойного Крыма, омываемого теплыми волнами Черного моря. Леонтьев любит эту вдумчивую, неспешную тряску. Южная тайга, широколиственные леса, лесостепи, необъятные степи

Дикого поля, крымские полупустыни – все это постепенно проплывает перед глазами. Широка Россия, но врожденная сопричастность с родной землей шире. И всякий раз какое-то нежное покалывание в груди при виде этих просторов, и, несмотря на безлюдность их, образ пустыни не главенствует в сознании. В имперском сердце присутствует одно лишь глубокое удовлетворение, что вокруг все русское, оно часть всего необозримого, что перед глазами.

До Харькова ему случилось ехать с чиновником министерства иностранных дел А. И. Дубницким. Тот до этой встречи еще не служил консулом в Турции и не мог рассказать Леонтьеву о характере такой службы, как ошибочно указывается в некоторых источниках. Разговор с Дубницким заставил Леонтьева поразмышлять о живучести мифов о национальных особенностях. Ярлык к этносу, оказывается, приклеить легко, вот только отодрать его почти невозможно даже в течение сотен лет. Этот эпизод Леонтьев позже включит в статью «Письма отшельника» («Наше болгаробесие», 1879) в качестве иллюстрации клише о греках.

Суть разговора такова: «Греки эти такие “растленные”», – говорил Дубницкий, совсем не знавший их. Леонтьев очень удивился: во время Крымской войны он тесно общался с греками, да и в жилах Лизы текла немалая струя греческой крови по отцу. Греки, на его взгляд, «несколько сухи, слишком строги в семейных нравах своих, слишком серьезны и патриархальны сравнительно с нами». Простые же русские женщины более развратны, чем простые гречанки, – таково мнение Леонтьева. Скорее всего, в этом случайном разговоре Леонтьева поразили поверхностные знания чиновника внешнеполитического ведомства. Может быть, он подумал: «Если уж такие малознающие люди служат в Министерстве иностранных дел, то я тем более смогу»…

Долгая дорога располагала к размышлениям, давала возможность спросить себя, а крепка ли любовь его к простой девушке. Позже эти нелегкие вопросы и ответы нашли отражение в романе «Две избранницы», в котором главный герой генерал Матвеев приходит к выводу, что

любовь прошла, но легче жениться, чем держать ответ перед своей совестью и данным словом. Невозможно сейчас ответить: только ли чувство долга двигало Леонтьевым. Наверное, со своей эффектной внешностью он смог бы жениться на богатой женщине, чтобы избавиться от мучительного бессилия перед всегдашней острой нехваткой денег. Но брак по расчету – испытание не для его доброго и нежного сердца.

Тем более, Константин Николаевич трезво оценивал, что такое узы брака: «Брак есть разделение труда, тяжкий долг, святой и неизбежный, но тяжелый, налагаемый обществом, как подати, работа, война и прочее. <…> Если я ни разу не каялся, что женился, и если моя брачная жизнь дала мне много хороших минут, то это оттого, что я шел в церковь (венчаться. – *М. Ч.*) без очарования, и, кроме худа для себя, от брака ничего не ждал, и все мало-мальски хорошее принимал за дар судьбы».

В Феодосии 19 июля 1861 года он венчается на своей «беглянке». Он три года назад дал невесте слово, что вернется, и вот сдержал его. Прожив с молодой в Крыму медовый месяц, он возвращается один в Петербург. Причина банальна – недостаток средств. Лиза приезжает в Кудиново лишь через полгода, легко сходится со свекровью и племянницей Константина Марией, на руках которой она умрет в глубокой старости в Орле в 20-е годы XX века.

* * *

На что он жил в Петербурге? Какие-то гонорары он получил за роман «Подлипки», за статью о творчестве Марко Вовчка, за повесть «Второй брак», опубликованной в «Библиотеке для чтения» в 4-м номере за 1860 год, но и только. Приходилось заниматься переводами и даже давать уроки. В 1862 году он сотрудничал в «Русском инвалиде», издаваемом Н. Г. Писаревским (1821–1895) наряду с «Современным словом», и Прибавлениями к «Современному слову». В двух последних изданиях печатались обзорные статьи, посвященные западным философам и социологам: «Новая брошюра Прудона», «Прудон и вещественная

собственность», «Что делается на свете», «Общественное мнение в Англии и Бокль», их переводил Леонтьев. Педантичным, метафизическим глубокомыслием немецких философов он не восторгается, но знание их впоследствии очень помогло ему делать собственные философские выводы, ведь, как известно, отличить новое от ранее известного можно, только хорошо изучив старое.

Племянница Марья Владимировна писала 1 марта 1911 года И. Фуделю, составителю полного собрания сочинений К. Н. Леонтьева: «…Дядя переводил для него (Писаревского. – *М. Ч.*) с немецкого какие-то серьезные статьи для “Русского инвалида”, который выпускал тогда “Прибавления” неофициального характера». Сам Леонтьев не отрицал этого: «Товарищество общественной пользы, в которой членами состояли Струговщиков, Водов, Пахитонов, Кавос и Писаревский, платили мне весьма недурные деньги за переводы статей по естествоведению из немецких журналов… и из французских также…».

Вспомним, что говорил Тургенев Леонтьеву: «Не соглашайтесь ни на какую фельетонную работу. <…> я никак не вижу в Вас <…> тех недостатков, которые необходимы фельетонисту. Вы для этого слишком молоды, свежи и – в счастливом смысле этого слова – неопытны». Не выполнил Леонтьев пожелания старшего товарища: нужда заставила заняться не столько фельетонной работой, а даже ремесленничеством от литературы – переводами ученых статей. Занятие, безусловно, полезное, но, если уж врачебная деятельность, по мнению Леонтьева, портила стиль, то можно представить, как испортили стиль сухие немецкие философы. Для этого достаточно прочитать леонтьевский полутрактат, полуроман «В своем краю».

2

Трудности жизни позволяют полностью отойти от розовых мечтаний, связанных с либеральным исправлением нравов. «Я уже с 62 года (в 30 лет) отступился с ужасом от либерализма, которому поклонялся

(поклонялся ли?) с 18 лет под влиянием Ж. Санд, Белинского, Тургенева и т. д. Поклонялся его сердечным и благородным сторонам, не понимая (до 28–29 л.) ни глубокой антигосударственности, ни прозаических последствий того смешения, без которого либерализм не может быть практикуем».

Итак, 1863 год стал для Леонтьева периодом великих осмыслений и переживаний, годом полного разрыва с либеральным прошлым. Леонтьев называл этот период счастливым: «По сравнению с многими другими людьми, пребывавшими, быть может, на всю жизнь в стремлении к мирному и деревянному преуспеванию, я исправился скоро. Время счастливого для меня перелома этого была смутная эпоха польского восстания; время господства ненавистного Добролюбова; пора европейских нот и блестящих ответов на них князя Горчакова. Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных <…>. Я идеями не шутил и нелегко мне было “сжигать то”, чему меня учили поклоняться и наши, и западные писатели».

Под западными писателями подразумеваются, прежде всего, Жорж Санд и Проспер Мериме, романтики, определившие стиль и взгляды раннего Леонтьева. Среди русских авторитетами для молодого Леонтьева были В. Белинский и А. Герцен. В немалой степени этим раздумьям способствовал и роман «Отцы и дети». Писать так, как прозападный либерал Тургенев, или идти своим путем экзистенциальных наблюдений, только-только намеченным благодаря общению с Григорьевым, – вот часть его нелегких раздумий. У Леонтьева возникает стойкое ощущение, что революционные демократы и либералы тянут Россию в мелкобуржуазную трясину, где каждая лягушка имеет право бездумно «пробулькивать истины» и равна в этом другой, ей подобной. Упомянув «болото», самое время вспомнить вольный перевод, выполненный Леонтьевым, книги «О свободе» английского либерального философа Джона Стюарта Милля. Поразительно, но именно этот либерал и позитивист помог Леонтьеву стать консерватором. Именно Милль подметил, что демократизм начального периода играет поло-

жительную роль, по мере же развития он вырабатывает «деспотизм обычая и господствующих мнений», сминающий яркие личности, способствует серости и однообразию в людях и в обществе. Немного утрируя, Леонтьев говорил, что демократия «…может застаиваться в отдельных болотах или бежать мелкими ручьями, попадая в которые, приятно и полезно не забывать *о своей* личности и возбуждать в себе смелую независимость». Это одна лишь цитата из перевода Милля под названием «Мнение Джона-Стюарта Милля о личности», опубликованного весной 1862 года в журнале «Русский инвалид». И вновь Леонтьев не указывает под переводом своего имени. Странным образом выражается у него стремление к литературной славе, к влиянию на общественное мнение. Но единый знаменатель для личности, о котором говорит также Леонтьев, – это конец развитию, конец свободе. Пока он еще не говорит, что конец истории. Потому Леонтьев против демократии.

Леонтьев комментирует свое становление на консервативный путь так: «Нигилизм “Современника” пробудил в одних задремавшие воспоминания о церкви, столь родной семейным радостям детства и молодости; в других – чувство государственное, в третьих – ужас за семью. “*Современник*” *и нигилизм,* стремясь к крайней всегражданственности, насильно возвращали нас к “почве”.

Наконец, поднялась буря в Польше; полагая, что Россия потрясена крымским поражением и крестьянским переворотом, надеялись на нигилистов и раскольников. Поляки хотели посягнуть на целостность нашего государства!

Вы знаете, какой гнев, какой крик негодования пронесся по всей России при чтении нот наших непрошенных наставников…».

«Буря в Польше», о которой пишет Леонтьев, поднялась в январе 1863 года, а в мае этого же года он в письме Страхову сформулировал основные свои социально-эстетические взгляды:

«…1) что прекрасное важнее полезного; 2) что широкое развитие важнее счастья; 3) что только на почве зла вырастает добро и вели-

кие личности; 4) что лучше война, поэтические суеверия и доблестные предрассудки, чем всеобщая бесцветность… 5) что народность (нам особенно) нужнее демократической гуманности (об этом есть уже большая статья) и т. д.».

Эти безапелляционно радикально-крутые идеи вызревали в Кудинове, куда он весной 1862 года приезжает из «европейски плоского» Петербурга и остается в нем до самого Нового года, ожидая вызова из Министерства иностранных дел.

Милый и желанный уголок творческого уединения – имение в Кудинове – ветшает. Вот как кратко в «Хронологии моей жизни» характеризует Константин Леонтьев это время. «62 г. Весна и лето в Кудинове. Приезд Лизы. *Катя Самбикина* и Маша (племянницы К. Н. Леонтьева. – *М. Ч.)* гостят до осени. Начало зимы в Кудинове; с Лизой и матерью – *Нужда, голод – холод. Ужасное уныние. – Кротость и любовь Лизы».*

Конечно, Леонтьев преувеличивает: он и его семья не голодали, но старый, бревенчатый дом так одряхлел, что не держал тепло. Племянница Константина Леонтьева Маша в своих воспоминаниях о той зиме пишет: «Кудиновский дом тогда еще не был снесен, но до того холоден, что жена дяди, южанка, не могла проводить в нем холодную часть зимы (т. е. с декабря месяца); она переехала за 10 верст к соседям, Детловым».

Правда, существовали еще два флигеля, построенные матерью Леонтьева по обе стороны от дома. Вход был общий из старого дома, в одном из них давно жила мать Феодосия Петровна, другой флигель построен был для Константина. Бревенчатые флигеля площадью около 50 квадратных метров каждый не были разделены на комнаты, изнутри не были оштукатурены, а снаружи не обиты тесом.

К приезду жены Константин Леонтьев не готовился, иначе он нанял бы плотников и печников, чтобы разделить огромные комнаты флигелей и установить дополнительные печи. В этой бесхозяйственности видна его полная непрактичность и барское равнодушие даже к матери, не говоря о жене. Потому-то свекровь очень жалела Лизу, от

беспомощности и кротости которой у нее сжималось сердце. Позже в письме внучке Маше она горько скажет о своем сыне, что он женился поэтически, а поступает с женой философически. И, скорее всего, это мягкое определение. По всему видно, что у Леонтьева не только нет денег даже на самые малые хозяйственные расходы, но и желания заниматься благоустройством жилья.

Ему самому в это время не до женщин: он пишет роман, философствует и требует при этом, чтобы распорядок дня соблюдался безукоризненно. Подъем около 8 утра, не ранее, и чтобы к этому времени был горячий кофе. Потом выкуривал дорогую сигару и садился за стол или писал стоя, установив на стол конторку; так до часу дня. В два часа все обедали, после обеда отдых во флигеле. После вечернего чая (17 часов) предпринималась прогулка по окрестностям. Перед сном чтение.

Весь этот железный распорядок, соблюдающийся, несмотря на внешние обстоятельства, сформировал у Леонтьева характер, который Лев Тихомиров в работе «Тени прошлого. К. Н. Леонтьев» оценит так: «…у него проявлялась какая-то врожденная властность, стародворянская тонкость вкуса, а также стародворянская распущенность. Вообще, он производил впечатление утонченно развитого русского барина». Вся эта барственность и властность выливалась лишь на «хамов» или, по меткому выражению другого русского философа и патриота Ивана Ильина, «мировых полуинтеллигентов», вызывающих у Леонтьева не только умственное отвращение, но и физиологическое.

Хотя при этом он деятельно сострадал простым людям, он с ними, что называется, возился, занимался, что мы увидим позже. И эти два чувства: уважение к народу – носителю своеобразных, то есть культурных, черт, и настороженность к либеральным полуинтеллигентам, бегущим за советами на Запад, есть свойство особой, высшей порядочности. С таким характером непросто жить, это свойство полуинтеллигенты чувствуют за версту, признавая в носителе их врага.

Дух Леонтьева томился в эту зиму и от ожидания весточки из Министерства иностранных дел. Свое «ужасное уныние» Леонтьев скры-

вал упорной работой над романом «В своем краю». Наконец в середине января долгожданное письмо пришло. Нет, руки у Леонтьева не дрожали: он был достаточно сдержанным человеком, но сердце готовилось убежать из груди. Конечно, не административные успехи грезились горячему характеру, а почти юношеская мечта о дальних странах, о новых людях, о возможности видеть и чувствовать красоту, нежную и одухотворяющую. Письмо звало в Петербург. С видимым облегчением говоря жене, что, как только у него появятся деньги, он вызовет ее к себе, он собрался и в двадцатых числах января 1863 года выехал навстречу новой жизни.

3

На календаре весна 1863 года, когда Леонтьев, довольный, что он уже чиновник Министерства иностранных дел, в очередной раз встретился с молодым литератором Иваном Пиотровским, сотрудничавшим в «Современнике». И хотя тот – ученик и ярый сторонник Добролюбова и Чернышевского, но, по словам Леонтьева, «у Пиотровского, казалось мне, было воображение: глаза у него были такие выразительные и задумчивые. Мы часто спорили». Обычное, в стиле Леонтьева, развитие отношений: он всех будущих товарищей встречал, прежде всего, строго по одежке и по лицу, считая, что тайные и дурные мысли накладывают в том или ином виде следы на лице. У него в дальнейшем появится сторонник: Антон Чехов с его известным афоризмом. «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Только вот слово «человек» надо было бы написать с заглавной буквы, так как даже самый малый, детский опыт говорит с непреложностью, что не у всякого человека все прекрасно.

С несимпатичными ему внешне людьми Леонтьев начинал разговор лишь по долгу службы или другому принуждению. В этом отношении он был максималистом, рассуждающим так: зачем тратить вре-

мя, силы, нервы на неприятного человека – его не переделаешь, и себе тягость, а со временем жди беды.

И вот далее Леонтьев вспоминает: «Я с Пиотровским познакомился случайно, и он мне очень понравился. Не имея возможности где бы то ни было печатать того, что я бы хотел, я успокаивал себя словесными изложениями моих взглядов… В провинции (до 1861 г.) я вовсе не понимал, чего хочет “Современник” и за что он всех и все бранит. Я возненавидел его за это одно, не постигая еще его революционных замыслов. В Петербурге мне это объяснили: “Прямо нельзя еще у нас проповедовать кровавую социалистическую революцию, и потому надо все безусловно порицать и развенчивать. Будет ненависть к современному строю жизни, будет и революция! ” Но именно около этого-то времени я стал впервые понимать, что и мятежи народные мне нравились не по цели, а разве по драматичности, и припомнил, почувствовал, что я и в истории, и в романах всегда бывал рад усмирению мятежей… Пусть они будут, но чтобы их усмиряли! Цели же демократические мне ужасно не нравились, и чтение Герцена (не “Колокола”, а других статей) уже прежде подготовили во мне поворот к охранению и реакции. Со стороны своего отвращения к буржуазному прогрессу Герцен очень полезен – он просто незаменим».

Конечно, не только Герцен – практик, живущий на Западе уже полтора десятка лет, помог Леонтьеву в формировании отвращения к утилитарной и эгалитарной Европе, но и Ф. Достоевский, побывавший там летом 1862 года и написавший «Зимние заметки о летних впечатлениях». В них он высказал мысль, что в Европе, перешедшей на буржуазную мораль, никогда не сбудутся чаяния народа на социальную справедливость, поскольку европейцы в большинстве своем эгоисты и индивидуалисты, мечтающие только о личном обогащении, что у них нет чувства братства, а потому и будущего. Да и Милль, которого Леонтьев энергично переводил в это время, осуждал «коллективное ничтожество» западной буржуазной массы.

«И вот однажды, – вспоминал далее Леонтьев, – шли мы вместе по Невскому и приближались к Аничкову мосту. Я спросил у него так, стараясь выразиться как можно нагляднее:

– Желали бы вы, чтобы во всем мире все люди жили в одинаковых маленьких, чистых и удобных домиках, – вот как в ваших новороссийских городах живут люди среднего состояния?

Пиотровский ответил:

– Конечно, чего же лучше!?

Тогда я сказал:

– Ну, так *я не ваш отныне*! Если к такой ужасной прозе должны привести демократические движения, то я утрачиваю последние симпатии свои к демократии. Отныне я ей враг! До сих пор мне было неясно, чего прогрессисты и революционеры хотят…

В это время мы были уже на Аничковом мосту или около него. Налево стоял дом Белосельских, розоватого цвета (с какими-то, помню, сероватыми или бледно-оливковыми украшениями), с большими окнами, с огромными кариатидами; за ним по набережной Фонтанки видно было Троицкое подворье, выкрашенное темно-коричневой краской, с золотым куполом над церковью, а направо на самой Фонтанке стояли садки рыбные, с их желтыми домиками, и видны были рыбаки в красных рубашках. Я указал Пиотровскому на эти садки, на дом Белосельских и на подворье и сказал ему:

– Вот вам живая иллюстрация. Подворье во вкусе византийском – это церковь, религия; дом Белосельских вроде какого-то “рококо” – это знать, аристократия; желтые садки и красные рубашки – это живописность простонародного быта. Как все это прекрасно и осмысленно! И все это надо уничтожить и сравнять для того, чтобы были маленькие одинаковые домики или вот такие многоэтажные буржуазные казармы, которых так много на Невском!

– Как вы любите картины! – воскликнул Пиотровский.

– Картины в жизни, – возразил я, – не просто картины для удовольствия зрителя: они суть выражение какого-то внутреннего высо-

кого закона жизни – такого же нерушимого, как все другие законы природы…»

Такое длинное и подробное объяснение отрицания буржуазной утилитарной серости и усредненности с эстетической точки зрения, видимо, нравилось Леонтьеву, если он так любовно, доступно и в красках описывает свой отход от либеральных «грехов» юности. Это первый случай, когда красочную картинность (эстетику) жизни Леонтьев оценил не абстрактно, а связал в своем мировоззрении с политическими пристрастиями. Эстетика стала главенствующей для него в оценке того или иного политического события.

Именно в 1863 году Леонтьев мысленно связал воедино иерархии: государственную, эстетическую и историческую. Как в государственном устройстве есть высшие по значимости структуры и должности, так и в учении о красоте есть возвышенные образцы и есть низшие. Есть «красные рубашки и голубые сарафаны» крестьян и есть Кремль и собор Василия Блаженного. Высшее должностное лицо командует низшим, и это в порядке вещей, хотя для либерала этот порядок кажется насилием. И вот как образно связал иерархии Леонтьев: «Нет, нет вывести насилие из исторической жизни это то же, что претендовать выбросить один из основных цветов радуги из жизни космической» (из письма Е. С. Карцевой, апрель 1878 г.). Иерархию не признают и никогда не признают либеральные демократы. Им, как Пиотровскому, дороже «одинаковые маленькие, чистые и удобные домики», а не разнообразие, сила и красота. Леонтьев уже тогда предвидел, к чему могут привести эти желания либералов: к разрушению самобытности, важнейшей составляющей культуры, да и самой культуры в целом.

Позже он введет иерархию эстетики не только в рассуждения о мировой политике и государственном устройстве, но и в суть христианской морали, в историософию, в быт, наконец. На основе этого неожиданного сочленения таких несовместимых сфер выводы Леонтьева становятся значительными, пригодными для практического применения во все времена.

Глава 5
Азиатский департамент

> …и у великих людей определенный образ мыслей слагается не вдруг, и для них нужны время и опыт, необходимы сильные впечатления жизни.
>
> *К. Н. Леонтьев*

1

Философов всех времен и народов чрезвычайно занимал вопрос о соотношении долей случайности и необходимости в развитии всего живого и неживого. Голландец Б. Спиноза авторитетно заявлял: «В природе вещей нет ничего случайного…», но при этом отрицал фатальность, ту крайность, в которую может закономерно вылиться его точка зрения. Но и сказать, что все на свете случайно, ни у кого из философов, конечно, не поворачивался язык, так как в этом случае совсем принижалась бы роль человека разумного. Позднее наука с открытием квантов, двойственной природы света и созданием теории относительности доказала, что законы природы носят относительный, вероятностный характер. И только после этого наука всех (или почти всех) примирила и заставила признать, что необходимость существует лишь во множестве случайностей, а каждая случайность в свою очередь есть одно из проявлений необходимости (закономерности).

Видимо, и Константину Леонтьеву должна была с фатальной непреложностью подвернуться случайность, чтобы вобрать и усвоить опыт нового приложения сил и знаний, теперь уже дипломатического. Представилась удачнейшая возможность изучить менталитет других народов, государственное их устройство, понять его, сопоставить с русским и высказать свою точку зрения. Петербургские испытания в поисках и формировании эстетической концепции были сравнимы

с теоретической подготовкой. Леонтьев словно ждал практического их применения. Судьба, соблюдая принцип идеалистической очередности: от разума к опыту, – предоставила такую возможность Леонтьеву. Бог, даровавший нашему герою незаурядный ум, несколько недовольный его воплощением в литературе, приготовил новую стезю. Настолько неизвестную, что она казалась невероятной.

И где случаются невероятные вещи, там ищи и закономерности. «Таких случаев было разом два, – пишет Леонтьев в очерке о генерале Н. П. Игнатьеве, – один за другим: неожиданная встреча с Михаилом Хитрово (сыном близкой подруги Феодосии Петровны. – *М. Ч.*), который ехал консулом в Македонию, и также малоожиданный приезд Дмитрия Григорьевича Розена из Нижегородской губернии в Петербург. Первый дал мне именно такое понятие о должности консула в Турции, которое было нужно, чтобы меня привлечь; а барон Розен познакомил меня с графом Николаем Николаевичем Зубовым, который рекомендовал меня Игнатьеву».

Зубов, оказывается, приходился Розену двоюродным братом, а Хитрово – троюродный брат жены Игнатьева. Встречи эти состоялись в феврале 1861 года, но результаты сказались далеко не сразу, а через два года.

Да, Леонтьев представлен заочно Н. П. Игнатьеву, директору азиатского департамента МИД, но его не торопятся приглашать на работу. Точно теперь и не ответить, как решался его вопрос устройства в Министерство иностранных дел, может, сначала не было свободной вакансии. Да это и неважно, ведь судьба, как известно, пишется не на бумаге, а на небесах.

Месяц идет за месяцем, а где «воз» назначений – неизвестно. Отчаявшись в возможности приобщения к дипломатической службе и, главное, очутиться в экзотической обстановке Востока, Леонтьев решается на безрассудную просьбу к Ивану Аксакову, редактору газеты «День».

В этом знаменательном по духу и отчаянности письме (от 7 марта 1862 г.) Леонтьев словно распахивает свою душу. Он на редкость ис-

кренен с малознакомым человеком. Он по-прежнему горяч, как в годы Крымской кампании, когда реквизировал простоквашу у богатых помещиков на нужды армии. Он откровенничает, что не любит писать романы к спеху, то есть на злобу дня, считая это подлостью. Не по нутру ему рутинные статейки по части публицистики. Любит писать длинные романы, чтобы они достигали «эстетического идеала, который его терзает». Ему нипочем тревоги и будущие испытания, лишь бы снова попасть на причерноморский, зарубежный юг, с прелестями которого он столь близко познакомился во время Крымской войны. В состоянии некой горячки, можно сказать, романтического угара и нетерпения просит он у Аксакова, с которым едва-едва знаком по встрече в крымском имении Шатилова, взять его «агентом, корреспондентом, явным или тайным» и отправить в Черногорию или Герцеговину, где вспыхнуло восстание южных славян против турецкого владычества.

Объясняя свое странное нетерпение, странное вдвойне мало знакомому человеку, Леонтьев сообщает: «…что там под руководством коротко знакомых с тамошними делами людей можно сделать какую-нибудь пользу; больше, по крайней мере, чем сгнивая в Петербурге литературным пролетарием. А медленному созреванию больших романов (главной моей цели) походная жизнь скорее благоприятна, чем вредна». И дальше совсем крик души, наполненный явным сомнением в благополучном исходе просьбы: «Скажите, неужели нельзя пригодиться?»

Что можно прочитать между строк этого эмоционального послания? Прежде всего, оно подтверждает наличие плотной сословной связи между русскими дворянами, и потому не кажутся странными такие страстные обращения к равному себе по социальному и, прежде всего, культурному положению. И если дворянин не замечен в порочащих связях, то помощь вполне могла быть ему оказана. Вспомним историю Феодосии Петровны, которой оказывала действенную помощь вдовствующая императрица Мария Федоровна. Или, например, повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка», где императрица Екатерина II помогла Маше, бедной дочери капитана Миронова. Подобные случаи были не столь уж

редки. И в нашем изложении уже отмечено некоторое своеволие помещика Штевена, бывшего статского советника, отказавшегося от приема у Александра II из-за требования сбрить бороду.

Пока же Константин Леонтьев по-авантюристски рискованно просит о помощи Ивана Аксакова: «Правительственного взыскания я не боюсь: что в нем страшного? Страшнее в 1000 раз петербургская пошлость и проза! Для меня страшно все то, что мешает вдохновению, и не страшно то, что благоприятствует ему». Нет, не помог ему Аксаков. Но мысль изменить свой творческий путь у Леонтьева уже засела в голове, и он приступает к ее реализации.

Аксаков вежливо ответил, что хорошо бы иметь собственного корреспондента, но таких денег (около 1000 рублей серебром в год) у него для Леонтьева нет. К тому же Иван Аксаков подколол Леонтьева, заметив, что «я не вижу из Вашего письма, чтобы Вас влекло особенное сочувствие к Славянам». Познать же тревоги действительной жизни лучше всего, – советует Аксаков, – в Италии, где больше блеска, чем в Герцеговине. И вновь ехидное напоминание, что нужно иметь «особенное сочувствие к славянскому делу и некоторое знакомство со славянским миром, чтобы решиться туда ехать. А мир этот особенный…». Совет Аксакова Леонтьев косвенно выполнит, «направив» в Италию, к Гарибальди, Милькеева – героя романа «В своем краю», который он в это время пишет. Раздосадованный упреками Аксакова, Леонтьев тем более хочет разобраться в «славянском мире».

2

Позднее в незаконченном очерке о своем выдающемся шефе Н. П. Игнатьеве Леонтьев напишет: «Поступил я на консульскую службу тоже гораздо более по эстетическому, чем по политическому побуждению; не знаю – каяться мне или гордиться? Предпочитаю гордиться; потому что правильная и глубокая эстетика всегда, хотя бы незримо и бессознательно, содержит в себе государственное и политическое чувство».

Кто же будет спорить, что все многообразие мира: прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, возвышенное и низменное, героическое и будничное – раскрывается в разнообразных сферах человеческого бытия: культурной, бытовой, социальной, государственной, политической, идеологической, в отношении к природе. Можно ли смело по внешним признакам определить качество политической системы того или иного государства? Прекрасно оно или безобразно? Интуитивно – возможно, – говорит Леонтьев, – но при этом надо помнить, что умение ценить прекрасное – важнейшая «незримая и бессознательная» функция мозга, то есть материи. Он-то теперь понял, что монархия – это хорошо, это порядок, это иерархия, а либеральная республика – это большей частью говорильня, серость и пошлость, а в дисциплинарном плане – анархия. Леонтьев хочет, чтобы его интуитивные прозрения нашли материальное воплощение в статьях, книгах и были бы поняты обществом. Для этого нужны практические примеры, которые он надеется найти в другой, восточной, культуре и государственном устройстве.

Умение распознавать прекрасное и полезное в жизни не есть лишь результат действия платоновской надчувственной идеи, для Платона – абсолютной, вечной и неизменной. Понимание прекрасного в окружающем мире есть проявление воспитания, привычек, и только характер как генетическая (или Божья) составляющая может быть частью платоновской «идеи». Не будь у мальчика Костика наставницы матери, эстетическая «идея» Платона сработала бы в лучшем случае процентов на 10–20 и не более.

* * *

Леонтьев не зря волновался, ибо понимал, что служба в Министерстве иностранных дел – это по сути своей представительство России перед другими народами мира. Каков представитель – таково и мнение о России. У каждого профессионального сообщества образуется свой клан, элита, в большинстве своем состоящая из родных и

близких знакомых, считающих себя высоколобыми и незаменимыми специалистами. В этот круг новички допускаются в исключительных случаях. Корпоративный высший круг всегда настороженно к ним относился и относится поныне. И тому есть множество доказательств. Протекционизм здесь в разумных пределах просто незаменим: рекомендующий несет ответственность не меньшую, чем рекомендуемый. В каждом уважающем себя государстве дипломатия – главная функция, от качества исполнения которой зависит международный авторитет, отношение других стран. Оно же может быть уважительным, снисходительным, настороженным, презрительным. Россия прошла за свою историю через все эти фазы. В пору леонтьевского дипломатического опыта отношение дипломатов других стран к России было уважительно-настороженным.

Отбор претендентов, несмотря на протекцию, был строг и всесторонен. Экзаменуемый в те годы должен быть обязательно дворянином, иметь высшее образование и широкий кругозор во множестве областей знаний, быть патриотом, преданным царю и Отечеству, знать несколько иностранных языков. Трудно сказать, как проверялись свойства характера в ту пору, но требования к ним не только декларировались, но и имели немаловажное значение. Леонтьев, имеющий за плечами опыт Крымской кампании, был верен царю и Отечеству, смел, но при этом достаточно осмотрителен и осторожен («Об увеселениях и думать перестал, да и никогда, вы сами знаете, на них падок не был», – из письма матери в 1870 г.), инициативен, способен к принятию самостоятельных решений, импозантен. Он умел общаться и со знатью, и с простым народом, обладал немалым красноречием, а писательский талант позволял ему составлять интереснейшие служебные записки, которыми позднее зачитывались и посол в Турции граф Н. П. Игнатьев, и сам канцлер А. М. Горчаков.

К немногим отрицательным чертам можно отнести горячность, несдержанность. Думается, что излишнее внимание к женскому полу никак не учитывалось: Леонтьев посещением борделей себя не замарал.

Он успешно сдает экзамен на замещение вакантной должности канцелярского чиновника и с 2-го февраля 1863 года приступает к работе в Азиатском департаменте, директором которого был граф Николай Павлович Игнатьев (на год моложе Константина Леонтьева).

Леонтьев писал о нем в 1880 г.: «Он человек разнообразный и сложный… если когда-нибудь между нами были неудовольствия, то это только и случилось именно за болгар: он все хотел убедить меня еще в 73–74 году, чтобы я писал в их пользу…» Однако об этом позже.

3

Итак, жизнь Константина Леонтьева, ранее помещичья, размеренная, потом военная, геройская в годы Крымской кампании и медицинская в образе старательного и добросовестного доктора, а, главное, писательская резко изменилась. За плечами его теперь стояли государственные интересы, серьезное пренебрежение которыми могло рассматриваться как их предательство. На время он становится учеником, и это новое приложение сил и возможностей доставляет ему удовольствие, ему – романтику в душе, которому все новое, будь то местность, люди, мнения, дела, возбуждает и поднимает интерес к жизни, оптимизм ее восприятия.

Он с упоением роется в архивах Министерства иностранных дел, читает консульские донесения в огромных количествах, дипломатические ноты, чтобы изучить круг будущей своей работы. Донесения эти разного качества и срока, среди них образцовые и никчемные, умные и глупые, дельные и пустые. Он изучает международное право, различные прецеденты в области его применения. От одной только терминологии голова шла кругом, но Леонтьев терпелив и настойчив. Он легко обучаем и умеет следовать советам старших и опытных товарищей. Ему нравится учиться. И он небезосновательно считал, что житейский, уже достаточно значительный опыт поможет ему в освоении новых знаний и применении их на практике. Хотя второе окажется более трудной задачей, в чем ему скоро придется убедиться.

Леонтьев последовательно проходит ступени роста: канцелярский чиновник, помощник главного журналиста, а с 1-го июня – помощник столоначальника, «*завистливо* (по его словам. – *М. Ч.)* сокращая чужие донесения и думая: “Есть же такие счастливцы, которые ездят с вооруженными арнаутами по горам!”» Да, далеко не чужды Леонтьеву романтизм и «прелести» административной работы, достаточно полно удовлетворявшие его тщеславие. Наконец, 25 октября 1863 года его назначают секретарем и драгоманом (переводчиком) на остров Крит. И он с радостью покинет не принесший ему удовлетворения и литературной славы Петербург.

В эти девять подготовительных к дипломатической работе месяцев он по-прежнему занимается уроками с племянницей Машей, дружба с которой, по его словам, растет так энергично, что летом он замечает первые признаки любви с ее стороны, о чем запишет в своей хронологии жизни. Настроение у него в этот период совсем иное: деятельное и оптимистическое («горячие статьи в “Якоре”). Он наконец-то занялся практическим делом, и прочь хандра и меланхолия, но мысли о «пышной стороне жизни» не дают ему покоя, лишний раз подтверждая, что для Леонтьева эстетика в жизни всегда была на первом месте, опережая литературу.

Часть IV
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Дипломат служит не тому или иному режиму, а своей родине.

Силва Паранос

Глава 1
Крит

Консульская роль на Востоке очень деятельна и самобытна.

Леонтьев – Розанову
18 июня 1891 года

1

Уехать столь далеко и надолго и заняться делом, не в совершенстве изученном, можно было, только полагаясь на свой сильный, природный ум и жизненный опыт. Леонтьев, конечно, не догадывался, что впереди его ждут трудные, одновременно самые счастливые годы жизни, но светлые ожидания и предчувствия не оставляли его. Перед сном в полудреме он закрывал глаза и вызывал из памяти образ Спасителя, как это делал в детстве, и он складывался мозаичными фрагментами непринужденно и ловко. Потом он словно вдыхал в него жизнь, и Христос смотрел на него задумчиво и внимательно, как знакомый мужчина. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнего», – шептал Леонтьев и за-

сыпал. Нет, не каждый день он это делал, да и не каждый месяц, но в решающие моменты жизни он всегда прибегал к этому способу, чтобы выяснить: на правильном ли он пути. Если образ Христа возникал быстро, то для него это представлялось Божьим благорасположением.

Что каждый из мужчин думает, отправляясь первый раз на новое место работы? Добросовестный и ответственный – готов ли он? Даже если есть сомнения, он подбадривает себя и молит Всевышнего о помощи. Самоуверенный говорит: «Ерунда все это, прорвемся, не впервой», – и потому зачастую терпит поражение. Леонтьева можно назвать интуитивно уверенным или сознающим свою природную исключительность. «В великом призвании своем я был до того уверен, что нередко и пренебрегал им, медлил, жег и рвал беспрестанно написанное, по два года сряду не брал в руки пера… Я жил смолоду и потом до последнего времени, как будто пресыщенный славой человек». Что же, интуиция как дар Божий всегда сопутствовала Леонтьеву, сделавшему верных предсказаний мирового значения. Другое дело, что не все они достойно и своевременно оценены.

Конечно, Леонтьев волновался в ожидании новых обязанностей, но одновременно признавал: «У меня в то время было какое-то мистическое (хотя и вовсе, каюсь, не православного происхождения) чувство, что меня хранит для чего-то высокого невидимая и Всемогущая сила… и все будет служить моим выгодам, даже и опасности…» Так пишет он в «Египетском голубе», романе, как всегда, наполненном автобиографическими подробностями.

Но главное вдохновение он искал в служении России: «Я хотел служить хорошо, хотел наслаждаться борьбой за русскую идею на Востоке…» И перед этой идеей отступали на второй план все личные интересы, все загадочные и лукавые Маши и Лизы, «полугречанки и полурусские», и даже литература, но не эстетика.

Спустя много лет он напишет в «Хронологии моей жизни» об этих замечательных днях конца 1863 года: «Осень; назначение в Крит секретарем. Приезд Лизы в Петербург; отъезд наш за границу. – Пу-

тешествие; приезд в Крит. – Новая и счастливая жизнь. – Наш мир и любовь». Все друзья и знакомые говорили, что ему с назначением чрезвычайно повезло.

Можно много пересказывать впечатлений о новых, невиданных ранее и долгожданных красотах, запоминаемых чутким сердцем Леонтьева, пользуясь его воспоминаниями. «Полгода в Крите было каким-то очаровательным медовым месяцем моей службы; там я гулял по берегу морскому, мечтал под оливками, знакомился с поэтическими жителями прелестной этой страны, ездил по горам и читал от времени до времени умные донесения моего почтенного начальника г. Дендрино, мастерски написанными превосходным французским языком. Больше ничего! Не только поданных и тяжб в Крите не было, но даже и “политического” было мало».

Но при всем при этом, он, молодой, неопытный дипломат, надо отдать ему должное, был начеку, не позволял себе расслабляться: «Критская жизнь приезжему казалась тогда благоуханною эклогой, непостижимо, однако, грозящею перейти в кровавую народную драму, весенним, ясным днем на заросшем цветами поле старых битв, виноградником веселым и мирным на краю утихшего на время вулкана…».

Не лишним будет вспомнить сам факт направления Леонтьева на такую синекуру, каковой оказалась секретарская работа на Крите. Начальство, и прежде всего Стремоухов и Игнатьев, справедливо понимали, что во всякой новой работе необходим разгон, вхождение в нюансы дипломатии. Ему, Игнатьеву, еще в Петербурге довелось убедиться в красноречии начинающего дипломата, в умении вести себя в обществе, но одновременно Леонтьев мог легко и быстро написать отчет и решить логические задачи. Ведь предмет логики в гимназических курсах предусматривал не зубрежку, а самостоятельное мышление для тех, кто желал иметь собственное и взвешенное мнение. Игнатьеву не хотелось сразу бросать Леонтьева в пекло дипломатических каверз, да и опасно: вдруг дров наломает. Человек он горячий. Об этом начальство, безусловно, знало.

Полуостров Крым, остров Крит, теплые и южные моря – Черное и Средиземное, пышная, ярко-зеленая растительность и голые, неприступные скалы – все так схоже, все так волнует и располагает к творчеству. В Крыму татары и греки, и здесь турки, как те же татары, и греки, там православие и ислам, и тут тоже. Аналогии и воспоминания теснят душу, и он начинает писать крупную повесть «Исповедь мужа». Эта вещь – как некий переход от русской общественной жизни и русской темы к южной, солнечной и очень личной, как переезд из хмурого и дождливого Петербурга в переливающийся слепящими бликами мир солнца и пестрых сказок, которые не всегда имеют счастливый конец.

Ставшая близкой южная красота помогла ему найти себя, обогатить свой стиль, который до этого был несколько однообразен. Восток, как с восхищением убедился Леонтьев, сохранил свою самобытность, не затронутую западноевропейским утилитаризмом, и пышность бытия, столь милую его сердцу. Но свою русскую идею и работу он тоже не забывал, и, вероятно, только благодаря слиянию любви к Родине и восхищению от непохожей жизни он стал более вдумчив, и перо его потянулось к публицистическим обобщениям, а не только художественным описаниям. Леонтьев гуляет по берегам теплого моря, вдыхает свежий воздух, смешанный с солеными брызгами, описывает бытовые сценки народной и понятной даже ему, русскому, жизни простых людей, сидит в конторе за секретарской работой, состоящей из нудного переписывания бумаг. «Мы, секретари, люди мирные, люди пера».

На Крите, где «делать было почти нечего», а сам Крит «в то время был только очень важный пост политического наблюдения», Леонтьев упивается новой стихией, которую он счел родственной его духу. Вся его романтически настроенная натура встрепенулась, словно от сна, потянулась в сладостной истоме и сказала нечто подобное фаустовскому: «Остановись мгновение, ты прекрасно». Он проводит время, участвуя в народных посиделках и гуляньях в селении Халеппа около Канеи, и совсем забывает о родных и близких, не пишет писем домой, знакомым и друзьям. Вечерами и ночами рядом с ним горячая и молодая жена Лиза.

Есть от чего закружиться голове. И только «Очерки Крита» могут хоть в малой степени осветить тот период его жизни.

«Надо видеть это синее море с белой пеной, эти сады перед опрятными домами, людей цветущих, бодрых и красивых, надо знать, что эти люди нам братья по истории». История у Леонтьева всегда в памяти, а теперь и перед глазами – ведь это территория бывшей православной империи с красивым названием – Византия. Русская душа его, сформировавшаяся в русских национальных традициях, духовно соединялась с другой великой нацией – с православными греками. Эту открытость русского консула хорошо и с благодарностью ощущали местные жители, предки которых – строители Византии, преданиям, обрядам, религиозным проявлениям веры, голосу которой он с чувством внимал. Леонтьев будто услышал далекий родной зов, подсказывающий ему, что благочестивые, духовные строители древней Руси вышли отсюда, что они предки окружающих его людей. От них пришла на Русь православная вера, благодаря которой строится и его душа, такая же православная, верная и чуткая к многовековой памяти, что разлита вокруг. Вот здесь та почва и здесь те корни, что помогли возвысить Россию. Да, это Европа по географическим канонам, но совершенно другая, абсолютно непохожая на ту, в обстановке которой ему приходилось мучиться в европеизированном донельзя Петербурге. Здесь, на древней земле, мало тронутой европейской цивилизацией, ему приходят мысли, которые можно выразить простыми и одновременно глубокими словами, подобно тем, что сказал, десятилетия спустя, Киплинг: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут». Здесь так легко рвались нити, связывающие Леонтьева с европеизмом, а корни срастались с православными корнями древней Византии, и душа тянулась к Богу. Конечно, этот путь будет долгим, заполненным многочисленными ухабами прелюбодеяний, основным грехом Леонтьева, но движение души не останавливалось во все время его консульской службы. И потому это был самый счастливый период жизни, подаренный судьбой.

Многое из его настроения той поры можно узнать из произведений другого, не Критского, этапа жизни, в частности, «Египетского голубя», лучшего произведения всей объемной леонтьевской беллетристики. «Я давно мечтал жить в Турции, на Востоке, и вот мечты мои исполнились. Я хотел видеть кипарисы, минареты и чалмы: я вижу их. Я хотел быть дальше, как можно дальше от этих ненавистных, прямых, широких улиц Петербурга… я был далеко от них. Занятия мои были мне по вкусу – неспешные, обдуманные, по смыслу не пустые, с легким и приятным жалом честолюбия… со щитом патриотического долга…»

Как прекрасно подобраны слова, как точно они передают приподнятое и в то же время торжественное настроение усталого человека, нашедшего приют и занятия (без них нельзя – грешно) не только душе, но и пытливому уму, порой трепещущему от укусов честолюбия. Точно, коротко и художественно!

Как человек становится романтиком? Или он рождается им, а романтизм как некая карамазовская сила (по определению Достоевского, уделявшего много внимания «натуре») переходит к нему от родителей? Что это: склад ума или состояние души, о котором говорит романтичный латник, герой одноименного рассказа А. А. Бестужева-Марлинского: «Я беспрестанно волновался между рассудком и предрассудком, между заманчивой прелестью чудесного и строгими доказательствами истинного»?

И кого можно считать романтиком? Наверное, героя, может быть, и не признанного. Геройский склад души так близок Леонтьеву. Всегда на виду, в борьбе, всегда в поле зрения женщин. Как Леонтьев по-молодецки восклицал в трактате о Милле: «…высшая цель есть развитие; не покой – брат застоя, наш дорогой идеал, а битва жизни, движение, цвет ее!» Или на виду у начальства? Нет, это вовсе не обязательно, к тому же начальники не очень любят героев подчиненных. Хорошо ли в глазах окружающих считаться романтиком? И нет ли в романтизме некоторых примет детства?

Леонтьев «влюблен в первозданную стихию земную» и негативно относится к буржуазной культуре, съедающей аромат и колорит национальных особенностей, как ржа железо. Он поэтическим, романтическим сердцем своим предчувствовал, что принципы общечеловеческих, уравнительных (эгалитарных) «ценностей» массовой культуры приведут к размыванию красоты в литературе, музыке, в жизни, наконец. В конце такого пути, как он предполагал, случится следующее: атеизм полностью победит веру, права человека заменят духовную свободу, любовь ограничится сексом, вседозволенность отринет дисциплину, а стеб – здравый анализ. И потому приходят мысли о духовной свободе личности, которая невозможна в буржуазных тисках «равенства». «Божественная истина Евангелия земной правды не обещала, свободы юридической не проповедовала, а только нравственную, духовную свободу, доступную в цепях», – утверждал Леонтьев. Что это значит?

Под духовной свободой Леонтьев понимает внутреннее состояние души, **свободной** от таких негативных качеств человеческих, как зависть, жадность, злоба, эгоцентризм, высокомерие и сонм им подобных. Только такое состояние души способно выдержать любое испытание и любые цепи. И в большинстве своем такая внутренняя свобода присуща романтикам. Свою теорию романтизма Леонтьев высказал в критической статье о романе Тургенева «Накануне». Звучит она так: «Мы любим непрочность и перерождение всех вещей, и никакой односторонний идеал не насытит наше разбегающееся воображение». В этой теории главным является не благостная сытость в желудке, а вера, что все испытания и радости – суть «непрочность». И только высокий дух способен превозмочь любые испытания, даже нечеловеческие.

2

Первые светлые впечатления о Востоке Леонтьев отразил в «Очерках Крита» (1866), повести «Хризо» (1868). В дальнейшем они, наряду с повестями, написанными в Янине, составили три тома отдельного

издания под общим названием «Из жизни христиан в Турции» (изданы в 1876 г.).

Произведения из этого издания Леонтьев называл «восточными повестями», подчеркивая то новое в стиле, что проявилось в них. В одном из писем (18 июля 1879 г.) Всеволоду Соловьеву он отмечал эти характерные особенности: «Я… хотел попробовать себя на этих акварелях, на этих “фарфоровых чашечках” Хризо, Пембе… Я желал, чтоб повести мои были похожи на лучшие стихи Фета, на полевые цветы, собранные искусной рукой в изящно-бледный и скромно-пестрый букет; на кружева “настоящие” на point-carre, на фарфоровые белые сосуды с бледным и благородным рисунком… Я вознесся в своем уединении до того, что мнил положить конец Гоголевскому влиянию, которое я признаю во всех, исключая, пожалуй, Толстого, который по крайней мере давно уже борется против гоголевщины – отрицанья, комизма и т. п. в самом содержании своем… Но я мечтал в гордости моей, в моем уединенном самолюбии, что я призван – обновить и *форму*… Напомнить *простые и краткие* приемы… Выбросить все эти *разговоры, все эти хихиканья* и т. п.».

И просит адресата обратить внимание, что в этих повестях все характеры главных героев «*нарочно* намечены чуть-чуть, слегка, как в старинных повестях». Можно лишь догадываться, какие древние повести имеет в виду Леонтьев, но множественность действий при малой психологической проработке образов есть только в эпических произведениях. Приключения Одиссея, например, изобилуют чрезвычайными ситуациями; чтобы достойно выйти из них надо действовать, действовать, действовать. Через действия проявляются и черты характеры: сила воли, смелость или трусость, находчивость, хитрость или коварство. Простые, бесхитростные греки и турки и живут просто, без особых затей, соблюдая веками заведенные порядки, обряды. «Везде одно, одни нравы, один общий дух; опрятность, простор, простота, радушие и ум. Везде вдыхаешь полной грудью благоухание здоровой, бодрой и скромной семейности», – так пишет Леонтьев в очерках Крита. И правильно: к чему муд-

рить и мучить героев какими-то сомнениями, копаниями в душе, как в романе «Подлипки». Для описания простых, но это не значит, что не героических, ситуаций нужен другой художественный прием – возвышенный, романтический, может быть, даже мифологичный. Разве не из древних религиозных начал вырос у греков ритуал с названием «жечь жида» из повести «Хризо»? Он, скорее всего, восходит к началу зарождения христианства.

Наряду с этой естественной простотой характеров греков, описания же внешности и природы по-прежнему красочны и лиричны. «Вот каков греческий жених: ноги у него стройны и обуты в голубые чулки; красная куртка в обтяжку и без рукавов; синие шаровары широки, как юбка, и подобраны красными подвязками под колена; длинная феска набок; он хитер, ловок и отважен, но в обращении ласков и вежлив».

В «Моей литературной судьбе» Леонтьев дополняет сказанное: «Вкус мой сформировался давно, но как творец я никак не мог долго даже и приблизиться к тому идеалу, которого жаждал. Ему удовлетворяют до известной степени только мои Восточные повести. Хризо я недавно для исправления опечаток перечел три раза и ничем не возмутился; ничто мне не напомнило в этой повести современную русскую пошлость».

«Записки о Кандии» – таково первоначальное название «Очерков Крита» – Леонтьев выслал в Петербург на адрес брата Владимира и просил племянницу Машу помочь их публикации в газете И. Аксакова «День». Маша, прочитав заметки, ответила скоро (10 ноября): «Радуюсь, радуюсь я, что вы так много написали. – Слава от вас не уйдет. – Дай вам Бог только терпенья, да терпенья». Но… сложности с публикациями своих вещей, как покажет дальнейшая судьба Леонтьева, приобретут типичные черты неудачи. В январе 1866 года Маша сообщает, что газета «День» закрыта правительством за антипартийный характер статей, и где поместить его «Письма», она не знает. Владимир Николаевич, брат Леонтьева пытается пристроить их в «Отечественных записках» у Дудышкина, но тот пугается объема, даже не прочитав их. Прошел год в бесплодных попытках и уговорах, пока, наконец, их опубликовал

27 февраля 1867 года в «Русском Вестнике» Катков под новым названием «Очерки Крита».

Маша, сообщив о радостной вести, добавляет милую ремарку: «Отец (Владимир Николаевич. – *М. Ч.)* как-то спросил у Страхова, читал ли он их, не говоря, что вы их написали. – Страхов сказал, что это очень милая вещь и после не хотел верить, что она была в руках Дудышкина и не напечатана в “Отечественных записках”».

Художественные образы критских произведений не расходились с личным настроем автора, свято верящим в единство возвышенных мыслей и решительных действий во имя их свершения. Леонтьев до Крита как бы складывал кирпичик за кирпичиком дом своих убеждений, покуда не представилась столь яркая, солнечная, прекрасная пора для монтажа кровли.

3

Но долго пожить в такой творческой обстановке, не очень обремененной служебными обязанностями, Леонтьеву не пришлось. Судьба не очень-то берегла его, а постоянно испытывала, ставя в ситуации, в которых надо делать решительный выбор.

В мае 1864 года он зашел по каким-то делам в канцелярию французского консула Дерше, а тот в разговоре оскорбительно отозвался о России. В Леонтьеве взыграла горячая кровь предков, которые были скоры на расправу, и он ударил его хлыстом по лицу.

– Негодяй, – вскричал, скорее от неожиданности, чем от боли, француз.

– А вы всего лишь жалкий европеец, – выкрикнул в ответ Леонтьев фразу, ставшую знаменитой в дипломатических кругах, и спокойно вышел из комнаты. За ним устремилась жена, присутствовавшая при ссоре.

Обращает на себя внимание заключительное слово этой фразы, которым Константин Леонтьев хладнокровно и взвешенно отделил национальность Дерше, заменив ее континентальной принадлежностью. Евро-

па в данном случае, – единый враг России, которую европейцы, все без исключения, считают азиатской, варварской страной, где по улицам городов бродят медведи. И это не преминул подчеркнуть Леонтьев даже в такой чрезвычайно сложной и щекотливой ситуации. Как не восхититься мужеством и патриотизмом Леонтьева. Один такой поступок может составить гордость всей жизни: ведь на весах судьбы было все или почти все: стыд, что не проявил дипломатическую сдержанность, дальнейшие перспективы карьеры, преждевременное возвращение в Россию из Турции. Последнее особенно тревожило Леонтьева, так жадно стремившегося жить и работать на своеобразном Востоке. Почему он так поступил? Скорее всего, потому что чувствовал за собой поддержку могучей Российской империи, и оно, это чувство, придавало уверенность ему. Он не только чувствовал, он знал, что Россия не бросит его на произвол судьбы. И не ошибся!

Трусливый француз не решился, однако, вызвать его на дуэль. Начальство Дерше по горячим следам не выступило в его защиту, что для французской дипломатии явление исключительно редкое. Пользуясь некоторым замешательством, вызванным, вероятно, необычностью случившегося, русское посольство, чтобы не дразнить «гусей», отозвало Леонтьева с Крита в Константинополь и сделало ему выговор по службе. Ввиду неясности своего положения Константин Леонтьев отправляет на родину, в Санкт-Петербург, свою супругу Елизавету Павловну и остается в Стамбуле на четыре месяца один. Здесь он продолжает повесть «Ай-Бурун» («Исповедь мужа»).

В «Египетском голубе» Леонтьев так характеризует это критское происшествие: «Меня задержало в Константинополе одно личное дело, одна “неприятность”, одно столкновение с иностранцем, из которого я вышел очень удачно и лестно для моего самолюбия, но за эту *удачу* все-таки по службе нужно было отвечать “формально”… Переписка с *иностранцами* тянулась».

Переписка с французами тянулась четыре месяца, значит не так уж и «формальна» была реакция противной стороны. В Константино-

поле, кроме того, все ждали инструкций от вновь назначенного посла Н. П. Игнатьева. На второй день после приезда он вызывает провинившегося драгомана Леонтьева на «ковер».

Молодой (еще раз напомним, что он на один год моложе Леонтьева) и щеголеватый Николай Игнатьев был добродушен. В его речи, по словам Леонтьева, было столько «лестного и ободрительного, и слегка насмешливого, и повелительного, и товарищеского». «Всякий русский, – говорил Игнатьев, – может быть рад, что вы съездили (чтоб он не смел русским грубить); но ведь нельзя открывать новую эру дипломатии побоев на основании вашего прецедента, который лично, положим, может все-таки нравиться. Держите русское знамя высоко; я буду, верьте, помогать вам; но старайтесь не прибегать уж слишком часто к таким насильственным действиям».

Леонтьеву понравился новый сановитый начальник так, как когда-то был очарован крупным, величественным Тургеневым. Для него красивая внешность и аристократичность поведения – 90% будущего уважения и любви. «Я был обрадован и немного смущен этой речью молодого и молодцеватого нашего начальника… Я, краснея, поклонился и пошел собираться». Все эти фразы – невольные свидетельства признания в любви. Для сравнения вспомним откровения Льва Толстого, которые он доверял дневнику: «В мужчин я очень часто влюблялся. Для меня главный признак любви есть страх оскорбить или не понравиться любимому предмету, просто страх…» (запись от 4 сентября 1851 года). Несомненно, что и Леонтьев своим видом, одеждой и поведением при встрече и тем критским происшествием произвел впечатление на Игнатьева, потому что симпатизировали друг другу во все время дипломатической службы.

Итак, серьезнейший инцидент по меркам любого времени исчерпал себя к великому благу и облегчению Леонтьева. Самого же виновника повысили в должности и назначили вице-консулом в город Адрианополь (ныне город Эдирне). Адрианополь – столица Османской империи в первой половине XV века до взятия Константинополя. Условия сложились

таким образом, что по прибытии туда Леонтьеву сразу же пришлось выполнять начальственные обязанности, так как действующий консул Золотарев отбыл в 6-месячный отпуск на родину.

Глава 2
Адрианополь

> В простом народе простодушно рассказывают, будто бы я сказал Паше: «Если вы в силах охранять город – хорошо, а если не в силах, то его придут охранять 50 000 русских».
>
> *Из служебного донесения Леонтьева Игнатьеву 28 апреля 1867 года*

1

В этом городе воображение Леонтьева покоряют величественные мусульманские храмы. Мечеть Селима с четырьмя стройными и чрезвычайно высокими минаретами и мечеть Уч-Шерифэлли, где низ минарета расписан в виде шахматной доски с красными и белыми клетками. Его поэтическое внимание привлекают обширные древние кладбища с арабскими письменами, городские фонтаны в старых садах под громадными и очень тенистыми платанами. Наблюдательный взгляд Леонтьева ничего не пропускает, все становится предметом его тщательного изучения. Как прекрасны, например, праздничные одежды мусульманок:

«Одежда на ней была вся из палевого яркого шелка, с какими-то небольшими черно-лиловыми и белыми фигурками. Верхний кафтанчик был перехвачен поясом с серебряными круглыми пряжками, а шальвары очень пышны и широки, до земли, но сшиты так, что они нисколько не мешали ей ступать и даже бегать, если б она захотела».

Ему нравится внутреннее убранство турецких домов с резным деревянным потолком, с дулапами (углубления в стенах с дверцами, подобие встроенных шкафов), с ярко окрашенными стенами, с частыми окнами почти без простенков, под которыми во всю длину стены красуется турецкий диван, удобный и широкий. Темно-красная обивка дивана дивным образом сочетается с палевым цветом бесчисленных подушечек и тяжелой бахромой внизу такого же палевого оттенка.

Романтичному Леонтьеву в Турции нравится все или почти все: «Я едва замечал мостовую, я был рад взяться за серьезное дело; я был рад, что город оригинален, я был рад, что отдохну сегодня, я был рад, что так мало отдыхал все эти дни, что ехал так долго и по-варварски верхом, что ночевал так ужасно в таком ужасном хане (постоялый двор. – *М. Ч.*); я был рад, что видел разбойника и дал ему пять пиастров… Я был всем доволен…»

Такое вот романтическое состояние любому человеку, им обладающим, помогает преодолевать самые, казалось бы, непреодолимые трудности и невзгоды, выполнять невыполнимую на первый взгляд работу, идти по нехоженым тропам и тропинкам. Да, такие люди иногда, при рутинном ходе дел, хандрят, печалятся, но ни в коей мере не скучают. Хандра возникает тогда лишь, когда дело, которым они занимаются в данный момент, не устраивает их из-за однообразия, серости, никчемности. Но стоит позвать романтика в дорогу или поручить новое дело, он загорается и находит все новые и новые подтверждения значимости этой работы. Тогда вступает в силу долг, обусловленный верой, то ли религиозной, то ли в высокую будущность нового дела, то ли гражданской идеей.

«Я во Фракии должен буду взяться за дело серьезно и рассудительно. Не говоря уж о долге гражданском, которого благородное и высокое бремя я готов был тогда нести с любовью, ибо личные убеждения и наклонности мои в то время были в высшей степени патриотические и почти в славянофильском смысле народные, но и самое самолюбие мое было возбуждено». И Леонтьев берется за дело с чувством собственного достоинства, с толком и расстановкой. «Но я всегда находил, во-первых, что

вскакивать и бежать можно только в очень важных случаях (для отчизны, например, или для пользы другого), а никак не для себя, когда все можно делать, не спеша и сохраняя хотя сколько-нибудь то человеческое достоинство, которое так глубоко потрясено всеми этими парами и беготней». Обратим внимание на пользу «для отчизны и для другого» и поймем ту нравственную высоту, о которой Леонтьев не любил долго говорить, но планку ее держал, не снижая. И он остается одним из немногих великих, кто провозглашал высокое, неся его в своей душе. Леонтьев в своей жизни и творчестве не отступал от истины, выраженной другим романтиком, немецким композитором Робертом Шуманом, сказавшим: «Я не люблю художников, жизнь которых противоречит их творчеству».

Самолюбие, да, оно есть, и оно помогает в работе. «А здесь нужно было сейчас, сейчас, с завтрашнего дня, быть может, предстать во всеоружии: считать хотя бы и не очень большие казенные деньги, судить, управлять, бороться с иностранцами, остерегаться всех и всего и при этом быть все-таки смелым и твердым; подданных судить и сноситься с Портой, с представителями западных держав, иногда защищать их с энергией, но и самих этих подданных, не всегда честных и покойных, держать в руках».

Что те полгода стажировки, проведенные в Петербурге и полгода на Крите, где «нечего было делать»? Не пустое, конечно, время, но настоящей практики, когда «все это нужно было сразу понять и разом все вспомнить», – не было. «Наше начальство, – вспоминал Леонтьев, – требовало от нас постоянно двух вещей: 1) *знать* хорошо, что делается и даже думается в стране, и вовремя доносить об этом и 2) держать себя в стране так, чтобы помнили, что *есть на свете Россия*, единоверная христианам. Общая же наша политика после Парижского мира была такова: поддерживать и защищать гражданские права христиан и умерять, насколько возможно, естественный пыл их политических стремлений».

Благодаря таким внятным и решительным указаниям Константин Леонтьев быстро вошел в курс консульских дел, понял, что можно, как можно (или нельзя) говорить и делать и каким при этом должно быть

выражение лица и движения рук и глаз. Дипломатия, как Восток, дело тонкое и, возможно, не очень чистое, но вполне может одарить эстетическим разнообразием.

2

Первый экзамен на соответствие не только консульской службе, но и прежде всего идейным качествам Леонтьеву пришлось держать довольно-таки скоро. Зимой 1865 года из-за сильных дождей в горах вышли из берегов реки Марица и Тунджа, при слиянии которых стоит Адрианополь. Из сообщения в посольство от 3 февраля 1865 года: «Со своей стороны и я посылаю уже второй день около ста хлебов и угля на лодках в предместья с приказанием раздавать самым беднейшим без разбора нации и вероисповедания».

Первое же соприкосновение с реальной консульской проблемой тут же подправило его эстетико-теоретические умствования, высказанные в романе «В своем краю», – «прекрасным» можно оправдать жестокость и кровь. Возможно, что разлив рек прекрасен внешне, но можно ли любоваться им, если рядом тонут люди, а другим нечего есть и они умирают от голода и холода. Но в критической ситуации православный Леонтьев, может в ту пору еще не до конца верующий (не в этом суть), решительно идет на помощь пострадавшим и указывает православному архиепископу Кириллу на его «бесплодное сострадание», на его высокомерие, будто бы «его сан не позволяет ездить в лодках с хлебами, подобно польским попам».

Леонтьев деятелен не показным образом, он лично жертвует 500 пиастров (хотя вечно в долгах), организует подписку по сбору средств «в пользу наших пострадавших единоверцев» и, понимая значение православной веры, просит архиепископа Кирилла первым подписать лист пожертвований.

Уже в первый месяц самостоятельной работы Леонтьев не робеет перед представителями администрации губернатора вилайета (области)

Фракия и «вынужден дать ему (высокомерному зятю губернатора) раз небольшой урок общежития, после которого тот извинился, объясняя, что “не узнал меня”». Ему, русскому патриоту, внутренне легко выполнять наказ посла Игнатьева «держать русское знамя высоко». Внешние же проявления этого наказа надо сочетать с умом, а его у Леонтьева хватало.

Леонтьев внимательно наблюдает за людьми, с которыми связан по работе и в быту, пытаясь понять их суть. Об этой стороне своей работы он докладывает Игнатьеву так: «Господин Жорж Блонт, управляющий английским консульством конфиденциально и без всякого повода с моей стороны сообщил мне, что “и” он действует, сколько может, против униатизма. Какие средства он употребляет, я не нашел приличным выспрашивать, чтобы не подвергнуться подобным же расспросам с его стороны». В действиях Леонтьева, молодого еще дипломата, видна незаурядная мудрость и тактическая прозорливость, которую позже возьмут на вооружение разведчики-нелегалы. Заключается она в том, что противник сам иногда разбалтывает секреты, если терпеливо ждешь и не подталкиваешь соперника к конфиденциальному разговору.

Униатизм, о котором упоминает Леонтьев в своем донесении Игнатьеву, есть та религиозная политика, проводимая со времен Брестской унии (1596) западными странами, прежде всего Польшей, среди славян (белорусы, украинцы, болгары, сербы) по переманиванию их в римско-католическую церковь. Миссионеры этой церкви не жалели и не жалеют никаких средств, чтобы отторгнуть южных славян из Православия. В ход идут деньги, шантаж, интриги. Так, в бытность Леонтьева консулом на Востоке, в Османской империи активно действовала Католическая пропаганда – конгрегация, созданная еще в 1622 году папой Григорием XV для распространения католической веры по всему свету. Она соблазняла болгар тем, что платила за них налоги, которыми облагала их турецкая администрация.

В одном из донесений Леонтьев сообщает, что 600 болгарских семей перешли в униатство и что он не видит, какими средствами противодействовать этой «заразе», так как у Пропаганды (так сокращенно

конгрегацию называли на Балканах) очень много денег. И одновременно Леонтьев мудро замечает, что противодействовать Пропаганде такими же методами, то есть перекупать веру болгар, немыслимо. По простой причине: «селяне могут приучиться злоупотреблять им (пособием. – *М. Ч.)* и при всяком случае будут грозить униатством, чтобы вымогать пособия у нас, у зажиточных православных лиц и т. д.». Практика подтвердила его правоту.

Такие торгашеские наклонности болгар, разумеется, не нравились Леонтьеву, в них он видит причину отхода болгар от Православия. На словах болгары объясняли, что не желают иметь общую веру со своими врагами – греками. Болгары считали, что греки могут помешать им в национально-освободительном движении, подчиняя болгар общей православной вере в случае освобождения от турецкого ига. Предчувствуя, что меркантильные лидеры болгар отойдут от ортодоксального православия (что собственно и произошло в 1868 г. с созданием Болгарского экзархата), Леонтьев настороженно относился к высшему слою болгарского общества – «приматам» – так он их называл за глаза. Их мелочность, готовность торговаться из-за вероисповедания, продажность, подражание Западу раздражали эстетичного Леонтьева. Однако предчувствия трудно донести до начальства, одно лишь ясно, что эти переходы болгар в униатство и обратно в православие стали весьма опасны для интересов России и дальнейшего разрешения Восточного вопроса в свою пользу. И потому Леонтьев всеми возможными для него в то время способами боролся против этого позорного явления. Иногда ему приходилось грустно сокрушаться над такими фактами: как только болгар стали сажать в тюрьму за неуплату податей, они тут же объявляли себя вновь православными. И смех, как говорится, и грех. Все эти наблюдения народной болгарской жизни стали основой для многих оригинальных умозаключений, нашедших позднее место в острых публицистических статьях. Леонтьев, единственный из политиков, предупреждал о так называемом болгаробесии со стороны демократической интеллигенции и правительства России, хотя сочув-

ственно относился к освободительному движению болгар. В письме от 20 апреля 1867 года он, например, просит разрешения помогать деньгами болгарской школе и болгарской церкви.

Только-только Леонтьев научился говорить по-гречески и полностью вникнуть в местные адрианопольские дела, выполняя девять месяцев консульские обязанности, как его неожиданно назначают секретарем и драгоманом Генерального консульства в Белграде с 3 декабря 1865 года. Он выезжает в Белград, знакомится с делами, но обстоятельства неведомым для него образом меняются, и через месяц Леонтьев возвращается в Адрианополь.

3

Читая донесения Леонтьева, проникаешься чувством уважения и некоторого удивления к его успехам в дипломатии, достигаемым человеком, имеющим лишь медицинское образование. Его практический и мощный ум, заложенный на фундаменте естественного, житейского, не придуманного миросозерцания, наконец-то находит полное выражение. Ему легче анализировать увиденное, происшедшее, делать выводы о человеческих типах и характерах, чем что-то о них выдумывать и сочинять, искусственно приближая к жизни. Его стихия – познание мира через разгадывание причинных связей наблюдаемых явлений, событий, фактов, то есть сама жизнь. Потому-то он, наверное, и не стал великим писателем-выдумщиком, а стал хорошим дипломатом, выдающимся политическим мыслителем и религиозным философом. Призванием Леонтьева было конкретное дело, и в каждом из них, будь то писательство, медицина, дипломатия, политика, религия, он стремился к совершенству.

Смелость высказывать собственные предположения, отдавая себе отчет, что адресаты более искушены в дипломатии, чем он сам, отличительная черта леонтьевских дипломатических посланий. «Вы как хотите, – словно говорит он, – но если доверили мне такую должность, то будьте любезны, читайте, думайте и делайте, разумеется, свои выводы».

Подробно разбирая новую административную реформу, вводимую турецкой властью, Леонтьев буквально в одной фразе показал ее истинную сущность: «Устав вилайетов есть одно из этих ухищренных произведений цивилизованного деспотизма, в котором под внешне прогрессивным видом ловко скрываются средства предать интересы населения в руки администрации». Для развития своего будущего публицистического и политического таланта Леонтьеву судьбой уготована роль консула, и это, разумеется, Божье провиденье. Ясно, что ни на какой другой должности или в другой области занятий, пусть даже и политических, он не смог бы найти более достойную пищу для своего практического ума. В подробных и обширных таблицах он сравнивает старые и новые правила турецкого судопроизводства. Терпение, терпение и еще раз терпение дает ему Бог, чтобы разобраться во всем этом.

После совещания, проведенного им с православными старшинами Адрианополя, он сводит все их пожелания в 6 пунктов, добавляя при этом, что без привлечения в полицию и национальную гвардию православных жителей все остальные пункты бесполезны. Это же совещание дает Леонтьеву возможность проанализировать общую политическую ситуацию в Турции, предварив его таким вот самокритичным введением.

«Когда в донесениях этого (читай – «нашего». – *М. Ч.)* консульства утверждалось, что местные турки всякому другому исходу предпочли бы власть православной России, а потом из того же консульства сообщается, что турки грозятся перерезать православных, – то причину этого противоречия следует искать в настроениях самих турок, а не в поспешности наших заключений.

Турки просто растеряны; они не знают, к кому обращаться, на кого опереться и на ком сорвать злобу». Потому что Османская империя находилась на краю распада, – добавим мы от себя.

К 1867 году Леонтьев уже так окреп в дипломатических тонкостях, что решается в донесении от 4 апреля дать общую оценку политической ситуации того региона, где он работает. «Я не знаю с точностью,

как смотрит императорское правительство на будущность трех стран Фракии (Адрианополь – ее столица. – *М. Ч.*), Болгарии и Македонии, долженствующих, если решатся дела в землях греческих и славянских, остаться, вероятно, еще на некоторое время, в руках турок. Вопрос о дунайской Болгарии проще; но Фракия и Македония как страны смешанные и прилегающие к Константинополю будут неизбежно театром ожесточенной борьбы не только между турками и христианами, но и между греками и славянами. Примиряющей силой, конечно, как и всегда, и здесь должна явиться Россия.

Прямо сказать, большинство фракийского населения, пораженное до сих пор победами 1829 года, с нетерпением ждет нового вступления русских войск в эти равнины, населенные народом, неспособным к восстанию».

Время подтвердило точность предсказания Константина Леонтьева: Македония вплоть до XXI века являлась яблоком раздора на Балканах, когда Россия (СССР) теряла нити управления балканскими процессами.

4

Леонтьеву недостаточно просто любоваться красотой Востока, его людьми, городскими кварталами, мечетями и кладбищами, наезженными каменистыми дорогами. Ему не хочется ждать приключений, как лермонтовскому Печорину, ему подавай поэзию Турции разом и в полном блеске, и хотя он имел трезвую голову, но человеком был увлекающимся и к тому же транжирой, по-русски говоря. Он верен себе, говоря, «что эстетическое мнение зависит от воображения, и на него влияют все побочные представления, которые возбуждаются в нас каким-нибудь предметом и состоят с ним в тесной связи».

Леонтьев готов для поддержания полноты эстетического накала платить любые деньги за эти «предметы». Он нанимал пехлеванов, барабанщиков, танцовщиц, чтобы они боролись, били в тамтамы, танцевали, грациозно перебирая и потряхивая мышцами живота, а он,

как восточный падишах, возлежал на турецком ковре под навесом и вскрикивал при виде удачного борцовского приема. Что ж поделать, за воспоминания и развитие воображения приходится платить деньгами, здоровьем, временем. Разве же они того не стоят? И верно, и резко замечал близкий друг и сослуживец Леонтьева по дипломатическому ведомству К. А. Губастов, что Леонтьев был рабом своих «нестерпимо сложных потребностей».

В очередной раз, рискуя карьерой, он прячет в своем доме беглеца из турецкого войска юного болгарина Велико, «оформляя» его в качестве слуги, хотя, как сам признается, «должности для Велико у меня в доме не было никакой». Приходится лишь удивляться тому искреннему уважению, которым пользовался Леонтьев у турок (обслуживающего персонала), так как выдать его и скомпрометировать в глазах местного начальства, что он укрывает дезертира, не составляло им большого труда. Велико надо кормить и поить, и потому приходится залезать в долги.

Но и это не все. Как он пишет в «Египетском голубе»: «Я дошел наконец до того шаг за шагом, что задумал одно очень худое и постыдное дело». Самокритичность героя романа исключительная, и хотя «Египетский голубь» – это художественное произведение, но в нем до прозрачности, словно через вымытое стекло, ясно виден сам Леонтьев. В чем же состояло это «худое» дело? Ему понравилась молодая болгарская девушка лет пятнадцати, которую он хотел «деньгами, подарками и ласками» привязать к себе, обеспечить ее и жить с ней в любовной связи, «как живут многие и долго». И герой, а значит, Леонтьев, сетует, что воспитание его в ту пору не было «действительно христианским».

«Предметы», однако, стоили денег и немалых. На «помощь» приходит «добрый негоциант» и ростовщик еврей Соломон Нардеа. Брать в долг легко – отдавать трудно. «Дружеские» взаимоотношения Леонтьева с адрианопольским кредитором протянулись до 1878 года. Умение делать долги и не чувствовать их тягот – это свойство натур, до конца не изученных. Трудно отнести это свойство к благому побудительному мотиву, толкающему к решительным и творческим взлетам,

во время которых создаются шедевры поэтические или прозаические. И леонтьевский роман «В своем краю», и роман Достоевского «Игрок», написанные второпях и воспринимаемые как погашение займа, к шедеврам отнести трудно.

Невосприимчивость к долговым оковам счастливой особенностью тоже не назовешь. Загадка, но не для всех. Каждый из нас знает таких людей, которые, по откровенному признанию Леонтьева, крутятся «на одном и том же месте: у одного займу – другому в срок отдаю». Эти постоянные долги – своеобразная метка и испытание Божье. Сумеет ли, не замечая их, воспарить должник над ними и полностью проявить свои способности ума и творческого вдохновения. Заранее скажем – Леонтьев сумел, но каких трудов и переживаний ему это стоило – одному Богу и известно в полной мере.

Глава 3
«Исповедь мужа»

Не бойся философии, мой друг, она невидимая основа жизни.

К. Н. Леонтьев. Исповедь мужа

1

В Турции проживало много крымских татар, с одним из них Леонтьев, кстати, отправляется из Константинополя в Адрианополь, о чем пишет в воспоминаниях о Фракии. Но не только татары порой возвращают его к мыслям о Крыме, к юношеским мечтам обосноваться на берегу теплого моря. Мест, похожих на крымские, вблизи Константинополя достаточно. Здесь, в Константинополе, в те четыре месяца неопределенности после случая с Дерше Леонтьев знакомится с некой Катериной Дмитриевной Тимофеевой, прообразом которой стала Маша Антониади

в романе «Египетский голубь». Это знакомство пробудило множество романтических мечтаний, что грезились в Крыму, и заставило его сесть за письменный стол. В результате появилась повесть «Исповедь мужа», законченная уже в Адрианополе.

Леонтьев вспомнил, как он на южном берегу Крыма пленился в 1857 году уютом замечательного уголка, неподалеку от Байдарских ворот, с названием Ай-Бурун. Тогда Леонтьев мечтает продать свое Кудиново и переехать сюда на постоянное жительство. Леонтьев представлял, как привезет сюда свою жену, красавицу гречанку, и матушку свою, как будет гулять с ними по берегу переменчивого в световой своей гамме моря, взбираться в горы, насыщать воображение прекрасными морскими и горными пейзажами, а потом за письменным столом изливать их на бумагу.

Эти мечты Леонтьев осуществляет виртуально в одном из лучших своих произведений – «Ай-Бурун» – второе название повести. В нем явственно слышен голос зрелого человека с полностью сформировавшимися взглядами не только на эстетику, но и на философию жизни, на онтологию. «Не бойся философии, мой друг, она невидимая основа жизни», – вот, пожалуй, главная мысль этой сложной повести. В ней отчетливо виден сам автор. Даже во внешнем оформлении повести он мало что меняет. Имя героини – Лиза, такое же, как у жены автора, реально существует и Ай-Бурун (Святой мыс) – древний Криуметополис – самая южная оконечность полуострова Крым, в соседе Ш. явно читается Шатилов. Леонтьев как бы специально приближает действие повести к реально существующим местам, событиям и людям. Ему так легче писать.

В каждом художественном произведении присутствует создатель его, чаще всего опосредованно, скрытно, неявно, стянутый паутиной разных чувств и переживаний. Леонтьев специально выпячивает авторскую принадлежность к таким утверждениям, как: «Общества здесь нет – и, слава Богу! Я не люблю общества, на что оно мне? Успехи? Они у меня были; но жизнь так создана, что в минуту, когда жаждешь

успеха, он не приходит, а пришел – его почти не чувствуешь». Не правда ли, знакомая и точно выраженная особенность авторских сомнений и мучений. Таков, например, Джек Лондон и его автобиографический герой Мартин Иден, буквально уходящий от надоевшего ему общества в морскую пучину.

Идеология духовного и творческого одиночества в полной своей привлекательности (для Леонтьева) воплотилась в повести «Исповедь мужа». Некий небедный человек живет в своем имении на мысе Ай-Бурун Южного берега Крыма, находя несказанное удовольствие в созерцательном мировоззрении. «Почему мы думаем о нравственных предметах с такой самоуверенностью? Почему здравый смысл в этом деле здрав, а не повальная ошибка?», – независимая точка зрения, что и говорить. Она в дальнейших философских рассуждениях часто помогала Леонтьеву судить о роли либерализма в судьбах России, об историческом процессе с его тремя стадиями развития, о болгарах и греках в их религиозном споре.

Леонтьев впомнил слова Ивана Сергеевича Аксакова, сказанные им о хозяине Тармака: «Славный человек Шатилов и не пошло проводит свое время, очень много читает и занимается, преимущественно естественной историей». И потому наделяет своего героя некоторыми чертами Иосифа Шатилова, подчеркивая не пошлый образ жизни героя. Живут же папуасы на островах Новой Гвинеи и не стремятся понять ни нас, европейцев с высоким уровнем технического прогресса, ни себя в так называемой отсталости. Живут себе под ясным голубым небом, сливающимся на горизонте с зеленоватой водой океана, в котором видимо-невидимо рыбы и другой бесплатной, но пока еще плавающей снеди. Не видят папуасы, да и не желают видеть в своем способе существования никакой ущербности, какую приписывают им «цивилизованные» люди невольно или вольно, и, может быть, даже жалеют их в своем самомнении. И не пошла и не лицемерна их жизнь без общества. С дротиком или бумерангом в руках, в полном слиянии с природой перед кем лицемерить? Перед могучим океаном?

Он добр, этот герой и прототип Леонтьева, живущий в таких комфортных условиях, но не от размера имущественного состояния зависит степень этого чувства. Широта души имеет здесь главенствующее значение: «А ведь в доброту нельзя не верить: она единственная вещь несомненной цены». Таково нравственное кредо героя, и нельзя ни на йоту усомниться, что таков и сам Леонтьев. Герой привечает в имении бедную двоюродную сестру с дочерью. Спустя некоторое время сестра умирает. Герой романа пытается выдать племянницу замуж, но достойного жениха, по его мнению, в округе нет. И, грубо говоря, чтобы она не попала в недостойные руки, сам женится на ней, давая себе слово, что любовь его будет платонической, и держит свое слово до конца дней своих. «А я хочу, чтобы все у меня в доме друг друга любили», – размышляет герой, и это первое правило красоты жизни по Константину Леонтьеву.

И при этом Леонтьев не удерживается от менторской назидательности, заявляя от лица героя, конечно:

«Прекрасное бывает трех главных видов: красота живописная, пластическая, красота драматическая, или действия, красота чувств, или музыкальная». И при этом добавляет, что одним «из главных моментов красоты – сословное неравенство. Будь они (неудобства. – *М. Ч.*) равны друг другу – дело утратило бы полцены».

И вот среди красоты природы: гор и моря, садов и лесов, красоты лиц и добрых отношений – начинается война. «Вдали все слышен страшный гул с небольшими роздыхами. Недавно штурм отбит от Малахова кургана. Отличился один генерал Хрулев, о котором я прежде не слыхал. Дай Бог нам побольше военных дарований!» В этой фразе некоторая тоска, искреннее желание, чтобы Россия блистала во всех сферах общественной, военной и политической жизни.

В повести впервые намечено легкими штрихами негативное отношение к европейскому прогрессу. «Если, от чего Боже сохрани, Крым возьмут весь и отдадут Турции или – еще хуже – сами союзники завладеют им? Прощай тогда горный рай! Французы и англичане заведут здесь железные дороги и фабрики, от пароходов не будет отбоя; будут

топтать в грязь все русское…». Вот этого не может перенести патриотичная душа героя, а, значит, и Леонтьева.

Вообще эта повесть – первое в русской литературе произведение о так называемой свободной любви. Нет, не о той, что грезили декаденты начала XX века. Здесь смысл и содержание «свободы» гораздо **нравственнее и выше**. Пожилой герой отпускает платонически любимую, изящную жену с прекрасным внешне молодым человеком на его родину – Грецию. Герой просит жену только об одном, чтобы та берегла себя для него, ибо чувствует (почти знает наверняка), что плотская любовь менее сильна, чем платоническая, и что она уйдет от любовника.

И жена героя действительно уходит от любовника, но погибает в кораблекрушении, возвращаясь к своему пожилому мужу. Не выдержав одиночества после гибели любимой, герой кончает с собой, потому что «…ни ум, ни доброта, ни нежность не нужны для любви. Нужна любовь… Нужен сам человек, как воздух, как кусок хлеба…», – это строки из другого романа Леонтьева «Подлипки», и они лучше всего определяют суть решения героя.

Этот печальный конец завершает историю неугасимой страсти пожилого одинокого человека, страсти, перерастающей в нежную, жертвенную любовь, без которой жизнь становится не нужной вещью. «Она была прекрасна и она жила. Она не упала, и она наслаждалась. Не таковы ли две великие и редко совместимые задачи жизни?» Что сии слова означают? Пасть душою – это и предать человека, и потерять совесть, отдать, так сказать, душу дьяволу с его «остановись мгновение – ты прекрасно». Оставаться человеком и уметь ценить прекрасное, то есть наслаждаться – это и есть для Леонтьева той поры главная цель жизни. Однако за все в жизни, в том числе и наслаждения, приходится платить, не в буквальном, конечно, смысле, но платить… последующим раскаянием и даже смертью. Конечно, наслаждение наслаждению рознь, и не каждое из них несет в себе греховные черты, за которые надо раскаиваться. Можно наслаждаться природой, становясь ее неотделимой частью, а не врагом, стремящимся ее покорить своим несовер-

шенным разумом. Есть еще минуты редкого наслаждения перед сном, когда согретый собственным теплом человек, засыпая, видит какие-то неповторимые по яркости цветные картины, а при желании можно восстановить образ Спасителя перед собой. Наслаждение от удачно написанных строк или вовремя и к месту сделанной работы, нужной людям. Да мало ли… Умение это чувствовать и запоминать особой памятью сердца и есть эстетика жизни по Леонтьеву.

2

Опубликована повесть в 1867 году в журнале «Отечественные записки».

Узнав об этом, в том же году Тургенев в письме Павлу Анненкову с ехидцей констатирует: «Леонтьев все еще пишет романы! И даже посылает их для перевода Просперу Мериме».

Действительно, в самом начале 1867 года Константин Леонтьев посылает известному французскому писателю, члену Французской академии Мериме, для оценки свою повесть «Исповедь мужа» в собственном переводе на французский. Мериме – один из первых литераторов мира, высоко оценивший русскую литературу и, особенно, Пушкина. Для чтения произведений русских авторов в подлинниках специально изучил русский язык. Мериме добросовестно отнесся к просьбе русского коллеги, повесть прочитал, и 11 апреля ответил Леонтьеву по существу содержания повести, не скрывая недоумения: «Выведенный же Вами муж, как мне, кажется, не имеет иного побуждения, кроме влечения к состоянию рогоносца, и я его не понимаю… Ни муж, ни жена не заинтересовывают, это две загадки, разрешить которые не возникает желания.

В Вашей повести есть подробности, которые указывают на привычку к наблюдению и талант описания. Мне кажется, подобного рода таланты в России очень ценятся, так как, за исключением Пушкина, все ваши авторы любят пускаться в самые **мелкие подробности** (выделено мной. – *М. Ч.*). Многие из них достигли в этом совершенства…

Я читаю по-русски с большим трудом, но я глубоко восхищаюсь вашим языком (имеется в виду русский язык – *М. Ч.*). Это единственный язык теперь в Европе, который еще годен для поэзии».

Вспомним леонтьевскую критику этих «мелких подробностей», о которых говорит Мериме, в статье о творчестве Гоголя в газете «Голос» в 1863 году, и убедимся, что Леонтьев не одинок в своей критике.

Леонтьев обиделся по-детски, непримиримо и в ответе пытался задеть Мериме, как мальчишка:

«…на свете нет такой критики, которая могла бы меня заставить усомниться (хотя бы на мгновение) в истинности и своевременности идей, которые я предполагаю развивать в своих произведениях, но грубая откровенность Вашей оценки мне очень понравилась. Я люблю откровенность (даже когда она мне кажется ошибочной)…

Я далеко не разделяю большей части из Ваших оценок, но так как я не сомневаюсь, что будущее за мной, то я просмотрел Вашу критику с некоторым любопытством, смешанным с удивлением. Ожидаю с нетерпением Вашего отзыва о моем другом романе («В своем краю» – примечание мое. – *М. Ч.*)».

Этими словами заканчивается довольно-таки нелицеприятное письмо Леонтьева к мэтру французской литературы. На дворе 1867 год, уже произошла та знаменитая стычка на Крите Леонтьева с французским консулом Дерше. Напрашивается закономерный вопрос: зачем посылать свои произведения французу, представителю нации, которая тебе неприятна? Если национальность не играла для Леонтьева в данном случае никакой роли, то зачем так ернически отвечать человеку, который старше тебя на 27 лет?

Естественно, что удивленный Мериме в двух письмах (первое от 7 мая 1867 г.) сообщал Тургеневу о Леонтьеве: «…Некий г-н Леонтьев, приславший мне роман «В своем краю», а также «Исповедь мужа» (все это пришло из Адрианополя). Последний роман сопровождается *двумя* (выделено Мериме. – *М. Ч.*) так называемыми французскими переводами. Герой – некий господин, который живет в Крыму, женат и украшен

рогами. Он весьма огорчен, когда его жена бежит с любовником. Мне это непонятно. Автор пишет, что знаком с вами и вы покровительствовали ему в начале тернистого пути. Я вполне откровенно ответил ему, что не симпатизирую рогоносцам, даже добровольным».

Нашел же Леонтьев кому отдавать свои новаторские произведения на творческий суд!? Видимо, он исходил из общеизвестного факта, что Мериме специалист по русской литературе и ценитель Пушкина, а также русского языка. Главного Леонтьев не учел, что Мериме принадлежит к школе Бальзака, который в романе «Тридцатилетняя женщина» утверждал: «Самый главный и самый решительный миг в жизни женщины именно тот, который сама она считает самым незначительным. Выйдя замуж, она более не принадлежит себе, она властительница и раба домашнего очага. Эмансипировать женщину – значит развратить ее. Допустить чужого к святая святых семьи – не значит ли отдаться на его милость? Но если женщина привлекает его, разве это не проступок или, для большей точности, не начало проступка? Надобно согласиться с этой суровой теорией или же оправдать страсти». Видимо, Леонтьев не читал этого романа Бальзака, влияние которого на французских писателей и на французскую публику было решающим, потому-то Мериме и увидел лишь внешнюю сторону этой, по сути, драмы, что изложена в повести Леонтьева.

Позднее, в 1882 году, Леонтьев так характеризует «Исповедь мужа»: «В высшей степени безнравственное, чувственное, языческое, дьявольское сочинение, тонко-развратное*; ничего христианского в себе не имеющее*. Но смело и хорошо написано; с искренним чувством глубоко развращенного сердца. Если бы я успел приделать к нему эпилог, в котором по крайней мере объяснил бы что-нибудь, осветил вопрос с Церковной точки зрения, в противоположность чистой этике (которую я и *теперь*, при всей искренности моей веры, мало уважаю), то еще было бы сносно. Но я бы просил мою наследницу Марью Владимировну *в этом виде* ее не печатать*: Грех*! И грех великий! Именно *потому,* что написано хорошо и с чувством».

Писалось это своеобразное литературное завещание после перенесенной в начале 1882 года серьезной болезни и в ожидании возможной операции. И в этих сложных обстоятельствах, практически перед лицом Бога Леонтьев не хочет выглядеть безнравственным и наговаривает на себя. Ничего «тонко-развратного» в его сочинении найти нельзя. Ведь его «Исповеди мужа» далеко в смысле разврата до «Утренних диалогов» француза Николаса де Шарьяра, созданных еще в XVI веке.

Конечно, Мериме в силу воспитания «а ля Бальзак» не мог понять главного леонтьевского героя в повести «Исповедь мужа» и его платонической любви к молодой женщине. И из этой переписки, может быть, не столь уж пустяковой, но и не судьбоносной, Леонтьев сделал логический вывод в стиле индукции Милля: законы во Франции либеральны, а отношения в семье между женой и мужем и в обществе среди людей хуже драконовских. Это наблюдение впоследствии станет определяющим в чеканных рекомендациях об устройстве России: «Законы, принципы власти должны быть строже, люди должны стараться быть лично добрее; одно уравновесит другое».

Во втором письме к Тургеневу от 16 июля Мериме, наряду с новостями, сообщает ему следующее: «Г-н Леонтьев, о котором, кажется, я вам писал, пишет мне из Адрианополя и благодарит за критику, хотя и не принимает ее, ибо говорит, что “будущее за ним”. Его неколебимая уверенность в собственных талантах показалась мне чисто французской».

Разговор о гипертрофированном честолюбии писателей и их патологической обидчивости давно стал в истории литературы общим местом. С точки зрения психологии очень интересным представляется ответ на вопрос: что первично у таких людей? Осознание самого факта умения занимательно писать как доказательство своей исключительности, которым (умением) непременно надо гордиться, или наследственно заложенное честолюбие, толкающее на творческое самовыражение, в данном случае писательство? Истина, как обычно,

кроется где-то посередине. Но есть, наверное, и такое состояние, как искусственно раздутое честолюбие, с которым автор носится по жизни, как с писаной торбой, всюду предъявляя ее как доказательство своих талантов, козыряя каждым пустяковым успехом, каждым авансом как непревзойденным достижением.

Думается, что весь имеющийся арсенал письменных свидетельств с непреложной очевидностью говорит о Леонтьеве, как человеке с врожденным чувством (и немалым), усиленным ранним признанием Тургенева и другими известными российскими литераторами. Леонтьев, кстати, этого не скрывал и сам. Вот, что он пишет Страхову в 1870 году: «В самом деле, было бы странно, если бы я не достиг хоть не славы, а той известности, которой меня считали достойным все – и Тургенев, и Катков, и Дудышкин, и Краевский, и Феоктистов, и многие московские и петербургские писатели и ученые тогда, когда еще мне было 21–23 года, и считали не только на словах, но и в письмах ко мне, которые у меня целы».

В самом факте, как хранение писем от коллег по творческой мастерской, нет ничего удивительного – это естественная писательская привычка, но хвалиться признаниями прошлого по меньшей мере странно. Редко кто из знакомых и уважающих автора по-человечески даже в самой малой степени отважится говорить нечто плохое и обидное ему в лицо, тем более писать об этом. Гордиться в сорок лет тем, что тебе прочили славу в 20 лет, несколько по-детски, по известной хвалебной мальчишеской привычке спорить о том, чей отец мудрее и главнее. Сам будь таким! Зачем говорить о славном прошлом, если есть шансы отличиться в настоящем?

Вот это в Леонтьеве, с его-то умом и тактом, кажется, непонятным и попросту необъяснимым. Наверное, в нем говорило отчаяние, вызванное «умственным затворничеством». В последующем своем стремлении к Богу, вере и смирению Леонтьев избавится и от завышенной самооценки и жажды известности, которые справедливо стал считать проявлением гордыни, то есть грехом.

* * *

В Адрианополе Леонтьев делает первые пробы в политической публицистике. Осенью 1865 года он посылает в любимую им аксаковскую газету «День» две статьи: «Раскол Пантелеймона во Фракии» и «Записки о Кандии», но газету в это время закрывают решением государя императора, а рукописи Леонтьева пропадают. Через год «Записки о Кандии» в другой редакции печатает «Русский вестник» Михаила Каткова, ставшего близким Леонтьеву по консервативным взглядам.

В то время, когда консул Золотарев находился на рабочем месте, отгуляв отпуска – очередной и связанный с женитьбой, – количество работы у Леонтьева заметно уменьшалось. Пользуясь этим, он горячо приступает к написанию исторической эпопеи «Река времен», которая планировалась из шести романов, охватывающих период с 1812 по 1865 год. Стержнем романов должна была стать романизированная история его семьи. Леонтьев хотел использовать дневники матери, бабушки по материнской линии, воспоминания дядьев, а также другие, в том числе и официальные документы.

Глава 4
Тульча

Для того чтобы действовать успешно, надо знать…

К. Н. Леонтьев

1

Более двух с половиной лет прослужил Леонтьев в Адрианополе (1864–1867). В конце 1866 года ему дают долгожданный отпуск, но Леонтьев отнюдь не скучает по России, а стремится глубже познать Турцию и

проводит четырехмесячный отпуск в Константинополе. Здесь он хлопочет о более достойном для себя месте и знакомится с молодым сотрудником посольства Константином Аркадьевичем Губастовым (1845–1913), и тот станет Леонтьеву верным другом до конца дней, несмотря на существенную разницу в годах.

Этому сближению в большой степени содействовало обаяние Леонтьева. Дар рассказчика он умело совмещал с некоторой толикой менторства, понимая, что молодому другу, только что вступившему на самостоятельный путь, необходимы знания, как служебные, так и жизненно-бытовые. Думается, что Губастов слушал Леонтьева, что называется, раскрыв рот. Знакомство с Тургеневым, литературный салон Евгении Тур, его посетители, Крымская война, Петербург, женитьба, Адрианополь – у Леонтьева было о чем рассказать.

Благодарный слушатель чрезвычайно возбуждает рассказчика своим вниманием. В целях разносторонности образования молодого друга Леонтьев предлагает ему заглянуть «из любопытства» в один из константинопольских публичных домов. Там они знакомятся с юной (16 лет) молдованкой Линой, «полудиким дитя», как ее позднее опишет Леонтьев в романе «Генерал Матвеев». Сначала друзья хотят похитить Лину, мечтающую вырваться из борделя, но понимают, что это противозаконно, и выкупают ее за 30 лир во время очередного приезда Леонтьева в Константинополь летом 1867 года по пути на новое место службы.

После отпуска Леонтьев в апреле 1867 года возвращается в Адрианополь, где получает предписание Игнатьева от 19 мая за № 318 о назначении вице-консулом в Тульчу. В конце июня он пишет последнее донесение из Адрианополя, а уже 1 августа – первое из Тульчи.

Тульча (ныне румынский город Тулча) – придунайский Вавилон – турки, татары, цыгане, молдаване, черкесы, русские, греки, болгары, евреи, немцы, поляки. Легче назвать тех, кого тут нет! И потому это очень сложный участок работы, требующий навыков и умения лавирования в сложных межнациональных отношениях. Самостоятельный

пост тешит самолюбие Леонтьева, радует и повышение зарплаты до 3300 рублей серебром в год.

Поначалу городок не понравился Леонтьеву тем, что напоминал захолустное местечко на юге России, но потом близость к России стала определяющей в его отношении к Тульче. «…В Тульче я был как будто дома, а в Измаиле еще более. В турецкой Тульче я видел Русь мужицкую, свободную какую-то; Русь пьяную, очень пьяную, положим, но независимо бытовую, самое себя без всякой помощи охраняющую». Измаил же, где он часто бывал, навещая своего коллегу по работе Павла Степановича Романенко – «агента» Министерства иностранных дел, Леонтьев считал «дворянским, правильно православным, чиновничьим» и восклицал при этом: «Но я не знаю, которую из них я больше любил!.. Тульчинская, бытовая Русь, свободно и с мужицкою небрежностью разбросавшая свои хатки туда и сюда по горе, над рекою, была новее для меня, любопытнее; разлинованная по общегубернскому плану Россия Измаила была ближе мне, знакомее той…» У Павла Степановича он впервые читает «Войну и мир» Льва Толстого и восхищается романом так, что потом перечитывает его шесть раз.

Из Тульчи до России рукой подать. И сам воздух, приносимый северо-восточными ветрами с родины, был поистине сладким и приятным «дымом отечества». Уже через 12 дней после приезда он пишет Губастову: «Я здесь точно русский помещик. Сижу с утра в чистом белье, в брусском бурнусе*, которым обязан Вам, усы подкручены, лицо, как у Павла Петровича Кирсанова («Отцы и дети»), вымыто душистым снадобьем, туфли новые, комната простая, но хорошая, кухарка русская, труд, так сказать, на поприще отчизны… Все у меня есть… и роман пишу…»

Роман, о котором говорит Леонтьев, это или «В дороге» или «Последнее звено» – части эпопеи «Река времен».

* Брусский бурнус – белый арабский плащ. Брусса – резиденция турецких султанов на побережье Мраморного моря.

2

Полновесной характеристикой работы Леонтьева в Тульче и о его жизненных намерениях может послужить отрывок из письма Губастову от 23 августа 1867 года. «Я пишу утром и ночью. По службе тоже много занимаюсь. Время есть на все. И я желаю одно – свить навек мое гнездо в Тульче. Я Вам объясню почему. Где жить? В России вообще – для сердца, для привычек хорошо, но нет той живой политической деятельности. За границей – в Европе, спаси Боже, тошно подумать. В Петербурге хорошо для литературы, но нездорово, дорого, буржуазно, прозаично. В Москве – поэтичнее, но все же нет той службы, что здесь. В нашем Кудинове – здорово, есть поэзия, нет доходов и службы. Внутри Турции? Нет, другой раз калачом не заманишь. Лучше вице-консулом здесь останусь, если Тульчу не захотят повысить в консульство. Здесь есть и движение, и покой, и восток, и запад, и север, и юг, встречи беспрестанные на дунайских пароходах, можно устроиться помещиком, как в деревне, здесь и Россия, и Молдавия, и Турция, и Австрия, и простор деревенский, и вместе с тем как бы в центре Европы! Прелесть!».

В своих служебных донесениях Леонтьев особенно много внимания уделяет болгарскому вопросу и собственно болгарам, которых турки рассматривали как разбойников и бандитов, а не сторонников и борцов за освобождение от своего ига. Потому-то болгары всяческими способами преследовались, унижались, их сажали в тюрьмы по первому навету, чинили над ними жестокие расправы. Из донесений видно, что Леонтьев сочувственно относился к болгарам, стремился помочь, встречался с людьми, помогающими болгарам, но одновременно он резко осуждает действительных преступников из числа болгар, чинивших разбои и грабежи.

С присущей ему любознательностью Леонтьев внимательно изучает разные стороны религиозного и экономического быта населения Тульчи и округа. Особенно его поэтическое воображение поразили рус-

ские старообрядцы, коих разновидностей на Дунае было множество: поповцы, беспоповцы, молокане, поморы. Взаимоотношения адептов тех или иных сект между собой являли образцы сплоченности, взаимовыручки и высокой морали, редко наблюдаемые в ортодоксальном православии. Так, желающим открыть свое дело общество помогало деньгами и связями, старообрядцы не пили вина, не курили, жена и муж обращались друг к другу исключительно на «Вы». Леонтьев писал о них: «Придунайские раскольники имеют все качества чистых, истинных Великороссов, качества, которые, может быть, драгоценны не для нас одних, но в будущем и для всего человечества». Наблюдения над старообрядцами послужили для Леонтьева основой для написания первой политической статьи «Грамотность и народность», которую он вчерне закончил в Тульче.

Русское вице-консульство в Тульче было образовано в основном для наблюдения за действиями польских эмигрантов, которым турки свили здесь гнездо как потенциальной силе в будущей войне против России. Многие из поляков служили в турецких войсках, а дворяне даже возглавляли отдельные польские полки, из них надо отметить графа Доливо-Ландцковского (Мурад-бей), Чайковского (Садык-паша). До службы Леонтьева в Тульче именно здесь был сформирован из поляков отряд, планировавший перейти русскую границу и бесчинствовать на российской территории. Потому-то надзор за ними был исключителен: в посольствах были списки всех участников польского восстания 1863 года, о появлении которых на Дунае требовалось сообщать в МИД России.

Не менее характерным и показательным примером будничной работы в Тульче будет рассказ о несколько анекдотичной, но очень показательной истории, связанной с поляком Домбровским, бывшим участником польского восстания. Как-то Леонтьеву доложили, что к нему просится на прием некий бедный молодой человек, то ли русский, то ли поляк. Осторожный Леонтьев не велел сразу впускать его к себе, а чтобы тот из канцелярии написал записку: кто он, зачем пришел и

откуда. После получения данных Леонтьев принял бывшего киевского студента, захотевшего сообщить важную новость. «Новость» этого несколько тронутого разумом человека состояла в том, что его должны осудить на смерть или каторгу из-за осознания вреда, нанесенного России своим участием в восстании. Для явления в суд он просил паспорт для проезда в Россию.

«Мне очень трудно было не улыбаться, но я не улыбался, не желая без нужды оскорблять несчастного с виду человека». Леонтьев логично посоветовал ему сдаться на границе русским, а там уж его препроводят куда нужно и примут решение о степени его виновности. Незваный гость не соглашался и обвинил Леонтьева, что тот нарушает свой консульский долг. Леонтьеву надоели подобные несправедливые упреки, и он вызвал охрану, чтобы выпроводить Домбровского из кабинета.

Через несколько дней пришлось Леонтьеву идти «в гости поздним и очень темным вечером по улице отдаленной, темной и безлюдной». Каваса (турецкий жандарм, охранник) он с собою не взял, провожал его слуга с ручным фонариком. Как замечает Леонтьев, «без фонаря ходить ночью по турецким городам и запрещено, и неудобно, а для консула и крайне неприлично».

И вдруг чей-то голос из темноты стал оскорблять его, называя липованом (старовером), русской свиньей, подлецом, немоляком (еще одно прозвище староверов-молокан). Леонтьев ничуть не испугался и даже не оглядывался, возлагая надежды не только на крепкую суковатую палку, верность которой он недавно испытал на «одном огромном малороссе», проявив смелость и находчивость. Наконец показался ярко освещенный кабак, перед ним незнакомец перегнал Леонтьева и с очередной порцией ругательств на языке скрылся за его дверью.

Леонтьев решил не спускать этот случай на тормозах, но довести его до предъявления каких-либо нудных и «скучных» дипломатических нот не хотел. Это не соответствовало его характеру, и он, войдя в кабак, узнал в незнакомце Домбровского. Завсегдатаи кабака, до того шумно и весело говорящие, враз замолкли и уставились на консула, некоторые

даже привстали, чтобы лучше видеть торжество или позор русского чиновника. Решительность момента отлично понимал Леонтьев: что ж, если русские покорили вооруженных поляков, то здесь какому-то неопрятному эмигранту спуску тем более нельзя давать.

Леонтьев строго и внушительно пообещал назавтра сообщить об этом инциденте паше. Наутро Леонтьев пошел к Сулейман-паше и со смехом рассказал о ночном происшествии, не упоминая о первом визите поляка, пожалев его. Сулейман-паша, с которым у Леонтьева сложились хорошие отношения, пришел в ярость (поляки-эмигранты доставляли турецким губернаторам много хлопот), вызвал полицейского офицера и приказал разыскать «ляха»…

Офицер выспросил у Леонтьева некоторые характерные особенности нарушителя порядка и пообещал быстро найти поляка. И действительно ждать пришлось недолго.

Сулейман-паша, обычно вежливый и тонкий, гневно обрушился на Домбровского за то, что тот посмел оскорблять московского консула. Поляк стал смело, говоря по-турецки, отпираться, что это, мол, не я и личность не моя.

Леонтьев по-русски, чтобы турки не поняли, уличил Домбровский во лжи и забвении религиозных начал, прибавив: «Политическому эмигранту такое ребячество нейдет…».

Польский эмигрант потупился и смолчал. Леонтьев не зря обратился к нарушителю с такой, казалось бы по-детски увещевательной речью. Он прекрасно знал, что поляки в абсолютном большинстве своем ревностные католики. Главное правило для верующего – соблюдение Божьих заповедей, одной из главных является честный, совестливый ответ за свои действия и стыд за их неправедность. Глубокое религиозное чувство не позволяет делать любую работу плохо, не позволяет врать, отказывать в помощи просителю...

Паша повелел отвести поляка в тюрьму и огласил срок: сидеть тому до тех пор, пока консул не простит его. Пусть даже пройдет месяц или два и даже больше.

Леонтьев отлично понимал, что это приказание – знак особого внимания, «исключительное желание угодить мне, возвысить меня в глазах населения сравнительно с другими консулами». Никто не слышал, замечал Леонтьев в своих воспоминаниях, чтобы нечто подобное оказывал Сулейман-паша австрийскому или французским представителям в Тульче. Ведь в других местах «медлительно спешат» турецкие власти в случаях более серьезных оскорблений. Или они не могут отыскать виновного человека и сожалеют об этом приторно, сочиняя бесконечные ноты. Леонтьев понимал, что это результат его дальновидной политики, его «обходов вокруг дышла», или, как он говорил, – «не перешагивания через ноги Сулейман-паши». Леонтьевская рассудительная уступчивость – выработанный им прием взаимоотношений с местным чиновничеством – давала хорошие результаты. Принцип уступчивости в малом и твердая требовательность в большом – основа, понятная всем, особенно дипломатам.

Однако вскоре Леонтьев удивился еще больше. Неожиданно у Домбровского нашлись защитники. Оказалось, что поляк – хороший маляр, и Леонтьев приятно был поражен тем, что у Домбровского есть способности на «простое» дело. «Золотые» же руки мастера высоко ценятся в народе, гораздо выше, чем ораторское или актерское искусство. За поляка стали просить и молоканин (старообрядец), и протестантский миссионер на Дунае, у которых не закончена побелка домов. Леонтьев решил уступить «общественному мнению» и послал (сам не пошел – обратите внимание) сказать паше, что он поляка прощает с уговором, чтобы Домбровский пришел к нему в канцелярию и в присутствии служащих и 2-х турецких жандармов извинился перед ним.

Все так и было сделано. Леонтьев отпустил обидчика с Богом.

Он ушел, и больше они никогда не виделись.

Случай, кажется, и мелкий, незначительный, но очень показательный как для характеристики атмосферы, существовавшей в ту пору в турецком приграничье с Россией, так и в обрисовке «мелочей», в которых, как в капле воды, отражается деловая и бытовая составляющие жизни

консула. Да, жизнь порой непредсказуема и полна таких вот случаев, выпутываясь из которых, понимаешь, что залоги ее течения чаще всего проектируются своими руками и головой.

И эти случаи все более и более укрепляют Леонтьева в несокрушимой силе религиозного воспитания. Да, пусть занятому службой или делами человеку некогда сходить в храм, но долг, завещанный родителями и верой, должен исполняться им трепетно. Есть ли желание, нет ли, но выслушать и помочь другому человеку, испытывающему нужду или временные затруднения, есть первейшая обязанность без ожидания благодарности. Да и помощь бывает различной, за которую каждый благодарит так, как он умеет, точнее, научен.

Консул Константин Леонтьев четко разделял личные чувства и государственные, говоря: «Будем строги в политике; будем, пожалуй, жестоки и беспощадны в “государственных” действиях; но в “личных” суждениях наших не будем исключительны. Суровость политических действий есть суть могущества и сила национальной воли; узкая строгость личных суждений есть слабость ума и бедность жизненной фантазии».

Эта точка зрения, а точнее, особенность характера Константина Леонтьева нашла художественное воплощение в романе «Египетский голубь». В Адрианополе поздним вечером четверо: русский консул, английский консул, Ладнев (Леонтьев) и болгарский драгоман – шли по плохо освещенной улице в сопровождении каваса (турецкого жандарма). Вдруг раздались громкие крики «пожар!», из темноты на них надвинулись турецкие пожарные с трубой в руках. Обычно все сторонились, чтобы пропустить людей, выполняющих срочное, общее дело. Русский же консул, нормальный, умный и дельный человек, закричал еще громче пожарных:

– Куда вы, ослы? Стой… не видите вы, кто перед вами!.. Негодяи! Али! Вынь ятаган, – руби их!

Пожарные остановились, расступились, прижались к домам молча, и четыре дипломата прошли.

Леонтьев заключает: «Я был возмущен этим поступком консула, этой ненужной несправедливостью, этим бесполезным эффектом». И в самом деле, зачем кичиться «национальным самодурством» перед людьми другого государства, простыми и незнатными, занятыми нужным и неотложным делом? Зачем, если это не касается выполнения прямых твоих обязанностей?

В неприятии такого поведения видна очень симпатичная черта характера Леонтьева!

В этих противоречиях между личным отношением и общественным служением делу есть и другая, обратная сторона. Нельзя при налаживании добрых личных отношений с иностранцами ради того, чтобы тебя ласково обнимали и называли «друг» и «брат», «парнер», забывать о государственных интересах страны, при соблюдении которых нужно быть «беспощадным и жестоким», как советует Леонтьев. Иначе произойдет то, что подмечено русской поговоркой «мягко стелет, да жестко спать».

В письме графу Игнатьеву он пишет в октябре 1869 года: «Популярность моя в Тульче происходила из других источников, чем популярность в Крите; она происходила от умения понравиться раскольникам и вести с ними дела…». И от себя можно добавить: «и от знания жизни».

3

В Тульче Леонтьев пишет очерки «С Дуная», которые публикует в «Одесском вестнике», так как с Одессой было налажено регулярное пароходное сообщение. Вот как о них говорил сам Леонтьев: «В одной (корреспонденции. – *М. Ч.)* или двух я писал по поводу Критских дел о *представлениях театральных* в Галаце; в одной еще о разговоре на палубе русского парохода “Таврида”; *разговор шел о Парижской выставке* 1867 года; молодой человек *с припомаженными усами* – это вроде меня самого. Еще были, наверное, две корреспонденции: одна *о празднике, данном в Тульче греческим консулом Николаидесом и мною по поводу бракосочетания короля Георгия и Великой Княгини Ольги*

Константиновны… Другая корреспонденция была написана *против намерения*, которое имело Общество Пароходства и Торговли *уничтожить рейсы* парохода “Тавриды” по Дунаю до Галаца. Все они не подписаны моим именем, потому что я служил; но все были у Игнатьева на предварительном просмотре».

Подписывал свои корреспонденции Леонтьев так: Иван Руссопетов, Ив. Руссопетов, И. Руссопетов. Имена, которыми подписывался Леонтьев, пустое. Главное в этих очерках – активная жизненная позиция, неравнодушие к происходящему вокруг. Разговор же о Всемирной промышленной выставке в Париже послужил еще одной отправной точкой к написанию статьи «Грамотность и народность». Эту статью в июне 1868 года Леонтьев направляет в журнал «Славянская заря», издававшийся в Вене на русском языке. Кроме этой статьи, был направлен очерк о «женщине в России», – сообщает Леонтьев Губастову. Однако Леонтьева ждет неприятное известие: журнал закрывают по неизвестной причине. Узнав об этом, он сетует 18 августа в письме Губастову: «Пока я не принимал участия в “Заре”, она держалась, как только я послал статью, “Зарю” запретили… Сколько работы, сколько чувств потрачено даром!»

Эти злоключения с опубликованием своих статей в периодической печати для Леонтьева только-только начинаются. Всех их ждет тяжелейшая судьба и долголетние мытарства, уносящие у слабого здоровьем автора физические силы, не говоря о нервотрепке.

Пока же работа в Тульче для него – самый плодотворный и веселый период. «Отчего мне так было весело в Тульче? – спрашивает сам себя Леонтьев в воспоминаниях (1883) и отвечает: все было хорошо тогда: все весело!.. Я был тогда здоров и жаждал жизни, движения, дела; искал и поэзии, и практической борьбы… И все это было; все – и поэзия, и практическая борьба!.. О жизни сердца моего я здесь молчу… И оно жило тогда; жило так, как любит жить человеческое сердце: и смело, и томительно, и бодро, и задумчиво, и тихо, и мечтательно…».

В Тульче, как мы видим, Леонтьев живет, ни в чем себе не отказывая, в том числе и в личных утехах. К осени 1867 года Губастов отправ-

ляет освобожденную из борделя Лину в Тульчу. В «Хронологии моей жизни» за 1867 год имя Лины встречается два раза. Здесь, кроме нее, вокруг Леонтьева вьются и другие хорошенькие женщины: Розалия – дочь хозяина кофейни в Тульче, мадам Эпштейн – жена доктора. Да и как не прижаться лишний раз к этому странному русскому, если он осыпает дорогими подарками за каждую близость.

Однако судьба Леонтьева – это некая шахматная доска, на которой белые клетки непременно соседствуют с черными. В 1867 году его производят в надворные советники, а на следующий год он пожалован орденом Святого Станислава 2-ой степени.

Была ложка дегтя и в счастливой Тульче. Заболела жена. «Вот уже три месяца муза моя умолкла, – признается он из Тульчи Губастову. – Приезд Лизы, мелкие заботы, к тому же она больна серьезно, и если корень зла не уничтожится, то болезнь ее может перейти в помешательство. Можете судить, легко ли мне в это время». И тут же оптимистически добавляет: «Не думайте, чтобы моя личная жизнь была бесцветна. К сожалению, она очень бурна».

Трудно сейчас сказать – рассчитывал ли Леонтьев на Лизу как на будущую свою помощницу в литературных делах или хотя бы как на переписчицу его произведений, так как почерк его был ужасен, а она малограмотна. Возможно, что супруга Леонтьева, по свидетельству Маши, действительно «ничего не умела делать», а только пела песни и не оправдала надежд Леонтьева, потому-то он меняет отношение к Лизе, отсылая ее из Константинополя в Россию в октябре 1866 года. Лишь в апреле 1868 года она возвращается в Тульчу. Судя по всему, Лиза для Леонтьева становится обузой. Факт отсылки молодой жены на полтора года в холодную Россию говорит об охлаждении чувства Леонтьева. И как бы Маша ни отрицала связь помешательства Лизы с изменами Леонтьева, но есть свидетельство Феодосии Петровны о том, что Лиза очень переживала разлуку с мужем. Если ум молодой женщины слаб, то любое, даже малейшее потрясение способствует тоске и печали, которые обычно приводят к болезням.

Мать Леонтьева писала своей внучке о Лизе: «Несколько слов об Елизавете Павловне – она бедная так грустит, что на нее жалко смотреть. Получает ли, не получает ли известия, все равно тоскует и плачет. С такой сильной привязанностью и с таким слабым рассудком того и гляди, что занеможет, или еще хуже, с ума сойдет… Вот примерный супруг! Ну да, поэт! Нельзя иначе; женился поэтически, а поступает философически. Как женился, так беспрестанно отдаляет ее от себя; прикидывает всякому, как будто нечем кормить» (14 июня 1867 г.). Мать осуждает любимого сына, она встает на сторону невестки и, безусловно, права, так как именно ей приходится видеть страдания любящей женщины, и сердце матери разрывается от ее чистых слез тоски и разлуки.

Нет, недаром Бог готовит Леонтьеву потрясения, испытывая которые Леонтьев будет недоуменно спрашивать: «За что?»

Отправка Лизы на родину – это тоже деньги: на дорогу, на жизнь в Петербурге или, точнее, в Кудинове, на пропитание. Свобода, особенно поэтическая, как мы видим, стоит денег, Леонтьев же, истинный аристократ, считает зазорным их считать, как ростовщик Соломон Нардеа. Ведь он отлично знает из истории, что в средневековой Европе (это время – его идеал) аристократы для счета денег нанимали таких вот счетоводов из числа евреев. Теперь ему не хватает уже и 3300 в год. Он обращается к Игнатьеву и просит повышения по службе и о переводе вице-консульства в Тульче в консульство со всеми вытекающими благоприятными последствиями. Игнатьев отделывается пустыми обещаниями, тогда Леонтьев добивается отпуска и поздней осенью 1868 года едет в Петербург в надежде на помощь Стремоухова, а то и Горчакова, благоволившего к его матушке и к нему. Он так торопится, что «забывает» в Тульче жену. Скорее всего, у него нет денег на путешествие вдвоем.

В Петербурге все складывается удачно: Стремоухов обещает к 1 января повышение. Сюда же, на квартиру Владимира, где остановился Константин, приезжает мать, чтобы повидать любимого сына.

Здесь Леонтьев встречается с Н. Н. Страховым, с Василием Кашпиревым, занимающимся в это время регистрацией журнала «Заря», в котором Страхов будет главным редактором. Знакомится с Ольгой Алексеевной Новиковой, ставшей впоследствии постоянным его адресатом, порой советчицей, а по некоторым сведениям и любовницей. Пытается пристроить в «Зарю» свои будущие романы «В дороге» и «Последнее звено» – части эпопеи «Река времен». Читает Павлу Анненкову и Николаю Страхову большие отрывки из этих романов, они одобряют их, но Леонтьев не сходится с Кашпиревым в цене. Леонтьев просил 100 рублей серебром за печатный лист, а Кашпирев давал только 75 рублей, да и то без аванса.

Здесь же он знакомит Николая Страхова с первыми своими общественно-политическими статьями «Грамотность и народность» и «О женщинах», написанными в Тульче. Страхов обещает напечатать статьи и советует кое-что исправить. Леонтьев легко соглашается и берет их на доработку.

В Петербурге он как всегда испытывает нужду в деньгах, и, думая, что наладил со Страховым дружеские отношения, просит через него у Кашпирева в счет будущих публикаций 400 рублей. Просит запиской, но не совсем деликатно: «Мне все недостает денег; выхлопочите-ка мне к пятнице от Кашпирева рублей 400», и это простонародное «ка», видимо, обижает Страхова, одного из близких друзей Ф. Достоевского. Эта неуважительная небрежность принесет Леонтьеву немало неприятностей.

Денег Кашпирев не дает, тогда Леонтьев едет на четыре дня в Москву к Михаилу Никифоровичу Каткову. Тот приветлив с Константином Николаевичем, обещает ему просимую плату в 100 рублей за лист и выделяет 800 рублей аванса. Удачная сделка кружит Леонтьеву голову, и он не оформляет с Катковым надлежащих договорных бумаг, тем более что время поджимало, так как в мистерстве его ждал приказ о новом назначении.

Глава 5
Янина

> Журналисты и публика вообще были до сих пор несправедливы к моим литературным трудам, первые потому, что я не подчиняюсь ни одному из господствующих у нас направлений, вторые потому, что ждут от первых разрешения ценить или нет писателя.
>
> *Леонтьев – Игнатьеву, июнь 1868 года*

1

В Петербурге 7 января 1869 года до Леонтьева доводят приказ о назначении в турецкую Янину (название этого города Южной Албании хорошо известно читателям романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо»). В феврале он выезжает к новому месту работы. Этот типично восточный город на берегу горного озера с непременными минаретами, крепостями и турецкими обычаями очень понравился Леонтьеву, но здешнее общество и консулы других стран – нет. «Я только и жду, когда уеду отсюда», – писал Леонтьев своему тезке Губастову из Янины.

И, видимо, плохое общество подвигло его к интенсивному творчеству, но Леонтьев не продолжает эпопею «Река времен». Восхищенный албанской природой и простыми людьми, он пишет такие прекрасные повести и рассказы, как «Пембе», «Хамид и Маноли», «Паликар Костаки», «Аспазия Ламприди». Эти повести обожал Катков и охотно публиковал их в «Русском вестнике». Прекрасного мнения был о них Лев Толстой, свидетельство которого записал в 1888 году Анатолий Александров при беседе с ним. «Его повести из восточной жизни – прелесть. Я редко что читал с таким удовольствием. Что касается статей, то он в них точно стекла выбивает; но такие выбиватели стекол, как он,

мне нравятся». Да и другие современники считали восточные повести высокохудожественными.

В бытовом плане Леонтьев, как всегда впрочем, устроился хорошо. Вот как описывает обстановку в Янине его племянница Маша, побывавшая там. «Дом наш был трехэтажный; два верхних этажа занимали мы, а в нижнем была канцелярия и жили кавасы (турецкие охранники. – *М. Ч.*); стены наших комнат были чисто выбелены и в некоторых из них вделаны резные деревянные шкапчики; дерево, конечно, не покрытое лаком; такие же резные и восхитительные потолки и двери и окна… Пестрые турецкие диваны, скатерти турецкие на столах… Самые комнаты просторные, высокие с большими окнами; слуги все в белых фустанеллах, кавасы в пестрых куртках с вооружением за поясом…»

Самым дорогим гостем и другом в доме у русского консула, по свидетельству Маши Леонтьевой, был турецкий генерал-губернатор Ахмет Расим Паша. «Любил он и чай наш с самоваром; приезжал всегда к нам по захождению солнца и просиживал за полночь; беседа его была умна и приятна». Что же – прекрасная характеристика для русского консула, умеющего наладить отношения с местной властью. Весь послужной путь Леонтьева отмечен подобным умением: и в Адрианополе, и в Тульче, и в Янине, и в Салониках (Солуни).

Такие официальные представители русского государства за рубежом, как консул Леонтьев, формировали среди местного населения впечатление о России как сильного и справедливого государства, верного защитника православных и своих подданных. Леонтьев в своих донесениях доводит до Игнатьева высказывания Ахмеда-Рассим-Паши: «Русские вообще прекрасные граждане, умеют заботиться о своих выгодах и правах, не теряя уважение к власти и не питая к ней ненависти».

«Служба ему нравилась, – так отмечала племянница Леонтьева, – но при политическом затишье тех годов… мало брала времени и забот». Однако пытливый ум Леонтьева всегда находил для себя работу. Наряду с упомянутыми рассказами Леонтьев приступил к написанию огромного романа «Одиссей Полихрониадес» и, кроме того, стал со-

бирать с помощью местных жителей образцы изделий турецких народных промыслов. Поделки местных умельцев описывались, а порой и фотографировались, а собранный материал обобщался Леонтьевым в огромный отчет, который он послал в департамент торговли и мануфактур МИД России. Этот статистический труд Эпиро-Фессалийского вилайета (округа) был закончен 30 июня 1870 года и оценен официальной благодарностью Азиатского Департамента МИД. Упоминание об этом мелком, казалось бы, эпизоде жизни и творчества Леонтьева говорит об уважении его к народам той страны, в которой ему приходится работать. Даже проявляя внимание к обычаям и образу жизни местного населения, не каждый изучающий их проникался уважением к простому люду. Однако не в привычках Леонтьева снобистское презрение к иноверцам, мысленное, а то и на деле пренебрежение к ним. Его характеру присущ подлинный интерес к любому проявлению эстетики в танцах, в народных поделках, одежде, обычаях, семейных отношениях. Он не только жил на Востоке, но и «мыслил, живя там».

Аналитический склад леонтьевского ума позволил ему придти к такому выводу относительно психологических свойств народов юго-востока Европы: «Насколько греки кажутся суше русских и взятые вместе однообразнее русских, настолько болгары кажутся для человека, пожившего и с ними и с греками, суше и однообразнее греков». На чем он основывался, делая такие выводы? Наблюдения Леонтьева порой очень тонки. Когда входишь, замечал он, в русскую церковь во время праздника, то видишь, что «это праздник мистический, сердечный», когда входишь к грекам – видишь «Праздник народный». Комментарии, как говорится, излишни. Или вот еще: «Девицы (югославянки. – *М. Ч.)* мечтают не о любви, а о браке. Они, подобно германским женщинам Тацита, любят брак, а не мужа». Русские женщины любят, как известно, мужа больше, чем брак, если, конечно, способны любить кого-то и что-то. Еще одна примета сухости югославян, замеченная Леонтьевым – отсутствие у этих народов высокой поэзии. Грусть у русского глубока и естественна, – говорит Леонтьев. Потому-то у русских

есть Кольцов, Пушкин, Лермонтов, уровня которых у греков или болгар нет и никогда не будет. У южных же народов, отмечал Леонтьев, «грусть и грека, и болгарина, и серба очень неглубока. Все они лично нетребовательны от судьбы, от жизни; здоровы, деятельны, терпеливы, бодры». Многие скажут: да это же замечательно. Может быть, может быть… но поэзия… Что важнее для выживания нации: утилитарность или поэтичность? Из этих, из этих наблюдений последует затем у Леонтьева утверждение, что очень впечатлительным русским будет легко перейти из народа-богоносца в народ-богоборец.

2

Как-то раз его и племянницу пригласили на турецкую свадьбу, сопровождавшуюся музыкой так называемых цыган. На самом деле это были турки и греки, может быть, и молдаване, составившие квартет из скрипки, флейты, кларнета и бубна. Одна из танцовщиц – бледная, худенькая девочка лет 15-ти – привлекла всеобщее внимание своей грациозностью и гибкостью, словно у нее не было костей. После свадьбы и гости, и «цыгане» разошлись. Однако эстету Леонтьев эта гуттаперчевая девочка запала в душу.

Наутро он поручил своему воспитаннику и слуге Петраки разыскать ее. Непростым оказалось это дело: лишь через несколько дней поручение было выполнено. С тех пор Леонтьев часто приглашал юную турчанку со своими напарниками. Они играли, а Пембе, так звали турчанку, танцевала перед русским консулом с его помощниками. Расплачиваясь с ними, Леонтьев не жалел денег и не сожалел в дальнейшем о таких расходах на зрелища, возбуждающие поэзию чувств. Скопидомство – не его линия жизни. Он будто ходом своей жизни выполнял заветы Иисуса Христа: «…ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Лук. 18:25).

«Танцуя в нашем доме, Пембе заработала немало денег, – вспоминала позже Маша Леонтьева, – через два года она удачно вышла замуж

за турецкого чиновника, расцвела и счастливо зажила с мужем и детьми и, как говорили, постоянно молилась за дядю». Пембе (что значит – малиновая) послужила прообразом главной героини повести «Пембе» (1869). Один из примечательных героев этой повести – янинский губернатор – черкес Феим-паша, образованный, светский чиновник, посол Турции в ряде стран. Можно с уверенностью предположить, что прототипом Феим-паши стал турецкий губернатор Ахмет-Расим-паша, с которым Леонтьев был дружен в Янине.

Природная наблюдательность и острый ум способствовали успешной карьере дипломата, несмотря на то, что у Леонтьева не было связей с высшими кругами в России. Отец его не был генералом, как, например, у Данилевского, с трудами которого он впервые познакомился в Янине. Леонтьев выписывает в 1869–1870 годах из Петербурга журнал «Заря», в котором ожидает появления своей статьи «Грамотность и народность», и вот судьба. В номерах 5, 6, 8, 9 он находит программный труд Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа», и тот буквально потрясает Леонтьева. Позднее Леонтьев будет числить себя «учеником» Данилевского, а труд его назовет Евангелием. «Ученичество» Леонтьева, как и славянофильсто, не имело характера слепого следования чужим идеям, он как оригинальный мыслитель переделывал (пропускал через сердце) идеи других «на свой салтык».

Здесь, в Янине, он запоем читает А. И. Герцена, его «Былое и думы». И ему очень близки рассуждения Александра Ивановича о западных европейцах. Подобными, может быть, не столь ясными мыслями полна голова и у Леонтьева, теперь они – центры кристаллизации новой теории развития общества и истории. У Герцена он читает: «Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов – все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов, *мещанских*. Они составляют целое, то есть замкнутое, оконченное в себе воззрение на жизнь, со своими преда-

ниями и правилами, с своим добром и злом, с своими приемами и с своей нравственностью *низшего порядка*».

У Леонтьева это отношение выражено более жестко: «О, как мы ненавидим тебя, современная Европа, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное и святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного твоим заразительным дыханием!..»

Под впечатлением прочитанного строй его мыслей приходит в тот порядок, который Леонтьева не меняет до конца дней. Он, этот строй, подводит его к выводам, тут же включенным в патриотическую статью «Грамотность и народность», главным выводом которой станет такой. Без национального своеобразия народа можно стать великим государством, но только с ним история назовет такой народ великой нацией.

3

Даже в своем глухом турецком углу Леонтьеву удается заметить то, что многим в России было недоступно. Крестьянская, земская, судебная реформы, проведенные по европейским лекалам, самым худшим образом повлияли на состояние религии и нравственности народа и, прежде всего, интеллигенции, численность которой возрастала с каждым годом за счет разорившихся дворян. Старая система ценностей претерпевала огромные потрясения. Начитавшись романов Тургенева «Накануне» и «Отцы и дети», учащаяся молодежь видела в науке и просвещении универсальный ключ к решению проблем бытия. Прагматик и нигилист Дмитрий Писарев, подогревая это состояние молодежи, утверждал, что существующие отношения в русском обществе нарушают естественные физиологические потребности человеческого организма, как – есть, пить, наслаждаться и производить детей. Потому они должны быть сломаны и заменены новыми. Какими? Как? Вот, что советует Писарев: «Что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится… бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть». Самый безошибочный по радикальности прием: опереться на низменные качества человека.

И как бы отвечая Дмитрию Писареву, в своей статье Леонтьев говорит о направлении умов тех, кто собирается просвещать народ. Одни стараются укрепить в народе чувство религиозности и нравственности, сделать его более мягким в домашних нравах, более благочинным и порядочным, другие под разными предлогами хотят «всучить простолюдину Бюхнера или революционные книги» и сделать революционерами.

Грибоедовское: «А судьи кто?» для Леонтьева в конце 60-х годов XIX века переросло в: «Кто же вы, учители народа?». Леонтьев задолго до официального начала движения «народничества», когда весной 1873 года тысячи образованных молодых людей отправились в «народ», чтобы учить и просвещать его, чутко уловил направление деятельности революционных демократов. Учить чему? Закреплять самобытную народную культуру или распространять социалистические идеи и готовить крестьянское восстание? Своей статьей «Грамотность и народность» Леонтьев предупреждает русское общество, что, торопясь с просвещением народа, можно дров наломать. Жизнь должна быть своеобразна, – утверждает Леонтьев, – и для цивилизации необходимы начала и наивные, и сознательно созидательные. «Наш безграмотный народ более, чем мы (интеллигенция и аристократия. – *М. Ч.*), хранитель народной физиономии, без которой не может создаться своеобразная цивилизация». И потому «надо дорожить этим своеобразием и не обращаться с ним торопливо, дабы не погубить своей исторической физиономии, не утратить исторических прав на жизнь и духовный перевес над другими».

Кто же его услышал?

В Янине Леонтьев дополняет статью «Грамотность и народность» и уже 21 мая 1869 года пишет Страхову, что «недели через две Вы получите мою статью о “Грамотности”». Слово свое Леонтьев держит и высылает в июне уже две статьи: наряду с «Грамотностью» статью «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве», надеясь, что тот их быстро опубликует. Однако проходят месяц за месяцем, а публикации все нет, как нет. Раздосадованный Леонтьев

26 октября еле сдерживает гнев в письме Страхову, обвиняя его в том, что он даже перед отъездом на отдых в Крым не потрудился отдать статью владельцу журнала «Заря» Кашпиреву, добавляя: «Вы разве забыли, что уже читали ее в Петербурге? Вы забыли, что сказали мне тогда: Прекрасно! Прекрасно!»

И почти в отчаянии восклицает: «Понимаете ли Вы, понимаете ли Вы, понимаете ли Вы, что особенность моего положения вдали от России может привести к двум результатам противоположным: если не будет у меня поддержки, я задохнусь в уединении; а если у меня будет поддержка в России, то никто, кроме меня, не может доставлять драгоценных сведений о Востоке… По-моему, мы не должны даже стоять очень строго за оттенки; мы служим не какой-либо презренной практической партии… мы Предтечи Великого Славянского Будущего; мы слуги учения столь широкого, что оно непременно должно распасться на ветви, но ветви этого учения должны объять всю Россию и потом всех славян… если меня не будут так жестоко, так гнусно томить, как томит меня эта беспутная редакция “Зари”!»

Однако Николаю Страхову безразлична патетика Леонтьева, говорящего о великом славянском будущем, и уж тем более безразличны опасения о творческой изоляции Леонтьева от России.

Такое отчаянное и в то же время наивное послание (дух буржуазного разделения литераторов на «низших» и «высших» уже вселился в русское общество) Маша Леонтьева передала Страхову, вернувшись из Янины в Петербург. Николай Страхов молчит. Проходит еще четыре месяца. Уже в 1870 году (12 марта) Леонтьев с издевкой называет Страхова «добрейшим» и добавляет в письме, что «стал жалеть больше “Зарю”, чем себя… А “Заре” не мешало бы быть посмелее и посочнее».

Племянница Маша в августе 1870 года пытается наедине встретиться с Николаем Страховым и сказать ему все, что о нем думает. Безрезультатно – его нет дома. Оставляет записку, напоминая свой адрес. Страхов так и не встретился с ней, но через три месяца все-таки написал Леонтьеву. В письме объясняет, что долго не печатал статью из-за того, что в на-

чальный период существования журнала как-то не вполне определился его характер, и ему (Страхову) было «страшно за неопределенность и отрывочность Ваших замечаний». Так он охарактеризовал статью Леонтьева. И далее издевательски добавил: «Сколько могу судить, **едва ли** (выделено мной. – *М. Ч.*), Константин Николаевич, Вы когда-нибудь напишите статью достаточно твердую и сложную, чтобы она произвела на читателя впечатление». И советует ему писать повести и рассказы, хотя и о них ранее отзывался как об отрывочных и неясных. В заключение Страхов (он старше Леонтьева на три года) напоминает ему о злополучном «ка»: «Очень хорошо понимаю, Константин Николаевич, как трудно Вам работать одному, вдали от общества и литературы. Но что делать? Зато у Вас многие выгоды – свободно зреет мысль, много предметов для наблюдения. Присядьте-**ка** (выделено мной. – *М. Ч.*)».

Обиделся господин критик и редактор ряда журналов на простонародное «ка», допущенное в его адрес, и свою обиду перенес в личную и литературную плоскость.

4

Первый и главный цензор Леонтьева – посол в Турции Н. П. Игнатьев – статью своего подчиненного одобрил, а он, по словам Леонтьева, «практический человек». Губастов в декабре после опубликования «Грамотности и народности» хвалил статью, «о которой очень много говорят в Петербургском литературном мире. Ф. Берг (Боев) хотел даже писать Вам по поводу этой статьи письмо».

Заметил статью и Ф. М. Достоевский и обиделся. После прочтения первой части, опубликованной в № 11 за 1870 год журнала «Заря», он писал о ней Страхову из Дрездена 2 декабря. Как опытный редактор отметил, что нельзя помещать в одном номере две такие разные статьи, как «Грамотность и народность» Константинова и об Америке Огородникова. Прочитав позднее и вторую часть в 12 номере, Достоевский не заинтересовался злободневностью статьи. Его обидело

замечание Леонтьева о журнале «Время», в бытность им редактируемом. Леонтьев писал: «Но “Время”, хотя имело большой успех, только постепенно уяснило свою задачу и скоро погубило себя одной умно написанной, но бестактно напечатанной статьей». Статью эту написал Страхов, и называлась она «Роковой вопрос» и посвящалась польскому восстанию, за бестактное освещение его журнал закрыли в мае 1863 года. Видимо, Достоевский в душе корил себя за факт закрытия своего детища из-за личного недосмотра, потому-то Леонтьев невольно наступил ему на «любимую мозоль». Достоевский спрашивал в письме Страхову (10 февраля 1870 г.): «Кто же этот наездник, нашедший в “Заре” такое гостеприимство?» – и укорял Страхова за публикацию такой статьи, наносящей вред имени его и тем сотрудникам, которые перешли из «Времени» в «Зарю». Пылая праведным гневом на «ловкого человека» Константинова (не зная, что это Леонтьев), Достоевский пишет: «Эти жалкие бестактные редакторы заставили, однако же, читать свой журнал всю Россию», и далее приводит данные о количестве подписчиков журнала в 1862–1863 годах, добавляя: «Успех журнала был неслыханный... Пусть этот факт и ничтожен для истории русской журналистики, согласен; но ведь и он может понадобиться; ведь понадобился же этот факт г-ну Константинову в подкрепление **какого-то мнения** (выделено мной. – *М. Ч.*)».

Достоевского, находившегося в зените своей славы, ставшего широко известным писателем, членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и литературы, мало интересовали мнения неизвестного ему «наездника», его культурная суть. Однако Достоевский профессионален до мелочей: он единственный, наверное, кто с первого раза заметил ошибку Леонтьева, неверно назвавшего противника Наполеона под Ватерлоо. Им был не Блюхер, а английский герцог Веллингтон. Об этом Достоевский сообщил Страхову, еще раз упрекнув того, что «Заря» не замечает ошибок и не указывает на них автору. Видимо, это внушение запомнилось Страхову, что и дало ему право писать Розанову позднее, что Леонтьев в науке дилетант.

Между тем упрек Леонтьева журналу «Время» в космополитизме, в недостаточном знании русского народа и желании уничтожить сословные различия очень серьезен. Актуальна сама тема образования и воспитания народа, раскрытая в статье. Речь в ней идет не о том, чтобы обучить народ счету и письму в пределах начальной школы, и даже не о понятиях общей нравственности и честности. Леонтьев говорит о предмете, который можно определить как «национальное своеобразие, без которого можно быть большим, огромным государством, но нельзя быть великой нацией. Предмет этот должен быть нам дороже всего…». «Почему так? – спрашивает себя Леонтьев и отвечает: а потому, что общая нравственность и общая наука не уйдут от нас; а национальное своеобразие легко может уйти от славян в XIX веке». Своеобразие же, как позже определит его Леонтьев в «Византизме и Славянстве», есть культура. И чем своеобразнее человек, тем он культурнее.

«Нужно всяческими способами беречь русскую культуру от западного влияния, от той пошлой уравнительности (эгалитарности), которую привносит в Россию буржуазная Европа, потому что "*корни у нас свои*". И если общество некстати начнет менять эти корни и поливать их "бесцветной водой" всемирного сознания, то Россия нисколько не будет отличаться от других европейских государств, как, например, Голландия от Бельгии», – так рассуждает Леонтьев уже в 1870 году.

Разве он не прав? – спросим мы себя.

5

Преуспевающий посол в Турции Николай Игнатьев постоянно перед глазами Леонтьева не только как непосредственный начальник, но и как пример для подражания. Уже в мартовском письме (1870) Леонтьев сообщает Страхову, что почти закончил роман из русской жизни «Генерал Матвеев». Так он именует роман, получивший впоследствии название «Две избранницы», первая часть которого опубликована лишь в 1885 году в газете «Россия». Первая часть, которую многие на-

зывали повестью, была отвергнута для публикации С. А. Юрьевым (1821–1888), редактором славянофильского журнала «Беседа», и Катковым для «Русского вестника».

Прототипом главного героя стал, безусловно, Игнатьев. За всеми главными героями в романах «Подлипки» (Ладнев), «В своем краю» (Руднев и Милькеев), «Египетский голубь» (опять Ладнев), «Одиссей Полихрониадес» (Благов) так же, как и в «Двух избранницах», отчетливо виден сам Леонтьев, его герои озвучивают мысли автора. За действиями их, если разобраться, стоят действия и поступки самого Леонтьева, которому трудно, а чаще всего невозможно, исходя из редчайшей исключительности характера, перевоплотиться в кого-то другого человека и изобразить его. Там, где вышеперечисленные герои alter ego Леонтьев, там они живы и милы.

Несомненная сила романов Леонтьева в том, что он писал только о том, что хорошо знал, пережив своим чутким сердцем события не придуманной жизни. Писал, имея в виду себя. Зачем выдумывать? – по-видимому, размышлял он, – когда мои переживания, мой опыт бесценен, а через десятки лет он станет выдумкой.

Леонтьев в этом романе постарался как можно больше абстрагироваться от своего «я». Создавая образ генерала Матвеева, автор почти ушел от философских рассуждений, помня о неудаче романа «В своем краю», и лирических отступлений.

Герой его, Матвеев, окончил академию Генерального штаба, он герой крымской, туркестанской компаний, один из руководителей подавления польского мятежа. Генерал жаждет продолжения своей геройской военной судьбы и приезжает в Петербург в 1867 году, ожидая начала большой войны в Европе, чтобы сразу оказаться в нужный час в нужном месте. Вот каков политический накал того времени по причине недавно закончившейся Австро-Прусской войны (1866) и продолжающегося Критского восстания (1866–1869). Далее в повествовании романа начинают проступать эпизоды из жизни самого Леонтьева. Генерал Матвеев женат, но у него есть любовница, жена московского

высокопоставленного чиновника; есть, кроме того, тайное пристанище в бедном домике, где живет со своей бабушкой пламенная нигилистка Соня, постоянно со злостью спорящая с солдафоном Матвеевым. Между тем девушка Соня постепенно привязывается к генералу, и нет сомнений, что они полюбят друг друга. Жена Матвеева – Лина, описана особенно красочно и глубоко, потому что ее судьба – не выдумка. В образе Лины соединены две судьбы – жены Леонтьева, Лизы, и реальной Лины, которую он и его друг Константин Губастов выкупили у хозяйки публичного дома в Константинополе.

Все чувственные тонкости в романе «Две избранницы» описаны с редчайшим знанием женской психологии, что дает первому его биографу А. Коноплянцеву писать: «Его увлечения вообще следовали одно за другим, на свои любовные связи он смотрел тогда очень легко и не признавал в этом отношении никаких преград и запретов… Он любил жизнь, все сильные и прекрасные стороны ее и, как язычник, этой жизни не боялся, и хотел ею пользоваться без границ. Это не был простой, пошлый разврат… здесь был разврат, возведенный в поэзию».

6

«Поэзия разврата» не мешает Леонтьев усиленно трудиться за письменным столом: романы, «восточные повести», политические статьи, обработка статистических материалов по Эпиру, донесения начальству. Все это требует одиночества и полного сосредоточения ума и физических сил, которых у него с рождения, увы, мало. Возможно, причиной тому его семимесячное рождение. Силы его от напряженного труда тают, сознание своей исключительности понемногу испаряется. Стали появляться сомнения в «великом призвании своем», которым он «нередко и пренебрегал им, медлил, жег и рвал беспрестанно написанное», «по два года сряду не брал в руки пера» и «жил смолоду и потом до последнего времени, как будто пресыщенный славой человек». И как следствие – тоска, большая, чем в Петербурге начала 60-х годов.

В августе 1869 г. племянница Маша, благоговейно любящая дядю, возвращается к отцу в Петербург. Леонтьев остается с женой, у которой усиливаются признаки умственного помешательства.

Последовательный сторонник свободной любви, Леонтьев до 1871 года, до своей роковой, симптоматичной и краткой болезни и выводов из нее, часто изменял жене, не скрывая этого и совсем не думая о том, насколько это жестоко по отношению к любящей его супруге. Как поэт он уверен, что «любовь и всякие приключения дают пищу будущему творчеству, влияют хорошо даже на форму его, ибо дают не придуманное содержание». Да и правду сказать, редки те писатели, что решительно отказались бы от любовных интрижек с интересными женщинами.

И странное дело, у такого человека, как Леонтьев, хорошо изучившего индуктивный метод Милля, как-то вдруг отключалась логика. Простой, малообразованной женщине, может быть, отчасти глуповатой жене его наплевать на теорию свободной любви, на эстетику, на красивые умствования по поводу ее. Она знает лишь о верности священного союза, освященного церковью.

Одиночество, сходящая с ума жена, сомнения в литературном призвании, длительная эпопея с публикацией статьи «Грамотность и народность», переписка с Николаем Страховым, сопровождаемая взаимными язвительными упреками и колкостями, обвинениями, воззваниями к совести и состраданию: «Понимаете ли Вы, понимаете ли Вы, понимаете ли Вы…», не проходят для Леонтьева бесследно. Не просто русская хандра «им овладела понемногу», а отчаяние, усугубляемое болезненным состоянием от приступов южной лихорадки.

Было от чего отчаиваться. Прошло десятилетие с момента его появления в большом литературном мире Петербурга, а значит и России. Приехал в 1860 году, так сказать, покорять столицу и влиять на умонастроение общества. А результат? Новое десятилетие начинается так же, как и предыдущее, если не хуже, не безнадежнее. Тогда, в 1861 году, опубликован роман «Подлипки», а сейчас на борьбу с редактором по устройству статьи в 40 журнальных страниц уходит два года!

Два года!!! Что делать? Как быть и что делать дальше? Литература, с помощью которой он надеялся удовлетворить свое геройское тщеславие, явно изменяет ему, как он изменяет жене, отдавая предпочтение другим. Господи, неужели в твоем подлунном мире все так взаимосвязано и переплетено? Господи!? Вразуми! Может, более плотно заняться карьерой дипломата, получить чин тайного советника и приблизиться к своему идеалу – генералу Николаю Игнатьеву? Тогда Страхов будет заискивать перед ним и просить униженно, чтобы он, Леонтьев, высказал свое мнение, а лучше всего – написал бы статью, которую он с радостью опубликует. Однако это будет уже признание не литературных заслуг, а должностных, чиновных. Леонтьеву такое признание претит. Что же делать с теми авансами в будущем литературном успехе, что звучали в его адрес от участников салона Евгении Тур? Они что же оказались беспочвенными, а он слабым червяком?

Как-то, проснувшись утром в своей постели, приятно пахнувшей чистым, накрахмаленным бельем с настоем неведомых южных трав, Леонтьев почувствовал себя несчастным человеком. И это было лишь неясное чувство, потому что ничего ужасного с ним накануне не происходило. Обычный день, обычные встречи, обычное сидение за письменным столом и стояние за конторкой, когда устаешь работать сидя. Тот дар, когда он чувствовал себя счастливым, несмотря на сложные обстоятельства, как-то неожиданно отказал ему и словно испарился без следа. Даже утренний кофе, дымящийся и вкусно пахнувший, не радовал, а неприятно волновал, напоминая о прошедшем времени. Сегодня все напоминало о времени или, точнее сказать, о вечности, в которую предстояло скоро кануть. Почему скоро? Ведь ему же нет еще и сорока лет. Он прибавил к прожитым 38 годам еще 38 и, произнеся вслух цифру 76 лет, понял с ясной очевидностью, что столько ему не прожить. Значит, он уже миновал «золотую середину». Когда? И даже пусть так, но что значат для вечности эти несчастные 38 или 76 лет. Ровным счетом – ничего!

Вот и ложка упала на пол. Все валится из рук. Плохая примета. Сигара, утренняя турецкая и дорогая сигара так же напомнила о времени,

о студенческих годах, когда он впервые пристрастился по моде тех лет к дорогим сигарам. Любовные утехи показались сейчас несносной глупостью, усиливающей пустоту и внезапную, и несовместимую тяжесть в груди. Внезапно захотелось выехать верхом, горяча своего и без того горячего коня, взлететь на вершину перевала, взглянуть сверху на долину, на озеро Памвотис, на Янину. Нет, ему надоел этот несносный городок. И так же внезапно он отринул это желание, и тут же пришло другое, опустошавшее сердце желание забиться в укромный уголок дивана, укрыться теплым пледом и забыться в сладком сне, истомно потягиваясь в предвкушении его. Но что потом, после пробуждения?

Нет, надо работать, надо сесть за стол, чтобы поправить настроение трудом и новыми мыслями. Но что-то дрогнуло в душе, и жалость к себе заполнила ее без отказа.

Этого сам себе Леонтьев простить не мог, и впервые его посещает странное желание стать монахом: «Бросить все, отпустить себе бороду…». Когда умные люди стремятся уйти от мирской жизни? Не в том ли случае, если мирская не оправдывает надежд, а душа изнемогает от непонятной борьбы с собой же?

Эти переживания и темные мысли взвинчивают нервы. Ко всем сомнениям по черной своей лепте добавляют пессимизма и погода, и климат, и ландшафт. Дождливая южная зима, постоянная сырость от озера, находящегося в котловине среди безлесных гор, нервное напряжение вызывают у него изнуряющую лихорадку и упадок сил. Свои ощущения той зимы он (15 октября 1869 г.) описывает Губастову так: «А главное, тоска такая на сердце, которой я еще в жизни не испытывал. Это какая-то новая тоска, спокойная… Не думайте даже, чтобы Янина была в этом главною виною. Главною виною моя внутренняя жизнь. Я с ужасом вижу, что в первый раз в жизни начинаю ничего не желать, кроме вещественных удобств».

Типичная, как сказали бы медики, депрессия. Через два месяца в письме племяннику Владимиру (сын брата Владимира Николаевича) Леонтьев также жалуется на болезнь: «А я, брат, все болею. Лихорадка

изнурила меня до того, что на днях, как только будет сила сесть на лошадь, уеду из Янины».

В «Хронологии моей жизни» Леонтьев отмечает: «Печальная зима. – Лихорадка. Арта. Варцели и т. п. *Новый 1870-й год в Арте с Лизой.*

70-й год. Второй приезд Маши. Болезнь Лизы усиливается. Моя лихорадка и тоска. *Первая мысль о монашестве».*

Медик, да к тому же аналитик по складу ума, Леонтьев, изрядно мнительный, пытается понять причины, вызывающие в нем лихорадку. Почему температура его тела вдруг повышается до озноба, сотрясающего тело и крутящего мышцы, как крутят прачки белье в своих сильных руках. И ему понятно, что никаких одеял и полушубков не хватит, чтобы нагреть и так уже перегретое тело. Леонтьев ложится на турецкий диван, так восхищавший его своими причудливыми узорами, на него наваливают груды теплой одежды, но Леонтьев, скрючившись в комок, напоминающей формой человеческий плод, вспоминает мать. Ему хочется прижаться к ней, как он это делал, просыпаясь на диване в ее «эрмитаже», но мать далеко, она в России. И он под впечатлением нежных чувств к матери начинает проклинать в душе Турцию, ее нездоровый климат. Он перебирает в памяти те возможные вредные, пирогенные вещества, и не может определить, какого они свойства: инфекционные или нет. Почему они вызывают в нем лихорадку, которая не действует ни на Лизу, ни на Машу, ни на секретаря его Крылова. Почему? Это что – наказание Божье? В сознании же, независимо от дум, бьется заученная с детства молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнего». Раз за разом, десятки, может даже, сотни раз проносит эти слова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнего». Когда же он, закрыв глаза, пытается представить образ Спасителя, у него ничего не получается. Мозика разваливается.

И, конечно, на перо и бумагу глаза не глядят, уныние, а потом и отчаяние овладевает им безраздельно. Леонтьев ни в чем не уверен, сомнения командуют им, и он словно рад сомневаться, рад той притягательной,

иссушающей душу неуверенности, что делает его слабым и зависимым от обстоятельств. Наконец спазм сосудов и кожи прекращается, он покрывается потом, и скидывает с себя одеяла, и обессиленный лежит, не зная, что бы ему пожелать.

Леонтьев хоть на время решает сменить место и обстановку, бросает все дела на умного и знающего секретаря Крылова и уезжает на побережье огромного Средиземного моря.

Арта – город в 75-ти километрах южнее Янины на берегу одноименного залива Средиземного моря. Морской климат более благосклонен к больным лихорадкой: соленый ветер с моря прочищает легкие, смягчает сухость кожи, улучшает теплообмен тела.

Болезнь же Лизы усиливается, и летом 1870 года Леонтьев отправляет жену в Одессу на лечение, предварительно списавшись с врачами. После ее отъезда Леонтьев надолго покидает вредную для здоровья Янину и отправляется на остров Корфу (Керкира) в Ионическом море, где проводит четыре месяца. Здесь судьба сводит его с еще одним будущим и верным своим покровителем – князем Константином Гагариным, служившим на фрегате «Дмитрий Донской». Они коротко сближаются, порой беседы их длятся до двух часов ночи. Князь, несмотря на то, что старше Леонтьева на 10 лет, считал его своим учителем. Общение с Гагариным, «надежным, и добрым, и *очень* смелым, хотя *и с тактом*», отвлекает Леонтьева от тоски.

Подлечившись, он возвращается в Янину и 19 ноября 1870 года пишет письмо матери, оправдываясь перед ней за нечуткое отношение к Лизе.

«Я теперь в Янине один в своем большом доме, здоров и очень занят В мои годы это главное и нужно: здоровье, простор и занятия. Об увеселениях я думать перестал, да я и никогда, Вы сами знаете, на них падок не был. Благодарю Вас за Лизу, за то, что Вы, несмотря на все Ваши невзгоды и заботы, не забываете ее… Я убедился, что присутствие мое *ей* пользы не делает; а мне ее постоянная раздражительность не дает заниматься делом, которое служит на *ее же* содержание, на ее лечение, на ее спокойствие, по крайней мере, вещественное».

Конечно же, Леонтьев знает о том письме Феодосии Петровны, где она осуждает сына за жесткое отношение к своей жене, и сейчас он как бы просит у нее прощение, говоря: «Никто тут не виноват; так было *угодно Богу...»*

Но если это так, то **Богу угодно было** подвергнуть Леонтьева еще большим испытаниям. В народе говорят, что испытания Бог человеку зря не посылает. Потому мы не будем разбираться, кто виноват в таких непонятно сложных взаимоотношениях между мужем и женой, которые опять же по меткому народному выражению – суть одна сатана. Мы только посмотрим: адекватные ли испытания послал Бог на голову Леонтьева.

В русском посольстве в Константинополе знали, что консула Леонтьева замучила лихорадка, а ведь это очень серьезное заболевание: от нее умер в греческих Миссолонгах знаменитый Байрон, да и смерть императора Александра I также связывают с лихорадкой, которой он заразился во время посещения Крыма накануне смерти. Посол Николай Игнатьев, ценя Леонтьева, подыскивает ему новое место. Рассматривались места генерального консула или в Праге, или в Вене, но вакансий там не было. Сам Леонтьев хотел бы вернуться на Дунай, генеральным консулом в Рущук, но и там место занято, и по справедливому замечанию Леонтьева: «нельзя обойти слишком грубо людей, которые гораздо старше меня по службе». Игнатьев предложил временный выход из положения: принятие консульства в Салониках, где морской климат, как в Арте. Леонтьев дает согласие: «Спешу выразить вам не только согласие мое, но и благодарность мою искреннюю за эту вашу любовь. Близость моря, Константинополя и даже (сравнительно с Яниной) России будет мне во многих отношениях очень полезна». Однако все оказалось с точностью до наоборот: климат в Салониках для больных лихорадкой самый неприемлемый.

Новый 1871 год он встречает в полном одиночестве. Для писателя – это естественное явление. Этот год для Леонтьева – юбилейный. Ему в январе исполнилось 40 лет. Им написано много романов, по-

вестей, рассказов, напечатано меньше, чем написано, еще меньше известности. В последнем письме матери он пишет: «Я знаю, кроме того, что Вам не только приятно, но даже по многим причинам *нужно* повидаться и поговорить со мной. И мне это свидание будет сверх радости еще и очень полезно».

Однако вместо радости пришла новая скорбь: в феврале умирает его любимая мать. Дорога в Россию заняла бы дней 10, а то и более. На похороны матери Леонтьев не едет. Тоска от невозможности выехать и проститься с матерью вновь захватывает его, но в глубине души он даже рад, что выехать нельзя, его пугают картины похорон, в ушах его слышатся глухие звуки ударов мерзлой земли о крышку гроба. Гроба, где лежит его любимая матушка, которая нежно любила его, так ласково обнимала и, главное, жалела. Мысли о смерти захватывают Леонтьева, теперь на губах его другая молитва: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой…». Одиночество усугубляет его терзания. Жизнь не удалась? – спрашивает он себя.

Глава 6
Салоники

Еще трудно решить – кто нам более пригодится в будущем (быть может и не слишком далеком) – Греки или Юго-Славяне.

Леонтьев – Стремоухову,
из донесения 14 ноября 1871 г.

1

Удалась ли жизнь или нет – главное, что она продолжается. Первого апреля 1871 года Леонтьев подписывает акт передачи Российского императорского консульства в Янине. «…Надворный советник Леонтьев и в должности секретаря Янинского консульства Губернский

секретарь Крылов составили настоящий акт в удостоверении того, что на основании предписания Азиатского Департамента от 8 марта 1871 года за № 704 и такого Российско-императорского посольства в Константинополе от 27 марта за № 243 первый сдал, последний принял в управление вышеозначенного года и числа Российско-императорское консульство в Янине…».

После 20-дневного путешествия «сухим путем» Леонтьев прибывает в Салоники (Солунь) 25 апреля. Столь длительный срок переезда объясняется тем, что по пути Леонтьев выполнил поручение Игнатьева о проверке состояния дел в Фессалии с посещением консульского агента в городе Ларисе. Отчет о путешествии вылился в многостраничную (30 страниц рукописного текста) «Записку о путешествии Надворного Советника Леонтьева от Янины через Фессалию до Салоник». Служебная эта записка с художественной стороны производит сильное впечатление, сравнимое с описанием путешествий таких знаменитых писателей, как, например, Карамзин, Гончаров, Волошин.

Глубина и тонкость некоторых наблюдений Леонтьева поразительна и актуальна до сегодняшнего дня. Вот, например, рассуждение его относительно христиан: «Христиане зажиточного класса, как я не раз писал и из Янины, к несчастью, нередко нравственно гораздо хуже турок. Надо сказать правду, что мошенничество у них считается умом и молодечеством. Того, что зовут *идеальным чувством*, у них нет и следа. Почти все Христиане, составившие себе состояние в Турции, составили его если не совсем худым путем, то, по крайней мере, не таким, который располагает человека уважать в себе и в других нравственные чувства. Долгое отсутствие в среде Христиан всех тех карьер (военной, ученой, художественной, высшей политической и т. п.), которые наглядно показывают, что человек может пользоваться влиянием и силой в обществе, не имея иногда ни малейших собственных средств к жизни, расположит их верить в одно: в деньги и в хитрость, доставляющую эти деньги».

Трудно с первого прочтения оценить глубочайший смысл и классическую силу мысли, что выражена в этой цитате. Классика здесь в том,

что выводы Леонтьева верны на все времена и, особенно, для России. И в царской России леонтьевских времен, и в социалистическом СССР основными точками приложения русского народа были именно те, о которых говорит Леонтьев: военное дело, искусство (театр, литература и живопись), образование, наука, производство (сельскохозяйственное, а потом и промышленное). Именно в этих отраслях государство русское достигало наибольших успехов и уважения среди других народов. Стоило только разрушить эти основные и удающиеся россиянам сферы приложения сил, то народ потерял нравственные и ценностные ориентиры, смысл жизни размылся, а социальная перспектива скрылась в тумане чуждых приманок и ложной веры в золотого тельца. Торговля – не есть призвание русского человека!

Леонтьев отмечает возросшее самосознание христиан в Турции в условиях усиления мощи России и поражения Франции от Германии. Он говорит, что молодых христиан уже коробит начальственный тон местных турецких жандармов. Старым же христианам такой тон не кажется оскорбительным, потому что они знали гораздо худшие времена. Вывод из сказанного очень характерен для зрелого Леонтьева: «За один этот тон нельзя осуждать Турок; пока стоит Империя – как же и быть иначе? Управлять без некоторого страха при самой строгой справедливости народом невозможно не только иноплеменным, но даже и своим».

Вот и Леонтьеву консульский неоценимый опыт помог впервые среди русских мыслителей сформулировать проблему **государственной силы** в качестве философской. Это замечание о страхе государственном – лишь первая наметка и основание для более глубоких социологических выводов. С точки зрения христианской морали подобие человека Божескому образу есть также признак силы. И если человек может концентрировать свои силы на решении какой-либо задачи, особенно сложной, то это примета жизнеспособности. В народе говорят «собрался». Если же напряжение сил для человека невозможно, то можно говорить об упадке, приближении смерти, когда человек тупо смотрит в окно, о чем-то сожалеет, мечтает, но… не двигается с места. Что может быть

безысходнее? Тем более для государства, граждане которого потеряли веру в свои силы. И такой процесс, чаще всего, бывает взаимным и проникающим и в объект, и в субъект исторического процесса.

К такому же выводу пришел и первый русский диссидент А. И. Герцен, написавший письма «К старому товарищу». Они адресованы в первую очередь Михаилу Бакунину, известному русскому революционеру, так же, как и Герцен, прожившему большую часть жизни за границей. В частности, Герцен пишет: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены *внутри.* Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней “свободы”». По этому высказыванию и Герцена можно назвать «сладострастником палки» подобно тому, как это определение применял Иван Аксаков к Константину Леонтьеву.

2

Пока же Леонтьев, характеризуя в записке своего консульского агента Г. Хаджи-Лазари, говорит, что того обвиняют в завышении процентов как кредитора, то есть тот наживается из-за своего положения русского агента. И вновь вывод Леонтьева философичен, но уже в плоскости онтологической.

«Но если искать людей, не расположенных к подобного рода делам на Востоке, для того, чтобы из их среды выбирать агентов, то можно рисковать не найти ни одного. Все Греки и Богары, почти без исключения таковы». Он и раньше писал в донесениях, что «наблюдательного русского прежде всего поражает на христианском Востоке слабость фантазии и замечательная трезвость ума, до сухости доведенная. На это есть исторические причины: главное занятие христиан под властью турок целые века была торговля и торговля. Понятно, что это для развития фантазии не особенно благоприятно». И не только для развития фантазии, но и для развития наук, культуры, образования. В этом пристрастии к деньгам и наживе южных славян и, прежде всего болгар, предвидел

Леонтьев их легкое вхождение мир буржуазных ценностей, в быстрой европеизации. Но всем ли это было понятно?

Нет, не случайно и Игнатьев, и сам канцлер Горчаков любили читать его художественно оформленные записки. Красочные описания интриги путешествия и неожиданность вывода надолго откладывались в сознании: «Надежды на Россию и сознание ее полезной для Христиан политической деятельности не утрачены; в глухих и отдаленных селах имя России так же известно, как и в городах».

Сразу по прибытии в Салоники Леонтьеву пришлось заняться земельным спором между христианами и турками. Уже 3 мая он сообщает в посольство о застройке турками участка земли, принадлежащего христианской общине, и последующей «сильной схватке» между заинтересованными сторонами. Дальний переезд верхом на лошади из Янины в Салоники и быстрое вхождение в дела консульства говорят о том, что настроение у Леонтьева поправилось, он стал деятелен, а недуги его отступили.

В мае 1871 года Надворный советник Константин Николаевич Леонтьев удостоен государственной награды – ордена Святой Анны 2-ой степени со знаками отличия.

Отправляя Леонтьева из такого нездорового места, как Янина, в Салоники, посол России в Турции Игнатьев надеялся на поправку здоровья одного из лучших своих консулов. Зная о леонтьевских православных убеждениях, Игнатьев хотел расширить влияние русского духовенства на святой горе Афон. На исходе апреля Игнатьев дает Леонтьеву письменные рекомендации и указания по этому вопросу.

«Прежде всего Вам надлежит употреблять все усилия Ваши к поддержанию и развитию близких и доверительных сношений вверенного Вам консульства с Русским Монастырем Св. Пантелеймона <…>.

При сношениях Ваших с Афонским Монастырем братия Русского Пантелеймоновского Монастыря может быть весьма полезна Вам для получения точных сведений о настоящем положении на Св. Горе. В этом отношении обращаю внимание Ваше на Игумена Монастыря и на духов-

ников О. Иеронима и О. Макария. Сей последний в особенности по святости жизни, по своему уму и образованию и по высоким нравственным качествам своим, заслуживает особого уважения и внимания.

<…> Мне остается выразить надежду, что Вы не оставите, посредством сношений этих, поддерживать влияние Русского элемента на Афоне, не возбуждая притом ни опасений и подозрений турецких Властей, ни зависти Греческого Духовенства и других Афонских Монастырей».

Накануне дня празднования (12 мая по старому стилю) болгарами дня Святого Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, Леонтьев встретился с архимандритом Макарием, настоятелем Свято-Пантелеймонова монастыря, приехавшим с Афона в Салоники на этот праздник. В донесении Леонтьев написал Игнатьеву: «Я виделся с О. Макарием и долго говорил с этим почтенным человеком». Видимо, Игнатьев прочитал это донесение не сразу, а летом, когда Леонтьев после болезни уехал в августе на Афон, и у посла возникли сомнения в искренности сообщений солунского консула: Игнатьев подчеркнул имя отца Макария, а на полях поставил вопросительный знак. Охлаждению взаимоотношений между Игнатьевым и консулом Леонтьевым послужило не только личное недоверие к солунскому консулу. Главной причиной стала разница во взглядах на греко-болгарскую распрю, да и на всех югославян. Леонтьев предупреждал, что болгары могут в любой момент предать Россию, а Игнатьев благоволил к ним. Забегая вперед, отметим, что эта чрезмерная любовь к болгарам нанесет непоправимый урон карьере Игнатьева.

Май у Леонтьева оказался чрезвычайно загруженным. В начале мая проездом на Южный берег Крыма к нему прибыли племянница Маша и Ольга Михайловна Кошевская, родная сестра Софьи Майковой. Ранее обе сестры помогали Леонтьеву в литературных и издательских делах, и он их очень любил и ценил, говоря: «Вам все можно говорить, вы все понимаете. На то вы и Майковы».

В те годы, как показывает опыт Маши, в Крым можно было попасть через итальянский Триест, а потом по Адриатическому, Среди-

земному и Черному морям до Крымского полуострова. Наверное, это единичный опыт, так как не служи Леонтьев в Салониках, вряд ли Маша и ее подруга наметили бы такой дорогой и длинный маршрут. Усталый Леонтьев, томимый одиночеством и предчувствиями близкой болезни, уговаривает Машу и Ольгу погостить у него летом и скрасить его нерадостные дни.

По словам Маши, портовый город Салоники Леонтьев сразу же «возненавидел» по причинам национального состава города. Заправляли в городе банкиры евреи и торговцы, более половины из ста тысяч населения Салоник были сефарды (испанские евреи), говорившие на ладино. Греков почти не было, а турки являлись национальным меньшинством, занимая один-единственный в городе квартал. Большой, но неуютный дом русского консульства Леонтьев устраивать под свой нестандартный вкус, тем более для себя одного, не захотел. С мая началась нестерпимая жара. Лето в душном городе с бесконечно тарахтящами экипажами европейского образца, поднимавшими клубы пыли, – испытание не из легких, к тому же «при консульстве не было даже и дворика с цветами, где бы можно было посидеть вечерами».

Службу и времяпровождение Леонтьева в Салониках лучше начать с описания Маши, любившей дядю не только как близкого родственника. «Настроение Константина Николаевича было озабоченное; служба ему совершенно не нравилась в этом краю; она была почти без всякого политического оттенка; больше все коммерческие дела в Канцелярии; даже русского секретаря не было, а грек-драгоман, который немного разбирал русские паспорта». Здесь прервем рассказ Марьи Владимировны и добавим, что паспорта всех русских паломников, отправлявшихся в древний Иерусалим (на иврите звучит как Иерушалайм), визировались в салоникском консульстве, да и денежные пожертвования из России на строительство афонских монастырей также шли через него. Административные хлопоты, связанные с деньгами, наводили тоску. Типично русская черта широкой натуры.

Чтобы скрыться из пыльного пекла Леонтьев снимает дачу в местечке Каламария рядом с подворьем Пантелеймоновского монастыря, находящегося на берегу Солунского залива в 50 верстах от Афона и в 10 часах езды от Салоник. В одном доме с ним размещаются Маша и Ольга Кошевская.

С соседями дачниками Леонтьев не общался и почти не гулял, боясь с ними встретиться, он не любил пустопорожних бесед с малознакомыми людьми, жалел на них время. Приезжали к нему на дачу афонские монахи, подарили ему икону Богородицы, приглашали посетить Афон, но Леонтьев, раз собравшись, вернулся с полдороги, внезапно ощутив начало приступа лихорадки.

Жара плыла. «Недалеко от нас жил Английский Консул, – вспоминала Маша, – у которого была молодая свояченица, симпатичная девушка, да и вся семья его была очень скромная. Константину Николаевичу нравился сам молодой Консул, потому что он был на Афоне и хвалил богослужение в Русском Пантелеймонове монастыре. В эту семью и свел только меня К. Н-ч познакомиться. – Так продолжалось время до начала июля…»

Часть V
ВИЗАНТИЗМ И СЛАВЯНСТВО

Византизм организовал нас, система византийских идей создала величие наше…

К. Н. Леонтьев

Глава 1
Перелом

Личная вера почему-то вдруг докончила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое.

Леонтьев – Розанову. Май 1891 г.

1

В начале июля Леонтьев неожиданно заболевает расстройством желудка, которое он счел холерой. Впоследствии отзывался о ней, шутя, как о неэстетичной болезни. Вызванный из Салоник врач не нашел в его недуге признаков холеры, но рассказал, что в городе в результате двух-трех очень прохладных ночей много заболевших с подобными признаками, но все выздоравливают. Внушить надежду пациенту – одна из главных и немаловажных задач любого доктора, но Леонтьев ему не верит и, как вспоминает Маша, запирается в темной комнате без окон, чтобы не знать, когда приходит ночь, которой он вдруг стал бояться, словно смерти.

Маша вспоминала: «К. Н-ич был вне себя от ужаса смерти. Несколько дней он не выходил из темной комнаты… Я поочередно с приятельницей

(Ольга Кошевская. – *М. Ч.)* и его воспитанником (Петраки. – *М. Ч.)* проводили дни в его темной комнате. – Приезжал из города грек-драгоман по делам; и его принимал К. Н-ич в темной комнате». После этого по Салоникам поползли слухи, что русский консул сошел с ума.

Почти в то же время страхом смерти «заболевает» и другой великий человек – Л. Н. Толстой, и причина этой «болезни» – высокоразвитое воображение, столь характерное для творческих людей. Вот как описывает состояние Толстого австрийский новеллист Стефан Цвейг («Три певца своей жизни»): «Благодаря повышенной чувствительности мысль о смерти пронзает его насквозь, как выстрел… Толстой, который при дуновении этого слова, при первом приближении мысли о смерти уже начинает трусливо трястись».

Иван Бунин в своем «Освобождении Толстого» пишет, что слышал, как Толстой часто повторял слова Марка Аврелия: «Высшее назначение наше – готовиться к смерти». Как Толстой с восторгом произносил слова Пифагора Самосского: «Нет у тебя, человек, ничего, кроме души!», как писал в дневниках: «Постоянно готовишься умирать. Учишься получше умирать».

У Леонтьева не было таких знаменитых биографов, как у Льва Толстого, только племянница Маша в силу своих возможностей сухо отметила леотьевское тогдашнее состояние и борьбу с отчаянием. Первоначальный этап ее был несравненно более короток, нежели у Толстого, и напрямую связан с Богом, с верой. В тяжелом физическом состоянии и предсмертной тоске Леонтьев обращается с собственной молитвой, точнее, с заклинанием к образу Божьей Матери (иконе, которую ему только что привезли афонские монахи). Он просит ее как близкую женщину, как мать о помощи и спасении, а в случае выздоровления обещает постричься в монахи. Через два часа ему становится легче.

Такие кризисы у творческих людей – своеобразная Божья метка, позволяющая зазглянуть внутрь себя, оценить мировоззренческий подход к жизни, а в более частном случае сменить стиль художественного изложения с описательного на умозрительно-отвлеченный, более глубокий и

всесторонний. Результат – духовное просветление, переоценка старого жизненного опыта и начертание новых целей.

Страх смерти, парализующий волю и сознание, нейтрализовать весьма трудно. Надо приучить себя к мысли, что да, есть смерть, что все мы уйдем, и, возможно, труды наши исчезнут бесследно. Надо не просто философски смотреть на смерть, а растворить ее в себе, сделать ее частицей своего творчества и бытия, и тогда не будет беспомощного ожидания, а будет самопознание и себя, и смерти, и Бога в реалиях жизни.

Вот как уже смиренный Константин Леонтьев в 1891 году отвечает на вопросы Розанова о причинах этого кризиса, произошедшего с ним в июле 1871 года. «Причин было *много разом, и сердечных, и умственных*, и, наконец, тех *внешних и по-видимому (только) случайных*, в которых нередко гораздо больше открывается Высшая Телеология, чем в ясных самому человеку внутренних перерождениях. Думаю, впрочем, что в основе всего лежит, с одной стороны, уже тогда в 1870–1871 году: давняя (с 1861–1862 гг.) философская ненависть к формам и духу новейшей европейской жизни (Петербург, литературная пошлость, железные дороги, пиджаки, цилиндры, рационализм и т. п.); а с другой – *эстетическая и детская* какая-то приверженность к *внешним формам* Православия; прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок сильнейших *глубочайших* потрясений (слыхали вы французскую поговорку: “Cherchez la femme”, т. е. во всяком серьезном деле жизни «ищите женщину»); и, наконец, внешнюю *случайность опаснейшей и неожиданной болезни (в 1871 г.), и ужас умереть в ту минуту, когда только что были задуманы и не написаны еще: и гипотеза триединого процесса,* и Одиссей Полихрониадес (лучшее, по мнению многих, произведение мое), и, наконец, не были еще высказаны о “юго-славянах” все те обличения в европеизме и безверии, которые я сам признаю решительно исторической заслугой моей. Одним словом, все главное мною сделано после 1872–1878, т. е. после поездки на Афон и после *страстного* обращения к *личному* православию… *Личная вера почему-то вдруг до-*

кончила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое. Это до сих пор удивляет меня и остается для меня таинственным и непонятным. Но в лето 1871 года, когда консулом в Салониках, лежа на диване, в страхе неожиданной смерти (от сильнейшего приступа холеры) я смотрел на образ Божией Матери (только что привезенный мне монахом с Афона), я ничего этого предвидеть еще не мог, и все литературные планы мои еще были даже очень смутны. Я думал в ту минуту не о *спасении души* (ибо вера в *личного Бога* давно далась мне гораздо легче, чем вера *в мое собственное бессмертие*), я обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти и, будучи уже заранее подготовлен (как я уже сказал) целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, *я вдруг* в одну *минуту* поверил в существование и могущество *этой Божией Матери*: поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собой *живую, знакомую,* действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: «Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в *высшей степени развратную, утонченно* грешную жизнь! Подними меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в *простого и настоящего* православного, верующего в *среду и в пятницу*, и в чудеса, и даже постригусь в монахи».

Перед нами одно из самых искренних в мире признаний в глубоком духовном кризисе, охватившем человека, ведущего «развратную, утонченно грешную жизнь», осознавшего, что так дальше продолжаться не может, и сделавшего вполне конкретные шаги к его преодолению. Осознал Леонтьев и то, что ему еще много надо сделать в творческом плане, а дипломатическая карьера, как бы ни хороша она была, есть тому помеха. В этом переломном моменте много таинственного и мистически необъяснимого, но последующие действия Леонтьева обдуманы и целенаправленны.

В одно время с письмом Розанову Леонтьев объясняет суть своего религиозного мировоззрения, основанного на страхе Божьем, молодому

другу и ученику Анатолию Александрову следующим образом: «Страх животный унижает как будто нас. Тем лучше – унизимся перед Богом; через это мы нравственно станем выше. Та любовь к Богу, которая до того совершенна, что изгоняет страх, доступна только очень немногим…»

И еще в более конкретной форме в письме тому же Розанову в апреле 1891 года: «Христианство личное есть, прежде всего, трансцендентный (не земной, загробный) эгоизм. Альтруизм же сам собою "приложится". "Страх Божий" (за себя, за свою вечность) есть начало премудрости религиозной».

В этих рассуждениях Леонтьев продолжает тему силы и принуждения (подчинения), столь необходимых не только в государственной и религиозной сферах, но и в повседневной жизни.

Вот этой мудрости и не хватило у Льва Толстого, боровшегося со страхом смерти путем заклинания. Каждодневные свои записи в дневнике он начинал с аббревиатуры е.б.ж. (если буду жив), постоянно повторял: «Я приближаюсь к смерти», применял и другие способы самовнушения.

Сравнивая мистические переживания двух великих людей XIX века, Толстого и Леонтьева, вызванные страхом смерти, можно сказать, что выходы из этого незавидного состояния они нашли сугубо противоположные. Леонтьев – через углубление веры в Бога, Толстой – через ее отрицание, за что и был впоследствии отлучен от Церкви. Очная и последняя встреча двух антагонистов в вопросах веры произошла в Оптиной Пустыни в 1890 году. По словам конторщика, сопровождавшего Льва Толстого, дело происходило так: «После свидания с о. Амвросием Лев Николаевич зашел к К. Н. Леонтьеву как к старому знакомому. "Как это ты, образованный человек, сделался верующим и решился тут жить?" – сделал Л. Н. вопрос Леонтьеву. Тот отвечал: "Поживи здесь, так сам поверуешь". – "Еще бы, запереть себя здесь, – возразил Л. Н., – так поневоле поверуешь. Я твою философию, брат, не читаю, а только беллетристику, – выразился Л. Н. – Пиши, брат, пиши, в старости и от 80-летних авторов выходили знаменитые творения".

После встречи Толстой записал в своем дневнике: “Он сказал: вы безнадежны. А я сказал ему: а вы надежны. Это выражает вполне наше отношение к вере”».

История болезни Леонтьева и чудодейственного выздоровления в воспоминаниях разных лиц представляется по-разному. Наверное, это естественно, так как память каждого из нас опирается на прямые аналогии, обусловленные личным опытом. В психологии есть такой тест. Отбирают пять человек, разводят четверых по углам комнаты, а первому тайно сообщают информацию, смысл которой он шепотом, чтобы слышал лишь адресат, должен передать второму, второй – третьему и т. д. Экзаменующий после теста спрашивает пятого участника опыта, что тот понял. Ответ всегда обескураживал: смысл информации менялся на прямо противоположный. Такой вот несовершенный аппарат восприятия и механизм анализа у всесильного Homo sapiens.

В интерпретации Льва Тихомирова икону Леонтьеву подарили вовсе не монахи с Афона, а торговцы, приехавшие с просьбой защиты их от произвола турецких властей. Даже не взглянув на икону, Леонтьев приказал повесить ее на гвоздь, торчащий в стене, а сам после приема посетителей пошел прогуляться, заходил в ресторан, а, вернувшись, прилег у раскрытого окна на диван и заснул. Проснулся ночью от страшных болей в животе, начались понос и рвота, налицо были все признаки холеры. Тихомиров («Тени прошлого. К. Н. Леонтьев») пишет: «Его охватил страх, между тем припадки все усиливались. Он лежал, изнемогая, на диване, и взгляд его случайно упал на икону, повешенную на стене против него. Оказалось, что это была Божия Матерь. Он невольно стал всматриваться. Она глядела на него грустно и строго. Ему между тем становилось все хуже. Смерть наводила на него ужас. Не хотелось умирать, страстно хотелось жить. Пристальный взгляд Божией Матери начал раздражать его. Ему казалось, что она пророчит ему смерть, и он в припадке ярости крикнул иконе, потрясая кулаком: “Рано, матушка, рано! Ошиблась. Я бы мог еще много сделать в жизни”. Припадки гнева и холеры чередовались у него, и, наконец,

его охватило чувство беспомощной покорности. Он начал молиться Божией Матери, умоляя Ее спасти его и обещая, что, если Она сохранит его в живых, – он примет монашество».

В этом месте Тихомиров делает сноску: «Этот эпизод неодинаково передается в воспоминаниях о Леонтьеве. Я рассказываю так, как слышал от него самого и помню совершенно отчетливо. В кавычках ставлю фразу, которую вспоминаю буквально». Продолжим рассказ Тихомирова.

«И тут произошло нечто, показавшееся ему чудом. Он вдруг вспомнил – точно кто-то шепнул ему, – что у него есть опиум. По случаю распространения холеры он обычно брал его с собой при поездках…»

Леонтьев отмеривает необходимую в таких случаях дозу и выпивает опий. Естественно, он впадает в забытье и спит целые сутки. Проснулся здоровым, без каких-либо признаков холеры. Прибывший врач оказался уже не нужен. Этот факт совпадает с рассказом Маши Леонтьевой, которая приводит слова врача, сказавшего, что Константин Николаевич сам себя прекрасно лечит.

Далее Тихомиров рассуждает так: «В Бога он все-таки не верил, а Божию Матерь сознавал как живое существо, полное благости. Он чувствовал к Ней глубокую благодарность, а в то же время и страх. Нарушить данное Ей обещание он считал совершенно невозможным, но и исполнение его, при более хладнокровном размышлении, оказывалось чем-то фантастическим. Нужно было оставить службу, разрушить все планы жизни – и все это при отсутствии веры в Бога. Об этих сложностях не с кем было даже посоветоваться, не возбуждая толков, что он просто сходит с ума».

Сохранились еще интерпретации леонтьевского духовного перелома и событий, с ним связанных.

Молодой Евгений Николаевич Погожев (псевдоним Поселянин. – *М. Ч.)* – публицист и церковный писатель, сблизился с Леонтьевым в Оптиной Пустыни незадолго до его смерти. Леонтьев нежно о нем отзывался, говоря, что у него «много религиозного чувства и поэзии. У него вообще много энергии и способностей. Помоги ему Бог

не сбиваться с доброго пути!» Погожев скажет пророческие слова на 10-летие со дня смерти Леонтьева: «Кажется, после смерти судьба будет к нему снисходительнее. Его едва ли забудут». Наблюдательный был человек, чем и оправдал хорошую характеристику Леонтьева. Погожев приводит рассказ Леонтьева и упоминает, что Леонтьев был при этом взволнован. «Я жил в Константинополе, в окрестностях его, на даче. Была холерная эпидемия. Мне приходило на мысль, что могу заболеть и я, а умирать мне не хотелось. Я знал за собою много грехов. Не буду всего рассказывать. Много их было и тяжелых. Во мне было предчувствие другой жизни. И пока, еще не достигнув веры, не хотелось уходить, как я был, с пустой душой, и заканчивать жизнь, каким я был в то время…»

Здесь мы прервемся и прочувствуем начало рассказа. Верно ведь, что оно похоже на зачин древнерусской былины или сказки. Константин Леонтьев в силу исключительности характера любил подчинять собеседника своему влиянию. Для порядочного и незаурядного человека – это очень хорошая черта, подчеркивающая его живость и неравнодушие. Ему не все равно, как новый человек станет со временем относиться к нему, что говорить и думать. Леонтьев всегда добивался того, чтобы в душе собеседника осталась память от общения с ним. Желательно положительная и долгая. Всегда стремился он к тому, чтобы вовлечь нового товарища в орбиту своих чувствований и своей веры. Евгению Погожеву, молодому православному прихожанину, рассказывать о своем приходе к вере надо увлекательно, чтобы привлечь к Церкви.

Продолжим далее рассказ Константина Леонтьева. «Как-то ночью я проснулся с несомненными признаками холеры. Я, врач, не мог ошибиться. Припадки были сильны. Надежд на спасение почти не было. Разослав людей в разные стороны, я остался почти один. Я был лицом к лицу со смертью, не готовый, с несмытой грязью всей моей бурной жизни. Передо мной была вечность: теперь я ее уже чувствовал…»

Первое впечатление укрепляется: мы будто читаем житие какого-нибудь святого.

«У меня в комнате стояла икона Божьей Матери, старая семейная икона, которою я дорожил при всем моем неверии. Я в отчаянии посмотрел на нее и, ударив изо всей силы по ней кулаком, закричал:

– Рано! Ты видишь: рано мне умирать!

Могут сказать, что это было богохульство, Вернее, это был первый вопль зарождающейся веры. Как бы то ни было, я к утру был здоров.

Прошло несколько времени. Жизнь, по-видимому, шла та же, но во мне была затаенная мысль.

Через несколько времени я отправился на Афон, в знаменитый Пантелеймонов монастырь, где были великие старцы Иероним и Макарий. Как консула, представителя русской власти, меня встретили торжественно. Я прибыл сюда с целой свитой провожатых. А навстречу мне при колокольном трезвоне вышел весь монастырь; впереди, со крестом, архимандрит Иероним. Меня с торжеством ввели в собор… Я старался с достоинством принять это чествование, относя его к значению России в судьбе Православия.

Затем на следующий день я послал к отцу Иерониму с просьбой, чтоб он принял меня наедине… Я подходил к его келье с бесконечною жаждою смирить себя и найти здесь веру. Переступив порог, я подошел к старцу и без слов с рыданием упал к его ногам».

Приятелю и атеисту Константину Аркадьевичу Губастову, с которым Леонтьев переписывался без малого четверть века, история чудесного исцеления представляется более прозаичной, хотя она неоднократно между ними обсуждалась. Вот как ее изложил Губастов в своих воспоминаниях о Леонтьеве, опубликованных к 20-летию смерти последнего. «Он зимою! (восклицательный знак мой. – *М. Ч.)* 1871 года заболел сильным желудочным расстройством и был несколько дней в большой опасности. Болезнь возмутила его более всего с эстетической стороны. Он мне часто говорил потом о его ужасе умереть при такой прозаической обстановке. Как все больные, он был, конечно, раздражителен и нетерпелив. Не найдя скорого облегчения страданиям от медицинской помощи, он принес глубокое покаяние в своих грехах в жаркой молит-

ве Богородице, покровительнице Афона, и почувствовал через час или два наступившее выздоровление. С той минуты он уверовал в чудесное действие молитвы и в силу защиты свыше. Это духовное перерождение, крупнейшее событие в жизни Леонтьева, совершилось почти внезапно. Как только он оправился от болезни, он, с пылом неофита, поехал на Афон с целью постричься в монахи».

Мы не будем сопоставлять эти источники, исходившие от одного человека, – Леонтьева. Разногласия в них – это суть особенностей степени религиозности личностей, излагающих события, и отношения к ним самого Леонтьева, а их к нему. Главное в них одно: чудо исцеления было. Пусть даже оно и выразилось в прозаичной форме – вовремя найденном пузырьке с опием.

Другое дело, и немаловажное, заключается в дальнейших душевных терзаниях Леонтьева, связанных с выполнением обета, данного Богородице, в том душевном раздвоении между божественным призванием и дьвольской гордыней литературного и эстетического признания. Несомненно, что для осознания сложности прихода в монашеский мир потребовалось немало времени, недаром Маша, бывшая очевидцем происходящего, говорит о нескольких днях, проведенных дядей в темной комнате наедине со своими нелегкими мыслями. Вероятнее всего, Леонтьев уже сам вылечился опием, но главное дело еще не выполнено. Он сидит в темной комнате вовсе не от боязни ночи, а потому что свой выбор он должен принять без недоуменных глаз, испуганных лиц, ненужных женских эмоций. Предстоял решающий, судьбоносный поворот. «Быть или не быть – таков вопрос, – по-гамлетовски вопрошает сам себя Леонтьев. Быть консулом? Он только что получил “Анну” на шею», потом будут еще и еще ордена – ведь он на хорошем счету у Стремоухова и даже Горчакова. Возможно, он станет генеральным консулом, а затем, что вполне вероятно, и директором департамент или еще выше. Но Бог уже наказал его болезнью за бездушное отношение к жене. Что же будет с ним, если он далее будет противиться воле Божьей и в своей гордыне будет умножать свои грехи? Ведь он дал слово, и не кому-нибудь, а са-

мой Богородице. Но ведь живут и процветают десятки людей, которых он хорошо знает: они богохульничают при каждом удобном случае, и ничего с ними не происходит. Может и с ним ничего плохого не произойдет, если он не сдержит своего слова?

Мысли, слова! Опять вспомнился Шекспир с его сентенцией: «Слова без мысли к небу не дойдут». Его слова дошли до небес, значит, в них был смысл, понятный не только ему, а еще и Тому, кто невидим, неслышим, но управляет жизнью каждого на земле. Так зачем противиться Ему? Леонтьев вспоминал, как будучи мальчиком лет 7–8, лежа на диване в спальне матери, слушал, как она с молодой своей дочерью молится в кабинете. Как читает по книжке псалом: «Окропиши мя иссопом и очищуся; омыеши мя и паче снега убелюся. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит!» Вот оно заветное – будь смиренен. И Бог его сердце сохранит, а не сделает каменным и бездушным. Все проходит, и его личная любовь к красоте пройдет, а что останется. Смиренная Душа! Душа, свободная от зависти, гордыни, распутства, лени, злости, гнева, грубости… Нет, надо держать свое слово. Надо стать монахом.

Окрепнув, Леонтьев, выполняя обет, решается ехать на Святую гору. Просит племянницу Машу сопровождать его, и они верхом на лошадях отправляются в монастырь святого Пантелеймона, который все называли здесь Руссик. Через два дня и две ночи медленного путешествия через горы, как вспоминает единственная очевидица этого, они прибывают на границу владений Афона, и утром 25 июля прощаются. Вероятнее всего, сопровождение из охранников (кавассов) все же было, и не потому, как замечают некоторые исследователи личности Леонтьева, что он любил административную помпезность. Дело проще и прозаичнее: вокруг полно разбойников, да и турецких религиозных радикалов хватает, так что ехать ночами через горы в сопровождении только молодой девушки – верх безумства, а Леонтьев, несмотря на романтический склад чувств, был достаточно прагматичным человеком, тем более, что он выполнял предписание посла Игнатьева. Мария Васильевна, написавшая свои вос-

поминания через 40 лет, вероятно, опустила этот факт из виду. Косвенным подтверждением необходимости в охране может послужить убийство в Салониках французского посла турецкими экстремистами.

Ольга Кошевская, узнав о намерениях Леонтьева стать монахом, пишет его брату Владимиру. Тот быстро отвечает: «Нет слов, дядя вообще человек особенный, но все же <…> он не на шутку задумывается ухнуть на Афон. Несомненно, что сейчас он этого не сделает, но продолжительное пребывание там в качестве гостя <…> может только укрепить его в этом совершенно диком намерении. <…> Но какое страшное разочарование ждет его, если он, увлекшись, ухнет!»

Несомненно, что Владимир хорошо знал импульсивный характер своего брата Константина – жили в одной квартире несколько лет, а это дорогого стоит. Знал, что Константин бывает психически неустойчив в длительной работе, часто колеблется с выбором, чувствуя спонтанность своей натуры. Да, он способен к взрывному принятию решения, как в случае с французским консулом Дерше, но труд упорный ему не то чтобы тошен, а не по нутру. Леонтьев сам в 1888 году признался своему почитателю Анатолию Александрову: «Я много трудиться ненавижу; люблю работать, слегка *порхая* по цветочкам чужого ума; а с немецким языком не распорхаешься; тут поневоле приходиться быть “честным тружеником”, что совсем не в моей легкомысленной натуре и даже отчасти и не в *правилах* моих».

Убийственная характеристика, кто-то скажет, которой обычно сторонятся биографы, но этим свойством своим, очень кстати характерным для русских, Леонтьев даже гордился, считая, что острого, быстро схватывающего суть проблемы ума не заменить тупым долгосидением и долготерпением за письменным столом. Знание собственной натуры, подтверждение которой он часто находил в русских людях, Леонтьев использовал и для политических выводов. Если народ предпочитает заниматься только любимыми делами, уходя от нудных и монотонных, то необходимо принуждение со стороны государства, церкви, начальства, всей той иерархической системы, существование которой он считал не-

обходимой для развития государства. Несомненную пользу на определенном этапе он видел и в крепостном праве: «Только с утверждением нового особого рода феодализма (крепостного права. – *М. Ч.*), вызванного необходимостью стянуть, расслоить и этим дисциплинировать слишком широкую и слишком однообразную Россию, государство наше начало расти». И потому мы еще раз подчеркнем, что самые глубокие выводы Леонтьева вырастают на русской почве, они есть отражение той объективной истины, присущей природе и обществу.

Он не идеализирует ни себя, ни свой народ и потому считает, что усмирить свою гордыню, свое «геройство» можно только через жесткое аскетическое принуждение, через страх Божий, через обретение веры, основой которой является смирение. Если к тому же вспомнить запись в «Хронологии моей жизни» от 1870 года о желании уйти в монастырь, то обет, данный перед иконой Богородицы, был далеко не так спонтанен, как кажется на первый взгляд. В Бога Леонтьев верил и до чудесного исцеления.

Между тем Маша возвращается на дачу Каламария и до 15 августа получает от дяди два небольших письма, рассказывающих о хорошем приеме его в монастыре.

В первой половине августа Леонтьев неожиданно возвращается с Афона, чтобы найти некий важный документ, касающийся афонских дел. Вероятно, это было предписание посла Игнатьева по церковным делам, выданное в мае. Леонтьева сопровождал, учитывая его болезненное лихорадочное состояние, афонский инок Геннадий, вскоре вернувшийся в свою обитель. Леонтьев решает остаться в Салониках до сентября, чтобы вместе с племянницей и Ольгой Кошевской добраться в Константинополь, попасть в посольство, увидеться с Игнатьевым, чтобы решить свои усложнившиеся дела, как служебные, так и личные.

Перерыв в поисках документа все, что можно, Леонтьев, наконец, вспомнил о чемоданчике, где хранил рукописи своих произведений, имевшие общее название «Река времен». Чемоданчик этот во время его отъезда на Афон находился у Маши. Леонтьев взял его к себе, чтобы

поискать служебную записку среди листов рукописи. И вот чудо: он действительно находит нужный документ в чемоданчике, а все свои рукописи, как врага, так долго державшего в своих недрах требуемую записку и доставившего ему много неприятных минут, бросает в камин и без сожаления поджигает их. Очередной импульсивный поступок, о котором он впоследствии нисколько не жалел.

На исходе дня Леонтьев читает Маше и Ольге вечерню, рассказывает им о прочтенных на Афоне житиях святых. Ему тягостно, когда являются с официальными визитами те или иные европейские консулы или турецкие представители паши. В эти визиты Леонтьев «разносил Европу», что еще больше укрепило местное общество во мнении, что русский консул помешан.

В конце августа Леонтьев, Маша и Ольга Кошевская ждут корабль в Константинополь. Однако с пришедшим пароходом прибывают дурные вести: в Константинополе разразилась эпидемия холеры. Тогда Леонтьев, вот судьба, отправляет гостей в Россию через Македонию и Дунай, а сам в начале сентября уезжает на Афон «умирать» – так он скажет позднее. Решение о своей дальнейшей консульской карьере он откладывает до следующего года.

Глава 2
Афон

Знание истинного духа Христианства
ныне так мало распространено.

К. Н. Леонтьев.
Четыре письма с Афона

1

Однако работа, как и любовь, что цепь. Она держит, не отпускает, да и служебный долг дворянина и государственника Леонтьева

не позволяет оставить консульские дела. В конце сентября ему на Афон привозят письмо от Игнатьева (от 21 сентября 1871 г.), в котором сообщается о смене власти в Македонии и скором приезде нового губернатора на место службы в Салоники. Письмо заканчивалось характерным постскриптумом: «По случаю назначения нового Генерал-Губернатора, прошу Вас не удаляться из Салоник без особенной служебной надобности и испрашивать на то всякий раз особое разрешение Посольства».

Опять дела, ставшие теперь ненавистными, а он уже покинул место службы и без разрешения отбыл на Афон. Место нахождения Леонтьева ни для кого не составляет секрета: ни для посольства, ни для Игнатьева, который «заботливо» предупреждает, подчеркивая слово «не удаляться». Что делать?

Свой пыл неофита, «рвения к монашеству» (так он характеризует свое состояние того времени) Леонтьев не хочет распылять, но сомнения и сила привычки поклонения властям раздирают его душу. Он показывает письмо отцу Иерониму и просит совета и благословения. Мудрый духовник знает не только Святое Писание и монашеские обряды, но и человеческие души. Он советует ему продолжить службу, накопить денег, чтобы отдать множественные долги, а потом идти в монастырь. Отец Иероним предупреждает, что, не разделавшись с мирской жизнью в буквальном смысле этого слова, точнее, не заплатив мирские долги, которые, как известно, долги чести, он будет мучиться угрызениями совести, и эти муки вырвут его из монастыря.

Леонтьев возражает, говорит, что он обещал Богородице стать монахом, и просит пострижения, чтобы выполнить обет. Он самонадеянно думает, что от его высоко понятого долга отцы умилятся и тут же возведут его в монашеский чин без послушания и проверки характера на прочность и смирение, которого они не чувствуют в нем. И первый признак своеволия уже налицо – Леонтьев не выполняет совет о. Иеронима о продолжении службы. Искушенный в словесных играх дипломатических интриг, знаток индукции Милля, он плохо понимает по-

вседневные, будничные дела, Леонтьев не догадывается, что святым отцам не впервой приходилось общаться с беглецами, желающими скрыться за монастырскими стенами от долгов, растрат, измен и даже тайных убийств, мучащих душу.

Первым делом святые отцы предлагают Леонтьеву исповедоваться, готовят его к исповеди, и выслушав его откровения и причастив его, на другой день приглашают его к себе и аргументированно отказывают ему в просьбе. Леонтьев не готов к тяжкому подвижничеству, решают они, но верят в его искренность, не прогоняют прочь, как других неофитов, но хотят проверить его. И это не только их личное желание, этого требует монастырский устав.

Леонтьев наивно думает, что в монастыре дела его под присмотром Бога пойдут так, что долги сами собой «заплатятся и все устроится». Отказ святых отцов в постриге пролился на Леонтьева холодным дождем. Он «поежился, поежился», но, помня об их советах, скрепя сердце, решает продолжить службу. Чтобы быть в курсе консульских дел, он наделяет полномочиями курьера своего помощника, молодого молдованина Петраки Узун Тома, бывшего у него помощником еще в Тульче и которого он хочет официально назначить третьим драгоманом при консульстве в Салониках. Отныне письма, приходящие на имя Леонтьева, быстро доставляются на Афон.

Служебные донесения от Леонтьева с пометкой «из Солуня» будут поступать в Константинополь до конца 1871 года. В них будет информация о встречах с новым губернатором Македонии Измаил-Пашой, о польских эмигрантах (от 31 октября), подробное описание о разрешении конфликта в Ильинском скиту на Афоне (от 9 ноября), о состоянии дел в болгарской школе (от 14 ноября), об эпидемиях холеры в городках Македонии (от 2 декабря).

Ходить же под дамокловым мечом неправды дворянин Леонтьев долго не мог. Он пишет прошение (24 октября 1871 г.) о предоставлении ему отпуска, пока отпуска, хотя терминология прошения имеет некую двусмысленность: «Продолжая чувствовать себя весьма нездоровым и

не находя в Солуне средств к излечению, всепокорнейшее прошу Вас уволить меня от занятий по службе и дать мне четырехмесячный отпуск с сохранением двух третей жалованья <…>, так как я уже 2 ½ года отпуском не пользовался. Я имею намерение большую часть моего отпуска провести на Афонской горе…» Нетрудно представить, какие мысли тревожили Леонтьева во время написания этого прошения. Прежняя жизнь дипломата, общение с блестящими собеседниками, требующими незаурядного ума, находчивости и такта, в числе которых дипломаты, турецкие губернаторы, консулы других стран, посольские дамы, другие чиновники, выходцы из самых аристократических родов России, заканчивалась. Хороший и постоянный заработок, уважение коллег, поклонение христиан Востока, которых требовалось защищать, ласки молодых любовниц, красота восточных городов и любование экзотическими нарядами их жителей уходило в прошлое. То, к чему он так вожделенно стремился 10 лет назад, он разрушал собственными руками. Было от чего загрустить и крепко подумать. Но теперь в его душе укоренился страх Божий, страх невыполнения обета, данного Божьей Матери. Пока о вере говорить не приходилось.

Согласие на 4-месячный отпуск пришло лишь 17 декабря 1871 года, а пока требовалось исполнять свои обязанности. Приходилось врать, что он живет в Салониках. Нетрудно было уличить Леонтьева в этой благой лжи. Игнатьев прямо и строго спрашивает в письме от 23 декабря: «Прошу Вас, Милостивый государь, разъяснить эти противоречия и вывести меня из недоразумения, сообщить, где именно пребывали Вы в последнее время: в Солуне ли или на Афоне, и в этом последнем случае – когда вы выехали из места служения Вашего и когда возвратились из Вашей поездки».

В это время на голову Леонтьева сваливается еще одно душевное испытание. На границе (Ватопедский Пирг) с Афоном, на который женщин не допускают, внезапно появляются из России жена Лиза и ее сестра Леля. Леонтьев настроился на монашескую жизнь, хочет молиться, поститься (Рождественский пост), читать религиозные книги, общать-

ся с духовниками: отцами Иеронимом и Макарием. Его же отвлекают праздными супружескими обязанностями: надо встретить, устроить, накормить, напоить, ублажить. Тем более что к сестре жены душа не лежит уже давно, еще с Крымской войны. Новый 1872 год он встречает на Ватопедском Пирге в обществе жены и свояченицы.

Здесь Леонтьев начинает писать оправдательное письмо своему начальнику – послу Игнатьеву. Основной причиной недоразумений между ними Леонтьев называет свое нездоровье и признает, что действительно в ноябре находился на Святой Горе. «Убедившись, что в Солуне я не буду в силах ни писать, а тем более переписывать донесений; ни выходить из комнаты для тех визитов и сношений, без которых я не мог быть верен даже инструкциям на счет нового Вали-Паши, данным мне Вашим Превосходительством (от 21 сентября 1871 г. за № 870); зная по опыту, что небольшие поездки по горам прекращают лихорадку…» и т. д. По письму выходит так, что когда Леонтьев выехал проветриться в горы, на него наваливаются дела по разрешению спора в Ильинском скиту, поддержанию русского элемента на Афоне, а также сильные снегопады и простуда, что надпись в письмах «Солунь», «соответствует более флагу и Канцелярии, чем собственной особе Консула».

В начале января Леонтьев приезжает в Солунь и дожидается здесь Николая Якубовского, которому надлежит сдать дела. Здесь он дописывает объяснительное письмо Игнатьеву и 20 января 1872 года отправляет его. Вернулись приступы лихорадки, бросавшей Леонтьева то в жар, то в холод. Он изнемогал, лицо пожелтело, глаза воспалились. От красавца молодца, каким он выглядел два года назад, совсем мало что осталось. К тому же чувство страха за жизнь еще не совсем покинуло его, одна мечта спасает его сознание – Афон поможет, Афон вылечит его духовно и физически, и он станет монахом. Сильным, здоровым монахом, которому покорится подъем на высокую гору Афон (2033 м), с которой он обозрит всю священную местность и свою собственную жизнь, облегченно и с улыбкой вздохнет и вернется исполнять свои монашеские обязанности, выше которых ничего нет.

Наконец-то нудная процедура передачи полномочий с просмотром всех дел со времени образования консульства в Салониках закончилась, но есть еще жена, которую надо куда-то пристроить. Леонтьев просит верного своего помощника Петраки сопроводить ее в Галлиполи, а сам вновь уезжает на Афон за спасением души и… тела.

2

«Я представил себе человека русского, образованного, *думающего,* который долго (подобно мне) жил без руководства веры… и, наконец, почувствовал потребность этого руководства», – так писал Леонтьев в предисловии к «Четырем письмам с Афона», под таким названием они опубликованы в томе 6(1) Полного собрания сочинений и писем от 2005 года (*К. Леонтьев.* Полное собрание сочинений и писем. В 12 т. Спб.: «Владимир Даль»).

Писем, однако, гораздо больше, но это «довольно большое сочинение», по словам Леонтьева, постигла судьба почти всех его произведений – длительные проволочки с публикацией. В данном случае письма так и не были опубликованы при жизни автора, и считались утраченными, пока в начале XX века не нашли в библиотеке Московской духовной академии рукописную копию четырех писем, сделанную Марьей Владимировной Леонтьевой. Предисловие к «отрывкам» из этих писем Леонтьев подготовил в 1884 году, и именно они полно раскрывают его нравственное восхождение к вере, к смирению.

Христианское смирение – это целая наука. Нет, не та реальная наука, в которой «наслаждение научным творчеством» будет с годами слабеть, а люди в конце концов удовлетворятся лишь пассивным знанием, а наука христианской жизни, «не слабеющей с годами, той, что очень сложно овладеть». Она будет даваться Леонтьеву с великим трудом, да, разве ж только ему одному. Познание канонов христианской жизни – сложный процесс, ими овладевает не каждый, даже принявший, казалось бы, верное и незыблемое решение служить Богу. Трудно стать религиозным

аскетом, победившим свою гордыню. И хотя чувство религиозного сознания было в Леонтьеве развито с детства: мать, тетка старшие сестры каждый день читали Псалтырь, – Леонтьеву приходилось на Афоне начинать постижение христианских истин практически с нуля.

«Уничтожь в себе волю!» – первая и основная заповедь православного монашества. Речь идет не о мирской воле, которая нужна лишь в начале христианского пути, чтобы физически привыкнуть к условиям смиренной и нестяжательной жизни, той, когда все имущественно равны. Речь идет о главной заповеди Христа: «Не творить волю свою, а волю пославшего Его Отца». Монахи же своей жизнью должны повторять путь Христа, то есть поклоняться только воле Господа Бога, как Христос. Стать безвольным для иноков и Леонтьева, и том числе, означало смиренное послушание Богу и его наместнику в монастыре – игумену, обладавшему безграничной властью. Надо смиряться перед всякими испытаниями, готовыми свалиться на тебя «градом рыгающей грозы», говоря: «Так Богу угодно».

В современном переводе на хозяйственно-бытовой язык всех без исключения корпоративных сообществ и, уж тем более, государственных служащих, эта заповедь означает: «Начальник всегда прав». Однако если в секуляризованном обществе дисциплина носит материальный характер, то в монастыре – это «несокрушимая *идеальная* узда веры, любви и почтения». В афонском монастыре Святого великомученика Пантелеймона (Руссик или Новый Руссик), где образована киновия (общежитский монастырь, где все монахи равны), духовником Леонтьева стал отец Иероним – самоучка из старооскольских купцов. Высокообразованный священник, с которым Леонтьев мог обсуждать воззрения древних греков и римлян, славянофила Хомякова и западника Герцена и других современных философов, но эти вольные разговоры допустимы в свободное от молитв и других трудов время.

Перечень послушаний у Леонтьева, надо прямо сказать, щадящий: он много читает, в его келье на столе лежат Прудон и Пророк Давид, Байрон и Златоуст, Иоанн Дамаскин и Гёте, Хомяков и Герцен. Ему позволи-

тельно бродить по окрестностям, слушать рассказы русских паломников о состоянии дел в России, читать газеты. Опытный и много повидавший на своем веку отец Иероним, призванный в Руссик еще в 1840 году, жалеет больного лихорадкой Леонтьева и старается создать ему условия для выздоровления. Кроме того, Леонтьев все еще государственный чиновник, консул, представитель могущественной Российской империи, то есть достаточно вольный человек.

Но раз за разом в душе Леонтьева звучит набатом главное условие монашеской жизни: «Уничтожь в себе волю!» Кем бы ни был в мирской жизни монах, здесь это не играет никакой роли, здесь все равны, как при коммунизме. Леонтьева озаряет оригинальная мысль, что киновии являются прекрасным образцом для изучения основ коммунизма, «который как частное проявление общественной жизни возможен, но лишь под условием величайшей дисциплины и даже, если хочешь, страха».

И потому – уничтожь в себе волю! Тебе не хочется сегодня молиться, а само присутствие на литургии тяжело физически и обременительно душевно, терпи, сожми зубы, закрой рот, из которого готовы вырваться возражения, и иди, куда зовет тебя духовник. Тот уверяет, что ты встретишь в заказных молитвах одно или два слова, от которых вдруг раскроется душа твоя в радости, и ты будешь утешен и вознагражден тут же за свои усилия.

«Уничтожь в себе волю, – так говорит Леонтьев, когда звонят к заутрене в полночь, а тебе хочется спать. Терпи и иди! Тебе хочется прочесть новую и нужную тебе книгу? – иди к духовнику и спроси благословения. “Нет тебе благословения, сын мой”. Молчи и не спрашивай: почему? Если он, усталый, захочет объяснить тебе свой отказ, то сделает это без напоминания и просьб.

– Ты не *понесешь* этой книги, – отвечает тот, – ты еще легкомыслен.

Это говорит тот, у которого нет образования, тебе, с высшим образованием, что ты легкомыслен. Оскорбление? Ничуть? Ты должен задуматься о своем душевном состоянии и найти подтверждение, что ты действительно недостаточно серьезен и знаком с основами христианства,

чтобы понять изложенное в этой книге. И потому ты идешь к духовнику без гнева и сожаления, чтобы поблагодарить его, «падаешь в ноги:

– Прости отец, я осуждал вас сегодня за ваши слова о моем легкомыслии.

Он отвечает тебе земным поклоном. Мы примирены».

Ни в коем случае нельзя поступать в соответствии с поговоркой: «Не замай, сдачи дам». Многие так действуют в мирской жизни, монахам внутренний голос твердит: «Стерпи, стерпи». Смирение приобретается не мыслями смиренными, а добровольным подчинением себя смирительным обстоятельствам и поиску примиряющих слов к оппоненту. «Искреннее смирение, вечная тревога неопытной совести о том, чтобы не впасть во *внутреннюю гордость*, чтобы, стремясь к безгрешности, не осмелиться почесть себя святым», – размышляет Леонтьев.

Наука смирения дается эстету и аристократу Леонтьеву тяжело, хотя он признавал, что смирение также наполнено непохожей ни на что красотой и мудростью человеческих отношений. Словесная перепалка, а уж тем более драка, никогда не разрешала проблем, лишь усугубляла их. Афон – одно из немногих мест на земле, где никто никогда не спорит, здесь мир и согласие, потому что есть для всех единые правила. Не принимающие их – изгоняются. Не так ли должно быть устроено справедливое государство? Ярких и необычных примеров из иноческой жизни для размышлений на Афоне множество. Не ленись – думай и делай выводы.

Возьмем, к примеру, устав в монастыре Святого Пантелеймона, действующий с IV века от Василия Великого по сей день. Обычному человеку даже невозможно представить, что такой распорядок можно вынести хотя бы неделю. В час ночи ударяет колокол, и все монахи собираются к утренней молитве, которая продолжается четыре – четыре с половиной часа, сразу после нее начинается ранняя литургия, длящаяся до шести часов утра. Ночные молитвы, говоря современным языком, наиболее продуктивны, потому что в ночи ум бывает светлее и чище, мысль возвышеннее, а сердце теплее к Богу. Всего один час на

отдых, а с семи до девяти часов послушание, то есть работа на благо братии. Например, святой Силуан нес послушание на мельнице, куда носил четырехпудовые мешки с зерном от моря по крутым ступенькам на высоту в сотни метров. В часы отдыха на постель Силуан не ложился, а спал, сидя на табуретке.

Далее о распорядке дня. В 9.00 завтрак, а затем до 13 часов послушание, в 13.00 чай и отдых до 15.00, а далее послушание до 18.00. Вечерняя молитва за два часа до захода солнца, а повечерие при закате солнца, после него нельзя не только есть, но и пить, разговаривать и сходиться в кельях. О телесном покое на Афоне никто не думает, здесь не предусмотрены не только бани, но и купания в море. Некоторые строгие подвижники не умывают даже головы и лица. Видимо, Бог помогает им сохранять наряду с внутренней и внешнюю чистоту.

Обретенная здесь святость проверяется самым что ни есть опытным путем. Умерших монахов хоронят без гроба, лишь в саване. Через три года вскрывают могилу и смотрят: истлела ли полностью плоть. Если плоти нет, а кости и череп желтые, словно восковые, их обмывают в вине и святой воде, их складывают в специальные хранилища («костницы») как мощи святых. От некоторых костей исходит приятный запах, они, что называется, мироточат. Тела, что не освободились от греховной плоти, зарывают обратно, а монахи усиленно молятся за святость душ этих монахов.

Леонтьеву важны вопросы питания: ему, ценителю тонкого обхождения и гурману, тяжко менять привычный образ жизни, когда по утрам тебя ждет дымящийся кофе со сливками и мягкими булочками, а на «десерт» дорогая сигара. Здесь все просто, так просто, что волосы шевелятся от увиденного. Вот отец Пахомий приучил себя к следующей трапезе. Натолчет камнем гнилых каштанов, прибавит, если найдет, сухарей, тоже зацветших, и все содержимое зальет водой и подсыплет мучицы. Взболтает все и ест себе на здоровье, даже не кипятя эту тюрю. Десерт же у него – дикие сухие плоды, собранные на лесных тропинках. И не единого слова сожаления или недовольства, или

жалоб на тяготы жизни. «Он здоров, улыбается умно, с хитринкой во взгляде», – с удивлением отмечает Леонтьев.

Такие христианские подвиги не для больного лихорадкой Леонтьева, но всенощные молитвы, «которые длились по 8 и более часов», совершать приходится. «Я помню, как в Великий Четверг на Страстной Отец Иероним, сам изнеможенный и больной, пришел нарочно ко мне в келью и почти гневно прогнал меня в Церковь только на минуту, чтобы приложиться по Афонскому обычаю к иконе, на которой было изображено Распятие. – Я с трудом подчинился». Особенно трудно переносимым оказался Великий пост, когда из рациона полностью исключалась любая белковая пища. Леонтьев, откровенно говоря, еле таскал ноги, недуги его усилились, «понос и лихорадка доводили меня до отчаяния». Ему очень хотелось следовать увиденным примерам, но слабое здоровье диктовало свои жестокие условия и победить их так же трудно, как и унять гордыню.

3

Примечательна особенность личности Леонтьева: как бы ни был он болен, голова продолжала работать, генерируя мысли. Эту сильную сторону своего характера он сам отмечал, и она его радовала несказанно: «Давно я уже выучился не давать обстоятельствам вполне подавлять свой ум и воображение, и даже… когда я зимой в отчаянии ехал из Салоник *умирать* на Афон, я на станциях *обдумывал впервые отчетливо* свою гипотезу *триединого процесса и вторичного упрощения*. – Остановившись в Зографе (болгарский монастырь на Афоне. – *М. Ч.*), я две недели не выходил из комнаты и писал об этом день и ночь… даже полулежа в постели и чередуя только это занятие с самой горькой, с самой искренней и чуть ли не *отходной* молитвой…».

Это было в том январе 1872 года после сдачи дел по солунскому консульству Якубовскому, когда он в письме Игнатьеву объяснял, что «ни много писать, ни принимать, ни выходить не могу», Леонтьеву

пришли на ум положения гипотезы триединого процесса. Он писал очерки «Прогресс и развитие», ставшие частями его будущего любимого и самого сильного трактата «Византизм и славянство». Позже (1887) Леонтьев рассказывал своему ученику Александрову, что две самые лучшие вещи «Византизм и Славянство» и роман «Одиссей Полихрониадес» он «написал после 1 $^{1}/_{2}$ года общения с Афонскими монахами, чтения аскетических писателей и жесточайшей как плотской, так и духовной борьбы с самим собой».

Кто же усомнится, что борьба с собой есть самая упорная и тяжелая борьба, тайно ищущая компромиссов и послаблений к себе, любимому. Стоит только разок пожалеть себя, как все ранее достигнутое летит прахом, стоит лишь сказать: «Ну последний раз, и больше не буду», или сказать «хочу», как все надо начинать сначала. Леонтьев прежде всего боролся с честолюбием, его буквально терзала мысль, что он всеми забыт, что жизнь прошла прахом, что он ничего значимого не создал, но одновременно он хотел забыть всех и «со скрежетом зубов, а не с истинным смирением покорялся этой мысли о забвении мира и смерти».

Леонтьев, что называется, ломал себя, но гордыня (честолюбие) не сдавалась, мысли о спасении тела, а не души, занимали большую часть времени, и только под влиянием бесед с отцами Иеронимом и Макарием духовное смирение выходило на первый план. Отец Иероним подтверждал, что борьба с самолюбием даже у афонских пустынников, живущих давно в лесу или в пещерах, самая упорная из всех и длится она до гроба.

Константину Леонтьеву ясно, что тот перелом, случившийся с ним на даче под Салониками, это также Божий промысел, что Богу «не угодно было, чтобы я забылся и забыл Его». Вот так Леонтьев приучался понимать свою судьбу, но тогда он только-только подступает к духовному осознанию того. Задавался ли он вопросом, что Богу неугодны и предыдущие его художественные сочинения, не говоря уж об успехе, мы не знаем.

Кроме борьбы с гордыней, его тревожат мысли о России, о ее судьбе, он чувствует, что его опыт и знания, оформленные в виде политических статей, помогут русским дипломатам в построении тактики и стратегии взаимоотношений со славянскими народами, которые уже готовы на решительный бой с турецким игом для обретения национальной независимости. Но какой ценой? Леонтьев предчувствует (по-другому сказать пока нельзя) трудности, но это чувство сродни глубочайшему из знаний, ибо интуиция, как и ум, Божьи дары. Ум в православном понимании – это часть души, это не разум, направленный на удовлетворение нескончаемых потребностей. Ведь недаром сложена в русском православном народе поговорка: «Ум за разум зашел». Она понятна лишь тем, кто знает, что ум лежит в той же мистической плоскости, что и душа.

4

Живя на Афоне, в основном в монастыре Святого Пантелеймона (Новый Руссик), Леонтьев оказывается в центре греко-болгарской распри, начавшейся между Болгарией и константинопольским патриархатом. Султан в 1870 году по просьбе болгар издал фирман (указ) о Болгарском экзархате, которым предусматривалась самостоятельность болгарской церкви. Отделение (схизма) произошло без согласия Вселенского Патриарха, как положено. В крещенский сочельник (6 января) 1872 года болгарские епископы самочинно совершили литургию, а вместо возношения имени Константинопольского патриарха поминали лишь «все епископство болгарское». После этого Вселенский Патриарх Анфим собрал собор и объявил болгар раскольниками, а болгарскую церковь отлучил от Вселенской Патриархии.

Русская Православная Церковь (Синод) воздержалась от официального и прямого осуждения Болгарского Экзархата в филетизме (новый термин, более мягкий по значению, чем схизма), то есть в праве создавать собственные народные церкви. Скорее всего потому, что Ольга Константиновна, племянница Александра II – жена короля Греции Георга I.

Он – датский принц – ставленник Великобритании на греческом престоле, а куда англичан допустили, там жди русофобской политики.

Либеральная общественность России встала на сторону болгар, одновременно пороча в средствах массовой информации греков, называя их лживыми. Сотни болгар, приглашаемых русским правительством, учились в российских университетах, а потом уезжали на родину добиваться независимости для Болгарии. Русские дарили болгарам искреннее сострадание, и даже женская любовь не обошла их стороной, достаточно вспомнить роман И. С. Тургенева «Накануне». Но странное дело, чаще всего те, кто учился в России, становились в Болгарии на русофобские позиции. Будто сравнили они свои души с русскими широкими натурами, и сравнение оказалось не в их пользу. Но я забегаю вперед. Пока же только немногие дальновидные политики, и в их числе Леонтьев, утверждали нечто подобное античной мудрости: «Бойтесь данайцев, дары приносящих».

Леонтьев именно на Афоне, кроме «Писем с Афона», создал вчерне две статьи «Панславизм и греки» и «Панславизм на Афоне» и в них отчеканил следующее: «Болгары не станут, поверьте, стесняться и с нами, русскими, как скоро увидят, что мы не вторим всем увлечениям их племенного раздражения», и добавлял: «Болгары, мы знаем, вовсе не агнцы, это народ хитрый, искусный, упорный и терпеливый – народ, который заботится теперь лишь о том, чтобы выделить свою народность какими бы то ни было путями из других, более выросших соседних наций».

Однако и грекам Леонтьев как политический и исторический мыслитель не дает спуску, говоря: «Греки, умные греки, – где ваш ум?», увещевая их от излишней подозрительности к русским намерениям. Леонтьев разъясняет им, что, например, Критское восстание было инициировано Францией, а не Россией, что та же Франция «явно ласкала болгар, обещая им *все*, чего они хотят, за переход в униатство», что, когда греки жаловались на притеснения турок, то Россия защищала их так же, как защищала и болгар от турок. И делает вывод: «Такова особая, любопытная политическая судьба этой *деспотической* России».

И сам Леонтьев как консул ставшей грекам ненавистной России обвиняется в панславизме из-за присутствия на святой горе Афон.

Что же такое панславизм? Это один из жупелов, которым пугали западные правители и печатные средства своего обывателя. Он весьма распространен в Европе с начала XIX века и, может быть, с «легкой» руки Наполеона, как-то сказавшего: «Через 50 лет Европа будет республиканской или казацкой». Кто только не пугал Европу русской угрозой. Касался термин панславизма тех «агрессивных» намерений, приписываемых русским, имевшим якобы целью создание универсальной монархии из славянских народов для установления господства над Европой.

Корни этих мифов тянутся из XVIII века, когда императрица Екатерина II после Георгиевского трактата (1783), по которому устанавливался протекторат над Восточной Грузией, пыталась реализовать так называемый греческий проект. В состав этого проекта входил разгром совместно с Австрией Османской империи и создание Греческой в границах Византийской империи с великим князем Константином Павловичем (внуком Екатерины) на троне. Как обычно этому проекту помешало дипломатическое противодействие европейских государств во главе с Великобританией. Хотя надо признать с очевидностью, что, имея на тот момент во главе сухопутных войск Александра Васильевича Суворова, а морских – Федора Федоровича Ушакова, Россия достигла бы своих планов. Ушаков, кстати, освободил от французских завоевателей семь греческих (Ионических) островов, главный из которых Корфу (Керкира). Проявив незаурядные дипломатические способности, Ушаков образовал на них греческую республику под протекторатом России и Турции. Эта республика изрядно помогла бы русским в реализации планов по решению Восточного вопроса, но, странное дело, с 1815 года эти острова вдруг оказались под протекторатом Великобритании. Видимо, Александр I, расплачиваясь с англичанами за помощь в организации убийства своего отца Павла I, подарил Ионические острова извечному русскому врагу, а сам Федор Ушаков стал в большой немилости у Александра. Да, если взяться за перечисление

всех потерь и упущенных возможностей России, то глазам предстал бы список в десятки страниц мелкого шрифта.

Разоблачению ложно приписываемому России панславизму, в котором особенно упорно ее обвиняли греки, несомненно, не без помощи Англии, посвящены статьи Константина Леонтьева: «Панславизм и греки» и «Панславизм на Афоне». Греки понимали под панславизмом не что иное, как государственное объединение всех славян под флагом русской державы, чтобы потом обрусить и их, греков. По поводу этих различных, в том числе, и мелочных придирок со стороны Греции к России Леонтьев с насмешкой писал:

«Уважают греки русских духовников? Панславизм.

Берут греки других монастырей из греческих иноков Руссика, живущих дружно с русскими, игумена? Панславизм.

Богат Зограф болгарский? Панславизм, – потому что болгары и русские – одно и то же.

Богат Ватопед греческий? Панславизм, – потому что имения его в России.

Бедны греческие монастыри Ксеноф, Симо-Петр, Эсфиген, – *опасно;* их подкупят…»

И еще несколько примеров благоглупостей из разряда «экспансионистских» устремлений России по русификации Балкан и притеснения Греции, мечтавшей в это время об «эллинизации» этого полуострова. Ведь так обычно и бывает в международных отношениях: у кого срываются тайные планы, то в подобных планах обвиняются другие. Именно вор кричит: «Держи вора!»

В год завершения «Византизма и славянства» (1873) Леонтьев приходит к выводу, впоследствии неоднократно подтвержденному ходом событий на Балканах: «Образование одного сплошного и всеславянского государства было бы началом падения Царства русского. Слияние славян в одно государство было бы кануном разложения России, “Русское море” иссякло бы от слияния в нем “славянских ручьев”. Греки об этом никогда не думают…»

Если бы только греки! Об этом не думали и русские, и не только представители так называемой передовой общественности. Тургенев, например, написавший жалостливый роман о болгарах «Накануне», Игнатьев, необоснованно «подаривший» по Сан-Стефанскому договору (1878) Болгарии 60% Балкан, что привело к обострению международной обстановки.

Пока же идет 1872 год, и больной консул Леонтьев, активно способствовавший устранению монашеской распри в Ильинском скиту, обвинен в русофобских газетах, издаваемых в Константинополе, во взяточничестве и пособничестве «хохлам», основным насельникам Ильинского скита. А это тоже «панславизм». Обеспокоенный визгом газет посол Игнатьев посылает посольского врача Василия Константиновича Каракановского, болгарина и бывшего стипендиата Московского Славянского комитета, для негласного освидетельствования Леонтьева на предмет помешательства. Посылает, руководствуясь, лучшими побуждениями, как Клавдий подсылает в этих же целях к принцу Гамлету Розенкранца и Гильденстерна. Выбор Каракановского продуман до мелочей: он знаком с Леонтьевым с 1867 года и не может вызвать подозрений. И, действительно, пребывание врача на Афоне Леонтьева ничуть не настораживает. Напротив, начатую здесь статью о «среднем европейце как идеале и орудии всемирного разрушения» он оформил в любимом им жанре «писем», адресованных доктору-болгарину. Таковым был Каракановский.

По возвращению Каракановского Игнатьев выдает Леонтьеву предписание от 15 августа 1872 года о немедленном возвращении с Афона в Константинополь. В успокоительном тоне Леонтьев отвечает, что хотел бы остаться здесь до октября, так как он активно начал сотрудничать с издателем «Русского вестника» М. Н. Катковым, который «недурно платит за мои восточные повести», а также ему хотелось бы закончить «большой роман из здешнего быта». Речь идет о романе «Одиссей Полихониадес». Относительно газетной шумихи вокруг его имени Леон-

тьев справедливо замечает: «Что касается до греков и до их клевет, то две-три недели, больше или меньше, конечно, не ухудшат и не улучшат их политических о нас мнений, и я уверен, что начальство не захочет никогда в угоду им подвергать страданиям и без того изможденного и измученного человека… Греческий гнев не утолится, если и я буду принесен им в жертву». Также он сообщает, что на службу консульскую он возвратиться теперь не в силах и будет просить отставки и что намерен возвратиться в Россию по состоянию здоровья, так как плохо переносит жаркое и сухое лето.

Вдогонку этому официальному письму Леонтьев посылает Игнатьеву частное письмо, в котором уже довольно нелицеприятно делает выговор начальнику за упрек в «умении» делать долги. Наряду с благодарностью за снисходительность и доброту, он пишет: «Разве бездарность, которой мы так богаты на службе, и без долгов не в тысячу раз вреднее долгов без бездарности?.. Доброту Вашу я ценю, Вы знаете, но о долгах не понимаю никаких замечаний, ибо это дело частное». Наверное, замечание Игнатьева о долгах Леонтьева – это не выговор, а дружеский совет: быть более взвешенным в финансовых делах. Легко и вольно нам обижаться на «дружеские» советы, но гораздо труднее великодушно забывать о них. Леонтьев в 1878 году признавался в письме к О. С. Карцовой: «Правда, меня щадили полтора года, даром выдавали мне жалованье, дали мне пенсию выше чина, может быть, но понимаете, явилось уже подозрение в негодности…». Кто распорядился давать жалованье консулу, молящемуся на Афоне и не выполняющему своих прямых обязанностей? Вполне возможно, что Горчаков или Стремоухов, очень благоволившие талантливому консулу, а не Игнатьев, опасавшийся брать на себя такую ответственность, как выплату денег.

Несмотря на болезненное состояние, Леонтьев на Афоне ощущает небывалый творческий взлет. Словно намоленная сотнями лет святость этих мест питает его и подвигает на литературные подвиги. «Вокруг была поэзия; вся внешняя обстановка жизни и весь внутренний строй ее:

природа, обычаи, язык, уставы, взгляды, идеалы, одежды и постройки, само отсутствие правильных дорог – все было не европейское, все переносило меня в мир Восточный, Византийский».

Под воздействием этих мыслей и дум о древней Византийской империи, традиции которой и единый взгляд на догматы Православия прочной скрепой соединяли всех насельников Афона, Леонтьев начинает свой основной труд «Византизм и славянство». Пишется легко и свободно. Ему не хочется уезжать с Афона.

Приходят и такие мысли. Для монастырей нужны не только духовники, богословы, певчие, иноки, служащие в церкви, но и экономы, так сказать, практические иноки, что ответственны за приобретение средств на убранство храмов, за строительство новых келий, за прием паломников, да и мало ли функций у монастырей, практикующих, по сути, натуральное хозяйство. Леонтьев мечтает о хозяйственном монашестве, потому что и такая служба есть служба Господу нашему Иисусу Христу, ведь у него есть прилежание к бумагам и умение писать отчеты. Леонтьеву ясно, что распорядок, которому следуют аскеты в скитах, ему не под силу, но выполнять обет, данный перед иконой Богородицы, покровительнице Афона, надо ему, а не кому-то вместо него. Он планирует, что, освободившись от хозяйственных обязанностей монаха-эконома, он, удалившись в свою келью, и будет писать романы или политические статьи и посылать их в Москву. С Михаилом Катковым уже налажены связи и посланы статьи о панславизме. Катков принял их и выслал немалый аванс.

Леонтьев мечтает остаться на Афоне и летом 1872 года еще раз просит о постриге, и опять получает отказ. Возможно, что он, барин по натуре и поведению, мог бы взбрыкнуть недовольно, но… воспитание и безграничное уважение к отцу Иерониму принудило его наклонить молча голову и отойти, не солоно хлебавши. Наука смирения и безропотного подчинения делали свое доброе дело. Правда, не до конца, в чем мы убедимся позже, но сам процесс благодетельного принуждения стал путеводным направлением философии Леонтьева.

Он всегда называл отца Иеронима «*великим* человеком с великой душой и необычайным умом <…> он чтением развил свой природный ум и до способности понимать прекрасно самые отвлеченные богословские сочинения, и до умения проникаться в удалении своем всеми живыми и современными интересами...» Без авторитетов, идеалов, эстетики, веры, геройства Леонтьеву нет смысла в жизни. «Поэт и монах – вот только кто может равняться с воином», – писал он спустя многие годы Всеволоду Соловьеву, брату Владимира Соловьева – философа и поэта.

Анализируя в «Моей исповеди» (1878) причины отказа, Леонтьев отметил: «Мне отказали не столько потому, что я женат, сколько потому, что я на службе. На Афоне постригают и женатых, но надо было выйти в отставку, чтобы быть свободным для пострижения. Иначе о. Иероним опасался Синода и Посольства. Видевши мое горе, он благословил меня подать в отставку». Более того, святые отцы Иероним и Макарий дают ему доверительное письмо оптинскому старцу отцу Амвросию, то есть передают раба Божьего Константина от одного духовника другому, сохраняя ему благословение Божье на труды его. «Они любили и жалели меня; но ничем не могли ни здоровья моего сделать сносным, ни печали и уныния моего утолить», – признавал Леонтьев в своей «Исповеди». Святые отцы были умны, многоопытны, знающи, но и они не до конца понимали извечной потребности Леонтьева, русского образованного человека и патриота, думать о судьбе России и в меру сил своих умственных помогать ей хотя бы ярким словом политика и публициста.

«Осенью 72-го года уезжаю с Афона через Солунь и Адрианополь в Царьград. Лиза остается в Солуне», – пишет Леонтьев в «Хронологии моей жизни». У Леонтьева по-прежнему нет денег, чтобы путешествовать вместе с женой.

Что же дал ему Афон? «Афон показал мне примеры высокого и даже страшного аскетизма; старцы Руссика выучили меня послушанию, посту и молитве; заставили понимать жития Святых; раскрыли мне истинный дух Церкви».

Глава 3
Царьград

…сама жизнь в Царьграде меня более всякой другой жизни удовлетворяет; там есть все: для церковных чувств, для общих потребностей, для мысли и т. д.

К. Н. Леонтьев – К. А. Губастову, 15 апреля 1875 г.

1

Леонтьев, благословясь у святых отцов, приезжает в Константинополь, живет сначала в гостинице, но из-за дороговизны номеров нанимает дачу на острове Халки, входящем в архипелаг Принцевых островов, что в Мраморном море. Он меняет диету, кроме времени постов, ест мясо и в два месяца почти поправляется. Пешие прогулки, с каждым днем все увеличивающиеся, еще больше укрепили его здоровье. После ходьбы он садится за стол и много занимается. Эти полтора года на Халки стали одним из наилучших времен в жизни, о них Леонтьев шутливо говорил: «обновилась яко орля юность моя».

В Константинополе, по словам Леонтьева, «все соединилось, чтобы сделать мне земную жизнь умеренно приятной». Он мирится с женой, с которой «было трехлетнее расстройство», беседует с ней по совету святых отцов, чтобы укрепить ее веру в Бога. Его хорошо, по-товарищески, принимают в Русском посольстве, он бывает на дипломатических приемах, сотрудники миссии с ним любезны, в шутку называют Леонтьева «апостол Константин». Возможно, потому любезно посольское окружение, что был внимателен к Леонтьеву сам посол. Оба, и Игнатьев, и Леонтьев, хотя и расходились во взглядах на роль югославян в решении Восточного вопроса, зла друг на друга не имели, что делает им честь. В благодарность за благожелательное отношение к нему Леонтьев свой

философский труд «Византизм и славянство», создаваемый в Константинополе, решает посвятить Игнатьеву.

«От прежних привычек блуда я воздерживался там строго, хотя искушения были; посты содержал; Богу молился; духовное читал и других считал долгом приохочивать к тому же; писал статьи Каткову в защиту Церкви и имел одобрение от духовенства», – так вспоминал в «Моей исповеди» Леонтьев об этом периоде своей жизни. Тем не менее с посольскими дамами общаться любил: рассказывал о жизни на Афоне и пытался пробудить в них интерес к Православию. Влиять на близкое окружение он умел, дамы находили общение с ним интересным, но и не только они. Главы своего труда Леонтьев читал сотрудникам посольства, прочитанное вызывало горячие споры. Как всегда мнения разделялись, что радовало «апостола Константина», он надеялся, что и в более широких кругах общества его трактат вызовет интерес, а за ним придет признание.

Материально жизнь тоже наладилась: Катков присылал за статьи 1800 рублей серебром в год да плюс пенсия в 600 рублей, которую ему назначили с 1 января 1873 года, когда официально Леонтьев вышел в отставку. «На даче, на острове Халки у меня были тоже удобства другого рода для молитвы и для того необременительного и приятного Богомыслия», – записывает Леонтьев. Если бы Леонтьева как чиновника аттестовали в наше время с помощью специальных тестов, то методики выдали бы такой результат: постоянная жажда усовершенствования, устойчивое стремление к новым знаниям. Начальники с такими подчиненными обычно осторожничают, публицисту же – чего желать больше от такого характера. Неподалеку от дачи Леонтьева располагалась Богословская Халкинская греческая академия. Леонтьев подружился с монахами-профессорами и ректором этой академии, митрополитом Анхиольским, и подолгу с ними беседовал, уточняя свои знания о Церкви. «Халкинские богословы познакомили меня с канонами Церкви, с ее администрацией и с современным состоянием Церкви

Востока. – Меня это очень все утешало и расширяло мои познания», – отмечал с удовлетворением он.

Окрыленный духовно и физически Леонтьев «очень много и охотно» пишет, не обращая внимания на летнюю жару южного лета, один за другим «серьезные труды». Первый он называет «Византизм и славянство» и говорит, что «в этой книге я угрожал России, что она разрушится, если не будет держаться греческих преданий и той строгости взгляда на Церковное подчинение…». Второй – «Еще о грекоболгарской распре», в котором были собраны частности, не вошедшие в первую книгу, третий труд – «Афонские письма», о которых мы уже говорили. Как квинтэссенцию всех этих произведений Леонтьева можно счесть его пророческие слова: «Церковь Вечна, но Россия не вечна, и, лишившись Православия, она погибнет. – Не сила России нужна Церкви; сила Церкви необходима России».

Леонтьев отсылает свои произведения Каткову, который сначала хвалил Леонтьева и поручал своим сотрудникам писать лестные письма корреспонденту («Мы считаем за честь иметь Вас своим сотрудником!»), а потом вдруг замолчал на 8 месяцев. Леонтьев теряется в догадках, тем более, что Катков выслал ему очень приличный аванс в размере 3000 рублей. Он вроде бы отработал его, послав рукописей на сумму около 4000 рублей, но… Если они не будут напечатаны, то как и на что жить дальше? Чтобы разобраться в причинах столь неожиданного молчания, Леонтьев решает возвратиться на родину. Кроме того, обласканный посулами Каткова, он надеется найти у него работу, чтобы расплатиться с долгами.

Помня обет, данный перед иконой Богородицы, Леонтьев заблаговременно, в июле 1873 года, письменно просит архимандрита Леонида (Льва Кавелина, сына богатых купцов по происхождению), бывшего настоятеля посольской церкви в Константинополе, об устройстве его в монастырь. Теперь отец Леонид – не настоятель скромного зарубежного прихода, а управляющий богатейшего Ново-Иерусалимского монастыря под Москвой, основанного еще патриархом Никоном в 1656 году.

Леонтьев просит его высокопреподобие отца Леонида устроить покорного слугу и послушника Константина Леонтьева в Новый Иерусалим на жительство и обеспечить ему хорошее руководство, наподобие того, что он имел в Афонском монастыре в лице отца Иеронима и отца Макария. «Я **желаю** (выделено мной. – *М. Ч.)* приехать прямо в Новый Иерусалим или в другую подмосковную обитель, если ваш ответ будет неблагоприятен».

Просить-то Леонтьев просит, но не слишком уважительно и покорно, забывая (обратите внимание, как скоро после Афона) о том, что главным условием для монашеской жизни испокон веку является именно безоговорочная покорность. Та, когда утром ты получаешь приказание (именно так!) выкопать яму, а вечером прямо противоположное указание ее засыпать, не производя при этом над ней никаких других действий. И так в течение нескольких дней и без единой недовольной мысли с твоей стороны и, уж тем более, слова или жеста. И, конечно, отец Леонид отказывает такому своевольному просителю, тем более честно признающемуся, что он «слишком привык к независимости». Кому же нужен такой независимый монах, занимающийся литературой? Независимый монах или даже «полумирской поклонник» (по словам Леонтьева) – это нонсенс. Суть монашества именно в полной зависимости от настоятеля, исполнителя воли Бога на земле.

Именно эту мысль и высказал отец Леонид, не задержавшийся с ответом. «Жить на монастырской гостинице и заниматься литературой и в то же время проходить искус монашеской жизни – дело несовместимое. Для монашества необходимо, по крайней мере, на известное, более или менее продолжительное время, вовсе забыть о литературе, **всецело отречься от своего смышления и воли** (выделено мной. – *М. Ч.*) и проходить те послушания, какие будут признаны для послушника полезными и ведущими к смирению», – так отвечает он Леонтьеву. Вот именно: к смирению, которого отец Леонид не узрел в письме.

Но куда и как спрятать свою смелость ума, о которой Леонтьев всегда говорил с гордостью? Это врожденное, а с этим бороться, как

известно, невозможно, тем более, писателям, которые в большинстве своем не страдают от скромности. Вот, например, что утверждал Габриэль Гарсиа Маркес, нобелевский лауреат: «Я думаю, что в ремесле писателя скромность – добродетель излишняя. Потому что если ты намерен писать скромно, то и останешься писателем скромного уровня. Стало быть, надо вооружиться всем честолюбием мира и поставить перед собой великие образцы»

Разумеется, Леонтьев понимал, что усидеть на двух креслах, а в его случае совместить независимость ума с покорностью, невозможно, но жизни без литературы он для себя не видел, хотя при этом и в мыслях не держал отказ от обещания, данного Богородице. Кто-то другой, менее совестливый, совсем бы забыл о словах, сказанных в болезненной горячке перед иконой. У кого они, эти самые правильные слова и обещания, не вырываются из груди, помимо воли, перед лицом смертельной опасности? У многих и очень многих. Но опасность миновала, и почти все забывают о сказанном и обещанном, оправдывая в дальнейшем самого себя и ссылаясь на тысячи причин. Не таков Леонтьев. И в этом его горе, его трагедия раздвоения души между мирской жизни (политика, литература, женщины) и монашеской аскезой продолжится до самых последних дней земной жизни, то есть еще 20 лет.

«У меня 600 рублей пенсии… у меня в Калуге есть имение, которое дает от 800 до 1000 рублей дохода; редакция “Русского вестника” (хозяин М. П. Катков) платит мне круглым числом около 1800 рублей серебром в год, а по возвращении моем в Россию, вероятно, и больше даст. Литературные мои труды последнего времени благословлены духовниками», – прихвастывая, писал Леонтьев отцу Леониду.

Сойдутся ли жизненные реалии с благими желаниями?

2

Для написания «Византизма и славянства» и большой концептуальной статьи, позже получившей название «Средний европеец как идеал

и орудие всемирного разрушения», Леонтьев тщательно изучает труды и передовых социалистов, и «замшелых» консерваторов, в том числе и отечественных. «Я по очереди раскрывал то Прудона, то Апостола Павла, то Иоанна Лествичника, то Бокля; Апостола Павла и Лествичника *для себя, для души*, для того, чтобы повиноваться им, чтобы любить их, чтобы подражать им; тех двух буржуа *для ума, для сочинения*, которое я уже считал *посмертным,* чтобы ненавидеть их, чтобы бороться с их влиянием, чтобы уклоняться от них насколько возможно, насколько меня допустит философское убеждение», – так описывает Леонтьев этапы изучения литературных и политических источников.

Что же такое консерватизм, взгляды которого стал исповедовать Константин Николаевич Леонтьев? Течение ли, оформленное для политических партий, система ли взглядов на развитие общества и отдельных лиц, или политическая философия. И то, и другое, и третье.

В широком смысле слова консерватизм означает следование умонастроениям и жизненным позициям, присущим ранее существовавшим традициям в самых различных сферах: социальной, религиозной, нравственной, политической. Сторонники его отличаются недоверием к любым радикальным нововведениям, тем более, революционным. Они приветствуют лишь медленные, постепенные изменения и в обществе, и во взглядах, они приверженцы так называемой органической эволюции. Органическая теория построения общества подразумевает в себе наличие управляющей «головы» и исполняющих «рук» и «ног», то есть строгую иерархию, которую с ненавистью отвергали и отвергают представители «рационального проекта», грезящие абстрактными идеями создания идеального общества и человека. Консерваторы отвечали им примерно так: «Зачем экспериментировать и пускаться во все тяжкие, чтобы добиться того, не зная чего? Зачем ломать созданное предками и неплохо ныне функционирующее ради призрачного блага?»

Англичанам, впервые положившим консерватизм в основу политической партии, принадлежит замечательная пословица, ярко выражаю-

щая суть человеческих воззрений в процессе жизни: «Кто в 20 лет не революционер, тот страдает недостатком сердца. А кто в 40 лет не консерватор, страдает недостатком ума». И тут, как говорится, комментарии излишни. Пусть эту констатацию опровергают престарелые либералы, вечно верящие в рационалистическое идеальное общество со свободой, равенством и братством, утверждающие, что лишь нестеснение развивает в человеке благородные качества, мечтающие, чтобы над человеком не было никакой государственной власти, заставляющей его делать нечто полезное не только для себя.

Константин Леонтьев, знал бы эту английскую, а, точнее, человеческую мудрость, безусловно, присоединился бы к ней, так как его жизнь – это красочное и трагедийное одновременно воплощение сути консервативной мысли.

Английский идеолог консерватизма Оукшот разъяснял: «…быть консерватором – предпочитать известное – неизвестному, испытанное – неизведанному, факт – загадке, насущное – возможному, ограниченное – бескрайнему, близкое – далекому, достаточное – избыточному, удобное – идеальному…» Тоже доходчиво сформулировано. Есть и русское более конкретное выражение: «От добра – добра не ищут».

Возникновение консерватизма как политического течения связано с реакцией на французскую революцию 1789 года и последующие после нее кровавые события. Уже на следующий год (1790) англичанин Эдмунд Берк в классическом труде «Размышления о революции во Франции» развил основополагающие принципы консерватизма, продолженные затем Жозефом де Местром, к последователям которого часто относят и Константина Леонтьева. Э. Берк осудил излишнее самомнение человеческого разума, считающего способным изменить мудрость Божьего Провидения. Посланник сардинского короля в Петербурге (1802–1817) Ж. де Местр считал наиболее организованным и упорядоченным обществом средневековую Европу XII–XIII веков. Влияние публицистики де Местра можно найти в «Философических письмах» Петра Чаадаева и политических трактатах Федора Тютчева, а также Леонтьева.

Консерватизм в России также ведет отсчет с конца XVIII века, виднейшими его представителями считаются М. М. Щербатов, Н. М. Карамзин, С. С. Уваров, придумавший знаменитую триаду русского консерватизма «Православие, Самодержавие, Народность», среди славянофилов – А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин. Основным принципом русского консерватизма стало утверждение, что только самодержавная форма правления наибольшим способом соответствует историческому своеобразию русского народа, русскому духу, о котором Карамзин говорил так: «Дух народный составляет нравственное могущество государства». Самодержавие – одна из основ, другая – Православие – еще важнее, по мнению К. Н. Леонтьева: «Церковь вечна, но Россия не вечна, лишившись Православия, она погибнет». Значительно пополнили сокровищницу русской консервативной мысли ученые и публицисты Михаил Катков, Николай Данилевский, Константин Победоносцев, Лев Тихомиров; литераторы – Федор Тютчев, Николай Гоголь, Афанасий Фет, Федор Достоевский. Константин Николаевич Леонтьев, пожалуй, самый радикальный из них, но и единственный, кто не считал реакцию за остановку, он видел в ней один из путей развития, использующего старые, испытанные временем достижения государственного устройства, важнейшим из которых он считал Византию. Советуя «подморозить» Россию, Леонтьев постоянно добавлял, чтобы «не гнила», а закалялась и развивалась. Победоносцев же, по мнению Леонтьева, своими действиями так морозит мысль, что она костенеет, не развивается. Останавливается в развитии и Россия.

Повзрослевшего политически к 1830 году Александра Пушкина можно смело отнести к консерваторам. Его достойный ответ на призывы французских депутатов идти на помощь мятежной Польше – хорошее тому доказательство. Патриотично настроенные представители русского общества рассматривали решения французских депутатов как интервенцию против России. В брошюре, изданной вместе с Василием Жуковским, Пушкин поместил два стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», в которых он издевался над проис-

ками французов и утверждал, что европейцы (!) мечтают не только об отторжении Польши, а стараются вогнать Россию в границы Московского царства. Даже Петр Чаадаев, признанный «западник», признавался Пушкину после прочтения «Клеветникам России»: «Вот Вы, наконец, национальный поэт; Вы нашли Ваше призвание. Я не могу передать Вам удовлетворение, которое Вы дали мне испытать. Мне хочется сказать Вам: вот, наконец, явился Дант».

Сам Пушкин в письме Вяземскому отмечал: «Их (поляков. – *М. Ч.*) надобно задушить, и наша медлительность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря. Но для Европы нужны общие предметы внимания и пристрастия, нужны и для народов и для правительств. Того и гляди, навяжется на нас Европа. Счастие еще, что мы прошлого года не вмешались в последнюю французскую передрягу!» Речь идет о свержении короля Карла X, пытавшегося упразднить конституцию в июне 1830 года.

Во второй половине XIX века в России сформировалась русская партия, объединяющая группу аристократов, «выработавших в жизни на русской почве в одно время со Свободою твердое уважение к Закону, к Порядку и Верховной Власти!..», – так позднее характеризовал ее направление князь Владимир Мещерский (1839–1914). Конечно, эти аристократы не составляли некую оппозиционную царю партию в современном понимании этого слова, но…

С 70-х годов у князя Мещерского собирались на чашечку чая (именно так, без кавычек) побеседовать на темы русской жизни люди «высшей умственной сферы» славянофильского направления. К. П. Победоносцев, князья С. Н. Урусов, Д. А. Оболенский, В. А. Черкасский, граф А. К. Толстой (поэт и романист), С. М. Соловьев, П. Н. Батюшков, Б. М. Маркевич; а также москвичи М. Н. Катков и И. С. Аксаков во время приездов в Петербург. Достаточно часто участником этих бесед был цесаревич Александр, будущий император Александр III. По замыслу Мещерского, эти вечера предназначались для формирования русских, патриотических взглядов у цесаревича Александра

в противовес той, космополитической политики, что проводилась двором Александра II.

На вечерах у Мещерского обсуждались вопросы внутренней и внешней политики российского государства. Особенно остры были дискуссии по крестьянской реформе. Говорили о судьбах сельской общины, о земле, к которой прикреплялся крестьянин, что, в конечном счете, не позволяло ввести в рыночный оборот земли сельскохозяйственного назначения. Последнее, по мнению представителей русской партии, было положительным фактом, задержавшим продвижение капитализма в сельское хозяйство на несколько десятков лет, что, соответственно, способствовало сохранению самодержавия и Православия.

Константин Леонтьев поддерживал подобные воззрения. Он говорил: «В эмансипационном акте 61 года есть две стороны; одна либеральная – *освобождение* крестьян от крепостной зависимости; другая – вовсе не либеральная – *прикрепление* этих крестьян к *земле*. Последнюю меру надо приветствовать как нечто вполне самобытное и национальное, имеющее вдобавок по всем признакам и будущность».

И далее, совсем уже в стиле современной рекомендации для дальнейшего развития самого злободневного вопроса России о земле, следует леонтьевский веский вывод: «В этих двух основах кроются залоги, быть может, весьма своеобразного государственно-экономического строя. Принудительно-общинного; сословно-социалистического; основанного на ограничении права вообще отчуждать земли. И дворянская, и крестьянская земля должна стать не столько льготой, сколько **ношей государственной** (выделено мной. – *М. Ч.*)».

Одним из ярких примеров, подтверждающих суть упомянутой выше английской пословицы, являются изменения в мировоззрении Николая Бердяева, в 31 год от роду назвавшего Леонтьева реакционным романтиком, антиподом «нового революционного сознания». Она же (революция, то есть суровый опыт, прочувствованный на своей судьбе) значительно смягчила оценки Бердяева, заставила понять всю ценность консерватизма. В своем труде «Философия неравенства» (одно только

слово «неравенство» дорогого стоит) он говорит о правде консерватизма «как о правде историзма, правде чувства исторической реальности, которая совершенно атрофирована в революционизме и радикализме». О Леонтьеве, повзрослев, скажет: «…он оказался более прав, чем все славянофилы и западники, чем Достоевский, чем Катков и Аксаков».

Как бы в заключение Бердяев добавлял: «Консерватизм имеет духовную глубину, он обращен к древним истокам жизни, он связывает себя с **корнями** (выделено мной. – *М. Ч.*)». Вот о личностных корнях русского консерватизма мы, по сути, и ведем речь.

3

Своим предтечей в вопросах философии истории Леонтьев считал Николая Яковлевича Данилевского. Однако при этом Леонтьев отмечал, что прочитанный им в Янине (1870) труд Данилевского «Россия и Европа» поразил его «не *как новость*, а как только удовлетворившее меня до значительной степени выражение моих собственных взглядов». И, действительно, взгляды Леонтьева к тому времени можно считать вполне состоявшимися. Уже в очерке «С Дуная», опубликованном в «Одесском вестнике» (№ 201 от 14 сентября 1867 г.), можно прочитать: «Наше главное призвание – противопоставить бесцветной буржуазной прозе Запада – поэзию новой, русской жизни, разнообразной и богатой».

В одном из писем к Страхову Леонтьев назовет книгу Данилевского «евангелием», «которое именно по крайней доказательности и отвлеченности своей немногим доступно», тем самым подчеркивая ее исключительность для понимания исторического процесса.

Они похожи, Леонтьев и Данилевский. Нет, конечно, не внешне. Оба имеют естественнонаучное образование: один врач, другой ботаник, и оба потому вольно или невольно переносят законы развития органического мира на мир общественно-политический, определяющий развитие истории. Оба – горячие поклонники природы Южного берега Крыма. Именно Данилевскому удалось реализовать розовую мечту молодого Ле-

онтьева о глубоком изучении флоры и фауны Крыма, а, главное, купить имение на Южном берегу Крыма и стать директором Никитского ботанического сада. В крымском имении Мшатка, купленном Данилевским в 1864 году, бывали в гостях славянофилы И. С. Аксаков, Н. Н. Страхов, перед самой смертью Данилевского в 1885 году его посетил и Лев Толстой, очень симпатизировавший ему.

«Статья Данилевского превосходна; я ее прочел раза три и еще читать буду, но нельзя же **успокоиться на ней»** (выделено мной. – *М. Ч.*)… «Твердите истину ежедневно, ибо другие твердят ежедневно ложь», – пишет Леонтьев Страхову 12 марта 1870 г. и добавляет, «что он (Данилевский. – *М. Ч.*) первый в печати смело поставил своеобразие культуры как цель. Московские славянофилы все как-то не договаривались до этого; они вместо того, чтобы сказать, что **без своей культуры и жить России не стоит** (выделено мной. – *М. Ч.*), говорят, что на Западе все ложь, или, что у нас то или другое не привьется, неудобно и т. п. натяжки». И тем не менее статья Данилевского – это своеобразный «катехизис славянофильства», так расценивали ее почитатели. Вопрос в обществе относительно статьи, по сути, звучал так: «Если поддерживаешь выводы Данилевского, то – славянофил, если нет, то…» Действительно, у Данилевского много от славянофильства. Это и знакомое нам противопоставление Европы и Запада, вера в культурную самобытность русских, о чем упоминает Леонтьев в письме Страхову, и убеждение в особом от Запада пути России, и создание Всеславянского союза со столицей в Константинополе. Здесь и особая вера в миссию славянства, которую Леонтьев не поддерживал, говоря, что создание всеславянского государства стало бы кануном падения России.

Данилевский в философском труде «Россия и Европа», имеющем характерный подзаголовок «Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому», развил теорию культурно-исторических типов человечества, противопоставляя их единству мировой истории, которой, по его мнению, не существует, так же, как не существует общечеловеческой цивилизации. Он отвергал

существование единого пути развития человеческой истории, для него история – это цепь локально обособленных культурно-исторических типов. Их, по мнению Данилевского, десять: египетский, китайский, халдейский (ассиро-вавилоно-финикийский), индийский, иранский (персидский), еврейский, греческий, римский, новосемитский, или аравийский (мусульманский), и романо-германский (европейский). Позже Леонтьев дополнит эту десятку одиннадцатым – византийским.

Чтобы объяснить суть теории Данилевского, представим работу поршневого механизма: впрыск парожидкостной среды, взрыв, а потом вытеснение продуктов взрыва, новый впрыск, следующее вытеснение и так далее; и машина едет, и пароход плывет против течения. Таков примерно механистический взгляд Данилевского на ход исторического развития, то есть на смену одного культурно-исторического типа приходит другой, потом третий, и у каждого свои нюансы, свое предназначение и задачи. Каждый из них имеет свой путь развития, подобный жизненному циклу живых организмов: рождение, рост, цветение и умирание. Все из перечисленных типов в своем развитии достигают стадии цветения, при которой тип возвышается до цивилизации. Но культурно-религиозные особенности, «относящиеся до познания человека и общества, а тем более до практического применения этого познания, вовсе не может быть предметом заимствования, а может быть только принимаемо к сведению…», передаваться другой цивилизации не могут. Хотя, конечно, он не отрицал воздействия одной цивилизации на другую, но всегда добавлял, что «воздействие не есть передача». К таковым воздействиям Данилевский относил влияние греческой мифологии на римскую: греческая Афина в Риме отождествлялась с Минервой, а греческий Арес соответствовал римскому Марсу, греческая Афродита – это Венера по-римски. Список можно продолжать долго.

Данилевский говорил: «Вся история доказывает, что цивилизация не передается от одного культурно-исторического типа другому». И потому список культурно-исторических типов похож у него, ботаника, на своеобразный гербарий. При этом Данилевский как-то забывал, что ли-

стья были когда-то зелеными, а для их развития нужен и солнечный свет, и углекислый газ, и хлорофилл (реакция жизни – фотосинтез), то есть те общие начала, что необходимы как элементы для всего живого и деятельного, в том числе и для культуры в истории.

Леонтьев более разносторонен: утверждая «развитие в единстве», он не исключал передачу тех или иных свойств одного культурно-исторического типа другому. В статье «Владимир Соловьев против Данилевского» Леонтьев подтверждал, что «Десять, одиннадцать типов останутся навсегда. Изменения могут быть допущены неважные». При этом приравнивал их к другой классификации, разделяющей позвоночных животных на млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и т. д., что «должно быть нерушимо», то есть называл эту классификацию вечной, пока существует живое.

Культурно-исторические типы Данилевский подразделял по сумме «культурно-исторической деятельности» на разряды, или основы – религиозная, культурная, политическая и общественно-экономическая. Самой высшей цивилизацией, четырехосновной, развившей у себя все четыре вида деятельности, мир еще не знает, полагал Данилевский. Такой цивилизацией может стать славянский тип, только начавший свое развитие. Леонтьев был в этом вопросе более прагматичен, если не сказать, скептичен: «Но дадут ли славяне *действительно* резкий и очень живучий, хотя бы и односторонний, культурный тип, или только будут кратковременно преобладать в виде явления переходного к чему-нибудь более выразительному, это уже гораздо труднее, при нынешних данных, решить». Леонтьев находил данную Данилевским славянскому типу четырехосновность «слишком богатой и самобытной. Не похоже; лестно, но неправдоподобно что-то». И был, как доказала история, в этом вопросе прав! Славяне не сумели сплотиться, мало того, Запад разодрал славянство к XXI веку в клочья.

Главное внимание в книге «Россия и Европа» Данилевский уделил двум типам: романо-германскому, который, по его мнению, достиг апогея и клонится к закату, и приходящему ему на смену славянскому

типу, наиболее полно выраженному в русском народе и могущему стать главным на исторической сцене. Данилевский подчеркивал враждебный характер европейского типа по отношению к самобытному и формирующемуся славянскому типу и предлагал для устойчивости всемирного развития создать на Востоке Всеславянский союз – будущий «оплот против всемирного владычества Европы». Главной системообразующей силой этого союза должна стать Россия. В состав этого союза наряду со славянскими народами, по мнению Данилевского, должны войти греки, венгры и румыны. Столицей союза он видел Константинополь – исторический центр Православия.

Леонтьев же видел в Константинополе не административную, а новую **культурно-православную** (!) столицу Великого Восточного союза, не усматривая в создании самого Союза самоцель, как панслависты Тютчев и Данилевский. Этот Союз был необходим, по мнению Леонтьева, прежде всего, для спасения России от надвигающейся с Запада революции, утилитарного либерализма с его пропагандой вечного счастья и атеизма. Союз как **условие** создания на его базе нового культурно-исторического типа, лишь использующего название «славянского», но с привлечением народов, исповедующих и магометанство. Леонтьев всегда видел в инородных окраинах России, богатых своеобразной культурой, залог процветания самой России, потому он за тесные связи с Грецией, более плотные, чем с югославянами. Леонтьев не хочет развала Османской империи, полагая, что народы (русские и турки), имеющие имперский характер, быстрее поймут друг друга, нежели республиканские.

Назначение Всеславянского союза Данилевским определялось как «оборонительное», так как «всемирная ли монархия, всемирная ли республика, всемирное господство одной системы государств, одного культурно-исторического типа – одинаково вредны и опасны для прогрессивного хода истории». Как сейчас это полезно было бы прочитать всем правителям, мечтающим о мировом господстве, особенно американским гегемонистам и натовским ястребам, стригущим мир единой гребенкой.

Учитывая громадные размеры России, количество разнообразных ее этносов, сложные климатические условия, обилие природных зон, так называемого рискованного земледелия, и внешних угроз, Данилевский четко определил степень централизации ее власти. По его мнению, Россия может успешно развиваться только при неограниченной монархии с православными идеалами. Любое отклонение от религиозных традиций, по мнению Данилевского, вызовет раскол и смуту, а принятие конституции и выборы парламента он принимал за комедийный вариант. В этом Леонтьев был солидарен с Данилевским полностью.

В своем труде «Россия и Европа» Данилевский отозвался и на современные события, происходящие в России. В увлечении студенческой молодежи и интеллигенции «нигилизмом» он видел «обезьянничание» перед Европой, называемое им «европейничанием», которое народ не поддерживает. Потому-то Данилевский не видел угрозы политической революции в России, имеющей своей целью ограничение монархии парламентской формой правления или ее свержение. Леонтьев допускал приход социализма через революцию и в России. И в этом Леонтьев был более чуток и знающ: «Социализм (т. е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере, для некоторой части человечества». Этой частью, в противовес Данилевскому, он не исключал, могут стать и русские.

Обобщающие выводы Данилевского таковы: Россия – не Запад, у нее свой путь, общечеловеческой цивилизации нет и быть не может, торжество одного культурно-исторического типа над миром – это деградация общества и приближение конца его истории. Народ – вот действительная и конкретная реальность, человечество же – это абстракция, пустое понятие. Прагматичный в политике (не в бытовой жизни) Леонтьев важнее народа считал идеи, которыми должен он жить.

Во многом Леонтьев был согласен с Данилевским, но создал собственную философию истории, которую скромно называл «гипотезой триединого процесса».

Глава 4
Самобытный взгляд на историю

Для существования славян необходима мощь России.
Для силы России необходим византизм.

К. Н. Леонтьев

1

Основное свое сочинение по философии истории «Византизм и славянство» Леонтьев писал летом и осенью 1873 года по предварительному согласованию с Михаилом Катковым для «Московских ведомостей».

У каждого художника всегда есть особое произведение, в котором он выговаривается до конца, выплескивает то, что копилось подспудно в душе долгие годы, которое определяет самого автора в полной мере как личность, творческую и социальную. Леонтьев с открытым забралом шел к высшей цели, основа которой есть развитие и полнота жизни. «…Не покой – брат застоя, наш дорогой идеал, а битва жизни, движение, цвет ее!», – так он определял смысл жизни в труде «Мнение Джона-Стюарта Милля о личности».

Прежде чем перейти к изложению кратких итогов «Визинтизма и славянства», надо разобраться еще с одним термином, входящим в название. Именно в «византизме» как лучшей форме имперского устройства видел Леонтьев ту спасительную особенность, что отделяет Россию от Запада, что позволяет сохранять ей свою самобытность, традиции охранения и развития (нет, не прогресса), что определяет весь строй общественной жизни.

Леонтьев был не первым, кто использовал этот термин. Еще Николай Михайлович Карамзин в своей «Истории государства Российского» указывал на широкие заимствования Московской Русью искусства Византии, письменной культуры, народных бытовых и духовных привы-

чек. Русь переняла от Византии, прежде всего, Православие, принцип сосредоточения власти в монарших руках, невмешательства (прямого) Церкви в государственные дела, ее подчинение воли императора как «помазанника Божьего», восточное великолепие в церковном и императорском убранствах. В узком смысле слова «византизм» означал Православие, а в более широком – весь уклад русской социально-культурной жизни, начиная с X века.

Весь XIX век не утихали споры вокруг путей развития России, в которых византийское направление, а сам термин «византизм» или «византийство» стало признаком застоя и отсталости от Западной Европы. С легкой руки Александра Герцена, написавшего: «Византинизм – это старость, усталость, безропотная покорность агонии…», укоренилось в «просвещенном» обществе России это негативное отношение к византизму. И процветало до истечения XIX века (и далее, конечно), когда Владимир Сергеевич Соловьев в «Очерках из истории русского сознания» громил «*татарско-византийскую* сущность мнимого “русского идеала”».

В условиях такого закрепившегося в русском сознании негативного значения слова «византизм» требовалась особая смелость Леонтьева, чтобы выставить его в положительном свете. И не просто выставить, но и рекомендовать России проанализировать это явление и следовать его культурным и религиозным традициям. С первых слов статьи он тотчас же противопоставляет славянство и византизм, говоря: «Отвлеченная идея византизма крайне ясна и понятна. Эта общая идея слагается из нескольких частных идей: религиозных, государственных, нравственных, философских и художественных.

Ничего подобного мы не видим во всеславянстве».

Обратив свой взгляд на Византию, что вполне естественно, так как на бывшей ее территории Леонтьев прослужил 10 лет, он находит тот идеал, которому должна следовать Россия. «Представляя себе мысленно византизм, **мы**… (выделено мной. – *М. Ч.*) видим перед собою как бы строгий, ясный план обширного и поместительного здания. **Мы**

(выделено мной. – *М. Ч.*) знаем, например, что византизм в государстве значит – самодержавие. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, ересей и расколов», – утверждает он с первых строк своего трактата. Этим обращением «мы» с первых строк своего философского произведения Леонтьев подчеркивает, что обращается не к **публике**, а к абсолютному большинству образованного народа, верующего в царскую власть и Православие, то есть к тем людям, для которых эти понятия – не пустой звук, а смысл жизни.

Кстати о публике. «Безымянный люд этот (публика. – *М. Ч.*) одинаков во всех странах. Это личности, которым свойственен индивидуализм, отрицание. Вместе с тем им присущ элемент, пусть и отрицательный, но объединяющий их и составляющий своего рода религию. Это ненависть к Власти как принцип», – так говорил о публике другой дипломат и консерватор Федор Тютчев. Этот принцип отрицания государственной власти есть родовое пятно либералов всех времен и народов. Такого же мнения придерживался Аполлон Григорьев, утверждавший, что «публика – это нравственное мещанство». Леонтьев в своих определениях как всегда более эмоционален, но и лапидарен: «Публика наша легкомысленна, пуста, впечатлительна и дурно воспитана, а нашим адвокатам и прокурорам нужно сделать карьеру, обнаружить ораторские способности, между прочим, в виду воображаемой возможности громить ответственных министров, ибо никому так конституция не выгодна, как ораторам» (статья «Чем и как либерализм наш вреден?»).

Вернемся к леонтьевскому трактату. Леонтьев, характеризуя европейскую историю, в пику либеральным хулителям византизма утверждает, что Запад тоже пошел по пути Византии. Воцарение византийского императора Константина произошло в IV веке нашей эры, а Карл Великий венчался в IX веке, то есть спустя 500 лет после «отсталой» и «невежественной» Византии. Таким образом, именно византизм обеспечил долголетие Восточно-Римской империи и оказал заметное культурное и политическое влияние на развитие романо-германской цивилизации.

«Создавая себе кесаря, в подражание Византии и вместе с тем назло ей, Европа, сама того не подозревая, вступала на совершенно новый путь», – писал в «Византизме и славянстве» Леонтьев.

Не потому ли Запад так настойчиво абстрагируется от византийских начал, понимая, что вторичность несколько оскорбительна для их цивилизации, обособление которой началось именно с приходом Карла Великого. Леонтьев, которого Павел Николаевич Милюков называл «хранителем старых начал византизма», по сути, художественно оживлял знаменитую триаду Уварова «Православие, Самодержавие, Народность». Это прекрасно понимали либеральные его противники. Желая его уколоть, Владимир Соловьев, разошедшийся с Леонтьевым во взглядах к началу 90-х годов, писал: «Мы не найдем здесь (в Византии. – *М. Ч.*) ничего такого, на чем можно было бы заметить хотя бы слабые следы высшего духа, движущего всемирную историю».

Леонтьев словно предвидел возражения, подобные тем, что высказал Соловьев, пишет в статье «Владимир Соловьев против Данилевского»: «…Как же можно было забыть об этой *духовной* византийской литературе, которая до сих пор, конечно, *живет* и при этом неизмеримо *популярнее* и Гомера, и Шекспира». Тем самым для Леонтьева византизм – не просто восточное ответвление христианства или Второй Рим, а особая культура, иерархия и государственная форма управления. Форма же, по словам Леонтьева, есть «деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться».

Ну как безбожный либерал-западник может простить Леонтьеву утверждение, что православные песнопения популярнее Шекспира? Да никак!

Тем самым Леонтьев возражает и Соловьеву, и Данилевскому, замечая заочно последнему, что пропущен одиннадцатый, византийский культурно-исторический тип. Возможно, что факт упущения Данилевским Византии из перечня своих культурно-исторических типов и послужил для Леонтьева толчком для исправления этого недостатка и написания своего замечательного труда «Византизм и славянство».

Леонтьев за преимуществами Византии отмечает, прежде всего, «догматически-философскую, богослужебно или молитвенно-лирическую, нравственно-аскетическую и церковно-историческую» литературу Византии (Псалмы, Жития святых и др.). И далее дополняет: «…Византия дала миру неподражаемые и недосягаемые образцы всех родов церковного искусства: в зодчестве – Св. Софию, в иконописи – Панселина, в пении – все бесчисленные божественные напевы, коими оглашаются и – как можно верить – до конца мира будут оглашаться во всей вселенной православные храмы».

Такое восхваление культурных особенностей Византии опирается, прежде всего, на собственный опыт Леонтьева, видевшего Святую Софию и слушающего церковное пение в Афонских и русских церквах, на подлинное, не ангажированное знание истории средних веков. На особый, спасительный смысл государственности Византии для Московской Руси Леонтьев особо обращает внимание, утверждая, что она для России явилась формообразующим началом для становления русского культурно-государственного образования или культурно-исторического типа, согласно терминологии Данилевского. Леонтьев говорит так: «В византизме царила одна отвлеченная юридическая идея: на Руси эта идея обрела себе плоть и кровь в царских родах, священных для народа».

Все византийские основы жизни (цезаризм, Православие, «талант повиновения» народа, сословность) помогли России подняться до уровня «цветущей сложности», обеспечили могущество и величие. О всех составных частях византизма и о механизме укоренения их на Руси Леонтьев говорит в своем труде много и подробно. Для него, повторим, это начало начал всей русской государственности и залог процветания.

Уже первые ростки демократии в России с очевидностью показали Леонтьеву, что с ее приходом при вожделенном для либералов равенстве и братстве стремительно начинается портиться, усредняться в своей эстетической худобе человеческий характер да и внешний вид. Для эстета Леонтьева устойчивое психическое состояние, вну-

треннее богатство и красота личности – основны процветания нации, а, значит, и России. Без ярких, неординарных личностей кто же будет «двигать» историю? Так или примерно так рассуждает Леонтьев, имея в виду следующее: «Человек ненасытен, если ему дать свободу». К такому же выводу приходит первый русский диссидент А. И. Герцен: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены *внутри».*

Пример такой ненасытности при неограниченной дозволенности прекрасно показал А. С. Пушкин в философской по сути «Сказке о рыбаке и рыбке». Видимо, эта проблема тоже мучила и томила его. И таковы все: и русские, и немцы, и англосаксы, и полинезийцы, и… звери. Да, да, тигрице или львице приходится силой, когтистой лапой гнать своих детенышей на учебу по ловле дичи, иначе они проспят все на свете. Зачем трудиться, если есть сосок матери, полный вкусного молока? Принуждение (деспотизм) разлиты в органическом мире – таково мнение Леонтьева, и с ним трудно не согласиться. Он рассуждает просто и эффективно: вот стакан с водой. Пока вода в стакане, она есть вода. Да, она испаряется, но медленно и в зависимости от температуры. Выше температура (революция поднимает градус) – быстрее испаряется нужное вещество. Стоит только разбить стакан (форму), вода разольется по полу и быстро-быстро испарится, исчезнет. Нет полезного и нужного вещества! И потому по Леонтьеву: «Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет». Так говорит Леонтьев.

И это, в принципе, очень даже очевидные истины, и если их не замечать, то действительно можно говорить о недостатке ума, о котором гласит английская пословица, приведенная выше. Разве общество устроено по другому принципу, нежели органический мир? Что гласит корпоративная этика? Беспрекословное подчинение начальнику, который является в корпорации диктатором. А либералы, осуждающие любое нарушение прав человека со стороны государства, что-то молчат о корпоративном деспотизме. Они против власти самодержавного государства,

но не против власти «самодержца» в корпорации, в которой работают и гнут спину и за это получают деньги на кусок хлеба. Когда же государственные чиновники не понимают этого и, получая деньги от государства на свое содержание, восстают против своего кормильца, вот тогда наступает беда для государства.

Либеральные взгляды – беда для государственной власти. Они вредны и для «простых» людей. «Вольнолюбивые» фразы «о беспредельных правах лица… дойдя до нижних слоев западного общества, – по мнению Леонтьева, – сделало из всякого простого поденщика и сапожника существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства». Беспредельных прав быть не должно – это не только мнение тонкого эстета, но и государственника, думающего о развитии России. Леонтьев отлично понимает, что сапожник, уравненный в правах, станет демагогически рассуждать о своем достоинстве и перестанет работать. За ним перестанут работать печники, сталевары, плотники, столяры и т. д. Кто же будет создавать материальные ценности: «нашу серебряную утварь, наши иконы, наши мозаики»?

Вспомним повесть А. П. Чехова «Степь» и разговор на постоялом дворе. Хозяин его еврей Моисей Моисеевич так говорит о своем брате Соломоне, пропитанном либеральными идеями: «И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится… Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет». И таких людей в России становилось все больше и больше, пока не вспыхнула, словно факел, революция. Но этот факел высветил лишь тех, кто никого не любил, никого не боялся, никого не почитал. Немало сгоревших в этом факеле, либо обгоревших, тех, кто попал в эмиграцию.

Говоря о значении византизма для России, Леонтьев восклицает: «византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась

когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости!»

И действительно выдержали! И выдерживаем в XXI веке.

2

Александр Блок взял в качестве эпиграфа к своей поэме «Скифы» слова Владимира Сергеевича Соловьева, поэта, философа, старого, так сказать, знакомца Константина Леонтьева. Звучат они так: «Панмонголизм! Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно». Хотя имя «панславизм» менее дико, но суть… Ласкает ли оно слух Леонтьева, можно узнать из «Византизма и славянства».

В этом труде Леонтьев в продолжение статей «Панславизм и греки» и «Панславизм на Афоне» пытается дать определение славизму. И приходит к выводу, что невозможно найти «какие-нибудь ясные, резкие черты, какие-нибудь определенные и яркие исторические свойства, которые были бы общи всем славянам. Славизм можно понимать только как племенное этнографическое отвлечение, как идею общей крови (хотя не совсем чистой) и сходных языков. Идея славизма не представляет отвлечения исторического, то есть такого, под которым бы разумелись, как в квинтэссенции, все отличительные признаки – религиозные, юридические, бытовые, художественные, составляющие в совокупности своей полную и живую историческую картину известной культуры».

И в самом деле, подробно характеризуя славян – чехов, поляков, болгар, сербов, великороссов и малороссов, Леонтьев не усмотрел в их истории «органическую систему своеобразных идей, стоящих вне частных, местных и личных интересов», но глубоко тысячами нитей связанных с этими интересами. Леонтьев приходит к выводу, что «славизма как культурного здания или нет уже, или еще нет; или славизм погиб навсегда, растаял… под совокупными действиями католичества, византизма, германизма, ислама… или, напротив того, славизм не сказал еще своего слова и таится, как огонь под пеплом…».

Относительно греков, подстрекаемых англичанами, Леонтьев восклицал: «Греки не хотят или не умеют понять, что между Панславизмом и русским Славянофильством большая разница».

В составленном от третьего лица «Списке сочинений К. Леонтьева с характеристикой» он объясняет суть своих взглядов на Восточный (славистский) вопрос следующим образом: «Овладение Царьградом и Проливами, **утверждение Восточных Церквей** (выделено мной. – *М. Ч.*) и при этом как *неизбежное бремя* – составление какого-нибудь сносного союза с освобожденными единоверцами – вот цель, которую должна преследовать Россия».

Эмансипационная же собственно политика, по мнению автора, не должна быть сама по себе целью, а только временным и при этом довольно опасным средством. То есть Россия как предводитель славянства должна создать не только союз из славян, а некую особость (Восточные Церкви), противостоящую тлетворному влиянию Запада.

Такую точку зрения на панславизм могли понять и одобрить только высокие умы, например, Достоевский, 26 февраля 1873 года написавший после прочтения «Панславизм и греки» М. П. Погодину: «Эта статья меня даже поразила… Меня поразил особенно последний вывод о том, что собственно должен означать для России Восточный вопрос отныне? (Борьба со всей идеей Запада, то есть с социализмом)». Погодин ответил: «Предстоит борьба России с Западом из-за чего бы то ни было, а вероятно из-за Востока». Леонтьев, что называется, раскрыл глаза на существо проблемы панславизма и Восточного вопроса. И уже после этого разъяснения Достоевский в своих дневниках записал в ноябре 1877 года: «…по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, – не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!» И еще раз обращаю внимание, что это прозрение наступило у Достоевского спустя четыре года после прочтения Леонтьева, который называл болгар «волками в овечьей шкуре».

Особенно негативные качества болгар (да и всех югославян) проявились во время двух Балканских войн (1912–1913), когда в Первую войну коалиция болгар, сербов, черногорцев и греков против Турции почти полностью освободила от турок европейскую часть бывшей Османской империи. Освобождены были города, где работал некогда Леонтьев: Адрианополь (Эдирне), Янина, Салоники, то есть Болгария получила вожделенный выход к Эгейскому морю, но, как говорится, жадность югославян сгубила. Болгария не удовлетворилась итогами Лондонского договора, закрепившим за ней эти территории, и в 1913 году напала на бывших своих союзников (греков, сербов), но за полтора месяца была повержена. В результате Болгария потеряла все, что приобрела: Восточную Фракию с Адрианополем (отошла к Турции) и выход к Эгейскому морю.

Вторая Балканская война ярко выявила неспособность югославян договариваться между собой. Таким образом, за сорок лет до этой войны Леонтьев верно усмотрел, что славизма как идеи нет. Панславизм России не нужен, но есть славянство, хотя и оно не достаточно прочно: «У болгар поэтому мы не видим до сих пор ничего славянского, в смысле зиждительном, творческом; мы видим только отрицание, и чем дальше, тем сильнее».

Да и что славянство представляет собой без сильной России? Ровным счетом ничего! И далее я приведу длинную цитату, каждое предложение в которой есть отдельная и полнокровная мысль, их несколько, их можно долго оснащать ярчайшими подтверждениями из будущего, но делать этого не нужно. Мысли сами говорят за себя.

«Для существования славян необходима мощь России.

Для силы России необходим византизм.

Тот, кто потрясает авторитет византизма, подкапывается, сам, быть может, и не понимая того, под основы русского государства.

Тот, кто воюет против византизма, воюет, сам не зная того, косвенно и противу славянства; ибо что такое племенное славянство без отвлеченного славизма?..

Неорганическая масса, легко расторгаемая вдребезги, легко сливающаяся с республиканской Всеевропой!

А славизм отвлеченный так или иначе, но с византизмом должен сопрячься. Другого крепкого дисциплинирующего начала у славян разбросанных мы не видим. Нравится ли нам оно, но оно единственный надежный якорь нашего не только русского, но и всеславянского охранения».

Позже Леонтьев сетовал, что очень немногие поняли, что дело не только в греко-болгарской распре, которой он коснулся в «Византизме и славянстве», а в той идее, последовательно им развиваемой, что Запад культурно исчерпал себя, а кто ему будет подражать, тот сам погибнет. И чем выше будет степень подражания его либеральной доктрине, тем быстрее наступит конец подражателю как независимому государству, даже если период падения будут наблюдать десятки поколений.

3

Осуждая консерваторов, либералы всякий раз используют расхожий стереотип, что те якобы противники прогресса. При этом либералы не делают различия между понятиями «прогресс» и «развитие». Леонтьев в третьей, теоретической части своего труда, отметая наветы либеральных радикалов, мудро разделяет эти понятия.

В развитии, как в каждом процессе, есть некая внутренняя идея (смысл, суть), предполагающая в самой себе результат. Возьмем, к примеру, реакцию фотосинтеза или, как ее называют красочно, «реакцию жизни». При ней в листьях (клетках) растения с помощью хлорофилла (красящего вещества) под действием солнечного света усваивается углекислый газ из воздуха с формированием органической массы, обеспечивающей растению рост и созревание плодов и зерен, а также получается кислород. Без него, как мы все знаем, не может жить никакое животное, ни человек как часть животного мира. То есть эта реакция,

несущая в себе свой результат, имеет два смысла (идеи) – производство вегетативной массы и кислорода.

Таким образом, в каждом явлении или обстоятельстве как части процесса она (идея) должна непременно присутствовать. Поскольку системные идеи тех или иных явлений, или обстоятельств, самостоятельны, то и цели их должны быть различны. Развитие по Леонтьеву, логически и диалектически есть следующее:

«Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой – от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений.

Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности.

Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства.

Так что высшая точка развития не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях есть высшая степень сложности, объединенная неким **внутренним деспотическим** (выделено мной. – *М. Ч.*) единством».

Безупречная логическая и диалектическая цепь рассуждений позволяет понять бытие как процесс, показать переход всякого свойства на следующую ступень или стадию развития, а в дальнейшем и в свою противоположность, то есть реакцию на предыдущее развитие. Тут уместно вспомнить и Карла Маркса, сказавшего о диалектике Георга Гегеля (1770–1831): «Он впервые представил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, то есть в беспрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии, и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития».

Прочитайте еще раз определение развития у Леонтьева. Это ли не полная интерпретация принципов и основ диалектики, которую понимали еще древние греки, чувствуя, что бытие заключает в себе вечные противоречия и изменчивость, которые способствуют переходу

всякого свойства в свою противоположность. История, о которой далее будет рассуждать Леонтьев, так же, как бытие, есть процесс, полный противоречий: она едина и множественна, вечна и преходяща, циклична и поступательна. Как человек своей судьбой как процессом проходит через бытие, так и история следует за ним, поглощая время. Причем, следует отметить, что в христианстве время, имеющее начало и конец, всегда отделено от вечности, являющейся прерогативой Бога. И когда красиво говорят, что тайна гения – это метка вечности, то это означает, с христианской точки зрения, что к зарождению гения и его развитию приложил руку Бог.

Итак, если развитие через внутреннюю идею («внутреннего деспотического единства») придает смысл движению, то, по мнению Леонтьева, «прогресс, то есть последующая ступень истории, ее завтрашний день, так сказать, не всегда носит характер более эмансипационный, чем ступень предыдущая, чем период истекающий или истекший». Объем свободы, который, по мнению «прогрессистов», должен увеличиваться с каждой ступенью истории, не есть доминанта развития по Леонтьеву. На следующей исторической ступени (в данном случае – буржуазной, капиталистической, следующей за феодальной ступенью) могут и должны быть возвраты к положительному опыту и традициям предков. В силу этого, утверждает Леонтьев, «могут стать прогрессом, в свою очередь, и всякие реакционные меры, и временные, и законодательные – раз только меры, освобождающие личность человеческую, достигнут так называемой точки насыщения». Этим соображением он бьет своих противников их же оружием. Если вы, – говорит Леонтьев, обращаясь к «прогрессистам», – ставите во главу угла личные права человека (свободу, равенство, благоденствие), то вы должны учитывать и их предел – «насыщение» (оно также естественно, как смерть), результатом которого должна быть реакция на излишнюю свободу. Иначе анархия, хаос, когда чересчур свободная личность берет в руки оружие и идет отстреливать всех, косо на него посмотревших.

Как бы предвидя подобное развитие событий, Леонтьев предупреждает в «Византизме и славянстве»: «Социальная наука едва родилась, а люди, пренебрегая опытом веков и примерами ими же теперь столь уважаемой природы, не хотят видеть, что между эгалитарно-либеральным поступательным движением и идеей развития нет ничего логически-родственного, даже более: эгалитарно-либеральный процесс (читай: прогресс. – *М. Ч.*) есть антитеза процессу развития». Как говорится, fiat lux (да будет свет!), то есть точки расставлены, позиции определены: развитие и прогресс, по Леонтьеву, – не синонимы по своему внутреннему содержанию. Прогресс, понимаемый как нескончаемое увеличение прав и свобод, может остановиться из-за излишней свободы, переходящей в анархию.

Довольно тонкое разделение и противопоставление развития и прогресса. Для пояснения этого главного тезиса К. Н. Леонтьева, из которого исходят все дальнейшие рассуждения и выводы, вспомним еще раз «реакцию жизни» (фотосинтез), обеспечивающую существование всего живого на Земле. Ботаники и специалисты сельского хозяйства знают, что если «перекормить» растение удобрениями (свободой – в случае человеческого общества), то образование вегетативной массы, так называемой ботвы, станет определяющим и бесконтрольным. Вот это и есть прогресс, то есть, как говорят философы начиная с Анн Роббер Тюрго (1727–1781), поступательное движение человеческого общества по восходящей линии. Возможно, что зеленая масса (силос) необходима скоту на откорм, но образования цветков, их оплодотворения, а, следовательно, **развития** зерен и плодов происходить не будет. И каждый поймет, что без зерен не обеспечишь воспроизводство на следующий год новых растений. Прервется в биологическом случае генетическая связь, а в историческом – связь времен и даже больше – наступит конец истории. Чтобы образовались цветки, а потом возникла завязь, побеги растения прищипывают (деспотия), то есть ограничивают рост (прогресс) зеленой массы. Сотворив цветок, обеспечив завязь

и созревание плода до полной спелости, растение сбрасывает листья, стебель (пшеницы, например) засыхает, растение погибает.

Из этого богатого и творческого примера можно сделать неожиданные выводы, что без деспотии (прищипывания) количество никогда не переходит в качество, что многопудовая зеленая масса без дисциплинирующего вмешательства в ход своего развития не способна произвести свой венчиковый цветок – апофеоз развития – гения в политической или художественной сферах.

И потому «Нынешний прогресс не есть процесс развития: он есть процесс вторичного, смесительного упрощения, процесс разложения для тех государств, из которых он вышел или который крепко усвоил…», – пояснял Леонтьев.

Бог, сотворив фотосинтез, дает людям жизнь и возможность понять взаимосвязи, обеспечивающие ход и смысл развития. Эта реакция есть своеобразная проекция судьбы человечества (это ли не есть история?), которая движется от сотворения Божественного мира к Страшному Суду. Отсюда и эсхатологические предчувствия у Леонтьева: «правильная вера в прогресс должна быть пессимистическая, а не благодушная, все ожидающая какой-то весны...», но об этом позже, пока в «Византизме и славянстве» Леонтьев разбирает, чем обычно заканчивается прогресс.

«Явления эгалитарно-либерального прогресса схожи с явлениями горения, гниения, таяния льда (менее воды свободного, ограниченного кристаллизацией); они сходны с явлениями, например, холерного процесса…», на котором Леонтьев показал, как человек, уравниваясь во время болезни, превращается после смерти в свободные молекулы азота, водорода, кислорода. Мы рассказали о том же процессе, взяв за образец рост растения и его увядание.

Вот так логическое вмещает в себя историческое действо, обеспечивающее развитие объективной направленности (смысла, идеи), а от нее к определенному результату. В нашем примере – зерен, продолжающих расширенное воспроизводство живого. К. Н. Леонтьев с помощью логики поясняет значения отдельных элементов растительной

(в его случае – человеческой болезни) системы в процессе развития (умирания) целого. Логика позволяет перейти к истории как процессу, в котором присутствуют конкретные условия (факты) в неразрывной связи с сутью тех или иных явлений, переход от одних исторических стадий (периодов) к другим.

Таких периодов в развитии растений, культурно-исторических типов, цивилизаций, государств, всей человеческой истории у Леонтьева три: **первичная простота, цветущая сложность, вторичное смесительное упрощение.** Это свое открытие он называл «гипотезой вторичного и предсмертного смешения» или «гипотезой триединого процесса». В «Византизме и славянстве» Леонтьев объясняет это на примерах развития пневмонии, а в историческом плане на примерах развития государств, империй, культур с древнейших времен до XIX века.

По Леонтьеву, «развитие государств сопровождается постоянно выяснением, обособлением свойственной ему политической формы; падение выражается расстройством этой формы, большей общностью с окружающим», а форма, как он раньше отметил, – есть «деспотизм внутренней идеи». И потому: «Государственная форма у каждой нации, у каждого общества своя; она в главной основе неизменная до гроба исторического, но меняется быстрее или медленнее в частностях, от начала до конца.

Вырабатывается она не вдруг и не сознательно сначала; не вдруг понятна; она выясняется лишь хорошо в ту среднюю эпоху наибольшей сложности и высшего единства, за которой постоянно следует, рано или поздно, частная порча этой формы и затем разложение и смерть».

Христианские философы: Владимир Соловьев, Сергей Булгаков, Георгий Флоровский, Василий Зеньковский, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк – осудили «гипотезу триединого процесса» как несоответствующую христианству. В том, что христианство не приемлет органическое развитие, можно усомниться, вспомнив, что Иисус Христос, объясняя ученикам истоки своего будущего прославления как сына Божьего сравнивал себя с пшеничным зерном. Уже это говорит о растительной

основе развития, признаваемой Христом, объясняющим, что если зерно не умрет, то останется одно, а если умрет – принесет много плодов. Аналогия проста и прозрачна: для получения новых плодов растение должно созреть, а потом умереть, то есть пройти все те три стадии, о которых говорит Леонтьев.

Цветущая сложность, следуя логике Леонтьева, началась в Западной Европе с эпохи Возрождения, а закончилась Французской революцией 1789 года. Расцвет России Леонтьев связывает с Петровскими реформами, отмечая, что сословный российский строй эти реформы не нарушили, а только развили его, хотя с этим трудно согласиться. Леонтьев, приветствуя привнесенные Петром европеизированные плоды цивилизации, как-то забывает, что, поедая эти западные плоды, Россия и стала заражаться микробами разрушения русской самобытности, которую Леонтьев хочет сохранить как можно дольше. Это прекрасно можно понять, прочитав часть переписки Петра I с королевой Англии. Отнюдь не случайно, а с убийственным намеком, можно сказать, подвохом королева Анна спрашивает своего венценосного собрата: «…Государь, что будет, если твой народ, переняв ремесла, художества и искусства европейские, переймет и все то, что послужит истреблению первородного его свойства?». Ответ Петра не касался существа вопроса, Петр лишь выразил уверенность, что последующие поколения поддержат его начинания по укреплению России, дух народный его не интересовал.

Ход исторического развития подтвердил обоснованность вопроса королевы Анны, хотя, разумеется, он не диктовался заботой о России. Николай Карамзин дал убийственно жесткую характеристику нововведений Петра I, сказав: «Он сквозь бурю и волны устремился к своей цели: достиг, и все переменилось. Сею целью было не только новое величие России, но и совершенное присвоение обычаев европейских <…> Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество Государств, подобно физическому, нужное для их твердости. Сей дух и вера спасли Россию во время самозванцев: он есть не что иное, как привязанность к нашему особенному, не что иное, как

уважение к своему народному достоинству. Искореняя древние навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь России унижал Россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека к великим делам?»

Приведя это высказывание выдающегося историка, мы невольно перешли к политике, но этот переход лишний повод сказать, что бездумное восхваление западных ценностей и копирование их либеральных достижений есть унижение России. Вот против унижения России всегда активно и выступал Леонтьев.

4

Определив решающее влияние Византии на становление российского Православия и государственности, Леонтьев с этих позиций разобрался с ролью славянства в политике России, определил, почему либеральный прогресс есть антитеза развитию, и раскрыл причины наступления на Западе периода «вторичного смешения».

Применяя в своих рассуждениях слова «смерть», «падение», «конец» к развитию растений, людей, государств, истории, культуры, Леонтьев ставит вопрос: сколько может жить то или иное государство и культура, им созданная, есть ли какой-то максимальный возраст для государственных образований и почему они гибнут. Для ответа на эти вопросы Леонтьев изучает основные труды по истории самых признанных на тот момент авторов. Он поднимает историческую статистику.

Сформулируем некоторые выводы.

Первый вывод, думается, годен на все времена: «Культуры же, соединенные с государством, большей частью переживают их». Говоря о Византии, Леонтьев отмечает: «Как государство Византия провела, однако, всю жизнь лишь в оборонительном положении. Как цивилизация, как религиозная культура она царила долго повсюду и приобретала целые новые миры, Россию и других славян». В другом случае Леонтьев говорит о национальной культуре: «Она как продукт принад-

лежит Государству; как пища, как достояние она принадлежит всему миру». Эта мысль служит продолжением взглядов Гегеля, говорившего, что формы государственной организации не передаваемы по цепи исторического развития, но «совершенно иначе обстоит дело по отношению к науке и искусству».

Приступив к своей любимой теме – культуре и, соответственно, эстетике с обсуждения своеобразия культуры Византии как частного случая, Леонтьев в «Византизме и славянстве» переходит к разговору о культуре мирового значения. И он почти всегда вместо термина «культурно-исторический тип», введенного в научный оборот Данилевским, использует слова «цивилизация» и «культура». «В письмах о восточных делах» Леонтьев дает такое определение культуре: «Под словом *культура* я понимаю *не какую попало цивилизацию, грамотность, индустриальную зрелость* и т. п., а лишь цивилизацию свою по источникам, мировую по преемственности и влиянию. Под словом своеобразная мировая культура я разумею *целую свою собственную систему отвлеченных идей – религиозных, политических, юридических, философских, бытовых, художественных и экономических*».

У Леонтьева «культура – не какая попало цивилизация», то есть культура важнее и полнее по смыслу, чем цивилизация. Культура – это образ жизни народа (ценности, обряды, вера, менталитет, обычаи, умения) – совокупность всех достижений духовной и производственно-деловой жизни народа на всем пути исторического развития. Цивилизация более узкое понятие – это та заключительная стадия национальной культуры, что вышла на мировой уровень на определенном историческом этапе. В XIX веке термин «цивилизация» часто применялся в качестве характеристики капитализма, приравненного к высшей ступени культуры, с чем Леонтьев согласиться никак не мог, потому и различал эти понятия. Цивилизация может клониться к упадку, тогда как культуре историей может быть отпущено развитие. Например, цивилизация Византии пала под ударами османов, но культура ее продолжала жить: часть ее перенял романо-германский исторический тип, дав толчок Ренессансу. Религиоз-

ная составляющая византийской культуры послужила фундаментом для русского Православия и развития государственности.

В более краткой и афористичной форме Леонтьев констатирует: «Ибо культура есть своеобразие; а своеобразие ныне почти везде гибнет преимущественно от политической свободы. Индивидуализм губит индивидуальность людей, областей и наций». В личной сноске в «Византизме и славянстве» он с задором отмечает, что «китаец и турок поэтому, конечно, культурнее бельгийца и швейцарца!». Да, пусть не обижаются бельгийцы и швейцарцы, так как, безусловно, у них нет той суммы «отвлеченных идей», о которых говорит Леонтьев. В этом утверждении его мысли перекликаются с воззрениями Тютчева, писавшего об индивидуализме западного обывателя как начале отрицания всего и вся: власти, Бога, культуры. Позднее (1880) Леонтьев дополнил понятие культуры, которое стало звучать так: «Ибо культура не в *массе знаний*, а в живом *своеобразном освещении* этого умственного хаоса». Афористичность этого определения и глубина подхода заслуживает начертания его на скрижалях истории или хотя бы на зданиях дворцов культуры.

В «Византизме и славянстве» Леонтьев раскрывает уникальность «начал» культуры каждого народа и, в частности, русской культуры. Первой работой на эту тему у Леонтьева была статья «Грамотность и народность», о которой мы уже говорили. Взгляды Леонтьева, отметим сразу, на русскую культуру менялись с течением времени. После «Византизма и славянства» он все больше говорит о влиянии западных заимствований на русскую культуру, а в статьях последних лет («Кто правее?») с трудом улавливает национальную самобытность русской культуры как «основу и руководящее начало культуры».

Второй его вывод – о силе Российской империи. «Надо крепить себя, меньше думать *о благе* и больше *о силе.* Будет сила, будет и кой-какое благо, возможное.

А без силы разве так сейчас и придет это субъективное личное благо? Падений было много: они реальный факт. А где же счастье? Где это благо?»

Леонтьев первым из консервативных мыслителей определил вопрос **государственной силы** не только с политической точки зрения, но и с философской. Через собственные политические переживания, через собственный дипломатический опыт, через эстетику он пришел к такому своеобразно мистическому определению государства. «Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинуясь некоему таинственному, не зависящему от нас деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи. С другой стороны, оно есть машина, и сделанная людьми полусознательно, и содержащая людей как части, как колеса, рычаги, винты, атомы, и наконец, машина, вырабатывающая, образующая людей. Человек в государстве есть в одно и то же время и механик, и колеса или винт, и продукт общественного организма».

Кто только сейчас не говорит о человеке как о винтике в государственном механизме, и особенно либералы, которым не нужно сильное государство, умеющее затянуть винты до требуемого рабочего состояния. Либералам нужно лишь «счастье», которое впервые на государственном уровне прописано в американской Декларации независимости, им нужен комфорт, пусть будет «все смутно, все спутано, все бледно, всего понемногу», но чтобы желудок был полон. «Система либерализма есть, в сущности, отсутствие всякой системы, она есть лишь отрицание всех крайностей, боязнь всего последовательного и всего выразительного. Эта-то неопределенность, эта растяжимость либеральных понятий и была главной причиной их успеха в нашем поверхностном и впечатлительном обществе», – так скажет позднее Леонтьев в передовой статье газеты «Варшавский дневник» («Чем и как либерализм наш вреден?»).

Да, определение государства, данное Леонтьевым, откровенно и даже, может быть, излишне натуралистично, но таков он, Леонтьев, «законодатель и судья ценностей», если брать ницшеанское определение философа как ученого.

В «Византизме и славянстве» идея государственной силы продолжена и развита. России сила нужна не только для защиты своей неза-

висимости и самобытности. Если на Западе падут все частные и национальные государства и будет организована одна общая федеративная республика (прообраз Европейского Союза), то сила нужна будет, чтобы спасать культуру Запада: «…спасать и в нем то, что достойно спасения, то именно, что сделало его величие, Церковь, какую бы то ни было, *Государство,* остатки поэзии, быть может… и *самую науку!»*

Вот он истинно русский, независтливый взгляд на мировую культуру, в том числе и на западную. Нет ни малейшего следа негатива и злорадства к будущему падению Европы, есть только ощущение себя культурной частицей мира, а не местечкового мещанина, которому наплевать на происходящие в мире потрясения и революции, у которого хата с краю, а в желудке счастливая сытость. Вот в чем состоит настоящая разница между всечеловеческими ценностями, правами человека и мнениями так называемого международного сообщества и гражданина культуры мира, в качестве которого всегда выступал Леонтьев. Вот в чем проявляется широта души русского человека, вот в чем состоит та самая русскость, которой отличались взгляды консервативного мыслителя Леонтьева, осуждающего варварские, бессмысленные действия английского просвещенного воинства, таскавшего по улицам Керчи рояль. Он резко против серого, однообразного мещанского западного мирка, и он защищает культуру Запада от их же бескультурных жителей, хамство которых так ярко проявилось у англичан при взятии Керчи. Вот от этого воинствующего хамства предостерегал реакционный Леонтьев любимую им Россию. Вот для чего нужна сила России: не для военного завоевания Европы, не для торжества панславизма, как пытаются (и не без успеха) уверять противники России, а для сохранения культуры, которая может пасть с наступлением эвдемонического и эгалитарного прогресса, наползающего, словно навозная жижа, на Россию с Запада. Ведь падение и гниение Европы Леонтьев рассматривал, прежде всего, как культурное и национальное разрушение под действием мещанских и либеральных псевдоценностей.

И чтобы сохранить культуру, нужна государственная сила: «*…ибо только там много бытовой и всякой поэзии, где много государственной и общественной силы.* Государственная сила – есть скрытый железный остов, на котором великий художник-история лепит изящные и могучие формы культурной человеческой жизни». Так скажет позднее Леонтьев в «Рассказе моей матери об императрице Марии Федоровне».

Третий вывод касался этапов развития государств и их падений. «Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением, до перехода в неорганическую “Нирвану”». Наши примеры «реакции жизни» (фотосинтеза) ясно показали этот путь.

«Такому же закону подчинены и государственные организмы, и целые культуры мира. И у них ясны эти три периода: 1) первичной простоты, 2) цветущей сложности и 3) вторичного смесительного упрощения», – так констатирует Леонтьев, определяя три стадии: зарождения, роста и гибели государств.

То же самое, но спустя 50 лет, будет утверждать англичанин А. Тойнби (1889–1975) в своем «Исследовании истории», которое он создавал на протяжении практически всей своей жизни (1934–1961). Но ни одно, даже русскоязычное справочно-энциклопедическое издание, не сообщает о влиянии на Тойнби русского мыслителя К. Н. Леонтьева. Все они отдают эту роль О. Шпенглеру (1880–1936), также перенявшему у Леонтьева и Данилевского все их историософские воззрения. Забвение идей русских первопроходцев почти в любых областях человеческих знаний – родовое пятно русской истории, и этот факт тоже результат бездумного поклонения Западу.

Четвертый вывод исходит из предыдущих рассуждений: коль скоро мы заговорили о стадиях жизни государств, то в самую пору определить возможные сроки их жизни.

Леонтьев скрупулезно высчитывает, сколько жили царства македонское, египетское, иудейское, мидо-персидское, римское, византийское.

Исключив Китай и Древний Египет как отдельно стоящие культурные и исторические миры, Леонтьев приходит к выводу: «ни одно государство больше 12 веков жить не может». Обращаясь к истории современных европейских государств, Леонтьев спрашивает, беря за точку отсчета 1000-летие: «Что же сделали над собой европейские государства, переступая за роковое 1000-летие?» И отвечает: «С конца XVIII века и в начале нашего на материк Европы вторглись ложно понятые тогда англосаксонские конституционные идеи».

Пятый – самый решительный и смелый вывод. По утверждению Леонтьева, с принятием конституции и введением демократических порядков в государстве начинаются процессы вторичного смешения и упрощения, которые суть признаки, а не причины государственного разложения. «Причину же основную надо, вероятнее всего, искать в психологии человеческой. Человек ненасытен, если ему дать свободу». И благодаря разлитию рационализма в общественных массах, распространению претензий на свободу, равенство, братство и счастье у человека происходит возбуждение разрушительных страстей: зависти, корысти, жажды жены ближнего твоего, гордыни, отрицание Бога, неуважение к старшим и к родителям. Положение русского безграмотного, но богомольного и послушного крестьянина обеспечивает более полную близость к реальной житейской правде, чем рациональных либералов, «глупо верящих, что все люди будут когда-то счастливы, когда-то высоки, когда-то одинаково умны и разумны».

Леонтьев предсказывает, что за мирным смешением сословий, прав, свобод следует затем расстройство дисциплины и необузданность желаний, что однообразие прав и сходство воспитания антагонизмов не уничтожит, так как потребности и претензии станут похожими. И потому страданий человеческих меньше не станет, они станут другого рода (тщеславного, так сказать), которые чувствуются глубже и больнее.

Под конец любой государственности с усилением равенства политического усилится неравенство экономическое, а оно верная причина социальных потрясений, и – это **шестой** его вывод. И для истории,

и для человечества это самый главный итог. Вот только человечество его никак не хочет признавать, так как это признание в непоправимой ошибке. Ладно бы один человек ошибся, а тут все «прогрессивное человечество» идет по собственной воле на гибель, упорно называя этот путь единственно правильным.

Свой вклад в развитие исторической теории Леонтьев оценит позднее в письме своему молодому другу Александрову следующим образом: «Про Данилевского можно сказать, что он сделал великий шаг указанием на эти культурные типы. Можно ведь и так его теорию обернуть: существование разных культурных типов есть признак жизненности человечества; невозможность создать новый; смешение всех в один средний – есть признак приближения человечества к смерти.

Данилевскому принадлежит честь открытия культурных типов. Мне – гипотеза вторичного и предсмертного смешения.

Пусть-ка ее опровергнут! Что-то не суются… И опровергнуть было бы тоже для науки полезно».

Опровергателей, действительно, до сих пор нет, есть только последователи, такие, как Шпенглер и Тойнби, но и их мало кто слушает.

Часть VI
СТРАДАНИЯ

Хороший политик должен уметь и обиды переносить кстати…

К. Леонтьев

Глава 1
Неприветливая Москва

Поезжайте в Россию, сделайтесь «литературным генералом», а лет через пять возвращайтесь сюда на отдых.

К. А. Губастов – К. Н. Леонтьеву. Весна 1874 г.

1

Создавая в 1872–1873 годах «христианские сочинения» («Византизм и славянство», «Еще о греко-болгарской распре» и «Афонские письма»), по собственному определению, Леонтьев нимало не сомневался, что Катков с радостью их примет и опубликует, а автор и его родные не останутся без средств к существованию. Деньги, деньги, они после выхода на пенсию нужны, как воздух.

Матушка Феодосия Петровна завещала Кудиново Константину Николаевичу и Маше, но при этом новые владельцы должны выплатить откупные двум братьям – Александру и Борису – по 3000 рублей каждому. Дядья стали требовать от Маши выдачи этих денег, не обращая внимания на ее неустроенность и отсутствие средств к существованию.

Маша в письме попросила Константина Николаевича о помощи. Этот крик о помощи – главная причина возвращения на родину. Леонтьев не мог оставить в беде свою верную помощницу, да, разумеется, тешил себя и литературной славой, чувствуя, что статьи ему удаются. «Духовная радость, окрылявшая меня, была так велика, что я писал много и охотно…», – вспоминал он позже.

Однако, получив из Константинополя заказанные статьи, Катков испугался их резкости и приказал сотрудникам не отвечать на письма Леонтьева. Н. Н. Страхов да он, Катков, стали некоторым образом основателями нового метода расправы с неугодными авторами – молчания. Они казнили Леонтьева молчанием. Не получая от Каткова писем с марта 1873 года, Леонтьев неоднократно посылал в Москву телеграммы и, не получив на них ответа, 20 декабря отправил письмо заместителю Каткова и своему однофамильцу Павлу Михайловичу Леонтьеву. В письме он настоятельно просит не медлить с ответом и решить его судьбу, пока Игнатьев будет по делам в Петербурге. По его возвращении Леонтьев надеялся принять окончательное решение: возвращаться ли ему вновь на службу, чтобы отработать долг перед Катковым в размере 3000 рублей аванса, или ехать в Москву, веря посулам Каткова об устройстве его на работу в редакции «Русского вестника». Леонтьев будто не знает, что решение примет не его однофамилец, а Катков, и просит «хоть сколько-нибудь утешить и поддержать» его в «том справедливом отчаянии», в которое он «имеет право иногда впадать».

Иногда поражаешься тому, как Леонтьев – такой опытный политик, не замечал порой столь очевидного недоброжелательства по отношению к себе. Но по большому счету это лишний раз характеризует его как доброго и незлопамятного человека, верящего, что люди его окружения созданы по образу и подобию Божьему, так же, как и он сам. Он как бы забывал, что образ – только форма, а для обретения духовного подобия людям нужно положить свою жизнь.

Что может быть страшнее ожиданий, неопределенности и сомнений, разъедающих мозг и душу, как ржа железо. Тем более что свя-

тые отцы рекомендовали ему продолжать работать и рассчитаться с долгами, но Леонтьев их не послушал, а это значит, что до истинного смирения ему было еще далеко. К тому же он почему-то считал, что служба принудит его забросить литературные труды, хотя опыт, кажется, должен бы подсказать, что консульская служба не столь уж обременительна, а время для литературы можно выкроить, сделав более сухими служебные записки. Леонтьев забыл и не совсем удавшийся опыт вхождения в литературный мир Петербурга в 1860–1863 годах, и он тоже должен бы насторожить его. Но…

Весной 1874 года Леонтьев занял на год вперед всю пенсию, «ее удерживали в Посольстве», и, оставив жену в Константинополе, он со слугой, греком Георгием, выезжает в Россию, чтобы разрешить причины молчания Каткова и продолжить занятия литературным трудом, единственным на то время способом заработать деньги и расплатиться по долгам. Через год после возвращения в Россию и мытарств на родине он писал Губастову: «Только в Царьграде я жил настоящим; ей-Богу так!»

Анализируя причины своего нового решительного шага и отказа от консульской, в общем-то, не обременительной службы, Леонтьев в своих воспоминаниях объяснял их тем, что этот выбор был сделан им самостоятельно, без давления и принуждения. «Это мой выбор!!!», – так, или примерно так звучат его откровения.

«Не потому, чтобы я государственную службу презирал… Напротив, я ее чту высоко и своей ограниченной консульской деятельностью очень горжусь; не оттого, чтобы я литературу считал выше государственного дела; вовсе нет; но оттого, что я, именно я, без литературного вдохновения и без литературной славы считаю *мою, именно мою* жизнь ошибкой… Я оттого бы не согласился бы купить ценою отречения от моих сочинений, даже столь несовершенных, столь несообразных с моим *идеалом,* славу и положение самого Игнатьева, оттого, что для меня долго не писать, долго не печататься, долго не слыхать ничего о моих сочинениях есть такое страдание, такое лютое мучение, что я смолоду даже и вообразить себе его не мог и не умел… Это вторая при-

рода… и все остальное в моей жизни было только или необходимостью или средством для искусства, а не целью само по себе…

Есть *нечто*, бесконечно сильнейшее нашей воли и нашего ума, и это *нечто* сокрушило мою жизнь, а не мои ошибки…».

Этот монолог – своеобразный панегирик литературе и нечто оправдательное самому себе. В более откровенном и открытом XIX веке такие признания часто встречались, но, вероятнее всего, они не характеристика века, а характеристика людей, в нем живущих. Большинство **публичных** людей скрывают свои истинные побудительные мотивы, главная из которых быть на виду, даже когда этого не требуется.

2

К такому вот «московскому публичному мужчине» (по определению Герцена) – Каткову тут же приехал Леонтьев, появившись в Москве, чтобы наконец «*узреть правду себе на земле живых*» в литературных делах.

Политик и дипломат по должности и сердечному чувству Леонтьев вовсе не был дипломатом по генетическим, так сказать, свойствам: он рубил с плеча во всем, кроме трех пристрастий: монархии, религии и эстетики. Определив 1000-летие как максимальный или близкий к нему возраст государств и рукописно в «Византизме и славянстве» усомнившись в светлом будущем России, Леонтьев как-то забыл, что всего лишь 10 лет назад Россия праздновала это самое критическое тысячелетие. Не учел он того, что в Новгороде с великой помпой открыли величественный памятник под громким названием «Тысячелетие России» по проекту русского архитектора Михаила Осиповича Микешина (1835–1896). Ныне пророческие, а тогда казавшиеся невнятными, а то и просто шокирующими рассуждения Леонтьева, что Россия стоит у «какого-то страшного предела», сразу же вызвали отторжение у редактора и владельца «Русского вестника» Михаила Никифоровича Каткова.

Не могли понравиться Каткову и рассуждения Леонтьева о южных славянах, что у них нет аристократического периода расцвета и что абсолютное большинство их напрямую от крестьянской сохи и разбойничьего топора сразу же сделалось средним буржуа. Он же, по мнению Леонтьева, есть могильщик всемирной культуры и ярких личностей.

Кроме того, использование в положительном смысле забытого термина «византизм», служившего в то время символом отсталости, затхлости, восточного иезуитства, также не приветствовалось Катковым. О нем как государственнике и патриоте Леонтьев отзывался, большей частью, положительно и даже предлагал впоследствии поставить ему при жизни памятник, но считал, что у Каткова «нет смелости в идеях, ни искры творческого гения».

Помимо своей прямоты, часто подводившей его, Леонтьеву не везло и по части бытовых мелочей, также оставлявших след на его судьбе и судьбе произведений. Когда Леонтьев явился к Каткову, тот был нездоров, принимал лекарства, да к тому же при обсуждении «Византизма и славянства» возмутился словами словоохотливого Леонтьева, сказавшего похвалу Герцену, переставшему верить в прогресс. После чего по поводу «Византизма и славянства» Катков сказал нечто вроде: «этак можно до чертиков дописаться». Леонтьев возразил ему, что все это сообразно с мнениями лучших монахов, на что Катков резко возразил, что монахи ничего не понимают. Леонтьев позже комментировал: «Его Православие было *серенькое*, разведенное либеральностью, он думал, что и мое такое же, а когда я развернул вполне знамя моего *белого Православия,* то он испугался этого *варварства и безумия*…». Из всех присланных и привезенных рукописей Катков обещал опубликовать лишь роман «Одиссей Полихрониадес» за 1200 рублей и выдал аванс 700 рублей.

К кому он мог бы еще обратиться? Да, посольские друзья снабдили его рекомендательными письмами к князю В. А. Черкасскому и княгине Н. Б. Трубецкой, чтобы ввести Леонтьева в славянофильский круг Москвы. Впрочем, ни Черкасского, ни княгини Трубецкой в Москве не было, но Леонтьев хотел, чтобы именно славянофилы, жела-

тельно из первых, посмотрели его теоретическую часть «Византизма и славянства». Тогда он направляется к профессору истории Московского университета, публицисту и одному из первых славянофилов и, кроме того, бывшему крепостному Михаилу Петровичу Погодину (1800–1875). Старик Погодин рукописи взял, узнав от Леонтьева, что Константинов – это леонтьевский псевдоним, а статьи о панславизме за этой подписью написаны им. Погодину они очень нравились, но при встрече он часто жаловался на глаза, что плохо видят, а почерк Леонтьева действительно был ужасен. Тем самым он намекал, что не гарантирует прочтение их и постоянно при беседе упоминал о «дальнем пути». Понятно каком! По сути, здесь тоже неудача.

Десять лет отсутствия в России сделали свое дело – связей нет. Нет и того органа печати, чтобы прямо поддерживал публицистов и писателей консервативного направления. Как это ни странно прозвучит, но в монархической России монархистам после Крымской войны было бесприютно. В 1874 году (6 ноября) Леонтьев в письме из Николо-Угрешского монастыря жаловался графу Н. П. Игнатьеву: «Человек хорошего направления нынче нелегко находит себе место в печати. Это не ко мне одному относится. Погодин говорил мне, что негде печатать; он же говорил мне, что Аксаков плачет иногда, когда один. “Русский вестник” загроможден просто материалом, ибо он единственный в России журнал, в котором может печатать человек не демократического, не революционного, не буржуазно-либерального духа. “Гражданин” мал и, кажется, небогат. “Русский мир” хорошего направления, но газета, а я пишу более крупные вещи. Остальные почти все зараза…». Ситуация мало изменилась и в годы правления «реакционного» императора Александра III. Об этом свидетельствует Лев Тихомиров почти 20 лет спустя, записавший в свой дневник 26 сентября 1892 года: «Нам, журналистам монархического и церковного направления, просто хоть пропадай – *негде писать*... Ну, что я буду делать? Чем жить? Ведь податься некуда. Вся пресса – более или менее нигилистична. А затем остается “Гражданин” и “Русский вестник”!..»

Раздосадованный отказом Каткова Леонтьев вновь и вновь вспоминает (да, он и не забывал о нем никогда) об обете пострижения и по пути в Кудиново заезжает в Истру, подмосковный городок, что в 50 верстах к западу от Москвы. Здесь настоятелем Воскресенского Новоиерусалимского монастыря с 1970 года архимандрит Леонид, бывший его адресат. И, хотя отец Леонид отказал ему, как мы знаем, в 1873 году «в виде постоянного полумирского поклонника», но Леонтьеву не к кому обратиться за помощью, и не только духовной, а чисто житейской. Как жить дальше? Скорее всего, Леонтьев упрашивал отца Леонида взять его под свой покров, но тот, видимо, в пору своей работы в посольской Константинопольской церкви знал о бравых любовных похождениях Леонтьева, вернувшегося героем после инцидента с консулом Дерше, и не хотел видеть Леонтьева в своем монастыре. Конечно, это лишь догадки. Бывает просто необъяснимое несходство и неприязнь между людьми, на первый взгляд ничем не вызванные. Тем не менее отец Леонид рекомендовал Леонтьеву Николо-Угрешский монастырь, также вблизи Москвы, где архимандритом был Пимен (Петр Дмитриевич Мясников; 1810–1880), с которым он был дружен и обещал поговорить относительно Леонтьева.

3

Разочарование и крушение надежд было настолько сильным, насколько сильны были радость и вдохновение, владевшие им при создании этих трудов. Тогда на острове Халки хмель будущего успеха кружил голову, заполнял его, заставлял высказаться откровенно. Он чувствовал, что у него получается, он уверовал, что его слово будет оригинальным и неповторимым. Но Катков в Москве был сух и трезв, и «хмельные» откровения Леонтьева ему были непонятны, может даже, противны. Вот и оказывается, что пьяному от творческой радости есть пересуды, да еще какие.

Итак, первые хлопоты в Москве оказались пустыми и в литературе, и в духовном обустройстве. Оставалось Кудиново. Но будет ли оно

милым, как в юности? Нет, не стало. Стало даже обузой («зачем мать оставила Кудиново мне?»), требовавшей выплаты братьям Александру и Борису по три тысячи рублей откупных по завещанию матери.

Последний раз Леонтьев был в родных местах январем 1863 года, когда ожидал известия от Азиатского департамента, и в памяти его остались, казалось навсегда, чистота, порядок и красота. Что же видит он теперь? Предоставим ему слово, запечатленное в «Моей исповеди». «Приехал я – дома нет, сломан и продан; сад зарос; мать в могиле; брат (отец Маши) – в могиле; двое других братьев стары, беднее меня и в злобе на меня…

Везде разрушение, смерть, старость, нужда, одичание вида самой усадьбы и тому подобное. Даже Марья Владимировна, которая три года перед этим была такая молодая, красивая, нарядная, теперь была печальна, худа, больна, убита и всем тяготилась.

Сам я писать тогда не мог; с Катковым дела были в застое».

Леонтьев ехал в родное и дорогое Кудиново с надеждой, что прекрасные места и племянница утешат, поправят настроение или хотя бы помогут своим видом и словами обрести деятельный настрой после московских разочарований. Но на него вновь, как в 1871 году в Салониках, напал страх внезапной смерти после посещения могил матери и брата Владимира. Он преследовал его и дни и ночи. Печальные картины разрухи, богатое воображение, повышенная чувствительность, развитые с детства, помогают легко и уверенно угнездиться мысли о смерти, завладеть всем его существом.

Вокруг он видит жестокие проявления вечной истины, что все материальное и телесное – прах и пепел, и понимает в очередной раз, что отдавать жизнь за достижение богатств и положений – это значит создавать себе клетку, может быть, золотую. И все это запустение вновь и вновь напоминало ему афонских монахов, понимавших суть духовного. Тем быстрее оно нисходит на человека, чем глубже страдания и напряжения чувств. Только мысли о Боге примиряли его и с одичалым садом, в котором прошедшей зимой, словно к его приезду, от жестоких морозов

погибли яблони и торчали пни, и с шумными грачами, и с высокой травой в аллеях, и с тоской. Траву теперь косит его племянница-дворянка, чтобы задать лишний клок сена 4 коровам – единственным кормильцам «нищих» дворян. Сам Леонтьев будет бесплатно лечить крестьян, на последние гроши покупая им лекарства.

Тоска и грусть, словно волны моря, накрывают его с головой. Во флигеле, где живет Маша, он находит последний предсмертный портрет матери: «На сморщенном лице, прежде столь открытом и надменном, в потухающих глазах, во всем видно столько уныния, столько немого отчаяния, такая мольба о пощаде, что я боюсь подходить к тому уголку, в котором висит этот ужасный для меня портрет». Леонтьев смотрит на себя в зеркало, и ему становится еще страшнее: он видит, как после 1871 года стал быстро стареть, дурнеть и недомогать. Порой накатывала слабость, при которой ничего не хотелось, даже писать. Но…

Все это увиденное, услышанное, прочувствованное лишний раз убеждает, что для него остается только литература, только публицистика, только мысли, вырастающие из бесценного опыта. И боязнь смерти, как заразная болезнь, отпускает, потому что исполинские натуры, подобные Леонтьеву, просто так не сдаются, они быстро берут себя в руки, и сопротивление их пропорционально той напасти, что временно овладевает ими.

Леонтьев преувеличивает, что дома нет. Еще мать его, Феодосия Петровна, построила по обеим сторонам большого дома два бревенчатых флигеля. В одном жила она, а другой предназначался для Константина. За год до кончины Феодосия Петровна вынуждена была старый, разрушающийся дом продать на снос (не на слом). К флигелю матери сын Владимир пристроил теплые сени для прислуги и переднюю с крыльцом. Здесь после смерти отца жила Маша. К светлому и просторному флигелю Константина Николаевича также пристроили сени, и в нем еще сносно можно было жить.

Постепенно опасения, что его скоро положат «под ту же зеленую травку, которой были покрыты могилы матери и брата и тех дворовых,

которых он не застал в живых», благодаря Маше улетучиваются. Она знакомит дядю с семьей Раевских, что жили в Карманове, находившемся в шести верстах от Кудиново. Старшая дочь этого семейства Людмила – лучшая и незаменимая подруга Маши. Зиму Маша, Людмила и ее сестры проводили в Карманове: рукоделие, песни хором, прогулки и катания на розвальнях, хождение «барышень» по избам. Эта близость молодых дворянок к простому народу, наверное, одно из самых лучших проявлений их русской сути. Нигилизму и революционности научить они крестьян не могли, напротив, исполнение хоровых песен вместе с крестьянами лишь повышало и развивало самобытность русской культуры.

Не потому ли 43-летний Леонтьев влюбляется в 25-летнюю Людмилу, которая, кроме внешней своей красоты, обладала тонким вкусом, обожала русские народные костюмы. Вот уж поистине Леонтьев, как никто, прежде всего, любил глазами. Конечно, Леонтьев знал способы обольщения. Ему ли, старому ловеласу, испытывать неловкость или неуверенность: женское общество для него – родная стихия. Писатель, консул, родоначальник новой гипотезы исторического развития. Возможно, что мало кто так был образован и начитан для того времени, как Леонтьев. Ему было легко очаровать провинциальную особу рассказами о дипломатической службе, о встречах с выдающимися людьми того времени, о турецких нарядах и обычаях. Полуночные прогулки по широким и тенистым аллеям Кудиново. Были ли жаркие объятия? Мы не знаем и никогда не узнаем. Далее трудно что-либо говорить. Встречи и разговоры с Людмилой отодвинули мысли о смерти, казалось, навсегда.

Собой же Леонтьев недоволен: свое состояние он жестко называет «блудным искушением». Он считал себя слабым, неверным на слово, излишне податливым на женские прелести. Ведь прошло-то всего три года, когда он, казалось бы, избавился от соблазнов полового влечения. И на тебе! Каков же он монах, побежавший за первой юбкой? Леонтьев открывает «Второе Соборное Послание Святого Апостола Павла» и сразу же, во второй главе, находит искомое. Стихи 20, 21, 22 буквально разрывают ему душу:

20. Ибо, если, избегши скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются *ими*, то последнее бывает для таковых хуже первого.

21. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной ими святой заповеди.

22. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья *идет* валяться в грязи.

Леонтьев – один из достойнейших представителей своего дворянского сословия, чутко дороживший честью, считает себя предателем Бога. Ужасное чувство. Его словно обливают кипятком, стыд простреливает его пулей. Он тут же вспоминает о рекомендательных письмах от афонских отцов оптинскому старцу Амвросию.

Леонтьев спешно собирается. Путь в Оптину Пустынь, если ехать проселком, равен 60 верстам, дорогу ему объясняют Раевские. Он берет с собой Машу и 6 августа отправляется в Оптину Пустынь к старцу Амвросию. Тот встречает его с православным пониманием и предоставляет ему на жительство Ключаревскую келью.

4

«Здесь сошел на душу мне такой мир, какого я давно не знал», – говорил Леонтьев о посещении Оптиной Пустыни в августе 1874 года.

В день первой встречи, вспоминал Леонтьев, было очень жарко. Болезненный старец (отец Амвросий) под большим полотняным зонтом ходил по лугу и долго разговаривал с каким-то мужчиной. Когда очередь дошла до Леонтьева, старец, уже усталый, позвал его в комнату, где он увидел небольшого роста монаха, белокурого, с чрезвычайно приятным и веселым лицом. Это и был Зедергольм (отец Климент).

Они познакомились, вышли на воздух и стали ходить в тени раскидистых деревьев, разговаривая. Между ними пробежала та энергетическая искорка, что навечно сближает людей и делает их друзьями. Леонтьев много говорил об Афоне, о Турции, о греко-болгарской распре,

Зедергольм прерывал его, расспрашивал, и на лице его «блистала такая радость, что я никогда этого светлого выражения не забуду». Дело в том, что Зедергольм был почти в то же время на Афоне, что и Леонтьев, и знал ситуацию вокруг болгарского церковного раскола. Они сходились не только во взглядах на Церковь, Патриархию, Вселенский Престол, но и на литературу, и на жизнь. Для Леонтьева отец Климент из «сухой» немецкой и протестантской семьи стал без преувеличения даром Божьим.

Именно через Зедергольма Леонтьев познакомился со своим будущим ангелом-хранителем – Тертием Ивановичем Филипповым, впоследствии буквально сторожившим и направлявшим каждый шаг Константина Николаевича, обеспечившего Леонтьева хорошей работой и пенсией, позволившей ему заниматься литературным трудом без забот о еде и крове. Дело в том, что Зедергольм учился в свое время в одной университетской группе с Т. И. Филипповым, «белокурым красавцем в русском стиле», превосходно исполняющим русские песни. Он и поэт Б. Н. Алмазов много рассказывали Зедергольму о русском духе, о русских обычаях, о русской жизни. Однажды Зедергольм попросил Филиппова: «Тертий Иванович, сделай меня русским».

– Для этого, прежде всего, надо стать православным, – отвечал тот.

Зедергольм рассказывал Леонтьеву о своем желании обрусения, о симпатиях к русским национальным формам, о неудовлетворенности протестантством. Все вместе взятое и привело Зедергольма к Церкви, а потом и в скит. Леонтьев внимательно слушал, и душа его успокаивалась.

«Я с теплою верой в Бога и в Церковь и, конечно, с личным доверием к этому человеку за его хорошую жизнь прихожу к нему, и что бы он мне ни ответил на откровение моих тайных даже помыслов, я приму покорно и постараюсь исполнить», – так уважительно характеризовал Леонтьев друга в замечательном очерке «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни».

Они сошлись как братья, отец Климент был старше Леонтьева всего лишь на год. И потому самым сердечным из всех очерков у Леонтьева получилось повествование о жизни немца Карла Густава Адольфа Зе-

дергольма, о приходе его к Православию и пострижении в монашество под именем Климента. Леонтьев создал живой образ с тонко подмеченными особенностями характера Зедергольма и не только его, но и всего Православия, если позволительно искать черты характера у одного из самых распространенных течений христианства. «Он помнил правило духовников: человек, осуждающий ближнего (или с удовольствием участвующий в подобном осуждении), легко может быть наказан тем, что сам впадает в тот самый грех или в ту немощь, которую так строго казнил», – говорит Леонтьев о монашеских нормах поведения, которым покорно следовал о. Климент, и чему учил Леонтьева.

Судьба Зедергольма не просто прошла перед глазами Леонтьева, она стала для него примером, которому надо следовать. Судьба друга стала основой и толчком для более углубленного изучения и проникновения в суть православного (в котором неважно: немец ты, или русский, или грузин) монашества, венца веры. В книге он продолжил свои философские размышления, теперь уже онтологического и религиозного направления: «К тому же разве этот ход ежедневных мыслей, эта нить тонких привычек чувства не обусловливает ли впоследствии как невидимая со стороны непрерывная цепь психического развития наши явные поступки, наши крупные дела?»

Своего друга, отца Климента, Леонтьев называет катехизатором, то есть популяризатором Православия. По водворению в Оптиной Пустыни с 1862 года иноком и постригом с именем Климент Константин Зедергольм стал помогать болезненному отцу Амвросию в обширной переписке с духовными детьми. Принимал он и самое деятельное участие в типографских изданиях Оптиной Пустыни. Отличное знание им древних и новых иностранных языков делало его незаменимым помощником о. Амвросию по переводу святоотеческих трудов.

Как человек, умело применяющий логические доводы, отец Климент стал чрезвычайно полезен в миссионерском подвижничестве. Леонтьев восклицает: «Глядя на него и слушая его, я часто сокрушенно думал о том: какою бы исполинскою силой могло обладать духовен-

ство наше, если бы в среде его было больше людей, подобных Клименту, светски образованных и по-мирски ученых, но по воле и убеждению склонившихся пред строгим императивом церковного учения…». Скорее всего, сам Леонтьев мечтал стать таким монахом, так как был светски образован и по-мирски ученым, но смиренно склониться перед церковным императивом у него не получалось. Он охотнее склонялся лишь перед литературным повелением.

И еще Леонтьев с удовольствием склонялся перед внутренним императивом своего первого оптинского духовника отца Климента: «…и все, восхваляя его усердие, его веру, его ум, его искреннюю и горячую доброту, указывали, однако, на ту непомерную впечатлительность его и вспыльчивость… она терзала гораздо больше его, чем тех, на кого он сердился». Своим очерком и образом монаха Климента Леонтьев недвусмысленно давал знать не только «интеллигенции», но и просвещенной части общества, что путь к жизни, наполненной чистыми помыслами, высокой духовностью и совестливостью, лежит только через веру в Бога.

Да, они, Леонтьев и Зедергольм, были близки по внутреннему своему настрою, по философичности прихода к вере православной, по сердечной твердости в ней.

В нелегкой леонтьевской судьбе обретение им духовником и другом отца Климента было настоящей удачей, но и она недолго сопровождала Леонтьева. Именно после неожиданной кончины о. Климента в возрасте 48 лет Леонтьевым овладело яростное отчаяние, очень ярко и откровенно выплеснувшееся в «Моей исповеди» в конце 1878 года. Леонтьев сильно переживал эту утрату, которая особенно стала для него ощутимой рядом с менее философичным старцем о. Амвросием.

На склоне лет своих Леонтьев летом 1891 года признавался Льву Тихомирову о впечатлении, которое произвел на него впервые отец Амвросий: «Мне нужно еще тогда было кое-чему доучиваться, но после Иеронима отец Амвросий ничуть не удовлетворял меня. Слова его, всегда очень краткие, спешные, элементарные, на меня мало действовали.

У него, вследствие жизни среди мира, а не в Афонском удалении, и паства была несравненно многолюднее, чем у Иеронима. Кроме того – он уже и в 1874 году был гораздо слабее Иеронима и, наконец, у него, видимо, не было тех философских и богословских наклонностей, которые в высшей степени сильны у Иеронима».

Несмотря на «низкое» происхождение (сын причетника из села Большие Липовцы Тамбовской губернии), Александр Михайлович Гренков закончил Тамбовскую семинарию со званием студента, то есть в числе первых учеников. Три года был учителем Липецкого духовного училища. В его судьбе есть некоторые схожие с судьбой Леонтьева моменты, объясняющие особое расположение о. Амвросия к своему исповеднику. В годы своего учительства в Липецке Гренков, не отличавшийся с детства крепким здоровьем, серьезно заболевает и дает слово посвятить себя служению Богу в монашеском звании, однако, выздоровев, раз за разом откладывал исполнение своего обещания. Лишь возобновившаяся болезнь болевым толчком восстановила решимость его идти к старцам. С апреля 1840 года Гренков пострижен в мантию с наречением Амвросием, а в 1843 году рукоположен в иеродиаконы.

Конечно, Леонтьев знал, что о. Амвросий – образованный человек, владевший пятью языками: французским, греческим, еврейским, татарским и старославянским. Именно он перевел на славянский язык трактат «Лествица, возводящая к небесам», ставший широко известным в России. Тем не менее Леонтьев почему-то считал его менее образованным, чем о. Иероним. Возможно, причиной тому была простонародная манера поведения старца, отвечавшего на вопросы просто, кратко и мудро. В ткань его ответов наряду с текстами Священного Писания удачно вплетались яркие пословицы, поговорки и притчи. Эта подчеркнутая народность, видимо, немного раздражала аристократа Леонтьева, признававшего тем не менее, что паства и, соответственно, популярность, у Амвросия обширнее, чем у афонского о. Иеронима.

Простой народ с удовольствием повторял за старцем сочиненные им рифмованные прибаутки – составившие своеобразный жизненный ко-

декс: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». – «Народ! Не разевай рот!». – «Оттого и кончина была хороша, что жила хорошо. Как поживешь, так и умрешь». – «Лицемерие хуже неверия». – «Жить можно в миру, только не на юру, а жить тихо». – «Если слушать чужие речи, придется взвалить осла на плечи». – «Кашу заварим, тогда увидим, что творим».

Такой простодушный характер поведения отца Амвросия снискал ему особую любовь народа. Вот как о нем вспоминает иеромонах Ераст в «Историческом описании Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита»: «Народ, по обычаю, толпился вокруг него, шумел, некоторые хватались даже за края его одежды, чтобы, остановив его на секунду, сказать ему “словечко”». Нередко, выбираясь из толпы народа, оставлял он в руках народа и верхнюю рясу, которую после келейники приносили в келью».

Иеромонах Ераст отмечал, что «из русских писателей особенно чтил о. Амвросия Константин Николаевич Леонтьев». Почитание было взаимным. Именно к Леонтьеву о. Амвросий имел такое доверие, что «нередко адресовал к нему тех из своих интеллигентных посетителей, которые нуждались в убеждениях о суете мира сего и необходимости веры в Евангелие». Другими словами можно сказать, что Леонтьев становился таким же катехизатором, как покойный друг – отец Климент. Леонтьев умел затрагивать такие особенности человеческой души, которые они у себя долго прятали, страшась услышать голос совести, и находил нужные слова, чтобы развернуть посетителя на путь к Богу.

5

Леонтьев мечтает махнуть на все рукой и остаться в Оптиной Пустыни. Как было бы хорошо забыть «блудное» желание к Людмиле Раевской, требования упрямых и настойчивых братьев, желающих немедля получить положенное по наследству. Нет, обстоятельства жизни

вновь выдергивают из любимой обстановки и окунают его в холодную воду мирских забот.

Ободренный молитвой он вспоминает о старом друге, князе Константине Дмитриевиче Гагарине, только что назначенном в Калугу вице-губернатором. Вспоминает (точнее, узнает), что старый товарищ по гимназии Сорокин – директор кредитного банка. После благословления отцом Амвросием Леонтьев 4 сентября отправляется в Калугу, берет кредит в банке под залог земель любимого Кудиново и частично погашает долг перед братьями, выплачивая им по 2,5 тысячи рублей из 3000 по завещанию. Высылает 600 рублей жене для оплаты личных долгов (ей уже не выдавали еду в долг в константинопольских лавках) и, чтобы ехала она, куда ей угодно: к матери в Крым или к нему в Кудиново.

Пока решаются и обставляются все эти финансовые дела, Леонтьев почти два месяца живет у князя Гагарина, который только что привез с острова Корфу молодую гречанку-жену.

Позднее, в 1912 году, когда о. И. Фудель занимался изданием полного собрания сочинений Леонтьева, князь Гагарин по его просьбе вспоминал, что в хмурые осенние вечера он с Леонтьевым вел множество продолжительных бесед, «всегда одушевленных, ярких и блестящих по форме». Князь Константин Гагарин называл тезку своим учителем. В свою очередь Леонтьев также высоко отзывался о способностях князя. Впрочем, иначе и быть не могло, так как Леонтьев предпочитал не тратить время на пустых людей, ему не интересных.

После частичного решения финансовых дел возвращаться в Оптину Пустынь и прятаться там было уже нельзя, надо было добывать средства к существованию. Этим средством оставалась одна лишь литература. Долгов же скопилось предостаточно: турецкие, а заимодавцами были и русские дипломаты, и кавассы (турецкие охранники), и торговцы (у Леонтьева был свой «гобсек» – еврей Нардеа – 7000 рублей). Каткову – 4000 рублей серебром, кредит в банке – 1300 рублей, выплата пенсий крестьянам и остаток (1000 рублей) братьям, и даже греку Георгию, который верно служил ему долгие годы, он умудрился

задолжать 150 рублей. Финансовая удавка! Часть уже выплачена, но до окончательного расчета еще далеко.

У сурового, по мнению Леонтьева, реалиста и очернителя России Николая Гоголя долгов было на 17,4 тысячи рублей серебром. Успокоило бы Леонтьева знание этого факта? Думается, что нет. Но где Гоголь и где он, почти безвестный Константин Леонтьев? Гоголь известнейший человек в России, друг Пушкина, Вяземского, Погодина; на его премьере «Ревизора» присутствует император Николай I; его рукописи расхватывают для издания, когда на них еще не обсохли чернила. Это его скульптурная фигура на памятнике Тысячелетию России доверительно опирается на плечо Пушкина. Кто известнее Гоголя из литераторов, но вот и он задолжал громадную сумму, которую гасят за него могущественные друзья. А кто поможет Леонтьеву, умеющему прозревать не только судьбы людей, а судьбы государств? Никто! Пророки России не нужны, даже если они за царя и православие жизнь готовы отдать!

Леонтьев едет из Калуги в Москву на литературные заработки, к Каткову, в редакцию «Русского вестника». К счастью, по пути в Москву Леонтьев заехал в тульское имение Моховое к своему старому приятелю Шатилову. Гостивший там публицист и теоретик стихосложения Павел Голохвастов посоветовал Леонтьеву надеяться прежде всего на историков – Михаила Погодина и Осипа Бодянского, а на Черкасского и Аксакова не рассчитывать. Так и получилось, как предсказывал Голохвастов: именно они-то, историки, и помогли Леонтьеву в издании «Византизма и славянства».

* * *

«В Москве я не хочу быть и дня одного», – писал он год назад отцу Леониду еще из Константинополя. Но приходится быть и день, и два, и десятки дней. Слишком крепка цепь, которой он прикован к написанию теперь уже не только художественных произведений, а публицистических, первые опыты которых стали для него многообещающими, но от-

нюдь не успешными. И слишком тяжела ноша долгов, буквально пригибающая его к земле. Ведь как бы ни сильно желание уйти в монастырь, ни силен страх Божий перед невыполненным обетом, но возврат долгов, отнюдь не мифических, дело чести, которую дворянин Леонтьев должен блюсти. Пришло время, когда суровая проза жизни заставляет мечтать о дешевых сапогах, о калошах жене, о простой еде. Настало время забыть о том, как он дарил «5-червонные австрийские золотые на монисто какой-нибудь янинской 16-летней турчанке» или «покупал жене обезьян и наряды, лишь бы только она не скучала и не мешала мне делать, что хочу…». Зачем и почему он так безрассуден? Виной ли тому широкая натура, которая так привлекала его в Аполлоне Григорьеве, или своеобразное понятие ее широты, причина неизвестна доподлинно.

Можно сказать, что Леонтьев – абсолютно непрактичный человек, не сознающий этого. Но именно это счастливое непризнание подобного «недуга» позволяет эффективно направлять свои оригинальные мысли на литературные и публицистические подвиги. Другой бы раскис под таким гнетом, но Леонтьеву достаточно утром выпить, не спеша, кофе, выкурить сигару, и сознание готово к труду публициста, забыв о долговом грузе. Счастливая особенность характера! И, несомненно, глубоко правы психологи и психиатры, утверждающие, что забывчивость (умение отвлекаться от тяжелых проблем) есть самое необходимое и полезное свойство мозга. Это своеобразный дар находить счастливые моменты даже в самых невыносимых условиях жизни.

Поначалу в осенней Москве все начиналось неплохо. Леонтьеву показалось, что он с Катковым поладит, и он начинает писать первую в жизни заказную статью «к сроку». Он повторно навещает Михаила Петровича Погодина и в течение полутора часов рассказывает ему основы гипотезы триединого развития. Глубоко посаженные глаза 74-летнего старца, не отрываясь, изучали красивое, еще молодое лицо Леонтьева, но не смущали, а подбадривали.

Неистовый любитель прекрасного Леонтьев оценил запоминающуюся внешность Погодина: широкий лоб, копна еще не седых волос

и почти белая бородка клинышком. И, главное, уважительная сосредоточенность и постоянное внимание, они-то, прежде всего, пленили Леонтьева в Погодине. Глаза его, как отмечал Леонтьев, были «светлы и внимательны» на протяжении всей беседы. Закончив, Леонтьев спросил о мнении Погодина относительно его исторической гипотезы. Погодин своеобразно ушел от ответа, сказав: «Я так подавлен обилием и разнообразием ваших мыслей, что не нахожу вдруг вам и ответа». Потом Погодин говорил о своем желании назначить Леонтьева редактором славянофильского журнала и написал тут же записку Ивану Аксакову и дал ее прочесть подателю. В записке значилось: «Это человек примечательный; он мог бы, я думаю, стать редактором славянофильского журнала; но мне, кажется, *его необходимо придерживать за полу*». Они посмеялись над характеристикой, данной Погодиным. Пишет он рекомендательную записку и Осипу Бодянскому, редактору журнала «Чтения в Обществе истории и древностей российских».

Погодин первый, кто сразу признал незаурядный ум Леонтьева, но одновременно и его горячность при отстаивании своих взглядов. Старый мудрый Погодин разглядел своеобразие леонтьевских мыслей, как никто другой. «Нам нужны такие люди, как вы, – говорил он Леонтьеву, – умные, просвещенные, мыслящие и… благородные». Он планирует свести его с А. И. Кошелевым, издававшим на свои деньги славянофильский журнал «Беседа». Однако в глубине души Леонтьев сомневается, что может сойтись с Кошелевым по ряду принципиальных вопросов, касающихся взглядов на государство и Церковь. Так и оказалось впоследствии: «Ибо я убедился и узрел очами своими, что если снять с них пестрый бархат и парчу бытовых идеалов, то окажется под этим приросшее к телу их обыкновенное серое, буржуазное либеральничанье, ничем существенным от западного *эгалитарного свободопоклонства* не разнящееся».

Леонтьев берет у Погодина рукопись «Византизма» и едет к Ивану Сергеевичу Аксакову, не откладывая ни дня. С ним Леонтьев действует более осторожно и дипломатично. Вначале передает свой разговор с

Катковым. Этот свой «донос», по словам самого Леонтьева, сопровождается негативными высказываниями Каткова о славянофильстве. Осуждал же Каткова Леонтьев искренне, так как «терпеть не могу и западный прогресс и разжиженное англо-саксонство Вестника, и самый характер Михаила Никифоровича, его фальшивую улыбку, его сухость, раздражительность, доходящую до грубости и т. д.». Аксакову, несомненно, понравилось такое осуждение соперника. Он обещает прочитать рукопись и приглашает Леонтьева к себе «на четверги».

Через неделю, в четверг, Леонтьев специально приходит пораньше до званых гостей, чтобы узнать мнение Аксакова. К этому времени Аксаков прочитал примерно половину статьи, высоко оценил ее и добавил, что будь у него журнал, то он непременно опубликовал бы ее. Леонтьев доволен – по сути, это новое вхождение его в литературно-политический мир России! От приема в круг старых славянофилов, «прихвостнем» которых он быть не хотел, но уважал их идеи и взгляды, зависело многое. Леонтьев надеялся на них, «как на своих, как на отцов, на старших и благородных родственников, долженствующих радоваться, что младшие развивают дальше и дальше их учение».

Но после прочтения всего труда «Византизм и славянство» настроение Аксакова резко изменилось, и, как вспоминает Леонтьев, даже «тон его личного обращения со мной изменился к худшему». Аксаков стал обвинять Леонтьева в язычестве; отношении к христианству как обыкновенному историческому явлению, а не как откровению Бога; осуждать его за культ сильного государства, за необходимость юридических перегородок, привилегий и сословий.

«Я, помню, упомянул как-то о *государственной необходимости.* Аксаков в ответ на это вспыхнул и сказал: “Черт возьми это государство, если оно стесняет и мучит своих граждан! Пусть оно гибнет!”»

Такого отношения к государству, возглавляемому императором, Леонтьев не прощал никому: ни ямщику, ни признанному лидеру славянофильства Аксакову. В этом отношении, как и в вопросах веры, для него все равны: и иудей, и эллин… После разговора с И. Аксако-

вым Леонтьев записал: «Я понял, что между нами такая бездна, которая бывает часто между учителем и учеником, ушедшим дальше по тому же пути».

Характерен и другой эпизод из того же разговора, касающийся вроде бы пустяшного латинского изречения, примененного Леонтьевым в той же работе: «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». Аксаков с негодованием осуждает Леонтьева за использование этой «языческой» пословицы, одновременно упрекая его в том, что он, верующий, применяет языческое изречение.

Да, перед Богом все равны, когда предстают перед ним на Высшем Суде. На земле же каждый должен исполнять данное ему предназначение. Богом ли оно дано, положением ли – аристократическим или крестьянским, но исполнять, подчиняясь все-таки Юпитеру (царю, государству), а не быку (своим желаниям). Так пролегла трещина, точнее пропасть, между Аксаковым как представителем славянофильства и Леонтьевым. Главным в славянофильстве Леонтьев видел не методы и не способы объединения славян, а те культурные особенности славянина, отличающие его от Запада и которые тот должен любить, лелеять и беречь в себе и в других славянах.

Закончилась беседа признанием Аксакова, что не важна правда относительно вины болгар в расколе Православия, что писать так для печати нельзя.

«Хороша, по крайней мере, *искренность подобной лжи, подобного лицемерия!*» – сделал Леонтьев вывод. Рассчетливый Аксаков в «сером, буржуазном либеральничанье своем» отскочил, как мячик, от прямого и твердого в своих убеждениях Леонтьева. Смелость и самобытность суждений Леонтьева напугала Ивана Сергеевича Аксакова. Казалось бы, не ты рискуешь, не в твою сторону полетят словесные стрелы, не тебе проявлять мужество, но потайное признание в собственной трусости сделало Аксакова врагом Константина Николаевича.

Невольно Леонтьев вспомнил своего знакомого Павла Голохвастова, сказавшего, что Аксаков, переходя за известную черту, становится **глуп**,

и внутренне подивился проницательности знакомого. Он следует совету Голохвастова – опираться на Погодина.

Кто-то набело переписывает Леонтьеву первую часть «Византизма и славянства», и 29 октября 1874 года он пересылает ее с письмом Погодину, чтобы тот после проверки переправил ее Бодянскому для печати. Из этого письма ясно, что у Леонтьева есть договоренность с архимандритом Пименом о поступлении в Угрешский монастырь. Заботливый Погодин тут же (30 октября) отвечал, что «тетради получил», честно не обещал быстрого решения вопроса и по-дружески ободрял полюбившегося ему Леонтьева: «Много в голове у вас драгоценного». Через год (8 декабря 1875 г.) Михаил Погодин скончается, не увидев «драгоценного» в печатном виде. Чтобы это «драгоценное» проявило себя, необходимо хотя бы немного простого везения. Но оно-то, как можно понять из всей жизни Леонтьева, есть для него самая недоступная субстанция. «Мне нет судьбы», – говорил часто Леонтьев. Переписанный набело и отредактированный труд его «Византизм и славянство», по мнению автора, вот-вот должен выйти, но проходит год, и 24 декабря 1875 года Леонтьев сообщает Губастову: «Сентябрьская книжка “Чтений” Бодянского, в которой должна появиться “Византизм и Славянство” до сих пор *никак не может выйти*. Точно я ее заколдовал моим роковым вмешательством! Боюсь, чтобы старик, который был профессором даже покойному Погодину, не умер бы прежде ее выпуска!» Только в феврале 1876 года вышли в свет и сентябрьская книжка, и отдельная брошюра «Византизм и славянство». И через год Бодянский умирает. Да, судьба неласкова к Леонтьеву. И это мягко сказано.

6

В конце октября 1874 года положение Леонтьева совсем безрадостное. Ладно бы только огромный долг Каткову, как тут же, следом, словно чувствуя ситуацию, брат его Александр подает иск мировому судье на оставшийся долг в 500 рублей. И тут же проездом в Кудиново

в Москве появляется жена Леонтьева, Лиза. Как говорится: все одно к одному.

Леонтьев воспринимает это нагромождение коллизий как знак свыше и, учитывая предварительную договоренность с о. Пименом, уезжает 1 ноября 1874 года в Николо-Угрешский монастырь, что находится в 25 верстах от Москвы. Его сопровождает слуга Георгий. Сначала здесь все идет хорошо. Недаром говорят, что мир в душе – это половина, если не все счастье. После решительного выбора словно камень отваливается с души. Леонтьев считает, что это и есть его последний и окончательный выбор. Ах, если бы было так.

«Через 3–4 дня на меня надели подрясник; дали мне хорошую келью и оставили надолго в покое и без послушания», – так вспоминает Леонтьев и сразу же берет в руки перо. Первое письмо (4 ноября) другу Губастову, главному исповеднику и советчику. «Наконец, добрый мой Губастов, я у пристани! Монастырь красив, архимандрит ко мне милостив, келия опрятна и просторна. Я уже брат Константин, а не К. Н. Леонтьев». И главное на тот момент в его настроении – полное разочарование в литературном успехе и в литературе вообще. «Писать мне не запрещают, но я надеюсь, что с Божьей помощью и от этой дурной привычки я постепенно отстану».

Как доверчив и непостоянен в своих планах человек. Особенно это присуще русскому характеру. Что-то в жизни поманит, обнадежит, и он уже считает, что вот оно, то ценное и нужное, что вывезет меня наверх, к свету, признанию и, может быть, (втайне думая) к славе. Ан, нет. Неблагоприятные обстоятельства ломают планы, и человек в порыве острого разочарования машет на все рукой и замыкается в себе. Отсюда, наверное, проистекает русская привычка к алкоголю – глушителю тяжелых мыслей. Слава Богу, что у Леонтьева не было такой пагубной привычки, но перепадам настроения он был подвержен. К счастью его и почитателей его таланта они непродолжительны. Недавно он говорил, что без литературы не видит в жизни смысла, то называет ее дурной привычкой. Неисповедимы мысли человечьи!

Глава 2
Ужасная исповедь

Все болит у древа жизни людской.
К. Н. Леонтьев

1

Николо-Угрешский монастырь вовсе не стал последней пристанью для Леонтьева, как мечталось. Ласковый вначале архимандрит Пимен стал через месяц принуждать Леонтьева к исполнению послушаний, посылал в сильный мороз на стройку собирать щепки, заставлял дежурить у ворот и носить воду. Чем объяснялась такая смена в настроении о. Пимена? Желанием сломить аристократическую волю вновь явленного послушника? Или все теми же особенностями русского характера, что названы выше, или более лучшим узнаванием независимого характера Леонтьева, или опасениями будущего ослабления дисциплины в монашеской среде. Трудно сказать. Вероятнее всего, последнее. Ведь Леонтьев приехал со слугой-греком, а монахи в поисках доступных «развлечений» науськивали слугу, чтобы он требовал у господина денег, которых у него не было. И все это становилось известным всем. Монахи и послушники веселились, слыша, как Георгий грозил Леонтьеву смертоубийством, если он не даст ему денег и не отпустит его на все четыре стороны. Конечно, такие, с позволения сказать, «развлечения» могли развалить дисциплину в общежитском монастыре, и настоятель его Пимен решает воспитать своенравного послушника.

Отправляясь в монастырь, Леонтьев главным образом преследовал цель – погашение долгов за счет экономии на себе, на своих «неистребимых потребностях». И из этого намерения ничего не вышло: через два месяца скудная монастырская еда вовсе истощила его физически, а что-либо покупать и тем разнообразить рацион Леонтьев не

мог по самой прозаичной причине. Денег не было ни гроша. Вот уж поистине – голод не тетка. Именно он сломил гордыню Леонтьева и принудил поехать к Каткову с нижайшей просьбой: за литературное «рабство» чтобы платил тот ему хотя бы по 50 рублей в месяц. Катков унизил его молчанием и словами, что Леонтьев-де дурно сделал, надев подрясник. Унижался он и перед Аксаковым с той же просьбой, а когда племянница его, Екатерина Самбикина, дала ему 3 рубля, он чуть не заплакал.

Судьба тыкала его, словно напроказившего кота, во все его благие и высокомерные заверения, высказанные раньше. Не хотел писать по заказу – тебе никто и не предлагает, не слушал совета афонских старцев, что нужно поработать в МИДе и расплатиться с долгами, – нет тебе **никакой** теперь работы, обещал стать монахом – не будешь им. Судьба сурово ломает гордыню Леонтьева. Почему отпетые мерзавцы живут припеваючи, как судьба благоволит им, защищая от многих, если не от всех, напастей? Прегрешения-то его вроде не столь уж велики, чтобы Бог насылал такие кары на него. Да и за что? И он, как евангелистский Иов, упрекает Бога: «Ты сделался жестоким ко мне; крепкою рукою враждуешь против меня. Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь мне, – стою, а Ты *только* смотришь на меня».

Сначала в душе зарождаются робкие сомнения в способах достижения цели. «Интригой и лукавством я бы скорее угодил духовному Начальству, вышел бы скорее в люди под монашеским покровом и Церкви бы пером и умом, Божьим даром, теперь зарытым в землю наполовину, послужил бы!..» Но конформизм чужд Леонтьеву генетически.

И вот, спустя четыре года, изобилующими различными неудачами, безденежьем, расстройствами здоровья, он в декабре 1878 года уже сомневается в целесообразности выбранного им пути к Богу. Исповедь его воистину страшна своей откровенностью и смелостью. Сам Леонтьев встал у страшного предела, за которым обычно следует самоубийство или богоборчество: «*С тех пор, как я стал Православным, я нигде себе места не найду*».

Новоявленный Иов XIX века. Теперь у Леонтьева нет никаких желаний. Никаких! Он уже не вспоминает об авансах, что выдавали ему Тургенев, Катков и другие мэтры отечественной литературы и журналистики в начале 50-х годов. Ему читать даже не хочется, потому что он боится необратимых изменений психики: «Светское возбуждает во мне гнев и зависть; духовное не трогает меня ничуть. В церкви я долго стоять не могу; все меня раздражает».

Скорее всего, он знает поучения преподобного Исаака Сирина: «Проси у Бога драгоценного, чтобы не оскорбить Его ничтожностью и суетностью просьбы своей». То есть, когда молишься, старайся молиться больше за других, чем за себя одного, и представляй всех людей вместе с собой единым телом. Получалось ли так у Леонтьева – мы не знаем. Вероятнее всего, нет, потому что он говорит, что «стать на правильную молитву мне наказание». На Афоне он радовался тому, что, выйдя в отставку, отдал Богу свою обеспеченность и служебное честолюбие, а через семь лет сомневается: нужна ли Господу его жертва. Хотя и говорится в Евангелие, что попасть богатому в рай, все равно, что верблюду пролезть сквозь игольное ушко, но ведь монахом может быть и богатый человек, отдающий свое богатство на строительство церквей, а то и просто помогающий бескорыстно людям и не ждущий от них благодарности.

Перебирая все события тяжелейшей жизни за последние семь лет, Леонтьев в каждом случае находит альтернативу своим поступкам. И эти упущенные возможности жгут ему сердце и добавляют неуверенности в себе. Да, он мог еще поработать, чтобы обеспечить себя и родных, и, прежде всего, несчастную жену, и не иметь изнурительных долгов. Не поработал! Мог повиниться перед Игнатьевым и опять вернуться на службу. Мог! В Константинополе это сделать было гораздо проще. Возомнил себя незаменимым публицистом? Мог еще остаться в Константинополе после отставки и излечения от лихорадки на острове Халки, где хорошо писалось и жилось. Зачем поехал в Москву? Разве он не знал характера Каткова. Знал! Значит, надо было сотрудничать с другими издателями. Не знал, что братья Борис и Александр будут требовать

6000 рублей, завещанных матушкой перед смертью. Знал! Был, правда, моральный долг перед племянницей Машей.

Нет, поехал на родину, хотя, честно сказать, не тоска по ней влекла его, а сомнительное желание заработать и приобрести литературную славу. Не получилось. Тут же по приезде в Кудиново «впал в блудное искушение», от которого был избавлен три года. Мог бы перетерпеть и не навлекать на себя дополнительных переживаний? Мог, но сердцу не прикажешь! Или это приобретенное распутство сильнее его тяги к Богу?

Убежал, по-другому трудно сказать, в монастырь, думая, что не достанут братья и другие заимодавцы. Достали. Почему бы нет? В монастырь явился один из братьев и стал просить архимандрита Пимена, чтобы он отпустил Леонтьева в Москву и Калугу по делам наследства, грозясь выгнать его и Марью Владимировну из Кудинова.

Пришлось ехать. По дороге в Москву простудился, а на другой день стал кровью харкать. Весь Великий пост пролечился в Москве, живя в гостинице. Еле носили ноги, врачи говорили, что у него чахотка. Леонтьев внушил себе, что скоро умрет, а было-то ему всего-навсего 44 года.

Сама же монастырская жизнь, поначалу нравившаяся, обернулась каким-то злым фарсом с пустыми разговорами и развращением духа. Стыдно вспомнить такие вот циничные слова о. Пимена: «Бог поможет – от жены как-нибудь отделаемся; тогда можно и вперед пойти, и с вашей образованностью Вас Архиереем сделают!» В апреле вернулся из Москвы опять в Угрешу с намерением, не снимая подрясника, если благословят, ехать в Кудиново, чтобы там умереть. Пимен разрешил: «Но надо побольше смирения». «Ох, уж это смирение», – с раздражением думает Леонтьев.

Вернувшись после несостоявшегося архиерейства в Кудиново, больной и обескураженный неудачным опытом монастырской жизни Леонтьев успокаивает себя. «*Кудиново, Оптина, Столица. – Природа, молитва, общество. – Телесный отдых; посильные подвиги; развлечения. – Любимая деревня; дорогой душе монастырь; хорошее общество...*», – но почему-то не пишет о писательском труде. Видимо, это на-

столько свято и непреложно, что не требует дополнительных уточнений. Перенесенные монашеские страдания заставили Леонтьева поневоле признаться, что они не по нему, не по его здоровью, не по его характеру. Говоря о планах жизни между трех пунктов, он понимает: «Это не монашество, но при внимательности можно жить хорошим Православным мирянином и, унывая от поры до времени, все-таки не доходить до отчаяния и животного равнодушия». Наконец, успокоившись, сел писать продолжение «Одиссея Полихрониадеса», начало которого было привезено из Турции и взято для публикации Катковым.

2

И тут же возмечтал о возврате на консульскую службу. Вспоминая и описывая множество своих героев: консулов Благова, Бунина, молодого загорского грека Одиссея, мечтающего стать богатым купцом, его друзей – грека Аристида и турка Джемаля, греческого купца Петро Хаджи-Хамамджи, плясунью Зельхе, доктора Коэвино, его кухарку Гайдушу, разбойника Джеффер-Дэма и других – Леонтьев захотел войти в оставленную реку дипломатии. Перед его взором вновь и вновь проплывают красоты природы, на фоне ее разодетые в пух и прах греки, турки, албанцы, уличные драки, пиры и споры в консульствах, борьба турецких пехлеванов, всенародные казни и кровная месть, низость и коварство, красота и изящество. Все это тревожит душу и зовет в те далекие страны, где он знавал гораздо лучшие времена, когда был счастлив. Да, это было для него единственное время счастья во всей сложной жизни. И опять: зачем уехал?

Писалось легко и быстро, потому что сердце уже было там, где его герои. Стоило, однако, поднять голову от рукописи и посмотреть в окно, а за ним Марья Владимировна ругается с женой его, как острое разочарование охватывало душу. Оно, как ни странно, не обессиливало, а толкало к действиям. Только бы хлопоты не оказались пустыми. Но прав был Гераклит, утверждавший, что в одну реку невозможно

войти дважды. Казалось бы, вот-вот назначат его губернатором в одну из губерний Болгарии по протекции Игнатьева. Нет, опоздал. Игнатьев попал в опалу и сам остался не у дел.

Кто бы знал: каких усилий ему стоила эта возня с возвращением на дипломатическую службу, сколько чернил истрачено, сколько бумаги испорчено, сколько поездок сделано и в Москву, и Петербург. А на все нужны деньги. Деньги ради больших денег? Ради этих пустых хлопот (но кто знал, что они будут пустыми?) Леонтьев отказывается от предложения Тертия Филиппова стать помощником редактора «Варшавский дневник». Было это в январе 1876 года. И ведь обещано было 2000 рублей в год. Зачем отказался? Неужели он забыл, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Разве можно о таком забывать? И опять сомнения и беспощадный анализ своих действий. Хорошо, что Господь уберег его от затаенной злобы. И это главное! Зря, значит, роптал он на Бога.

Это неудачное устройство на старую службу составило целую эпопею и по времени, и по продолжительности действия, и по трагедийному накалу. Если раньше, в 1875 году, в письмах Губастову он лишь сожалеет о преждевременном оставлении службы и готов «в крайности» давать уроки посольским детям, то весной 1876 года в этой идее он видит единственное спасение. Леонтьев приглашает в Кудиново своего молодого друга и дипломата Константина Губастова, оказавшегося по делам службы в Москве, чтобы побеседовать с ним на эту щекотливую тему. Леонтьев ждет его в мае, но, загруженный поручениями посла Игнатьева, тот не смог улучить несколько дней, чтобы принять приглашение старшего товарища. В конце мая 1876 года он отправляет Губастову письмо, в котором описывает свои приготовления к так и несостоявшемуся приезду друга и просит, чтобы Губастов обратился к Игнатьеву с вопросом об устройстве Леонтьева в Константинопольское посольство, так как «только на Босфоре я не боюсь ни тоски, ни лихорадки».

В письме (да и в жизни тоже, но не со всеми) он на редкость откровенен, скорее всего, себе же во вред: «Вообще же мне ехать во-

все не хочется; только что пригрелся тут и очень был бы рад, как я уже сказал, делить свое время между Кудиновым, Оптиной и Москвой (изредка), но боюсь от нерадения потерять и так жить возможность». Как бы верен и хорош ни был Губастов, но такое признание ставит невольный крест на намерениях Леонтьева. Оптинские старцы, у которых Леонтьев уже испросил благословения на продолжение службы, дали ему «добро», и это признание в нежелании ехать выглядит тем более странным. Как сказали бы в народе: и хочется, и колется. На такие просьбы обычно и откликаются соответственно: ни шатко, ни валко. По своему душевному складу жизнь созерцательная и свободное мышление было для него важнее всего. Важнее денег, успехов, в том числе и литературных, важнее той тоски «по жизни и блестящей борьбе», о которых он мечтал не только в молодые годы.

Видимо, свою неопределенность в желаниях Леонтьев скоро осознал и уже через месяц (3 июля 1876 г.) просит Губастова более решительно: «…спешите прямо приступить (с помощью Ону и Нелидова, вероятно) к Николаю Павловичу, чтобы назначили меня управлять Генеральным Консульством». Ехать он собирается вместе с племянницей Машей, у которой в 28 лет тоже нет никакой работы, а «с будущего года оброк кончится, и имение будет давать только 400 рублей аренды, и надо в банк, по крайней мере, 300% в год». Под оброком Леонтьев подразумевает ту часть выкупа за землю, переданную помещиками крестьянам после освобождения 1861 года, – 80% выкупа государство брало на себя, 20% крестьяне отрабатывали сами, отдавая деньги за аренду помещичьей земли.

Конечно, Леонтьев не теряет времени даром и, обладая достаточно устойчивой психикой, удерживающей его от депрессии, пишет день за днем очень объемный роман «Одиссей Полихрониадес» (34 печатных листа), перемежая эту работу письмами относительно возвращения на службу.

Не дождавшись за полгода от Губастова никаких положительных усилий, Леонтьев в декабре 1876 года из Москвы почти одновременно

с повторным письмом Губастову просит о содействии Елизавету Ону, жену секретаря константинопольского посольства. С женщинами посольства у него были очень доверительные отношения. Возможно, он любил их потому, что они любили его и говорили ему комплименты, вроде: «Константин Николаевич, у вас даже спина аристократическая». Тонкие умом светские дамы понимали, что нет более высокой чести для Леонтьева, превозносящего аристократизм. Он просит Ону, чтобы она сообщила своему дяде Александру Генриховичу Жомини, бывшему министру иностранных дел России, о желании Леонтьева встретиться с ним по вопросу возобновления дипломатической службы.

Письма письмами, но надо и себя показать, и с людьми нужными поговорить лично. Леонтьев делает в январе 1877 года краткий набег на Петербург. К Новому году он, наконец, вылечивается (бесконечные физические недомогания от мелких до крупных беспрестанно мучают его) и едет в Петербург на встречу с Жомини. 15 января он сообщает Губастову: «Был с неделю по делам в Петербурге, почитал немножко архивы Ионина (в МИДе. – *М. Ч.*); виделся со многими, был *всеми* принят превосходно… Но я не стал ничего просить на этот *роковой* год и опять *успокоился в Боге»*. Леонтьев немного лукавит, он все-таки вел разговоры о службе: «Он (граф Капнист. – *М. Ч.*) был очень любезен и обещал мне сделать со своей стороны все, что может, чтобы помочь, если я буду проситься на службу, Жомини тоже готов».

В письме он перечисляет всех высокопоставленных чиновников, но все они оказались педантами, ласковыми в словах, а на деле равнодушными и жестокими. Однако он опять не знает точно, как ему поступить: ведь, кроме Константинополя, он служить нигде не хочет, а вот его-то ему никто не предлагает, так как в Турции «роковой» год, роковые перед русско-турецкой войной события, при которых до Леонтьева нет никому никакого дела из-за занятости и шаткости положения самого представительства. И потому Леонтьев, много поняв в их характерах, решил «успокоиться в Боге». Сразу же после Петербурга (3 февраля) он отправляется в Оптину Пустынь и проводит там три месяца.

На второй пасхальной неделе 12 апреля 1877 года началась русско-турецкая война. «События, мой друг, – пишет он Губастову 2 августа из Кудинова, – все растут, и Вы растете, а я все умаляюсь, смиряюсь, все гасну для мира. Равнодушия моего (даже к Восточному вопросу, за успешное окончание которого я ручаюсь, но не верю в то, что наше и югославянское хамство изменят свой скверный буржуазный быт), равнодушия моего я Вам выразить даже не могу…».

Леонтьев корил себя за преждевременный уход со службы с политической точки зрения. Не переоценивая свои возможности, он, да и мы с вами, дорогие читатели, можем допустить, что, оставаясь в посольском окружении еще четыре года, Леонтьев (он точек зрения не менял) мог повлиять на мировоззрение Игнатьева и его отношение к болгарам. Из-за них новое фиаско для России.

После победы над османами Игнатьев и его подчиненные составляют Сан-Стефанский мирный договор (март 1878 г.), согласно которому Болгарии отдано чуть ли не 60% территории Балканского полуострова, многие льготы предусмотрены и для России. Но чрезмерность всегда бросается в глаза и возбуждает противника. Англия возмущена! И Александр II кланяется ей, поддавшись на пустые угрозы.

Берлинский трактат (июль 1878 г.), написанный теперь уже под диктовку Бисмарка, лишил Россию почти всех территориальных военных завоеваний. Несмотря на тонны пролитой крови русских солдат и офицеров в Болгарии, приоритет на Балканах получила Австро-Венгрия: ей «достались» Босния и Герцеговина. Кроме того, Берлинский трактат заложил мину замедленного действия, в результате ее «взрыва» в августе 1914 года началась Первая мировая бойня, приведшая к развалу Российской империи. О возможности будущей войны после такого «мирного» договора, как Берлинский, пророчески предупреждал в своих статьях Константин Николаевич Леонтьев.

Несмотря на то, что проливами овладеть не удалось, тем не менее радость русских весной 1878 года после заключения Сан-Стефанского договора была всеобщей. Тем большее разочарование овладело обще-

ством после Берлинского трактата, тем больше мыслящих людей стали сочувствовать борцам с самодержавием, да и солдаты, остановленные в 15 верстах от столицы Оттоманской империи, не молчали по своим деревням и селам. Раскол общества превратился в зияющую пропасть. Именно результаты позорного Берлинского трактата послужили толчком к усилению террора против правительственных чиновников и царя и к созданию подпольной организации «Народная воля» под руководством А. Желябова и С. Перовской.

Многое в жизни так тесно взаимосвязано и так порой мистично, что именно Леонтьев мог запросто повернуть ход истории. Дал же Бог ему силу предвидения. Первое сбывшееся условие – быть строже с болгарами. Откроем «Византизм и славянство», написанный за 5 лет до Сан-Стефанского договора. «Только при Болгарском вопросе *впервые, с самого* начала нашей истории, в русском сердце вступили в борьбу две силы, создавшие нашу русскую государственность: племенное Славянство наше и Византизм церковный.

Самая отдаленность, кажущаяся мелочность, бледность, какая-то сравнительная сухость этих греко-болгарских дел *как будто нарочно таковы,* чтобы сделать наше общество невнимательным к их значению и первостепенной важности, чтобы любопытства было меньше, чтобы последствия застали нас врасплох, чтобы все, самые мудрые люди наши, дали угаснуть своим светильникам». Его предупреждения не учтены, а Россия, его любимая Россия, вновь унижена.

Что ему оставалось? Посыпать голову пеплом? Или говорить про себя со злорадством: «Вот, не послушал Игнатьев меня, а в результате опозорились и Россия, и Игнатьев!» Нет, он был сердцем чист, и потому Господь сберег его от тайной злобы.

3

Исповедь Леонтьева – это скорее стенания по своей неудавшейся судьбе. Читать их страшно. Леонтьев жалуется на себя, на духовника,

на Бога, что не помог ему сделать то, что планировал в эти пять лет с момента обращения к Нему: «Все, все разом не удается». И что это, спрашивает он себя. Эпитимья? Хорошо бы, если это так. Все стенания его, все сомнения: пошел туда – вышло бы то-то, пошел сюда – не вышло ничего, суть пустое, разрушительное и не созидательное.

Несомненно, что Леонтьев читал Соборное послание Святого Апостола Иакова: «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дается ему.

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой:

Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.

Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих».

Вот так же и Леонтьев не тверд в двоящихся мыслях. Своими стенаниями Леонтьев невольно напоминает тех гордых умников, которые не сознаются в том, что у них не хватает мудрости, и они не приходят с верой просить ее у Бога. Эти умники не хотят склоняться под ярмом простодушной и наивной веры, а хотят быть хозяевами своей высокой, по их мнению, умственной жизни, не понимая, что частые падения в жизни происходят из-за завышенного самомнения или попросту – гордыни. К чести Леонтьева надо сказать, что он начинает прозревать: кто не хочет быть рабом Божьим, тот неизбежно становится рабом дьявола. И в деле каждом, – рассуждает он, – есть что-то от Бога, а что-то от дьявола, как сумма положительных свойств (плюсов), так и отрицательных (минусов).

Моменты духовного успокоения в эти трудные годы сменяются сомнениями, претензиями: «Оптинские старцы и знать меня не хотят, не пишут, на жгучие вопросы не отвечают». И тут же в письме племяннице Маше: «Я почти в роскоши и предан на растерзание демонов блуда, честолюбия, празднословия и объедения! Господи, Господи!», а потом: «Оптинские старцы меня не поддерживают, забывают». Эти слова он пишет из Москвы 10 декабря 1877 года. И можно заочно ответить ему: потому и забывают, что Леонтьев не до конца предан вере, а более предан честолюбию.

Святые отцы неустанно говорят: чтобы считать себя истинно верующим, надо проверять веру опытом, то есть жить по Евангелию, а не только читать его, соглашаясь с выводами, которые там есть. Православные духовники наши любят рассказывать такую притчу. Будто бы один святой переписчик духовных книг, задумавшись, пропустил некоторые слова в Священном Писании. Один из братии заметил это и сказал:

– Авва! Есть пропуски!..

– Поди, исполни сначала то, что написано, – отвечал святой. – Потом допишу пропущенное!

Леонтьев (и это уже высочайшее моральное достижение) начинает понимать трудности исполнения написанного в Евангелие. Его два года подряд приглашают дети барона Розена в гости на всю зиму. До Саровской пустыни 40 верст, можно там молиться и причащаться. «Общество умное, хорошее, дружное… Там я хоть на год забыл бы гнетущую нужду, и было бы не скучно, и писал бы не спеша и не боясь испортить свой роман». Но отец Амвросий не благословил, а посоветовал ехать в Козельск. И Леонтьев, скрепя сердце, едет в козельскую глушь, веря, что «это приведет к какому-нибудь облегчению и познанию сущего… Может быть, к “спасению души”». И это закавыченное «спасение души» говорит о неполном обретении веры Леонтьевым в эти годы.

В своей исповеди он жалуется на духовника о. Амвросия. Будто бы тот «*благословил* внимать внутреннему чувству», и Леонтьев, руководствуясь им, а не разумом, вернулся из поездки в Константинополь, доехав всего лишь до Киева. Дело было так. Не получив обещанного места в Министерстве иностранных дел, Леонтьев обращается к Каткову, чтобы тот отправил его (а шел 1878-й, послевоенный год) журналистом в Турцию. Тот, удивительное дело, соглашается. В сопровождающие Леонтьев берет с собой племянницу Машу, но в пути у него открылись сильные боли в спине (ишиас), и они из Киева возвращаются в Кудиново. Недовольный Леонтьев пишет: «*Ехать насильно*, вопреки чувству, было бы *в моей воле.* Но такого приказания не было, и опять, *из послушания и веры,* потерял много». Выходит так, что вера в Бога виновата, и виноват духов-

ник, давший неверное указание. Сам же Леонтьев как-то не связывает свои полуночные сидения перед командировкой с молоденькой Ольгой Карцевой в Петербурге с ухудшением и так не богатырского здоровья.

Ему хочется утешения, может быть материнского, может женского, может пастырского, может от собственной внутренней убежденности, которая его покинула, но утешения любого и сразу. «Мне даже *стыдно* так жить… какая-то всеми отвергнутая и забытая тварь…

Отчего у меня нет сил смириться и радоваться этому отвержению…

Опять я виноват, опять *все я же грешен*… Люди правы; я виноват один…

Хочу сказать себе это и *не могу*, – не утешают меня такие мысли!..»

И тут же, в сноске, вновь сомнения: «Правы ли *люди?* Бог прав, а люди неправы. *Множество справедливых Господних наказаний совершается посредством самых возмутительных несправедливостей человеческих!*»

Да, это так, но не человеку решать, каким способом и чьими руками вершит Бог судьбу человека или дает ему наказание. Часто бывает, что от недосмотра медицинского персонала («несправедливость человеческая») уходит к Богу младая дочь неправедной матери, для которой смерть дочери и есть самое страшное наказание Господне.

Вот эти раздирающие душу сомнения – это тоже наказание Божье (а может быть, любовь Его?), и оно от того, что Леонтьев не хочет признавать себя виновным (или это дополнительное испытание?) в грехах, совершенных уже в России. И тут возникает чувство удивительной похожести судеб России и Леонтьева, бытописателя ее будущего. Те же поиски виновного на стороне в случае неудач, то же самооправдание, то же невнимательное чтение и неисполнение руководств (Евангелия) в действиях, то же отсутствие решительной последовательности и жесткости, когда применение их требует сложная ситуация. Подобно тому, как российские войска не дошли 15-ти километров до Константинополя и не взяли его из-за давления Англии, так и Леонтьев не доехал

до него из-за собственной непоследовательности. Наверное, потому у него так естественно и легко лились строки предсказаний и предвидений, касающихся России.

4

В это же примерно время пытался обрести веру и смысл жизни еще один знаменитый русский писатель – Лев Николаевич Толстой. Интересно провести параллель между исповедью Леонтьева и дневниковыми исповедями Толстого, который избирает «народный» путь обретения веры, учась у «народа-богоносца», в отличие от леонтьевского пути через монашество. Леонтьев отчасти тоже прошел курс «братания» с народом, но был он очень недолог, вершиной его стала статья «Грамотность и народность». Тут же по возвращении из заграничного далека Леонтьев успевает заметить главное в характере народа, что охлаждает горячку тех наивных чувств к нему и желание учиться у него. Уже в 1874 году Леонтьев находит в народе черты, которые ему «тошны и гнусны», и носители их – зазнавшиеся мужики, «которые от прежнего характера своего сохранили только лукавство и пьянство, но утратили ту черту смирения и покорности, которая их так красила и смягчала». Ему, аристократу духа, пусть и малоимущему, содрогающемуся при виде малейшей грязи под ногтями, рафинированному эстетику, и в голову не могло придти подделываться хоть в самом малом под мужика. Тем более, делать крестьянскую работу.

Не таков Лев Толстой. Трудно обвинить Толстого в ненаблюдательности, но его внешнее стремление быть похожим на «братьев» в смене дворянской одежды на мужицкую, в пахоте земли и косьбе ржи и пшеницы наравне с крестьянами, носит, говоря нынешними словами, киношный характер. Через обретение внешнего сходства с народом, через беседы с почти еще крепостными крестьянами о Боге барин Лев Николаевич старается стать «божьим христианином». Его выстраданный идеал в романе «Анна Каренина» – Левин, и он абсолютно проти-

воположен по взглядам Леонтьеву, как и сам Толстой. Леонтьев незадолго до смерти спрашивает Розанова в письме от октября 1891 года, кто (Вронский или Левин) из этих героев романа ему более симпатичен и кто из них в случае религиозного переворота стал бы просто православным, ездил бы к о. Амвросию и даже подстригся бы в монахи. И отвечает: “Конечно, Вронский, а не несносный этот Левин (такой же противный лично, как сам Лев Николаевич)”».

Так же понимал искусственность образа Левина, а по сути его двойника, Толстого, и Ф. М. Достоевский: «Вот эти, как Левин, сколько бы не прожили с народом или подле народа, но народом вполне не сделаются: мало одного самомнения или акта воли, да еще как бы столь причудливой, чтоб захотеть и стать народом». Не из кровной любви к мужику, да и к Богу тоже, а из-за душевной нужды, сомнений и страха физической смерти возникает желание Толстого стать одним из народа и смиренным христианином. Смирение его показное, преображенное в своеобразную гордость с названием – любование собой, смиренным. И так же напоказ он исповедуется: «Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство… Не было преступления, которого бы я не совершал». Вот уж наговор на себя самого себя так наговор, которому нет равных во всей истории исповедей. Он, по сути, кликушествует на себя. Кого в народе называли кликушами? Тех баб, что выкрикивали в церкви при народе свои горести семейной жизни, совершенный грех, навлекая на себя позор. Толстой защиту Отечества с оружием в руках называет убийством, защиту чести на дуэли – казнью, он приписывает себе несуществующие грехи. Высокомерное смирение – вот как это можно назвать. Далее: «В то же время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. Для того, чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное».

Леонтьев в противоположность Толстому, как ветхозаветный Иов, тонко вопрошает и упрекает Бога: «Хорошо ли для Тебя, что Ты угнета-

ешь, что презираешь дело рук Твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?» (Иов. 10:3). Леонтьев пока не знает, что книга судьбы его, как и Иова, уже написана. Леонтьев не понимает того, что любящий его Бог своим наказанием приближает его к себе, дает понять, что не на стороне надо искать причины несчастий, а в самой душе, но при этом не посыпать голову пеплом, как граф Толстой, желающий стать разночинцем.

Они, и Толстой и Леонтьев, совпадают в одном, но, пожалуй, в главном: оба нетерпеливы. Леонтьеву кажется, что попросится он во исполнении данного обета в монахи на Афоне, то сразу же на него должен пролиться свет Божьего благословения. Так же и Толстой примерно рассуждает: я признался в своих «преступлениях» – подавай немедленно смиренную веру в Бога и помощь от Него в проповедях и воспитании народов мира. Однако христианство есть жизнь в терпеливом смирении, а им, нетерпеливым, пока не дается смиренная вера. Толстой до конца дней своих так и останется нетерпеливым, Леонтьеву на пути к Богу удалось достичь больших спехов в борьбе со своей гордыней.

5

Но все ли картины так мрачны, как в эти пять лет жизни, что описаны в его «Исповеди»?

Два года (1873–1874) в печати не появлялось имя Леонтьева. Наконец, в летних книжках 1875 года катковского «Русского вестника» стали публиковаться главы из романа «Воспоминания Одиссея Полихрониадеса, загорского грека», называемого всеми запросто и коротко «Одиссей Полихрониадес» или еще проще – «Одиссей», огромный роман из балканской жизни. Если роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» критики называют «энциклопедией русской жизни», то этот роман К. Н. Леонтьева есть энциклопедия балканской жизни середины XIX века. Он был своевременен и нужен в это время, когда сердце русского человека так чутко отзывалось на трагические события, происходившие на территории, заселенной братьями по религии и крови.

Мифический Одиссей, гомеровский, уже был в мировой истории. Прозаический образ грека Одиссея «а ля Леонтьев» вышел вполне типическим и удачным для реалий XIX века и потому (и наконец-то) сразу же был замечен критикой. Этот факт не очень-то обрадовал Леонтьева, уставшего ждать признания: «Я, впрочем, не был особенно этому рад; а принял эти похвалы равнодушно, как слишком поздно заплаченный *долг* со стороны критиков». Так несколько сварливо отозвался он на статью В. Г. Авсеенко «Очерки текущей литературы» в «Русском мире». И опять для Леонтьева не попадание в точку: отметили тогда и то, что Леонтьев «совсем желал оставить (имеется в виду беллетристика. – *М. Ч.*) для серьезных статей о Церковных и политических вопросах». Что ж, в жизни часто так бывает, что успех приходит с той стороны, с какой не ждешь. Успеха от прозаических произведений Леонтьев ожидал гораздо раньше – лет 10–15 назад.

В этом романе отразилась и вся консульская, и бытовая жизнь дипломата Леонтьева, его умение оценивать людей, подмечать в них интересные черты характера, а по ним создавать мнение о той или иной народности, чье многообразие так поражает воображение на Балканах. Стиль художественного произведения аристократически изящен, но в то же время отличается разговорными оттенками, что делает его живым и лишний раз характеризует аристократизм самого автора.

«Настоящую поэзию не сорвешь с явления, как одежду или маску, она есть сущность прекрасного явления. Это поэзия жизненной правды», – таково литературное кредо Леонтьева, высказанное в критическом очерке «Анализ, стиль и веяния» (1890). Стиль Леотьева можно назвать дневниковым по нескольким причинам: тут и резкие смены предмета повествования (что-то вспомнилось, то и записалось), афористичность, колоритность, музыкальность и главное – всегда четко ощущаемая авторская позиция, его мнение и отношение к предмету изложения. Все это можно найти в романе о загорском греке Одиссее. Вот как оценивали его современники: «Правдивый рассказ этот невольно заставляет забыть о вымышленной форме повествования и совершен-

но переносит читателя в быт греков на Востоке. <…> Повествование это представляет вообще в высшей степени интересные сведения об отношениях европейских консулов в Турции и разъясняет многое касательно печальной судьбы райев, оставляемых часто безо всякой поддержки со стороны тех, на кого возложена эта священная обязанность» (журнал-газета «Гражданин» от 14 марта 1876 г.).

Обобщающий вывод критика В. Г. Авсеенко из статьи «Очерки текущей литературы» таков: «К числу весьма талантливых писателей, которых критика наша почему-то упорно не удостаивает своего внимания, принадлежит г. К. Леонтьев». Достаточно изучив характер Леонтьева по его произведениям, богатому эпистолярному наследию, служебным отчетам и запискам, не сомневаюсь, что ему не понравилось словечко «весьма», приклеенное Авсеенко к талантливости Леонтьева, поэтому он с Авсеенко близко не сошелся, хотя и познакомился очно. Вообще крупных рецензий было четыре: уже упомянутая, а также Всеволода Соловьева, брата знаменитого философа и поэта Владимира Сергеевича, а также М. А. Загуляева и профессора А. П. Чебышева-Дмитриева.

Как бы там ни было, именно Михаил Катков, с юности леонтьевской уважавший и ценивший его талант, издает в своей типографии трехтомник «Из жизни христиан в Турции. Повести и рассказы». В первый том вошло небольшое предисловие, «Очерки Крита» и три повести: «Хризо», «Пембе», «Аспазия Ламприди». Второй том открывал, нарушая хронологическую последовательность, «Поликар Костаки», потом шли «Хамид и Маноли» и «Капитан Илиа», и начало романа о торговце Одиссее. Эти два тома были выпущены в феврале 1876 года, а в конце этого года вышел третий, заключительный том, включивший продолжение «Одиссея» и сказку «Дитя души».

Долгожданный (как всегда издание произведений и статей Леонтьева шло с великим скрипом) трехтомник вызвал отклики Всеволода Соловьева и В. С. Неклюдова. Все они отмечали своевременность появления книг ввиду заинтересованности Восточным вопросом, подчер-

кивали оригинальность повествования и стилистические достоинства произведений. Вот, например, что писал Неклюдов: «У г. Леонтьева автора почти не видать; вы забываете о нем. Ввел он нас в изображаемую им среду и сразу вы сроднились с личностями его рассказа», а так писал Соловьев: «Его действующие лица не манекены в местных костюмах, не иллюстрации, а живые характеры, соединяющие в себе и верно подмеченные общечеловеческие движения, и яркий национальный отпечаток».

В последующие годы (1877–1878) были опубликованы повести «Сфакиот» и «Камень Сизифа» – четвертая часть воспоминаний загорского грека Одиссея. Уже в 1882 году Леонтьев напечатал еще одну главу из «Одиссея» под названием «Я купец», некоторым образом неоконченным, а именно: местом действия и мотивами соединившим повести 1870-х годов с романом «Египетский голубь», но самым, на мой взгляд, интересным и сильным романом Леонтьева.

Для характеристики стиля весьма примечателен сохранившийся в архиве Леонтьева отзыв на его сказку «Дитя души» жены советника посольства в Константинополе Ольги Нелидовой. В нем есть такие замечательные слова: «И уж право не знаю, что больше хвалить – правдивость ли этой восточной картины или пышность этого художественного воображения. А язык – это просто музыка! Мой довольно тонкий и избалованный слух от него в восторге, до того он наивен и прост и в то же время в высшей степени изящен. Одним словом, “Одиссей” был хорош, но “Дитя души” это просто “Жемчужина” и самая приятная».

Однако были и отрицательные отзывы об «Одиссее», о которых говорит Леонтьев в письме драматургу Николаю Яковлевичу Соловьеву в начале 1878 года: «Меня в “Голосе” тоже отделал Е. Марков за то, что “Одиссей” без завязки и движения, и поделом. Я с ним согласен…». То самое движение, из-за недостатка которого «сохнут» произведения современных писателей всего мира и которое ныне непременно обозначают по-английски как action (экшн), есть «изобретение» русских кри-

тиков, а не американских. Но вовсе необязательно, чтобы это движение было видимым, брызжущим через край. Достаточно его внутреннее наличие, как, например, развитие характера героя в течение того или иного периода времени под влиянием разных обстоятельств и их внутреннего ощущения и осознания. Как говаривал позже Леонтьев: «Усиление движения само по себе не есть еще признак усиления жизни. Машина идет, а живое дерево стоит».

Так что не так все грустно и безнадежно у Леонтьева как литератора. Гладко лишь у того, кто ничего не делает, а лежит на постели и поплевывает в потолок. И эту истину все знают. Знает о ней и Леонтьев, но он слишком нетерпелив, и уже Богу приходится его «придерживать за полу», как некогда верно подметил психолог и добрый человек Михаил Погодин эту черту в характере Леонтьева.

Да и сам Леонтьев в более спокойном состоянии, нежели в том, что пребывал во время написания отчаянной «Исповеди», в этот же период рассуждал так: «В наш век слишком много стали приписывать человеческой свободе и человеческому разуму. Есть нечто выше нас, и мы виноваты только тогда, когда *не исполняем* предначертанное нами, а так ли мы предначертали *все* в нашей жизни, как следует, – кто решит?»

Глава 3
Женские прелести

Я имел *несчастие* знать коротко очень многих женщин!

Из дневника К. Н. Леонтьева, январь 1879 г.

1

Это так естественно: быть с детства окруженным женщинами: мать, бабушки, а при известном достатке – няньки. Особенно в России, где

воспитание детей – это негласная прерогатива женщин. Однако редко кто из мужчин может похвастаться глубокими знаниями женской психологии. Попросту эти знания можно определить, как способность уживаться с женщинами, лучше с одной. Нельзя сказать, что Леонтьеву это удавалось без потерь. Одна лишь фраза, составившая эпиграф этой главы, говорит об этом. Не лучше ли избежать несчастий, идущих от «коротких» контактов с женщинами, тем более, частых?! Да, он был аналитиком, мог выдать верный прогноз в политике и социологии, имел безошибочный вкус, но с женщинами…

Леонтьев очень эмоциональный человек, жадный до всего нового, неизвестного и увлекательного. И очень часто все то, что его привлекало в жизни (красота, своеобразие, жизненная ловкость, доходящая до хитрости), он находил в женщинах. В трактате о Джоне Милле Леонтьев отмечал, что «все те, у которых сильны природные чувства, способны и к развитию выработанных чувств». То есть, если есть задатки, то сможешь выработать на их основе новые. Природные чувства, то есть наследственность, у него замечательные, а потому его дорогой идеал – «битва жизни, движение, цвет ее», в том числе как малая часть их – взаимоотношения с женщинами – тоже часть этих «битв».

Платоническая влюбленность в него племянницы Маши, переросшая затем в сильное женское чувство, тоже из разряда этих битв. В «Хронологии моей жизни» за 1861 год он отмечает: «Начинаю воспитывать Машу по желанию брата». Легко представить влюбленность девочки подростка (12 лет в момент знакомства) в красивого дядю, известного (по ее понятиям) литератора и переводчика, знающего в совершенстве французский и немецкий языки, тем более домашнего учителя. Таких неразделенных «любовей» девочек к молодым учителям не счесть в реальной и литературной жизни.

Девочка Маша Леонтьева, по свидетельству А. М. Коноплянцева, «с восторгом» вспоминала «об этих занятиях, на которых ее “дядя” увлекательно преподавал ей историю, словесность и др. предметы на уровне почти университетских курсов». Только непонятно, на что на-

мекает Коноплянцев, беря слово «дядя» в кавычки. Повзрослев, племянница Маша определяла многие важные события внутренней и внешней жизни Константина Леонтьева, была в курсе всех его планов, выполняла секретарскую работу, переписывала его произведения начисто. Оставила воспоминания о дяде: «Янина», «К. Леонтьев в Турции», «Как проводил время К. Н. Леонтьев в Кудиново». Под псевдонимом «Русская женщина» опубликовала статью «Женщина – женщине о новой книге», рассказывающую о книге Леонтьева «Восток. Россия и славянство». В годы дипломатической работы Леонтьева по нескольку месяцев жила в доме дяди в Янине и Салониках. Именно ее Константин Леонтьев определил в качестве литературной наследницы. В «Хронологии моей жизни» Маша – это самое часто употребляемое женское имя, хотя в 1876 году у них произошел «окончательный разрыв». Вот здесь кавычки уместны, так как в завещании Леонтьев Машу не забыл, да и после «разрыва» они мирились несколько раз.

В «Хронологии» 1863-й год определения на дипломатическую службу отмечен словами: «С Машей дружба растет». И через строку: «Летом 1-е признаки любви со стороны Маши». Что же это? Великое счастье для мужчины – любовь девочки-девушки, безоглядно преданной своему тайному возлюбленному и готовой все отдать ему, тем более, близкому по крови человеку? Или несчастье? Наверное, все сразу.

Константин Леонтьев любил, точнее сказать, привык покорять и подчинять окружающих своей воле, особенно женщин. Скорее всего, это у него с детства, когда вокруг шуршали лишь дамские юбки и платья, а взрослые дамы умильно говорили ему, еще маленькому: «Ах, какой умный и красивый мальчик!» и с показным вниманием выслушивали его сентенции. Привычка эта осталась на всю жизнь и переросла в такую черту характера, как нетерпение. Она находит подтверждение в словах из письма к Губастову относительно поздних отношений с Людмилой Раевской: «Она выдумала еще не слушаться сразу, и ты понимаешь, что после этого я должен чувствовать…»

2

После бурных дипломатических баталий, и не только словесных, но для Леонтьева и рукопашных (вспомним удар хлыстом), восточных любовных романов и двух лет воздержания на острове Халки Леонтьев возвращается в родное и полузаброшенное Кудиново. Пережить без потерь такой резкий контраст удел не слабых натур. Впечатлительному Леонтьеву пришлось тяжело.

Тягостное настроение от вида могил матери и брата Владимира развеивает знакомство с соседской барышней-дворянкой Людмилой Осиповной Раевской, что на 19 лет моложе его. «Ей 24 года, она очень мила: оригинальна, хитра, необыкновенно тверда и решительна, поет прекрасно русские песни, иностранные языки не знает, прекрасная хозяйка и меня без ума любит. Она трудится, шьет, гладит сама. Она выучивает наизусть молитвы и целые псалмы, только чтобы мне угодить и понравиться», – пишет он Губастову первого октября 1875 года.

После прочтения таких восторженных строк, возможно, что Губастов с усмешкой воскликнул: «Vieux satyre» (старый сатир). И был бы прав, если бы Леонтьев активно не отрицал даже малейшего намека на интимную близость с Людмилой Раевской: «Я и теперь, помня уроки старцев, которые говорят, что даже они не застрахованы вполне от всякого падения, ежеминутно слежу за собой. Конечно, теперь это легче, чем в былом времени! Она находит, что лучше так жить и смотреть на меня, чем быть замужем», – надеется он в том же письме. Тут же признается, что уехал на неделю в Мещовский монастырь, где пишет это послание, чтобы помолиться и «заглушить эту тоску по жизни и блестящей борьбе. Именно заглушить…».

Людмила, гостя все лето 1875 года в Кудинове, просыпалась по утрам очень рано и лишь для того, чтобы сварить кофе для своего обожаемого Константина Николаевича, своего «падишаха». Стучала в дверь, а потом покорно сидела на крылечке, ожидая, когда «падишах» встанет, оденется, отдернет занавеску на окне и впустит ее в комнату. По при-

знаниям Леонтьева, такое поведение молодой девушки вызывало у него недоуменные вопросы: «Из-за чего же все это?» Неужели только из-за отеческой ласки, улыбки, ласкового слова и шутки, ибо большего, по уверениям Леонтьева, он ей дать не мог.

Для Леонтьева встреча с такой одержимой (как-то трудно по-другому определить характер Людмилы Раевской) барышней-служанкой была, скорее всего, большой удачей. Ведь словно по заказу она появилась в пору самого большого потрясения Леонтьева по возвращении его из Турции в Россию и отвлекла его от тяжких и бесплодных мыслей о смерти. В таких случаях всегда говорят: «Бог дал!»

Для дворянской России появление таких восторженно романтичных и одержимых девиц было довольно типичным явлением, которое первым тонко подметил и описал в своем стихотворном романе Александр Пушкин. Тому способствовали и внешние обстоятельства: оторванность помещичьих усадеб от культурных центров, однообразный быт, мечтательность, вечное ожидание каких-либо новостей. Романная Татьяна Ларина – это, по сути, прообраз Людмилы Раевской.

У Пушкина мы читаем:

Давно ее воображенье
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала…кого-нибудь.

И главным в судьбе этих юных дворянок становился тот, кто первым являлся перед их очами, готовыми источать любовь «кому-нибудь». Перед Людмилой Раевской предстал еще молодой и красивый консул Российской империи, умный, умеющий зажигающе говорить и обольщать, хотя последнее совсем не важно: Людмила готова сама обольщаться. Ее любовь, несомненно, несла в себе черты фанатизма, и Людмиле повезло,

что объектом ее обожания стал Константин Леонтьев, а не Борис Савинков, вовлекший бы ее в какую-нибудь террористическую организацию.

И таких одержимых юношей и девушек, детей дворян, разорившихся после реформы 1861 года, в России было великое множество. Исход дела зависел от учителей. Народовольцы (вот ирония истории России) не народ просветили, а испортили своим «образованием» скучающих детей дворян, волею истории оказавшихся не у дел. Бомбистами, как мы знаем, были не дети крестьян, а дворян и (еще одна усмешка истории) священников. Почему? Образованные ходоки в народ останавливались на ночлег либо в дворянских усадьбах, либо у священников, а беседы за полночь очень способствовали экзальтации чувств.

Людмила Раевская «выучивает наизусть молитвы и целые псалмы, только чтобы мне угодить и понравиться», – пишет Леонтьев Губастову. Это ли не лишнее подтверждение роли первого учителя со стороны? Полярность же судеб дворянских пореформенных детей поражает: кто-то, как Раевская, ушел в монастырь, а большинство в революцию. Ведь именно в студенческой, дворянской среде впервые родился лозунг «Долой самодержавие», подхваченный затем марксистами.

Кроме Людмилы, в Кудинове летом 1875 года живут жена Лиза, ее сестра Леля и их мать, племянница Маша. Напомню, что весной этого года Леонтьев, харкая кровью и задыхаясь при ходьбе, весь больной вернулся после неудачного хождения в Угрешский монастырь. Женщины заставили его пить кумыс и через два месяца поставили на ноги. Утешило («утешение» стало одним из любимых слов Константина Николаевича) Леонтьева известие, что Катков опубликовал первые главы «Одиссея». Утешала его особенно любовь и искренняя забота Людмилы. «Была отрада – любовь моя к Л… И ту вера принудила оставить», – напишет он в мрачной своей «Исповеди» в декабре 1878 года, но это позже.

Пока же все пять женщин у него на иждивении. Вот судьба! Грубо говоря, любишь женщин – люби и саночки возить. Все бы нормально, но где взять денег, когда Леонтьев в долгах, как в шелках. Особенно, еще с Крыма, Леонтьеву не нравится сестра жены Леля, которая, по его мне-

нию, негативно влияла на Лизу, а для нелюбимой жалко становится и куска хлеба. Леонтьев высказывает это теще, та подговаривает дочерей, и они все втроем тайно, в отместку, уезжают из Кудинова. Демарш тещи попал в точку: Леонтьев очень разозлился. Он отлично понимал этот прозрачный намек, что он, мужчина, писатель, бывший консул не в состоянии прокормить свою жену. Есть ли большее унижение, чем такое, тем более, демонстративно выраженное?

Как бы там ни было, Леонтьев не прерывает дружеских отношений с Людмилой Раевской. Она гостит у него и в Любани под Петербургом, когда он искал места в Министерстве иностранных дел, живет Людмила у него и в Москве, когда он уже служит цензором. В письме к Губастову он скромно отмечает, что она «с прошедшей осени и до весны гостила у меня». Речь идет об осени 1881 года и весне, соответственно, 1882 года. Данное обстоятельство вызвано, прежде всего, тем, что осенью 1881 года у Людмилы скончался ее отец. И, видимо, жалостливый Константин Николаевич, видя горе Людмилы и чувствуя весь ужас ее одиночества предстоящей зимой, хотя и с сестрами в родном, но осиротевшем кармановском доме, пригласил ее к себе в Москву. Если Пушкиным была поэтизирована барышня-крестьянка, то Леонтьев почти шесть лет боготворил свою барышню-служанку «Ласточку», так он представлял ее неофициально в своих письмах.

В Москве в те полгода Леонтьев из-за болезни никого не принимал и ни к кому не ездил, особенно в зиму 1882 года, Людмиле Раевской затворническая жизнь прискучила. Она, по словам Леонтьева, «оказавшись негодною к продолжению службы, с милостивым манифестом вышла в отставку», то есть уехала. Эту дружескую связь Леонтьев так описывает Губастову: «С большой благодарностью и большим удовольствием вспоминаю ее шестилетнюю безоблачную службу; горжусь своим предвидением. Я всегда говорил, что эта женщина много волноваться не станет, а когда ей человек надоест, она его бросит без разговоров и только! Это имеет свои удобства и причины, но зато, кроме равнодушия, за это ничем другим заплатить нельзя».

Здесь уместно вспомнить замечательные строки его литературного ментора Ивана Тургенева из повести «Первая любовь». «Сын мой, бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы…». Казалось бы, кому как не Леонтьеву наиболее подходят эти предостережения, но чужому опыту мы, как и Леонтьев, впрочем, не следуем по неизвестной причине. Леонтьев не внимал предупреждениям своего литературного наставника, не внимал голосу своего разума, часто подпадая под очарование этой «отравы» даже в годы еще невыполненного своего обета отдать свою жизнь аскетическому служению православной вере.

С детства окруженный не по своей, конечно, воле женщинами он инстинктивно впитал в себя часть женской психики. Согласно ей, женщины в своих действиях подчиняются в основном желаниям. Мужской же принцип – совершать поступки. Леонтьевские экстравагантные поступки, среди которых многочасовые зрелища за борьбой пехлеванов у стен мечети в Адрианополе или за танцами Пэмбе в Янине, более похожи на бессознательные желания. Ради необычного, поэтического и возвышенного действа Леонтьев способен бездумно влезать в долги. И эта его бессребреническая, эстетическая энергетика, понятная и очень близкая женщинам, легко ими угадывалась и… эксплуатировалась.

3

Летом 1876 года случилась размолвка с такой надежной, казалось бы, и верной помощницей, как племянница Маша. Да, «блудное искушение» – любовь Леонтьева к соседке из имения в Карманове, точнее, Машина ревность, пришедшая явно не по нраву Леонтьеву, привела к трещине в их отношениях. Маша, как видно из переписки Леонтьева, пряма, как сам он. И неудивительно: в ней тоже кровь неукротимого Петра Карабанова, и она позволяла резкие упреки в адрес дяди. Звучали они примерно так: «Что же ты, святоша, ездишь к святым старцам, исповедуешься, причащаешься, а сам по ночам гуляешь в темных аллеях с молоденькой девочкой».

Уже 5 декабря 1876 года Леонтьев в расстроенных чувствах пишет Губастову: «Кажется – что для меня *все живое кончено*... Все вокруг меня тает. Марья Владимировна этим летом дошла до геркулесовых столпов безумия, несправедливости и нравственного расстройства. И сама, разумеется, понимая это очень искренне и глубоко, уехала из Кудинова с клятвой на образе не возвращаться, пока я сам ее не приглашу… Я почувствовал при ее отъезде несравненно менее потрясения, чем при бегстве бедной Лизы. Когда Лиза меня бросила, я был два месяца так печален, что запретил имя ее в Кудинове произносить, пока не пройдет боль моего сердца. А когда Марья Владимировна уехала, то я, кроме радости, не чувствовал ничего!»

И как тут не радоваться, если любовный угар, «блудное искушение» кружит голову, а рядом нет осуждающих глаз племянницы. Недаром в «Хронологии…» после слов об отъезде Маши Леонтьев пишет: «*3 недели земного рая*» и выделяет их, придавая им огромное значение. В эти дни блаженства Леонтьев даже отказывается от предложения стать помощником редактора «Варшавского дневника», это место могло ему принести неплохие деньги. В политике он может думать не только о завтрашнем дне, заглядывает на столетия вперед, а вот о личном своем благополучии Леонтьев часто забывает. Раб своих страстей?

Через год Леонтьев (в 1877 г.) с Машей мирятся, и, скорее всего, этому помогает прозрение его в отношениях с Людмилой, которая, видимо, сочла возможным подчинить себе и душу слабовольного, по ее мнению, «падишаха». «Чувство мое улетело так быстро, что я не найду его! Она забыла то, что я столько раз говорил ей: мпомни, что ты мила мне, пока это приятно, и больше ничего!”» – пишет он Губастову.

Почерк у Леонтьева ужасен, это он сам признавал, и потому ему постоянно нужен переписчик, и никто с этим лучше не справится, как Маша. Он первый идет на примирение и посылает ей главы из «Одиссея». Маша отвечает, и почти всю осень она для него единственный адресат, которого он умоляет: «Ради Бога, кончай скорее это и, главное, возвращайся скорей». Леонтьев жалуется на отсутствие вдохнове-

ния, сожалеет, что для освежения мысли и труда у него нет впечатлений извне, а одним терпением и твердостью много не сделаешь. В этом Леонтьев прав, ибо нет большей опасности в творческой работе, чем довольство, когда купаешься, как сыр в масле, а жизнь катится по накатанной дороге без тряски и ухабов.

И как всегда жалкие заботы о хлебе насущном: «Денег всего два рубля. У кого займу – не знаю… Этого еще никогда со мной не бывало! Так что именно одна надежда на Бога и, вероятно, от Бога я так спокоен…». Но как-то Леонтьев не отдает себе отчета, что эти жалкие заботы – тоже некая смена впечатлений, побуждающая творческую мысль. Конечно, все до известных пределов, но уж точно, что от хорошей жизни писателями не становятся.

Только за сентябрь 1877 года Леонтьев написал Маше пять писем, и в каждом тревога о хлебе насущном. «В таком положении ты меня еще не видала! Мне кажется, что это похоже на то состояние озлобления и растерянного ужаса за эту материальную будущность, которое испытывала мать моя, когда начались реформы…». Ему предлагают должность земского врача, Леонтьев советуется с о. Амвросием, но его советы, по мнению Леонтьева, уклончивы и противоречивы. Леонтьев, преклоняющийся перед силой и первый приравнявший понятие «силы» к категории философской, недоволен половинчатостью указаний своего духовника. По его характеру лучше решительное «да» или «нет»: «Тяжело это, когда ни в свой, ни в чужой разум уже давно не веришь, а остается руководиться им…». Это касается лишь только разума хозяйственного, так сказать. Вера в высокое призвание публициста и писателя Леонтьева не оставляла ни на секунду: «Меня очень обрадовало, что ты больше веришь в литературу мою, чем в должность по Земству».

Судьба продолжает испытывать его, и потому взаимоотношения с ней, судьбой-судьбиной, своеобразны до крайности полюсов: то любовь, то вражда. В состоянии озлобления, к счастью редкого, он начинает осуждать своих друзей: «И как трудно, сознаюсь тебе, в эти минуты не презирать таких друзей, например, как хоть бы этот самый Губастов…

Ведь он, жалкий человек, какой-нибудь сестре своей или зятю дал бы на выкуп имения 2000… Отчего же он мне их дать не может, мне, которого он будто бы так любит и так восхваляет?.. Часто это даже не от скупости, а от какой-то мерзкой плоскости, от неспособности к какому бы то ни было порыву».

Если бы Леонтьев не боялся кары Божьей, то его злоба и ненависть стали бы испепеляющими, и в первую очередь для него самого. Нет, он не просит прямо у Губастова в долг, но еще 7 сентября 1877 года, подробно описывая свой день, сообщает, что у него осталось всего лишь 8 рублей, а при этом подошли сроки погашения кредита в банк. Леонтьев надеется, что Губастов, узнав о его бедственном положении, сам предложит денег как друг. Но… идет русско-турецкая война, а Губастов находится в Гааге, так как на время военных действий посольство в Константинополе распущено, а сотрудники его устроены на время где попало и как попало. У него, наверное, свои проблемы.

Возможно, что у Леонтьева даже возникали мысли о поправке своего материального положения удачной женитьбой на состоятельной женщине. В одном из писем этого года он пишет племяннице Маше, что не знает, что делать ему со своим влюбчивым сердцем, потому что у него на уме некая дочь Т. Новое увлечение? Видимо, да!

Что делать? Что делать? Никому, даже человеку с самым сильным характером, не дано исправить одним лишь волевым усилием те недостатки, что закреплены с детства и вошли в кровь и плоть. Не дано взрослому человеку развернуть свой характер на 180 градусов. Данную Богом форму жизни человек может поправить, усовершенствовать и отшлифовать, но исправить жесткий каркас своего характера он не может. Привык с детства Леонтьев к женскому обществу, которое сформировало его характер под свой шаблон, так и пришлось ворочаться в нем, как в прокрустовом ложе, всю жизнь. Своему высокоразвитому эстетическому чувству и даже политической интуиции он обязан женщинам (матери и тетушке), натурам более чутким к воззрениям возвышенным, красивым и тайным. Так судил ему Бог, и от-

делаться сразу от женского влияния и любвеобильности невозможно, тем более, что гигантом воли Леонтьев не был. Он и сам с радостью обманывался. Но мало-помалу он, как способный ученик, переросший в своих знаниях и умениях учителей (женщин), начинает прозревать и критически относиться к ним.

4

В январе 1878 года его настигает «последнее безумие» – цикл любовно доверительных встреч с Ольгой Сергеевной Карцовой (Леонтьев писал «Карцева»).

Чтобы окончательно решить вопрос о возвращении на дипломатическую службу (нужда вконец одолела), Леонтьев в середине января отправляется из Москвы, где он обычно встречал Новый год, в столицу для представления светлейшему 80-летнему князю Александру Михайловичу Горчакову, государственному канцлеру, министру иностранных дел России. Видимо, эта встреча не состоялась, иначе Леонтьев в своих письмах этот факт отметил бы, но в очередном письме Маше сообщает, что, по словам Губастова, с которым он случайно оказался в одних и тех же меблированных номерах на Васильевском острове на Большом Морском проспекте, его шансы на возвращение в МИД велики.

Свободное время друзья проводят в доме Карцовых, прозванным Леонтьевым и Губастовым «Гюлистаном». Губастов вспоминал, что «с юным и блестящим Юрием Сергеевичем Карцовым, только что поступившим в Азиатский департамент, Леонтьев пускался в политические разговоры и пререкания, а умной, талантливой и прелестной сестре его, Ольге Сергеевне, развивал свои мистико-эстетические теории».

Эти вечера в доме Карцовых скорее утомляли и раздражали Леонтьева, чем приносили удовольствие от общения. Как некогда в Крымскую войну, когда он посещал имение Кушниковых и ему нравилась больше мать, чем дочь, так (ирония судьбы) случилось и в Петербурге. Леонтьев год спустя признавал: «А люблю я и ту и другую и уважаю,

одну вполне (мать), а дочь отчасти», – и задавал себе вопрос: «Кому писать – дочери или матери?»

Раздражение было, по признанию Юрия Карцова, из-за того, что «…Леонтьев от окружающих требовал себе поклонения, между тем молодежь, собиравшаяся в доме К., еще совсем зеленая, авторитета его не признавала и в нем видела только талантливого фантазера». По мнению Леонтьева, в «Заметках по поводу карцовских писем», скорее всего, происходило следующее: «И если мрачный Юрий имел неделикатность мне рассказать, что меня *никто не слушает*, то это доказывает не мою неспособность, а глупость слушателей». Да, вероятно, так и было, но зачем тогда метать «бисер перед свиньями»? Проблема отцов и детей всегда была, есть и будет, и она не есть красиво оформленная выдумка Ивана Тургенева, как роман «Отцы и дети».

Ольга Сергеевна более благосклонно, чем брат ее, воспринимала его «мистико-эстетические теории», и потому Леонтьев с ней сблизился. Давно замечено, что мы любим и уважаем тех, кто нас долго и молча слушает. Но даже в этом случае с Ольгой Сергеевной было трудно: «Она удивительно мила; и хитра и смела донельзя. Ее развивать! – куда? Едва ли уж не она меня развивает. По крайней мере она заставляет меня упражняться в такой тончайшей дипломатии, что мне и передать тебе трудно», – признается Леонтьев в письме племяннице Маше. Он подробно приводит в письмах диалоги с Ольгой Сергеевной; прочитав, приходишь к выводу, что она водит его за нос и оттачивает на нем свои женские хитрости и приемы для последующих отношений с другими мужчинами. Можно расценить эти беседы как пустую светскую болтовню, мало что дающую и уму, и сердцу. Где-то в глубине души Леонтьев это чувствует и признается, что время дорого, что время жалко, так как эти изнурительные беседы порой длятся с 9 часов вечера до половины 2-го ночи. Между тем он по-юношески возбужден, и настроение у него приподнятое: «Я все это время редкий день ложился раньше 3-х часов ночи и вставал в 8 и при этом так бодр и лицом свеж, что удивляюсь. Такова **милость Божия** (выделено мной. – *М. Ч.*) ко мне грешному за

молитвы Батюшки! А я, грешный, до 3-х часов все у нее сижу, никак не насыщусь. Однако пора опомниться! Великий пост близко. Хочу дешевизны, покоя, молитвы и труда».

Вот последнее желание – самое верное и нужное для Леонтьева, в остальном же он не прав: батюшка Амвросий, конечно же, ничего не знает о долгих сидениях у Ольги Сергеевны, и они – дьявольское искушение, а не **Божья милость**. В чем скоро Леонтьеву пришлось убедиться. Нагрузка в дни «последнего безумия» была поистине безумная: из-за дороговизны жилья в Петербурге Леонтьев снимает плохо отапливаемый домик в пригородной Любани и каждый день совершает поездки туда-сюда с возвратом далеко за полночь. Даже молодому организму этот ритм жизни был бы труден, а что говорить о болезненном Леонтьеве. Дьявольский результат, как говорится, не заставил себя ждать: у Леонтьева разыгрался ишиас – поражение седалищного нерва при остеохондрозе межпозвонковых дисков. Правая нога при сильной боли, кроме всего прочего, стала отказывать при ходьбе, так что Леонтьев думал о возможном параличе ног, но тем не менее причину находил не в бешеном ритме последних дней, а в том, что в пост не ел мяса.

Вся суета вокруг повторного вступления в российский дипломатический корпус, поездка в Петербург и все обещания бывших коллег и начальников превратились в мыльный пузырь. Он порадовал несколько секунд цветами радуги и… лопнул.

И даже неожиданное и заманчивое предложение Каткова ехать от редакции в Константинополь и писать с места послевоенных событий репортажи не осуществилось; седалищный нерв в дороге опять воспалился, и они с Машей вернулись с полпути домой, в Кудиново.

Потому-то и слаб человек, что ищет причину невзгод своих не там, где нужно, а на поверхности, для успокоения сердца, не глубоко копая. Надо отдать Леонтьеву должное, что через год во время написания «Моей исповеди» он, анализируя карцовские письма, наконец-то приходит к мысли, что «женщины – вовсе не так благородны и не так идеальны, как об них думают. Я имел *несчастие* знать коротко очень мно-

гих женщин!» Выделенное слово «несчастие» уже вполне конкретно говорит о его прозрении и сожалениях уже запоздалых, так как времени на женщин Леонтьев потратил немало. Я не говорю, что он мог бы написать больше литературных и публицистических произведений за это время, но обретенный опыт бесценен, особенно умному человеку. Вот только жизнь коротка.

Он прямо говорит: «Я, во-первых, воспитан был женщиной (матерью), были сестры; влюбляться и нравиться начал рано, с 18 лет. И что ж – и дружба, и любовь, и все доказало мне, что женщины хуже нас».

Далее в оценке женщин Леонтьев совсем резок: «Зависть, малодушие, глупая ревность, жестокость, неблагодарность, неумение различить в мужчине доброту от слабости, а главное неумение любить *идею* или за *идею*… Измены, укоры… Очень нужно – трудиться для *идеи*; женщина может только трудиться для *человека*, а не для идеи».

Конечно, не все женщины таковы, и не все так однозначно в сказанном. Особенно трудно согласиться с малодушием женщин. Уж чего, чего, но если захочет она выйти замуж за нужного ей мужчину, то употребит такие хитрости, которые мужчине и не приснятся. Уместно вспомнить тут и Александра Пушкина, сказавшего: «Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив». Скорее всего, можно говорить о некотором малодушии Леонтьева, часто попадающего в любовные сети, которые так трудно с себя скинуть, ибо запутаться в них вначале так приятно.

И очень часто бывает, что жизнь наказывает человека за излишнюю откровенность, многие желания наши она воплощает с точностью до наоборот. «Мне до того хотелось изящных наслаждений, меня так сильно и почти ежеминутно томила жажда новых впечатлений и какое-то боготворение полуплотской, полуидеальной любви…».

И вот он – крест! Но зато Леонтьев стал философом и терпеливцем. В письме своему другу Губастову через 25 лет после женитьбы он спрашивает себя в очередной раз, каялся ли он хоть когда-нибудь, что женился на Лизе. И тут же отвечает: «Нет!», хотя уверен, что большинство знающих его людей считают этот поступок ошибкой. И тут же описывает, в

чем выражается помешательство Лизы: «Она ничуть не буянит и вообще очень смирна и безвредна, но неопрятность ее стала все возрастать…. У нее опять стали заводиться вши (не моется, не чешется, волосы густые!) в ужасном количестве и до того, что на голове раны, на шее сыпь и т. п. Убегает на рассвете из дома, чтобы Александр (слуга. – *М. Ч.*) не мог бы вымыть и вычесать ее <…>. Вам, мой добрый Константин Аркадьевич, со стороны все это, пожалуй, покажется ужасным! Ну, а долгое пребывание в мире религиозных чувств и мыслей приучает постепенно к совершенно иному освещению жизни…». И заканчивает он письмо евангельскими словами: «Блажен человек, его аще накажеше, Господи, и от Закона Твоего научиши его!» Другими словами: «Счастлив человек, которого Ты, наказывая, учишь!

Видимо, и Леонтьев счастлив тем, что Бог, наказывая его любовью к женщинам, таким образом, учил.

Глава 4
«Варшавский дневник»

Примеров русского незнания, русских
заблуждений, русской фразы нет конца!

К. Н. Леонтьев

1

Часто можно слышать от людей завистливые сетования такого вот типа: «Везет тебе на хороших людей!» Для того чтобы это исполнялось, надо быть самому неплохим. Попадись на пути Леонтьева вкрадчивый проходимец, он обобрал бы его, доверчивого, до нитки, но Бог миловал. Даже заимодавцы у Леонтьева были терпеливые и «забывчивые».

Брат Владимир, племянницы Маша и Катя, генерал Игнатьев, отец Иероним, о. Климент Зедергольм, батюшка Амвросий, Людмила Раев-

ская, князь Гагарин, Губастов, братья Соловьевы (Всеволод и Владимир), драматург Соловьев, даже Катков со своими жесткими требованиями возврата долга помогали Леонтьеву и так или иначе спасали его от бед и потрясений. Потому-то опереться в жизни Леонтьеву было на кого, а это великое счастье.

Самый же незаменимый и верный ангел-хранитель Леонтьева – высокопоставленный государственный чиновник с редким именем Тертий. Тертий Иванович Филиппов, возглавлявший государственный контроль над всеми государственными, экономическими и хозяйственными функциями Российской империи, был одних с Леонтьевым взглядов по всему спектру политических и религиозных проблем, раздиравших в ту пору Россию. Они обожали друг друга. Их дружба произрастала на глубоко выстраданных идейных корнях и отнюдь не строилась на принципах басни Крылова: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку».

Клименту Зедергольму, который учился с Филипповым на одном курсе Московского университета, обязан Леонтьев знакомству со своим будущим покровителем. В 1876 году (8 января) Леонтьев писал первое письмо Филиппову: «Я с Вами знаком несколько и *лично*; есть на свете один замечательный иеромонах (которого я не назову, чтобы Вы догадались сами); он учился с Вами вместе в молодости и вспоминает о Вас с теплотою сердечною». Заочно Леонтьев «познакомился» с Филипповым, читая его статьи по церковным вопросам еще будучи на Афоне, они очень помогли ему при формировании своего мнения по греко-болгарской распре.

Это была поистине мужская, деятельная дружба, состоящая не в обоюдном восхвалении за общность мнений, а помощи. Менее чем через неделю после письма-знакомства Филиппов уже предлагает Леонтьеву место помощника редактора в консервативной газете «Варшавский дневник» у редактора Николая Васильевича Берга «с содержанием 2000 рублей в год, без квартиры». Однако в ту пору кудиновские рощи для Леонтьева более привлекательны, нежели работа

в «Варшавском дневнике», и он отказался, хотя, как показали дальнейшие события, зря.

Характерным и кратким свидетельством общности их мировоззрения могут послужить слова из письма Филиппова своей жене от 22 июля 1879 года: «А молодец Леонтьев! Как он разит либеральную сволочь! Просто прелесть!» То или иное отношение к либералам, у которых «все смутно, все спутано, все бледно, всего понемногу» – главная отличительная примета раскола российского общества. Быть либералом значит стремиться к западным мещанским ценностям, ради которых можно и Родину продать. Быть консерватором – любить Россию и желать ее процветания. Леонтьев, как и Филиппов, против того, «*чтобы со временем* воцарился такой мелочной, неподвижный и серый порядок полнейшей равноправности, когда уж и героизм и все идеальное станет лишним» (из письма Леонтьева о. Фуделю). Лишними, добавим мы, станут все самые простые чувства, не говоря уж о самопожертвовании, патриотизме, отзывчивости, коллективизме, да и сама душа как таковая станет не нужна.

Потому-то публика (определение ей дано ранее) не любит серьезных «охранительных» статей и журналов почвеннического направления, ей не интересно прошлое, ее не тревожат глубокие и мучительные опасения о будущем России. Ей интересно только настоящее, в котором она хочет обеспечить серенькое и средненькое существование – не светлое, но и не мрачное. И потому издать свои пророческие статьи Леонтьеву практически негде: ведь даже консервативно настроенный Катков и тот боится смелых выводов Леонтьева. Что же говорить о других. Филиппов, зная об этом, способствует организации в Москве патриотической еженедельной газеты «Восток», «которая Вам будет очень сочувственна и издатель которой – Николай Николаевич Дурново – просил меня быть между ним и Вами посредником, дабы привлечь Вас к деятельному в сей газете сотрудничеству», – писал он Леонтьеву 8 марта 1879 года.

По рекомендации Филиппова Леонтьев связался с редактором Н. Н. Дурново, и они обговорили финансовые вопросы сотрудниче-

ства, но оно, к сожалению, было непродолжительным. Было опубликовано всего лишь два письма из «Писем отшельника» с названиями: «Наше болгаробесие» в № 7 от 10 июня 1879 года и «О пороках фанариотов и о русском незнании» в № 12 от 15 июля. Причин тому было несколько, главной из которых стал недостаток времени у Леонтьева. Он заканчивал очерк «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни» как дань великой дружбе и памяти скончавшегося год назад о. Климента, сыгравшего такую значительную роль в судьбе Леонтьева. Кроме того, предстояло рассмотреть приглашение в газету «Варшавский дневник».

Финансовое спасение в тяжелейшем 1879 году (а легких лет у зрелого Леонтьева в России не было) пришло от старого друга – Константина Губастова. Жизнь Леонтьева текла в тех двух берегах, суть которых определялась двумя народными мудростями. Первая звучала так: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами», а вторая: «Не имей сто рублей, а имей 100 друзей». Для непрактичного и не пробивного по характеру Леонтьева друзья были настоящим спасением. О чем сие свидетельствует? Прежде всего о том, что незлобивому, доброму и талантливому Леонтьеву приятно помогать: он умел быть благодарным.

В июле 1879 года Губастова назначили в Варшаву дипломатическим советником при генерал-губернаторе Царства Польского графе Коцебу, а к концу того же года ему поручили цензорство над упомянутой газетой, выведенной с 1880 года из-под «общей» цензуры. После получения служебного «довеска» в виде цензорства Губастов тут же (4 декабря) приглашает Леонтьева занять пост помощника редактора при князе Николае Николаевиче Голицыне, с которым он, по его словам, находится в «большой дружбе». Направление газеты, писал он, будет консервативным, а цель, которая ставится перед нею, и состоит в рассуждениях с поляками в «самом прилично-дружеском тоне». Губастов также отмечал в своем письме, что князь Голицын «давнишний и страстный Ваш поклонник», что архиерей (архиепископ Холмский и Варшавский Леонтий) «тоже Ваш поклонник», что Варшава город ин-

тересный и православных храмов теперь здесь много. И, зная вечную нужду Леонтьева, добавлял: «Скажите условия, и в расплате задержки не будет ни на минуту. Я Вам ручаюсь».

И в это же время Филиппов приглашает Леонтьева в Московский цензурный комитет, куда только что назначили нового председателя Кожухова (по протекции Филиппова), а, как известно, новая метла должна по-новому мести. Ожидалось, что Кожухов будет делать перестановки, и они с Филипповым уже оговорили, что одно из «будущих праздных мест, т. е. должность цензора с 3000 р. оклада» будет представлено Леонтьеву, если он согласится.

Судьба в очередной раз поставила Леонтьева перед выбором. Опять муки сомнений и колебаний, но в данном случае он поступил расчетливо, возможно, сказался опыт ухода с консульской работы. Зная, что назначения на государственную службу всегда непросты и длительны из-за множества согласований, Леонтьев дает согласие на переезд в Варшаву, но одновременно не отказывается и от цензорской службы. В конце декабря 1879 года он встречается с Кожуховым в Твери и производит на него «обаятельное», по словам Филиппова, впечатление.

2

Пока Леонтьев едет в Варшаву, где уже 7 января 1880 года появилась небольшая заметка, предваряющая его работу: «Редакция “Варшавского Дневника” приобрела дорогого сотрудника в лице К. Н. Леонтьева, автора столь известных читающей публике статей о Востоке и церковной жизни, – “Византизм и Славянство”, “Из жизни христиан в Турции” (вышло отдельной книгою), “Отец Климент” (в “Русском Вестнике”) и друг.» На выход первых номеров обновленной газеты (пока еще без участия Леонтьева) первый ее редактор Ф. Н. Берг откликнулся письмом Губастову, в котором, в частности, отмечал, что «…Леонтьев умный и талантливый человек, и у Вас очень может дело пойти, я вижу. Что не слишком *цветно* сразу, это тоже очень хорошо».

Уже 9 января вышла газета с первой передовицей, сочиненной Леонтьевым. Она для него имеет исключительно решающее значение как первая по счету и как та «одежка», по которой встречают человека в обществе. Леонтьев, говоря о либерализме, недвусмысленно усиливает размежевание между консерваторами и либералами: «Все созидающее, все охраняющее то, что раз создано историей народа, имеет характер более или менее обособляющий, отличительный, противополагающий одну нацию другим… Все либеральное – бесцветно, общеразрушительно, бессодержательно в том смысле, что оно одинаково возможно везде».

В своей первой заметке Леонтьев спешит высказаться по всем тем злободневным и терзающим его душу вопросам, решение которых он уже нашел. Но Россия не знает! До этого времени все его новаторские и пророческие идеи с великими трудами пробивались в печатные издания. Здесь же, в «Варшавском дневнике», свободном от цензуры (об этом факте Берг правильно советовал не упоминать), Леонтьев мог говорить прямо и тут же видеть результаты своих мыслей. И он спешит выговориться. Позже, в 1885 году Леонтьев признавал в письме Филиппову: «“Голос Москвы” это не “Варшавский Дневник”, где я делал что хотел и когда хотел».

Первая передовица носит, по сути, программный характер. В статье подняты вопросы о либерализме, прогрессе, историческом процессе, свободе: «*Свобода! Освобождение!.. Но от чего и во имя чего?* Леонтьев с открытым забралом идет в бой, словно хочет узнать: сколько же у него сторонников и таких же борцов, как он. Безнадежны ли его усилия и призывы? Леонтьев, словно учитель, заканчивая первую передовицу, спрашивает, имея в виду либералов: «Но что делать с невинными и честными разрушителями?.. Как их убедить?»

Насколько его идеи трогали расколотое русское общество? Немногочисленные сторонники (поклонники) от статей в восторге, либералы тут же приклеили ему тот же ярлык, что и Каткову – «вечный доносчик». Передовицы и другие статьи Леонтьева носили отнюдь не местечковый,

польский характер, они, прежде всего, показали русскому читателю, что либеральному засилью есть противодействие. Его-то Леонтьев хотел и мечтал укрепить, как массово, так и интеллектуально, увеличивая число подписчиков и привлекая к сотрудничеству известных русских авторов. Он приглашает даже Льва Толстого к написанию материалов для газеты, но тот приглашение не принимает.

Во второй передовице Леонтьев осуждает «повивальную бабку» Засулич, присвоившую «себе право казнить заслуженных государственных деятелей». Он говорит, что ее роковой выстрел сделал борьбу двух сторон открытой и беспощадной, что, впрочем, естественно, ибо «успехи» либералов и их безликих сторонников, утверждающих, что «движение назад невозможно», за последние годы увеличились многократно. Леонтьев сожалеет, что среди материалистов мало тех, которые ненавидят демократический прогресс, тех людей «высокого, изящного ума и обширных знаний, до которых очень далеко не только большинству учащихся, но и многим из ученых (но вовсе не особенно умных) наставников их…».

Основной вопрос размежевания между либералами и консерваторами – отношение к роли государства в жизни общества. Если Леонтьев полагал, что «государство обязано всегда быть грозным, иногда жестоким и безжалостным, потому что общество всегда и везде слишком подвижно, бедно мыслью и слишком страстно…», то либералы считали и считают до сих пор, что личность важнее государства, и оно должно умереть. Но при этом либералы вовсе не чураются насилия как такого, они всегда готовы применить его к людям, мыслящим по-другому, они готовы раболепно терпеть принуждение от авторитарного начальника частной корпорации, холдинга, компании, треста и прочих руководителей частных предприятий, но не от коллективного в своих решениях правительства. Но раз это так, то, безусловно, Леонтьев прав, говоря: «Без насилия нельзя. Неправда, что можно жить без насилия… Насилие не только побеждает, оно убеждает многих, когда за ним, за этим насилием, есть идея».

Речь здесь, разумеется, не идет о насилии физическом, когда изверг убивает непонравившегося ему человека или насилует беззащитную женщину. Леонтьев говорит о спасительном моральном насилии, заставляющем упомянутого душегуба бояться государственного гнева и тем самым связывает его грязные руки. Он против размытости и неясностей в поведении и тактике либералов: владельцу завода можно, а государству нельзя применять насилие, он, говоря сегодняшним языком, против двойных стандартов. Например, и по отношению к военным (передовица от 21 февраля 1880 г.). Ведь, если в военное время, мы, по словам Леонтьева, всегда «простираем руки не к ораторам или журналистам, не к педагогам или законникам, а к людям *силы,* к людям, *повелевать умеющим, принуждать дерзающим!*», то и в мирное время к ним надо относиться с уважением.

Второй вопрос – отношение к религии. «Религия, преобладающая в каком-нибудь народе, вот краеугольный камень охранения прочного и действительного. Когда веришь, тогда знаешь, во имя чего стесняешься и для чего (быть может, и с невольным ропотом нередко, но без гордости и явного протеста) переносишь лишения и страдания…», – утверждает Леонтьев. Но это-то хорошо понимают и либеральные демократы, а так как им нужен неспокойный и непокорный народ для достижения революционных целей, то потому они так яро нападают на Православие, скрепляющее государство. Вера – это не только дар или благоприобретенное качество, развитое в семье или гимназии, но упорная работа души над собой. Либералам нужны бессовестные, наглые люди, готовые ради денег, ради своих «прав» на любое действие, на террор, родоначальницей и крестной матерью которого стала (как ни печально это) радикальная Россия. Призывы революционных демократов браться за топор не прошли даром.

К национальному вопросу Леонтьев впервые приступил именно в передовицах «Варшавского дневника» и пришел к неожиданному по новизне политическому выводу. Борьба за национальное освобождение (по Леонтьеву – «племенная политика») приводит вновь образовавшие-

ся национальные государства в космополитическое «рабство». Такой вот малопонятный на первый взгляд парадокс сумел впервые понять и объяснить только Леонтьев. И, действительно, трудно понять, почему, освободившись от рабства турок, например, слившись по национальному принципу в единое государство, нация теряет культурную самобытность и национальное своеобразие под воздействием демократических принципов свободы, равенства и братства. Послушаем Леонтьева: «Итак, служа принципу *чисто племенной национальности,* мы способствуем, сами того не желая и не сознавая, – космополитизму. Уравнивая права и степень свободы всех наций, мы способствуем слиянию их быта сначала в верхних слоях общества, а потом и в низших… Национально-политический принцип, проведенный в жизнь где оружием, а где переработкою учреждений, – является на деле лишь новым и могучим средством космополитической, то есть *антинациональной,* демократизации Европы… Все равны, все сходны, все родственны… Одни успехи и одни неудобства; схожие уставы – одинаковый быт; сходные вкусы – сходное искусство; сходная философия жизни – одни и те же требования, одни и те же качества и пороки, однородные наслаждения и однородные страдания…»

Ужасный итог – не правда ли? Люди разных национальностей, удаленные порой на тысячи километров друг от друга, в государствах так называемого демократического лагеря похожи по своим привычкам и страданиям, вкусам и желаниям, как овцы в стадах, пасущихся на зеленых лугах Англии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Испании, Болгарии или США (можно перечислить все известные страны). И это результат и достижение прогресса? – спросим мы вместе с Леонтьевым. «Все прогрессы реакционны, если падает человек», – повторим мы вслед за советским поэтом Андреем Вознесенским и будем вместе с ним правы, потому что скотоподобное равенство не должно быть примером для сознательного человека.

Касаясь публичного спора двух известных романистов того времени – Тургенева и Маркевича, – Леонтьев встает на сторону Болес-

лава Маркевича, открыто обвинившего Тургенева в распространении «нигилизма» за то, что тот во Франции исправил и помог опубликовать записки одного молодого нигилиста, сидевшего в тюрьме за политическую неблагонадежность. Обидевшись на гражданское обвинение, Тургенев перешел на личности, назвав Маркевича «низкопоклонником». Маркевич, кстати, входил, наряду с Катковым, в группу лиц, собиравшихся на чаепитие у наследника престола Александра Александровича. И тем не менее у Леонтьева свое, особое мнение относительно эстетики и «чистого» искусства, не должного связываться со злобой дня. «*Честность художника, – говорит Леонтьев, – вовсе не честность купца или чиновника.* Честность художника состоит в искренности и смелости мысли. Надо ценить прекрасное везде, где мы его думаем видеть, и надо *изображать* его таким, каким оно нам представляется. Никакой художник не может сказать, не впадая в ложь, что Мирабо не был могуч и обворожителен… что экспедиция Гарибальди в Сицилию не была исполнена лиризма и поэзии. Это *должен* сказать и папист, и всякий реакционер, если он желает быть *честным в искусстве*».

Говоря критически о «верности прежним убеждениям», Леонтьев справедливо спрашивает: зачем она художнику? Ведь «ему нужна *верность вкуса и правда выражения.* Именно *эстетику-то приличествует* во времена неподвижности быть за движение, во времена распущенности за строгость; художнику прилично быть либералом при господстве рабства; ему следует быть аристократом по тенденции при демагогии; немножко libre penseur* (хоть немножко) при лицемерном ханжестве, набожным при безбожии…».

Такую вот «измену» прежним убеждениям и вкусам своим Леонтьев приветствует и считает естественной, так как художник слова исполняет при этом свой гражданский долг, крепя изящное и национальное. И делает вывод: «Указывая людям на это прекрасное, писатель служит родине». Этот принцип, используемый Леонтьевым в его творчестве,

* Свободомыслящий (*фр.*).

объясняет во многом то негативное его отношение к произведениям русских писателей, чернящих русскую действительность с ее сословностью и патриархальностью. Потому-то Леонтьев боготворит творчество Кольцова, Пушкина, Лермонтова, Фета, но не любит «Мертвые души», «Ревизор» Николая Гоголя, считает никчемной поэзию Николая Некрасова. Творчество, по его глубокому убеждению, должно созидать, а не разрушать, облагораживать и возвышать человека, а не принижать его, и даже меньше показывать отрицательных персонажей, чтобы реальные их прототипы не получали своеобразного оправдания. «Да, я плохой, но я имею на это право», – примерно так рассуждают отрицательные герои, и их логика вызывает у Леонтьева омерзение.

И своеобразным апофеозом леонтьевской публицистики служат его призывы к борьбе «противу *равенства и либерализма*» и слова о необходимости «*подморозить*» хоть немного Россию, чтобы она не «гнила», ставшие нарицательными и всемирно известными. Однако антисептический «холод» Леонтьева, понимаемый им как средство от гниения, кардинально расходится с «морозом» Победоносцева. О нем Леонтьев писал Филиппову так: «Человек он очень полезный; но как? Он, как мороз: препятствует дальнейшему гниению, но *расти* при нем ничего не будет. Он не только не творец, он даже не реакционер в самом тесном смысле слова…» Леонтьев же всю свою жизнь мечтал и боготворил поэзию жизни, цветение ее. При этом отдавал себе отчет, что против заразы либерализма как смерти не поможет никакой мороз. Тот страшный предел, у которого стоит Россия, ощущался им если не зримо, то с сердечной болью.

Смелые и прямые высказывания Леонтьева об убогости западной мысли, занятой лишь пресловутым прогрессом, демократией и либерализмом, глубоко выстраданы и направлены на сохранение России. Но это немногим, увы, понятно. Леонтьев афористично говорит об этом так: «Мы дерзаем думать, что пища, предлагаемая нам, сама по себе взятая, хороша и крепительна; но в то же время мы не обманываем себя и знаем, что желудки у большинства современных людей для подобной пищи

еще не подготовлены». И даже эту мягкую «пищу» Леонтьев разжевывает, чтобы она усваивалась самыми непонятливыми «желудками», открыто говоря, что «*мирная* революция или мирный демократический прогресс – это все равно». То есть все одинаково опасно и разрушительно для России, а если ты любишь ее, то должен различать в либеральной говорильне, принятой в печати, угрозу для Родины. Но, видимо, мало тех, кто, живя в России, любил бы ее так, как Леонтьев. Он, можно сказать, самый последовательный консерватор из всех бывших на тот исторический момент в России.

«Как произнести слово – *реакция?* Как сознаться, что настало время *реакционного* движения, *если не для всех, то, по крайней мере, для некоторых сторон жизни?* Все это русскому консерватору почему-то кажется страшным сказать… На Западе этом, действительно гниющем, по крайней мере люди крайне правые пытались все говорить…», – пишет Леонтьев, пожалуй, единственный на то время публицист и мыслитель, кто так ясно, четко и открыто призывал к реакции, не боясь слыть «бестактным и неловким». Да и как не стать таковым, если 5 февраля 1880 года революционер Халтурин взрывает бомбу уже в Зимнем дворце под императорской столовой, чтобы убить царя-освободителя Александра II? Какая-то изощренная дьявольская насмешка звучит в самом историческом факте, характерном только для России, где совершают 6 покушений на «царя-освободителя».

Что же еще нужно либералам и революционерам, кроме освобождения? – спрашивает Леонтьев. Им нужна анархия, им нужна революция, «т. е. постепенное разрушение исторических начал без всякого пока нового *созидания*». И здесь бы я подчеркнул два слова об «исторических началах», сравнимых с отсутствием созидания. Эти два слова вновь возвращают нас к факту, подмеченному Леонтьевым в труде о «Византизме», что революция невозможна в среде людей, понимающих исторический процесс как циклический. К революции не подвигнешь верующий в Бога народ, неиспорченный ложными посулами прогресса, гражданского равенства, свободы.

В пору создания «Византизма» он считал, что лишь с приходом Петра I в России начался период «цветущей сложности», но в передовице «Взрыв в Зимнем дворце» у Леонтьева прорывается более взвешенный взгляд на российскую историю с момента правления Петра. Он назвал эти два века для России «подражательными» и в этом подражании видит начало тому анархическому злу, что грозовой тучей надвигается с гниющего Запада, потому что «убога стала западная мысль, задавленная машинами, а наша русская мысль – лишь бледная тень этого убожества…». Что же делать?

Леонтьев отвечает, что надо сближаться с народом, но не так, как это делают агитаторы-интеллигенты, неудачно ходившие в народ, чтобы переделать его в нечто похожее на самих себя, а чтобы сблизиться с ним не по интересам, а идейно. «*Нужно быть схожим с ним в основах*», – так он ставит вопрос в статье «Как надо понимать сближение с народом?», опубликованной в том же «Варшавском дневнике». В этот период он, кроме передовиц, пишет для своей газеты ряд крупных политических статей, среди которых, наряду с названной, нужно отметить такие: «Чем и как либерализм наш вреден?», «Катков и его враги на празднике Пушкина». Государственник Леонтьев делает совершенно органичный для своей позиции вывод: «С точки зрения *государственной* надо, напротив того, радоваться, что народ “интеллигенцию” *нашего времени* не очень любит, что она ему *не нравится*». И после этого очень даже понятно, почему интеллигенция не любит Леонтьева и его прямые откровения и выводы, из которых проистекает явное: современная ему российская либеральная интеллигенция – враг государства Российского. В чем скоро все убедились, да было поздно. И даже спустя сотню лет и потеряв сотни тысяч своих представителей в годы гражданской войны и эмиграции, либеральная интеллигенция упрямо не признает этого очевидного факта, а даже ставит себе в заслугу, что боролась с имперским русским характером.

Трудно сказать, в ходу ли слово «русофобия» в ту пору, но истоки его отлично показал Леонтьев в своей статье «Как надо понимать

сближение с народом?» Он подводит итог провального для либералов (среди них было много чисто и честно верящих в свою правоту просветителей) «хождения в народ». Несмотря на то, что народничество приняло чуть ли не повальный характер (в 1874 г. было охвачено 37 губерний), крестьяне не верили интеллигентным агитаторам и сдавали пропагандистов социалистических идей в полицию. Провал в деревне заставил либералов быть осторожнее и переключиться на пропаганду среди рабочих, уже потерявших корни, связывающие их с русским бытом и религией, и оставить в покое крестьян. С тех пор за крестьянами закрепилась слава неподвластному европеизации люда. Либералы сменили тактику просвещения на тактику растления с опорой на низменные чувства и обещания «стать всем». Этот сладкий яд обладал огромной поражающей силой. Бой Леонтьева с либеральной интеллигенцией напоминал борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами, но он, бессребреник и герой, остался в истории. Либералы же как были безликим «болотом», хотя и очень опасным и живучим, так и остаются им поныне.

Уместен здесь яркий пример антирелигиозного растления. Известный на всю Россию фотохудожник Андрей Осипович Карелин (1837–1906) образовал в Нижнем Новгороде рисовальную школу, куда набирались дети всех сословий. Один из них, Ф. А. Фомин, поступивший в школу 15-ти лет, вспоминал о Карелине с особой теплотой. Вот один эпизод (1881), когда его пригласили на вечерний чай за семейный стол. Дочь Карелина подала Фомину чай и сказала, чтобы молоко он налил себе сам по вкусу. Мальчик Федя возразил, что сегодня день постный и молоко пить грех. На что Карелин сказал, что его грех он берет на себя и разрешает ему посты не соблюдать. «Первый раз жутко было, а потом привык и всю жизнь постов не соблюдал», – радостно вспоминал уже взрослый Фомин.

Счастье-то какое: освободился от сдерживающих нравственных оков. Что же говорит Леонтьев относительно этого «счастья»? Послушаем его совет С. Ф. Шарапову: «А если Вы даже слугу Вашего сбивае-

те с пути повиновения Церкви тем, что при нем едите постом скоромное, то *берегитесь* Суда Божия… Это про такие поступки сказано, что "жернов на шею да утопить!"»

Так каков же путь спасения России? «Спасение наше *не в практическом*, а в *идеальном* сближении с простолюдином нашим; то есть, говоря яснее и проще, в *подражании мужику, в развитом восстановлении* его идеалов, верных и самобытных, но *загрубелых* и потому не всегда ясных даже ему самому… надо любить его *национально, эстетически*, надо любить его *стиль. Нужно быть с ним схожим в основах*».

Каковы же эти основы? Если простой человек любит царя не за то, что он сделал для него нечто практическое (обогатил, лично наделил землей, освободил от службы в армии), а за то, что он просто есть (так построена и «обычная» любовь), то и образованный человек должен иметь (развивать) такое же естественное природное чувство. Если простой человек верит в Бога и страшится его рассердить (это тоже есть одна из сторон любви), то и все остальные жители империи должны вести себя подобным образом. И хотя такое мировоззрение, утверждает Леонтьев, не есть удел одной лишь простоты и невежества, это закон **самосохранения**. Его исповедуют самокритичные или, точнее сказать, пессимистичные люди, каковыми считают себя все консерваторы, но этот закон противен либералам (так кратко мы называем либеральную интеллигенцию).

«Идея прогресса (*или улучшения жизни для всех)* есть выдумка нашего времени; она есть не что иное, как ложный продукт демократического разрушения старых европейских обществ. Бессознательный обман, самообольщение, могучее орудие постепенного расстройства в незримой руке исторического рока. *Человечество всегда в чем-нибудь ошибалось.* Оно ошиблось и теперь, воображая, что *созидает нечто*, *уравнивая* общество во имя *прав и благоденствия*. Оно этим приготовляет лишь размягченную почву для нового какого-то (*юридического даже) неравенства*, для нового рода страданий, для нового рода *организованной* муки! Человечеству размышления мало;

ему нужен *опыт*. И *опыт* будет! И мысль о *прогрессе равномерного счастья* будет снова отвергнута».

Вот так смело и непримиримо рассуждает Леонтьев, и **опыт** подтверждает его правоту. Улучшения жизни **для всех** спустя 130 лет не наступило. Не наступит оно и в дальнейшем.

3

Между тем Леонтьев сразу же ощутил непрочность газеты «Варшавский дневник» не столько в смысле сохранности консервативной ее позиции, а прежде всего финансовой. Подписка хоть и увеличилась до 1000 экземпляров, но газета едва-едва сводила концы с концами. Да и моральный фактор для самолюбивого Леонтьева имел огромное значение. «Варшавский дневник» мог бы, конечно, совершенно поглотить меня, – искренне писал он Филиппову 27 февраля, – если бы он был *не Варшавский*, *а Московский*. Все-таки неприятно – трудиться серьезно (и не *без претензии*, конечно) при органе, почти провинциальном, который сколько не старайся говорить дело, все-таки не заставит обратить на себя внимание».

И дело не только в тщеславии Константина Николаевича, а в том, что его охранительный для России голос заглушается в хорошо организованном шуме либеральных изданий. «Наши столичные газеты, – писал он Филиппову в апреле 1880 года, – все согласились точно нас игнорировать. Как же может возрасти подписка, когда нас в России и даже отчасти здесь так мало знают; *имени* нашего даже в печати не слышат!» Леонтьев, душою болея за дело, едет в Петербург и Москву с целью нахождения средств поддержки «Варшавского дневника», к тому же ему по-человечески жалко князя Голицына, рвущегося на части ради сохранения издания.

В конце апреля Леонтьев прибывает в Петербург и обращается за помощью к известным авторам, чтобы присылали материалы, к влия-

тельным людям, чтобы оказали материальную помощь. «Я теперь все с тузами. – Сегодня обедаю у Игнатьева; завтра буду у графини Блудовой», – пишет Леонтьев 29 апреля своему племяннику Владимиру Леонтьеву. Все тщетно. У всех на устах были лишь имена богатых московских купцов, финансировавших в 70-х годах издание газеты И. С. Аксакова, занимавшего с 1874 года должность председателя правления Московского купеческого общества взаимного кредита. К одному из купцов, Федору Чижову, обращался даже князь В. Мещерский, когда начинал свое дело с изданием «Гражданина», на что тот ответил, что не верит петербургской литературной деятельности. Потому и Голицын в одном из ответных писем сомневался, что московские купцы им помогут: «Вот Аксаков, сидящий в своем Банке за одним столом с купцами, тот может с них цапнуть для своей газеты, о которой поговаривают… Это другое дело…Но только он, а не мы, и не наши петербургские патроны».

Подобным сомнениями князь Голицын проникся и к предложению Тертия Филиппова, чтобы Голицын и Леонтьев возглавили газету «Санкт-Петербургские ведомости», вопрос финансирования которой также не был решен. Что же, его взгляд был взглядом практика, хорошо знающего русскую действительность: чиновники легко поддерживают на словах хорошие начинания, но дела, особенно финансовые, решают плохо.

Князь Голицын обращался в письмах к Леонтьеву не иначе, как «многолюбивый Константин Николаевич», и писал: «Ваши отзывы обо мне показывают, какая у Вас глубоко честная душа и доброе сердце. Действительно, нам расставаться не следует». Но расстаться им, к сожалению, пришлось, и довольно скоро.

Из Петербурга Леонтьев едет в Москву, и уже 30 мая он отчитывается перед Филипповым: «По приказанию вашему был у обоих Викарных в Москве; Амвросий (епископ Дмитровский. – *прим. М. Ч.*) дал 12 руб. на “Варшавский дневник”; а Алексей (епископ Можайский. – *прим. М. Ч.*)

был еще любезнее. Катков прямо осыпал меня вниманием как никогда! Кормил, поил, *целовал*, о долге моем в 2000 сказал, что это пустяки, о которых *и упоминать больше не стоит*, и дал еще денег».

Что можно сказать об этом отрывке из письма? Многое! Прежде всего то, что Леонтьев уже погасил половину долга перед Катковым, который, и это тоже очень значимо, общественные интересы ставил выше личных выгод. Это качество Каткова примиряло Леонтьева с ним. Интересы же их совпадали: и в желании спокойствия и процветания самодержавия как единственной силы, способной сохранить Российскую империю, и в укреплении православной веры, и в осуждении нигилизма. После смерти Каткова (1887) Леонтьев, отдавая дань уважения, называл его «великим человеком». Что бы и кто ни говорил плохо о Каткове, все это осталось на их совести. Катков как русский человек, всегда готов придти на помощь. Всем и, разумеется, Леонтьеву известен случай, когда Лев Толстой проиграл проезжему офицеру в Английском клубе на китайском бильярде 1000 рублей, а таких денег на расплату у него не оказалось. Правила же в клубе были жестокие – можно и на «черную» доску попасть. И попал бы Лев Толстой в разряд нечестных людей, если бы не Катков, случайно оказавшийся на тот момент в клубе. Узнав, в чем дело, Катков дал Толстому взаймы искомую тысячу рублей, а в следующем номере «Русского вестника» появилась повесть Толстого «Казаки».

Не таков был завзятый славянофил И. С. Аксаков, который так отозвался на деятельность Леонтьева в «Варшавском дневнике»: «К тому же Л*** способен написать подчас такую защиту веры и народности, что только компрометирует истину. Это фанатик-фанариот». Что ж, их пути с 1874 года сильно разошлись.

Раздосадованный своими лишь «нравственными», а не финансовыми успехами Леонтьев обращается за помощью к обер-прокурору, всесильному К. П. Победоносцеву, имеющему огромное влияние на цесаревича Александра, благосклонно отнесшемуся к содержанию первых номеров «Варшавского дневника». Еще в январе 1880 года Победоносцев

оценил усилия Голицына и Леонтьева в желании «вести открытую борьбу со всеми разрушительными учениями и с бессмысленными идеями и затеями петербургских журналов».

В своей записке от 27 мая 1880 года Леонтьев просит Победоносцева дать «рекомендации» новому генерал-губернатору Польши Альбединскому, назначенному вместо Коцебу. Имеется в виду финансовая поддержка. Это был крик отчаяния, и в нем проявился весь Леонтьев.

Но, видимо, «рекомендации» обер-прокурор Синода вовремя не разработал. Газета «Варшавский дневник» медленно умирала, растворяясь в долгах. Вернувшись в конце мая на свою малую родину в Кудиново, Леонтьев, хотя и сотрудничал с «Варшавским дневником», но в Варшаву он более не приезжал. Последняя его публикация в этой газете (статья «Позднее, но необходимое возражение») датирована 17 ноября 1880 года. Судя по записи в «Хронологии моей жизни» за 1880 год, газета перестала выходить в конце этого года. Запись краткая. «Неудача “Варшавского дневника”». И все! Еще один отрезок жизни пройден. «Неудача Варшавского дела, которая как неисцелимая рана пожирает меня до сих пор…», – писал он Филиппову еще 9 октября того же года.

Вообще же Леонтьев очень высоко ценил свою работу в «Варшавском дневнике», и этой оценке, как обычно, помогает время и сравнения с последующими периодами жизни. В письме (1 января 1883 г.) Губастову он так оценил то время: «После неудачи “Варшавского дневника” у меня уже нет полета и не будет его; я только умею теперь трудиться правильно и не спеша – и больше ничего».

4

Ко дню ангела (21 мая 1880 г.) Леонтьев вернулся в родное Кудиново больной и простуженный и полтора месяца не выходил из своего флигеля. Лечился. Только-только встал на ноги, как заболела приехавшая на два дня Людмила Раевская. Слегла на месяц в постель, заразившись

дизентерией. «Это поставило весь дом верх дном», – писал он Губастову 3 сентября. Так как болезнь была не проста и грозила всяческими осложнениями, то Леонтьев сам выхаживал свою любимую, может быть, к тому времени уже бывшую.

В середине августа приехала жена, «оборванная, раздетая, вся в паразитах», по воспоминаниям племянницы Маши. Марья Владимировна отвезла ее к отцу Амвросию, и тот первый указал, что она больна душевно. В Оптиной Пустыни Елизавету Павловну отмыли, вылечили от паразитов, и через месяц она вернулась в Кудиново. «К. Н. был очень рад ее возвращению. Он с терпением нес свой крест. Он ее любил. У нее не было сплошного помешательства. Временами она вовсе была здорова, и нельзя провести границу, где у нее было чудачество, где помешательство», – так о тех событиях вспоминала Маша.

Видимо, побег жены трехлетней давности хотя и обидел Константина Николаевича, но и привнес в его жизнь изрядную долю волнений о ее судьбе. Потому-то при ее возвращении он успокоился, о чем писал Губастову: «Я считаю милостию Божией и счастием, что она в таком положении; она покойна, ничего, кроме одежды, сна, пищи и молитвы изредка; и мне гораздо приятнее заботы по-христиански и с истинным прощением любви Христианской о женщине убогой и смирной, чем видеть перед собой жену здоровую, но беспокойную и требовательную».

В это лето леонтьевскую тоску по «цвету жизни», наряду с устройством жены, сглаживают заботы о «детях» – Варе, Николае и Фене. Дети крестьян, находившихся у него в услужении. Один из них, Николай, когда-то играл с Леонтьевым в бирюльки в Козельской гостинице в декабре 1878 года. Козельск, тот самый «град злый» (Моль-бугу-Зун), что семь недель сопротивлялся Батыю в 1238 году во время татаро-монгольского нашествия на Русь, находится в трех верстах от Оптиной Пустыни. Найдя мальчика сообразительным и находчивым, Леонтьев позже взял его к себе.

Варя – «восхитительная дочь» скотницы Агафьи, предложившей в 1877 году взять десятилетнюю дочь пастушком тех четырех коров, сено

для которых косила дворянка Марья Владимировна. Варька, поначалу «стыдлива и безгласна до глупости», привыкла к семье Леонтьевых, и, как писал в 1880 году Константин Николаевич, «теперь она стала лучше и смелее. – Николай ее развил с этой стороны. Спаси его, Господи!»

«Феня же была, как куколка фарфоровая, – не худая, но тонкая, с нежным румянцем, голубыми глазами и тоненьким вздернутым носом; ее по-деревенски звали “звизда”, т. е. считалась она чуть ли не красавицей», – так вспоминала Марья Владимировна, племянница Леонтьева. Из этого воспоминания самым неожиданным образом выясняется, что название публичных людей «звездами» отнюдь не голливудское изобретение, а, как обычно, русское.

Продолжим рассказ Маши о детях: «К. Н-ч учил их быть внимательными к своему делу, в чем больше успевала серьезная Варька, а Фенька больше думала о собственном наряде; сарафанчик и бусы разноцветные очень к ней шли, и она кокетливая была девочка. <…> Николай очень был ловкий и даже умный; он скоро привык к дядиным требованиям в ту зиму 79 года, которую К. Н-ч проводил в Оптинском Скиту. – К. Н-ч взял его для услуг себе в келью. – А на лето 79 привез его в Кудиново. Варя, Феня и Николай – все были подростки, почти в одном возрасте. – Дяде весело было с ними…».

Распорядок дня Константина Николаевича Леонтьева в лето 1880 года было, по тем же воспоминаниям Маши таким: «Утро до 1 часу дня – К. Н-ч занимался у себя во флигеле; вставал он не ранее 8 часов; утренний кофе подавала ему Варя, и несколько минут он с ней беседовал. Николай должен был в это время в чем-нибудь помогать старику садовнику по саду или по уборке двора. – После занятий К. Н-ч шел иногда в сад прогуляться или принимал больных».

По свидетельству Маши, к тому времени дядя уже терпеть не мог медицину, но к больным, особенно тяжелым, относился с добротой и состраданием. Кроме бесплатного медицинского их обслуживания, он помогал им материально. Мария Владимировна вспоминала, как ее дядя вылечил из соседней деревни мальчика, у которого был рев-

матизм суставов. Леонтьев взял его у бабушки, поселил в избушке старика садовника, и через 2 месяца мальчик был здоров. Перевязки с горячим алебастром ему помогала делать Варя, в чем достигла некоторого совершенства.

В 2 часа обедали. До вечернего чая (5 часов) беседовали на крылечке, может быть, они играли «в садовника». Помните: «Я садовником родился, не на шутку рассердился: все цветы мне надоели, кроме… (и назывался цветок, чье название имел тот или иной игрок)». Не ответивший вовремя становился «садовником». Иногда Леонтьев уходил к себе, чтобы вздремнуть. После 5 часов пополудни Леонтьев шел со своими детьми (так он их называл) за цветами или за грибами, в зависимости от погоды и обстоятельств.

Эти обстоятельства (главное из которых – отсутствие денег) отнюдь не способствовали его вдохновению. За все лето 1880 года он написал только две небольшие статьи: «Выговор г. Суворину» и «Г. Катков и его враги на празднике Пушкина». Поводом к написанию последней послужил инцидент, происшедший на обеде, устроенном 6 июня Московской городской думой в честь открытия памятника А. С. Пушкина на Страстном бульваре. На нем Тургенев не взял из протянутой руки Каткова бокал с шампанским, предложенный в качестве примирения. Впрочем, это могло быть и домыслом. Суть такова. Катков произнес речь, обращенную к либеральной интеллигенции, о «примирении». В ней прозвучало: «…будем надеяться, что сила света возьмет свое, и что все шире и шире будет становиться область, в которой люди разных мнений могут сходиться мирно и даже дружно». Эта речь ни в коей мере не предавала интересы консерваторов и не свидетельствовали об отступлении Каткова перед напором нигилистов.

Леонтьев приходит к выводу: «Он (Катков. – *М. Ч.*) был прав, предлагая примирение *в виде опыта*! Его речь была пробным камнем, обнаружившим все упорство и ослепление его противников. <...> *Примирение невозможно*». И все содержание статьи направлено на то, чтобы подтвердить этот тезис о невозможности примирения с врагами Рос-

сийской империи, в лице которых в то время выступала либеральная интеллигенция. «…враги Каткова – враги Государству», – заканчивает статью Леонтьев.

Человеческое сознание просто устроено. Очень часто личная неприязнь к человеку переносится на его художественные произведения, и наоборот, не понравившийся роман заставляет худо думать о человеке. Не это главное, подчеркивает Леонтьев и приводит пример, что покойный профессор Бодянский (первый издавший труд Леонтьева «Византизм и славянство») лично ненавидел Каткова. И это не мешало Бодянскому признавать Каткова первым великим русским публицистом.

Личная неприязнь самого Леонтьева, называвшего Каткова «серым», тоже была общеизвестна, но отнюдь не мешала ценить его как патриота и противника всех тех либеральных преобразований, сделавших возможным оправдание Веры Засулич. Эту свою оценку, в пику нигилистам и славянофилам, демонстративно отчеркивает Леонтьев в своей статье в поддержку Каткова, государственника и православного публициста. «Но известно, что ни один из прежних Славянофилов, в отдельности взятый, не сделал или не успел, или не мог, по обстоятельствам, сделать столько *на своем пути*, сколько *на своем веку* уже сделал Катков», – пишет Леонтьев, добавляя к этой оценке, следующее: «Его знают очень многие люди и из той части русского населения, которое зовется собственно *народом*... Его имя только одно и за границей известно. Оно возбуждает там *именно ту ненависть, которую нужно на Западе возбуждать!* Ибо наружное политическое согласие с Европой необходимо до поры до времени; но согласие внутреннее, наивное, согласие идей, – это *наша смерть!!*»

Ненависть Леонтьева к Западу так органична и так объяснима, особенно если смотреть на нее с патриотических позиций. Будто кожей он чувствовал, что укоренение западных идей среди русских приведет к падению Руси. Русь, Родина для него свято! Но и сомнения гложут и возбуждают леонтьевский ум: «…При виде всего этого спрашиваю себя каждый день: “Боже, патриот ли я? Презираю ли я или чту свою роди-

ну?” И боюсь сказать: мне кажется, что я ее люблю как мать и в то же время презираю как пьяную, бесхарактерную до низости дуру».

Глава 5
Цензор российский

Вот где был «скит»! Вот где произошло «внутреннее пострижение» души в незримое монашество!

К. Н. Леонтьев – К. А. Губастову о годах цензорства, 2 февраля 1887 г.

1

Принимая предложение Губастова и князя Голицына редактировать «Варшавский дневник», Леонтьев, как нам известно, не отказался и от предлагаемой должности цензора в Московском цензурном комитете. Расчеты его, что назначение будет долгим – место хлебное и синекура та еще, – подтвердились. Лишь 20 июля 1880 года один из престарелых цензоров собрался «соскочить» со скрипучей государственной телеги, но даже простое увольнение растянулось на месяцы.

Раздосадованный Филиппов, у которого Леонтьев «не выходит из мысли ни на минуту», пишет несколько писем министру финансов Александру Абазе, представляющему в правительстве группу «либеральных бюрократов», и, не получив ответа, считал дело проигранным. Понятно, почему либерал Абаза, подавший в отставку (1881) в знак протеста против издания императором Александром III манифеста «О незыблемости самодержавия», не хотел на посту цензора Леонтьева, хотя должность не ахти как велика и значительна, особенно в деле противостояния либералов и консерваторов. Понимая это, Абаза после раздумий, как следует из письма Филиппова, в приватной беседе с ним дает согласие на это назначение.

В письме от 3 сентября 1880 года Леонтьев сообщает Губастову: «Вот уже 20 дней жду решения моей судьбы Лорис-Меликовым (министр внутренних дел России. – *М. Ч.*). Хотя, разумеется, жизнь цензора я считаю чем-то вроде жизни той свиньи, которая обеспечена и чешется об угол сруба; но тем-то она и хороша… Покойнее, чем положение литературного Икара».

Упоминание о свинье, чешущей грязный бок об угол дома, говорит прежде всего об усталости Леонтьева: и физической, и моральной. Ему хочется неспешной созерцательной жизни, писать только по зову души, а не для денег и по срокам, которые вечно висят над его чуткой душой дамокловым мечом. Отсюда и слова о литературном Икаре, том герое, которому солнце обожгло крылья, и он разбился о землю. Падать Леонтьеву в его возрасте и при слабом здоровье уже не хочется. Уже больно, уже хочется подстелить соломки, потому-то так горячо Леонтьев благодарит своего верного друга Губастова за сохранность его места при «Варшавском дневнике» на случай «пролета» мимо цензорской должности.

У Леонтьева всегда полон рот забот, ожиданий того или иного поворота судьбы, сомнений, страданий. Порой складывается впечатление, что он сам навлекает их на себя. Хотя почему кажется? Трудности и заботы он, большей частью, действительно вызывает себе сам, если следовать обывательской точки зрения. Все наше повествование тому подтверждение. Покой ему только снится – таков характер. И вот пришла усталость, пора подумать о спокойной жизни. «Идеалы» этой жизни Леонтьев рисует Филиппову так. «Раз в неделю $^{1}/_{2}$ часа беседы с духовником, вечером поиграть в бирюльки (из серных спичек) с мальчиком, который мне давно служит, и послушать рассказы, как кто в Козельске подрался и как кто женился…». Речь идет о декабре 1878 года, о времени написания ужасной «Моей исповеди».

Леонтьев не случайно вспоминает об исповеди именно в 1880 году, когда опять пришла неопределенность в дальнейшем ходе жизни. Для него это повтор, своеобразное хождение по кругу: «Я был тогда в поло-

жении, сходном с теперешним: мыслить ни о чем другом, кроме своих дел, своего горя и своей скуки, не мог. Ни до чего мне не было дела», – описывает он свое состояние Филиппову 9 октября 1880 года. Леонтьеву повторы не нравятся, он стремится всегда к новым впечатлениям и чувствованиям. Когда их нет, он скучает, но не впадает в смертный грех уныния, занимаясь любимыми литературными и политическими изысканиями.

Неспешный помещичий уклад жизни Леонтьевым очень ценился. Несуетным был и крестьянский быт. По его твердому убеждению, суета и поверхностное знание сути любых проблем по причине той же суеты несут за собой общее оглупление межличностных отношений, бездушие, отчуждение. Во время суеты некогда думать о своей душе. Да что говорить о ней, когда нет времени почитать любимые стихи. Леонтьев сожалеет: «Каждый из нас теперь так занят и своими спешными и срочными интересами, и общими вопросами практической важности; даже и в деревне, я уверен, очень редко кому приходится раскрыть самых любимых поэтов и прочесть их *для себя*, для своего личного наслаждения… У многих ли образованных и деятельно живущих людей в наше время в России есть тот сердечный досуг, при котором легко читаются и всей душой становятся понятными все те великие и *истинно досужие прежние* поэты?» Как современно звучание этих фраз.

Ценителю и знатоку прекрасного, как никому другому, было легко понять и предвидеть те пагубные последствия, которые придут (уже идут) вслед за буржуазным перерождением России. Ведь даже сложнейшие политические прогнозы Леонтьева, большей частью сбывшиеся, основывались, казалось бы, на зыбком песке интуиции и эстетики жизни. Он вывел свою своеобразную форму успеха и процветания и для человека, и для общества, и для государства. Есть предпосылки для расцвета красоты в будущем – значит, настоящее прекрасно и основательно. И потому: «Для понимания поэзии нужна особого рода временная лень, не то веселая, не то тоскующая, а мы теперь стыдимся всякой, даже

и самой поэтической лени!.. Да и когда нам теперь лениться?.. Все вокруг нас охвачено каким-то тихим и медленным тлением!.. Свершается воочию один из тех нешумных “великорусских” процессов, которые у нас всегда предшествовали глубокому историческому перевороту – крещению киевского народа в Днепре, петровскому *разрушению национальной старины* и, наконец, нынешнему положению дел, конечно, лишь *переходному к чему-то другому…*».

Вот так, казалось бы, на пустом месте, а такие глубокие и верные выводы! Тут уж, действительно, кроме эстетики, нужен незаурядный и смелый ум. Канут в лету 37 лет, и это **другое,** но, к сожалению, лишь **переходное** придет!

В лето 1880 года домашние Леонтьева и он сам чувствовали, что имение Кудиново не удержать: без их присутствия оно захиреет, ибо назначение Леонтьева цензором рано или поздно произойдет. И, действительно, 24 октября 1880 года Леонтьев получает должность цензора в Московском управлении по делам печати, а в декабре навсегда покидает Кудиново. В феврале следующего года племянница Маша отправит в Москву жену дяди, Елизавету Павловну, Варю и Николая. И больше никто из близких и родных в Кудиново не возвращался, кроме Николая, который в 1883 году приезжал сюда, чтобы сдать проданное имение и забрать личные вещи.

Да, в 1882 году Леонтьев продал свое «убежище» и своего «целителя» (так он называл родовое гнездо) богатому крестьянину Ивану Климову. Сразу же (3–8 февраля 1882 г.) погашен заем, полученный в Малютинском банке города Калуги в сумме 4856 рублей. Содержание имения даже в качестве летней дачи требовало немалых средств: «Я изнемог в борьбе с векселями и т. п. – и Кудиново продал богатому мужику, который уже многое там испортил», – жалуется он Губастову. Даже продав его, Леонтьев переживает, что в имении много испорчено. Значит, душа и мысли нет-нет и возвращаются в родные места, на родное «пепелище». Такие мысли уж точно нелегки, хотя, может быть, светлы как любое воспоминание о счастливом детстве.

И сам факт продажи, один из многих тысяч ему подобных в то время, симптоматичен. Буржуазная реформа 1861 года вытесняла дворянство с экономической и политической сцены на задники, а потом и на задворки капиталистического рая. Наступало время разночинцев, так называемого в ту пору «третьего элемента» – интеллигенции. Земская деятельность расширялась и усложнялась, и как следствие появлялись в большом количестве врачи, учители, инженеры, агрономы, техники, статистики. Богатели купцы. Дворяне, не привыкшие к упорному труду, разорялись. Синусоида культурного развития, а именно в таком виде Леонтьев представлял модель исторического движения не только России, а всей мировой истории, уверенно поползла вниз. Никакой спирали прогресса в достижениях науки и техники, бодро вкручивающейся вверх, Леонтьев для блага культуры не усматривал.

И как следствие этого спада, подмеченного Леонтьевым: «Надо правду сказать, в многолюдном и так и сяк образованном среднем классе нашего русского общества жизнь стала очень теперь тяжела. Физические силы вообще слабы, вещественные условия часто жестоки, потребности велики, убеждения шатки, правила неясны.

Отчаяние, тоска или озлобление овладевают молодыми людьми при первой же встрече с жизнью, при первых препятствиях и неудачах».

Неужели в России было всегда так?

Пока же Леонтьев едет в Москву к новому месту службы. В последний раз он окидывает кудиновские поля и перелески тоскующим взором: возвратной дороги не будет, как и второй жизни.

2

Приезжает один, потому как для домочадцев пока нет места: не жить же всем в гостинице. Самому бы найти денег для оплаты своих расходов. Для начала Леонтьеву устанавливают жалованье в размере 2500 рублей серебром в год, потом к 1883 году поднимут до 3000 руб-

лей. Эти реальные и стабильные деньги, которых он не видел почти 10 лет, поправляют ему настроение и придают уверенности.

Хорошее настроение чувствуется в письме Губастову от 20 декабря 1880 года. Приподнятость его объясняется еще и приглашением редактора газеты «Петербургских новостей» Комарова, бывшего в Сербии генералом, приехать в Петербург для «пользы консервативной партии и т. п.». Однако теперь материальный достаток ему дороже литературно-публицистических подвигов. Он убежден, что «гражданские взгляды могут только повредить мне в глазах либерального начальства, а мне теперь кусок хлеба важнее всего».

Стал ли Леонтьев осторожнее и трусливее? Образумил ли его царь-голод? Думается, что нет. Это просто передышка на трудном пути консервативного просвещения России. Хотя он божится, что «равнодушие мое к литературе и т. п. – полное и все растет и растет… я не знаю, как избавиться даже от повестей для Каткова (которого деньги мне нужны), и хотя время найдется, когда я больше привыкну к тонкостям новой службы…».

Умному и легко обучаемому Леонтьеву не составило большого труда овладеть мнимыми премудростями оценки литературных трудов на предмет политической лояльности царю-батюшке и государству Российскому. Ему приходилось «цензировать» различные издания и книги: от журнала «Русская мысль», основателем которого был «любвеобильный и лично-почтенный разрушитель» С. А. Юрьев до «народных» книг и календарей на медицинские темы. Впоследствии он отзывался о своей службе следующим образом: «Про службу что сказать? Это стирка и ассенизация чужого, большей частью грязного белья, с одной стороны, так презренна, а с другой стороны, так легка, особенно теперь, при министре строгом…»

Речь идет о Иване Делянове, новом министре народного просвещения, настойчиво проводившем при Александре III контрреформы гимназического и высшего образования. Ведь уже прозвучал 1 марта 1881 года

взрыв, унесший жизнь императора-освободителя и «садовника» либерального древа России.

О легкости, можно даже сказать о некой презрительности к службе в комитете по делам печати говорят несколько анекдотичных случаев, оставшихся в анналах русской литературы. Вот один из них. В одной из повестей некого либерального беллетриста, отданной на рассмотрение Леонтьева, прозвучала в диалоге героев такая фраза: «И генералы берут взятки». Она не понравилась Леонтьеву, и вместо того, чтобы запретить рукопись по инструкции, он заменил собственноручно слово «генералы» на «либералы». Раздосадованный автор прибежал к цензору Леонтьеву и доказывает, что ничего крамольного в этой фразе нет, так как есть факты взяток со стороны генералов. Леонтьев возражает, что факты взяток со стороны либералов тоже есть. Автор говорит, что в повести и речи нет ни о каких либералах, а фраза в такой форме делает содержание бессмысленным. Леонтьев, видимо, в состоянии веселого озорства стоит на своем. Сошлись, в конце концов, на том, что злополучную фразу выкинули из текста.

Существовал в то время такой литературный жанр, как «книги для народа» – душеспасительные невинные повести из жизни крестьян и мещан. Мягко говоря, Леонтьеву жаль времени на прочтение этих повестей. И тогда он придумал следующий оригинальный выход. Он давал их почитать своему лакею Федору будто бы для развлечения, не объясняя, разумеется, истинных причин. Когда Федор возвращал книгу, Леонтьев устраивал тому своеобразный допрос, спрашивая: понравилась ли ему книга, нет ли в ней чего-то такого против Бога и царя, или не говорится ли в ней о революции или еще о чем-то крамольном. Получив ответ, что ничего подобного в ней нет, Леонтьев ничтоже сумняшеся подписывал «Печать разрешается».

Секрет такого рационализаторского приема неожиданно раскрылся при задержке в рассмотрении очередной подобной книги, когда Федька заленился и не прочитал ее вовремя. Припертый к стене Леонтьев

простодушно сознался перед очередным автором о причинах задержки. Разразился скандал. Находчивый Леонтьев так объяснил тактику своего неоднозначного служебного «рвения» на заседании комитета. Авторы-де либеральничают и пытаются протащить даже в таких книгах антиправительственную тенденцию и делают это так хитро и осторожно, что эти увертки будут заметны только ему, а не человеку из народа. Тогда он принужден будет запретить эту книгу, что приведет к финансовым потерям как со стороны авторов, так и издательств. Но если Федька как представитель народа ничего не заметит, то значит и другой крестьянин или рабочий тоже останутся в неведении о либеральных хитросплетениях повести. Члены комитета посмеялись над объяснением Леонтьева, тем дело и кончилось.

История сохранила и такой случай из его цензорской практики. Как-то раз к нему явился купец с жалобой на непорядочного автора романа, в котором тот описывал «любовную ошибку его дочери». Купец попросил автора прекратить эту публикацию, чтобы оградить имя дочери от сплетен. Однако автор стал шантажировать купца, требуя откупных в сумме 2000 рублей. Известно, насколько щепетилен Леонтьев в этих вопросах еще со времен Крымской войны, потому он твердо обещал прекратить публикацию. Купец от радости захотел «отблагодарить» Леонтьева, предложив ему 300 рублей. Леонтьев разгневан: «Если ты еще раз осмелишься сказать мне это, я вышвырну тебя вон… Иди… Все будет сделано», – крикнул он купцу вослед. Буквально через день грязная публикация прекратилась.

Можно утверждать, что за свою семилетнюю цензорскую деятельность Леонтьев «зарубил» не один десяток авторов либерального толка. К врагам российской государственности и сторонникам европейских заимствований он непримирим. «Вот если бы я имел столько власти, сколько имеет министр, так я бы показал себя, – писал он Губастову 1 января 1883 года. – Это будет не пустая фраза, если я Вам скажу, что у меня все эти Стасюлевичи, Спасовичи и Бильбасовы

даже бы не доехали до Камчатки; верьте, что не нахожу в себе струны, которая заставила бы меня хоть на минутку усомниться, что я прав, поступая так для спасения отчизны и ad majorem Dei gloriam![*]»

И совсем неудивительно, что ему, легко находившему между строчек скрытую проповедь космополитизма, пропаганду либеральных прав человека и общечеловеческих ценностей и «рубившему» их, приходили анонимные письма. Одно из них состояло из двух слов: «Гов… брат». Леонтьев как всегда поступил оригинально и с юмором. Он положил письмо в конверт и долго хранил в ящике письменного стола, говоря, что оно – предупреждение от зазнайства.

Леонтьев службой своей отнюдь не манкировал (было в то время такое словечко), ибо считал ее полезной в целях охранения российской государственности. К тому же она приносила постоянный доход, очень нужный для погашения всех долгов, накопившихся еще с консульских времен. Он поставил перед собой цель как христианин и как обязательный человек облегчить душу их возвратом. Его часто терзала мысль, что вот сейчас кому-то из его заимодавцев, уже постаревшему, очень не хватает тех нескольких рублей, что тот некогда дал ему, Леонтьеву.

Его характер счастливо наделен той широтой, что будь он богат, то как купец-старообрядец жертвовал бы миллионы на постройку храмов и монастырей или богаделен, но он всю жизнь был беден. Однако широта натуры даже в этом случае проявлялась и довольно ярко. Леонтьев разменивал серебряный рубль на гривенники, копейки, двугривенные и регулярно обходил нищих, в избытке толпящихся возле храмов, и подавал им милостыню. И при этом обучал их приемам, которые способствовали бы большей «производительности» труда. «Не нужно так низко кланяться, сгибать спину, кланяйся легче, изящнее, голову наклоняя чуть-чуть», – так наставлял он одну из нищенок. «Старайтесь сохранять и в самой бедности сознание человеческого достоинства, – говорил он другой, добавляя, – не нойте, не протягивайте певуче своих просительных слов».

* К вящей славе Божьей (*лат.*).

Евгений Поселянин вспоминал: «Леонтьев всегда о ком-нибудь хлопотал. В последние месяцы своей жизни в Оптиной он заботился об одном уряднике, отставленном от места за пьянство. Он, кажется, целый год содержал его семью на свой счет, стараясь приучать его к трезвости и устроить его опять на место». Василий Розанов сказал прямее и короче: «В личной биографии Леонтьев был поразительный альтруист».

Ивану Аксакову принадлежат хорошие слова: «Умирать (на поле брани) мы умеем как русские; но мы не умеем жить как русские». Леонтьеву не надо уметь и учиться, чтобы «жить как русские». Он оставался русским по своему душевному настрою всегда. Настрой этот проявлялся в нем в поступках и делах, в его патриотизме, в его смелых мыслях и выводах, в его эстетическом вкусе, в культуре поведения, в его добром отношении к людям и в умении подавать милостыню. Да, и в этом, потому что как одну из черт духовного совершенства это умение отметил позже советский поэт Николай Тихонов, сказав с осуждением о своем поколении: «Мы разучились нищим подавать».

Леонтьев – образец русского человека, любящего не спеша мыслить, лениться, не всегда верного узам брака, непрактичного, но с широкой душой, готового придти на помощь малознакомому человеку.

3

В Москве Леонтьев поначалу снял квартиру в районе Новинского бульвара, в которой, как он отмечал в письмах, «ободранные потолки». Потом переселился в Малый Песковский переулок, что на Арбате, в дом баронессы Боде, где обои висели уже в углах. Он по этому поводу язвительно замечал: «Но добрые люди, например Ф. Н. Берг, ее (квартиру. – *М. Ч.*) хвалят, говорят, что на губернский город похоже: что-то душевное». И конечно, эстету и любителю чистоты и порядка Леонтьеву эти квартиры очень не нравились, и он искал более подходящее по своим вкусам жилье.

Пусть медленно, но влияние Леонтьева в литературном и политическом мире России возрастало. «Я в первый раз стал видеть, что я в Москве и Петербурге не *некто,* как писал сукин сын Суворин, а *нечто*... Подкралось как-то это незаметно, но в моей плохой квартирке с ободранными обоями перебывало много с тех пор хорошего народа».

Были в этой ободранной квартирке московские студенты, учащиеся из лицея Цесаревича Николая Александровича, основателем и директором которого был Михаил Никифорович Катков, и потому лицей назывался запросто Катковским по имени его создателя. С лицеистами Леонтьев познакомился через своего нового друга, профессора П. Е. Астафьева.

Астафьев заведовал университетским отделением лицея и читал в нем лекции по философии права, психологии, этике и логике. На его книгу «Психический мир женщины» Леонтьев в 1883 году написал положительный отзыв. В свою очередь Астафьев прочитал две публичные лекции в феврале и марте 1885 года с разъяснением леонтьевской философии истории, а потом издал брошюры: «Симптомы и причины современного настроения (наше техническое богатство и наша духовная нищета)» и «Смысл истории и идеалы прогресса».

Выводы Астафьева в этих лекциях стали для Леонтьева доказательством того, что Астафьев – один из немногих, чуть ли не единственный, уловил и понял суть главной его мысли, что прогресс в истории ведет к «упростительному смешению», а затем к разложению и смерти. Астафьев писал: «Автор (Леонтьев. – *М. Ч.*) становится совершенно оригинальным, показывая *противоположность* развитию прогресса (эгалитарно-либерального, утилитарного, космополитического etc.), который, однако, *самим же* процессом развития в известный момент человеческой жизни вызывается, полагая *конец* дальнейшему развитию и – начало *разложению*, общественной и культурной смерти. Каковы бы ни были недостатки в выражении и развитии этой мысли в книге «Византизм и славянство» – сама мысль настолько оригинальна и глубока, что нельзя не пожалеть о том, что эта замечательная книга у нас так мало известна».

И, конечно, такие рассуждения Астафьева дали повод Леонтьеву считать его не только сторонником, но коллегой и собратом по будущему антилиберальному просвещению России. Он надеялся, что Астафьев будет всемерно содействовать распространению его идей в лицее или среди своих знакомых, а в дальнейшем станет продолжателем его дела, ведь Астафьев моложе Леонтьева на 15 лет. Они сближаются, взаимно довольные единством взглядов на исторический процесс.

Ко всему прочему Леонтьеву по нраву оригинальный характер Астафьева, некоего рубахи-парня. Леонтьеву нравилось в нем «сочетание метафизика с гусаром». Он описывает Губастову Астафьева как «очень страстного», хотя «ужасно занятого собственными идеями, психологическими, метафизическими и т. д., вечно нуждается в деньгах, гораздо более моего, несравненно более моего должает, бесится, восхищается, превозносится, падает опять…». Вообще-то Леонтьевым нарисован портрет неуравновешенного человека, но он как-то не задумался об этом, в чем ему вскоре пришлось горько раскаяться.

Импонировала Леонтьеву и астафьевская бессребреническая отвага, с которой он регулярно проводил у себя дома для лицеистов университетского отделения «пятницы», на которых, несмотря на безденежье, хорошо угощал и студентов и других посетителей.

Частым гостем на этих пятничных встречах бывал и Леонтьев, где и познакомился со многими лицеистами, ставшими впоследствии его почитателями и учениками. Среди них Иван Кристи, небедный отец которого как-то подарил Леонтьеву 100 рублей и издал за свой счет леонтьевскую брошюру «Национальная политика как орудие всемирной революции». Сам же Ваничка писал в «Гражданине» под псевдонимом П. Сергиевский; интересна его рецензия «Что посеешь, то и пожнешь» на сборник Леонтьева «Восток, Россия и славянство». Бывал у Астафьева и Григорий Замараев, что оставил подробные воспоминания о Леонтьеве «Памяти К. Н. Леонтьева». Рядом с ними Николай Уманов и Яков Денисов («хитрый Дениска»), совместно сочинившие благожелательный очерк о Леонтьеве в «Русском деле» (1887) под общим псевдонимом

«П. Волженский». Анатолий Александров посвящал Леонтьеву стихи и очерки и остался самым последовательным его сторонником.

Все они, кроме «пятниц» у Астафьева, стали посещать и квартиру Леонтьева в Денежном переулке, которую он нашел в конце октября 1883 года. Леонтьев поселяется в частном двухэтажном деревянном, темно-коричневого цвета доме в Денежном переулке, что на Пречистенке. Здесь ему хорошо. Здесь у него порядок, о котором Григорий Замараев напишет так: «Вообще квартира его отличалась характером строгой устойчивости, доходящей до той своеобразной опрятной чистоты, какую можно встретить иногда в келье хорошего настоятеля богатого монастыря».

С ним живут как родные домочадцы Варя с мужем своим Александром Прониным, кухарка Таиса Семеновна и блаженная жена Лизавета Павловна. Варя и Александр после свадьбы не покинули Леонтьева, чего он очень боялся. Они, хотя и выполняли обязанности слуг, но для Леонтьева были «детьми души», которых он баловал и любовался ими. Читал им произведения русских писателей, обучал хорошим манерам. Они платили своей искренней привязанностью к Леонтьеву, умело и нежно за ним ухаживали.

Вот они-то: лицеисты, домочадцы, короче – молодые люди принесут на старости лет успокоение и утешение его исстрадавшейся душе. Они найдут в нем мудрого учителя, а он благодарных учеников. И что еще нужно, чтобы встретить старость? Пожалуй, большего счастья не может быть.

4

«Точкой насыщения» объяснял Леонтьев каждый поворотный пункт истории ли, судьбы, да и всех прочих процессов, длительных во времени. Серый, неприглядный на вид концентрированный раствор некоего вещества. В него продолжают подсыпать сухой порошок, концентрация повышается и повышается, но пока изменений не происходит. Случайно

вместе с порошком в раствор попадает некий камешек, и вдруг вокруг него начинает расти прекрасный кристалл. Грани равны и симметричны, они блестят, они прозрачны и чисты. Однако не всегда кристалл получается таким, что нужен.

«Солнце высоко, вода далеко, жажда донимает», – так присказкой из русской народной сказки о сестрице Аленушке и братце Иванушке можно охарактеризовать физическое и моральное состояние цензора Московского комитета Леонтьева в 1886 году. Долгов еще много, пенсия мала, но здоровья, чтобы выработать достойный ее уровень, уже нет.

В марте 1882 года перед возможной операцией на почках, уже написано завещание «Где разыскать мои сочинения после моей смерти». Операции удалось избежать, но к 1884 году количество заболеваний увеличивается. В феврале этого года Леонтьев сообщает племяннику Владимиру Владимировичу грустные новости: «Я уже 4-ю неделю не выезжаю, не одеваюсь и едва хожу. У меня хроническое воспаление толстых кишок. Лечат, но я плохо верю в выздоровление и понемногу приготовляюсь в “дальний путь”. Настроение духа, слава Богу, хорошее и самое подходящее к обстоятельству».

Учитывая свое неважное физическое состояние, Леонтьев делает новую попытку пострига в монахи и едет в Сергиев Посад, где проводит целое лето 1884 года. Но старый знакомый отец Леонид (Кавелин), тот, у которого Леонтьев в далеком 1873 году не очень уважительно просил место послушника в Ново-Иерусалимском монастыре, отказывает ему. Губастов, характеризуя о. Леонида, отмечал в своих воспоминаниях: «Он не особенно благоволил к моему другу. Леонид был человек властный, мелочный и обидчивый». Тогда-то Леонтьев знакомится с иеромонахом Варнавой (впоследствии святой Варнава Гефсиманский). Пути всех троих: и Кавелина, и Варнавы, и Леонтьева пересекутся здесь, в Сергиевом Посаде, в 1891 году.

Болячки между тем продолжали множиться. В 1886 году наступила очередная «точка насыщения», некий кризис, видимо, знаменовавший переход от одного уровня здоровья к другому, более низкому. При нем,

как говорят в народе, остается только «скрипеть». По признанию Леонтьева, «все со мной прощались, причащался, соборовался…».

В одном из писем Губастову Леонтьев перечисляет все, от чего страдал и был на краю гибели: гнилостное заражение крови, воспаление лимфатических сосудов в правой руке, жестокий и опасный бронхит с припадками удушья, язвы на ладонях и ступнях ног в течение трех месяцев. Все это как бы скопилось, назрело и разом обрушилось на несчастного Леонтьева. Было от чего загрустить и впасть в отчаяние. Спас его самый верный друг – Филиппов, заказавший специальный вагон, в котором лежащего Леонтьева довезли до Калуги, а потом в карете до Оптиной Пустыни. И, странное дело, здесь ему стало лучше. Бог в очередной раз, видимо, намекнул Леонтьеву, что тот еще не закончил все литературно-публицистические дела на грешной земле. Этот намек Леонтьев понял и заторопился на пенсию: работа хотя и была необременительной, но отнимала время, прежде всего, душевный настрой. Об этих тихих, ровных, скромных и правильных годах службы в Москве Леонтьев говорил так: «Вот где был “скит”! Вот где произошло “внутреннее пострижение” души в незримое монашество».

Потому-то и создано в литературно-публицистическом плане за эти полные шесть лет (1881–1886) не очень много. Все больше воспоминания типа «Рассказ смоленского дьякона о нашествии 1812», «Мой приезд в Тульчу», «Польская эмиграция на Нижнем Дунае», «Разбойник Сотири», «Консульские рассказы» и другие вещи для дополнительного заработка.

Часть VII
УТЕШЕНИЕ

Когда здоров – хожу аккуратно в церковь по праздникам… мечтаю только о России, о Царьграде и о Восточном союзе.

К. Н. Леонтьев – К. А. Губастову, 1 января 1883 г.

Глава 1
Домочадцы

…Все эти дела с Николаями, Варями, Фенями гораздо труднее, да и занимательнее.

К. Н. Леонтьев – К. А. Губастову, январь 1883 г.

1

Еще в августе 1877 года после некоторого охлаждения отношений с Людмилой Раевской, которая до этого года добровольно прислуживала Леонтьеву, ему в горничные определяют 10-летнюю девочку Варьку, дочь скотницы Агафьи. К этой девочке Леонтьев сильно привязывается: «…а Варька – вот где искушение. Искушение в том смысле, что я боюсь слишком уж отечески и серьезно привязаться к ней. Она так мило, честно и хотя и почтительно, но почти что заигрывает со мной, так умна, добра и честна, что просто беда. Слава Богу, я каждый день помню о непрочности всего земного и молю Бога, чтобы из этого не вышло новой тягости и боли», – пишет он племяннице Маше после примирения.

Девчонки такого возраста, как обезьянки, насмотревшись на поведение взрослых дам (Людмила Раевская, ее сестры и Маша), копируют их действия, не задумываясь. Во все времена у 10–12-летней девчонки на уме совсем не то, что, например, у ровесника другого пола. С этим не согласится разве что совсем близорукий человек. Начальное движение матримониальных чувств девочки-подростка взрослому мужчине сразу же заметно, тем более, такому знатоку женских сердец, как Леонтьев, и оно вызывает смешанную с тихой радостью отеческую усмешку, а отчасти и опасение.

Константину Губастову Леонтьев представляет Варьку так: «Это очень милая крестьянская девочка 12 лет, в сарафане, которая помогает Агафье, матери своей, idem в уходе за мной; мать делает дела элементарные (коров моих доит, дрова носит, грибы солит, полы моет, белье и т. п.), а дочь дела тонкие (кофе с детской почтительною улыбкою мне подает, чай разливает, комнату убирает, за грибами со мной ходит, песни поет и т. п.)».

Через три года повзрослевшая воспитанница Варя под влиянием Леонтьева еще более развилась и похорошела. Вот ее характеристика в письме Губастову от 3 сентября 1880 года: «Спрашиваете про Варю и Николая. Извольте. Многое переменилось с весны и зимы. Переменились и они. Варя переменилась, впрочем, несравненно больше, чем Николай. Вдруг развилась умом; ужасно поумнела, стала даже слишком много понимать; со мной держит себя прекрасно, совершенно как добрая и откровенная дочь. Учится шить, читать, писать, усердно молится и превосходно с чувством пляшет. Но упряма и горда по-прежнему». К концу этого года успехи Варьки еще более радуют воспитателя: «Варя становится такая прекрасная, верная, серьезная *дочь,* что поискать таких! Оптинские старцы *ее уважают*».

И эта тяга к юному, формирующемуся на глазах и под его влиянием существу так естественна и объяснима для каждого доброго человека, тем более, Леонтьева. Наверно, можно сказать более жестко: Леонтьеву, не сумевшему стать «praeceptor Russiae» (наставником России), все же хотелось влиять в личном окружении, кому-то передать свой образ и ход

мыслей, чтобы он не прерывался с годами. Объектом его влияния стала Варя, по сути, приемная дочь при живых родителях.

Любимую Варю Леонтьев планирует выдать замуж за Николая, которого он тоже любит и который «годится в герои романа», что по леонтьевским меркам похвала высшей пробы. И действительно между Варей и Николаем намечается и крепнет взаимная приязнь, но разом вспыхнувшая ссора в Москве разрушает мечту Леонтьева их поженить. Он отправляет Варю в Орловский монастырь, где племянница Маша учит мирских детей в монастырской школе, а Николая за «шалости» весной 1881 года от себя удаляет.

В зиму и весну 1882 года (в это время у него гостит Людмила Раевская) Леонтьев сильно и долго болеет: у него камни в почках, и доктора советуют ему сделать операцию по их удалению. В конце года новое обострение, и к нему возвращается из Орла племянница Маша, которая ухаживает за ним с особой теплотой. Леонтьев так плох, что 1 января 1883 года не может держать ручку, новогоднее письмо Губастову за него пишет Маша. Есть в письме и строки о ней: «…она очень благородная и надежная девушка, умна и добра, но очень горда и непрактична, особенно для самой себя. После этого года монастырской жизни она стала серьезнее смотреть на свои ко мне отношения и теперь действительно очень полезна». Забегая вперед, скажем, что примирение непродолжительно, за ним вновь последует отчуждение, измеряемое годами, даже переписка прервется.

Леонтьев причащается, и на исповеди священник рекомендует ему взять Николая, след которого нашелся благодаря драматургу Николаю Яковлевичу Соловьеву, приятелю Леонтьева. Константин Николаевич выполняет совет священника и возвращает Николая к себе.

В это время у Леонтьева в Москве служит Феня, дочь бывшего кудиновского повара. И так случилось, что Николай влюбляется в Феню, в «холодную и лукавую кокетку», по словам Леонтьева. Николай, встретив в первый раз препятствие и холодность, добивается от Фени «всего», и она беременеет.

«Крепостник» Леонтьев возится с нагрешившими слугами, как с собственными детьми. «Что же мне оставалось делать как христианину и честному человеку, как не помочь им обвенчаться?» – спрашивает он себя в письме Губастову. И хотя денег для приданого у него не было, Леонтьев, по совету Никодима, архиепископа Фаворского на Иерусалимском подворье в Москве, с которым дружил, организует сбор денег. Два архиерея, графиня Анна Толстая (в доме ее жил и умер Гоголь), дипломат Ионин и еще кто-то пожертвовали 225 рублей на одеяния молодых и другие расходы. Свадебный стол устроил за свой счет сам Леонтьев. Свадьба, по словам Леонтьева, вышла очень веселая: «были и у них гости, были и у меня». Даже дипломат Михаил Хитрово, будучи проездом в Москве (октябрь1882 г.), явился на свадьбу сюрпризом, пил за здоровье молодых и упрекал Леонтьева: «Что ты, бгат, венчаешь своих любимцев и не зовешь стагых друзей». Так Леонтьев воспроизводит речь Хитрово в письме Губастову от 1 января 1883 года. Был на свадьбе новый друг Леонтьева и «очень способный человек» – профессор Петр Евгеньевич Астафьев. Вернувшаяся из Орла Варя помогала Леонтьеву в сервировке стола, «чтобы все вовремя, красиво и вкусно подано, – и, кажется, гости были довольны».

Однако жизнь молодых не заладилась с самого начала, и тому были веские причины. Феня не любила Николая и уступила ему в минуту слабости, она тяготилась его ласками, и это приводило Николая в бешенство. Он неистово ревновал ее, не верил ей, и, видимо, на нервной почве у него «стали делаться какие-то обмороки и припадки… вперемежку с бешенством гнева, и он стал опасен – стал браться за ножи…».

Не совсем физически здоровому Леонтьеву эта нравственная ноша, когда Николай, не различая, кто перед ним, берется за нож, стала невыносима, и он по совету докторов хотел отдать его в больницу. Но в то время по московским больницам «ходил» тиф, и Леонтьев отправляет Николая в оптинскую больницу, а Феню в Козельск, к матери, снабжая их деньгами и обещая делать это и впредь. Слово свое Леонтьев держал до собственной кончины.

Теперь в его распоряжении осталась Варя и кухарка Таиса Семеновна, с которой Леонтьев исподволь «боролся» за преимущественное влияние на Варю. «Я наконец чувствую, что возобладал», – так пишет он Губастову об итогах этой подковерной войны за Варю.

Вот так суровый государственник и сторонник сословного неравенства Леонтьев, у которого, будь он министром, либералы до Камчатки не добрались бы, в быту не делал никаких социальных различий между собой и слугами. Здесь он не проповедовал, как либералы, равенства, а осуществлял его на деле, воочию и фактически, а не словесно. Кто-то из критиков причислял Леонтьева к беспочвенной интеллигенции на том основании, что жил он идеями, а почву под собой не сохранил из-за бесхозяйственного отношения к поместью. Но часто ли кто из интеллигенции живет идеями и не «шутит ими», как не шутил Леонтьев? Да и идея-то у интеллигенции всего лишь одна – противодействие государству, а уж в этом Леонтьев ну никак не грешен. Что же касается почвы, то вовсе не обязательно быть эффективным латифундистом. «Почва» – это несколько иное, и заключается она в знании народных нужд и государственного механизма их удовлетворения. В том числе личного устройства жизни своих домочадцев, например, из простого народа. Для Леонтьева всегда характерна наполненная содержанием жизненная конкретика, а не пустая абстракция.

Да, теперь осталась Варя, и о ней тоже надо было заботиться. Ее жизнь тоже надо устраивать.

Летом в течение трех лет Леонтьев выезжал со своими домочадцами из Москвы на дачу в деревню Мазилово. Именно там он находит Варе жениха. В письме молодому своему ученику Анатолию Александрову он так описывает эту историю: «Вы знаете, как я любил Варю и как я бился прежде с ее тяжелым, сложным характером. Разборчива, упряма, горда, влюбчива, нежна, груба, умна, бестолкова, добра, сердита, злопамятна, религиозна, своевольна и т. д. Беда! Но я молился. И вот, когда насчет женихов стало мне очень трудно, я пошел к Иверской (накануне Троицына дня 1883 г.) и помолился… И на другой же день

на паперти кунцевской церкви мы увидали Александра, и его красота поразила нас. И все состоялось, вопреки 100 препятствиям, и поэзия была, и старость моя ими успокоена…».

Григорий Иванович Замараев, один из участников юношеского кружка из студентов катковского Московского лицея, образовавшегося при Леонтьеве в середине 80-х годов, вспоминает о своем учителе и его окружении так: «Семейное его одиночество восполнялось отчасти "детьми души". Это были крестьянская девушка из бывшего калужского имения Константина Николаевича Варя и молодой парень Александр из подмосковной деревни Мазилово. Они следили за хозяйством, ухаживали за Константином Николаевичем как за своим отцом, когда он бывал болен, что случалось нередко. Он одевал их чисто по-русски, учил, читал им лучших классических писателей и любил их как родных детей. Потом эти дети души поженились. Я был шафером у Вари, и наш тесный кружок пировал на свадьбе в Мазилове, где жил старик-отец Александра. Наш свадебный "кортеж" и пир произвели большую "сенсацию" в среде мазиловских мужиков и баб».

Леонтьев устраивает первого июня 1884 года свадьбу на свои деньги (700 руб.), несмотря на опасения, что молодая пара съедет от него, а он останется один со своими болячками, потому что с племянницей Машей у него с зимы этого года опять «окончательный разрыв». Осенью Варя с Александром возвращаются к нему, а в начале 1885 года у Вари родится первый ребенок, но живет он недолго и в младенчестве умирает. Потом вскоре Варя рожает второго, затем третьего и, хотя Леонтьев не жалует малых детей, он их терпит, а им хорошо живется в леонтьевской семье. С Вариными детьми любила заниматься его блаженненькая жена Лизавета Павловна

Именно Варя, к 1891 году замужняя женщина, мать пятерых детей, неотлучно сидит у постели умирающего Леонтьева, своего благодетеля, именно она слышала все те вещие и последние слова, что срывались с уст завершающего свой земной путь писателя, политика и доброго человека. Так случается в жизни, когда, кажется, непонятно, для чего ты при-

ближаешь к себе того или иного человека. Но жизнь все ставит на свои места, и роль этого человека определяется вполне ясно. Повзрослевшей девочке Варе пришлось принять его смерть.

2

Консерватор, реакционер, «любитель палки» Константин Николаевич Леонтьев относился к простонародью более справедливо и просто, а порой задушевно, чем многие и многие записные демократы. Он с любовью воплощал на практике свои глубоко прочувственные взгляды: «законы, принципы власти должны быть строже, люди должны стараться быть лично добрее…». По воспоминаниям Анатолия Александрова, служившего по протекции Леонтьева у графа Льва Толстого (готовил к экзаменам его сына Андрея), отношения «убежденного демократа гр. Л. Н. Толстого» к слугам «отзывались какой-то искусственностью, деланностью». Строгие же замечания Леонтьева были «отечески добродушны и так остроумны, что положительно занимали их, оживляли, подбодряли, к тому же он с такой сердечностью и добротой входил во все нужды их собственной жизни, материальной и духовной, что окончательно пленял и покорял их: они очень любили его, любовались им, гордились и были ему искренне преданны».

Прав и Стефан Цвейг, анализирующий в биографическом очерке о Льве Толстом причины неудачи толстовского братания с народом: «Необходимо *быть* и *стать* тем, что исповедуешь: ни сближение с народом мистерией сострадания, ни успокоение совести слепо верующей религиозностью нельзя с легкостью, как электрический ток, включить в душу». «Мистерия сострадания» Леонтьеву всегда претила, он был против показушных заигрываний с народом (организовать свадьбу, приютить кого-то, помочь материально – это да, это реальная помощь), но вот вторую часть дилеммы Цвейга о *«быть и стать»* можно отнести и к нему: **стать** монахом, например, ему было весьма нелегко.

Леонтьевская этика, подчиненная христианскому чувству, хотя он и ставил ее ниже эстетики, требовала одного – «если нужно и можно вещественной помощи, вообще какого-нибудь чисто практического добра, без разговоров и свиданий». И, наверное, потому еще он так не любит либералов, что они много и бесплодно говорят, но мало делают практических добрых дел для своего народа.

«В личной биографии Леонтьев был поразительный альтруист; и это все поправляет в нем, преображает сумрачные идеи его в fata-morgan'у», – отмечает в комментариях к письмам Леонтьева Розанов и, продолжая, как бы спрашивает: «Авель, для чего ты надеваешь на себя шкуру Каина?.. – И жмешь руку брата, выкидываешь за борт его "каинство" (=ницшеанство)…».

Публицистическая суровость Леонтьева порой действительно кажется излишней, напускной. Это и поддержка высказываний митрополита Филарета с его советами не забывать о палке в качестве воспитания, и желание выселить либеральных журналистов, разрушающих российскую государственность, куда подальше на Колыму. Отчасти в этом видна напускная строгость. Леонтьев любит шокировать и пугать либеральную общественность. Одно обстоятельство он не учитывал, что **либералы огромную плату дерут за каждый свой испуг** (выделено мной. – *М. Ч.*). Эта мзда особенная: «заговор молчания» по большей части, или бранные ярлыки, когда уж очень задело.

Своей жизнью, своим примером взаимодействия с простым народом, которому он помогал в силу своих возможностей действием, «практическим добром», Леонтьев как бы заочно опровергал все будущие наветы позднейших исследователей его творчества в «предательстве человека» и аморализме. Ведь именно к такому разряду людей относил Леонтьева Ф. Ф. Куклярский, утверждающий одним лишь названием своей статьи «К. Леонтьев и Фр. Ницше как предатели человека». Спросил бы самого себя Куклярский, скольким малознакомым людям он помог материально и морально, прежде чем утверждать о предательстве другого человека. Смог ли он, как Леонтьев, содержать

семью безработного урядника, подверженного запоям? Нет, не таковы либералы, чтобы замечать в своем глазу бревно, им легче обсудить и осудить соринку в чужом глазу. Так легче. Да и как простить Леонтьеву бичующую их характеристику: «*либерализм везде одинаково враждебен тем историческим началам, в дисциплине которых вырос тот или другой народ. Либерализм есть отрицание всякой крайности, даже и самой высокой, всякого стеснения, всякого стиля*. Он везде *один,* везде одинаково отрицателен; везде одинаково *разлагает* нацию *медленно и легально, но верно*… И чем честнее либерализм, чем он искреннее, чем неподкупнее, – тем вреднее».

Да, Леонтьев в сердцах восклицал и, возможно, не раз следующее: «Нет, *не мораль* призвание русских! Какая может быть мораль у беспутного, бесхарактерного, неаккуратного, ленивого и легкомысленного племени!? А государственность – да, ибо тут действуют палка, Сибирь, виселица, тюрьма, штрафы и т. д.…». Конечно, он, оказывая помощь посторонним ему людям, понимал, что не все таковы, как он. Положа руку на сердце, не признает ли каждый из нас, самостоятельно думающий, что Леонтьев прав? Ведь такие прямые признания не даются легко, особенно ему, патриоту, но они опираются на почву, на которой трудится народ. В признаниях подлинная горечь от собственных прозрений, ложащаяся неподъемной тяжестью на сердце.

Глава 2
«Египетский голубь»

> В то время и я сам стал все лучше и лучше понимать, что воркует, что говорит и пророчит мне мой египетский голубок.
>
> *К. Н. Леонтьев*

Пожалуй, в русской литературе (наверное, и в мировой) нет такого прозаического и одновременно музыкального по стилю произведе-

ния, как роман Константина Леонтьева «Египетский голубь». Вот послушайте чарующий и связный мотив русских слов: «О, дымок, дымок мой! Серый дымок над нагими садами зимы!.. Как ты мил мне, зимний дымок турецкого пестрого города. <…> О, дымок ты мой, милый и серый дымок домашнего труда! О, как кротко и гостеприимно восходишь ты предо мной над черепицами многолюдного тихого города! <…> Вот здесь, <…> на восхитительном изгибе берега на кусте три листочка, три листочка поблекших, все они белые с одной стороны и такие темно-бархатные, такие черные – с другой. И на черном этом бархате я вижу серебряные пятна – звездочки зимней красоты... А заря все краснее и краснее разгорается вдали за городом, и на алом небе этом все нежнее и нежнее мне кажутся тонкие и темные узоры обнаженных и бесчисленных ветвей. Я счастлив… Я страдаю… Я влюблен без ума… влюблен… Но в кого? Я влюблен в здешнюю жизнь».

И невозможно не поверить в эту искрящую искренность Леонтьева, в эту ясность, с которой нарисована картина вечерней зари на берегу реки, и в теплоту, которой наполнены эти строки влюбленного в жизнь романтичного человека. И Леонтьеву абсолютно в данный момент не важно, что он в турецком городе. Музыкальность литературного стиля, освоенного Леонтьевым со времен написания «Подлипок», соединяет эти романы в единое цельное произведение о «жизни сердца». Жизнь этого богатого на любовь, страсти и подвиги сердца интересна, прежде всего, тем, что за ней мы видим незаурядного и мощного духом человека. Через жизнь сердца мы видим и жизнь ума. «Игры разума» не так поэтичны порой, но они виднее незаметных сердечных переживаний. Разум даже в такой поэтической обстановке не забывает о ценностях жизни: «Как я рад, что я русский. Как я рад, что я еще молод! Как я рад, что я живу в Турции!»

Соединяет «Подлипки» и «Египетского голубя» продолжение любви одного и того же героя Ладнева. Какая эта любовь? К кому? К людям, к жизни, ко всему, что окружает его в данную минуту и в другие минуты, часы, годы.

В «Подлипках» читаем: «Главное, надо любить все… Я все страстно люблю… Читать мне предложат – я умру над книгой; охоту обожаю, верховую езду – тоже… Политика, хозяйство… Я все, все люблю!» Так и в «Египетском голубе» Ладнев любит всех встречных на дороге, любит старого болгарина с седыми усами, он также влюблен в сердитого, тонкого и высокого турка, возможно, гонителя болгарина.

«Мне хотелось обоих их обнять; я их люблю одинаково!..» Кто посмел бы из современников Леонтьева так признаться в любви к людям, в данном случае и к славянину, и к турку, извечному врагу славян? Наверное, никто. И за эту любовь он получит прозвище «Сулейман в куколе». Оно подразумевает приверженность его к мусульманскому Востоку и одновременно желание стать православным монахом. Хотя Леонтьеву лучше бы подошло слово «инок», что означает иной, непохожий на других. Он и был иным в той быстрыми темпами либерально изменяющейся России.

В романе (Леонтьев в письмах часто называет его повестью), большая часть которого издана в Катковском «Русском вестнике» в номерах 8, 9, 10 за 1881 год и № 1 за 1882 год, речь не о России, да и политика в нем лишь как фон. Роман этот о любви, и не только чувственной, а прежде всего христианской. Леонтьев показывает, как может любить и любит христианин. Ему претит рыночная любовь общечеловеков, его воротит от нее, и он противопоставляет ей православную любовь. Роман Леонтьева как проповедь любви – это своеобразный ответ Ф. М. Достоевскому с его призывом к «всемирной любви», продекларированным в пушкинской речи (1880). Чуть позже он в письме Николаю Уманову уточнял «…нужно *проповедовать* любовь, ибо ее очень мало; но не надо ее *пророчить*, чтобы без пользы не разочароваться горько». Этим Леонтьев очень самоценен в своей чистой и воистину русской гениальности. И эта столь ощутимая разница между проповедью и пророчеством показывает, что в его творчестве нет и тени какого-либо внешнего влияния.

Конечно, он согласился бы с той насмешкой Достоевского над либеральной общечеловеческой любовью, которую выразил в «Братьях

Карамазовых». Помните? «…Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц».

Проявления конкретной любви можно найти почти во всех поступках Ладнева, героя романа, в его рассуждениях, в его блистательных в своей логичности и доступности монологах. В том числе и попытках разобраться в основах мироздания: «Правда, в Бога я верил пламенно и разумом и сердцем: разумом я верил прежде всего в том смысле, что не мог понять, как бессознательная природа могла бы без полного и высшего сознания сотворить неполное и низшее наше личное сознание? Каким образом слепой творец-природа может быть ниже познающего эту природу человека?»

Последний вопрос-утверждение – явный плод долголетних раздумий самого автора. И он очень заковырист и трудно опровержим для атеистов. В самом деле, как творец может быть ниже разумом своего детища? Конечно, в человеческом обществе часто бывает, что у глуповатых родителей рождаются дети выше их умом. И как так получается, что разумный человек тысячелетиями изучает своего неразумного создателя – природу и никак не может даже приблизиться к некоторым его загадкам. Ладно, природа всеобъемлюща, а гениев чрезвычайно мало, но себя-то самого, любимого, человек не может изучить на все 100%. Распознать своевременно свои болячки, главным образом нравственные, свое поведение в критических ситуациях, предсказать свою смерть он не может, потому что сам есть произведение Творца, до которого ему никогда не допрыгнуть. Гораздо легче перечислить то, чему человек научился за свою тысячелетнюю историю, чем то, что ему не под силу понять.

Леонтьев приходит к выводу, что на любых этапах развития человечества никакое знание без веры небесной не должно ощущаться как знание в конечной инстанции. Всякое знание без Всемирной Личности должно ощущаться как неведение – к таким выводам придет он. В письме Губастову (1890) Леонтьев отметит: «Если Вселенная выросла

сама собой и бессознательно, как дерево, то откуда же на этом дереве явился и созрел такой сознательный плод, как человек? Значит, возможность появления сознания была затаена в вещественной природе, и если она обнаружилась в высшем ее явлении – в человеке, то не естественно ли думать, что человеческое сознание и человеческая личность суть только бесконечные слабые отражения Всемирного Самосознания и Всемирной Личности?»

Отсюда проистекает леонтьевский скепсис относительно достижений человеческого разума и науки, так превозносимых адептами капитализма, с пришествием которого, по их мнению, только тогда и наступает цивилизация, прогресс, благоденствие и счастье. Царство пара, электричества, телефона, а через век мобильного телефона, компьютера, Интернета даст ли оно удовлетворение человеку? И не только скепсис, но и естественные опасения, мало кому заметные: «Как можем мы надеяться на *всеобщую нравственную или практическую правду*, когда сама т*еоретическая истина или разгадка* земной жизни до сих пор скрыта для нас за непроницаемою завесой; когда и великие умы, и целые нации постоянно ошибаются, разочаровываются и идут совсем не к тем целям, которых они искали? Победители впадают почти всегда в те самые ошибки, которые сгубили побежденных ими, и т. д. *Ничего нет верного в реальном мире явлений».*

Верна только сама жизнь и вера в Бога, соединяющая в себе все, что можно соединить, в том числе и любовь и страх Божий, – утверждает Леонтьев.

Леонтьеву в год создания «Египетского голубя» 50. Через 7 лет после издания «Египетского голубя» он напишет капитальный философский труд «Владимир Соловьев против Данилевского», в котором уделит достаточно внимания развитию науки. Он отметит, что «предрассудок в пользу науки в среде так называемой интеллигенции представляется с первого взгляда всемогущим и необоримым. Но не ошибка ли это?» Так спрашивает он себя. И отвечает, что угол падения равен углу отражения, что «крайность одного вызывает крайность противоположного». Защи-

та от воров, отметим мы примером сегодняшнего дня, вызывает более изощренные способы отмычек. Пароли и хитрые коды в компьютерных сетях породили хакеров, способных в качестве диверсии и демонстрации своей гордыни превосходства над изобретателями взломанного кода занести компьютерные вирусы в систему «противника». От сбоя программ, что управляют ядерными ракетами, недалеко и до мировой войны, до «ядерной зимы», до гибели Земли и конца истории.

Возьмем, к примеру, знаменитое www (world wide web), обозначающее в переводе «всемирная паутина». Да, и ее появление также предвидел Леонтьев: «В могильное, глухое безмолвие погружается теперь оголяемая тупой корыстью пустынная русская земля. Эта корысть скоро убьет самый вкус к прелястям природы, как убивает самую красоту природы. Опасно, как бы земля не стала скоро походить на всемирный паутинник, который опутывает весь земной шар, в котором плавает только отощалый всеядный человек, как голодный паук…» («Епископ Никанор о вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни»). «Отощалый» – не от физического недоедания, а от морального. Против такого будущего и восстает Леонтьев своим романом «Египетский голубь», показывая красоту мира, любви и веры.

Величайшая ценность Леонтьева как мыслителя в том, что любовь его к человеку несет в себе свет вечности. Он жалеет неразумное, не умеющее смотреть далеко вперед человечество, предостерегает от пагубы, которая сегодня кажется немыслимым благом и радостью, а завтра послужит причиной одичания, потерей культуры, а затем конца истории и света.

От блестяще показанной любви-жалости к Маше Антониади, которой переполнен Ладнев (читай Леонтьев), герой «Египетского голубя», очень легко сделать шаг к жалости ко многим людям («я смолоду очень любил *жалеть*»). Однако Леонтьев опасается дарить любовь всему человечеству: «*Как мы можем мечтать о благе правнуков, когда мы самое ближайшее к нам поколение – сынов и дочерей – вразумить и успокоить действиями разума не можем?*» Человечество –

это абстракция, говорил Данилевский, и с ним соглашался Леонтьев. Соглашается, кажется, и Достоевский, допуская насмешку над общечеловеческой любовью, но как-то несмело и неуверенно, признавая и такую бесплодную любовь и что с ней можно мириться, лишь понимая разницу между ними. Леонтьев называет общечеловеческую любовь химерой и признаком либерального космополитизма, от которого надо избавляться. Гораздо ценнее и труднее любить близкого тебе человека со всеми его отрицательными качествами, которые ты чувствуешь на себе. Ведь недаром Христос восклицал, что близкие – враги твои. Сделать их не врагами, а друзьями и единомышленниками – вот цель любви, по Леонтьеву. В этом суть мировоззренческого отличия любви Леонтьева от любви Достоевского. Но об этом чуть позже.

Можно грубо сравнить Леонтьева с этим египетским голубем, что страстно ворковал весной на персиковом дереве под окнами его маленькой гостиной в Адрианополе. И при этом отметить мощь природного чувства, умение ждать, возвышая любовную тоску и сумрачную неопределенность, и деликатные, обдуманные действия. И все это суть любви к жизни, к ее проявлениям в прекрасных мелочах, которые надо уметь найти и оценить. Хотя бы так, как услышать и полюбить воркование небольшого голубя, похожего на горлицу.

Леонтьев своим романом утверждает, хотя и не первый раз в мировой литературе, что любовь к Богу, к людям берет свои начала в любви к жизни. Недвусмысленно и прямо он это говорит: «После первых удач, сообразных с моими идеалами, я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями, непримиримыми вовеки, и стал считать почти священнодействием мое страстное участие в этой жизненной драме земного бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным, мистически неразгаданным.

Приучая себя к борьбе, я вместе с тем учился как можно сильнее и сознательнее наслаждаться тем, что посылала мне судьба. Немногие умели так, как я умел восхищаться розами, не забывая ни на миг ту боль, которую причиняли мне тогда даже и самые мелкие шипы!»

Многие, ох как многие люди ищут смысл своей жизни и очень часто не находят. А ведь достаточно понять эти слова Леонтьева, и он откроется. Достаточно ощутить себя участником той «жизненной драмы земного бытия», не проходить мимо зла и несправедливостей, а поощрять добро. Достаточно не надувать красиво губы, глядя на недоступные духовные вершины, а работать и покорять их, не боясь уколов шипов красивых роз. А для счастья достаточно ощущения, хотя бы в самой ничтожной степени, своей исключительности для пользы Родине, чтобы не только казалось, «что только мне одному» это предназначено.

По Леонтьеву, счастье – это работа, действие. «Проучить глупца и врага России и остаться правым! Узнать секрет и тотчас же воспользоваться им с немедленным успехом для себя и консульских дел – разве это не весело? Разве не надо ценить такие ясные дни? Я их ценил и веселился!» И был прав, – добавим мы, потому жить весело и счастливо могут только люди с чистым сердцем и осознанием высокого внутреннего долга, для выполнения которого нужно трудиться. Этот роман Леонтьева, словно заочный спор с почившим на тот момент Достоевским, вложившим в уста старца Зосимы следующие речи: «Ибо для счастья созданы люди, и кто вполне счастлив, то прямо удостоен сказать себе: “Я выполнил завет Божий на сей земле”».

То, что человек создан для счастья, утверждал и Джефферсон в тексте написанной им американской декларации независимости (1776). Счастье для народа пытались силой утвердить и французские робеспьеры. Что из этого получилось, узнали и негры, и трудящиеся Вандеи, но вот только интерпретировалось их «счастье» по-разному.

Леонтьев считал, что Христос счастья на земле никому не обещал. Работу – это да: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания» (Мт. 10: 9–10).

Работа. Здесь уместно вспомнить блестящие по стилю леонтьевские служебные докладные, которыми зачитывались в Петербурге на Певческом мосту, нашедшие отражение в риторике главного героя, умело от-

вечающего на обвинения и колкости в адрес России. Вот как он парирует клевету болгарина Бояджиева, драгомана австрийского посольства, утверждающего, что в России литература слабо развита, что в ней мало образованных людей. «Когда рассуждает о России, даже не зная ее хорошо, такой, например, человек, как г. Остеррейхер, это еще не беда. С ним я могу спорить: он сын, действительно, великой германской цивилизации, которой и мы, русские, очень многим обязаны. Но вы? Ваши какие права? Вы даже не понимаете, что вежливо и что нет… Русскому, конечно, нет обиды в том, что вы ничего не понимаете, – и вы можете без нас обнаружить сколько угодно вашу плачевную образованность; пока я здесь, я прошу вас в разговор не мешаться и со мной не говорить вообще ничего и никогда. Слышали?»

И, кроме защиты своего отечества, Ладнев тонкой лестью, оказанной австрийскому консулу, подтолкнул его к откровенности, получив важное известие. Несомненно, таким был и Леонтьев, дорживший своей службой, в которой «было тогда столько простора личной воле, личному выбору добра и зла, столько доверия со стороны **национальной** (выделено мной. – *М. Ч.*) нашей русской власти!»

Здесь не случайно выделено слово «национальной», потому что во время написания «Египетского голубя» Леонтьев приступил к разработке (может быть, это громко сказано, но тем не менее) национального вопроса, поводом для обращения к которому послужило знакомство с философом П. Е. Астафьевым. Даже малейшие и первичные всплески интереса к какому-нибудь вопросу врываются у Леонтьева в ткань художественного повествования. Где-то они портят и разрушают ее единство («В своем краю», например), но их мягкое и ненавойливое присутствие в более совершенном произведении, как «Египетский голубь», украшают и заставляют задуматься: почему акцент сделан именно на это слово. Однако это не говорит о том, что читатель должен знать о намерениях Леонтьева и его знакомстве с Астафьевым потому, что тут же следует объяснение из монолога посла Игнатьева: «Всякий русский может быть рад, что вы его съездили (чтоб он

не смел русским грубить) <…> Держите русское знамя высоко; я буду, верьте, помогать вам…»

Леонтьев, по сути, основатель умной, содержательной прозы, преследующей не только цели раскрытия психологии героев и их поступков (вечных, исходя из человеческой природы), но и постановки вопросов, носящих общемировое значение. Культура, взаимоотношения эстетики и этики, история, дипломатия, вопросы национализма, этнография – все это предметы рассмотрения Леонтьева, потому что он по природе своей проповедник, моралист, «катехизатор», как и любимый друг его монах Зедергольм.

Леонтьев в силу своего характера такой человек и писатель, что считает первой необходимостью поделиться своими знаниями с читателем. Особенно такими редкими и экзотическими, как восточные. Они же, как известно, обладают тонкостью («Восток дело тонкое»), которую нужно прочувствовать и понять, а потом выстрадать и принять как собственные, чтобы рассказ о них был подлинно ярким. Этому умению Леонтьев обязан тонкому вкусу, привитому с детства, художественной восприимчивостью к русской культуре, а значит и мировой, собственному эстетическому воспитанию своих чувств («внутреннее чувство») и души. Высоту эстетического культа, которому поклоняется Леонтьев, словно православной иконе, как раз и помогает оценить описание гостиной, одеяний дочери Маши и психологически тонко подмеченные изменения в гувернантке Игнатович. Из последнего наблюдения следует вывод: «Не прав ли я был, говоря, что драма жизни нашей со всеми ее тайными и тонкими ощущениями полна мистической неразгаданности!»

Да, скорее всего, прав! У всех у нас десятки, а то и сотни примеров этих мистических тайн, что сопровождают нашу жизнь, лишь стоит вглядеться в них и понять. К этому словно подталкивает нас проза Леонтьева: не проходите мимо своей собственной жизни, думайте о ней, любите ее, и вам не придется мучиться от сознания бесцельно прожитых лет.

В этой фразе, как никогда и нигде более, виден сам автор со своим мистическим обращением к Богу в 1871 году и последующей драмой жизни. Судьбой Леонтьеву было отпущено еще 10 лет жизни после написания «Египетского голубя», во многом похожего на некое беллетристическое и эстетическое завещание.

Глава 3
«Восток, Россия и славянство»

Наше общество вообще расположено идти по течению за другими… кто знает, не быстрее ли даже других?

К. Н. Леонтьев

1

Николай Бердяев как-то сказал, что: «Разум имеет свою онтологическую основу в бытии самого философа, в его внутреннем существовании, он зависит от веры или неверия философа». С обретением Бога в душе Леонтьеву тем более стало понятно, что приход капитализма несет за собой ломку и уничтожение ценностей православного духа, русского самодержавного мировоззрения, никогда не молившегося мамоне и золотому тельцу. Русскому православному менталитету чужда замена Бога в душе («Бог не в силе, а в правде») на бессовестного божка наживы и накопительства. Христианин (крестьянин) хочет видеть над собой только Богом избранного Царя-батюшку, действия которого освящены Богом, который есть правда и справедливость. Без веры в Бога, без Церкви, без сакральной царской власти невозможно гармоничное развитие личности, общества и государства, – так утверждал на протяжении многих лет Леонтьев. Таков смысл и русской идеи, заключенной в кратком напутствии, даваемом при крещении: «Живи не так, как хочешь, а как Бог велит!»

И совсем не странно, что эти русские по духу идеи не воспринимаются в достаточно уже атеистическом российском обществе. Потому в 70-е годы Леонтьев почти полностью (кроме «Одиссея Полихрониадеса», «Египетского голубя») оставляет художественную литературу и вступает в борьбу за сохранение в русском обществе религиозных основ, за сохранение русской государственности с царем-батюшкой и сословности как основы развития общества. Если во время Крымской войны Леонтьев отрезал скальпелем гангренозные конечности воинов, то теперь он вскрывает язвы буржуазного общества, преследуя ту же цель – излечение организма, теперь уже общественного.

Василий Розанов, находя в творчестве Леонтьева «мировой оттенок», отмечал, что Леонтьев широко «использовал патологические наблюдения и наблюдательность к явлениям мировой жизни, но преимущественно социально-политической». С присущей ему проницательностью и логической последовательностью рассматривая то реформы в Турции, то монашескую жизнь на Афоне, то культуру Византии, то эстетику религии, то политические результаты войн, он создавал полноцветную картину современной ему жизни. Добавляя с течением времени в эту картину яркие мазки и образы (мысли), как Александр Иванов в картину «Явление Христа народу», над которой трудился 20 лет. Но даже будучи опубликованными идеи Леонтьева каким-то неведомым образом растворялись в отдельных газетах и журналах, не создавая единой теории, призванной твердо выражать его мнения.

Тогда-то (1883) Леонтьев решает переиздать «Византизм и славянство», а точнее теоретические, по его мнению, главы под названием «Прогресс и развитие». В полном соответствии с логикой, столь им любимой, мысль его автоматически перешла к более сложной задаче: к изданию сборника всех имеющихся на тот момент его статей. В сентябре уже 1884 года он пишет Филиппову: «Хотел бы издать или, точнее выражаясь, напечатать собрание статей своих политических и т. п. “На прощание”, так сказать. Берутся, конечно, но, хотя и с рассрочками, а требуют от 800 до 1000 р. 2 части (листов 40). Где же я возьму эти 1000 р.?»

Как всегда у Леонтьева нет денег, тем более таких значительных, а намек, выраженный в письме Филиппову, тот не понял. Тогда Леонтьев принялся за розыски спонсора, говоря современным языком. Прежде всего, с учетом своего неважного физического состояния (ноги плохо слушались из-за ишиаса), он нанимает посредника и помощника для переговоров и хождения по инстанциям, редакциям и меценатам. Владимир Эберман – это тоже судьбоносная находка для Леонтьева. Елеле сводящий концы с концами добросовестный Эберман стал не только платным помощником (Леонтьев платил ему $^{1}/_{10}$ часть всех литературных заработков), но и другом, и адресатом многочисленных писем не только по вопросам посредничества. Кроме того, он помогал Леонтьеву в розысках старых его статей в журналах и газетах.

Их взаимодействие как пример высокопорядочного сотрудничества имеет смысл описать подробно. В марте 1883 года Эберман ведет переговоры с московской издательницей Елизаветой Гербек (он называет ее Гербель) и, поняв бесплодность усилий, образно сообщает Леонтьеву: «Что до Гербель, то – предадим ее забвению». Первого ноября того же года он обнадеживает Леонтьева, что для издания сочинений «будет еще новый охотник», который примет все условия автора, а 17 января тон меняется, когда Эберман сообщает, что Лавров, один из владельцев типографии, наотрез отказывается печатать, и тут же спрашивает: идти ли ему к другому типографу – Левенсону. В феврале Эберман вновь оказывается у Гербель (безуспешная ходьба по кругу) и говорит о ней Леонтьеву, что продавать она умеет, «если верить ее россказням; впрочем, ее иудейство за это ручается. Но возьмется ли она издавать, это сказать трудно, для нее все дело в выгоде». И, конечно, Гербель не взялась, так как наводила справки в своих кругах: хорошо ли продаваем этот писатель?

Прошло полтора года, когда наконец (11 октября 1884 г.) Эберман обрадовал Леонтьева, что его дело «совершенно устроено», что никаких условий не нужно, что за все отвечает Николай Николаевич Бахметьев и что можно сдавать материал в печать. Радостный и несколько

удивленный такой удачей Леонтьев сообщает Филиппову: «Обещают к 1 февраля. Я что-то и этому не верю. Денег с меня не берут <…>, а будут печатать в кредит». Кто же такой Бахметьев, этот милостивый и добрый человек? Удивительное дело, но оказалось, что это человек «из того лагеря, а не из нашего», как определил его Леонтьев и называет его при этом «очень умным и способным *плутом,* который в либерализме и т. п. нашел себе выгоды и общественную роль». Уже в это «идейное» время есть дельцы, ради денег стригущие «овец» любого «стада». Хотя чужая душа, как говорят, потемки, но не удивительно, что Бахметьев как русский мог тайно сочувствовать консерваторам, а подвизаться у либералов в поисках заработка. Вот и печатать книги взялся русский Иван Николаевич Кушнерев, но никак не вышеупомянутая Гербель, хотя выгода для обоих имела значение.

Решено было печатать сразу два тома одновременно. Еще в январе 1885 года Леонтьев составил предисловие, в котором объясняет принципы расположения статей по томам. Фактически первый том вышел в июне, а второй – в ноябре 1885 года. В первом томе разместились в абсолютном большинстве статьи по восточным делам, и расположились они в хронологическом порядке. Второй том состоял из статей по внутренним делам России, то есть это были в основном статьи из «Варшавского дневника». «Исключений мало», – так отмечал сам Леонтьев.

Свой сборник Леонтьев посвятил своему верному другу Филиппову, написав такие слова: «Посвящается Тертию Ивановичу Филиппову в знак невыразимой признательности за неизменную поддержку в долгие дни моего умственного одиночества». Предварительно Леонтьев спросил разрешение на это посвящение у своего патрона, с которым согласовал текст. Надо полагать, что текст слишком лиричен, и эта «лирика» находится в диссонансе с жестким содержанием книг. Но в этих диссонансах, кстати, весь Леонтьев: добрый, отзывчивый к отдельным людям, но жесткий в политических выводах. Девизом всей его жизни была следующая установка, о которой мы уже говорили: «*За-*

коны, принципы власти должны быть строже, люди должны стараться быть лично добрее; одно уравновешивает другое». В письме Губастову (июль 1885 г.) Леонтьев так объясняет это посвящение: «…*не посвятить* Филиппову, когда уже на мысль это пришло, из холопства перед Победоносцевым, которого я и самого гораздо ниже ценю и который и для меня ни разу не захотел ничего сделать, – это *и грех и стыд*…».

2

С получением, согласно договору, 200 экземпляров первого тома Леонтьев с июня 1885 года рассылает их по своим знакомым, помощникам и немногочисленным сторонникам. Одним из первых адресатов стал Константин Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода. В бандероли сопроводительное письмо, в котором Леонтьев объясняет, что немногие экземпляры он направляет тем лицам, чьим мнением он очень дорожит и хочет его знать. Подлинник ответа не найден, но то, что он был, можно узнать из фразы Леонтьева: «Он лучше отнесся ко мне и моей книге, чем мы ожидали». Так он писал Филиппову, сопровождая пересылку письма Победоносцева.

С пессимизмом, обусловленным знанием либерального направления умов общества, Леонтьев предвидел, что книга не получит известности, делясь своими опасениями с Филипповым (письмо от 30 ноября 1884 г.). Какую степень известности подразумевал Леонтьев, трудно сказать, но отклики на эти заметные в историософии труды появились. Первым откликнулся друг Павел Астафьев заметкой «Симптомы и причины современного настроения» в журнале «Русская мысль», имеющем репутацию либерального. В письме Губастову от 19 июля довольный Леонтьев сообщает об этом «*очень* похвальном отзыве», добавляя, «посмотрим, что скажут другие». Следующая рецензия появилась в «Гражданине» князя Мещерского. В ней Леонтьев назывался «нашим талантливым писателем», и отмечалось, что «многое из того, что говорит автор, весьма замечательно…».

Владимир Сергеевич Соловьев, который, по словам Леонтьева, с ним «очень дружен», посетил Леонтьева на даче в подмосковной деревне Мазилово. Соловьев обещал, что напишет статью в следующем духе: «Леонтьев прав в том смысле, что вся жизнь должна быть основана на религии и еще в том, что он верит в торжество социализма над нынешней буржуазией; но социализм его не либеральный, а строгий…» Так Леонтьев описывает в письме Губастову свой разговор с Владимиром Соловьевым. Обещание свое Соловьев не сдержал, хотя и приступал к написанию, но, видимо, душа к этому не лежала.

Порадовал, а местами обескуражил Леонтьева отзыв «самого» Н. П. Гилярова-Платонова, с которым он в присутствии Ивана Аксакова спорил в 1874 году, кто более христианин: Герцен с Гамбеттой или Филарет с отцом Леонидом. Тот самый Гиляров-Платонов, о котором Леонтьев позднее говорил, что «…он был мыслитель вечно запутанный в тончайшие ткани своих собственных идей, и руководящую нить в разнообразном сплетении этих идей найти у него очень трудно». Гиляров-Платонов, редактор «Современных известий», называет Леонтьева мистиком и мыслителем парадоксальным, но при этом отмечает главное, что «в трех четвертях того, что он говорит, глубочайшая истина».

Удивительное дело, как сходны в своих воззрениях представители прогрессивной общественности: все они ругают византизм, который «анахронизм, ложь и неправда», а заодно и Леонтьева, называя его ретроградом и реакционером. Гиляров, однако, идет дальше. Вспоминая византийского императора Константина I, Гиляров утверждал, что церковному устройству в России нужно брать пример с доимперского византийского православия, тогда будет «безопаснее», и что имперские устремления России носят не христианский характер.

Прогрессисты с леонтьевских времен утверждают, что не нужно искать конспирологию в действиях и словах Запада. Хотелось бы верить, что слова и действия всех их – суть нагромождение случайностей, простое стечение обстоятельств, обусловленное простейшими мотивами. Но как-то жутковато становится, когда вспомнишь указание

немецкого банкира Мендельсона министру финансов России Бунге: «Будет в России парламент, будут деньги. Нет – денег не будет». Речь шла в ту пору о кредитах для России (1886).

Учитывая это, каким-то особым образом складывается мозаика далеких от финансов рассуждений Гилярова-Платонова: зачем России быть сильной империей и зачем ей император? И по-особому воспринимаются слова Леонтьева из «Византизма и славянства», что Россию погубит «очень мирная, очень законная демократическая конституция», а с ней рука об руку идет парламентаризм. Напечатаны эти слова за 10 лет до «приказов» Мендельсона.

Заинтересовал Леонтьева и следующий тезис Гилярова, что возрождение России (будто в конце XIX века она разрушена) должно состояться не на византийской основе, а с ее разрушением, так как нельзя в давно прошедшем прошлом искать будущее. Красиво и хлестко.

О каком будущем и каком возрождении идет речь? По Гилярову, это будущее без империи, без Православия, без сильного государства, но с преодолением «векового застоя» России. Это именно та позиция, на которой стоит не одно поколение либерально-демократической интеллигенции России, старающаяся заместить веру в Бога верой в «прогресс», в новые социальные формы неясного, но непременно «прекрасного» счастливого будущего без затхлого византизма. Умственная и непоследовательная каша, разгребать которую с кровавым потом на лбу пришлось уже следующему поколению в 1917 году.

Но можно ли так революционно и бездумно вмешиваться в ход истории, ломать судьбы народов и государств, а в случае России – одним прыжком преодолеть призрачный на ту пору «застой»? Ни в коем случае, – говорит решительно Леонтьев, – «надо, напротив того, действовать в наше время противу *равенства и либерализма*... То есть надо *подморозить* хоть немного Россию, чтобы она не “гнила”…».

Первый итог всех резких либеральных реформ – вседозволенность и анархия. Даже жена Аксакова это понимала, отметив в своем дневнике после убийства императора: «Эта слабость характера… в глазах всей

России дискредитировала саму власть и привела страну в состояние той плачевной анархии, в которой мы находимся в настоящее время».

Розанов лучше и вернее всех оценил мужественный заплыв Леонтьева против господствующего на то время либерального течения: «…Константин Леонтьев обескураживающе резко оценивает плоды западного прогресса, который мнился русским либералам и демократам идеалом социального и духовного развития. **На десятках примеров** (выделено мной. – *М. Ч.)* он доказывает, что чтимый всеми “прогресс” не только не улучшает качество человечества, не только не приближает мир к идеалу духовно-совершенной жизни, но единственно плодит “прогрессивно-европейское мещанство”».

Нет ничего удивительного, что более всего либералов возмутила строгость духовных идеалов Леонтьева, четко выраженная словом «византизм». Этой строгостью он подчеркивает, как, впрочем, и упомянутый нами митрополит Филарет, что в процессе проведения невнятных либеральных реформ особенно страшна в процессе развития общества потеря духовных ориентиров. Без них, когда многое дозволено, люди становятся глухи к добру, красоте и справедливости, а без религиозных принципов они не ищут внутренней свободы через свое нравственное совершенствование, а ищут внешней свободы на путях пугачевской вольницы и революции. И потому ругательства, если они появлялись в либеральной печати, выбравшей, в основном, тактику замалчивания, особенно разнузданы своими намеками на «душевную болезнь» автора.

«Вестник Европы», например, поместил рецензию Леонида Слонимского (отца будущего советского писателя Михаила Слонимского). В ней самым ласковым было утверждение: «Если это бред больного ума, то в этом бреде видна система». И то хорошо! Да, у Леонтьева было системное консервативное мировоззрение, которому он не изменял всю жизнь, чего не скажешь о его либеральных оппонентах, придерживающихся в основном принципа: кто больше заплатит – за тем и пойдем. По большому счету Россия была расколота на два больших лагеря: тех, кто за царя и Отечество, и тех, кто против сильной государственности, которые, что-

бы утвердить свои взгляды, не гнушались никакими средствами. Только русские либералы имели особые наклонности к разрушению государственных устоев страны проживания под видом продвижения прогресса и преодоления «векового застоя». Они совсем не похожи на немецких либералов, работавших на свое государство. Один из них, Х. Хофман фон Фаллерслебен, сочинил «Германскую песню», ту самую, что стала гимном Веймарской республики и гитлеровского рейха. Помните слова: «Германия, Германия превыше всего/ Превыше всего в мире!» Преклоняясь перед Западом, русские либералы работали на него, порой невольно, но от этого их вред России не становился менее значительным.

Или еще пример из письма некоего Твердко Балканского: «Я не признаю этого современного русского Оригена настоящим св. отцом. Г-н Леонтьев провозглашает себя настоящим византийцем, а я терпеть не могу этих восточных иезуитов». Мы так и не узнаем, кто скрывался за этим псевдонимом, но очень обязаны ему сравнением Леонтьева с Оригеном (185–253), одним из первых христианских и библейских философов. Система догматов, выработанная им, легла в основу православного мировоззрения и используется поныне. Ориген не изменил христианской вере и умер в тюрьме от пыток за свои убеждения. Твердко Балканские и Леониды Слонимские, которые известны лишь по возражениям Леонтьеву, канули в Лету, а Ориген и Леонтьев интересны нам до сих пор и своей судьбой и своими идеями.

3

В год выхода книги Леонтьева «Восток, Россия и славянство» ситуация на Балканах резко изменилась, причем именно в том направлении, которое предвидел Леонтьев еще более 10 лет назад. И зачинщиком этих осложнений стали как раз те самые болгарские «мальчишки», в которых «сидят десять Мариев» (демократов), – так сказал Леонтьев, заканчивая «Византизм и славянство». Произошло самовольное объединение северной и южной частей Болгарии, развязавшей к тому же

войну со славянской Сербией. Болгарское руководство дошло до пределов цинизма, разорвав в 1886 году дипломатические отношения с Россией, пролившей кровь за ее независимость. Все эти события пролились холодным и внезапным дождем на славянофилов, но для последователей Леонтьева это не стало неожиданностью. Все эти события отражены в критической статье Ивана Кристи по случаю выхода книги «Восток, Россия и славянство». Он отмечал наивность большинства россиян, радующихся объединению двух Болгарий оттого лишь, что они наши братья-славяне, и при этом добавляет, что действия болгар враждебны России, как враждебна ей и поддержка болгар русскими либералами за их «демократичность и независимость».

Распутывать балканский клубок вековых противоречий – не тема нашего повествования. Добавим только, что вторая славянская междоусобица, вызванная агрессией болгар в 1912 году, стала одной из причин Первой мировой войны. Интересным будет высказывание русского посланника в Софии А. А. Савинского в годы этой войны: «…среди балканских государств и народностей Болгария в силу природных средств и качеств населения: честолюбия, энергии, живучести, твердости, экономии, желания и способности совершенствоваться, а также благодаря богатству и плодородию почвы – является в этом отношении особенно опасной». Не об этом ли «бредил больным умом» Леонтьев за 30 лет до этого.

Но пока в 1885 году Кристи в заключение своей статьи «Что посеешь – то и пожнешь» пишет: «Оттого, читая книгу г. Леонтьева теперь, когда многое из предсказанного им оправдалось, как-то особенно симпатизируешь его взглядам на Восточный вопрос и как-то хочется надеяться на будущую, более светлую культурную деятельность нашу на Востоке, во что горячо верит автор».

Два других ученика Леонтьева, юрист Николай Уманов и филолог-классик Яков Денисов, также порадовали своего учителя развернутой и благожелательной рецензией. Под псевдонимом П. Волженский они опубликовали у Шарапова в «Русском деле» статью «Еще русский мыс-

литель (Восток, Россия и славянство). Сборник статей К. Н. Леонтьева». Статье предшествовало предисловие редактора, в котором были обозначены линии размежевания славянофилов и Леонтьева. С. Ф. Шарапов, рассыпав ряд комплиментов о недюжинном уме автора, о его оригинальности и самостоятельности, о величие как мыслителя, отметил, что «Леонтьев – не наш». То есть не славянофил, который стоит на «чистой православно-славянской почве», а «фанатичный апостол Византизма». Шарапова как славянофила, требующего «строгости мысли и меры», шокируют высказанные с изрядной долей юмора и эпатажа следующие леонтьевские утверждения: «Урядник есть тоже немножко помазанник Божий», «Я совершенно разделяю культ палки».

Статья П. Волженского получилась объемной и печаталась в «Русском деле» весь декабрь 1885 года. Состояла она из 3-х частей. Первая – подбор имеющихся рецензий, к слову сказать, немногочисленных, по результатам которых делается вывод, что ни одна из них не дает ясного понятия о содержании взглядов Леонтьева. Во второй части дается характеристика статей Леонтьева, а главным образом «Византизма и славянства». Третья посвящена взглядам и целям автора сборника.

Статью П. Волженского заметил Лев Толстой, о чем Леонтьеву рассказал Александров, исполнявший обязанности репетитора у внука Льва Николаевича. Александров застал Толстого за чтением «Русского дела», и в разговоре выяснилось, что тот считает Константина Николаевича «очень талантливым и милым» и во многом с ним согласен: и с пессимизмом, и со взглядом на значение религии, но не согласен с византизмом и суровостью Православия и сомневается в том, что Леонтьев так верит в Бога, как говорит об этом.

При этом Шарапов публикует и другие статьи, предоставляя страницы своего издания ярым ненавистникам Леонтьева. Этот факт в некотором роде объясним после слов Шарапова о том, что Леонтьев – «не наш» человек. Вот уж поистине «некий» П. И. Аристов в фельетоне «Г. Леонтьев и его гадания» как ответ на статью Волженского переходит на личности (это характерный для либералов прием), называя Леонтьева

«старым честолюбцем-неудачником», который бредит чем-то ужасным. Кратко описывая немногочисленные рецензии на свою книгу в письме Ольге Новиковой (30 мая 1889 г.), Леонтьев приводит как бы в заключение слова Николая Страхова: «Люди понимают лишь то, что им нравится, до остального им дела нет». Что же, на все времена верные слова!

4

Опыт убеждает Леонтьева, что молодым понять его будет легче, чем, например, аристократам. Василий Розанов бесконечно прав, замечая, что в библиотеках Вронских едва ли можно найти книги с сочинениями Леонтьева, а вот у молодых людей его сочинения найдутся. Николай Уманов подтверждает это: «К великому моему изумлению я видел у двоих студентов в руках “Восток, Россия и славянство”. Что за притча – не знаю. В университетах таких книг никогда прежде не было видно» (письмо от 28 января 1888 г.). Так в 1880-е годы формировалось, в том числе с помощью книг Леонтьева, поколение, идеи которого позднее получили название «русского религиозного ренессанса».

К тому же аристократы уже не правили бал ни на русском поле жатвы, ни на поле мнений и идейной борьбы. За четверть века правления Александра II либеральное мировоззрение после спешно проведенных реформ стало настолько популярным и разлагающим, что переналадить его (привлекательность анархии всегда завораживающая) не под силу так называемой реакции императора Александра III. Бал правили те, кого остро бичевал Леонтьев, – либеральные демократы. Это только единицы из студентов читали его, а в остальной массе студентов родился лозунг «Долой самодержавие!», подхваченный социал-демократами. Бесхребетное, безвольное государство – вот предел мечтаний либералов всех времен и народов.

Государство, если его возглавляет волевая личность, требует от подданных дисциплины, повиновения, которое для либералов словно нож острый, словно сосущий под ложечкой страх. Страх за что? В годы ре-

форм они почувствовали, как прекрасно плавать в мутной воде вседозволенности и обстряпывать свои финансовые делишки, когда все и всех можно купить и продать. И тут сильное государство требует отчета, а его нет – вот и сосет страх ответственности за неблаговидные дела.

Это хорошо понимали и Леонтьев, и либералы. Всякий по-своему. Леонтьев: «Но страха этого, страха вольного и принципиального не хотят либералы; они считают его несовместным с достоинством современного мещанина, и всякий, самый плачевный в своей демократической ограниченности, свободный швейцарский гражданин им кажется выше, чем Император Феодосий Великий…» Потому-то почти полное молчание в либеральной прессе относительно его книг и отсутствие рецензий по ним.

В российском обществе конца XIX и начала XX века царила над здравой мыслью внутренняя цензура «прогрессивной общественности», к рукам которой прилипли все основные издания и издательства. Всякое инакомыслие, тем более консервативное, преследовалось. Не избежал этого и неудобный Василий Розанов, о чем образно и точно пишет исследователь его творчества М. А. Курдюмов (Каллаш): «Уважения к человеку, к “я” совершенно не было, оно заменялось культом “человечества”. Ходивших без “Uniform”, в “партикулярной одежде” зарывали в землю заживо. Так был живым похоронен Константин Леонтьев, еще раньше, до Розанова.

Талант сам по себе еще не давал права на “входной билет”, требовалось быть “одетым”: потому, например, читали и *считали писателем* ну хотя бы Златовратского, а Леонтьева, даже его художественных произведений, прекрасных благоуханных повестей и рассказов, как “Очерки Крита”, никто в руки не брал».

Под униформой Курдюмов разумеет ту самую негласную цензуру «интеллигенции». По этой схеме скрытой цензуры (фильтрации) живет, кстати, весь западный мир демократии, когда на словах запретов вроде бы и нет, но… Далее читайте биографию Константина Николаевича Леонтьева.

* * *

Идут 80-е годы XIX века. Еще живы патриархальные отцы, воспитавшие детей в провинциальной строгости и патриархальности, верности традициям Православия и уважения перед монархией. Таков и Василий Розанов, родившийся в маленьком городке Ветлуге Костромской губернии (на 25 лет моложе Леонтьева), таковы и студенты Катковского лицея Николай Уманов из Пензенской губернии, Иван Кристи из Молдавии, да и другие юные сторонники взглядов Леонтьева. Жизнь вырвала их из теплой атмосферы семьи, веры и любви и окунула в ледяную воду нигилистических «ценностей». Самые неравнодушные, пусть не сразу, но поняли, какую угрозу несет нигилизм России, и ужаснулись, им не хотелось менять установившийся уклад жизни на неведомые «свободу, равенство и братство».

В Леонтьеве они нашли опору, второго отца, объяснившего им причины тех изменений, что произошли и происходят в России.

Глава 4
Молодые друзья

> Нужны *таланты*; нужны искренность чувств и *независимость ума*… Нужно узнавать людей, а не искать их где-то, когда они под рукой.
>
> *К. Н. Леонтьев*

1

Размеренной и благостной, на первый взгляд, может показаться жизнь доброго помещика без поместья Константина Николаевича Леонтьева в Москве. Мозг же его, ярого и, по сути, первого борца с российским и мировым либерализмом, постоянно анализирует политическую

обстановку. «За политикой слежу внимательно, но Вы ею, я знаю, мало интересуетесь, и поэтому молчу», – пишет он Николаю Соловьеву, драматургу. Да и цензорские обязанности в принципиальных случаях не позволяют расслабляться: ведь по его требованию не допускаются до публикаций крамольные статьи и книги либералов. Леонтьев признается: «что это не хитро», хотя «другие цензоры охают и ахают, что затруднительно, а я только пожимаю плечами…».

Да и с кем заниматься, как не с молодыми? Да и кому что-то завещать и передавать, как не им. К 80-м годам Леонтьев понял, наверное, главный смысл славы, популярности, к которой он в молодые годы истово стремился, пока в нем не совершился нравственный перелом 1871 года. Кстати, тоже в немалой степени связаный с несбывшимися надеждами. Леонтьев всегда стремился влиять на читателя, но где найти консервативного толка издания. «Вот и остались одни гражданские мечты не для себя, а для России. Пишу в "Гражданин"... уговорился с Мещерским "по душе". Он дает мне 100 рублей в месяц, а я пишу, сколько могу; многие побуждают меня читать публичные лекции об Афоне и монашестве, а мне что-то нет охоты».

Остается влиять на молодых, передать им по возможности свой образ мыслей, свое понимание красоты, свое миросозерцание, чтобы стать образцом для **подражания.** Истинная слава заключается в наличии подражателей. Количество их определяет размер славы: местный уровень, российский, мировой. Ведь только молодые способны подражать авторитетам! Но и с ними Леонтьев не искал побед тщеславия, а искал смысл будущего развития России.

Романтизм тесно связан с именем Джорджа Байрона, и почти каждый, читавший его в 15–20 лет, хотел подражать ему, вплоть до искусственной хромоты. Тургенев и Писарев «подарили» России моду на нигилизм с его презрением к авторитетам, государственным устоям, небрежности в разговоре и одежде. «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, особенно знаменитый разговор Ивана и Алеши Карамазовых в трактире под шампанское о Боге и смысле жизни, стали для русской ин-

теллигенции образцом на столетия вперед. Все кухонные пересуды уже под водочку с гитарой и слезливыми песнями – отдушина советского и постсоветского интеллигента и дань подражания Достоевскому.

Леонтьев чувствовал, какие подражания безобидны, а какие обернутся катастрофой для России, он знал твердо, опираясь на свою философию истории с «гипотезой триединого процесса» и эстетику. Для противостояния либеральному влиянию он хотел сплотить вокруг себя молодых людей в виде некой организации особого рода, которую, по воспоминаниям Льва Тихомирова, он шутливо называл «Иезуитским орденом». Суть этой неформальной организации состояла бы в духовном единении знакомых и близких лиц, имеющих общее религиозно-консервативное мировоззрение. Она ни в коем случае не должна иметь организационной структуры и официальной регистрации и походила бы внутренне на старообрядческую общину. Вот почему Леонтьев и придумал ей такое необычное название. Однако для ее создания он не предпринимал никаких активных действий, полагаясь, как обычно, на волю Божью. Лишь под конец жизни Леонтьев обсуждал этот вопрос с Львом Тихомировым, ставшим для него близким товарищем. Порой на него находило отчаяние, когда он не без пророческих ноток восклицал: «Но отчизна наша предана уже проклятию и ничего с ней не сделаешь!»

Но Бог услышал молитвы Леонтьева и подарил ему молодых друзей-последователей, принявших его мировоззрение, понявших его и полюбивших. Дело было так.

2

Случилось то Божье провиденье, которого жаждала душа Леонтьева: у него появились ученики – верные, надежные, любящие и любимые. Та песнь любви к жизни и людям, что прозвучала в «Египетском голубе», не была случайным или проходящим эпизодом для Леонтьева. Она – не выдумка или то, недостижимое, что трудно реализовать автору

в реальной, собственной жизни. Окружающие Леонтьева люди прекрасно чувствовали его положительную энергетику и стремились к нему, доброму и участливому, с открытым и равноценным участием. Достаточно вспомнить детей баронессы Розен, переписывающих его рукописи и бескорыстно разбирающих крючки и загогулины ужасного почерка, племянницу Машу с неровным характером, но отдающей душу и время дяде, подвижницу Людмилу Раевскую. Теперь вот лицеисты.

Проповедник (трудно по-другому назвать Леонтьева) дисциплины и страха Божьего уверен, что с воцарением их на земле отступят времена пошлости и цинизма. Призрачное равенство, подкрепляемое лишь судебными решениями и законами, а не истинной любовью и сочувствием, ведет к забвению наследия предков, к тайным и грязным помыслам крайнего индивидуализма. Страх Божий, говорил он, «есть начало премудрости религиозной», доступен он каждому, и он – начало любви. По примеру Леонтьева, всегда украшавшего свои доводы яркими примерами, можно вспомнить нечто всем известное. Получив двойку в школе, каждый возвращался домой со страхом не физического наказания, а страхом того огорчения, какую грусть принесет эта двойка родителям (если они, конечно, любят тебя, а не избивают). Этот страх сопереживания, когда от вытянутого и огорченного лица родителей наворачиваются слезы на глазах, и есть любовь. Так и боязнь огорчать Создателя своим недостойным поведением тоже проявление любви к Нему.

«Но надо доходить скорее до того, чтобы Иоанн Лествичник больше нравился, чем Ф. М. Достоевский… Нужно дожить, дорасти до действительного страха Божия, до страха почти животного и самого простого перед учением Церкви, до простой боязни согрешить…», – так писал Леонтьев своему любимому ученику Анатолию Александрову из Оптиной Пустыни в июле 1887 года. Так он учил своих лицеистов, подчеркивая, что ад на земле начинается, прежде всего, с безбожных мыслей в голове.

На фоне мощной атеистической пропаганды, которой изобиловали либеральные издания, количественно во много раз превосходящие

религиозно-консервативные, многим студентам эти слова непривычны. Может быть, даже дико их слышать. Кто-то раз или два послушав Леонтьева, уходил в сторону и больше не появлялся в Денежном переулке. Леонтьев никого не задерживал: ему важно всегда качество, а не количество. Кто прикипал душой, на тех он и рассчитывал, из числа их он, очевидно, и планировал создание того самого шутливо называемого им «Иезуитского ордена» или, по определению Евгения Поселянина, сословия «меча и сохи».

«Беседы его действовали на нас чарующе. Его же радовало, занимало такое отношение к нему молодежи. Долгие осенние и зимние вечера в его квартире летели, как волшебные мгновения», – вспоминал Анатолий Александров.

Кто же не способен оценить уважительного отношения к себе? Пожалуй, нет таких, тем более, если человек «не скупится своими думами», по словам Евгения Поселянина. И молодые друзья прекрасно чувствовали «греющее отношение» к ним, прекрасно отличая фальшь от прямоты. «Как человек бесконечно искренний, не игравший никогда комедии, он не скрывал ни своей радости, когда о нем говорили… ни своего огорчения, что вообще его так мало читают», – отмечает Поселянин.

Не скупясь на добрые чувства, Леонтьев стремился заложить в молодежи, его окружавшей, свой образ человеческих отношений, укрепляя взаимную любовь среди своих воспитанников. Он знакомит Осипа Фуделя, которого приведет к нему Николай Уманов, с Иваном Кристи, рекомендует редакции «Московских ведомостей» безвестного Федора Чуфрина, и та (Грингмут и Говоруха-Отрок) принимает его как родного. Постоянно советует всем переписываться, показывая при этом личный пример.

В письме к А. А. Александрову (1887) Леонтьев с удовольствием признавал: «Вы и Кристи ведь любимцы моей плебейской и сборной семьи… Был еще и Замараев, но он в Туркестане всех нас вовсе забыл».

Но когда Григорий Замараев еще входил в кружок Леонтьева, он – один из самых верных его помощников. Ему поручили устроить Ели-

завету Павловну в хорошую клинику для неизлечимо больных. И дело, как вспоминал позже Замараев, приближалось уже к благоприятному исходу, как Леонтьев заявил, что стараться более не надо: он раздумал расставаться с женой. Комментировать этот истинно православный шаг, думаю, не следует.

Зная, что Константин Николаевич вечно нуждается в деньгах, Григорий Замараев делает царский подарок своему наставнику. Недорого и в рассрочку он продал ему хорошую шубу, появление которой, по словам Леонтьева, «возбудило всеобщее ликование в моем доме». И, конечно же, не только эти милые пустяки сближали старика с сильным, острым, гибким умом, чутким, добрым, нежным сердцем с юными лицеистами.

Позднее (26–31 мая 1888 г.), уже с Губастовым Леонтьев вдумчиво анализирует свои отношения с учащейся молодежью: «Я *вижу*, я знаю, что они находят во мне *что-то,* что им нравится… Это видно было по их обращению, по их веселой откровенной, ласковой почтительности, по почетным отзывам Кристи, по стихам Александрова, посвященным мне, и т. д. … Все они теперь со мной в переписке; Кристи был у меня здесь на святках, Александров приедет надолго 15 июня, другие тоже собираются...». И далее продолжает: «“внутренний мой человек”, как любит говорить психолог Астафьев, “дух моей жизни” или “жизнь моего духа”, как любил выражаться довольно туманно покойный Аксаков, – вот что их, должно быть, привлекает!»

Леонтьев частенько терпел поражения в схоластических философских спорах с профессором философии Петром Астафьевым. Это заметили лицеисты, среди которых произошел «маленький раскол». Те, как Замараев, сказавший Астафьеву: «Я и так хорошо вижу, что вся ваша философия – огромная дыра, в которую все стреляют без промаха: и метафизики, и позитивисты, и пессимисты и проч. и проч.», – остались верны Леонтьеву.

Именно Замараев отметил, что «возле Константина Николаевича образовался из нас же маленький, очень тесный кружок “избранных”, потому что вообще Константин Николаевич был очень строг и требова-

телен в выборе друзей». До «раскола» с Астафьевым в кружок Леонтьева входило 10–15 студентов, приближенных к нему в разной степени, учитывая его строгое отношение, потом остались единицы.

«Только три-четыре студента хороших утешают. Принимают многое и охотно из моего “учения”», – так отмечает он в письме Ольге Новиковой от 16 апреля 1884 года. Зато этих немногих хороших студентов Леонтьев очень любит и помогает им всем, чем может, вникая в малейшие подробности их жизни. Лицеисты отвечали ему полной и безусловной взаимностью. «Знайте, что Ваше всякое письмо целое событие в моей внутренней жизни, как знакомство с Вами целая счастливая эпоха моей жизни», – так отвечал Кристи из Гейдельберга 5 декабря 1883 года на ласковое письмо Леонтьева. В том же году, но чуть ранее тот же Кристи писал: «…у меня никого другого нет, который бы меня понял в этом случае и кому бы я мог написать это, зная, что он за меня помолится».

«Обращенный нигилист» и бывший сельский учитель Федор Чуфрин, приехавший из захолустья в Москву, также оказался в кружке «гептастилистов», так называл своих молодых друзей Леонтьев. Это греческое слово можно перевести, как «седмистолпники». Оно впервые прозвучало в библейском сказании о семи столпах культуры: «Премудрость созда Себе дом и утверди столпов седмь». Этих «столбов» дома культуры семь: религиозный, политический, философский, бытовой, художественный, экономический, юридический. В современном и классическом определении слова «культуры» все они присутствуют.

И имел этот безызвестный Федор Чуфрин душу тонкую и благодарную, чутко откликающуюся на любовь Леонтьева: «Я обнимаю Вас за Вашу “непотребную ленивую” молитву (поддержи, Господи, Чуфрина Феодора). Вы – да разумеется, Вы не думали, с какой чарующей, обаятельной стороны Вы, Константин Николаевич, этим высказались!.. Духу-то, духу живому в человеке как это сказывается… Теперь у меня молитва есть… теперь поможет мне “непотребная и ленивая” ежедневно сказываемая Богу молитва “Поддержи, Господи, Чуфрина Феодора…” Наивно? – Но это величайшая радость, это великое укрепление… Не го-

ворить это наивно, а наивно не понимать этого, не полагающийся на это жалок, а жалок тот, кто не имеет этого. <…> Дорогой Константин Николаевич! За что Вы меня так полюбили?»

И сразу становится понятным яд, источаемый Страховым после смерти Леонтьева в письме Розанову, что «Леонтьев – явление отвратительное», что в искусстве он «услаждался всякою пакостью, мужеложством, роскошью…». В любом, казалось бы, сложном случае, надо просто-напросто оглянуться или спуститься с философских «высот» на грешную землю и спросить себя: любил ли ты кого-нибудь, любили ли тебя безоглядно и безоговорочно, был ли ты счастлив в жизни. И если ты задержишься хоть на секунду с ответом, ты можешь считать себя Страховым, брызгающим ядом зависти к каждому (в том числе и к Леонтьеву), кто был счастлив, любим и имел неленивое сердце, чтобы молиться за дорогого человека.

Время и обстоятельства жизни жестоки и неумолимы. Большинство студентов после окончания лицея отошли от Леонтьева, разъехались по городам и весям Российской империи. Да и сам Константин Николаевич в 1887 году оставил свой пост цензора и, уйдя на пенсию, уехал из Москвы в Оптину Пустынь. Но яркие его сторонники, называемые им еще и прозелитами, не покидали Леонтьева и здесь, приезжая, иногда надолго, к нему в гости. В Оптиной Пустыни произошло даже некоторое пополнение прозелитских рядов. К Леонтьеву, кроме Александрова, Кристи, Фуделя, прибились Евгений Николаевич Погожев (Поселянин), послушник монастыря князь Борис Петрович Туркестанов (будущий митрополит Трифон), уже упомянутый Федор Чуфрин, обретающий в Оптиной Пустыни «покой в Боге».

Все они дарили Леонтьеву то «утешение», то есть признание, о котором он мечтал всю жизнь. И в этом было для него великое счастье, ибо трудно вспомнить тех, великих, кто заканчивал бы свой путь в окружении молодых почитателей, **добровольных** учеников и благодарных домочадцев. В абсолютном большинстве своем уделом последних дней великих умов является мрачное одиночество среди казенных людей.

Глава 5
Любимый ученик

Но дума моя о Вас, – можно смело сказать,
ежедневная и самая искренняя и добрая!

Леонтьев – Фуделю 12–13 января 1890 г.

1

Особое место в рядах леонтьевских учеников занимал «православный немец» Осип Иванович Фудель, бывший студент юридического факультета Московского университета, которого ввел в круг единомышленников Николай Уманов, студент того же факультета.

Высоко ценя потенциальные возможности русского народа, способного стать во главе новой славянской цивилизации, Леонтьев тем не менее критически относился к некоторым особенностям его характера и закоренелым привычкам. Особенно ненавистны ему были русская необязательность и недержание данного обещания, называемые им мягко «бессовестной небрежностью». Племяннику Владимиру, отличавшемуся таким качеством, он писал: «Не надо свое добродушие простирать до малодушия и приятную поэзию русской небрежности до общечеловеческой подлости». Подлость – это уже очень серьезное обвинение.

Своему другу и покровителю Тертию Филиппову он более откровенно признавался: «Не была ли Ваша матушка *немка?* У Вас уж слишком все твердо, ясно и основательно для чистого великоросса. Вы не поверите, до чего мне надоели эти “русские” характеры – это ужасно!»

Богатая и сильно развитая интуиция сразу же подсказала Леонтьеву, что Фудель для него – это спасение от русской небрежности. Леонтьеву нужна популяризация своих идей и распространение их, в чем он прямо сознавался в 1889 году Осипу: «Боюсь Вас сглазить, Отец Иосиф – до того я вашей аккуратностью доволен!!! Да здравствуют Православные немцы! <…> В Вас-то я, наконец, с этой стороны нашел идеал друга.

Любви у нас немало, но и в ней, как и во всем, много лени, небрежности, неустойчивости, и мало внимания, твердости и порядка».

«Православный немец» (а именно так раньше Леонтьев называл своего рано умершего друга Зедергольма) в лице Иосифа Ивановича Фуделя – это, что называется, новый бесценный дар леонтьевской судьбе. И хотя Фудель немцем был лишь на четверть, но даже та четвертинка немецкой крови, по мнению Леонтьева, делала его характер твердым и надежным в отличие от русской расхлябанности. Леонтьев высоко характеризовал Филиппову своего юного друга после годичной переписки с ним: «…замечательно надежный, твердый человек и высоко-честный идеалист, германский дух на православной почве». Вот потому-то Леонтьев с восторгом восклицал «Да здравствуют Православные немцы!» Или вот еще одно из нескольких признаний: «Как хорошо, что вы *немец по крови и русский по духу.* – И Грингмут тоже. Не люблю я нашу чистую русскую кровь! Любил прежде крепко, но беспорядок, бесхарактерность, неустойчивость – надоели смертельно!»

Во всех этих откровениях ни в коей мере не надо видеть русофобства и германофильства, которые пытаются разглядеть и осудить некоторые исследователи. Несомненно, и среди немцев есть лентяи и расхлябанные люди, а среди русских, как, например, Филиппов, ответственные. Леонтьева, да и многих из нас, можно легко понять. Когда человеку, в данном случае Леонтьеву, раз за разом приходится уговаривать русского друга или родственника, чтобы он сделал то-то и то-то, а тот, необязательный, не делает этого, а перед глазами другой, положительный пример, человек с немецкой кровью, то зачем же уходить от упрямых фактов. Зачем по известному наблюдению прятать, как страусу, голову в песок или закрывать глаза на известные слабости русского, полнясь «квасным» патриотизмом. Леонтьев как опытный, практический политик отлично понимал, что от расстановки неверных акцентов при оценке людей или политической ситуации можно угодить не просто в лужу, а в погибельную пропасть. Все одинаково – и в личной жизни, и в высокой политике. Забегая вперед, можно еще раз отметить, что пророческий гений не под-

вел Леонтьева и в этот раз. Ведь будущим собирателем и издателем сочинений Леонтьева в 1912 году будет именно он, православный немец, протоирей Иосиф Фудель. «Отче и друже мой», – так ласково и уважительно называл Фуделя Константин Николаевич, а ведь он был старше Фуделя на 34 года. Именно ему, собравшему в единое издание труды учителя (9 томов), Леонтьев многим обязан, что его имя не сгорело в нескончаемом либерально-революционном пожаре XX века.

Еще один ревностный и бескорыстный поклонник и исследователь творчества Леонтьева Сергей Николаевич Дурылин, касаясь характера Фуделя, сказал: «Политическое мировоззрение его сформировано в духе посвященных ему леонтьевских писем о “национальной политике”. <…> О. Иосиф казался, даже при самом горячем и деятельном участии его в делах наших, общественных, общекультурных, церковных – всегда несколько чужим, не нашим, иным. <…> Это оттого, что он в полноте обладал “памятью смертной” – обращенной на себя, на человека, на общество, на государство, на культуру, даже на церковь самую. В его прекрасном и строгом худом лице всегда светилась эта память смертная, она дала ему мудрую ясность и строгость мысли, она же изнутри питала его непреходящей грустью, она отделяла его от нас, делала человеком другой, чем мы, культуры, она дала ему какое-то особое мыслительное смирение, какую-то особую строгую меру себя»,

Замечательно сказано! Что значит эта «память смертная», о которой упоминает Дурылин? Можно сказать, что это наивысший уровень познания онтологии, благодаря которому человек, постоянно помня о смерти как главной части человеческого, да и общественно-исторического предназначения, ведет себя возвышенно. Такой человек отметает от себя суетную шелуху мелочных проблем самоутверждения (востребования), тщащихся доказать, кто главнее. Он не принимает к сердцу личные обиды, наносимые ему из зависти, жадности и прочих смертных грехов окружающих. Он ценит время, не разменивает его на пошлые выяснения обстоятельств задержки в карьерном росте, он не гонится за славой. Фудель признается в письме Дурылину: «…говорить и о себе самом, что

мне всегда было органически противно», но откликается на его просьбу рассказать о Леонтьеве, учителе и друге. Такой человек отдает себя полностью в руки Бога. Марк Аврелий повторял неустанно: «Высшее назначение наше – готовиться к смерти». Это значит жить по Божьим установлениям, не в довольстве и неге, а в аскетическом миросозерцании и личном самосовершенствовании.

Позднее епископ Игнат Брянчанинов скажет: «Желающим спастись необходимо принадлежать Православной Церкви и повиноваться ее установлениям. Не слушающих Церковь Господь уподобил язычнику, чуждого Богу». Отец Иосиф принадлежал Церкви и был в житейском отношении верным ее сыном, отцом четырех детей, любящим мужем, любимым наставником для благодарной паствы. Все окружающие отца Иосифа люди отмечали в нем личную благость, отзывчивость, внимательность, и все одновременно чувствовали его строгость, иноческую чинность, твердость во взглядах. Даже дети называли его на «Вы», «но любили его ужасно», – вспоминал Сергей, сын отца Иосифа. Сергей Иосифович писал своему сыну Николаю в 1950 году: «Когда я <…> ищу объяснение тому миру, который оттуда до сих пор еще питает мою жизнь, то кажется мне, что источник его только в этой любви к Человеку и Богу, к Христу, которую имел в себе отец. Он его любил – это я знаю, и это запомнилось мне на всю жизнь». Как прекрасно, что у тебя такие родители, как прекрасно в детстве обрести любовь к Богу.

Эта любовь к Христу сближала Леонтьева и будущего отца Иосифа на том высшем, религиозно-онтологическом уровне, на котором всегда и жаждал сходиться с людьми Константин Леонтьев. Познакомились же они через Николая Уманова, с которым Фудель учился на одном факультете, и вместе они сотрудничали в еженедельном журнале «Русское дело», издававшимся Сергеем Федоровичем Шараповым. В редакции журнала совсем юный Фудель впервые увидел Леонтьева, но пока только увидел: редактор не счел нужным знакомить молодого сотрудника с маститым литератором. Фудель, спустя 30 лет, живо представлял, как из редакторского кабинета вышел «высокий, худощавый старик; его провожал

Шарапов, как-то почтительно забегая сбоку вперед и продолжая о чем-то весело разговаривать или отшучиваться. Фигура старика остановила мое внимание. Он был одет не то в длинный сюртук, как носили наши «дедушки», не то в казакин; шея была повязана черным платком; сухощавое лицо, небольшая седая бородка, проницательный взгляд, мельком брошенный в мою сторону, и сознание своего достоинства и внутренней силы во всех движениях – вот что запечатлелось в моей памяти.

"Видели, видели? – обратился ко мне С. Ф. Шарапов, вернувшись из передней. – Ведь это Леонтьев, наш цензор и писатель. Остроумнейший человек; его разговор – целый фейерверк; поговоришь с ним час – точно из горячей бани выйдешь". Вид у Сергея Федоровича был, действительно, точно его парили».

В декабре 1887 года студент 4-го курса и журналист Осип Фудель издает на собственные деньги («последние свои гроши») отдельным изданием «Письма о современной молодежи и направлениях общественной мысли». В них (письмах), в частности, были такие строки: «На школьной скамье нам ничего не дают наши воспитатели. Их дело приготовить не граждан с известным мировоззрением и направлением, не детей своей родины и живых членов Православной Церкви, а нечто бездушное, формальное, напичканное разной учебной начинкой и годное только быть частицею какого-нибудь механизма, требующего не личность человека, а свидетельство о прохождении курса наук…»

«Книжка моя, – вспоминал Осип Фудель, – имела громадный успех». Тогда-то он сошелся с Николаем Умановым, принадлежавшим «к тому кружку молодежи, который имел живое общение с К. Леонтьевым… Их было немного, но они искренне любили К. Леонтьева, и впоследствии Уманов перезнакомил меня с ними». Уманов снабдил Фуделя двумя томами «Восток, Россия и славянство» и уговорил Фуделя послать свою брошюру о молодежи Леонтьеву. Фудель постеснялся напрямую посылать книжку Леонтьеву и попросил Уманова, чтобы тот направил ее от своего имени, испросив у Леонтьева разрешения на переписку. Леонтьев не замедлил с ответом: «Г-ну Ф… передайте, что и его письма доставят

мне *большое* удовольствие. Брошюрка его сначала не в моем вкусе, но с половины она превосходна…»

Такой благожелательный отзыв от большого писателя ободрил молодого автора, и Фудель тут же отозвался 2 апреля 1888 года. В ответе он подчеркивает и рассказывает о своей религиозности, о том, что форма (пост, молитва, исповедь) есть составная часть содержания (веры в Бога), которое без формы уже и не содержание, а только пустая идея. В конце апреля Леонтьев отвечает на письмо юного неофита, что его радуют правильные мысли Осипа на Православие. Леонтьев приглашает Фуделя в Оптину Пустынь (Леонтьев живет здесь с мая 1887 года, и об этом ниже), чтобы тот повидался с отцом Амвросием и получил от него благословение. В середине мая Фудель сожалеет, что на курсе начались выпускные экзамены и он не успевает «отмахиваться» от них, так их много.

Так началась их долголетняя переписка, доставляющая обоим моральное и умственное удовольствие. Поражает полная откровенность их, ныне почти исчезнувшая как форма общения между людьми. «Мне хочется, чтобы Вы поскорее узнали меня таким, каков я на самом деле есмь; тогда только Ваши советы и указания будут для меня особенно ценны», – признается Фудель уже в третьем своем письме. Ответ Леонтьева огромен – 30 страниц мелкого почерка, в котором Леонтьев подробно излагает свои взгляды на современное устройство общества и государства, на эстетику. «Это поразительно, – напишет Фудель спустя 30 лет Дурылину. – Писать незнакомому студенту так много, так любовно и о самом важном в своих убеждениях – это поразительно». После этого письма, полученного в конце июля, Фудель решился ехать в Оптину Пустынь. Откровенность, так сказать, за откровенность.

Сразу же после экзаменов Осип Фудель (5 июня 1888 г.) венчается с Евгенией Сергеевной Емельяновой, за которой ухаживал два года, и медовый месяц проводит в Раменском под Москвой. Денег на проезд до Оптиной Пустыни у Фуделя нет, истратился на свадьбу и отдых, в чем откровенно признается Леонтьеву. Тот выручает, высылая ему 25 рублей. На другой день после ночного приезда в Оптину Фудель идет к Ле-

онтьеву и вот как вспоминает об этой встрече. «Смущения во мне не было никакого. Юный задор сказался и в этом. Я шел, как к старшему другу, учителю, отцу; быть может, это и подкупило так Леонтьева в мою пользу. <…> Мы обнялись. Я сел напротив на стул, и несколько секунд мы молчали, с любопытством разглядывая друг друга. <…> Многих людей я встречал на своем веку, но такого интересного собеседника не приходилось встречать».

И при этом Иосиф Фудель иронично замечает, что Леонтьева в разговоре иногда заносит, и вспоминает такой вот случай из общения с ним. Как-то он, расстроенный каким-то разговором с Леонтьевым, идущим вразрез с его понятиями об учении Церкви, прибежал к леонтьевскому духовнику отцу Анатолию, чтобы разрешить сомнения. Тот успокоил Фуделя, сказав, что это у Леонтьева бывает. «Занесется, занесется Константин Николаевич, а ему скажу только: “а Церковь?” И он остановится и замолчит», – так прокомментировал отец Анатолий иные моменты споров его с Леонтьевым.

Возможно, кто-то из монахов разнес среди людей эту горячность Леонтьева, эти «заносы», что дало возможность некоторым исследователям, таким как, например, Мережковский, Куклярский, Иванов, о. Аггеев недоброжелательно и возмущенно восклицать, что «Христос ему остался неведом». Леонтьев «проклял мир во имя Христа и все-таки не пришел к Нему, даже ризы Его не коснулся, лица Его не увидел», – красиво говорит Мережковский, но слова его бездуховны и неверны. Лучше послушаем отца Иосифа, близко знавшего Леонтьева: «И я обязан именно ему истинным пониманием аскетизма и его значения в жизни, должным отношением к нашим монастырям и монахам, которых так осуждают многие даже православные люди. <…> К о. Амвросию Леонтьев относился с безусловным послушанием, он ему был беспредельно предан».

Это послушание и есть признание Христа как сына Бога. «Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешнего». И как это Мережковский почувствовал, что Леонтьев «ризы Его не коснулся»? Загадка.

Чего только не может выдумать русский прогрессивный интеллигент ради образности, ради того, чтобы поразить собеседника или читателя своей начитанностью, одному дьяволу, наверно, известно.

2

После окончания университета Осипа Фуделя определили 27 сентября 1888 г. кандидатом на судебные должности при прокуроре Московской судебной палаты, потом назначили делопроизводителем губернского правления, но во все время службы он мечтал оставить ее и стать священником. Он и до службы мечтал об этом и ехал в Оптину Пустынь, имея намерение испросить на то благословение отца Амвросия. Старец благословил Осипа на приготовление к священству, чему Леонтьев был несказанно рад.

Однако практическое осуществление этого благородного намерения тут же наткнулось на ряд существенных барьеров. Первый заслон поставила мать Осипа – полька католической веры. Она не просто сказала «нет», а в качестве обоснования использовала духовный императив. Если де Осип станет православным священником, то никакой ксендз не даст ей никогда Святого Причастия. Казалось – это тупик. Осип обратился за помощью к Леонтьеву. Тот в свою очередь пришел за советом к старцу Амвросию. Ответ его был прост и чрезвычайно мудр: он посоветовал, чтобы Осип отвечал матери так: «Тем лучше, я Вас тогда сам причащу!» Удивительная находчивость и мудрость, которую тут же приняла мать Осипа.

Преодолев семейный барьер, Осип пошел к Московскому митрополиту Иоанникию за советом, руководством и помощью, но тот отказывает ему, морщась, как от зубной боли, услышав фамилию Осипа.

И вновь помогает Константин Николаевич. Он посылает рекомендательную карточку Филиппову, а также письма обер-прокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву и его товарищу (заместителю) В. К. Саблеру. Сам же дает Фуделю подробные рекомендации: к кому

идти в первую очередь, как вести себя при встрече, вплоть до личных характеристик этих влиятельных лиц. При этом Леонтьев надеется, что преосвященный Алексей Виленский поможет ему. Так и случилось. Фудель выполнил все инструкции Леонтьева и уже 10 мая сообщает из Петербурга, что архиепископ Алексий согласился его посвятить, что прошение им уже подано, а выбор прихода состоится по приезде его в Вильно. «Я наверху блаженства», – добавляет он в заключение.

С губернской должностью Фудель расстается 6 июня 1889 года, а по пути в Вильно в том же месяце заезжает в Оптину Пустынь к Леонтьеву и за благословением отца Амвросия. 16 июля он рукоположен в сан священника и назначен вторым священником в собор города Белостока Гродненской губернии. Поздравляя его с этим знаменательным событием, 9 августа Леонтьев пишет: «Не забывайте старых друзей. Не только меня; но и товарищей: Вы, Кристи и Александров – только *трое* и мне до сих пор верны остались, и в *деле* оказались надежными. – Умоляю Вас, для пользы общей не прекращайте и друг с другом переписки. *Смиряйтесь перед Богом,* но в отношении призвания и важности идей Ваших все *трое* придавайте *и сами себе и друг другу – побольше значения*, и тогда и заочная связь ваша не легко порвется».

По сути – это самое что ни на есть духовное завещание и напутствие Леонтьева своей молодой смене, именно в качестве таковой он рассматривал Фуделя, Александрова и Кристи. Сама же доброта сердца Леонтьева, всегда искренне помогающего и крестьянским детям, и гептастилистам, и неведомому нам запойному уряднику, и есть то самое служение Христу и единение с ним, недоступное его критикам. Словно отвечая Мережковскому, святитель Василий, епископ Кинешемский (1876–1945) в своих «Беседах на Евангелие от Марка» пишет: «Черствость сердца и равнодушное отношение к ближнему представляет решительное препятствие для единения со Христом. Христианство, прежде всего, по своему практическому осуществлению есть служение ближним». Леонтьев – практик, реально помогающий людям и несущий свой крест. Крест служения родным и знакомым. Ибо в Евангелие

от Матфея сказано: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10:38).

Трудно потому не согласиться с утверждениями Леонтьева: «Без страданий не будет ни веры, ни на вере в Бога основанной любви к людям; *а главные страдания в жизни причиняют человеку не столько силы природы, сколько другие люди.* Мы нередко видим, например, что больной человек, окруженный любовью и вниманием близких, испытывает самые радостные чувства; но едва ли найдется человек здоровый, который был бы счастлив тем, что его никто знать не хочет…».

В человека надо верить, в человека, а не в человечество – без устали повторят Леонтьев. Его вера в Иосифа Фуделя – верное подтверждение его слов, потому что безликое человечество никогда не поможет отдельному человеку так, как поможет друг и брат по вере. И он оправдал все самые смелые надежды Константина Леонтьева.

Переписка между Леонтьевым и Фуделем с апреля 1888 по октябрь 1891 года насчитывает 134 письма. Больших, очень больших и малых. В значительной степени Леонтьев обязан Фуделю, подвигнувшим своим одним лишь вопросом к написанию им целого цикла писем (статей) на тему национальных движений и результатам, получаемых от их реализации в Европе. Вопрос Осипа Фуделя в письме от 21 июля 1888 года звучал так: «Почему именно можно сопоставить вместе идею национализма и либеральный демократизм – когда, *по-видимому*, они так противоположны: демократический процесс сравнивает, *равняет* все разнородное, упрощает его, а национализм *обособляет разнородное*, разъединяет разные народности». В своих статьях-ответах Леонтьев раскрывает взаимосвязь между национальными движениями и либеральным демократизмом, приводящим к мещанскому и пошлейшему перерождению наций, казалось бы, искренне поднявшихся на борьбу за свободу, за национальное самоопределение, за независимость. Этой злободневной теме посвящены статьи: «Национальная политика как орудие всемирной революции. Письма к О. И. Фуделю», «Плоды национальных движений на Православном Востоке», «Культурный идеал

и племенная политика. Письма г-ну Астафьеву», «Кто правее? Письма к Владимиру Сергеевичу Соловьеву». Последняя из них создавалась вплоть до кончины автора.

Глава 6
Оптина пустынь

> Как это столькие люди живут без религии и особенно в старости, когда уже нет утешения ни в житейской борьбе, ни в тех страстях, которые увлекают людей помоложе.
>
> *Леонтьев – Фуделю 12–13 января 1890 г.*

1

В 1886 году Филиппов увидел Леонтьева, приехав в Москву, «возмутился духом» и сказал: «Надо вам отдохнуть, надо освободить вас от всяких обязанностей». И тут же обратился к министру народного просвещения Ивану Делянову с вопросом о назначении Леонтьеву повышенной пенсии, ибо «дипломатическая» пенсия составляла всего лишь 600 рублей в год. Впрочем, шансов для положительного решения было немного: выслуги лет для высокой пенсии не хватало. Однако верные товарищи, а среди них, кроме Тертия Филиппова, князь К. Д. Гагарин, помощник министра внутренних дел, горячо взялись за дело.

Пока же после предварительных переговоров с министрами Филиппов посылает 2 августа 1886 года Леонтьеву запрос: не согласился бы тот на пенсию в 2000 рублей. Леонтьев, благословясь у отца Амвросия, соглашается. Но уже 10 августа Филиппов в очередном письме буквально наставляет Леонтьева, как просить министра просвещения: поболее о литературных достижениях, покороче о болячках. Просить нужно 2500 рублей, расклад следующий: 1200 рублей за выслугу чиновных лет, а 1300 – за литературные заслуги. Выздоровевший после осложнения

Леонтьев (он с сентября 1886 по апрель 1887 года работает в Москве) счел преждевременным уход на пенсию, полагая, что 1200 рублей за выслугу от него никогда не уйдут.

Леонтьев, понимая, что личное присутствие в таком вопросе – вещь незаменимая, в октябре выезжает в столицу на деньги князя Гагарина. Он встречается с начальником гланого управления по делам печати Евгением Феоктистовым, старым знакомым по салону Евгении Тур, и обговаривает все вопросы. Феоктистов готовит доклад министру внутренних дел графу Дмитрию Толстому, а уже тот пишет записку на имя министра финансов Н. Х. Бунге. В ней, в частности, отмечается: «Леонтьев имеет… особое мнение на поддержку и внимание Правительства. По справедливости может быть он причислен к числу писателей, которые… приносят значительную пользу своими произведениями. В избранных кругах общества его имя произносится с уважением, и литературно-политическая его деятельность ценится высоко…».

«Бунге (как и следовало немцу-профессору) более 1800 рублей не давал, находя, что в моей деятельности ничего нет особенного», – так Леонтьев комментировал пенсионную свою эпопею в письме (2 февраля 1887 г.) Губастову.

Нет, не всегда фортуна отворачивалась от него, как считал Леонтьев. В деле оформления пенсии она повернулась к нему лицом и сместила неугодного министра финансов. Прогерманская позиция Бунге, вовлекшая Россию почти в полную зависимость от немецких займов и давления германо-еврейских банкиров на внутреннюю политику России, надоела Александру III. Банкиры Германии, чтобы ослабить Россию, буквально приказывали Бунге, чтобы тот влиял на государя по вопросу введения парламентаризма, о чем выше уже говорилось. Пришедший на смену Бунге математик и директор Технологического института в Петербурге Иван Алексеевич Вышнеградский был коротко знаком с Филипповым. Потому повторное ходатайство графа Дмитрия Толстого к новому министру финансов было одобрено им без промедления 17 января 1887 года. Молитвы отца Амвросия возымели действие.

Однако и их порой заглушал громкий чиновный скрип. Все свои документы об увольнении, в том числе «Ведомость об усиленной пенсии», Леонтьев после отставки, состоявшейся 7 февраля 1887 года, высылает в Департамент общих дел Министерства внутренних дел. После их рассмотрения министр МВД граф Д. Толстой направляет их в Комитет министров, а в нем председателем все тот же Бунге. Дело вновь застопорилось. Лишь 10 апреля министры Комитета признали себя «некомпетентными» в суждениях о литературных заслугах Леонтьева, ограничившись назначением пенсии в размере 1500 рублей.

Случай этот говорит о том, что министры императора Александра III не во всем следовали его консервативно-охранительным принципам. Эпизод с Леонтьевым и сам факт 14-летнего пребывания у власти либерала Бунге, получившего после смещения с поста министра финансов повышение до председателя Комитета министров, ярко об этом свидетельствуют. Сторонников самодержавия даже в высшем свете было мало, достаточно вспомнить свидетельство (запись в дневнике) публициста Алексея Суворина от 19 ноября 1886 года. Касался он Алексея Дмитриевича Пазухина, ближайшего помощника министра внутренних дел: «Его взгляд на современное положение безотраден. Он прямо говорит, что людей, верующих в самодержавие, очень немного в России». Не это ли с абсолютной точностью объясняет непопулярность идей Леонтьева.

Министр внутренних дел Д. Толстой не удивился тому, что Комитет, возглавляемый Бунге, принял такое решение, и попросил 30 апреля через князя Гагарина, чтобы Леонтьев представил характеристику своих главных трудов. Выход был один – идти на аудиенцию к императору, которому еще в первых числах февраля министр просвещения Делянов преподнес прекрасно изданный экземпляр двухтомника «Восток, Россия и славянство». В книгу Филиппов вложил закладки, по которым император мог составить представление о взглядах Константина Леонтьева.

Леонтьев представил Гагарину не просто краткую характеристику, а настоящий развернутый доклад от третьего лица о своих поли-

тических и религиозных взглядах, о художественных особенностях беллетристических произведений. Приведем некоторые выдержки из этого доклада. «В то время (лет именно 15–10 тому назад), когда все почти без исключения публицисты наши как охранительного, так и либерального направления искренно или притворно увлекались югославянами, – автор один (из писателей *собственно политических*) указывал на демагогический дух сербов и болгар, на их безверие, на их душевную грубость и пустоту, на либеральный европеизм и т. д. Вообще на отсутствие в них именно того, чего ждали от них Славянофилы Аксаковского стиля».

Не боясь быть неправильно понятым, Леонтьев указывает на ближайшую геополитическую цель России – «овладение Царьградом и Проливами, утверждение Восточных Церквей» и составление «сносного союза» со славянскими народами. Освещает Леонтьев и теоретическую, так сказать, сторону своих взглядов на «историю Государств и обществ», говоря, что демократизация общества есть начало его разрушения и падения. При этом: *«Эгалитарный либерализм губит безвозвратно целые культурные миры…»*, – и потому должен соблюдаться принцип – «всякая власть от Бога». Властям же нужно подчиняться даже тогда, когда их требования кажутся несправедливыми.

Указал Леонтьев и о своих планах, о том, что занят теперь окончанием большого труда: «*Идеал всеобщего однообразия – и последствия общественного смешения в Западной Европе».* Вероятно, имеется в виду неоконченный труд «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения». Закончил свой доклад словами: «Задача этого труда – все та же главная и давняя мысль автора, что *неисправимое уравнение прав и смешение положений ведет шаг за шагом государства к расстройству и гибели».*

Князь Гагарин снимает копию с документа, а подлинник передает графу Толстому. Человек, которого, по свидетельствам современников, якобы ненавидели в обществе и левые и правые, министр внутренних дел России Дмитрий Толстой идет к императору хлопотать за мало-

известного «прогрессивной общественности» писателя и публициста Константина Леонтьева.

И что есть ненависть к графу Толстому, проводнику жестких, антилиберальных мер, которые он так настойчиво внедрял при Александре III? Не из-за той ли «суковатой палки» (определение Афанасия Фета) дисциплины, которую он всегда держал в руках, предпочитая ее увещеваниям крыловского повара, его не любили в обществе? Да, он находился под сильным влиянием Каткова и был до конца жизни одновременно министром внутренних дел, шефом жандармов и президентом Академии наук. Представить трудно сочетание столь противоречивых постов, но он справлялся, возвышая Отечество, чем и вызывал ненависть врагов из числа либеральной общественности.

Назначение пенсии для Леонтьева закончилось полным триумфом. В послужном аттестате записали: «Государь Император по всеподданнейшему докладу Министра Внутренних дел в 21 день Мая 1887 года Всемилостивейшее соизволил на назначение Статскому Советнику Леонтьеву, в дополнение к назначенной уже ему за усердную службу пенсии по тысяче пятисот руб. в год, добавочной пенсии за литературные труды по одной тысяче руб. в год».

2

Теперь Москву можно покидать, ведь в ней и с 2500 пенсионных рублей в год Леонтьеву не прожить со всеми своими домочадцами. И Леонтьев с радостью едет туда, куда зовет его вера, – в Оптину пустынь, под крыло великого старца Амвросия. Почему его тянуло туда?

Почему в Оптину Пустынь тянуло и простых людей, и дворян, и государственных служащих, писателей и поэтов? «В чем тут разгадка? – спрашивал себя Федор Чуфрин и отвечал себе: – Да, в том, что тут, в Оптиной, было сердце, вмещавшее всех, тут были свет, теплота, радость, утешение, помощь, уравновешение ума и сердца, тут была благодать от Христа, тут был тот, кто “долготерпит, милосердствует, не завидует, не

превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит" – все ради Христа, все ради других, – тут была любовь, всех вмещающая, тут был старец Амвросий».

В этом великом множестве глаголов, в смысле, заключенном в них, состоит вся краткая заповедь, которой должен следовать православный русский. Заповедь эта есть один из двух полюсов нравственного выбора жизненного пути, философии бытия. Другой полюс мироощущения и поведения заключался в приносимом с Запада эгалитарном эвдемонизме с его потребительской доктриной комфортности, безудержного потребления, накопительства, стяжательства, гедонизма, крайнего эгоизма, кратко выражаемого словами: «Я хочу!!!».

Нравственный выбор, сделанный Леонтьевым еще в 1871 году, разумеется, звал его на православный полюс, и он с радостью подчинялся этому мощному зову. Однако Леонтьев не был бы Леонтьевым, если бы он остановился в своем развитии. Жить для него – значит меняться, оставаясь при этом неподвижным в основах. Так примерно он рассуждает, говоря, в частности, о Церкви Александрову в одном из первых писем из Оптиной Пустыни (27 июля 1887 г.). И потому еще в феврале этого года он признавался Губастову: «Но не думайте, чтобы и в Оптину меня тянуло сильно. Нет, на время – да, с радостью, а надолго – все равно везде телесные страдания, везде равнодушие… Поздно!» Охота к перемене мест – одна из главных его природных особенностей, а колебания и сомнения в принятии бытовых решений – лишь следствие малой способности к хозяйствованию. Однако любовь к перемене мест вовсе не говорит о том, что Леонтьев привык сидеть на чемоданах, мечтая о грядущей смене места проживания. Он везде устраивался капитально и словно навечно. Жилье, пусть и временное, должно внушать фундаментальность, давать работу сердцу, без этих чувств он жить и работать не мог. Сначала в Оптиной он живет в гостинице, а потом снимает двухэтажный дом, который в его честь позднее назовут «консульским». Плата за него совсем-совсем небольшая – 400 рублей серебром и 33 копейки – за арен-

ду, дрова (без счета), воду и даже молоко. Леонтьев ремонтирует дом по своему вкусу, развешивает по стенам семейные и личные портреты. Привозит материнскую мебель, чинит ее, расставляет по комнатам, а их немало: особый кабинет с видом на крестьянские поля, спальня, комнаты для гостей, на первом этаже большая приемная зала.

Здесь, наконец-то, воплощается его культурно-эстетический и творческий идеал. Малая родина – Калужская губерния, сравнительная обеспеченность («материальные блага меряются привычкой и степенью претензий»), монастырь близко. «Жизнь вроде помещичьей, всенощные служат и часы читают в доме, монахи посещают… летом природа прекрасная, лес, река, луга большие, вещи родовые кое-какие, а с ними и воспоминания… и, наконец, возможность писать что хочу (или почти что хочу), в “Гражданине”» – так он описывает свой рай князю Гагарину.

Любителю умных бесед Леонтьеву не хватает только одного – умных собеседников для оттачивания мыслей. В этом он признается Якову Денисову, постоянному участнику посиделок в Денежном переулке: «Чувствую лишь одно лишение – это отсутствие беседы с такими милыми молодыми друзьями, как Вы, Кристи, Александров, Уманов и т. д. Впрочем, все они (кроме Вас) писали мне не раз». За пять оптинских отшельнических лет им написаны сотни писем, а как иначе скрасить умственное одиночество. Главные адресаты его – Иосиф Фудель, Константин Губастов, Тертий Филиппов, Анатолий Александров, Василий Розанов. Письма Леонтьева в абсолютном своем большинстве – это не рассказы о бытовых условиях жизни (но и без них нельзя), а продолжение философских размышлений о судьбах России и мира, в них рассыпаны тысячи афоризмов, раскрыты серьезнейшие планы обустройства России, спрогнозирована ее будущность, в большинстве своем безрадостная.

В эти годы Леонтьева прежде всего занимают проблемы внешней политики России. Кому же, как не ему, бывшему практическому чиновнику министерства иностранных дел, не писать об этом. Оптин-

ский «рай» поднимает ему настроение и создает особый творческий настрой. Подобный душевный подъем он испытывал на Афоне 15 лет назад, когда создавал «Византизм и славянство». Здесь, в Оптиной пустыни, им написаны не менее значимые общественно-политические статьи: «Записки отшельника» (1887–1891), «Национальная политика как орудие всемирной революции» (1888), «Плоды национальных движений на Православном Востоке» (1888), «Владимир Соловьев против Данилевского» (1888), «Над могилой Пазухина» (1891) и ряд других. Продолжил Леонтьев и работу над статьей «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения», и вот характерный штрих – начата статья на Афоне. Значит, условия для творчества и там, и здесь, в Оптиной, были схожи: свобода, эстетика, душевный покой.

Тому же Денисову он писал в ноябре 1887 года: «В “Гражданин” я в течение последних недель 3-х (с половины октября) послал уже 5 статей (политических) и готовлю 6-ю…»

Да, почти все леонтьевские статьи этого отшельнического периода охотно публиковал «Гражданин», издаваемый князем Владимиром Петровичем Мещерским, высоко отзывавшимся о Леонтьеве. Газета «Гражданин» особенно после ухода из жизни И. С. Аксакова (январь 1886 г.) и М. Н. Каткова (июль 1887 г.) осталась единственным консервативным изданием, решительно защищавшим самодержавный строй от натиска либерального печатного воинства, в количественном отношении намного превосходившим монархистов. Потому-то «Гражданин» и стал единственным пристанищем для литературного отшельника Леонтьева, в полной мере познавшего необычайные трудности с изданием своих нетривиальных произведений.

Мещерский гордился, что Леонтьев охотно сотрудничает с ним. Известны такие его слова, напечатанные 9 марта 1890 года в «Дневнике» (был такой в «Гражданине» передовой раздел): «Близкие отношения с людьми, как поэт Тютчев, как Достоевский, как К. Н. Леонтьев, дали во мне русской мысли развиться». Ранее, в передовой «Гражданина» от 3 мая 1887 года князь Мещерский напишет: «…как публицист Леонтьев

имеет еще большее (относительно беллетристики. – *М. Ч.*) значение. Сборник его рассуждений, изданных под заглавием “Восток, Россия и славянство”, а также “Византизм и славянство”, должны быть настольною книгою всякого русского человека».

Князь Мещерский еще с времен, когда будущий император Александр III был наследником, а он ему близким другом, продолжал оказывать на него влияние, удачным примером которого стал факт назначения Вышеградского министром финансов. Мещерский также добился у императора разрешения на преобразование с 1 октября 1887 года «Гражданина» в ежедневную газету, на издание которой он получал секретную государственную субсидию в размере до 100 тысяч рублей в год.

Мещерский писал царю, что «около “Гражданина” успел устроиться кружок таких сильных дарованиями и прекрасного направления сил, что это одно уже есть глубоко отрадное явление». Упоминал он и Леонтьева, «который из Оптиной пустыни пишет замечательные статьи и проснулся во всей силе своего оригинального и громадного таланта». Давая творчеству Леонтьева высокую оценку, Мещерский так отзывался о художественных достоинствах его произведений в статье «К. Н. Леонтьев как беллетрист» («Гражданин» № 11 от 5.02.87 г.): «Леонтьев, если не по количеству, так по качеству своих произведений не только ни в чем не уступает самому Тургеневу, но во многом превосходит его».

В годы царствования Александра III Мещерский имел к нему свободный доступ, и тот всегда прислушивался к советам князя, но отнюдь не афишировал своих отношений с ним ввиду неоднозначной репутации того в общественном мнении. А злые языки, как некогда отметил Грибоедов, «страшнее пистолета». И дело не в том, что был он странен, как отмечал Тертий Филиппов: «Ведь очень на вид странный человек и, кажется, мало кому приятный, а делает-таки дело, пока мы читаем газеты».

И хотя Леонтьеву приятно, что наконец-то его мнения тут же доходят до читателя, но он скупо делился этой радостью, не громко говоря: «Во всем я с “Гражданином” согласен, – в одном только не совсем:

во взгляде на внешнюю политику нашу за предыдущие 30 лет». Внешняя же политика, как мы знаем, есть прямое продолжение внутренней!

3

Постаревший Леонтьев, видный господин с «манерами человека хорошего общества» живет полумонахом, полусветским человеком в «консульском» двухэтажном доме совсем рядом с монастырем Оптиной пустыни. Монахи за глаза зовут его «консулом», потому и дом «консульский».

Здесь Леонтьеву становится легче и физически и морально. Он вновь собирается к монашескому постригу, чтобы выполнить старый и давний обет, данный им Богородице в Салониках, но что-то опять останавливает его. Точнее – кто-то, а именно, его духовник отец Амвросий, все еще не чувствующий готовности к монашескому смирению Константина Леонтьева.

И нет ничего удивительного в том, что настроение Леонтьева в эти годы зависит от состояния здоровья, а оно переменчиво, учитывая возраст, но надо отдать должное: психических срывов он не допускал как в поведении, так и в своем творчестве.

«Есть минуты очень трудные, но они проходят, и я опять радуюсь и живу, “день за днем”, как птичка Евангельская, как птичка гётевская (“я пою, как птичка, живущая на ветке” – кажется так?..)». Терзаний же, таких, что сжимали душу сомнениями безысходности, теперь уже нет. Он становится душевнее, понимая непобедимость поступи времени, и смиряется, как шустрый Дон Жуан перед монолитной поступью каменной фигуры Командора. Физическое дряхление его огорчает, ибо оно прежде всего символ серости и безобразия, столь противных ему во всем. Красота, воспеваемая им в людях, исчезает в нем самом – вот это его беспокоит и в этом он видит подтверждение своей философско-исторической теории 3-х стадий развития. В письме Губастову он отмечает с горечью: «Очень старею, мой друг, и очень своей физиономией недоволен: жреческого в ней мало, а больше хамская стала».

Но Леонтьев явно наговаривает на себя – хамской его физиономия никогда не была.

«Увидал в соборе на клиросе бокового придела старого видного господина с манерами человека хорошего общества, совсем необычного на вид. Очень выразительное лицо, с оттенком глубокой грусти и пытливости, живые глаза более пристально, чем быстро, смотревшие на все. Он был высок, и рост скрывал полноту. Он стоял за обедней без особых внешних признаков усердия и от времени до времени с большой любознательностью разглядывал толпу. Я догадался, что это “консул”». Так вспоминал о нем Евгений Поселянин.

И далее: «Во время этого первого разговора я заметил любознательность Леонтьева, направленную на людей вообще. Он жадно изучал всякого, кого видел в первый раз, – его выражения, манеры, выговор, слова, взгляды. Потом меня приятно поразила простота его. Впоследствии мне приходилось видеть пишущих лиц, стоявших неизмеримо ниже Леонтьева по значению, уму, дарованиям. И как старались они становиться на ходули. А он был совершенно прост, непритязателен во всем.

У него и той мысли, кажется, не было, чтобы производить какой-нибудь эффект. Он как-то радостно выражал свои мнения. Казалось, что мыслям было тесно в его голове, и они искали выхода в словах.

После знакомства с ним как мелки казались люди, говорившие: “Никогда не выказывайте никому много привязанности. Это обесценивает человека. Скупо делитесь мыслями, чтобы не выдохнуться на глазах людей”.

Он не скупился своими думами – конечно, потому что он всегда был преисполнен ими, всегда “кипел мыслями”. <…> Пожалуй, потому недостаточно ценили, что он слишком много и щедро давал, слишком был усерден к людям».

Поселянин, как следует из его рассуждений, умственно пленен Леонтьевым, потому что сам наблюдателен и талантлив. Явная закономерность видна в том, чтобы оценить талант, надо самому быть незаурядным. Людская посредственность верна лишь заветам сомнительной

мудрости: «не хочешь получить от людей зла – не делай им добра». Так легче скрывать скаредность чувств и презрительность к людям, чем проявлять искреннюю заботу и прямодушие. Они требуют усилий!

Да, Леонтьеву чужд образ лицедея, умеющего «надувать щеки», о чем говорил Е. Поселянин. Ему и Леонтьеву знакомы лицедеи-чиновники, сочиняющие за весь день одно деловое письмо и картинно вытирающие мнимый пот со лба, сообщая всем о своей высокой загруженности, и в первую очередь начальству. Есть в народе поговорка: «сам себя не похвалишь – весь день ходишь оплеванный». Надобности-то в этом для умного человека нет никакой, ведь всем известно, что только заурядные, с ограниченными способностями люди хотят казаться умнее, чем они есть. Как коротышки, вечно озабоченные своим малым ростом: то каблуки высокие к ботинкам привинтят, то нацепят шапку «боярку» невообразимых размеров, не понимая, что от этого выглядят смешно.

Один из древних и умных греков как-то сказал: «Для полного счастья человеку требуется славное Отечество». Далеко не каждая душа способна смириться с теряющим силы отечеством. Унижение Родины причиняет ей боль. Вот и Леонтьев признается в письме Филиппову, что «все *хочется* думать о смерти, о своей душе…», но тут же восклицает с болью. «А Россия? Послушайте! Ну… да Вы понимаете, какой вопль презрения подымается в душе, когда видишь нашу безмозглую “интеллигенцию” в европейском сюртуке!»

Все эти тревожащие душу мысли так характерны для русского неравнодушного человека, так знакомы всем, любящим Россию. Ей известны сотни примеров, когда разбиваются семьи по причине разных политических взглядов. Наверно, подобное характерно лишь для России. Эта редкостная политизированность жизни и сознания – яркая примета той русскости, характерной и для Леонтьева, и для Тютчева, и для Филиппова, и для других консервативно настроенных людей имперского мировоззрения. Романтиков души и ума. Романтизм (нет, не литературное направление, а состояние души) и есть основа для многих безымянных

бессребреников, отдающих время, силы и жизнь за Россию. Отсюда проистекает и практическая непобедимость русской армии.

4

После Данилевского Леонтьев остался единственным мыслителем в России, способным возразить Владимиру Соловьеву на его реплику в статье «Россия и Европа», направленную против Николая Данилевского: «Русская цивилизация есть цивилизация европейская». Примечателен и символичен заголовок, в пику повторяющий название основного трактата Данилевского «Россия и Европа». Соловьев подверг уничижительной критике все те четыре основы культурно-исторического типа славянской цивилизации, которые находил в ней Данилевский. Критике Соловьева подверглись: поземельная община, русские наука, философия и искусство. Согласно Соловьеву, по этим направлениям упадок: поземельная община не спасает земледельческий класс от пауперизма (нищеты), русские ученые – лишь собиратели материала, к чистой философии русские не расположены, так как хотят жизни, искусство как отрасль общеевропейского искусства тоже в упадке.

Прежде всего Леонтьев в своей статье «Владимир Соловьев против Данилевского» (1888) обращает внимание, что свои возражения Данилевскому Соловьев опубликовал в «Вестнике Европы» (1888), редактора которого цензор Леонтьев как-то хотел отправить на Камчатку за его либерально-демократические взгляды, наносящие вред России. При этом Леонтьев с горечью отмечает, что видеть имя Соловьева на страницах журнала г. Стасюлевича ему тяжело, потому что Соловьев высказанной в статье точкой зрения и местом публикации четко определился: с кем он и почему. Значит, Леонтьев имеет полное право критиковать его либеральные взгляды.

Леонтьев и Владимир Соловьев познакомились в конце января 1878 года, когда Леонтьев в Петербурге хлопотал о возврате на дипломатическую службу. Первым, кто обозначил желание познакомиться,

был 24-летний, уже известный в обществе богослов и философ Владимир Сергеевич Соловьев, сын популярного профессора истории. Он пришел к Леонтьеву и пригласил его в гостиницу «Англия» к 9-ти часам вечера, чтобы потолковать по душам. Леонтьев прибыл, прождал полчаса и убыл, несолоно хлебавши, оставив записку, но не обиделся, посчитав опоздание молодой рассеянностью.

Иосиф Фудель в своих воспоминаниях отмечал, что они были различны во всем: по натуре, характеру, вкусам, воспитанию, по взглядам, подчас совершенно противоположным. Сходство, сближающее их, о. Фудель находил лишь в том, что оба они «одинокие поэты-мечтатели, как рыцари, отдавшие свою жизнь одной любимой женщине – мечте». Но и мечты у них были слишком разные: приземленный Леонтьев мечтал о могуществе имперской России, а Соловьев – о преобразовании человечества в духовное богочеловечество. Мы уже знаем, как относился Леонтьев к абстрактному понятию «человечества». Тем не менее они сблизились после частых бесед, порой переходящих по времени за полночь. «Это была действительная дружба, корни которой не в рыхлой почве умственного единомыслия людей, а в твердой почве их *сердечного* влияния друг к другу, несмотря на принципиальное разномыслие», – так поэтически и возвышенно объясняет их привязанность о. Фудель. Что же, с этим можно согласиться! В жизни подобное случается, хотя очень редко.

Леонтьев со свойственной ему прямотой не скрывал, что находится под обаянием личности Соловьева, и порой преувеличивал его достоинства и находил оправдание недостаткам. В оригинальности идей Соловьева о церковном единстве, но и не только, Леонтьев видел прообраз будущего своеобразия всей русской культуры. Он даже простил Соловьеву его призыв к Александру III о помиловании убийц отца, императора Александра II, провозглашенный на публичной лекции в зале Кредитного общества 28 марта 1881 года. Обосновал Соловьев свой призыв тем, что смертная казнь якобы противоречит христианскому идеалу русского народа, а он может из-за этого не признать Алек-

сандра III своим царем. Либеральная публика впала в экстаз и носила Соловьева на руках, как носила Достоевского после Пушкинской речи. За такие призывы Соловьева выслали из Петербурга, и в результате он отказался от преподавательской работы.

После лекции научный интерес Соловьева все более смещается в сторону богословской проблематики. И вот что интересно и лишний раз подтверждает народную примету, что «любовь зла». Леонтьев прощал ему, богослову, что он, по собственному признанию, годами не исповедовался и не причащался, прощал ему союз с либералами и его борьбу со славянофилами, и преклонение перед Западом и католицизмом. Прощал то, чего не простил бы никому другому.

И потому ответ Леонтьева в статье «Владимир Соловьев против Данилевского» с критикой взглядов Соловьева носит достаточно мягкий и обтекаемый характер, хотя Соловьев позволял себе явно некрасивые полемические выпады, чем несказанно огорчал Леонтьева. Вот как Леонтьев в письме Фуделю отзывался о статье Соловьева «О грехах и болезнях»: «Его эта статья до того мне не понравилась и по направлению и по тону, что я даже написал ему письмо, наполненное самыми суровыми укорами дружбы (я его очень люблю лично, сердцем; у меня к нему просто – физиологическое влечение)…»

Разберем упреки Соловьева к Данилевскому по пунктам. Относительно сельского хозяйства. На предложение Соловьева передать землю в личную собственность крестьянам Леонтьев мудро возражает, что с таким переходом общинных порядков к индивидуальным быстрого и однозначного процветания сельского хозяйства ждать не придется. Время докажет леонтьевскую правоту: во всем капиталистическом мире фермерское хозяйство успешно только при финансовой поддержке государства. В другой работе Леонтьев скажет афористично и точно: «Земля должна быть ношей *государственной».*

Касательно упадка науки Леонтьев рассудительно возражает: «Но с другой стороны, так как в самых отрицательных явлениях жизни кроется всегда зародыш чего-нибудь им *антитетического* или *поло-*

жительного, то некоторым из этих отрицательных полуистин г. Соловьева можно прямо радоваться, а насчет других быть в благоприятном сомнении и спросить себя: так ли это?»

Относительно предложения Соловьева о слиянии двух церквей: католической и православной под началом Папы, Леонтьев иронично вопрошает: «Зачем я пойду в Рим за Соловьевым? Мне ни для личного спасения, ни для процветания нашей отчизны этого не нужно». Вот оно ключевое положение философии Леонтьева – **процветание отчизны.** Большинство критиков и исследователей творчества Леонтьева об этом забывают или не хотят отмечать, как и современники его, особенно Соловьев с либеральным своим богословием.

Рассмотрев утверждение Соловьева, что русская цивилизация есть лишь почва для примирения Православия с Папством, Леонтьев дает ему уже более жесткую отповедь: «Владимир Соловьев для меня не имеет ни личного мистического помазания, ни собирательной мощи духовного собора. <…> В этом смысле, в смысле обязательности, катехизис самый краткий, сухой и плохо составленный, но духовною цензурой просто-напросто одобренный, для меня, православного, в миллион раз важнее всей его учености и всего его таланта!» И в конце сурово итожит, что православные иерархи считают ересью католицизм Римский. Едкие, но не ядовитые уколы следуют один за другим: «Если в сердце вашем крепок этот мужественный *страх Божий*, – не бойтесь и Соловьева; любите и уважайте его. *Это твердое православное чувство научит вас само, где остановиться!*» Этот отпор многое объяснит в последующих отношениях Леонтьева и Соловьева. И нежелание быть арбитром в споре Леонтьева с Астафьевым относительно вопросов национализма, и не выполненное обещание написать статью о Леонтьеве, и даже хитроиезуитский смысл статьи Соловьева на смерть Леонтьева.

О культуре. Соловьев, в частности, провозгласил: «Как русская изящная литература, при всей своей оригинальности, есть одна из европейских литератур, так и сама Россия, при всех своих особенностях, есть одна из европейских наций… Только при самом тесном внешнем

и внутреннем общении с Европой русская жизнь производила действительно великие явления». Еще раз повторим, что, по мнению Соловьева, Россия имеет только религиозное призвание и для нее будет лучше, если произойдет соединение православной Церкви и католической, и этому объединению оригинальная славянская культура лишь помеха.

Сам Леонтьев никогда не отрицал европейскую культуру прошлого: «Принимая европейское, надо употреблять все усилия, чтобы перерабатывать его в себе так, как перерабатывает пчела сок цветов в несуществующий вне ее тела воск» («Грамотность и народность»). Но для того, чтобы переработка сока в мед шла успешно, «для того, чтобы нация приобрела хотя бы и преходящее (как все на свете), но все-таки истинное и прочное мировое значение, ей надо творить свое и для себя. Только созданное для себя и по-своему может послужить и другим». То есть Леонтьев не жадничает, он не хочет создавать нечто обособленное и пригодное только для русских и славян. Хорошо и качественно выработанной культурой он готов поделиться со всем миром. «Не завидуйте, а берите и приспосабливайте себе», – словно предлагает он всем народам мира. Вот таков он «изувер» и «любитель палки».

И вновь мысль Леонтьева возвращается к очевидному: чтобы строить, нужна дисциплина, которой пронизана культура прошлых времен. Нет, он не тянет Россию в прошлое, он черпает из него крупицы золотого опыта, чтобы перенести в настоящее, так как «созидание есть, прежде всего, прочная дисциплина интересов и страстей. Либерализм и дальнейшее подражание Западу не могут создать ничего».

Относительно русской литературы мысль Соловьева, кстати, не нова: известны люди, кто ниспровергал ее, в том числе, и свои, доморощенные. Пламенный Виссарион Белинский отказывал и Пушкину, и Гоголю во всемирном значении: «Тут нечего и упоминать о Гомере и Шекспире, нечего и путать чужих в свои семейные тайны. “Мертвые души” стоят “Илиады”, но только для России: для всех других стран их значение мертво и непонятно». Леонтьева не пугали и даже не тревожили мнения о русской литературе как малой части западной куль-

туры. Он рассуждал с эстетической точки зрения: чем больше оригинальности в ней, чем более она самостоятельна и отлична от западных влияний, тем лучше для России.

Между тем статья Соловьева против Данилевского подвигла Леонтьева на подробный анализ собственной историософии, выведенной впервые в «Византизме и славянстве». Отец Амвросий, когда Леонтьев просил у него благословления (!) на написание этой статьи, сказал: «Пишите прежде то, что Вы называете историческим пророчеством». Значит, отец Амвросий чувствовал и верил в такие способности раба Божьего Константина.

Повторно указывая (первый раз в «Византизме и славянстве») на тысячелетний возраст русской истории и культуры, Леонтьев делает следующий вывод: «Мы давно уже не варвары в *хорошем* (в корень обновляющем) *смысле* этого слова! Мы *разве только римляне*, и то не характером души нашей, а судьбами нашей истории». Леонтьев вновь напоминает читателю об известной схожести влияния Рима и России на ход исторического развития. Заключается она в том, что, умирая, Римская империя подарила миру новую религию – христианство, восточная ветвь которого – византийское православие успешно привилась на Руси, ставшей после этого гораздо большей и сильной империей, чем погибшая Византия. «У Рима своя великая *государственная* система, свое политическое *учение,* своя культурная государственность, а не просто *Государство,* как было у македонских Царей, – поясняет Леонтьев, и продолжает: у Византии *небывалая дотоле* великая *религиозная система, свое* резко от всего отделившееся *мистическое учение*, свое *первое*, по времени, в мире *Христианское государство*».

Наследницей этого великого христианского государства Леонтьев справедливо считает православную Российскую империю. Этому историческому факту трудно что-либо возразить. Леонтьев же выделяет и подчеркивает значение этого факта: «Русские славяне из кучи мелких, диких и несогласных княжеств *создали сами новое* великое и просвещенное Царство». И создали, прямо скажем, задолго до всех этих германских

«рейхов» и Италии, которые объединились в мощные государства лишь в 60-е годы XIX века. Объединились прежде всего на «почве Церковного домостроительства». Леонтьев неустанно и постоянно отмечает эту созидательную роль Церкви: «Церковность – культурна; созидательна; *голый племенной национализм* разрушительно-плоск». Поэтому не нужно объединяться церквам, чтобы не растерять своеобразие своей культуры, к тому же жесткий, если не сказать жестокий, католицизм может подмять под себя Православие: память еще сохраняла хитрые приемы католической пропаганды в Османской империи.

Так какова же дальнейшая судьба нашего третьего Рима? Такой вопрос тревожит Константина Леонтьева в последние годы жизни. Ему, горячо любящему Россию, это было далеко не безразлично. Ведь он не «старый безумец Лев Толстой», что продолжает «безнаказанно и беспрепятственно проповедовать, что Бога нет, что всякое государство есть зло и, наконец, что пора прекратить существование самого рода человеческого на земле», – он патриот земли русской. Он в страхе не за свою жизнь и даже – за свою душу, а за будущее Российской империи. Ведь эгалитарно разрушительный напор с Запада невероятно силен, а спасительная реакция правления Александра III, вероятно, непродолжительна по времени.

Значит, надо что-то придумать. Надо «создать в недрах своих новые формы определенной и ясной *общинности и сословности*… развить и утвердить над своим социальным миром нечто подобное той теократии, которую ищет и г. Соловьев (только не непременно в Риме, как он), или же вступить после непродолжительной и неудачной реакции снова на тот “пространный” путь, по которому шаг за шагом готовы вести нас наши “средние” западники в объятия интернациональной Европы», – предлагает Леонтьев. Этими нестандартными, но ясными предложениями он делился 3 сентября 1889 года со своим другом и верным помощником Филипповым. Леонтьев выдвигает концепцию «трех путей» будущего развития Российской империи: «Что-нибудь одно из трех: или 1) *особая культура*, особый *строй,* особый *быт,* подчинение *своему*

Церковному единству; или 2) *подчинение* Славянской государственности Римскому *папству;* или 3) *взять в руки* крайнее революционное движение и, ставши во главе его, стереть с лица земли *буржуазную* культуру Европы. Недаром построилась и *не достроилась* еще эта великая государственная машина, которую зовут Россией… Нельзя же думать, что она *до самой* (до неизбежной *во времени* все-таки) гибели и смерти своей доживет только как политическая, т. е. как механическая – сила, без всякого идеального влияния на историю». Россия пошла по третьему пути: большевики взяли в руки революционное движение и создали «великую государственную машину» с названием СССР. Приходится только поражаться той точности прогнозных путей развития России, что чертил ей «некий» Леонтьев, консерватор и реакционер.

Что еще советует Леонтьев для развития и процветания России в будущем? Чтобы гуманность сопрягалась в глубине души не с самодовольством морального буржуа, а с верою в Бога и со страхом Божьим, приходящим как награда духовного воспитания. Тогда «жизнь будущих веков стала бы и легче, и благороднее, и душистее, и душеспасительне». Другими словами, путь к духовной, утешительной, совестливой жизни пролегает только через веру в Бога и Церковь. Это и есть **центр** идеальной философии Леонтьева. Однако чтобы стать верующим, надо потрудиться, надо приложить душевные усилия и понять суть Православия, и этот путь прихода к Богу индивидуален. «Хорошая натура есть особый дар; хорошее направление есть дело свободного избрания. Христианская вменяемость относится не к дарам натуры, а к приобретенным усилиями плодам веры и страха Божия», – разъясняет Леонтьев.

Индивидуальная вменяемость во Христе – это не только эгоистическая забота о бессмертии собственной души, это и благородная жизнь «будущих веков», так как из миллионов спасенных душ составляется мировой Божий порядок. Так, как в Символе Веры звучит: «Чаю воскресение мертвых, и жизни будущего века». Движение в таком направлении устраняет, по Леонтьеву, причину государственного и морального разложения, о которой он говорил в «Византизме и славянстве». Напомним:

«человек ненасытен, если ему дать свободу» – вот основная причина вторичного смешения и упрощения, наступающие с введением демократий. Христианская вменяемость гасит эту ненасытность, а вместе с ней зависть, корысть, гордыню, неуважение к родителям…

И когда в статье на кончину Константина Леонтьева Соловьев утверждает, что идеал Леонтьева не обладает «одноцентренным» ядром, объясняя этот тезис противоречием личных устремлений Леонтьева к «душеспасению» и «преходящим сновидением жизни», – это передергивание фактов. Это намеренное непризнание личных его (а также тысяч других людей) усилий к совершенствованию души во Христе, ведущих к процветанию «будущих веков». Это искусственное смешивание, неприятие личного «трансцендентного эгоизма» по спасению души с общественным идеалом Леонтьева о совестливой духовной жизни всех христиан ради славы Отечества Российского.

Часть VIII
ЦВЕТУЩАЯ СЛОЖНОСТЬ

…по внутренней потребности единства, есть наклонность и к единоличной власти, которая по праву или только по факту, но всегда крепнет в эпоху цветущей сложности.

К. Н. Леонтьев.
«Византизм и славянство»

Глава 1
Национализм и культура

Я люблю Россию, царя, монахов и попов, Россию красных рубашек и голубых сарафанов, Россию Кремля и проселочных дорог, благодушного деспотизма…

Из письма К. Н. Леонтьева –
Е. С. Карцовой (1878)

1

«Вы хорошо сделали, однако, что предложили мне все эти вопросы. Без вашего письма едва ли мне пришло когда-нибудь на ум взяться за этот труд», – этой благодарностью Фуделю открывает Леонтьев свой цикл острых статей по национальному вопросу. Эти вопросы по национальным особенностям развития новых государств Европы Фудель задал Леонтьеву 21 июля 1888 года, а уже 19 августа Леонтьев спрашивает

у него разрешение, чтобы на готовом уже первом ответе («письме») поставить в заголовок имя адресата, то есть Осипа Ивановича.

В конце августа Фудель приезжает к Леонтьеву для обсуждения вопросов национализма и космополитизма, а 14 сентября 1888 г. в газете «Гражданин» появляется первое «письмо» (статья). Все это говорит о том, что тема близка Леонтьеву и обдумана им еще со времен написания «Византизма и славянства», что подтверждают первые слова: «Все то, о чем я здесь буду писать, самому мне давно уже ясно».

В течение календарного месяца (до 7 октября) «письма» через номер регулярно публикуются в «Гражданине». «Мещерскому, должно быть, так все это понравилось, что он напечатал не в фельетоне, а в передовой с моим именем. И к вашему имени приучим публику понемногу», – с радостью пишет Леонтьев Фуделю 18 сентября 1888 г., на что тот отвечает: «А пока толков возбудили Вы очень много; муравейник раскопошили».

Завершив одну статью, Леонтьев тут же принялся за другую «Плоды национальных движений на Православном Востоке», являющуюся непосредственным продолжением первой. Публикация второй статьи началась в том же «Гражданине» с 3 ноября 1888 г. и завершилась 14 февраля следующего года. Первый глубокий отклик на свою первую статью Леонтьев получил от своего ученика (гептастилиста) Николая Уманова. Тот писал: «О Вашей статье я думал во Владыкине (имение Умановых в Пензенской губернии. – *М. Ч.*), сидя за своим сочинением, думал о ней в вагоне по дороге в Москву, ни на минуту не выходит она из головы и теперь».

Вот как сильно она поразила Уманова: «Вы сказали страшное слово, такое страшное, что у меня решительно недостает мужества согласиться с ним. Рассудком я согласен с Вами, да и как не согласиться, когда она так очевидна и правдоподобна.

Но вместе с тем она так ужасна, с нею так грустно, так невыносимо тяжело смириться, что невольно, инстинктивно как-то хочется усомниться в ней».

Невольно Николай Уманов выразил мнение читающей России не только по поводу этой статьи Леонтьева, а по всему его публицистическому творчеству, по всем его предсказаниям и пророчествам, сбывающимся не только при его недолгой жизни, но и через столетия. Все эти долговременные предвидения внушают ужас неразвитому уму, восклицающему в страхе: «Как? Такого быть не может! Никогда, потому что быть такого не должно…». Чтение Леонтьева – это жесточайшее пробуждение от сладостного сна с его иллюзиями и фантастическими желаниями вечного счастья, с его недосказанностью, легко прощаемой в алогичном сне. Чтение Леонтьева – это познание сухой логики естественного хода исторического процесса, признавать которую страшно, ввиду конечности всего, что нас окружает. При чтении статей на национальную тему – это признание космополитической сути глобального, опирающегося на мнимую демократию капитализма, несущего разрушение культурной самобытности национальных образований, традиций народной жизни, глубины русского (в частности) народного духа, религиозного воспитания. Для человека же, душой болеющего за Россию, читать Леонтьева – словно разгонять туман, рукотворно сотканный либералами всего мира, и видеть то, что раньше было не видно. И возникает истинно физическая боль, особенно понятная нам, русским, прошляпившим такую прекрасную страну из-за той самой «умственной робости», лени и мягкотелости, о которых так часто говорил Леонтьев.

В одном из последних писем Владимиру Соловьеву, касающегося вопросов государственного национализма, Леонтьев отмечал, что граждане не станут дорожить таким государством, которое «не дает им особой жизни и не освящено в их глазах особыми *идеалами,* преимущественно религиозными». И эти слова тоже внушают ужас своей верностью и реальностью, происходящей не только здесь и сейчас, но и во всем мире. Леонтьев сам, проникшись ужасом безгосударственного будущего, старается внушить этот страх читателям, а большей частью собеседникам и адресатам своих писем. Такое способ внушения

объясняется его любовью к людям, которых он предупреждает: без государственной силы вы погибнете. Вам будет плохо, если государство перестанет вас защищать, каждый бандит при анархии подойдет к вам и безнаказанно воткнет вам ножик в бок. Государство же сильно своей основной нацией, и, если ей будет хорошо, то и государство-охранитель будет устойчиво, но при этом Леонтьев вовсе не принижал роль «национальных окраин» и отнюдь не выдвигал лозунг «Россия для русских». Наоборот: «С упорными *иноверцами* окраин Россия со времен Иоаннов все росла, все крепла и прославлялась, а с “европейцами” великорусскими она в каких-нибудь полвека пришла…» Пришла к либерализму, к реформам Александра II, – добавим мы. На территориях Малой Азии и во Фракии, где он служил консулом и где понял, что главная опора государства на традиционалистский уклад жизни всех народов и, прежде всего, турок-мусульман, признающих веру, силу и власть. И не важно, что вера у них была другая – мусульманская, главное, что она была.

Как это так, размышляет Леонтьев, что люди ищут одного, а находят нечто противоположное искомому. В движениях же национального самоопределения происходит всегда так: вместо обретения и укрепления национальной самобытной культуры при космополитической демократизации происходит упадок ее и воцаряется мещанская пошлость, направленная лишь на внешние удобства, на безудержное «всеобщее, мелкое удовольствие», несущее гибель культуре. Анализируя освобождение Греции от турецкого ига, Леонтьев подмечает факт, что многие в Европе ждали от возрожденных эллинов чего-то особенного в бытовом и духовном отношении. «*Ждали и ошиблись*. Творчества не оказалось; новые эллины в сфере высших интересов ничего, кроме благоговейного подражания *прогрессивно-демократической Европе,* не сумели придумать». «Новые эллины» – «новые русские». Будто и не прошло ста (100) с лишним лет.

Леонтьев анализирует итальянскую историю, германскую, французскую, и все они тоже приводят его к таким же выводам: «*Все идут*

к одному, к какому-то среднеевропейскому типу общества и господству какого-то среднего человека. И будут так идти, пока не сольются все в одну всеевропейскую республиканскую федерацию».

Казалось бы, чего бояться этой федерации, ведь люди все также будут жить, ходить на работу, в школу, в университет, рисовать картины, писать книги. Но не только хлебом единым жив человек. Нужны идеалы, в том числе и религиозная мистика, о которой он говорит в письме Соловьеву, нужен национализм настоящий, оригинальный, обособляющий и утверждающий «наш дух и бытовые формы наши…». Настоящий националист – это не тот, что кричит на каждом шагу: «Россия для русских». Не к этому национальному обособлению должны стремиться русские, а «стремиться со страстью к *самобытности духовной, умственной и бытовой*… И тогда и остальные славяне пойдут со временем по нашим стопам». Вот как понимал национализм Леонтьев, вот как и мы через сотню с лишним лет должны его понимать.

Так что же есть революция, о которой говорится в названии статьи «Национальная политика как орудие всемирной революции. Письма к О. И. Фуделю»? Уточняя термин, Леонтьев прибегает к определению Прудона, с которым полностью согласен. «Она есть результат *истощения принципов*, результат *противоположных идей*, столкновения интересов и *противоречий политики*, антагонизма предрассудков, одним словом, всего того, что наиболее заслуживает названия нравственного и умственного хаоса!». И прихода этого хаоса в Россию очень боится Леонтьев. Своей статьей он хочет заставить думать «людей власти и влияния» об этой угрозе и принимать меры по ее задержке. «Неужели немного позднее других и мы с отчаянием *почувствуем,* что мчимся *бесповоротно* по тому же проклятому пути!?» Имеется в виду путь потери национальной самобытности, культурных особенностей, а дальше… Дальше революция.

В 1888 году Леонтьев пока еще верит в консерватизм и религиозность русских: «Нет, пока есть еще одна надежда – надежда *именно на Россию!*» Но и она (Россия) может быстро исчезнуть, если народ-богоносец,

говоря словами Леонтьева, «развинтится», то есть потеряет смирение и покорность, качества, делающие его «истинно великим и примерным народом». Если так случится, то «…через какие-нибудь полвека, не более, он из народа-“богоносца” станет мало-помалу, и сам того не замечая, народом-богоборцем, и даже скорее всякого другого народа, может быть. Ибо действительно он способен во всем доходить до крайностей…».

Леонтьев ошибся чуть-чуть лишь в сроках: не через полвека, а через 39 лет.

«Ужаснувшиеся» от железной логики Леонтьева Николай Уманов и Иосиф Фудель пишут статьи-отзывы на труд Леонтьева и направляют их в «Русское дело», с которым они так долго сотрудничали. Однако Шарапов сразу не дает им ходу, а в феврале 1889 года журнал попал под цензурное запрещение, о чем Фудель сообщает учителю в письме от 24 февраля 1889 года. Леонтьеву очень хотелось, чтобы отзывы поступали не только от лучших его учеников, мнения которых он знал, а чтобы печать полнилась возражениями, спорами, дискуссиями. Вопрос-то был системный, знаковый, имеющий значение для будущего России, но прогрессивной общественности судьба России безразлична. Главной задачей либералы считали уравнение своих прав с правами государства. Как в сказке Пушкина «О рыбаке и рыбке» мечтала старуха, чтобы золотая рыбка была у нее на посылках. Так и либералам постоянно хочется, чтобы государство прислуживало им, а не они служили ему, послушно, порой со страхом склоняя голову перед его мощью. Либералы, недальновидно мысля, во все времена думают, что если раздробить мощь государства (приватизировать его), то им свободнее и вольготнее будет существовать и упрекать государство в чрезмерном использовании силы для наведения порядка. «Но страха этого, страха *вольного* и принципиального не хотят либералы; они его считают несовместимым с *достоинством* современного мещанина…», – отмечал неоднократно Леонтьев.

И потому либеральные издания молчали, словно и не было никакой острой статьи Леонтьева, так сильно затрагивающей их. Ответить

значит признать, что кто-то понял их скрытые мотивы, направленные на разрушение национальной самобытности народа, без которой и государству-то жить недолго останется.

2

Однако были и есть в русском обществе люди, понимающие опасения Леонтьева. Один из них отец Ивана Кристи – Иван Васильевич Кристи, боготворивший Леонтьева и зачитывающийся его статьями, предложил издать за свой счет отдельной брошюрой статьи «Национальная политика как орудие всемирной революции» и «Плоды национальных движений на православном Востоке». Кто-то иной тут же ухватился бы за это лестное предложение, но критичный к себе Леонтьев сомневается, так как в этих статьях «почти одно отрицание; а до положительного своего я не успел дойти. Думаю лучше – еще прежде 3-ю написать». Под «положительным» надо понимать реальные предложения, которые нужно предпринимать для культурного обособления от Запада.

Кристи-старший предложил не ждать, а издать отдельно эти две статьи: первую весной, а вторую – осенью, логично и умно мотивируя свою точку зрения: «…впечатление не отрицательное, потому что основания, на которых зиждется *отрицание,* очень *положительны.* Потом все-таки в них разница. “Национальная политика” шире <…> Это закон с примером. “Плоды” уже частный пример. Пример при том, если не ошибаюсь, больше закона».

Что и говорить: большим умницей был отец у Ванечки Кристи, кратко сформулировавший содержание обеих статей Леонтьева. Уже 24 января 1889 года Кристи сообщает, что «статья разрешена цензурой» и что выход ее можно ожидать в феврале.

В середине февраля счастливый Леонтьев дарит брошюру своим друзьям и знакомым: оптинскому послушнику князю Борису Туркестанову (будущему митрополиту Трифону), Губастову, служившему

в это время в Вене, Шарапову, журнал которого «Русское дело» был закрыт в конце февраля.

Афанасий Фет получил брошюру не от Леонтьева, а от своего друга, шталмейстера Ивана Петровича Новосильцова, хорошо знавшего труды Леонтьева и уважавшего его точку зрения. Придворный императора, «воспылав желанием пропагандировать ее», даже подарил ее греческой королеве Ольге Константиновне, двоюродной тетке Александра III, чтобы та, прочитав брошюру, дала бы ее императору для прочтения во время совместного водного отдыха в финских шхерах. Королева эллинов, посчитав, что хотя Леонтьев «политически пишет умно, но тяжело для чтения всякого», не дала прочесть брошюру племяннику. Типично женская логика: если **мне** скучно, то и других не минует такое же чувство.

Так вот Фет, которому брошюра очень понравилась, сравнивал ее в письме Леонтьеву по размеру задач с Эйфелевой башней, а в письме Владимиру Соловьеву утверждал, спрашивая адресата: «Не знаю, прочли ли вы прекрасную брошюру К. Н. Леонтьева “Народная политика как орудие революции”. Чрезвычайно тонко и умно».

Печатных вразумительных откликов почти не было. Была лишь бульварная ругань. Газета «Свет» в материале, посвященном румынскому вопросу, отмечает статью Леонтьева, как «дикую по своей бестолковости». Касаясь же характера Леонтьева, отмечалось, что у него «болезненно настроенное воображение, объясняющее его психопатические парадоксы». Очень типичные для либералов приемы, направленные против людей, не близких с ними убеждений.

Славянофил Александр Алексеевич Киреев, брат ранее упомянутой Ольги Новиковой, с которой Леонтьев состоял в переписке, отозвался статьей «Народная политика как основа порядка (ответ г. Леонтьеву)». Этот корректный ответ Леонтьев позже считал образцом политической полемики, в которой анализируется смысл идеи, а не личность автора. Да еще Василий Розанов уже в 1991 году, будучи регулярным адресатом Леонтьева, написал замечательную статью «Европейская культура

и наше к ней отношение», в которой благожелательно упомянул труд Леонтьева в следующем контексте. «…Если бы западническая критика не ограничивалась повторением общих мест, если бы она действительно имела бы силы бороться – она давно подвергла бы систематическому обсуждению идеи, высказанные последним в книге “Восток, Россия и Славянство” или в брошюре “Национальная политика, как орудие всемирного разрушения”».

Статью Леонтьева прокомментировал и его друг Павел Евгеньевич Астафьев всего лишь одним абзацем в отдельно изданной брошюре (1890) «Национальность и общечеловеческие задачи». Абзац-то был один, но оказался очень ядовитым не только для идей Леонтьева, но и всего русского культурного национализма. Краткий комментарий перерос в длительную полемику, продолжавшуюся до кончины Леонтьева.

Астафьев, характеризуя близящийся к завершению XIX век как век революций и торжества научно-технического прогресса, не увидел внутренней связи этих «торжеств» с национальным началом, считая, что все события этого бурного века доказываются лишь простым фактом **одновременности.** Особенно возмутило Леонтьева астафьевское утверждение, что космополитизм и забвение религиозных начал не есть следствие революций. По сути, Астафьев, ранее правильно понимавший гипотезу «триединого развития», изложенную в «Византизме и славянстве», то ли не понимал ее до конца, то ли этот выпад был прорывом «гнойника» их неровных с 1885 года отношений, последовавших вслед за первым знакомством и плодотворным краткосрочным сближением.

Главная причина расхождений – различное понимание роли Православия. В нем Леонтьев видел центр тяжести в мировом положении России. Будет живо оно, будет жить и Россия – такова была его аксиома. Именно оно обеспечивает идейную независимость («культурный национализм») и служит своеобразным оберегом от влияния безбожного Запада. Астафьев в вопросах церковной жизни разбирался мало, статей на эту тему не писал, хотя почему-то считался «христианским философом» – так отмечает в своих воспоминаниях Лев Тихомиров.

На самопознание и жизнь нужно смотреть реальнее и проще – так думал и предлагал Леонтьев. Национальный русский идеал он понимал так: «*Православие и его усиление; самодержавие* и его незыблемость; быть может (если это удастся), *сообразный с настоятельными потребностями жизни* (и по этому своеобразный) *сословный строй*; *сохранение неотчуждаемости крестьянских земель* (и если возможно, то и закрепление дворянских); *сохранение в быте* нашем, по мере сил и возможности, *как можно больше русского;* а если посчастливится, то и создание новых форм быта; *независимость* в области *мышления и художественного* творчества».

Просто и доступно. Эта правота «по чувству» и простота изложения презиралась профессором Астафьевым и позволяла несколько свысока относиться к «дилетанту» Леонтьеву и поучать его, особенно в вопросах морали.

Сложность взаимоотношений обусловила резкий характер полемики между Леонтьевым и Астафьевым по национальному вопросу, начавшейся в 1890 году. В марте этого года Леонтьев знакомится с тем самым злополучным абзацем из астафьевской статьи, а уже к 13 апреля у Леонтьева готовы первые главы статьи-ответа на выпад Астафьева. Леонтьев, помня о несколько неудачном употреблении слова «национальный» (нужно было использовать «племенной») в первой статье, тщательно выбирает заголовок. Итоговый вариант заглавия выкристаллизовался в «Культурный идеал и племенная политика. Письма г-ну Астафьеву», потому что «…выражение “национальная политика” означало не политику *религиозно-национальных основ,* а политику *племени*, племенную, и вместе с тем *противоосновную* (революционную)». На разъяснение этой существенной разницы и направлена статья Леонтьева.

Всякая племенная политика становится отнюдь не национальной, а революционной, если направлена против Церкви, против основ веры Божьей. «Все это пора знать наизусть», – утверждает Леонтьев, и в этих словах сквозит раздражение на политическую слепоту Астафьева, на бывшего друга и, казалось бы, единомышленника. Чего же ждать от

тысяч русских, не понимающих такие простые, на взгляд Леонтьева, истины? Если они «не в силах в… национальных делах различать племенные увлечения и сочувствия – от идеалов культурных, космополитические плоды от национальных намерений». Что тогда? А тогда, и мы приводили в полном виде эту мысль Леонтьева, русский народ станет через полвека народом-богоборцем, то есть народом-революционером. И здесь мысль Леонтьева, обсужденная со всех сторон в письмах Астафьеву, нашла блестящее подтверждение в истории России в 1917 году.

Несмотря на свое раздражение, Леонтьев оставляет Астафьеву возможность для примирения, пытаясь объяснить расхождения с ним не как следствие теоретических посылок, а как результат терминологической путаницы в определениях слов «национализм», «национальность», «нация», «национальная политика». С уточнения этих значений и начинает он свою статью. Если открыть любой учебник XXI века, то определения, данные в статье Леонтьева, до сих пор остаются в силе. Мы не будем останавливаться на них. Хочется лишь поделиться точностью и художественной образностью (не мешающей теоретическому смыслу, а лишь углубляющей его) определения «национальности». «*Национальность* – это отвлечение от *нации*; ее мысленная и окрашенная воображением тень, ее отражение в уме и воображении нашем». Прекрасно найденное слово «тень» в таком сложном понятии. Совсем не ощутимая в детстве эта «тень» с прожитыми годами становится все четче и яснее.

«Национализм – это, скорее, какое-то *движущее, действующее начало,* действующее *во имя* этой тени» – таково мягкое определение Леонтьева, несущее в себе всю необходимую твердость, постоянно подтверждаемую историческим процессом.

Однако статья «Культурный идеал и племенная политика» как письма-ответы Астафьеву так и не была опубликована при жизни Леонтьева. В мае 1890 года с благословения о. Амвросия Леонтьев пишет краткое возражение «Ошибка г. Астафьева» и посылает ее 18 мая князю Мещерскому. «*Смягчил,* как только мог – и послал; заметьте – по

благословению старца! – *Неприятно!*!» – сообщает он об этом решительном событии Фуделю. В № 144 и 147 эта заметка опубликована в «Гражданине». Главную цель ее Леонтьев выразил так: «Я не желаю, чтобы меня считали противником культурного национализма, – и потому молчать мне нельзя».

Желание Леонтьева очень естественно и оправданно, особенно для человека, занимающегося политикой. Ведь в противном случае кто-то, зная пристрастия Леонтьева, не меняющиеся уже 30 лет, прочитав мнения Астафьева о Леонтьеве, воскликнет: «Да он ренегат!». И, конечно, этого не мог допустить Леонтьев. Все его мысли в заметке «Ошибка г. Астафьева» ясны и понятны, стиль корректен и ровен, можно отметить даже излишнюю самокритичность Леонтьева, сказавшего, что пусть он слабый и взбалмошный защитник национального идеала русских, но поклонником его он всегда был и останется навсегда.

Леонтьеву как доброму человеку **неприятна** эта научная склока: «На что это? Все прах и все суета! И в моих мнениях, *видимо,* никто не нуждается! – пишет он Фуделю 13 мая 1890 года. – Зачем я буду огорчать своим обличением этого доброго человека (Астафьева)». Астафьеву, как с гуся вода, и он поступает подло. В своем ответе («Объяснение с г. Леонтьевым. Письмо к издателю. Добрая ссора лучше худого мира») Астафьев злорадно упрекает Леонтьева в непопулярности. Из подобного упрека напрашивается вывод: неизвестен, непопулярен – значит, не особенно и умен, особенно в свете дальнейшего выпада Астафьева относительно тех нескольких строк (тот самый злополучный абзац). Будто они дали возможность Леонтьеву «вволю понегодовать на меня и… довольно много поговорить о себе самом и скромно себя похвалить». Так невеликодушно отвечал Астафьев, знавший, как тяжело переживал Леонтьев свое «умственное одиночество» и буквально страдал от него. До выхода упомянутой второй астафьевской статьи он делился с Фуделем в письме от 13 мая 1890 года. «Вы не можете вообразить себе, как глубоко иногда я чувствую мое *умственное* одиночество! Именно – умственное. – Я говорю не об “отшельничестве” моем; <…> Только

и слышишь “оригинальный”, “талантливый”, “блестящий”, – да ведь этого мало – нужно *сочувствие* этим идеям… нужно *ясное понимание* этих идей… мне нужно *влияние* моей проповеди на жизнь России».

И вот ему наступает на горло тот, кто, казалось бы, правильно понимал то, что выстрадано им в «Византизме и славянстве», его гипотезу вторичного смешения, из которой можно вывести прямые аналогии и по национальному вопросу. «…Он (Астафьев. – *М. Ч.*) моей теории (или гипотезе) вторичного смешения придает серьезное научное значение, а ведь все последующее развитие моих политических и социальных взглядов – есть ничто иное как приложение этой гипотезы». Однако Астафьев обвиняет его: «…брошюра его все-таки, как я надеюсь показать, останется, несомненно, попыткой подорвать значение национального начала в политике и жизни». Леонтьев обвиняется в проповеди византизма, искусственной культуры, по мнению Астафьева, а не национальной.

Читая этот «бред», родственница Астафьева Бобарыкина окрестила его так: «Очень жаль; не пьяный ли он это писал!?» Леонтьев даже предполагал, и, наверное, небезосновательно, что будь он, так сказать, при исполнении служебных цензорских обязанностей, то Астафьев не посмел бы так грубо и неделикатно писать.

3

Прочитав астафьевский выпад, Леонтьев тут же прекратил работу над статьей «Культурный идеал и племенная политика. Письма г-ну Астафьеву», так как понял всю тщетность прямого спора с ним. Он решил подойти к делу с другой стороны, посчитав, что в споре нужен независимый арбитр, третейский судья, который непредвзято смог бы рассудить их и развести в разные стороны, назначив истинного победителя.

В конце августа 1890 года он приехал в Москву для очередных консультаций с врачами относительно своих болячек. Все его друзья

(Грингмут, Говоруха-Отрок и другие сотрудники «Московских ведомостей», где был напечатан злобный ответ Астафьева) успокаивали его. Говоруха-Отрок говорил:

– Что вы беспокоитесь: он написал преглупую статью. Жаль, что ни меня, ни Грингмута в это время не было в Москве; мы бы многое вычеркнули.

Но странное дело: ни один из них не предложил Леонтьеву помощь – выступить в его защиту, написав взвешенную статью-опровержение, тем более, что Владимир Грингмут после смерти Каткова через некоторое время стал редактором-издателем «Московских ведомостей». Один только верный Иосиф Фудель тут же после письма от Леонтьева (17 мая) решил написать статью, разрешающую спор не только двух бывших друзей, внести ясность в этот сложный и важный для России вопрос. Фудель даже послал телеграмму, чтобы не терять время: «Пришлите мне скорее брошюры Астафьева, Киреева и Вашу статью против Астафьева. Я хочу ответить Астафьеву, да вообще разъяснить им всем, чего Вы хотите… Пришлите скорее». Статья Фуделя под заголовком «К вопросу о национальном», посланная в «Московские ведомости» 18 октября, увидела свет уже 23 октября. Прочитанная Леонтьевым в рукописи, она порадовала его: «Очень хорошо; ясно, просто. А ясность в наше время туманных патриотических слов – важнее всего».

В Москве Леонтьев встретился и с Владимиром Сергеевичем Соловьевым, который в разговоре с ним 27 сентября сказал:

– А статья вашего Астафьева против Вас уж настоящее хамство. И, разумеется, – вы правы; а у него хоть и значительный ум, но какой-то кривой.

Тогда-то и пришла Леонтьеву мысль использовать в качестве судьи Соловьева. Они уговорились так: Леонтьев пишет для «Русского обозрения» письма к Соловьеву, в которых он просит Владимира Сергеевича рассудить их с Астафьевым, невзирая, признает ли Астафьев суд Соловьева праведным. Окончательный суд останется за читателем. Все, казалось, складывается удачно: полемика, начавшаяся в «Русском

обозрении», там же и продолжится, осененная теперь уже именем признанного философа Владимира Соловьева. К тому же редактор журнала князь Цертелев, родной брат покойного Алексея, дипломата, с которым был хорошо знаком Леонтьев, сразу выдал аванс – 200 рублей серебром. На радостях Леонтьев пообещал, что первые письма будут уже в октябре.

И работа закипела. Но Леонтьев, видимо, не учел своего физического состояния, увлекающейся натуры и склонности к длинным рассуждениям, а также свой ужасный почерк и тот факт, что для переписки части рукописи надо направлять племяннице Маше в Орловский монастырь. В письме от 2 ноября 1890 года редактору Цертелеву Леонтьев извиняется за задержку: «Я почти каждый день пишу эту статью часов около трех и большего сделать *не в силах!»* – и обещает их к 1 декабря. В ноябре же он получает от Соловьева телеграмму с просьбой направить письма ему для прочтения и 1 декабря отправляет их на имя редактора «Русского обозрения» с просьбой передать Владимиру Соловьеву. Однако делает (такой ранее внимательный) ошибку в адресе, и письмо застряло на почтамте. Соловьев ждал 10 дней в Москве, видимо, разозлился и уехал в Петербург. И тут вступил в силу неписанный закон равновесия: то, что так хорошо начинается (соглашение с Соловьевым), обычно неважно заканчивается. Письма попали Соловьеву лишь 9 марта, и почти тут же (18 марта 1991 г.) от Соловьева пришел телеграфный **отказ,** что он не хочет ввязываться в спор между Леонтьевым и Астафьевым. Потом выяснилась еще одна пикантная причина отказа Соловьева печатать свое резюме в «Русском обозрении». Оказалось, что Соловьев поссорился с Цертелевым по еврейскому вопросу. Леонтьев, впрочем, не сильно огорчился этим отказом, так как многое в мировоззрении тогдашнего Соловьева ему уже не нравилось, особенно его восхищение прогрессом. Леонтьев решил теперь, что обращаться как к третейскому судье будет к редактору Цертелеву.

В утешение Леонтьева Соловьев обещал написать о нем к маю в другой статье – «Идейный консерватизм» и тут же вернуть письма, объем

которых не менее 5 печатных листов. Но уже фатум наложил свою тяжкую «длань» на процесс возвращения рукописи от Соловьева Леонтьеву. После долгих семи месяцев, буквально за 20 дней до смерти, Леонтьев получает, наконец, «заколдованную» рукопись, но переадресовать письма на имя Цертелева, увы, не успевает.

Впервые эта работа Леонтьева была опубликована в собрании сочинений, подготовленном о. Фуделем в 1912 году, под названием «Письма к Владимиру Сергеевичу Соловьеву (о национализме политическом и культурном)».

Глава 2
Имперский геополитик

Нельзя мерить государственные дела только завтрашним днем.

Разве Европа не стоит перед нами во всеоружии?

К. Н. Леонтьев

1

«Имперское» мышление, «имперский» менталитет, «империя зла». Все, что связано со словом «империя», имеет в XXI веке в среде космополитически мыслящей прогрессивной общественности бранный оттенок. Во времена Леонтьева не только слово, но и сам имперский фактор – самый желанный и ключевой в политике европейских государств. Каждое из них, особенно развитое, мечтало стать империей, владельцем обширных колоний, чтобы сбывать залежалые товары и использовать тамошнюю дешевую рабочую силу.

Анализируя развитие Европы, Леонтьев на исходе XIX века с великим сожалением отмечает непомерные успехи космополитических революций и влияние их на Россию: «везде ослабление религиозного

чувства; везде демократические наклонности (даже и бескорыстные у многих); везде больше противу прежнего сходства с Западом в быте, привычках, понятиях, моде!».

Леонтьев разбирает последствия буржуазных революций и приходит к выводу, что они суть явления вторичного смесительного упрощения, несущего деградацию общества, «ликвидацию европейской культуры» (Прудон). Главным катализатором для последующих буржуазных революций в Европе Леонтьев считает революцию во Франции, одной из самых развитых в культурном отношении страны. По его словам, французская революция 1789 года, «“объявивши права человека”, придала как бы легальный характер тому процессу разрушения, которому мы все до сих пор и волей и неволей продолжаем служить, – *освобождая, ровняя, смешивая, объединяя; приемами весьма сложными* стремясь к *психическому обеднению человечества*, – к идеальному упрощению его *в жалком образе* “среднего европейца”…».

Такой путь к «среднему европейцу» для истинно русского человека, по мнению Леонтьева, «ужасен и глубоко постыден». И потому Россия должна сохранить свою самобытную культуру, свою религиозность и монархию и имеет на это право. Ибо «Россия – не просто государство; Россия, взятая во всецелости со всеми своими азиатскими владениями, это целый мир особой жизни, особый государственный мир, *не нашедший еще себе своеобразного стиля культурной государственности.*

Поэтому не изгнание только турок из Европы и *не эмансипация только славян, и даже не образование во что бы то ни стало из всех славян, и только из славян, племенной конфедерации* должны мы иметь в виду, а нечто более широкое и по мысли более независимое.

Это… должно быть ни чем иным как развитием своей собственной, оригинальной Славяно-Азиатской цивилизации, от Европейской (или Романо-Германской) настолько же отличной, насколько были отличны: Эллино-Римская от предшествовавшей ей Египетской, Халдейской и Персо-Мидийской…».

Только в этом случае Россия может создать свою четырехосновную цивилизацию. Но Леонтьев ведет речь не о славянской племенной конфедерации или союзе **только** славянских народов, о которой мечтал Данилевский, а о новой евразийской цивилизации, что придет на смену романо-германской. Только такая цивилизация, включившая в свой состав самобытные азиатские «туранские» культуры, может стать заменой главенствующей и «выдыхающейся» западной цивилизации. Только евразийская цивилизация способна активно сопротивляться пошлости и эвдемонизму либерального Запада, сохраняя свои культуры.

Широко, смело и перспективно мыслящий Константин Леонтьев от слова «Союз» не отказывается. Решение поставленной задачи Леонтьев видит в «утверждении России на Турецких проливах» и «заложение там основ» Восточно-Славянского Союза. Он еще называет его Великим Восточным Союзом или Греко-Славянским и так уверен в его создании, что характеризует его эпитетом «неотвратимый». История доказала, что это не пустое прожектерство, а достаточно взвешенное рассуждение, опирающееся на знание истории России. Оно опирается на цивилизационную способность русских объединять другие народы благодаря «пассионарности», по более позднему термину, введенному в научный оборот Львом Гумилевым. В свое время Леонтьев утверждал такую «странную вещь», что русская нация из «всех славянских *наций самая неславянская и в то же время самая славянская*». Благодаря тому, что в русских много азиатской «туранской» крови, они могут создать «нечто от Европы *духовно* независимое», то есть кардинально отличное от либерального эвдемонизма.

Надежду Леонтьеву придает и притихшая при Александре III «лихорадочная подвижность» и прекращение движения России по либеральным маршрутам, начерченным по западным лекалам. Леонтьев отчасти даже рад тому, что в Русско-турецкой войну 1877–1878 годов не был взят Константинополь, так как при либеральном Александре II он превратился бы в пошлую космополитическую столицу, а не в центр «своеобразной мировой культуры».

Культурная столица Российской империи не должна быть просто городом, по мнению Леонтьева. Ей должен стать мировой центр от Адрианополя во Фракии и побережье Черного моря в Малой Азии до Карса. Он должен состоять «в так называемом "union personelle" с русской короной», то есть лично принадлежать государю Императору, как, например, Финляндия или прежняя Польша в составе России, или Норвегия, в которой шведский король был в ту пору вроде наследственного президента. Леонтьев полагает, что новый центр будет надежно защищен от либерально-демократических привычек эмансипированного Петербурга не только гигантским расстоянием, но и крепкой православной верой цареградских фанариотов. И тогда административная столица Российской империи должна также сместиться к югу, например, в Киев.

«Итак, – подводит итог Леонтьев, – будут тогда *две* России, неразрывно сплоченные в лице Государя: Россия – *Империя* с новой административной столицей (в Киеве) и Россия – *Глава Великого Восточного Союза* с новой культурной столицей на Босфоре».

2

Кто бы и как ни расценивал эти прозрения Леонтьева – пустыми фантазиями или мудрыми призывами к срочным действиям, – одно очевидно: Леонтьев выступает здесь родоначальником новой науки – геополитики. Говоря о продвижении России на юго-восток, Леонтьев исследует роль нового пространственно-географического фактора на жизнь России («две России») и общества (усвоение восточной культуры) и взаимоотношения с другими государствами (отказ от влияния Запада). Далее мы увидим влияние этого фактора на локальные, континентальные и мировые процессы.

Леонтьев исследует эти вопросы задолго до официально признанных Западом родоначальников геополитики, таких как немец Ф. Ратцель («Политическая география»), или швед Р. Челлен («Государство как форма жизни»), или англичанин Х. Маккиндер («Географическая ось исто-

рии» – 1904 г.). Побудительными мотивами этих исследований стало обоснование имперских притязаний (обратите внимание на национальности исследователей), заканчивающихся военными столкновениями и значительными переделами границ.

Особенно интересно сопоставить мысли Леонтьева с Маккиндером, выдвинувшим идею «сердцевины земли» или «хартленда» – внутреннего пространства Евразии, недоступного для морских империй и богатого природными ресурсами. Владение этим пространством имеет решающее значение для мирового господства. Он выдвинул тезис: кто контролирует Восточную Европу, тот контролирует «хартленд», кто контролирует «хартленд» (Евразию и Африку), тот контролирует весь мир.

Эстетик и государственник К. Н. Леонтьев не говорил ни разу о мировом господстве, такая терминология и практика для русских нехарактерна, но конфигурация его Восточно-православного союза почти в точности совпадает **с будущими** предложениями английского геополитика.

Вот геополитический план Леонтьева: «1. Присоединение Царьграда к России с подходящим округом в Малой Азии и во Фракии. 2. Образование на развалинах Турции *православной* (а не *чисто славянской*) конфедерации из четырех разноплеменных православных государств: Греции, Сербии (единой), Румынии и Болгарии и 3. (если возможно) – то и присоединение остатков Турции и всей Персии к этой конфедерации. (Англичан из Египта, разумеется, желательно было бы удалить и отдать Египет султану как нашему подручнику в непосредственную власть)». План этот Леонтьев изложил в статье «Кто правее. Письма к Владимиру Сергеевичу Соловьеву».

Предвидя сопротивление западных европейских стран такому усилению России, Леонтьев предлагает в обмен отдать для успокоения объединенной и воинственной Германии Польшу и даже Курляндию, где в основном командуют немецкие бароны-землевладельцы. «Балтийское море все равно погибло для нас. Выход из него – в руках Германии, и ей ничего не стоит в удобную минуту создать два Гибралтара на двух

скандинавских оконечностях» (статья «Храм и Церковь»). Леонтьев имеет в виду проливы Каттегат и Скагеррак, связывающие Балтийское и Северное моря. И это тоже часть глобальной геополитики.

Почему такое предложение? Леонтьев учитывает многовековую распрю между Россией и Польшей, непримиримую вражду между ними. Сам часто сталкиваясь с поляками, он полагал: как волка ни корми – он все равно в лес смотрит. Глубоко он вник и в причины распространения нигилистической заразы исключительно через Польшу, которая, по его мнению, отрезанный для России ломоть. Леонтьев характеризовал поляков как тружеников «лишь для своей нации; они скромные эгоисты, – говорил он, – они не благодетели рода человеческого, как мы… Они хотели обмануть наших нигилистов и перевешать их тотчас же после выделения мечтательного Царства Польского». К тому же Леонтьев всегда помнил, что в Польше нашли приют и применение сотни тысяч евреев, гонимых в средние века из Испании через всю Европу. Еврейская среда, притесняемая католиками, – самый лучший проводник либеральных взглядов.

«Либерализм вышел именно из христианских стран как антитеза духовному, аскетическому, стеснительному Христианству, а не из гор Кавказа или Мекки», – совершенно справедливо отмечал Леонтьев. «К мусульманским народам либерализм прививается трудно», – звучит современно. И это дополнительный аргумент в пользу смещения культурного центра Российской империи на берега теплых Черного и Средиземного морей. «Не пора ли нам теперь обратно: из варяг в греки?» – полушутливо, но с присущей ему оригинальностью спрашивал Леонтьев.

В конце XX века геополитика пополнилась новыми научными направлениями: мироведением и глобалистикой, в которых наряду с общепринятыми и значимыми проблемами географического местоположения той или иной страны и факторов развития общества большое значение получили «формы пространств». Такими формами признаются экономическая, культурно-цивилизационная, информационная и

другие. Смело можно сказать, что такие направления за сто с лишком лет предвидел Леонтьев, говоря о всемерном укреплении религиозного начала как формы пространства в будущем Восточном союзе: «Взятие Царьграда даст возможность сосредоточить силу и власть иерархии, хотя бы в форме менее единоличной, чем на Западе, но более *соборной*». Соборно-патриаршая централизация на Босфоре должна послужить толчком к дальнейшему развитию культуры не только на территории бывшей Византии, но и в России.

В пользу этой идеи работает и другая форма пространства, теперь уже межнациональная: «Для нашего, *слава Богу, еще пестрого* государства полезны своеобычные окраины; полезно упрямое иноверчество; слава Богу, что *нынешней русификации* дается отпор. Не *прямо полезен* этот отпор, но *косвенно*…». Ибо мусульманство есть опора турок, – продолжим мы мысль Леонтьева, – но оно одно из лучших орудий против общего индифферентизма и безбожия. Страшнее же безбожия ничего на свете быть не может – это главное звено всех взглядов Леонтьева. Безбожие – питательная среда для ростков либерализма.

И, по мнению Леонтьева, начало 90-х годов XIX века – самый благоприятный момент для окончательного решения Восточного вопроса в пользу России, потому что «Россия, переживши либеральный и эгалитарный период своей внутренней политики, *вступила в период упорной и решительной реакции противу собственных увлечений этими разрушительными западными идеями».* И еще одно глубокое Леонтьевское замечание: «И для народов в их жизни так же, как и в личной жизни человека, важно не только какое-нибудь событие само по себе, но важно и то *время*, в которое это событие случается».

3

Какие обстоятельства будут способствовать переносу центра Российской империи от чуждого либерального северо-запада к родному славянскому юго-востоку? Леонтьев оговаривается, что он не дает советов

русскому правительству. Обсуждение обстоятельств, по его мнению, более всего напоминает предсказания, и потому самое смелое пророчество гораздо скромнее «непрошенного совета». К обстоятельствам, наиболее благоприятным для создания Великого Восточного Союза, Леонтьев относит следующие: скорую войну с Австрией или Англией, соглашение с Германией, анархию во Франции, может быть, даже после поражения ее в войне с Германией, неустройства в Болгарии и Сербии.

Франция как передовая страна атеизма и западного либерализма, по мнению Леонтьева, должна быть унижена, то есть еще раз побеждена Германией – вот главное обстоятельство, способное привести к желаемому им обладанию проливами в Турции. «Разрушение Парижа сразу облегчит нам дело культуры даже и внешней в Царьграде», – так считает Леонтьев. Слово «разрушение» надо понимать как завоевание и порабощение Франции немцами, а не буквальное разрушение Парижа.

«Для того, кто ни на минуту не хочет забыть заветной, исполинской и вместе *с тем весьма осуществимой мечты о независимой, многосложной и новой Славяно-Восточной цивилизации, долженствующей заменить Романо-Германскую, – для того всяческое унижение Франции как передовой нации Запада должно быть дороже военной победы над Германией», –* жестко констатирует геополитик Леонтьев.

Действительно, идея Леонтьева исполинская и по замыслу, и по затратам и усилиям, в том числе и военным, которые надо было предпринять для ее осуществления. Ведь только в случае овладения проливами Босфор и Дарданеллы можно влиять на южных славян и, возможно, «с осторожностью» объединиться с ними в единый Союз, который при удачном раскладе сил может стать гегемоном и охранителем европейской и азиатской культуры. В этом главная цель вожделенного для Леонтьева евразийского Союза.

«Для того же, чтобы стать во главе всего человечества и сказать *свое слово,* надо прежде всего отречься не от прогресса, правильно понятого, т. е. *не от сложного развития социальных групп и слоев в единстве мистической дисциплины,* но от двух ложных европей-

ских принципов: 1) *от утилитарно-эвдемонического,* всеполезного, благоденственного направления реальной науки и заменить его *честно-скептическим* и во многих случаях даже *пессимистическим направлением этой науки*; 2) *от либерально-эгалитарного понимания общественного прогресса*...». Возможно, кто-то сочтет эти слова за призыв к мировому господству России, но будет не прав, так как Леонтьев имеет в виду, прежде всего, цивилизационную миссию России как спасительницы мировой культуры.

С точки зрения государственных, а не культурных задач, мысль овладения проливами не нова, и об этом здесь уже сказано. Дополним ее мнением императора Александр III, который в сентябре 1885 года писал начальнику генерального штаба русской армии генералу Н. Н. Обручеву: «По-моему, у нас должна быть одна и главная цель: это занятие Константинополя, чтобы раз и навсегда утвердиться в проливах и знать, что они постоянно будут в наших руках». Далее Государь отмечает, что теперь славяне должны сослужить России службу, а не мы им, как было раньше. И это желание царя полностью совпадает с мнением Леонтьева.

Но одна ли Франция разносчик революционно-демократической заразы? Леонтьев, хотя и очарован гением Бисмарка, но замечает, что «есть признаки, по которым можно думать, что Германия поражена этим недугом еще сильнее, чем самая передовая Франция». Леонтьев правильно подмечает, что революционеры ведут к «разрушению всех известных и привычных нам политических обществ, к уничтожению всех отличий религиозных, государственных и национальных», но он не подозревает, что есть еще и революционный шовинизм. И самый яркий из них германский. Вот что пишет Энгельс, лидер международного революционного движения, осенью 1891 года своему другу Бебелю, считающемуся борцом против немецкого милитаризма: «Если война разразится, то как раз мы в наших собственных интересах должны будем всеми силами способствовать разгрому России – в этом наши мнения сходятся… Люди должны понять, что война против Германии…

является прежде всего войной против самой сильной и боеспособной социалистической партии в Европе и что нам не остается ничего другого, как со всей силой обрушиться на всякого, кто нападет на нас и будет помогать России. Победа Германии будет, следовательно, победой революции, и мы должны в случае войны не только желать этой победы, но и добиваться ее всеми средствами…».

Леонтьев, как о непреложном факте, говорит о будущей войне с Германией, считает, что мирному соглашению с ней не бывать, но твердо верит, что «из войны с Германией мы также выйдем победителями». И не потому, что наше войско окажется лучше немецкого, не потому, что генералы наши будут более сообразительными и умелыми, а за счет «русского исступления, русского бешенства, не знающего границ». Как проницательно сказано.

Однако Леонтьев – резкий противник союза с республиканской Францией. Он полагал, что она и без военного союза с Россией вступит в войну с Германией, так как Франция жаждет реванша после поражения от Пруссии в 1870 году, жаждет возврата Эльзаса и Лотарингии. Он предсказывал, что «даже при ненависти к нам – французы исторической необходимостью вынуждены нам помочь». В противном случае, «если Франция и в минуту предполагаемого столкновения России с Германией не будет воевать, так ей останется только считать себя с того времени чем-то вроде Португалии, которую всякий может оскорблять, как предсказывал один из лучших публицистов Прево-Парадоль», но ей (Франции) еще не приспело время для подобного смирения. Без союза с Россией Франция будет быстрее вооружаться, не будет расслабляться, надеясь на помощь России. Точка зрения Леонтьева диаметрально расходилась с мнением Александра III, Каткова и Игнатьева, который вновь вошел в большую политику, написав в декабре 1884 года записку Александру III, убеждая Государя сойтись с Францией. И вновь взгляды бывшего посла и его подчиненного диаметрально расходятся.

«Кто правее?» – так звучит название одной из статей Леонтьева конца 80-х годов. Кто на самом деле правее, не доказало даже время.

Хотя хорошо известно, что союзнические обязательства перед Францией легли тяжелейшей ношей на плечи России и прежде всего отозвались дополнительными русскими потерями, чего стоит один только русский экспедиционный корпус, посланный Россией во Францию. Подобной помощи Франция России не оказывала. Что союз с Францией тем не менее не предотвратит мировую бойню, в которой погибло 10 миллионов человек, что Германия, не обращая внимания на франко-русский союз, первой объявит войну России, а уж потом Франции. И как знать: если бы Россия не имела среди своих врагов социал-демократические партии Германии, всячески помогавшие русским социалистам и финансировавшие революционное движение в России через немецких банкиров, возможно, не случилась бы Февральская, а затем и Октябрьская революции.

Болью в сердце Леонтьева отозвалось эпохальное событие, когда в июле 1891 года при посещении французского корабля, прибывшего в Кронштадт с визитом вежливости, Александр III с непокрытой головой слушал французский революционный гимн «Марсельезу». Для него это было своего рода крушением его замыслов, его глубокой, но непонятой точки зрения. Ведь он считал, что «Россия *не может* отказаться от древнего своего *призвания,* от своего давнего “Drang nach Sud-Osten” (поход на юго-восток. – *М. Ч.*), за который она пролила столько драгоценной крови своей... *Там* “Святые места”, там Царьград, Афон, Синай… *Там* близко и Гроб Господень… *Там* еще не угасли вполне – Святые и великие очаги Православия… *Не можем* мы отдать всей этой *нашей* Святыни и древних источников силы нашей – на пожрание мадьярам, жидам и немцам…»

Леонтьев предлагает использовать китайский метод усиления страны путем развязывания войны меж двух главных своих соперников (Германии и Франции) и взаимного их ослабления. Когда два дракона дерутся, третий (Россия) смотрит со стороны – таков ход рассуждения китайцев и… Леонтьева, ведь для него политические преимущества – лишь средство. Цель у него другая: «…мне религиозно-культурное обо-

собление наше от современного Запада представляется *целью*, а политические отношения наши только *средством!*»

Быть бы Леонтьеву с его умом и даром предвидения, с тонкой интуицией доверенным лицом и советником Александра III, многих потрясений избегла бы Россия. И это не совсем уж глупая химера: ведь о нем знал канцлер Александр Горчаков, зачитывающийся леонтьевскими докладными записками, но махнувший на Леонтьева рукой после ухода со службы.

Еще одно потрясение ожидает Леонтьева на планируемом им пути России на юго-восток. В 1886 году Германия еще не так сильна, как станет в 1914 году, когда сможет вести войну на два фронта, она еще не уверена в нейтралитете России, если нападет на Францию. Миг этот, по мнению Бисмарка, к 1887 году настал. Перевооружив немецкую армию магазинными винтовками системы Маузер, Бисмарк спешил, так как Франция еще находилась в стадии переоснащения. В сентябре 1886 года к Александру III приезжает наследный принц Германии (будущий император) и доводит до него предложение Бисмарка, что Германия не будет возражать, если Россия займет проливы и Константинополь, нарушая условия Берлинского трактата. То есть Германия, главный виновник унижения России в 1878 году на Берлинском конгрессе, как бы возвращает сторицей моральные издержки русских.

Но Александр III отказывает будущему Вильгельму II, невольно готовя своему сыну Николаю тяжелую войну с Германией в 1914 году и гибель самодержавия.

Однако идеи обладания Россией проливами оказались живучи и в общественном сознании россиян, и особенно в дипломатической среде. К союзу России с Францией присоединилась, как известно, и Англия в 1907 году, образовав Антанту («согласие» в переводе с французского). Три ведущие страны Антанты (Россия, Франция и Англия) после начала мировой войны вступили, как тогда было заведено в международных делах, в секретные переговоры по разделу территорий побежденных в будущем стран. Нечто вроде своеобразного допинга для энергичного

ведения военных действий. Так вот, по англо-франко-русскому соглашению 1915 года, к России после победы переходил Константинополь (вожделенный Царьград) и Черноморские проливы Турции. Антанта победила Германию, но уже без России, выведенной из войны английской разведкой, организовавшей с помощью русских масонов отречение Николая II и подготовку Временным правительством приказа № 1, развалившего русскую армию. В этом логическая суть февральской буржуазной революции – Антанта не хотела отдавать русским Константинополь и стратегические проливы.

Завершая очерк «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни», Леонтьев представляет Россию в образе пламени лампадки, различимом издали в поздний час и любую погоду. Болея за Россию, он предупреждал, что мощный либерально-анархический ветер задует пламя лампадки, а на крыльях этого ветра прилетит Антихрист и начнет терзать Россию, словно орел прикованного к скале Прометея, и потекут из нее реки крови. Но лампадка уже не будет светить, и тогда в кромешной тьме так легко будет принять кровь за воду.

Глава 3
Эсхатологические построения

Не молоды и мы. Оставим это безумное самообольщение!

Быть в 50 лет моложе 70-летнего старика – еще не значит быть юным.

К. Н. Леонтьев.
Над могилой Пазухина. 1891 г.

1

Учение о конце света и человечества (эсхатология) всегда было близко христианству. По сути, это не только учение, особенно ярко

высказанное в откровениях святого апостола Иоанна Богослова, чаще всего называемых Апокалипсисом, но и **утверждение** о неизбежном конце истории как об одной из основных истин вероучения Церкви. Однако книга Апокалипсис, излишне насыщенная иносказанием, образностью и даже загадочностью, малопонятна для большинства христиан. Основой эсхатологического учения Церкви можно считать две главы (24 и 25) Евангелия от Матфея, в которых записаны пророчества и предупреждения самого Спасителя.

В них речь идет не столько о физическом исчерпании возможностей Земли и исторического потенциала цивилизаций, а о духовном самоуничтожении человека путем изживания совести, любви и страха Божьего: «И по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12). Наиглавнейшей особенностью христианства в отличии от других является та, что Христос впервые в истории обратился не к народу, как, например, Моисей, а к конкретному человеку, к его душе, которой Он может дать бессмертие при надлежащей вере в Него. Можно сказать, что христианство – это учение о душе: защищая душу от зла, от греховных соблазнов, мы спасаем себя, свой мир, свою семью, свою любовь. Душа есть субстанция единичного человека и только так: единой души у того или иного общества не существует. Также не бывает общего счастья, общей свободы, общих неизменяемых прав для всех членов общества. Нас прежде всего интересует единичная душа. Может ли так случиться, что у человека исчезнет душа? Вероятно, да.

Есть такое определение «бездушный человек». Скорее всего, это не просто красочный эпитет, а описание внутреннего состояния человека. Значит есть такие люди. Человек без души и совести. Один, второй, третий, тысячи, наконец, а потом миллионы и сотни миллионов бездушных людей. И все! Христова история человечества закончилась, потому что исчезла субстанция, через которую Спаситель воздействует на человека! Человек в своей **ненасытности** (термин Конастантина Леонтьева) перескакивает с моральных рельс поведения на физиоло-

гические, свойственные скоту. История человечества прерывается, начинается история животного мира.

Богослов Феофан Затворник (1815–1894) с логикой, вполне близкой к леонтьевской, писал в своих «Душеполезных размышлениях», что «на земле же Самим Спасителем предречено господство зла и неверия; оно и расширяется видимо, и когда уже очень возобладает, тогда дело будет только за почином… Этот почин и сделает антихрист».

И хотя в буддизме, например, нет понятия «души», это вовсе не означает, что побуждающим мотивом для произнесения молитв, совершения дзул-хурала, найдани-хурала и других религиозных обрядов является просто привычка, а не движение некой загадочной субстанции, которую материалисты определяют как высшую форму организации материи. Ладно бы материалисты занимались только оформлением терминов, так нет: они успешно претворяют свою бездушную теорию в реальную силу, ломающую душу, а вместе с ней способность и желание иметь веру в Бога. И этой силой, этой «прелестью» являются обещания всеобщего благоденствия и всеобщего счастья на земле без религии и души. Это и есть эвдемонизм.

Разнообразные природно-исторические катаклизмы (длительные жестокие войны, «смутные» времена, пандемии чумы или холеры, извержения вулканов, опустошительные землятрясения), поражающие человеческое воображение, обостряли ожидания прихода Антихриста. Однако их множественность в геологической истории Земли приучила людей к ним, притупила сознание, одновременно привела к мысли, что не катаклизмы будущая причина конца света, а сам человек. Есть нечто более глубокое, чем обвалы, потопы, землетрясения. Это обвал душ людских.

В XIX веке революции и бурное развитие техники и науки, производящей разнообразные техногенные средства для уничтожения человека, сопровождалось мощной антирелигиозной пропагандой, обещаниями счастье «здесь и теперь». Новая бездушная религия в образе всесилия науки (совесть – это для прорабов капитализма, химера, мешающая

процветать) большинству из людей затуманила мозг и засыпала глаза сладкой пудрой будущего комфорта. Скептик Леонтьев доказал на исторических примерах, что человечество вступило в период вторичного упростительного смешения, за которым непосредственно последует конец человеческой истории: «...к старости и смерти воцаряется демократическое, эгалитарное и либеральное начало». Эти «начала» ворвались в православную Россию и стали разрастаться, расползаться метастазом по ранее здоровому организму, съедая, прежде всего, Православие (духовность), монархизм и сословность.

Вновь раскроем Феофана Затворника: «А так как антихрист главным делом своим будет иметь отвлечение всех от Христа, то он не явится, пока будет в силе Царская власть. Она не даст ему развернуться и помешает ему действовать в его духе».

Леонтьев читает Евангелие от Матфея: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно и избранных» (Мф. 24:24) и переводит его на свой язык, на свой час, день и век. Не свобода ли, равенство и благоденствие есть современные «знамения и чудеса», «даруемые» буржуазно-демократическим новым порядком? Да, видимо, так и есть, и они приближают конец истории и приход Антихриста. «Чудеса» же столь сильны, что изжить их представляется задачей невыполнимой, ведь права людей так уравнены, что любой мошенник или чиновник, или продавец цветов с рынка может быть избран в президенты (единоличные правители). Прелести эти таковы, что только самые духовно чуткие и проницательные способны не соблазниться ими. Не увеличилось ли количество лжепророков, отлучающих народ от Православия чудесами науки и техники, обещаниями счастливой жизни за счет их достижений или демократического устройства общества? Да, их число непомерно разрослось в XIX веке, а число верующих неуклонно сокращается.

Не связан ли конец истории с полным отречением всех народов от Христа, от его учения, что человек создан по образу и подобию Божьему? Если человек не захочет походить на Христа даже в самом малом,

то он оскотинится, одичает. «Все менее и менее сдерживает кого-либо религия, семья, любовь к отечеству, – и именно потому, что они все-таки еще сдерживают, на них более всего обращают ненависть и проклятия современного человечества. Они падут – и человек станет абсолютно и впервые "свободен", – пишет Леонтьев. – Свободен, как атом трупа, который стал прахом», – читаешь Леонтьева и чувствуешь, как у него болит душа за будущее России.

Он раз за разом возвращался к своей, одной из завершающих статью «Владимир Соловьев против Данилевского» мыслей об Антихристе, под которым понимал надвигающуюся либеральную и атеистическую революцию, способную мигом разрушить его любимую Россию с монархом, Церковью и богобоязненным народом. Тогда он вопрошал: «Скоро и неизбежно, фатально мы будем господствовать над целым Старым Светом; но господствуя, мы расплывемся в чем-то неслыханно космополитическом. Это *неслыханное* не будет ли *последним*? – не повторяем ли мы в новой форме историю старого Рима? Но разница в том, что под его господством родился Христос, – под нашим скоро родится Антихрист?..»

Знал ли он о пророчестве преподобного Серафима Саровского? Старец предсказывал перед смертью, что Антихрист родится в России между Петербургом и Москвой. Однако есть предсказания других святых отцов, связывающих конец мира с еврейским народом. По их мнению, человеческая истории прервется при исполнении трех условий: 1) евреи восстановят свое государство, 2) Иерусалим станет столицей еврейского государства, 3) будет восстановлен иудейский храм на Храмовой горе в Иерусалиме. Два условия уже выполнены. Осталось третье – самое трудное. Но разве оно невыполнимо?

В письме Василию Розанову (13 июня 1891 г.) Леонтьев буквально заклинает: «Поймите, прошу Вас, разницу: русское царство, населенное православными немцами, православными поляками и даже отчасти православными евреями при численном преобладании православных русских, и русское царство, состоявшее, сверх коренных русских, из множества обрусевших протестантов, обруселых католиков,

обруселых татар и евреев. Первое – созидание, второе – разрушение». Можно поставить тысячу восклицательных знаков после этой святой и светлой мысли Леонтьева. Комментировать это ясновидение не имеет смысла, так здесь все понятно и подтверждено практикой последующей российской жизни.

2

Простые, можно сказать, наивные люди ждут, что за воплощением в жизнь теорий о свободе, равенстве и братстве последует счастливая, безоблачная жизнь. Однако за нее надо бороться, брать в руки оружие и совершать революции, проливать тонны крови. А результат, разве он известен заранее?

Выводы Леонтьева особенно безотрадны, когда касаются будущего России. «Разве решено, *что именно* предстоит России в будущем? Разве есть положительные доказательства, что мы молоды? <…> Молодость наша, говорю я с горьким чувством, сомнительна. Мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного предела», – пишет суровые слова Леонтьев. Они почти всем его современникам кажутся малопонятными и неверными, слишком мрачными, пугающими слабое их воображение. Прогрессисты купаются в туманных волнах ожидания перемен, которые сулят достижения в науке и технике, введение конституционной монархии, но Леонтьев скептичен и прозорлив.

В год опубликования статьи «Владимир Соловьев против Данилевского» (1888) в письме редактору журнала «Русское дело» С. Ф. Шарапову от 4 мая К. Леонтьев отмечал, что «Если даже мы и *избранный* Богом народ, то были избранными и евреи в свое время, Византийцы в свое; однако – их царства *пали и не восстанут*. Падем и *мы…»*

В славянской, а точнее, русской («бессознательное назначение России не было и не будет чисто славянским») цивилизации Леонтьев уже находил зачатки трех основ: религиозной, государственной и культурной, оставалось решить вопрос взаимоотношений между трудом и ка-

питалом, то есть экономический. Способен ли русский народ выполнить такую высокую и мировую миссию создания четырехосновной цивилизации? Леонтьев ранее отвечал, что «да», способен. «В самом характере русского народа есть очень сильные и важные черты, которые больше напоминают турок, татар и др. азиатцев, или даже вовсе никого, чем южных и западных славян. В нас больше лени, больше фатализма, гораздо больше покорности властям, больше распущенности, добродушия, безумной отваги, непостоянства, *несравненно больше* наклонности к религиозному мистицизму». И при этом отмечал, что не только достоинства, но и пороки русского народа есть признаки высокого призвания, хотя и требуют большей, чем у других народов, церковной и политической власти.

Разве мы, ныне живущие, не можем с этим согласиться?

Особенно нравилась Леонтьеву такая народная черта, как способность выносить «и страх Божий, и *насилие»,* которая, по мнению Леонтьева, есть залог народа будущего ввиду **общего безначалия**. Привычка к повиновению, которую Леонтьев приравнивал к особому роду таланта, и обеспечила «все великое и прочное в жизни русского народа… *почти искусственно* и более или менее *принудительно,* по почину правительства». Значит, чтобы решения в правительстве были правильными, нужны в нем великие, мудрые и яркие люди, герои, психологию которых пытался нести в себе молодой Леонтьев.

Обобщая все это, Леонтьев вырабатывает пять требований для будущего внутреннего устройства и успешного функционирования государства Российского, о которых сообщает отцу Иосифу (Фуделю) в письме от 6 июля 1888 года. Для него все они связаны «органической, живой нитью»:

«1) Государство должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью подвижно.

2) Церковь должна быть независимее нынешней. Иерархия должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее. Церковь должна смягчать государственность, а не наоборот.

3) Быт должен быть поэтичнее, разнообразен в национальном, обособленном от Запада единстве. (Или совсем, например, не танцевать, а молиться Богу, а если танцевать – то по-своему, выдумывать или развивать народное до изящной утонченности и т. п.)

4) Законы, принципы власти должны быть строже, люди должны стараться быть лично добрее; одно уравновесит другое.

5) Наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе».

Видит ли Леонтьев что-либо позитивное, сбывающееся из того перечня мер, предложенных им. Нет! К сожалению, нет. Спустя 30 лет после реформы 1861 года перед его глазами нечто противное его чаяниям: разорившиеся крестьяне покидают свои скудные наделы и бегут в город. Кому это выгодно? Промышленникам, получающим, как манну небесную, дешевую рабочую силу для своих заводов и фабрик. Либеральной интеллигенции, давно стремившейся к участию в управлении государством и получившей для начала возможность вещать от имени народа. И главное, от чего болит сердце Леонтьева, началось глобальное разрушение народных устоев, налаженного быта и крестьянской общины. Крестьяне старики, носители и охранители вековых устоев, еще оставались доживать свой век в деревне, но молодежь убегала к «лучшей» жизни, теряя моральные скрепы и мудрую, порой тяжелую, дедовскую руку над собой. В огромном городе ты – «казак лихой, орел степной», и деревенским старикам и другим авторитетам не подвластен. Исход известен: кто-то спивался, кто-то пополнял ряды борцов за народное счастье, единицы богатели, выбивались в «люди». Шел неумолимый и скорый процесс раскрестьянивания России, а если вспомнить происхождение слова «крестьянин» от христианина, то и расхристианивания. Народ вместе с землей терял и православную веру в Бога. Если же нет Бога, то вместо него тут же появляются лжепророки и лжеавторитеты (свято место пусто не бывает), призывающие улучшить жизнь кардинальным скачком, революцией.

Позвольте спросить вас, дорогой читатель, какое настроение будет у патриота своей страны, если он поймет всю правду о негативных ка-

чествах народа, главной, так сказать, движущей силы истории? Кто же будет продолжать культурные традиции? Прогрессивная общественность – эта публика, о которой полно и выразительно говорили и Тютчев, и Григорьев, и Леонтьев? Ужасы революции и Гражданской войны с ярчайшей всесторонностью в очередной раз подтвердили правоту Леонтьева, отметившего: «он из народа-“богоносца” станет мало-помалу, и сам того не замечая, народом-“богоборцем”, и даже скорее всякого другого народа…».

Следовательно, с народом-богоборцем и с либеральной властью, а в том, что она сменит временную реакцию Александра III, он не сомневался, построить четырехосновную русскую цивилизацию **будет невозможно**. И это не старческое нытье, а трезвый взгляд историка, отлично овладевшего индуктивной логикой. Но что-то надо делать или, по крайней мере, думать. Ведь, если ты не задумываешься о будущем, то его у тебя и не будет. И мысли Леонтьева обращаются к социалистическому движению. Оно поможет спасти Россию?

В письме Филиппову он еще в 1882 году разворачивает такую яркую картину будущего России: «Социализм скоро оставит свои *инзуррекционные приемы* и сделается орудием новой корпоративной, *сословной, градативной* не либеральной и не эгалитарной *структуры* государства. Он вынужден будет сочетаться *с сохраненными консервативными историческими началами* так или иначе, видоизменяя их и видоизменяясь сам, и *либерализм, индивидуализм, меркантилизм и все тому сродное* будет раздавлено *между историческими остатками и передовым экономическим порывом.* Велико будет государство или племя, которое возьмет в руки это исполинское движение *нового феодализма*, и славен будет тот орган печати, который первый *даст* это хотя бы в *намеках* почувствовать».

Если социализм способен, по мнению Леонтьева, раздавить ненавистный ему либерализм, поднять дисциплину на высокий уровень и сохранить русскую культуру, то ему цены нет – так он будет полезен России. Таково мнение Леонтьева.

Для углубления знаний о социализме Леонтьев знакомится с Львом Тихомировым, читает его статью «Социальные миражи современности», в которой тот доказывал, что коммунистическое общество должно быть деспотическим и не уравнительным, а расслоенным при очень сильном и властном верхнем слое. Прочитав эту статью, Леонтьев отметил: «Приятно видеть, как другой человек *и другими путями* приходит к тому же, о чем мы сами давно думали».

Пусть лучше будет социалистическое «рабство», но чтобы Россия сохранила в мире свой вес и значение, чтобы жизнь имела смысл и чтобы сохранился русский дух. «Никакое насильственное иго азиатских владык не может быть так “позорно”, как добровольно допускаемая народом власть собственных адвокатов, либеральных банкиров и газетчиков. Насилие не может так опозорить людей, как их собственная непостижимая глупость», – пишет он в «Письмах о восточных делах», примиряясь с социалистическим будущим России.

И потому историософия Леонтьева – это вечный призыв к высококачественному обществу и яркой, умной личности, имеющей власть и предпринимающей все возможные усилия, чтобы предохранить исторический процесс в России от зловредной либеральной порчи, которая, эпидемией распространившись по планете, приведет всех людей к культурному падению, а потом «концу всего».

В письме Сергею Дурылину «Мое знакомство с К. Леонтьевым» Фудель отмечал, что еще с момента первого его приезда в Оптину пустынь Константин Николаевич говорил о неизбежности близкого конца человеческой истории, но тогда эти разговоры поглощались спорами о призвании России. В последний же год Леонтьев, по словам Фуделя, уже не только мысленно приходил к эсхатологическому выводу, а видел воочию приближающийся конец. «Это было эсхатологическое *прозрение,* жуткое до крайности, но неоспоримое, как факт, как очевидность», – замечал Фудель. И тут же он признавал: «Самой смерти он не боялся». Да и сам Леонтьев в статье «Анализ, стиль и веяние» категорически утверждал, что человек, верующий в Бога, смерти не боится.

Паническая боязнь смерти – это удел безбожных либералов, верящих лишь в счастливую жизнь на грешной земле.

И раз за разом в разговорах на эту тему Леонтьев отмечал, что грозный час грозного Суда Божьего неизвестен ни ангелам, ни Сыну Человеческому и зависит он только от **нравственного состояния мира.**

Глава 4
О литературе и литераторах

Он (художник) ищет гармонии, а гармония одностороннею быть не может.

К. Н. Леонтьев (из передовицы «Варшавского дневника»)

1

Дружеской теплотой пронизаны отношения Константина Леонтьева с такими художниками слова той поры, как драматурги А. Н. Островский и Н. Я. Соловьев, поэты А. А. Фет и Владимир Соловьев, писатели В. В. Крестовский, В. В. Розанов, Всеволод Соловьев, журналисты В. А. Грингмут, Л. А. Тихомиров, Ю. Н. Говоруха-Отрок. Переписка с ними насчитывает не одну сотню писем, а именно эпистолярное наследство составляет одну из важнейших сторон творчества Леонтьева. Именно в письмах высказаны многие значительные мысли героя нашего повествования, а сам он удостоился позже почетного звания – «гений эпистолярного жанра».

Личные и творческие предпочтения Леонтьева во взаимоотношениях с писателями, блестящими представителями «золотого века» русской литературы, строились на весьма простой основе. Без экивоков можно сказать: тот Леонтьеву друг и брат, кто верит в Бога и писания Святых Отцов, постится по заповедям «Закона Божьего», кто верный слуга царю

и «отец солдатам», кто оригинально и со вкусом одет и понимает эстетику жизни. И более последовательного адепта этих собственных установок, чем Леонтьев, в русской литературе и публицистике не найти. Тут так и напрашивается продолжение – «и в жизни», но…

В жизни Леонтьев мягок и снисходителен к недостаткам простых людей, возможно, исходя из тех же установок сословности: те, кто предназначен к размышлениям, должны думать, а другие работать физически и создавать материальные ценности. В общем, cuigue suum – «каждому свое» – согласно его любимому выражению. Леонтьев терпеливо занимался с Варей и мужем ее Александром, мог содержать семью урядника, запойного пьяницы, он с искренней любовью принимал участие в судьбах своих юных друзей – студентов Катковского лицея, помогал материально, и ласково, без нажима, наставлял на путь истинный. По-христиански мягко терпел выходки своей слабоумной жены, признавался, что в ее отсутствие очень скучает, и называл ее «милый дружок мой Лиза».

Совсем другим Леонтьев предстает в отношении к мыслящим людям, писателям и публицистам, особенно к тем, кого он считал (и не только он) близкими по консервативным (почвенническим, охранительным) взглядам. Он словно бы говорил им, немногим в России, что если вы в меру своих взглядов и талантов любите Русь и веру православную и хотите защитить ее от напастей, идущих от революционного Запада, то делайте это добросовестно, не уклоняйтесь в сторону, будьте последовательны и бескомпромиссны. Вооруженный своим жизненным и производственным, если можно так назвать его дипломатическую работу, опытом Леонтьев полагал, что любое отступление от прежних правил приводит к ухудшению общей ситуации в России.

Леонтьев особенно ненавидел полуправду, которая, по его мнению, хуже лжи и прямого наговора! Когда приводятся существующие факты и высказывания, но при этом намеренно забываются другие, упрямые, не укладывающиеся в общее прокрустово ложе правды. Против таких «вольностей» в вопросах религии прямо и бескомпромиссно выступал Константин Леонтьев, начиная с 1872 года. В статье «Наши

новые христиане» (1882) он объясняет свою позицию так: «Об одном умалчивать, другое игнорировать, третье отвергать совершенно; иного стыдиться и признавать святым и божественным только то, что наиболее приближается к чуждым Православию понятиям европейского утилитарного прогресса – вот черты того христианства, которому служат теперь многие русские люди и которого, к сожалению, правозвестниками явились на склоне лет наши литературные авторитеты». Под литературными авторитетами Леонтев имеет в виду, прежде всего, Федора Достоевского и Льва Толстого. Никаких компромиссов нельзя допускать относительно религиозных устоев – не нами создано, не нам и менять – так примерно можно характеризовать линию поведения Леонтьева в вопросах догматов Православия.

Как можно проиллюстрировать само слово компромисс? Представим апельсин и спор 4-х человек относительно обладания им. Компромисс – это простое деление апельсина на 4 (четыре) равных части. В каждой из них все в «куче» – сок, кожура, ядра, мездра. Компромиссно решать вопрос – это проявлять либеральное соглашательство, при котором тебе попадают ненужные, а порой опасные части ранее цельного продукта (учения, догмата, инструкции). Есть еще один метод – конструктивный. Когда обладатель апельсина находит среди претендентов на него тех, кому нужен только сок, другому – кожура, третьему – ядрышки, четвертому мезга. Ничего не пропадает, и соблюдается тот принцип, который утверждал Леонтьев и очень не нравился Аксакову: «Что дозволено Юпитеру, то не позволено быку». И тем не менее как бы ни был хорош конструктивный подход, Леонтьев придерживался своей позиции – апельсин (Россия, вера) должен оставаться целым и цельным («единство в многообразии») и быть в руках самого достойного обладателя (царя). И дело даже не в достоинствах наследника престола, а в целостности плода Божьего. Именно в этом исток идейного консерватизма Леонтьева. Показательна его пометка на письме Соловьева, сообщавшего, что тот хочет написать статью о Леонтьеве с названием «Идейный консерватизм». Леонтьев рядом с этими словами надписал: «А какой он может быть?»

Можно вспомнить и его юные годы, и его высказывание, что идеями он не шутил. И так до кончины. Ну кто из русских (да и в мире) может похвастаться таким постоянством взглядов? Среди русских – никто, в мире – масоны, мормоны, китайцы да евреи. Еврейство, как известно, не национальность, а определенная система взглядов. И живо оно и процветает оно четыре тысячи лет именно потому, что у них в почете были и есть ортодоксы, люди, стоящие на неизменяемых в веках религиозных основах, к мнению которых прислушивается общество.

Леонтьева по справедливости можно отнести к суровым ортодоксам Православия.

2

Для оценки литераторов у Леонтьева существовал еще один критерий: писать нужно искренне, просто и вместе с тем изысканно, без употребления грубых и псевдонародных слов. И главное, не ругать Россию и ее руководство. Потому-то Леонтьев называл дарование Некрасова «топорным и неискренним», а Кольцова любил со всей силой своих пристрастий. Вот как он их сравнивает в критической статье «Анализ, стиль и веяние». «И правда, что если бы о “Морозе-красном носе” вздумал бы написать трогательную поэму не исковерканный модной завистью и дурными привычками “натуральной школы” петербургский редактор (Некрасов. – *М. Ч.*), а скромный и полуграмотный прасол Кольцов, так и “Дарьюшку, Дарьюшку” его не так, как некрасовскую, пожалели бы люди *с прямым чувством и с неиспорченным вкусом.* А поэзии настоящей у Кольцова была бы бездна!»

На первых же страницах такого, казалось бы, сухого научного труда, как «Византизм и славянство» уже звучат строки любимого Кольцова:

Но жарка свеча
Поселянина
Пред иконою
Божьей матери.

Несомненно, что публицист и церковный писатель Е. Н. Погожев, юный помощник и единомышленник Леонтьева в последние годы его жизни, взял себе псевдоним «Поселянин» именно из этих строк Кольцова, потому что, читая «Византизм и славянство», наткнулся на них и очаровался ими.

Для сравнительного анализа отношения к Православию Ивана Сергеевича Аксакова приведу строки из его письма невесте: «…мы зашли в церковь: обедни почему-то не служили, а служили часы. Нынче ведь праздник Казанской Божьей Матери. Я, впрочем, не очень люблю тот culte Богородицы, который существует в русском быту и отчасти в церкви».

Конечно, Леонтьев знать не знал, да и не мог знать этих слов личного признания, но гнильцу в религиозном нутре Аксакова разглядел быстро, так как нотки их, как не скрывай, нет-нет да и прорывались у Аксакова и сразу же настораживали Леонтьева. Если бы случайно Леонтьев узнал о личных симпатиях Аксакова, он с усмешкой сказал бы: «Нет, не случайно Герцен характеризовал Аксакова – “этот поп-стрелец”, Розанов – “благочестивый Гамбетта”, а я говорю, что Аксаков – “честный полугерманский фарисей”».

Не сошлись они (Аксаков и Леонтьев) именно во взглядах на Церковь, да и вообще на Православие. Уже во время обсуждения «Византизма и славянства» в 1874 году Леонтьев понял, что между ними бездна. Чувствуя ее, Леонтьев даже несколько подтравливал чету Аксаковых. Женой Ивана Сергеевича была дочь Федора Тютчева, говорившая по-русски с сильным немецким акцентом, так как мать ее была немкой. Как-то на одном из «четвергов» в 1874 году, что собирал Аксаков, разгорелся горячий спор о моральности поведения игуменьи Митрофании, подделавшей векселя в пользу своей общины. Леонтьев защищал игуменью в пику Анне Аксаковой, и та, возмущенная, спросила:

– Так вам нравится подлость?

На что он ответил:

– Да! Я иезуитов предпочитаю либералам.

В этом эпизоде действительно весь Леонтьев – прямодушный последовательный защитник Православия и противник конформизма. Хотя мог бы и промолчать, чтобы Аксаков помог в издании его труда, но… Платон мне друг, но истина дороже.

В том же 1874 году (декабрь) Леонтьев в подряснике как послушник Угрешского монастыря встретился с Аксаковым в Москве. Об этой встрече Леонтьев вспоминал так: «Аксаков, который принимал меня прекрасно, пока я был *мирским*, стал хуже, когда я зашел к нему монахом. А когда он и Гиляров сказали, что для них Гамбетта и Герцен больше христиане, чем Филарет и Леонид (Епископ), то я с жаром стал говорить против этого, и все от меня отшатнулись, как от *шпиона* или безумца!»

Чуть позже злопамятный Аксаков в письме от 9 октября 1876 года Филиппову(!), благодетелю Леонтьева, называл его «полусумасшедшим». И это было своеобразным вызовом, так как почти все знали о хороших отношениях (в 1876 году еще не дружба) между Филипповым и Леонтьевым. Титулом полусумасшедшего награждал Аксаков Леонтьева и в письмах к Николаю Игнатьеву. Тем не менее Аксаков, признавая острый ум Леонтьева, следил за публицистикой этого «безумца», в тайне даже от себя чувствуя его силу ума и последовательность. Вот как Аксаков отзывался о деятельности Леонтьева в «Варшавском дневнике»: «К тому же Л*** способен написать подчас такую защиту веры и народности, что только компрометирует истину. Это фанатик-фанариот».

Даже прямой Леонтьев был более мягок в оценках, отмечая: «Филаретовское православие – суровое и ясное, православие славянофилов – мягкое и туманное». Или вот еще мнение его о славянофилах и их восприятии Православия (именно так, потому что искренней веры у Аксакова не было). «И при всем искреннем уважении моем к старшим Славянофильским учителям: Хомякову, Самарину, Аксакову, – я должен признаться, что от их прекрасных трудов на меня *веет* чем-то подобным, т. е. сомнительным и… быть может, при неосторожных

дальнейших выводах – и весьма опасным». Под подобным Леонтьев подразумевает рассуждения и мнения о Православии «*не совсем* по-афонски, *не совсем* по-филаретовски, *не совсем* по-старому, то есть *не совсем по-греко-российски».*

Спустя полгода (27 мая 1881 г.) после начала цензорской деятельности, Леонтьеву поступает на отзыв сборник «Взгляд назад», подготовленный Иваном Аксаковым из статей газеты «Русь» на тему земского самоуправления. Наверное, многое вспомнилось Леонтьеву из его взаимоотношений с этим известным славянофилом, когда он приступал к прочтению книги Аксакова. Вспомнил Леонтьев и первую встречу в Калуге, и вторую в имении Шатилова, и злосчастное письмо с просьбой взять его корреспондентом в «День» и послать в Герцеговину, и те палки, что вставлял видный славянофил в колеса реакционера Леонтьева, исповедующего «сладострастный культ палки».

Добрый по природе Леонтьев не держал долго зла на людей, даже несправедливо его обижающих. Политический практик Леонтьев, в бытность консулом тонко анализирующий в своих донесениях результаты административных реформ в Турецкой империи, тут же высчитал, чем грозит предлагаемая Аксаковым реформа местного самоуправления. **Уничтожением государственной системы России!** Вот что предлагал славянофил Аксаков, говоря об «атрофировании» административных органов власти между царем и «миром», так называли с давних времен крестьянскую общину на Руси. «Самодержавный Царь и Земство – больше ничего, или почти ничего. Все посредствующее (т. е. вся или почти вся администрация) должно исчезнуть, “атрофироваться”, как выражается автор», – пишет Леонтьев в своем заключение на сборник. Если вновь использовать образный пример с апельсином, то Аксаков рекомендует изъять из него мезгу и сок. Что тогда останется? Ядра (царь и несколько министров) и кожура, то есть «мир» (народ). И как информация будет доходить до народа? Да никак. Кто будет контролировать их выполнение? Никто. Царь со своими указами и постановлениями будет греметь, как камень в пустой бочке, не производя никакой практической пользы.

В цензорском заключении Леонтьева нет ничего личного! «Черт возьми это государство, если оно стесняет и мучает своих граждан! Пусть оно гибнет!» – выкрикнул Аксаков Леонтьеву в 1874 году. Типично либеральный выкрик и взгляд, ставящий личность даже сомнительного качества выше государства. С таким махровым либерализмом государственник Леонтьев никогда не мог согласиться. Аксаковский путь – это путь разрушения русского государства, очень хорошо замаскированный или высказанный без знания основ государственной системы. Тут уместно вновь вспомнить глубокое наблюдение Павла Голохвастова (сотрудника Аксакова по газетным изданиям), отметившего ограниченность аксаковского ума.

И потому вердикт Леонтьева мудр, суров и справедлив: «Такое “изменение”, пожалуй, еще радикальнее всякой непрочной и поверхностной центральной конституции, не касающейся до корней народной жизни».

После сурового цензорского отказа злопамятный Аксаков приступил хаять Леонтьева перед властными начальниками. Например, Константину Петровичу Победоносцеву 15 февраля 1884 года сообщил, что тот «своим фанариотством способен компрометировать и Бога, и церковь, и веру». Хорошо, что не добавил в это перечисление Царя. О компрометации Бога Аксаков как-то вычитал у французского беллетриста и журналиста Виктора Шербюлье (1829–1899) следующее: «Господь Бог больше любит тех, кто Его отрицает, чем тех, кто Его компрометирует». И для Аксакова, да и для всех, пожалуй, славянофилов того времени – это хлесткое высказывание французского либерала стало любимым выражением. Так его подхватил и Н. С. Лесков, приводя эту цитату в печатной статье как великую заслугу Аксакова в доказательство своих обвинений «князя Мещерского и другого соумышленного ему недоумка консерватизма» в набожности. По мнению Лескова, набожность надо искоренять. Ну чем не либеральный призыв?

В большей своей части писатели «золотого века» русской литературы не скупились на бранные слова по отношению к своим собратьям

по перу не только в письмах, но и в статьях. Можно предположить, что под «недоумком» имелся в виду Филиппов, так как он занимал высокую государственную должность и потому писать фамилию его Лесков побоялся. Если бы речь шла о Леонтьеве, то Лесков не постеснялся бы назвать его наравне с Мещерским. Хотя Леонтьев после 2-х статей Лескова против него в письме Новиковой называет его ласково «чудаком».

Бывший начальник Леонтьева Николай Игнатьев, ставший министром внутренних дел России в мае 1881 года, также получал от Аксакова кляузы на своего, вновь ему подчиненного Леонтьева, так как цензура находилась в ведении Министерства внутренних дел. В ноябре 1881 года Аксаков жаловался на цензора Леонтьева, что тот запрещает карикатуры в юмористическом журнале: «…Я поставлен в неприличное положение, ослабляющее авторитет моей газеты…». Часто заблуждающийся, но высокопорядочный Игнатьев, конечно же, не принял никаких мер к Леонтьеву, однако проникся аксаковскими идеями о Земском соборе и всемерном укреплении земств, создав особую комиссию для составления проектов по расширению их полномочий. Интересно, как опять пересеклись мнения Леонтьева и Игнатьева и как опять мысли Леонтьева оказались более верными и практичными. За эти идеи, высказанные Игнатьевым в докладной Александру III, император тут же снял Игнатьева с высокого поста.

Знаток государственной прозы, Леонтьев никогда не опускался до подобных кляуз и оскорблений своих оппонентов, особенно в печатных произведениях. И потому князь К. Д. Гагарин, товарищ министра Дмитрия Толстого, точно подметил эту леонтьевскую черту, написав Иосифу Фуделю: «…резкие иногда отзывы о людях, встречающиеся в письмах, далеко не соответствуют его изустным суждениям, поражавшим меня их необыкновенной объективностью даже по отношению к врагам. Беллетрист и мыслитель всегда брал верх над личными чувствами и страстями». Например, в статье «Suum Cuigue» (1887) Леонтьев называет Каткова мудрым, а Аксакова благородным в таком

контексте: «…Ни один публицист, будь он мудр, как Катков, и благороден, как Аксаков, не должен приписывать себе какую-то исключительную монополию патриотизма…»

Вот так! Думается, что благородным следует считать Леонтьева, а не Аксакова.

3

Впервые Леонтьев задел, причем невольно, Достоевского в статье «Грамотность и народность», анализируя работу журнала «Время», издаваемого братьями Достоевскими. Речь тогда шла о значении журнала и его преждевременном закрытии. Этот внешнего свойства инцидент лишь косвенным образом касался философских взглядов Достоевского. Об этом рассказано выше. Следует добавить, что и в этом случае Леонтьева преследовал все тот же фатум – типографская опечатка. Говоря о неуспехе журнала «Время», Леонтьев в рукописи написал «самый неуспех журнала», а в печатном виде вышло «слабый неуспех», что вызвало у Достоевского раздражение.

После этой заочной стычки они в 70-е годы, разумеется, встречались и, возможно, несколько раз, но об этих встречах как-то мало что известно. Последняя состоялась в конце апреля 1880 года (за год до кончины Достоевского), когда Леонтьев приехал из Варшавы в Петербург, чтобы найти средства для продолжения издания «Варшавского дневника». Вполне возможно, что Леонтьев просил Достоевского, учитывая его популярность, оказать посильную помощь в финансировании или, по крайней мере, писать статьи для «Варшавского дневника». С подобной просьбой Леонтьев обращался ко многим известным писателям и публицистам того времени: Л. Толстому, М. Каткову, Б. Маркевичу, В. Крестовскому. Леонтьев в примечании к рукописи статьи Розанова «Эстетическое понимание истории» упомянул об этой встрече, говоря о Достоевском: «…он при последней встрече нашей в Петербурге (в 80-м году, всего за месяц *до речи*) был особенно

любезен, ибо весьма сочувствовал моим передовым статьям в “Варш. Дн.”» Однако писать в газету Леонтьева отказался.

Речь Достоевского 8 июня 1880 года на торжественном заседании Общества любителей российской словесности, посвященном открытию памятника Пушкину на Тверском бульваре в Москве, и ее оценка Леонтьевым разделили двух писателей, словно бурная порожистая река.

Так о чем же говорил Достоевский в своей знаменитой речи? В основном о творчестве Пушкина, примерно 90% всей речи. Однако выводы абсолютно не касались Пушкина и стали поистине шокирующими для русского патриота. Вот, например: «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, *всечеловеком,* если хотите. <…> Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего воссоединения людей. <…> Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? <…> О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! <…> И впоследствии, я верю… будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен и по Христову евангельскому закону».

Как восприняла прогрессивная общественность эту апологетику национального унижения русских, что они два века служили Европе, а та насылала на них полчища Наполеона, развязала Крымскую войну и подзуживала Турцию на войну с Россией? С восторгом, переходящим в истерику! Истеричность восприятия признавал сам Достоевский в

письме юной жене: «Я читал громко, с огнем… Когда же я провозгласил в конце о *всемирном единении* людей, то зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга *и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить*... Все буквально плакали от восторга». Так кто же эти экзальтированные люди на этом знаменательном заседании?

Этот вопрос также чрезвычайно интересовал Леонтьева. Не та ли эта публика, которую столь нелицеприятно характеризовали и Аполлон Григорьев, и Федор Тютчев, и Герцен? Да именно та: «…избранные представители русской словесности до того ненавидят власть, до того равнодушны к целостности Государства нашего и к политическому престижу нашей Монархии, что забывают даже о литературном достоинстве передовых статей той газеты, которая так неусыпно стояла на страже этих существенных интересов страны!» Так говорит Леонтьев о газете, возглавляемой Михаилом Катковым. Это те люди, что восхищались, по наблюдению Леонтьева, «больше любовью к Европе, чем любовью к Христу и действительно к ближнему…». Фанатизм таких людей общеизвестен: любого, сказавшего что-либо в разрез их мыслям в момент экзальтации, они, как стая стервятников, разорвут в клочья. Можно только представить, как было трудно Леонтьеву плыть против их течения.

Реакция Леонтьева на такой «европеизм» Достоевского была предсказуемой: «Я… ужасно удивился и огорчился; я считал его *настоящим* православным, а настоящее православие *даже права* (по учению и предсказанию евангельскому и апостольскому) не имеет ждать “всепримирения”, “всепрощения”, “вселюбви” и вообще моральной гармонии (*здесь)*, а может допускать только *временные* улучшения и ухудшения».

Такая метаморфоза, происшедшая с Достоевским буквально через месяц со дня последней встречи, когда тот хвалил консерватизм Леонтьева, была бы удивительна и огорчительна не только для Леонтьева,

а для каждого любящего Россию человека. Консерватизм Достоевского особенно ярко высветился после мучительной каторги. Именно нечеловеческие испытания изменили его мировоззрение, подтолкнули его к Христу и вере. Этот путь к Православию и Христу очень ценил Леонтьев, часто повторяя, что только испытания делают человека человеком. «Страдания, угрызения совести, страх, лишения и стеснения, вследствие кары земного закона и личных обид, открывают перед умом их иные перспективы… А без “преступлений и наказаний” они пребывали бы, наверное, в пустой гордости или зверской грубости… Без страданий не будет ни веры, ни на вере в Бога основанной любви к людям; а главные страдания в жизни причиняют человеку не столько силы природы, сколько другие люди…», – так пишет Леонтьев в статье «О всемирной любви» по поводу речи Достоевского.

Леонтьев отдает Достоевскому должное, говорит, что тот как даровитый и влиятельный писатель очень многих уберег от «сухой политической злобы нигилизма и настроил ум и сердце совсем иначе», что он замечательный моралист в самом хорошем смысле этого слова. Леонтьев кратко разбирает последние произведения Достоевского с религиозной точки зрения и отмечает, что «нельзя было не радоваться, что такой русский человек, столь даровитый и столь искренний, все больше и больше пытается выйти на настоящий церковный путь».

Думается, что после этой речи у Леонтьева возникло ощущение, что «почвенник» Достоевский сошел с русской почвы, предав ее. Потому-то Леонтьев жестко критикует Достоевского, не без основания полагая, что, если уж такой ум, как Достоевский, сник под напором «всечеловеков», то что же ждать от других, более слабых и неустойчивых. И, может быть, Леонтьев почувствовал и свое, в некотором роде идейное, одиночество, если такие люди как Достоевский, покидают консервативную платформу. Быть одиноким – это так ужасно, особенно, когда со всех сторон напирают враги отчизны.

«И вдруг эта речь! Опять эти “народы Европы”! Опять это “последнее слово всеобщего примирения”! Этот “всечеловек”!

<…> Для меня… совсем неожиданно оказалось, что г. Достоевский, подобно великому множеству европейцев и русских всечеловеков, все еще верит в мирную и кроткую будущность Европы и радуется тому, что нам, русским, быть может, и скоро придется утонуть и расплыться бесследно в безличном океане космополитизма». Как может это вынести такой человек, как Леонтьев, первый борец с либерализмом и уже 10 лет пытающийся обосновать необходимость самостоятельного от Запада пути развития России? Тем более, с точки зрения умственной и культурной.

Реальный ход российских событий заставляет Леонтьева пересмотреть свой взгляд на русский народ-«богоносец». Если раньше в Нижегородской губернии он писал, что надо учиться у народа, то на закате дней (1891) он пишет в одной из последних статей своих («Над могилой Пазухина»): «Европеизм и либеральность сильно расшатали основы наши за истекший период уравнительных реформ… Народ наш пьян, лжив, нечестен и успел уже привыкнуть в течение 30 лет к ненужному своеволию и вредным претензиям. Сами мы в большинстве случаев некстати мягки и жалостливы, и невпопад сухи и жестки».

Князь Мещерский в постоянной рубрике «Дневник» своей газеты «Гражданин» пишет: «Г. Леонтьев сказал глубокую правду в своих словах: если хотите сохранить русский народ *богоносцем,* то есть с заветом жизни *по-божески*, а не по-европейски, как того хотят все русские интеллигенты, то вы должны привинчивать его, стеснять его, ограничивать его, но – прибавляет г. Леонтьев – *отечески и совестливо…*».

Иронично и едко отзывался Леонтьев по поводу малого знания своего народа Ф. М. Достоевским, называя его «пламенным народолюбцем», а само словосочетание «народ-богоносец» принадлежит старцу Зосиме из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Предсказывая грядущий вал всероссийского разрушения и бессмысленной жестокости народа в годы революции и гражданской войны, Леонтьев всякий раз добавлял: «…поднял бы я тогда из могилы Федора Михайловича и заставил бы посмотреть на народа-богоносца…».

Леонтьев высоко ценит в Достоевском умение быть «замечательным моралистом», умеющим внушать, что не надо торопиться с переустройством гражданской жизни, что лучше заняться жизнью собственного сердца, стараться быть добрее, выдержаннее. После личного совершенствования и гражданская жизнь станет несравненно сноснее, а тяготы и несправедливости смягчатся «под целительным влиянием личной теплоты». Он восхищается способностью Достоевского быть мыслителем и наставником, особенно в этом отношении его привлекал «восхитительный “Дневник писателя”». У Достоевского в письменных источниках не сохранилось ни единого доброго слова о Леонтьеве. Наоборот, по свидетельству Василия Розанова, «в желчных строках Достоевского сказывалась какая-то ненависть…».

Говоря о моде XIX века – верить в человечество, но не верить в человека, – Леонтьев замечает, что «Г-н Достоевский, по-видимому, один из немногих мыслителей, не утративших веру в самого человека. Нельзя не согласиться, что в этом направлении много независимости, а привлекательности еще больше…». Потому Леонтьев полностью согласен с призывом Достоевского: «Смирись, гордый человек…». Перед кем же должны смиряться представители той публики, что носила Достоевского на руках после его космополитической речи? Согласно Достоевскому – перед русским народом. Леонтьев отнюдь не считает народ высшим судией. Заканчивая «Мою исповедь», Леонтьев спрашивает: «Правы ли люди?» и отвечает: «Бог прав, а люди не правы», – добавляя при этом, что «*Множество справедливых Господних наказаний совершается посредством самых возмутительных несправедливостей человеческих*!..» Леонтьев высшим авторитетом признает **Бога**, а не народ. В этом кроется основное противоречие возрений Достоевского и Леонтьева.

Потому-то странно читать у К. Аггеева и других исследователей, слепо вторящих ему, что Леонтьев «прошел» мимо Христа, что «Богочеловек Иисус Христос, объединивший в Своем Лице Бога и человека и тем искупивший его от вечной смерти, остался неведом нашему

религиозному мыслителю». На чем основывается это утверждение? Опять же на взглядах Достоевского, что Леонтьев не искал и даже не хотел Царства Божьего на земле, царства правды и справедливости, царства любви и всемирного примирения.

Леонтьев, в отличие от кабинетных оппонентов, практик и конкретный человек, понимающий, что правды и справедливости на земле **для всех** никогда не будет! Ведь даже сам Христос закончил путь земной в муках и страданиях, и не удалось ему убедить учеников своих жить без предательства (Иуда, Петр). Так зачем же, подобно либералам, сотрясать впустую воздух и обманывать народ высокими словесами? Разговор о всемирном счастии – это «только эффектные «слова», – писал Леонтьев Фуделю (22 июня 1888 г.). Зачем обманывать и соблазнять людей тем, чего никогда не будет? Разве Леонтьев не прав? – спросим мы себя.

Красоту жизни в сильном государстве Леонтьев любил и приближал всеми возможными способами. По нему, пусть будет даже социализм, но чтобы Российская империя процветала и сокрушала европейских врагов, во сне и наяву видящих расчленение России. «Социализм (т. е. глубокий и отчасти насильсивенный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере, для некоторой части человечества», – так предсказывает Леонтьев в статье «О всемирной любви». И это верное пророчество – лишнее подтверждение, что Леонтьев глубже и лучше знает реальную жизнь, чем оппоненты, призывающие брататься с врагами внутренними и внешними.

И как же социалисты, вознамерившие построить царствие Божье на земле, относились к Достоевскому с его призывами к всемирной любви? Вот характеристика, данная ему Максимом Горьким: «Неоспоримо и несомненно: Достоевский – гений, но это злой гений наш. <…> Достоевский – сам великий мучитель и человек больной совести – любил писать именно эту темную, спутанную, противную душу. Но все мы хорошо чувствуем, что Федор Карамазов, “человек из подполья”… ведь в нас горит не одно звериное и жульническое! Достоевский же ви-

дел только эти черты…». Сравним с более мягкими определениями Леонтьева: «По другим писателям можно изучать нормальную жизнь; по Достоевскому можно изучать только ее психопатию, ее крайние уклонения, быть может (я говорю, быть может), а главное можно изучать самого автора, его идеалы, его собственные душевные изверты, его собственные горести, борьбу и мечтания».

Вполне очевидна причина, по которой на Западе любят читать Достоевского, показывающего «звериную и жульническую», патологически неустойчивую русскую душу. Приятно убеждаться европейскому индивидуалисту, читая Достоевского, что Запад прав, пытаясь извести Россию, населенную такими ненормальными людьми.

Между тем Леонтьев особенно хорош тем своим свойством, что критика отдельных моментов учения или высказываний оппонентов не перерастала у него в негативное отношение к самой личности. Он высоко ценил Достоевского за призыв к «необходимости *смирения* русского интеллигента», – добавляя: «За это я теперь искренно благодарен Достоевскому. Надо сказать правду – этот писатель больше других выставлял на вид пороки русской интеллигенции и выставлял это так ярко и умно, и вовремя, что поневоле заставлял задумываться».

«*Смирение* – это *начало* той дороги, которая ведет к Богу и Церкви», – неустанно повторял Леонтьев, особенно молодым своим ученикам. И потому, рассуждал он, «влияние Достоевского очень полезно для начала; но что останавливаться (да еще с ранних лет) на том, на чем он состарился – не следует».

4

Леонтьев буквально воспевает литературно-поэтический дар Льва Толстого в романе «Война и мир», отмечая, что русская действительность в его изображении имеет право на существование во всей ее полноте. Русская жизнь в творчестве Толстого реальна и не стоит много ниже по содержанию и освещению, как у других русских пи-

сателей, чернящих, вольно или невольно, эту жизнь. Многих русских писателей, в том числе и великого Гоголя, Леонтьев упрекает в недостаточной любви к государству российскому, называет «серыми» «Мертвые души» и «Ревизор», в них русская жизнь ужасна, скучна и звероподобна. Кто герои русской литературы, кроме мятущегося и слабовольного интеллигента, начиная с 40-х годов? Сплошь какие-то недомерки и недоумки: забитый чиновник Акакий Акакиевич, или чиновник-грабитель у Щедрина, или Иидушка Головлев, или тот же Павел Чичиков, вороватый пройдоха.

Наверное, есть такие люди в России, и они прекрасно показаны с художественной стороны, но на них свет клином не сошелся. Есть много других достойных, красивых, более твердых, смелых и полезных государству людей. Зачем чернить русскую жизнь без особой нужды, – как бы восклицает Леонтьев, говоря: «В частностях все эти романисты правы*, во всецелом отражении* русской жизни – они не правы». Конечно, большинство литераторов создают свои произведения на основе личного опыта, описывают то, что близко и понятно им, но «всецелого отражения», кроме как у Толстого, редко у кого можно найти. Для подтверждения своей мысли Леонтьев приводит высказывание немецкого критика: «не думаю, чтобы все русские мужчины были таковы; *одна одиннадцатимесячная осада Севастополя* доказывает противное!» Леонтьев замечает, что современные ему писатели как бы выполняют либеральный заказ – писать в негативной форме о русской жизни. Будут такие произведения – будешь известен. Нет – пеняй на себя.

Величайшую заслугу «Войны и мира» Леонтьев видит в том, что «он (Толстой. – *М. Ч.*) сумел реальными чертами, *внушающими полное довери*е, и чувствами идеальными, нас *возбуждающими к лучшему*, увековечить в памяти потомства годину всенародного героизма», – с любовью отмечает Леонтьев. Вот она, основная, по мнению Леонтьева, задача литературы – «возбуждать к лучшему» и никак иначе! Роль же литературы очень высока в триаде воспитания, состоящей, по мнению

Леонтьева, из семьи, школы и литературы: «По-моему, так: семья сильнее школы; литература *гораздо* сильнее и школы и семьи».

Потому-то и значение «Анны Карениной» высоко, что Толстой сумел «*по-человечески*, то есть беспристрастно, а местами и с явной любовью» изобразить современное ему «*высшее русское общество*». Как не ценить этого? Как не ценить того, кто взялся за это отражение действительной русской жизни, когда более 30 лет никто «не мог, не хотел и не умел за это взяться!»

Таков взгляд Леонтьева на русскую литературу, таким он его довел до читателя в статье «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой» (1888). Анализу стиля писателя Льва Толстого Леонтьев посвятил прекрасную статью «Анализ, стиль и веяние» (1890). Для беспристрастности предоставим слово Василию Розанову. В статье «Эстетическое понимание истории» Розанов делает заслуженный комплимент Леонтьеву, говоря, что достаточно «прочесть немного страниц в статье г. Леонтьева, чтобы понять, что здесь оцениваемая сила столкнулась с не меньшей оценивающею». Восхищаясь глубиной рецензии, Розанов подчеркивает умение Леонтьева входить «в безграничный лабиринт художественного творчества нашего романиста и именно в том, в чем казался он нам всесилен, в *искусстве созидания*, прямо указывать недостатки, которые ему больно видеть».

Что больно видеть Леонтьеву в творчестве Льва Толстого? Касаясь описания разговора Пьера Безухова с пленным солдатом Платоном Каратаевым, Леонтьев справедливо замечает, что разговор очень сложен, слишком философичен, что люди «того времени не имели такой сложности в своем душевном развитии» и не умели отчетливо выражать свои душевные движения. В самом деле, русский крестьянин был проще в своей ясно очерченной общиной жизни. Простыми были и русские купцы, вышедшие, в основном, из крестьянского сословия, что доказывается взаимным доверием при заключении сделок. Миллионные обязательства оформлялись без бумаг, без подписей, а скре-

плялись лишь рукопожатием и словом! Капитализму обязана русская жизнь возникшей отчужденности между людьми.

«Долгий опыт жизни, огромная начитанность и, главное, упорная вдумчивость в важнейшие вопросы нашего личного и общественного существования невольно чувствуются за этими мимолетными заметками», – вот качества, что позволяют, по мнению Розанова, быть Леонтьеву на уровне Льва Толстого и судить его строго. А судить есть за что, но Леонтьев не злоупотребляет своим правом, отдавая должное упорству и таланту Толстого, преодолевшему тяжелый натуралистический стиль первых своих произведений, чтобы возвыситься до «Войны и мира» и «Анны Карениной».

Окончательный вывод Леонтьева таков: «Его на этом поприще превзойти невозможно, ибо всякое художественная школа имеет, как и все в природе, свои пределы и свою точку насыщения, дальше которых идти нельзя». Вот так, в одном предложении упомянута и философия пределов мира, и любимая его «точка насыщения», как тот же предел, только выраженный с помощью естественнонаучной терминологии.

Закономерным, по мнению Леонтьева, выглядит продолжение творческого пути Льва Толстого. Достигнув вершин совершенства в художественном стиле, в умении подать человека во всей красе и мерзости с помощью звучного слова, он вступил на другую дорогу, «на путь моральной проповеди» (Леонтьев). И на этом пути Льва Толстого сильно занесло, хотя нет ни единого осуждающего слова о его опасных экстремистских взглядах в статье «Анализ, стиль и веяние». Такое осуждение – не место для литературоведческой статьи.

Чтобы исключить всякую попытку увидеть со стороны Леонтьева некую предвзятость (завистливость) к позднему Толстому, мы обратимся к мнению другого критика. Того, что также подвигнут Богом на писательский труд и наделен для этого большой творческой силой и возможностями. Стефан Цвейг достаточно подробно и с немецкой скрупулезностью разложил по полочкам черты характера Льва Толсто-

го и его литературные заслуги. Но вот общественные «заслуги» вызывают и у него, отнюдь не русофоба, вполне выстраданное мнение. «Правдивое историческое изложение когда-нибудь докажет, что он больше, чем кто-либо проложил им (социал-демократам. – *М. Ч.*) путь, что бомбы всех революционеров меньше подорвали авторитет власти, чем открытый протест единственного, величайшего – против, казалось, напобедимых сил его родины: царя, церкви и собственности», – таково мнение Стефана Цвейга.

Стефану Цвейгу, написавшему очерк о Толстом в середине 20-х годов после революции в России, с очевидностью понятна «положительная» роль Льва Толстого в деле развала Российской империи. Леонтьеву же задолго до революции понятно направление толстовской мысли, имеющей своей целью разрушение религиозных и государственных основ. Леонтьев прямо говорит, что толстовские проповеди, его «Евангелие» для «неопытных, слабых людей и поверхностно воспитанных людей есть не любовь, а жестокость и преступление». Призывы эти и есть аморальность стократ высшего порядка, чем та, эстетическая «аморальность» Леонтьева, предпочитающего эстетику этике.

В статье «Над могилой Пазухина» (1891) Леонтьев откровенно и с горечью сожалеет, что такие люди, как Пазухин, – исполнители консервативных планов Александра III, умирают молодыми, а либералы, втянувшие в свои сети даже Владимира Соловьева, живы. «Жив, – пишет Леонтьев, – и старый безумец Лев Толстой», что «продолжает безнаказанно и беспрепятственно проповедовать, что Бога нет, что всякое государство есть зло, и, наконец, что пора прекратить существование самого рода человеческого на земле». Грубовато, но, думается, справедливо.

Должен ли государственник и патриот Леонтьев хорошо относиться к человеку, разрушающему устои государства, которое ему дорого и любо? Положительный ответ был бы беспринципен, то есть неэтичен. Так что не всегда эстетика брала верх над этикой в Леонтьевских предпочтениях. Когда дело касалось его любви к Отечеству, он мог пожертвовать даже самой для него святой эстетикой жизни.

Единолично влиять на общественное мнение Леонтьеву не удалось. В период своей творческой «цветущей сложности» он пришел к вполне естественной и выверенной мысли: если одного Бог не сподобил, то нужно сплотить вокруг себя единомышленников, образовать, как он шутливо называл, «иезуитский орден». И, конечно же, такой известный классик, как Лев Толстой, стал бы великим помощником в деле обуздания атеизма и нигилизма, но… Из возможного соратника Лев Толстой стал радикальным разрушителем всех тех фундаментальных основ, на которых зиждилась крепость России, на которые молился Леонтьев.

В статьях, частных письмах известным лицам он пытается снизить действие атеистических, антимонархических выпадов «великого старца», но тот стал уже мировой «совестью», бороться с которой – «себе дороже». И это бесплодное противодействие также один из моментов эсхатологического пессимизма Леонтьева. Если все и вся против России, то что остается, как не вскрикнуть в отчаянии: «Но отчизна наша предана уже проклятию и ничего с ней не сделаешь!»

Во многом Леонтьев оказался прав, высказываясь о проповедях Льва Толстого. Жестко и негативно оценивая общественно-публицистическую деятельность Толстого-проповедника, Леонтьев предвидел, в какое неблаговидное болото тот может скатиться, если не остановить его падение. «Не надо его, наглого старика, баловать. Гений романиста сам по себе, свинство человека и проповедника сами по себе», – писал Леонтьев Розанову в июне 1891 года. Так и произошло. Толстой на стыке веков подхватил афоризм англичанина Самуэлля Джонсона: «патриотизм – последнее прибежище негодяев». Сам Джонсон, по оценкам своих друзей, высоко ценил патриотизм. Он имел в виду, что патриотизмом часто спешат прикрыться негодяи, когда проигрывают в споре.

Лев Толстой в статье «Правительство и патриотизм» (1900) не оставляет сомнений в своем заблуждении: «…патриотизм есть в наше время чувство неестественное, неразумное, вредное, причиняющее большую долю тех бедствий, от которых страдает человечество». Ах, как помогла эта статья социал-демократам в борьбе против русского

правительства в годы Русско-Японской и Первой мировой войн. Как следствие антигосударственной политики Толстого последовало его отлучение в 1901 году Священным Синодом от Православной Церкви. Иоанн Кронштадтский гневно клеймил отступника: «Поднялась же рука Толстого написать такую гнусную клевету на Россию, на ее правительство!.. Дерзкий, отъявленный безбожник, подобный Иуде предателю… Толстой извратил свою нравственную сущность до уродливости, до омерзения…» Тут комментарии излишни.

Завершим тему взаимоотношений Леонтьева и Толстого взглядом с того самого Запада, с которым вел безуспешную борьбу Константин Леонтьев. Безуспешную потому, что помощников у него почти не было, а количество врагов увеличивалось, и налетали они, как саранча из прикаспийских степей. Жаль, но невольным врагом для России стал и Толстой. Велик этот писатель, но Антихрист, подхвативший его на свое крыло, еще более величав.

Слово Стефану Цвейгу: «Толстой больше, чем кто-либо из русских, вскопал и подготовил почву для бурного взрыва; этого радикал-революционера мы, на Западе, введенные в заблуждение его патриархальной бородой и некоторой мягкостью учения, склонны принимать исключительно за апостола кротости».

Русские так до сих пор его и воспринимают. Они восхищаются высокохудожественными произведениями Льва Толстого, не вникая в его вредоносную атеистическую и антигосударственную публицистику.

5

Примером другого рода дружбы, горячей, искренней и доверительной, может послужить переписка Леонтьева и Василия Розанова. Крепкой основой ей послужило, прежде всего, знание Розановым всех политических трудов Леонтьева и полное согласие с ними: «…нам не надо было сговариваться, договаривать до конца своих мыслей: все было с полуслова и до конца понятно друг в друге». Они не были зна-

комы очно, но переписка их стала тем несокрушимым литературным памятником, что навечно воссиял образцом глубокого единомыслия, темперамента и уважения. Семь месяцев откровенной переписки. Семь месяцев! Много это или мало, чтобы не просто понять, а принять друг друга в том неповторимом единстве и многообразии, столь характерном для гениальных людей? Пустой, наверное, этот вопрос. Бывает достаточно и минуты, чтобы между умными и неравнодушными людьми пробежала та искорка, протянулась та ниточка, что потом станет крепче стального якорного каната. Те 27 лет, что прошли от смерти Леонтьева до предсмертного желания Розанова лечь в «сыру землю» Гефсиманского скита в Сергиевом Посаде рядом с учителем, – верное тому доказательство.

Оттого глубоким было понимание друг друга, что они оба считали до конца дней своих, что «человеческое достоинство мы должны оценивать не по судьбе, а по залогам души» (Розанов). И по такой оценке, считал Розанов, «достоинство Леонтьева – чрезмерно, удивительно». Удивительна и верность Розанова, не изменившего мнения о Леонтьеве все годы после его ухода и оставившего целый ряд прекрасных воспоминаний и суждений о великом адресате своем, доступно объяснив и его «историческую гипотезу» в статье «Эстетическое понимание истории», о чем выше уже говорилось. Вспомним, как Розанов, представляя ее, заявлял, что ему «казалось непостижимым, как можно было знать труды и личность Леонтьева и молчать (столько лет!) о нем». Скорее всего, не было умного человека, кто бы понял их, хотя они и просты и, одновременно, сложны, как отмечал Розанов.

Прежде всего привлекает в Розановских характеристиках Леонтьева теплота и искренность без малейшего грана зависти. А какова образность, стоит только вчитаться: «С Леонтьевым чувствовалось, что вступаешь в “мать-кормилицу, широкую степь”, во что-то дикое и царственное (все пишу в идейном смысле), где или голову положить, или царский венец взять. <…> Более всего меня приковывало к Леонтьеву его изумительно чистое сердце: отсутствие всякого притворства в че-

ловеке, деланности. Человек был в словах весь как – Адам без одежд». Или «Прошел великий муж по Руси – и лег в могилу. Ни звука при нем о нем; карканьем ворон он встречен и провожен. И лег, и умер в отчаянии, с талантами необыкновенными».

Вообще, «ум Леонтьева, – скажу, гений его, – был какой-то особенный», – замечает Розанов, и он не первый, кто это отметил. Главным достоинством видится в статье Розанова его высочайшая оценка историософской теории, разработанной Леонтьевым: «Из всех идей, волнующих современный политический и умственный мир, ни одна не способна так встревожить душу, до такой степени изменить наши убеждения, определить симпатии и антипатии, даже повлиять на самые поступки в практической жизни, как историко-политические взгляды Леонтьева. Он первый понял смысл исторического движения в XIX веке, преодолев впервые понятие прогресса, которым мы все более или менее движемся, и указал иное, чем какое до сих пор считалось истинным, мерило добра и зла в истории… Он определяет истинное соотношение между культурными мирами и преобразует совершенно славянофильскую теорию, отбрасывая добрую половину ее требований и воззрений как наивность, коренным образом противоречащую ее сословной идее». Ох, как мало душ встревожилось от пророческих идей Леонтьева! Нелюбознательность ли тому виной или просыпающийся дракон жажды потребления, или либеральное засилье с его заповедью жизни одним днем? Может ли весь этот негатив тут же проснуться и заявить о себе в полный голос? Может, – утверждал Леонтьев и старался всячески воспрепятствовать этому наплыву чертовщины.

В статье «Неузнанный феномен…» Розанов подчеркивает, что цитаделью штурмов того времени для него и Леонтьева был «самодовольный либерализм наш, литературный, но затем также общественный и государственный». Именно так порожденный литературой либерализм, словно раковая опухоль, пустив метастаз, поразил и государственный механизм России, став ее главной мало кем осознаваемой бедой. «Ни ум, ни талант, ни богатое сердце не давало того,

что всякий тупица имел в жизни, в печати, если во лбу его светилась медная бляха с надписью: “Я либерал”», – так жестко и образно рисует Розанов картину общественной жизни последнего десятилетия XIX века. Однако источники антилиберальных настроений у Розанова и Леонтьева были различны. Если у первого они исходили из общего христианского чувства (все либералы – атеисты) и демократических установок (все люди «по душам» должны быть равны), то у Леонтьева – основа неприятия либеральных «ценностей» – страх за Россию. Не только эстетический (усреднение ведет к гибели разнообразия, красоты вещей и социального устройства), но и государственный (Россия погибнет) страх. Прозорливость Леонтьева и в «сражении» с умницей Розановым побеждает, так как последний не видел в либерализме общей и смертельной угрозы для России.

Именно переписке Леонтьева и Розанова философская и общественная мысль обязана четким формулировкам «эстетики жизни». Но вот фатум – никто из понявших эти ценные мысли не связывал их с именем Леонтьева. Сразу же после смерти Леонтьева «явилось шумное, яркое самоуверенное движение в сторону “красивых форм жизни”; зашумели Рескин, Ницше, Метерлинк, наши “декаденты”», – отмечал Розанов. Добавим сюда и Оскара Уайльда (1854–1900), буквально в год смерти Леонтьева издавшего роман «Портрет Дориана Грея», в котором повторяются мысли Леонтьева с поражающей воображение точностью. Вот некоторые из них: «И разориться из-за любви к поэзии – это честь», «Те, кто в прекрасном находит дурное, – люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех», «Но избранник – тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту».

Пытаясь найти причину этому fatum, Розанов говорит, что Леонтьев публиковался в журналах, которые «никто не читал», что Леонтьев крепко связал свое имя с «хроникой текущих событий». Думается, что дело в извечном низкопоклонстве либеральных россиян перед Западом, в их уверенности, что только из западной культуры можно почерпнуть

нечто умное и свежее. Потому-то и проповеди Толстого пользовались успехом, что были либеральны.

Итак, эстетика жизни Леонтьева. Это нечто более глубокое, чем у О. Уайльда.

Первое. Эстетика жизни – это видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни, то есть жизнеспособность. Уменьшение ее есть признак «*устарения человечества»* и приближение его смерти. Конечно же, не физической, а культурной, то есть оскотинивания людей.

Второе. Удачная и повсеместная проповедь христианства, как и враждебный ему прогресс, удивительным, но закономерным образом уменьшают красоту и разнообразие жизни. Очень откровенно и философично это сказано. Согласимся и мы, потому что религиозный аскетизм однообразен и малопривлекателен внешне. На первый взгляд, Леонтьев как бы рубит сук, на котором сидит со своей пропагандой греко-византийского, ортодоксального Православия. Но такова суть монашеского устава, не допускающего вольностей, приводящих к ереси. В этом Леонтьев видит, не называя прямо, борьбу и единство противоположностей и в эстетике и в религиии. Кажется, что его философия зашла в тупик. Что же делать?

Вот, что советует Леонтьев: «…христианству мы должны помогать, даже и в ущерб любимой нами эстетики… по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике». То есть опять политический принцип главенствует даже в эстетике: из двух зол приходиться выбирать наименьшее. Сложно? Но разве жизнь проста?

Павел Флоренский (1882–1937) в вопросах эстетики – прямой продолжатель Леонтьева. В первом философско-богословском труде «Столп и утверждение Истины» Флоренский 17-й раздел посвятил эстетике и назвал его «Эстетизм и религия». Ссылаясь на Леонтьева, Флоренский пишет: «Для Константина Николаевича Леонтьева “эстетичность” есть самый общий признак; но для автора этой кни-

ги он – самый глубокий». Для пояснения Флоренский рисует концентрические окружности, разделяющие плоскость круга на пять частей. Ядро – «глубокая» эстетика, вторая от центра – этика, третья отдана биологии, четвертая – физике, а пятая представляет так называемую дурную бесконечность. Эстетика в понимании Флоренского – центр Вселенной, и любое творческое (не дурное) действие эстетично. Она присуща всем видам человеческой полезной деятельности: хозяйственной, научной, производственной, церковной, военной.

Но так ли уж «общ» характер эстетики у Леонтьева, как утверждает Флоренский? Фуделю Леонтьев пишет (23 июня 1888 г.): «…нельзя вообразить себе будущее *только моральным*. Если же мы скажем – *эстетическим,* то этим мы сказали *все*; <…> Можно начертить такой приблизительный чертеж…» Даже изображение проблемы в графическом виде Флоренский заимствовал у Леонтьева. У Леонтьева этот чертеж состоит из четырех ступеней: верхняя – «мистика» – самая узкая с пометкой «критерий только для единоверцев». Вторая ступень шире, и на ней умещаются уже две категории – «этика» и «политика» с пометой «только для человечества». Третья занята «биологией», состоящей из физиологии человека, жизнедеятельности растений и животных, медицины и т. д. Ее сопровождает ремарка «для всего органиеческого мира».

Четвертая, и самая широкая, ступень отдана «Физике» и «Эстетике». Физика понимается как всеобщая наука, в нее входят механика, астрономия, химия и др. Сопровождает ступень решительная пометка: «для всего». Какой угодно можно применить эпитет к «эстетике» – «глубокая» или «фундаментальная», но суть и значение ее оба философа оценивают в превосходной степени. Эстетика – фундамент мировоззрения.

Чрезвычайно важно и легко объяснимо, что разработкой значения эстетики в мире впервые занялись русские философы. Объяснение этому кроется опять же в противоположном отношении к основам бытия. Идеал русской жизни состоит в православном нравоучении: «Живи не так, как хочешь, а как Бог велит». Бог есть красота. Запад-

ный идеал – в римском праве, который кратко можно сформулировать так: «Бери от жизни все, что можешь».

Флоренский также считает эстетику важнее этики, но ни у кого не повернется язык назвать его аморальным. Да и Леонтьева признавали таковым лишь либералы. Прав Розанов, утверждая в статье «О Константине Леонтьеве», что он сам на себя наговаривает. Что же пишет Розанов? «Говорят о его «аморализме» (Булгаков да и все о нем писавшие упоминают об этом, хотя *с его же слов*). Нужно строго оговорить это. Он был один из самых нравственных людей на свете по личной доброте… по личной грации души, по полному и редчайшему чистосердечию. Да и кто *сам* о себе говорит: «Я безнравственен», – наверное, всегда есть самый нравственнейший человек. «Он – Христов, он – не лицемер».

Первым из представителей мировой философской мысли, первым из литераторов, прославляя красоту в жизни (не только в искусстве), Леонтьев прямо называет то, что достойно поклонению, – вера в Бога, и в созданный им Мир. Все другие построения от лукавого, от которого, согласно молитве Господней, надо избавляться: «...не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».

6

Конечно, не только «поразительный альтруизм», по словам Розанова, привлекал к Леонтьеву людей самых разных сословий и мировоззренческих убеждений, но и глубокая убежденность в своих антилиберальных взглядах. Они не попадали в унисон с тогдашним настроением общества, становившимся все более и более атеистическим и антимонархическим. Но были люди, что трепетно и верно вкушали плоды философии Леонтьева. Среди них Юрий Николаевич Говоруха-Отрок, писавший под псевдонимом Ю. Николаев, и Лев Александрович Тихомиров. Леонтьев называл обоих «отставными нигилистами», так как они проходили обвиняемыми по «процессу 193-х» в 1878 году.

Бывшие народовольцы, ставшие в 1990 году сотрудниками «Московских ведомостей», были представлены Леонтьеву новым после умершего М. Н. Каткова редактором газеты Владимиром Андреевичем Грингмутом в московской гостинице «Виктория». Каждый год, как мы уже знаем, Леонтьев наезжал в Москву для консультаций с врачами относительно своих бесчисленных болячек. Один из представленных – Говоруха-Отрок, приехавший из Харькова (газета «Южный край»), сразу же назвал себя учеником Леонтьева, чем в немалой степени удивил и обрадовал хозяина номера. Говоруха-Отрок еще ранее читал «Византизм и славянство» и писал о Леонтьеве, знаком он был также и со статьей «Анализ, стиль и веяние».

Тихомиров же только-только по рекомендации Грингмута приступил к изучению сборника «Восток, Россия и славянство», а до этого в юности читал «греческие повести». Леонтьев читал статьи Говорухи-Отрока и брошюры Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером» (1888) и «Начала и концы. Либералы и террористы» (1890). Душа Леонтьева приняла обоих «отставных нигилистов» благосклонно и с надеждой.

Особенно полезными оказались многочисленные беседы с Тихомировым.

Это была легендарная личность. Активный участник народнического и революционного движения в России, член исполкома партии «Народная воля», организовавшей одно из покушений на Александра II, арестован в 1873 году и осужден по «процессу 193-х». В эмиграции (1888) подал прошение императору Александру III о помиловании и выпустил брошюру «Почему я перестал быть революционером», за что был помилован и вернулся в Россию в конце 1888 года. Сотрудничал в консервативных изданиях, главным образом в «Московских ведомостях», в штат которых как составитель «Дневника печати» он был зачислен в сентябре 1990 года. Позже он вырос до редактора этого издания, а еще позже работал в организациях при правительстве Петра Аркадьевича Столыпина, который, как известно, очень хорошо разбирался в людях.

Наверное, не хуже разбирался в них и Леонтьев, всегда отдавая предпочтения ярким и неординарным личностям.

Тихомиров сразу же, как сын, привязался к Леонтьеву, хотя, как он замечал, взгляды его уже сформировались окончательно, и беседы с Леонтьевым происходили на равных. Самыми сердечными строками воспоминаний о встречах с Леонтьевым мы обязаны именно Тихомирову, в частности, записавшему в своем дневнике после его кончины следующее: «У меня еще не умирало человека, так близко мне не внешне, а по моей привязанности к нему». И корявый стиль, и волнение, читаемое между слов, лучшее подтверждение искренности Льва Тихомирова. Ему же принадлежит одна из самых ярких и нестандартных характеристик Леонтьева, данная (2 сентября 1991 г.) в письме к Ольге Новиковой: «Он меня очень привлекает. Это личность совсем иная: грешная, ломаная, в которой, однако, есть и великие силы добра. Он очень умен. Я бы очень желал, чтобы он прожил еще десяток лет. Может быть, он сделается очень нужным, необходимым человеком. <…> А он из тех, у которых ангел и чорт, вечно сцепившись в отчаянной борьбе. Но у него этот ангел не изгнан, не уступает. Сверх того, он глубоко сведущий *православный*».

Тихомиров благодарен был Леонтьеву, что тот «старался расчистить» его жизненный путь, возлагая большие надежды на его писательскую деятельность. «Точно так же он заботился о моей духовно-религиозной выработке, которую находил самым слабым моим пунктом, – и, нужно сказать, – совершено справедливо, – с благодарностью вспоминал Тихомиров в очерке «Тени прошлого».

Заботы Леонтьева не прошли даром, а сердечно были восприняты Тихомировым. Он стал преемником Леонтьева в рассмотрении трудного вопроса о взаимосвязи любви и страха Божия. Тихомиров, критикуя одного священника за неточное изложение христианского учения о страхе Божием, уточнил, что не просто любовь изгоняет страх, а «страх изгоняется лишь *совершенною* любовью. Разница очень большая». Совершенная же любовь проистекает только из страха Божия. Почему ли-

берал не хочет признавать над собой ни необходимого для наведения порядка государства, ни дисциплины, ни воли умного и более знающего человека, встающего порой над общественным сознанием, ни даже Бога? Тихомиров логично называет причины этому: «Болезнь современного человека состоит по преимуществу в гордости, в самомнении. Нынешний человек даже и перед Богом не согласен мириться. Всякое совершенство ему кажется таким простым, так легко ему доступным. Потому-то нынче не любят страх Божий». И выстрадал это Тихомиров уже после смерти Леонтьева.

В своем монументальном труде «Монархическая государственность» (1905) Тихомиров отдал должное взглядам Леонтьева и провозгласил, критикуя либералов, что лишь в государстве люди находят высшее орудие для охраны своей жизни, прав и свобод. «Отрицатели государственности против воли дают подтверждение этой истины, т. к., покидая государство, в своих чаяниях будущего представляют себе лишь одно из двух: либо простое **господство сильнейшего** (в анархии), либо **подчинение человека стихийным силам** (в социальной демократии)». Леонтьев порадовался бы таким выводам своего ученика.

В долгих беседах, которые происходили «большей частию наедине», они обменивались духовными запросами, «делясь мыслями о будущем». Каким бы, особенно в те годы, пессимистичным детерминистом не считался Леонтьев, уверенный, что по законам природы все обречено на неизбежную гибель (это когда будет?), а пока надо жить в соответствии с учением о красоте, «надо тревожиться и неустанно бороться». В мыслях и прорицаниях о будущем, прежде всего, России, видно особое жизнелюбие и неравнодушие Леонтьева. Отсюда и желание создать некую тайную организацию, точнее, сообщество любящих Отчизну людей, таких, как Леонтьев, Тихомиров, Говоруха-Отрок, Фудель, Чуфрин.

– Ну что же, Лев Александрович, – с улыбкой спрашивал Леонтьев, – когда же мы приступим к учреждению своего Иезуитского Ордена?

Такое общество, которое поддерживало бы людей патриотического образа мыслей повсюду: «в печати, на службе, в частной деятель-

ности, всюду выдвигая более способных и энергичных». Так резюмировал задачу общества Лев Тихомиров. Но создание такого общества, предполагал Тихомиров, станет более трудной задачей, чем создание настоящего Иезуитского ордена. Да к тому же неожиданная смерть Леонтьева не позволила подойти к решению этой проблемы даже в предположениях своих.

«Я бы очень желал, чтобы он прожил еще десяток лет», – мечтал деятельный Тихомиров, имея в виду создание организации, которая могла бы противостоять той, что удалось сколотить Владимиру Ульянову (Ленину) из, казалось бы, случайных людей.

Извечная беда сильных личностей – неумение (или нежелание?) оставлять после себя учеников, продолжателей своего дела. Не таков Леонтьев, щедро раздававший свои идеи ученикам. Фатум литературных дел преследовал его при жизни, но богатые семена, переданные ученикам, были посеяны и взросли достойными плодами…

Глава 5
Постриг и уход

> …совесть шепчет мне, что Господь простит мне и помилует в день Страшного Суда. И отлично!
>
> *Из письма К. Н. Леонтьева – Т. И. Филиппову 10 октября 1880 г.*

1

Духовный отец Константина Николаевича Леонтьева иеросхимонах Амвросий, кроме духовных подвигов на ниве старчества, прославился еще и как инициатор и создатель (1884) Казанской женской общины, возведенной позднее в степень общежительного женского монастыря с названием Казанская Амвросиевская Пустынь.

Естественно, что старец Амвросий каждый год гостил в созданной им обители, сестры которой в нем души не чаяли. В июле 1890 года батюшка Амвросий в очередной раз приехал в Шамордино на освящение кладбищенской церкви во имя Святой Троицы. Погостив две недели, он собрался в Оптину пустынь. Подали карету, в нее уложили вещи старца, а он из-за внезапно возникшей сильной слабости не смог подняться с постели. На следующий день и на третий день повторилось то же самое. Приняв это троекратное недомогание за Божью волю, старец остался не только на зиму в Шамордине, но и на весь последующий (1891) год вплоть до смерти (10 октября). Таким образом, пострижение Леонтьева в иноки, состоявшееся 18 августа 1891 года, произошло в Шамординской женской обители, а не в Оптиной пустыне, как принято считать.

Пророческий дар о. Амвросия подсказал ему о надвигающемся конце жизни. Монахини вспоминали, что, встречая Новый год, они пришли после обедни поздравить его. Он вышел на общее благословление очень серьезный и даже немного грустный. Сел на диван и произнес первые строки стихотворения: «Лебедь на водах Меандра песнь последнюю поет…», а после непродолжительного молчания прибавил, что можно переделать это стихотворение: «Лебедь на водах Шамордандра песнь последнюю поет». Затем пояснил, что лебеди свою песнь поют только один раз, перед смертью. Сестры вышли от него озадаченные и расстроенные. Конечно, пошли разговоры о таком пророчестве батюшки. Дошли они и до Оптиной пустыни, и до Леонтьева. «Он был так слаб, что я дивлюсь, как он мог дожить до 79 лет», – писал он летом 1990 года Василию Розанову. Эти слухи вновь подвигли его к думам о своем пострижении, об исполнении наконец-то слова, данного перед иконой Божьей матери в Салониках.

Однако Леонтьев не знает, как подступиться к этому делу, памятуя о своих прежних неудачных попытках: вдруг в Шамордине получишь от ворот поворот. Тогда считай, что все пропало: другой духовник долго будет испытывать его. Тринадцатого августа, то есть за 5 дней до пострижения, он еще не догадывается, что оно вообще состоится, так

как в письме Розанову пишет лишь о том, что старец приказал ему после 20 августа уехать в Троице-Сергиевскую лавру и устроиться там навсегда. Этот совет старца понятен: он знает, что скоро умрет, а у Леонтьева не будет духовника. Постриг случился, как я полагаю, неожиданно, и тому есть косвенные доказательства.

В жизнеописании основателя Казанской женской общины о. Амвросия есть такое свидетельство. За 20 дней до кончины (21 сентября 1891 г.) началась его предсмертная болезнь, приводящая день за днем к потере органов чувств: слуха, голоса. Однако за неделю до смерти он вдруг ясно проговорил: «Кто это **опять** (выделено мной. – *М. Ч.*) там просится в монастырь?» В келье никого не было, и ему ответили, что никого нет. Через несколько минут старец, уже с гневом, повторил свой вопрос: «Да что же мне не скажут, кто это **еще** (выделено мной. – *М. Ч.*) просится в монастырь?» Тогда озадаченный келейник вышел на двор, где толпились, как всегда, люди. К нему тотчас же обратился мужчина в мирской одежде с просьбой спросить у батюшки, в какой монастырь ему надлежит поступать. Тогда келейник передал старцу просьбу бывшего послушника Оптиной пустыни, вернувшегося с Афона. О. Амвросий принял его, благословил и велел поступать в Глинскую пустынь.

Выделенные мной слова «опять» и «еще», да и сам аналогичный случай говорят о том, что недавно здесь, в Шамординской общине, было такое же благословление (постриг) в монахи. Само собой разумеется, что такие обряды совершаются не каждый день, хотя сам этот процесс не есть длительная процедура, сопровождаемая десятками условностей, как, например, у масонов. Тайный же постриг означает, что в обряде принимают участие лишь двое: благословляющий и обращаемый в монахи.

Воспоминания Евгения Поселянина также подтверждают это предположение. «Получив от Константина Николаевича к лету известие о том, что отец Амвросий сильно слабеет, я в **августе** (выделено мной. – *М. Ч.*) поехал в Оптину. Отец Амвросий находился в основанной им в 17 верстах от Оптиной женской Шамординской общине.

Туда мы **раз** (выделено мной. – *М. Ч.*) и ездили с Леонтьевым. Леонтьев говорил со старцем прежде меня и **долго** (выделено мной. – *М. Ч.*) оставался с ним. Решался вопрос о переезде его на жительство в Сергиев Посад. Войдя затем к старцу, которого я не видал два года, я застал его в величайшем изнеможении. Голова его бессильно падала на подушки. Подведя ухо почти к его рту, я еле мог понять его шепот. На обратном пути Леонтьев рассказывал мне, что старец настаивает на его немедленном переезде».

Конечно, Леонтьев не признался юному Поселянину в том, что он только что был пострижен, чтобы не разочаровывать молодого друга в «легкости» данной процедуры. Леонтьев вообще никому об этом не сказал, кроме самого близкого ему в те годы отца Иосифа Фуделя. В письме из Сергиева Посада от 5 сентября он сообщает: «Во-первых, 18 августа совершилась надо мною то, о чем я Вам говорил».

Леонтьев, видимо, приехал 18 августа за благословлением перед предстоящей поездкой в Сергиев Посад и, увидев неважное состояние отца Амвросия, обратился с просьбой о постриге. Прозорливый отец Амвросий, кроме знаний о собственной скорой смерти, почувствовал, что и Леонтьеву осталось недолго жить и, конечно, не мог отказать в одной из последних просьб духовному своему сыну. Леонтьев пожелал, чтобы новое его имя было Климент, как у его первого оптинского друга отца Климента Зедергольма, умершего 30 апреля 1878 года.

«Скоро увидимся…», – сказал старец Леонтьеву вещие слова после пострига. Содрогнулся ли внутренне Леонтьев от этих слов, поняв их смысл, мы никогда не узнаем. Можно только с уверенностью сказать, что тот страх животной смерти, пугавший его в Салониках и в Кудинове (1874), был продиктован прежде всего не выполненными литературными планами. Этот страх не совершил над ним того черного дела, за которым следует обычно мизантропия. Теперь страх и вовсе покинул его.

Леонтьев в 1891 году почти ничего не пишет, кроме подробных писем, то есть душою он как бы подвел черту под своим творчеством. Он лишь активно занимался оформлением ранее написанного – подготов-

кой третьего тома «Россия, Восток и славянство», да ожидал возврата от Соловьева рукописи по национальному вопросу, чтобы переадресовать ее Цертелеву, редактору «Русского обозрения». Леонтьев устал делиться своими идеями и предложениями по переналадке российского общества на консервативные рельсы. Ведь катковского влияния на государя императора и общество ему достичь не удалось.

«Мне же, наконец, надоело быть гласом вопиющего в пустыне! И если Россия осуждена после короткой и слабой реакции вернуться на путь саморазрушения, что “сотворит” один и одинокий пророк? Лучше о своей душе побольше думать, что я с помощью Бога и старца и стараюсь делать… Моя душа без меня в ад попадет, а Россия как обходилась без моего влияния до сих пор, так и впредь обойдется. Пусть гипотеза моя есть научное открытие, и даже великое, но из этого еще не следует, что практическая политика в XX веке пойдет сообразно этому закону моему», – так писал Леонтьев Розанову за два месяца до пострижения.

Ему ли, горячо любившему Россию, остро переживающему все ее невзгоды, горько сожалеющему, что она идет по либеральному пути саморазрушения (вторичного смешения), забыть о всех своих пророчествах и опасениях. Отойти от дела, которому отдано столько творческих да и физических сил, невозможно. Двадцать лет на месте одинокого политического проповедника, 20 лет плыть против течения, начиная с того морально-этического перелома, совершившегося в 1871 году. Это был путь не только к Богу, но и политическому осознанию роли России в истории всемирной цивилизации и культуры, да и самой истории человечества.

Широкий успех был нужен ему не для удовлетворения тщеславия (впрочем, от него он не отказался бы), ему хотелось, чтобы общество приняло его глубоко выстраданную концепцию будущего исторического пути, нелегкого и даже трагичного для России, и постаралось бы избежать его. Казалось бы, вопросы, поднятые Леонтьевым, носили сенсационный характер, и хотя общество, точнее, буржуазная журналистика, уже полюбила щекотать читателям нервы описанием катастроф

и прочих «концов света», но злободневность леонтьевских прогнозов ни у кого внимания не пробудила по самой простой причине, так как не была понята. Видимо, слово «интеллигенция», что обозначает передовую часть общества, надо действительно писать, закавычивая. «Да кто же вовремя был понят, кроме пошляков?» – справедливо спрашивал Константина Николаевича Василий Розанов в ответ на недовольство Леонтьева своей литературной судьбой. К этим словам можно добавить и такое определение Сергея Николаевича Булгакова: «Кажется, что уж слишком умен Леонтьев, что и сам он отравляется терпкостью и язвительностью своего ума».

В эпоху миролюбивого Александра III, в эпоху бурного экономического, научно-технического и политического развития России никому не хотелось задумываться над грустными моментами будущего. Предвидения Леонтьева очень похожи на пророчества апостола Павла: «Ибо, когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно, как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнуть». Зачем же думать о пагубе, когда гремит музыка и надо пригласить на танец вон ту красивую и молодую особу?

Вся жизнь его насыщена литературной, а в большей степени политической борьбой. Он долгих 20 лет шел к монашескому постригу не потому, что боялся строгого устава и не был готов к нему, а потому что чувствовал, что не выполнил еще публицистического призвания: скрестить ужасную жабу грязной политики с красивой и чистой розой христианской эстетики. Ведь это Леонтьев первым обратил внимание, что с торжеством католицизма в Италии и Испании произошел небывалый эстетический взлет духовно-художественного творчества. История не забудет Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Лопе де Вега, Кальдерона, Сервантеса, Веласкеса, а также великих политических деятелей того времени, достаточно назвать Николо Маккиавелли. И потому Леонтьев полагал, что можно совместить политику, применяющую в своей деятельности отнюдь не христианские принципы, с религией. Именно для того, чтобы показать возможность этого соеди-

нения, он отыскивал в христианстве моменты насилия, принуждения, страха, в том числе и страха Божьего.

Для этого Леонтьев ввел в философию понятие категории силы: «силы оружия», «силы принуждения», «силы православия», «силы государственной идеи», но полностью эту тему не развил, хотя и сказал знаменитую фразу: «Важен не народ, а великая идея, которая владеет народом». Потому она знаменита и классически верна, что подкреплена временем, тем единственным мерилом, а точнее, пламенем, в котором сгорают пустые слова и фразы, но закаляются идеи, предназначенные на века. Народ без идейной общности – это лишь население, «планктон», состоящий из слабых одиночек, в любой момент съедаемых акулами «обстоятельств». И в этом соединении политической силы с христианством нет никаких противоречий, в которых Леонтьева обвиняли противники, плохо знающие Евангелие. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34).

Учитывая лишь внешнюю сторону, можно сказать так, что постриг Леонтьева – это нечто вроде выполнения договора с Богом. Обещал, что смиренно придет под Божье крыло, приняв все установки, вот и выполнил свое обещание – пришел. Главное, что Леонтьев принял постриг сердцем, и душа его перед кончиной освятилась. Все друзья, пришедшие его навестить в Москве, отметили это возвышенное состояние, хотя о постриге своего старшего товарища никто из них не знал. Тайный монашеский постриг не предусматривал принятия священного сана, чтобы называться «отцом Климентом». Пока Леонтьев оставался лишь «братом».

2

Психологи утверждают, что все живое чувствует приближение своего конца. Звери, чувствуя надвигающийся природный взрыв (землетрясение, ураган, извержение вулкана, цунами, наводнение), покидают родные места ради спасения. Человек растерял в процессе своей

эволюции эти животные качества, а ум не помогает. Да, тот самый ум, на который человечество молится от Аристотеля, оказывается беспомощен в чрезвычайных природных и психологических ситуациях. Порой интуиция подсказывает выход из трудного положения, но самоуверенный ум отодвигает интуицию на второй план и проигрывает. В апреле 1912 года Александр Блок записал в своем дневнике: «Гибель Titanica, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан)». Либералы, узнав бы об этой записи тотчас же приклеили бы Блоку ярлык аморального типа. Конечно, Блока радовала не гибель людей, он лишь отметил пощечину, которую получил хваленый прогресс, буржуазная цивилизация Запада, возомнившая, что замены ей нет, что только ее направление единственное.

Видимо, и Леонтьев чувствовал, что едет в Сергиев Посад умирать. Тридцатого августа он навсегда покинул Оптину пустынь и старым, до боли знакомым путем через Калугу приезжает в Москву и останавливается на два дня. В гостинице его навещают Александров, Говоруха-Отрок, Грингмут, Тихомиров и другие. Те, кому он не безразличен и дорог, и эта всеобщая радость от встречи и нелицемерное участие гостей тронули его душу. До Троице-Сергиевой лавры он добирается третьего сентября и поселяется в Новой Лаврской гостинице, о чем тут же сообщает Василию Розанову.

Интуиция подталкивает Леонтьева к написанию необычного письма из Сергиева Посада отцу Иосифу Фуделю с пометкой «секретно», хотя ничего секретного в нем, разумеется, нет. В нем он пишет о «роковых десятилетиях»: 1841 – отдан в училище, 1851 – первая любовь, знакомство с Тургеневым, 1861 – женитьба и решение служить на дипломатическом поприще, 1871 – духовный перелом и обет монашества, 1881 – устройство на цензорскую службу, укрепление литературного и финансового положения.

«Теперь 1891-й. И что же? – пишет Леонтьев Фуделю. – Опять несколько поворотных пунктов разом. Во-первых, 18 августа совершилось надо мною то, о чем я вам говорил; с семьей я во всяком месте

решился жить врозь; 16 августа появилась та статья Розанова, которая Вас так утешила, она и меня до того успокоила, что мои московские друзья, не зная другой причины (той!) (Леонтьев имеет в виду постриг. – *М. Ч.*), заключили во мне что-то особенно благодушное и приписали все этой статье».

Даже это простое перечисление знаменательных, по его мнению, событий в его жизни очень беспокоит Леонтьева: что-то должно случиться. Теперь его уже мало заботят деньги, по-настоящему заботит только ослабевшее здоровье. Появляются приступы неожиданной и пугающей слабости, мучает перевыстое дыхание по ночам, но Леонтьев не жалуется, и это новая отличительная его черта. «Мне жаловаться – большой грех! Моя старость хоть и очень недужная и преждевременная, но очень счастливая! Вы это сами говорили. “Не по грехам нашим воздал еси нам!”» – пишет он Александрову.

Спасение души в загробном мире («трансцендентный эгоизм») подразумевает, как надо полагать, счастье и в земной жизни, к которому начинает приходить Леонтьев. Обретение земного счастья – один из факторов, свидетельствующий об истинно обретенной вере. Если определить счастье как особое состояние души, то только верующие и обладают этим состоянием. И дело, разумеется, здесь не в количестве денег, не в количестве квадратных метров особняка, не в количестве соблазненных женщин или приручeнных мужчин. И вообще не в количествах! Количества не всегда переходят в качество! Да, тайный, а точнее, неожиданный постриг напоминал договор с Богом, но после его осмысления что-то неведомо вечное стало нарастать в душе Леонтьева, что можно определить как обретение внутренней свободы. И прежде всего свободы от гордыни. От других пороков, как-то: жадность, зависть, чревоугодие – Леонтьев был свободен и раньше.

Леонтьев по-прежнему в курсе общественно-политических событий в России, и уже 22 октября знает о реферате, прочитанном его бывшим любимцем Владимиром Соловьевым. В нем тот утверждал, что прогресс своим продвижением обязан прежде всего атеистам. История эта

с рефератом сильно огорчила и поразила его сознанием того, что нет у Православия истинно хороших защитников. «Неужели же нет никаких надежд на долгое и глубокое возрождение Истины и Веры в несчастной (и подлой) России нашей?.. Не знаю, что и подумать, и чрезвычайно скорблю!..», – восклицал он, уязвленный по сути изменой Православию (что может быть страшнее?) со стороны Соловьева.

Энергичности Леонтьева можно позавидовать: он предлагает незамедлительно изгнать Владимира Соловьева из России, чтобы тот почувствовал себя за границей изгоем, не понятым и католиками-иезуитами, к вере которых он склонялся, и православными, от которых отвернулся. Однако вступать в полемику с «отдельными лицами» в средствах массовой информации он вовсе не желает: «Перетерлись, видно, “струны” мои от долготерпения и без своевременной поддержки… Хочу поднять крылья – и не могу! Дух отошел! Но с самим Соловьевым я после этого ничего и общего не хочу иметь». Леонтьев мечтает лишь направить Соловьеву личное обличительное письмо, но он устал всенародно бороться с врагами России своим обобщающим публицистическим словом. Он хочет теперь быть просто советником тех немногочисленных публицистов, что на его стороне.

Леонтьев по-прежнему радикален: «Зачем вы все так осторожны?» – спрашивает он в письмах. Он требует соблюдения государственной дисциплины от всех, в том числе и от либеральной интеллигенции, зачитывающейся русофобскими измышлениями француза де Кюстина и «логическими и связными проповедями сатаны Соловьева», и проповедями «самодура и юрода» Льва Толстого. Главное требование Леонтьева: «Государство православное не имеет права все переносить молча!» Вся его публицистика – это утверждение той простой истины, которую непременно не хочет признавать крикливая публика: государство создано и существует для исполнения воли молчаливого, и быть может, покорного большинства, а не разрушительной воли себялюбивого в своей агрессивной разрушительности меньшинства. Большинство же (95% населения) во времена Леонтьева – крестьянство, смирение и по-

корность которого так восхищала его. Именно в этих качествах народа Леонтьев видел залог сопротивления либерально-демократической заразе, наползающей с Запада.

3

Отец Амвросий предусматривал, если Леонтьеву не понравится в Сергиевом Посаде, то 15 сентября, пока еще не слишком холодно, тот может вернуться в Оптину пустынь. Леонтьев, однако, уже пятого сентября принял твердое решение остаться в Сергиевой лавре, потому что Москва рядом, а он еще надеялся быть полезен московским молодым друзьям. Евгений Поселянин так говорит от лица молодых его друзей: «И мы все, знавшие его, еще учившиеся и окончившие студенты, надеялись, что личные сношения с ним обратят на настоящий жизненный путь некоторых наших товарищей, в которых были богатые задатки и которые, отделившись умственно от своего народа, были оттого несчастны и не удовлетворены». В Сергиевом Посаде у Леонтьева сразу же нашлись новые поклонники из числа студентов Московской духовной академии: отец Сергий (Веригин), профессорский стипендиат И. Попов и уже упомянутый князь Борис Туркестанов (отец Трифон).

Этот роковой для себя год Леонтьев все же надеялся пережить. Он говорил своему юному другу Анатолию Александрову: «Если я переживу этот год, буду много работать; писать, а теперь, пока он не прошел, не могу, крылья связаны; подождите». Разговоры на такую тему уже есть признание в близком расставании.

Грустным отсветом недалекого расставания наполнено и прощальное письмо своей «блудной» искусительнице Людмиле Раевской: «Думал об Вас все это время достаточно и жалел Вас и намеревался писать Вам, да все откладывал, потому что <…>. Вот уже и писать нет охоты, а пишешь кой-что по нужде (так и батюшка на прощанье благословил)». Леонтьев как бы подводит итоговую черту под своей жизнью. То, к чему

привела его судьба, делать уже не хочется. Значит, он выполнил свое предназначение! Теперь можно выразить его словами, которыми Леонтьев закончил свой главный труд «Византизм и славянство»: «Довольно! Я сказал и облегчил себе душу!»

Мудрый Леонтьев сам дает угаснуть своему светильнику разума. Но даже в смертном бреду он понимает, что за Россию еще предстоит борьба, неистовая и кровавая. И не надо искать другого смысла в его предсмертных словах, выражающих вечное человеческое сомнение: «Еще поборемся! – Нет, надо покориться!». И вновь: «Еще поборемся! – Надо покориться!». Россия, как и Леонтьев, покорились: первая – революции, второй – смерти! Нет, недаром Леонтьев зарекал Россию от революции, которая обернулась смертью самодержавия, Православия, а по сути, и России.

Умер он от той самой болезни, которую в качестве примера «вторичного упрощения» описывал в «Византизме и славянстве», – крупозного воспаления легких. Пневмония. В теплом «графском» номере, названном так в честь М. В. Толстого, православного писателя, долго там жившего, Леонтьев работал за столом в любимой суконной поддевке. Ему вдруг стало жарко, он снял ее, открыл форточку и сел за стол рядом с окном. Александров очень удивлялся тому, как это Леонтьев, такой прежде внимательный к своему здоровью, допустил эту легкомысленную небрежность. Ответ можно найти в народной примете, а точнее, в слове «отвело». Словно кто-то свыше как посланник смерти отводит от человека все благие мысли о самосохранении, выдувает из головы инструкции и правила, которым надо бы следовать, чтобы выжить. И таких случаев в истории известно великое множество. Еще в народе говорят, что «смерть причину найдет».

Плоть его, ослабленная многочисленными недомоганиями, среди которых по его признанию: «бессонница, страшные мигрени, поносы, язва желудка, трещины на руках и ногах, воспаление лимфатических сосудов», – сопротивлялась пневмонии всего несколько дней.

Сохранился отчет иеромонаха Трифона (Бориса Туркестанова), подготовленный для отца Иосифа (Фуделя) по его просьбе от 22 ноября 1891 года.

Всечестнейший и многоуважаемый Собрат,
Отец Иосиф.

Немедленно отвечаю на Ваше письмо, полученное мною вчера вечером.

К. Н. во время своей болезни ничего про Вас не говорил; недели же за три до болезни он признался мне, что считает Вас одним из самых дорогих для себя людей на свете.

Бедный К. Н. не ожидал, кажется, что болезнь его смертельна, хотя, уступая моим просьбам, дважды причастился Св. Тайн, в последний раз за 2 дня до кончины; соборовали мы его с о. Веригиным за час до смерти, когда он уже находился в бессознательном положении, в которое он впал за сутки до смерти. Ранее он отказывался совершить над собой это Таинство, боясь, что обрядовая сторона его сильно утомит.

Скончался он в 10 часов утра под чтение отходного канона. В ночь, предшествующую кончине, сильно страдал, бредил, стонал и, вообще, «маялся». Очень редко приходил в себя, на одну минуту, а потом опять забывался. Меня узнал и почему-то даже сказал в полубреду: «Бедный Туркестанов, спасите его!» В 5 часов бред прекратился, и он до смерти уже не прерывал молчания, изредка только стоная. Господь помог устроить ему хорошие похороны на счет его друзей, ибо оставил он всего 50 руб. Я его омыл по чину монашескому, надел параман, подрясник и пояс, в которых его и хоронили, ибо он был тайно (в Оптиной) пострижен и наречен Климентом.

Царство ему небесное! Он был истинно добрый человек.

Прося Ваших св. молитв, остаюсь с искренним почтением, недостойный собрат Ваш, многогрешный И. Трифон.

При кончине К. Н. присутствовали: о. Сергий Веригин, г. Чуфрин, г. Александров с женой, воспитанница его Варя и я.

Во время болезни, кроме о. Веригина и меня, никого близких не было.

Читая этот сухой отчет одного монаха перед другим, трудно удержаться от слез: как богат был русский мир всем тем, что так бескорыстно и преданно любил покойный Константин Николаевич Леонтьев. Все

то пышное, многоцветное и разнообразное представительство русской народной и общественной жизни: калики перехожие, богомольные странники, крестьяне, мещане, купцы, дворяне, разночинцы, земские деятели, интеллигенция, монахи и белое духовенство, чиновники, блестящие аристократы и, наконец, царь-батюшка, император всероссийский и прочая, и прочая… Какое множество обрядов, укладов, верований, праздников, заблуждений, мистики, исканий, азарта и страсти во всех проявлениях этой, казалось бы, бесконечной жизни при этом множестве сословий. «И весело оно не так, как бывает в волшебной и героической сказке, а так, как бывает весело в жизни действительной, когда она широка, умна, изящна и драматична», – надеялся Константин Леонтьев. Кто-то назовет это общество лоскутным, плохо сшитым царским одеялом. Пусть зовут. Главное то, что оно создавало тот неповторимый национальный колорит, столь приятный Леонтьеву и всем другим великим умам, рожденным под его покровом и согретым его теплом. Теплом неповторимой отчизны.

Теплом проникнуты и строки воспоминаний Евгения Поселянина, искренне любившего Леонтьева. «К похоронам его съехались некоторые знавшие и чтившие его люди. Была и племянница из Орловского монастыря, и другая племянница из Шамордина, ходившая за о. Амвросием в его предсмертной болезни.

Отпевали Константина Николаевича молодые монахи и священники, молодежь из любимого им сословия “меча и сохи”, вступившая в ряды воинствующей на земле и тяжко обуреваемой Церкви.

Был морозный, светлый, радостный день, когда его гроб везли на довольно простых санях к могиле на кладбище близ нового собора над пещерою, где стоит чудотворная Черниговская икона Богоматери.

Вскоре я получил письмо от Евгении Тур (графиня Салиас), с которою я переписывался и которая знала Леонтьева чуть ли не студентом. Она писала: “Вот и Леонтьева уже нет. Это потеря. Был добрый человек, христианин. И сумел дойти до смирения. А это великая вещь…”».

И хотя есть другие свидетельства, говорящие, что день похорон был ненастным, промозглым и ветреным, мы не будем вдаваться в такие несущественные подробности. Не они суть нашего повествования.

Похоронили монаха Леонтьева на кладбище Черниговского монастыря рядом с Гефсиманским скитом под раскидистой елью со всем подобающим церковным благолепием. Рядом с могилой только что построенная краснокирпичная церковь иконы Черниговской Божией Матери. На гранитный памятник денег не было, и поставили простой деревянный крест. И опять же только отец Иосиф (Фудель) собрал средства на более надежный и долголетний памятник из чугуна. Вряд ли выбор такого материала обрадовал бы покойного, так как чугун был порождением не природы, а того прогресса, который, по его мнению, приведет Россию к падению. Так появилась чугунная часовенка с горящей лампадкой. С приходом к власти «социалистов» кто-то из представителей народа-богоборца тут же выдрал в 1919 году и лампадку, и крест, и доску с надписью, а в 1921 году и кладбище, и Черниговский монастырь были разрушены, а место могилы Леонтьева утеряно на долгие годы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

И что сбылось и не сбылось

«Еще поборемся! – Нет, надо покориться!»… «Еще поборемся! – Надо покориться!».

Предсмертные слова К. Н. Леонтьева

1

Перед смертью Леонтьев сообщал Фуделю о «роковых десятилетиях», о годах, имеющих цифру «один»: 1841, 1851, 1861 и т. д. до смерти в 1891 году. Продолжим и мы хронологию посмертного значения леонтьевского творчества и пророчеств в жизни общества. Посмотрим на судьбу столь любимой им России.

Итак, первая отметка – 1921 год. Что произошло за первые 30 лет после его смерти?

Чтобы увековечить память о своем учителе, отец Иосиф Фудель приступил к написанию биографической книги о Леонтьеве сразу же после кончины его. Из своего белостокского далека он сообщал Анатолию Александрову 8 февраля 1892 года: «Живу только мечтой, что если приведет Господь получить место с большим досугом, то первое мое дело будет заняться подробной биографией К. Н. Леонтьева в связи с обзором его трудов…». Однако даже значительные наброски не получили полного завершения, потому что отец Иосиф посчитал (совершенно справедливо) за лучшее ознакомление читателя не со своими аналитическими взглядами на творчество Леонтьева, а с его сочинениями. Ведь огромная политическая и интеллектуальная мощь публицистических

трудов Леонтьева – это своеобразное руководство к действию и бальзам на душу русского патриота, уязвленную победами либералов. Издание собрания сочинений Леонтьева стало для Фуделя главным делом жизни наряду с беззаветным пастырским служением.

С немецкой педантичностью (вот когда сбылась надежда Леонтьева на Фуделя) он выверяет тексты наставника по журнальным публикациям и черновикам. Большую помощь ему оказала Марья Владимировна Леонтьева, племянница Константина Николаевича, жившая в Орловском монастыре. Она переписывала набело рукописи неизданных произведений, знакомила отца Иосифа с черновиками опубликованных трудов Леонтьева, копировала письма дяди к матери, хранившиеся у нее, писала собственные воспоминания. К своему титаническому труду отец Фудель привлекал родных и близких. Дочери Нине, жившей летом 1913 года с матерью на даче в Сходне, он направлял на проверку корректуры, а потом жена отца Иосифа привозила их в Москву. Сам протоирей Фудель писал обстоятельные редакционные предисловия, письма в редакции газет с объявлениями о выходе того или иного тома полного собрания сочинений Леонтьева, рекламируя таким образом издание. Тут самое время вспомнить слова Леонтьева, обращенные Фуделю: «Вы не можете себе представить, как я дорожу и горжусь Вами, мой милый». Да, в 1912 году учитель очень гордился бы успехами своего любимого ученика, такого последовательного, такого «надежного и твердого человека».

Первые тома собрания сочинений один за другим вышли в московском издательстве Владимира Михайловича Саблина весной и летом 1912 года, в том числе четыре тома беллетристики (I–IV), два тома публицистики (V–VI) и VIII том, представляющий литературно-критические статьи, посвященные творчеству Ивана Тургенева, Льва Толстого, Федора Достоевского и других писателей того времени. Всего же Иосиф Фудель планировал издать 12 томов, из них седьмой том продолжил бы публицистику, собранную из «повременной печати» и не вошедшую в двухтомник «Восток, Россия и славянство». Девятый –

воспоминания К. Н. Леонтьева, в остальные X, XI и XII тома вошли бы письма Леонтьева с 1853 по 1891 год. Однако по неизвестной причине в конце 1912 года Саблин переуступил юридические права на свои издания, в том числе и леонтьевские, книготорговому товариществу «Культура» в Санкт-Петербурге. Договор с фирмой «Культура» отец Иосиф, выступающий как поверенный М. В. Леонтьевой, заключил в январе 1913 года. Со стороны издательства «Культура» договор скрепил «Германский подданный Вильгельм Христен».

В августе 1914 года началась война с Германией, и естественно русское общество стало враждебно относиться ко всему немецкому и прогерманскому. Издательством же «Культура» владели немцы, и потому его тотчас закрыли как возможный рупор врага. Набранный десятый том собрания сочинений Леонтьева рассыпали, а непроданные предыдущие тома арестовали на складе. Всего вышло девять томов из полного собрания сочинений и писем Константина Николаевича Леонтьева. Литературный фатум, на который часто пенял Леонтьев, и после смерти давал о себе знать.

Отец Сергий (Дурылин), подхвативший знамя леонтьевских идей, выпавшее из рук о. Иосифа, умершего 2 октября 1918 г. от гриппа «испанки», писал о нем: «“Надежность” о. Иосифа была не только его свойством, вообще – в нем была еще особая надежность – принять и хранить Леонтьевское “умственное наследство” – не только в виде бумаг и писем Леонтьева, бережно хранимых о. Иосифом, – но и в неопределимом точно виде идей, мыслей, умо-и-душе-настроений, чувствований, волеизъявлений, которые должны войти в историю русской мысли и жизни с именем “Леонтьевских”».

Так что Леонтьев был бесконечно прав, пестуя себе смену. Именно Фудель, яркий и верный представитель ее, коренным образом поспособствовал известности своего учителя в будущем. Другое дело, каков был уровень известности, но он зависел не от о. Иосифа, а от политического климата в России, от уровня его атеистичности и антимонархизма.

Подвиг (по-другому назвать невозможно) отца Иосифа тем более значим, что существовала еще одна группа (кружок) под руководством К. Губастова, мечтавшая также издать собрание сочинений Леонтьева. В кружок входили известные люди: В. В. Розанов, А. А. Александров, сын Т. И. Филиппова Сергей, А. М. Коноплянцев – будущий биограф Леонтьева. Главной движущей силой был, конечно, Губастов, бывший товарищ (заместитель) министра иностранных дел России, встретившийся (29 декабря 1909 г.) по этому вопросу с президентом Академии наук великим князем Константином Константиновичем. Тот дал предварительное согласие, но 3 февраля 1910 года Губастов получил отказ, обоснованный тем, что «оппозиционные академики» против издания, кроме того, у Академии мало денег. Этот эпизод очень показателен с точки зрения влияния представителей царской фамилии на общество и своих подчиненных. Можно сказать, что оно (влияние) после революции 1905 года было попросту нулевым. Правительственный путь для издания трудов Леонтьева оказался, что неудивительно, тупиковым. Тем дело и закончилось. Фудель же деньги нашел. Как?

К 20-летию со дня смерти Константина Леонтьева кружок Губастова все же издал литературный сборник «Памяти К. Н. Леонтьева». Среди авторов воспоминаний и статей известные нам А. М. Коноплянцев, А. А. Александров, В. В. Розанов, К. Н. Губастов, Ю. С. Карцов, архиепископ Волынский Антоний, А. В. Королев, Б. Н. Никольский, Е. Поселянин.

В предреволюционный период увидели свет десятки статей о творчестве Леонтьева. Лучший его критик и товарищ В. В. Розанов писал: «После смерти Л-ва *сейчас* же появились обширные журнальные статьи о нем: моя – в четырех книжках “Русского Вестника”, январь-апрель 1892 г., и, года два спустя, в “Вестнике Европы”, в “Русской мысли”, в “Русском Обозрении” и “Вопросах философии и психологии” целый ряд статей, то полемических, то анализирующих, А. Александрова, кн. С. Трубецкого, П. Милюкова, Л. Тихомирова, Фуделя». Однако нельзя сказать, что поднялась волна особого общественного интереса к творчеству Леонтьева, хотя исключительные по самобыт-

ности выводы, словно магнитом, притягивали неравнодушных к судьбе России людей.

Повышенный интерес к нему, как это всегда происходило и происходит в России, пробудился по «вине» Запада, а именно: после «открытия» в 1892 году немецкого философа Ницше. Радикальные либералы (В. Преображенский, А. Волынский, Н. Минский, С. Франк) увидели в Ницше чуть ли нового мессию, привнесшего идею о сверхчеловеке, способного заменить ненавистные им государство и Бога с его суровой правдой жизни. Психологически либералам комфортнее, когда «бездушную» многоликую государственную машину заменит конкретный суперчеловек, тем более в корпоративном сообществе. Вспомним Ивана Аксакова с его словами: «К черту государство». Пусть даже суперчеловек будет кровавым диктатором, но к нему всегда можно протоптать личные тропки: улестить, умастить, купить. Потому-то идеи Ницше получили столь широкое развитие в мелкобуржуазной интеллигентной среде, которой всегда хотелось чего-то «остренького». Например, устроить революцию, сходить в народ, представляя собой оракула, или поставить фильм ужасов, чтобы все дрожали от зверств Дракулы, или теснее прижаться к кровавому фюреру.

В России активно разрабатывались теории «нового сознания», «нового неба», «новой земли», «новой религии». Новоявленные изобретатели «новой религии» (Мережсковский, Гиппиус, Аскольдов, Чулков, Бердяев) случайно наткнулись на труды Леонтьева, увидели в любви его к сильным личностям ницшеанские мотивы. От них и пошло расхожее определение: Леонтьев – «русский Ницше». Нет бы, помня, что произведения, особенно роман «В своем краю», Леонтьева вышли намного раньше немецкого философа, называть Ницше – «немецким Леонтьевым». Нет! Адепты Ницше хвалили немца, а Леонтьева – ругали на чем свет стоит. Каких только нелестных эпитетов и определений он не удостаивался. От Бердяева – «изувер», «мракобесец», «ненавистник человечества», «проповедник насилия, гнета, кнута и виселицы». От Мережковского – что Леонтьев «бездонно лукав», «страшное дитя», «враг

Христов», «Леонтьев оклеветал церковь». От Куклярского – «Леонтьев – сатанист», «только реки человеческой крови могут, по его мнению, оживить помертвевшее лицо земли», «творец зла в мире», «вражда его варварского и хищного гения к культуре и ее заботливости к человеку». От Георгия Иванова – «Леонтьев – неудачник, неудачником он и умер», «презрение к человеку», «ужас перед жизнью», а затем следуют сравнения Леонтьева с Гитлером и Муссолини. Хватит?

Чтобы оценить глубинные мотивы обвинителей Леонтьева в нехристианских взглядах, например Д. Мережковского, надо сопоставить их отношение к Родине-матери. Это самый надежный оселок! Если Леонтьев был пламенным патриотом своей страны, то Мережковский, «истинный» православный, каким он себя считал, примкнул к фашистам, живя во Франции. В чем и проявил себя истинным (без кавычек) либералом, коих громил Леонтьев. Дело же либералов живет, к сожалению, и процветает. Достаточно привести «логичное» утверждение одного из них в статье о Мережковском из современной Большой Российской Энциклопедии (БРЭ 2012 г.): «Убежденный противник любых форм тоталитаризма (как большевизма, так и нацизма) Мережковский после нападения А. Гитлера на СССР связывал с ним свои надежды на уничтожение большевистского режима в России».

Вот образец «железной» логики русского либерала (автора статьи) на все времена: Мережковский не любит ни большевизма, ни нацизма (тоталитаризма), но тем не менее связывает себя с теми, кто против России.

Имя Леонтьева и тогда, сто с лишним лет назад, да и сейчас выполняет вполне определенную функцию лакмусовой бумаги. Тот, кто приемлет его идеи, – тот патриот, тот за **сильную** Россию, в противном случае – русофоб и ненавистник русского имперского духа, при этом легко допускающий сильную власть в ЕС и США с их имперским мышлением.

Кстати, мало что меняется в западном мире в отношениях к России, хотя и ставшей либеральной. После присоединения Крыма к Рос-

сии (2014) английский принц Чарльз (далеко не мальчик по возрасту) сравнил президента Путина с Гитлером. Как они похожи: и русские «интеллигенты», и западные русофобы, словно сиамские близнецы, в желании всем противникам приклеивать ярлыки.

* * *

Понятное дело, что девять томов собрания сочинений подняли интерес к творчеству Леонтьева. Однако он не превзошел ожидания его поклонников, хотя, по воспоминаниям очевидцев, внимание к творчеству Леонтьева поддерживалось в России на высоком уровне, особенно до революции.

Так в Религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева 4 ноября 1912 года критик и литературовед Борис Грифцов прочитал лекцию «Религиозная судьба Константина Леонтьева». В прениях участвовали Г. А. Рачинский, С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, протоирей И. Фудель и другие. Журналист «Московских ведомостей» от 6 декабря 1912 года обратил особое внимание на выступление Павла Струве, сказавшего, что «среди русских мыслителей никто не может сравниться с К. Леонтьевым по силе ума и гениальности, никто до сих пор не превзошел его, даже Влад. Соловьев».

В том же Религиозно-философском обществе только уже к 25-летию со дня смерти Леонтьева (16 ноября 1916 г.) состоялось «особое» заседание. По воспоминаниям сына Фуделя Сергея, московский градоначальник запретил публичное и открытое празднование юбилея. Патриот и церковный мыслитель Леонтьев и в 1916 году казался подозрительным и опасным для властей; «в университете тоже ничего не вышло», – отметил Сергей Фудель. Характерный этот штрих показывает, как прогрессивная общественность России относилась к патриотам России. Все ограничилось закрытым заседанием общества в доме у Маргариты Морозовой, благотворительницы и старообрядки. Это на ее деньги Сергей Дягилев организовал в Париже свои знамени-

тые «Русские сезоны». Это она с началом войны передала свой дом на Новинском бульваре под лазарет, а сама работала в нем медсестрой.

Пламенную речь о Леонтьеве на заседании произнес Сергей Булгаков. «Он обладал наряду с умом еще каким-то особым внутренним историческим чувством. Он явственно слышал приближение европейской катастрофы, предвидел неизбежное самовозгорание мещанской цивилизации», – говорил вдохновенно и очень образно Булгаков о Леонтьеве. На другой день Маргарита Кирилловна Морозова писала князю Е. Н. Трубецкому: «Милый, дорогой, как я жалею, что ты вчера не был. Было очень интересно! Я волновалась даже особенным волнением, которое испытываю, когда дотрагиваюсь до моих самых сокровенных тем! <…> Струве сказал, между прочим, что Леонтьев первый русский мыслитель по силе мысли, он больше Соловьева. Что Соловьев и Достоевский дети по сравнению с Леонтьевым – это говорили почти все. Я согласна, что Леонтьев вообще “реальнее” Соловьева и других, и это очень важно…». Деловая женщина, продолжившая после смерти мужа Михаила его промышленное дело, понимала, что главное для мыслящего человека «реальность». И эта оценка дорогого стоит! Либералу, у которого «все смутно, все спутано, все бледно, всего понемногу», реальность не нужна.

* * *

О сбывшихся пророчествах Леонтьева в отношении скорой революции в России уже сказано. Революция свершилась даже ранее того срока, который предсказывал Леонтьев. Коснемся других.

«Без страха и насилия у нас все пойдет прахом», – этой фразой оппоненты тычут в лицо Леонтьеву как человеконенавистнику. В своем утверждении Леонтьев прежде всего основывался на знании русского народа и государственной пользы. У него есть очень глубокие наблюдения, изложенные в статье «Русские, греки и югославяне. Опыт национальной психологии». Чего греха таить, русские не очень склонны

к порядку, они эмоциональны, расхлябаны и несколько анархичны. В глубине души каждый русский знает, чтобы дело пошло успешно, над ним должна висеть занесенная палка. Палка совести или государства.

Если иметь мужество государственного уровня, так ли не прав Леонтьев? Мягкий, нерешительный Николай II не удержал корону именно из-за слабой воли, плохого знания народа, неумения выбрать приоритеты государственной политики. Первыми, кто его предал в 1917 году, были представители ближайшего окружения. Генерал М. В. Алексеев, начальник штаба Верховного главнокомандующего Николая II, не отправил 23–27 февраля войска для подавления искусственно вызванных беспорядков в Петрограде. А «без страха и насилия», внушаемых армией, монархия действительно стала прахом.

Закономерно, что буржуазное Временное правительство первым же своим приказом (№ 1), составленным масоном и адвокатом Н. Д. Соколовым, развалило русскую армию требованиями создавать комитеты и обеспечить солдат равными с командирами правами. Даже в мелочах оказался прозорлив Леонтьев, не жалуя адвокатов: «…нашим адвокатам и прокурорам нужно сделать карьеру, обнаружить ораторские способности». Демагогия особенно нужна в переломные моменты судьбы государства, чтобы обманывать народ, поднимая его на погром государства. Уместно вспомнить еще одного адвоката и демагога – А. Собчака, сыгравшего заметную роль в развале СССР и приходе к власти «новой» буржуазии.

Именно в промежутке между февралем и октябрем 1917 года произошел тот страшный русский бунт, та бессмысленная крестьянская война, когда громились и сжигались все дворянские усадьбы солдатами-крестьянами с правами, дарованными приказом № 1. «Ибо нет народа, который бы нельзя было развратить», – говорил Леонтьев. Нет, не большевики в этом виноваты. Не по их злой воле стала моментально распадаться Русская империя: уже к июлю 1917 отделились Польша, Финляндия, Украина, а за ними к сентябрю Северный Кавказ и далее, далее: Молдавия, Закавказье, страны Балтии.

Наверное, английские инициаторы развала Российской империи радостно потирали руками: наконец-то мы разделим этот вкусный пирог по своему усмотрению. Случилось между тем непредсказумое, но только не для покойного Леонтьева. «Смешно даже видеть и читать, когда наши обижаются или притворяются обиженными тем, что Запад нас так боится! Как же не бояться! Это что-то роковое и почти невольное. Не то страшно, *чего хочет* великий народ, а то страшно, что он и нечаянно, быть может, иногда да делает. Самые большие неудачи наши – пустяки сравнительно с нашими приобретениями и торжеством медленным, но *верным*, фатально верным» (письмо К. Н. Леонтьева Е. А. Гагариной от 24 апреля 1889 г.). Пришли большевики, те самые «социалисты», о которых писал Леонтьев, предупреждая, что они принесут с собой рабство, но «насилие не может так опозорить людей, как их собственная глупость». Большевики не хотели, чтобы их сочли глупцами, и в борьбе за власть сохранили и укрепили советскую империю, поднимая ее от сохи до космических высот.

2

Полистаем далее своеобразный учебник истории будущего, написанный Леонтьевым.

Прошло еще 30 лет. На дворе 1951 год.

Путь социалистической России в действительности представил некий симбиоз пророчеств Леонтьева: у нее оказались и особая культура, и особый строй, и особый быт за счет «крайнего революционного движения» и с задачей «стереть с лица земли буржуазную культуру Европы». Вот только подчинения Церковному единству не произошло. А жаль. Не произошло потому, что коммунисты хотели построить рай на земле, поэтому безжалостно рушили земные свидетельства Небесной Церкви, продвигая тезис, очень сходный с «розовой» мечтою Достоевского о высокой нравственности народа, гласивший «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Советская власть пришлась по душе русско-

му народу, она была и строга: «кто не работает, тот – не ест», и совестлива: «совесть – лучший контролер»…

Германия опять возродилась, теперь уже в виде «Третьего Рейха» и, словно прочитав советы Леонтьева, сначала занялась походом на запад. Леонтьев предсказывал: «К тому же у Германии… есть еще огромные задачи на западе – присоединение 8 миллионов австрийских немцев (пожалуй, и без *выстрела*), завоевание Голландии и вытекающие из этого морское соперничество с Англией; весьма возможные и естественные претензии в Балтийском море; дальнейшее унижение Франции, которую, в случае равнодушия России, вовсе не так трудно даже и *разделить* теперь, как Польшу…».

Особенно впечатляет это выделенное Леонтьевым словечко «без *выстрела*». Именно так и состоялся аншлюс Австрии в 1938 году. Без выстрела! И завоевание Голландии, и Бельгии, и разделение Франции состоялось по «рецептам» Леонтьева. Опять выделенное слово «унижение», и вновь оно реализуется с поражающей воображение точностью. Будто окружение Гитлера читает русского пророка и составляет военные планы для своего вермахта.

«Равнодушие России» к Франции также состоялось благодаря жесткой позиции Сталина в 1940 году, занятого возвращением территорий, исконно принадлежащих имперской России: Западной Украины, Западной Белоруссии, Курляндии, Эстляндии, Лифляндии, Молдавии и Бессарабии. Состоялась и война с Германией, результат которой был предсказан Леонтьевым, никогда не сомневавшимся в русской победе в результате ее возник и Восточно-Славянский Союз, даже более обширный, чем предсказывал Леонтьев. Возможно, что излишняя его территория и множество народов, далеких от Православия и духа русского, сыграли негативную роль.

Леонтьев в «Письмах о восточных делах» предупреждал: «Было бы большим счастьем, если бы немцы заставили бы нас предать чехов на совершенное съедение Германизму. Иначе можно опасаться, что они попадут тоже в состав Великого Восточно-Славянского Союза; это было бы

великим бедствием (выделено мной. – *М. Ч.*). Чехи – это европейские буржуа по преимуществу; буржуа из буржуа; "честные" либералы из "честных" либералов. Их претенциозное и либерально бюргерство гораздо вреднее своим *мирным* вмешательством, чем бунты польской шляхты. Это тоже *химическое,* внутренне отравление».

О поляках сказано раньше. Убрал бы Сталин из Восточного блока, назовем его современным словом, по советам Леонтьева, Венгрию, Чехию, Польшу вместе с Германией, то вполне возможно, существование и блока, и СССР до сих пор радовало бы славян своей экономической взаимопомощью. Включил бы Сталин в состав Восточного Союза единоверную Грецию, а не католическую Польшу, судьба их решалась на Ялтинской конференции (1945), судьба Союза и мира была бы совершенно иной. Ведь к тому времени Греция полностью находилась под властью греческих партизан-коммунистов ЭЛАС, освободивших 12 октября 1944 года столицу Афины.

Леонтьев буквально заклинал в своих статьях, что движение России только одно – Юго-Восток, то есть: Греция, Царьград, Иерусалим, туда, где Гроб Господен, где истоки Православия, подальше от северо-западного либерального и католического «гнилья». Другими словами – православным людям любой, даже неславянской нации, легче понять друг друга, нежели католиков, хотя и славян. К тому же социалистическая идеология оказалась очень близка основам Православия: чего стоит один только «Моральный кодекс строителя коммунизма», чуть ли не буквально повторяющий заповеди Христовы.

Сталин же «сдал» греков англичанам, ради Польши и Львова, рассадников русофобства и антисоветизма. На небольшое число русских по духу галичан СССР получил тысячи евреев, поляков, украинизированных униатов, противников социализма и русской культуры. Предупреждения Леонтьева не возымели действий, а зря. Вот уж воистину, что нет пророка в своем отечестве. Особенно актуальной и заметной стала мощь леонтьевского гения в 2014–2015 годах, во времена воинственного обособления Украины от России. На горизонте маячит

«горячая» война России с Украиной, ставшей цепным псом США за счет умело внедренного русофобства...

Сталин хотел закрыть военный коридор (Польшу), по которому обычно приходили завоеватели на Русь. Не получилось. И военная сила, и враждебная русофобия по-прежнему идут через Польшу, страны Балтии, от которых Леонтьев предлагал избавиться еще в XIX веке. В каких странах Восточного блока начались волнения против СССР? В тех, о которых говорил Леонтьев, – Венгрии (1956), Чехословакии (1968), Польше (1980)…

Эмигрант Георгий Иванов упрекает Леонтьева в статье с символически неверным названием «Страх перед жизнью» (1932) в том, что «интуитивные, бездоказательные предсказания, даже гениальные, почти никогда не достигают цели. Они как бы невидимое отражение невидимого луча. Видимым станет луч, заметят и его отражение – не раньше». Красивая фраза, не правда ли? Но пустая! Какую цель имеет в виду поэт Иванов? Чтобы Сталин прочитал Леонтьева и действовал по его плану: отдал бы Польшу Черчиллю, а себе взял Грецию? Абсолютно утопический и сказочный вариант. Максим Горький как-то призвал народ учиться на чужих ошибках. Та же утопия: люди **свои** ошибки не могут до гробовой доски учитывать и исправлять, что уж говорить о чужих. И хотя Сталин много читал и много знал, и прислушивался к мнению других, но и он мыслил реалиями злобы дня, а не дальними перспективами. И уж совсем смешными выглядят обвинения Иванова о доказательности будущих событий.

Как доказывал Майкл Фарадей существование электрического тока? Опытом! И весь мир пользовался электричеством, не спрашивая доказательств его происхождения. Через 100 лет ученые приблизились к его обоснованию, да и то не полностью. Как предсказал Менделеев наличие в природе неизвестных элементов, как скандий, галлий и германий? Из открытого им же периодического закона, научное объяснение которого пришло также спустя 50 лет. Как доказывал Нострадамус свои предвидения? Да никак! На то и дар Божий, что не всем дается.

Так, может, имеет смысл говорить о новом социологическом законе, открытом Леонтьевым: где демократия и либерализм, которым особенно верны определенные нации (англосаксы и евреи), там падение культуры, там власть денег, там анархия, там резкое отделение власти от народа. Почему бы политико-эстетическим заповедям Леонтьева не стать программой действий для России? Ведь в учении китайца Конфуция так же, как у Леонтьева, на первом месте стоят проблемы управления государством, отношения верхов и низов, нормы этики и эстетики (стремление к гармонии). Его ответы на эти вопросы использовались китайскими императорами и используются до сих пор коммунистами, установившими в 2011 году памятник Конфуцию на самом сакральном месте Пекина – площади Тяньаньмэнь. Значит, эти советы, высказанные 2,5 тысячи лет назад, помогают в жизни, воспитании людей, труде и миросозерцании.

Чем же Китай отличается от России? Почему у Китая теории с 25-вековым возрастом актуальны и востребованы в течение всех названных веков, а у нас «забывают» Леонтьева, мыслителя такого же уровня, через 10 лет? Даже учение Богочеловека Иисуса Христа оказывается в России, тем более на Западе, недостаточно авторитетным. Ответ прост и одновременно сложен. Если в III веке до нашей эры император Цинь Шихуан начал строить защитную стену, то последующие императоры продолжали начатое дело 15 веков, оттого стена стала Великой Китайской. Наши русские императоры (князья, цари, генсеки, президенты), вступив на трон, ломают созданное предыдущими правителями и начинают свою стройку, но не успевают. И все идет в России по безумной, нескончаемой **синусоиде** и, к сожалению, с затухающей амплитудой.

Наверное, Леонтьев боготворил бы Сталина, патриота и государственника, закрывшего в 1939 году журнал «Безбожник», мобилизовавшего народ на разгром немецко-фашистского вермахта и возвысившего Россию во всех сферах мировой политики и экономики, а главное, основательно прижавшего хвост либеральным бесам. За счет чего? Дисци-

плины! Перефразируя афоризм Леонтьева, можно сказать, что прочная дисциплина интересов и страстей обеспечивает созидание.

3

Следующая глава учебника истории Леонтьева.

Год 1991. Заметьте, читатель, сколь мистически схожа, хотя бы в цифрах, судьба России и Леонтьева. И там и тут роковые годы с цифрой «один»: 1941 – начало страшной войны с фашизмом, 1991 – развал СССР. Но начнем не с России, даже в такой «выигрышный» по цифре год, а с предсказания Леонтьевым Европейского союза (ЕС).

«Все государства западной Европы должны в не слишком продолжительном времени отречься решительнее прежнего *от всего того, что составляло национальные основы их государственного банка, и принять форму республик.* Сольются ли они постепенно все в один атеистический союз или сгруппируются сперва только по племенам, или, наконец, эти бесцерковные республики, из которых они выродятся и будут жить бок о бок, подобно республикам средней и южной Америки, не сливаясь *государственно*, останутся приблизительно в пределах тех государств, но ничем *культурно* и не разнясь друг от друга, – все это вопрос второстепенных оттенков, для нас славян, не слишком существенных; ибо во всех этих случаях республиканский Запад будет **еще враждебнее** (выделено мной. – *М. Ч.*) Русской империи», – так анализировал Леонтьев состояние европейских дел в статье «Как надо понимать сближение с народом?» (1880).

Европейский парламент создан в 1957 году, Европейский совет – в 1986-м, а их вершина – Европейский Союз с единой валютой – в 1992 году. Если принять Советский Союз за Русскую империю (как делает это Запад), то развал ее в декабре 1991 года из-за враждебности «республиканского Запада» можно считать выстрелом Леонтьева в десятку.

Нет, недаром Леонтьев беспокоился за великое социалистическое государство, которое, по его пророчествам, должно возникнуть на ме-

сте Русской империи. И возникло: «Вредна ли или полезна будет эта будущность России для остального мира, разрушительна она будет или созидающая – это другой вопрос, но что будущность будет великая – это ясно». И прежде всего эта великая будущность проявилась в разгроме фашизма, в спасении Европы от коричневой чумы, потому что только высочайшая организованность и дисциплинированность внутри социалистического строя могла превысить организованность «сумрачного германского гения» (Блок). И превысила! Дряблый, мещанский, изъеденный либерализмом, словно молью старый валенок, безбожный Запад не мог противостоять тоталитаризму «Третьего Рейха». Но вновь, как 100 лет назад после подавления Россией восстания в Австро-Венгрии, Запад испугался мощи русского мира и принялся настойчиво разрушать его.

Вспомним, как Леонтьев рассуждал о возможности создания социалистическим государством «*нового неравенства* и новой *разнородности развития*» и отмечал, что если этого не удастся сделать, то будет конец всему. Советская власть не поняла запросов на «новое расслоение» общества в рамках социалистического государства, не обеспечила «разнородность развития» допуском частной инициативы. Пар из котла не выпустили, и он взорвался. Не без помощи, конечно, западного влияния, прежде всего на публику, на интеллигенцию, болезнь у которой одна – либеральность, переходящая в пренебрежение интересами Родины.

«Интеллигенция русская стала слишком либеральна, т. е. пуста, отрицательна, беспринципна. Сверх того, она мало национальна, именно *там, где следует быть национальной.* Творчества своего у нее нет ни в чем…<…> Народ *рано или поздно* везде идет за интеллигенцией», – писал Леонтьев в 1881 году. Так и случилось – народ в 1991 году пошел за адвокатами, ораторами-демагогами и газетчиками (все профессии выбраны из списка «любимых» Леонтьевым). И никто не стал бороться за СССР, а по сути за Россию, никто даже и помыслить не мог, что, «стреляя в коммунизм, попадаешь в Россию» (А. А. Зиновьев).

Можно сказать грубее, что и ума-то у русской интеллигенции маловато. К тому времени она в большинстве своем изжила веру в Бога. Эта вера диктовала совсем другое отношение к Родине: «…*в настоящее время* для верующего человека (какой бы национальности он ни был) Россия должна быть очень дорога как самый сильный оплот Православия на земле. Люди слабы, им часто нужна опора внешняя, опора многолюдства, опора сильной власти; опора влиятельной мысли, благоприятно для веры настроенной, и т. п. … Этот верующий человек должен бороться за веру и за Россию, насколько у него есть **ума** (выделено мной. – *М. Ч.*) и сил». Вот почему Леонтьев так усиленно и неустанно пропагандировал необходимость веры и боролся с атеизмом, идущим рука об руку с демократическими «свободами и правами», мечтами счастья на земле. Потому-то он так непримирим к товарищам по перу, предающим веру и, соответственно, Родину.

«Без страха и насилия у нас все пойдет прахом», – повторял неустанно Леонтьев. Да, социализм нуждался в усовершенствовании, но притягательность его за счет идейно-духовного наполнения жизни граждан справедливым, непридуманным равенством, высокими нравственными и эстетическими установками обеспечивала СССР авторитет во всем мире. Да, перегибы при социализме, особенно в сталинские и хрущевские времена были, но они есть и будут в любой республиканской или монархической стране. Достаточно вспомнить одного американского пастора, сказавшего на проповеди, что взрывы «близнецов» 11 сентября 2001 года – это наказание Божье для США из-за ее «высокомерия силы». Десятки, а то и сотни наемных волонтеров прошлись в буквальном смысле по домам его паствы с разъяснениями. И дело сделано. Приход опустел, а пастор потерял работу и обнищал. Тихой ли, громкой ли сапой, но жесткая государственная политика по укреплению единства нации и власти необходима.

Стоило только Горбачеву объявить гласность, как Александр II в декабре 1855 года отменил цензуру (незнание исторических уроков), так в СССР стала нормой вседозволенность. Продажные представите-

ли безбожной интеллигенции (многие из них агенты влияния США) стали разрушать социалистическую **идеологию,** чернить ее достижения (индустриальность, бесплатные медицину, образование, права на труд, отдых и достойную пенсию), разжигать национальные претензии, утверждать, что социализм нежизнеспособен и его надо срочно выбросить на свалку истории. Либеральная интеллигенция кричала: «Лучше бандиты, чем коммунисты». Интеллигенты со времен «хождения в народ» считают себя «совестью нации». Но русскому народу, носителю собственного, не заимствованного, духа, не нужна чужая совесть, сжитая из лоскутов «общечеловеческих ценностей», которую тщится передать ему интеллигенция.

Тем не менее массовая обработка сознания народа сыграла свою страшную роль. Народ, проголосовавший в марте 1991 года за сохранение Союза ССР, вдруг «промолчал» после обнародования договора о роспуске СССР, подписанного тремя **славянами:** Ельциным, Кравчуком, и Шушкевичем. Вот, в такой страшный фарс выродились идеи славянства и панславизма. Прав был Леонтьев, говоря, что славизма (идеи) нет, а без идеи и славянства не стало. Сейчас эксперты запоздало утверждают, что отдай Горбачев приказ роте ОМОНа об аресте названных славян, то СССР сохранился бы. А ведь этот приказ стал бы проявлением **насилия**, о котором заклинал Леонтьев, видя только в нем главный элемент сохранения любого государства, тем более такого огромного, как Россия.

Так легкими росчерками пера в Вискулях были отброшены тяготеющие к русской культуре народы Средней Азии, Молдавии и Казахстана, не говоря уж о более центробежно настроенных прибалтийских республиках и Закавказья. Были забыты миллионы русских людей, живших и работавших в этих республиках, в том числе по направлениям после окончания русских высших учебных заведений. И они, и «туранские нации» окраин СССР восприняли этот акт как предательство. Геополитические потери России оценке вообще не поддаются. Думается, что с 1991 года движение на юго-восток, о котором мечтал Леонтьев, навсегда

для России закрыто. Речь, разумеется, не идет о наплыве в Россию необразованных мигрантов из Средней Азии, используемых крупным бизнесом России в качестве дешевой рабочей силы.

Что стало причиной такого изуверского решения, как развал СССР? **Ненасытность,** о которой говорил Леонтьев в «Византизме и славянстве». Мог ли даже в волшебном сне Кравчук – политэкономист Черновицкого финансового техникума, секретарь по идеологии Украины – увидеть себя на красной дорожке, ведущей к распахнутым дверям Елисейского дворца, и мило улыбающегося президента Франции с протянутой для пожатия рукой? Без развала СССР – конечно, нет! Или Ельцин? Да и все другие коммунистические лидеры советских республик, ставшие вдруг президентами «самостоятельных» государств. То, что оказалось ненужным этой далеко не святой троице, тут же подхватили США. Мечты Штатов о мировом господстве с разрушением СССР стали реальностью. Бывшие советские республики заботами США превратились в абсолютном своем большинстве во врагов России – явных или скрытых. В новых царствах-государствах бывшего Союза установилась идеология антисоветизма и русофобии. Кстати, и Россия не исключение.

То, что не под силу было понять Ельцину, думающему только о личной власти, а не о Родине, легко понимали люди эстетического склада ума. Так, поэт Николай Клюев в 1919 году восклицал:

Есть Россия в багдадском монисто,
С бедуинским изломом бровей…
Мы забыли про цветик душистый
На груди колыбельных полей.

Блестящее (хотя и трагичное) подтверждение получил в Советском Союзе вывод Леонтьева о перерастании национальных движений в буржуазные революции. Провозглашение Ельциным национальной обособленности Российской Федерации в составе многонациональной империи с названием СССР 12 июня 1990 года, ее независимости от

центральной власти привело к усилению центробежных сил в Союзном государстве, к контрреволюции, к возврату буржуазно-мещанских ценностей и, как следствие, развалу Союза. Спустя четверть века мало тех, кто осознает открытую Леонтьевым взаимосвязь, но много тех, кто искренне отмечает 12 июня как всенародный праздник, лишний раз подчеркивая убеждение Леонтьева, как мало самостоятельности в интеллигентном уме.

В XXI веке, как бы трудно это ни было, надо срочно избавляться от национальных «квартир» в составе нынешней России, создавая области по производственно-территориальным признакам, чтобы не развалить уже и саму Российскую Федерацию. Ибо, опять же по Леонтьеву: «Легче изуродовать организм, чем способствовать наивысшему развитию его типа!»

* * *

В июле 1990 года открыто иноческое жительство в Черниговском скиту в Сергиевом Посаде. Осенью 1991 года приступили к восстановлению некрополя Черниговского скита, и начало ему положено 24 ноября 1991 года в день 100-летия кончины Леонтьева (монаха Климента). У вновь обретенной могилы Константина Леонтьева собрались сотни верующих людей из Москвы и Сергиева Посада и отслужили панихиду соборным служением. Теперь на могиле Леонтьева стоит такой же, как 100 лет назад, деревянный, «с домиком», крест, вделанный в невысокий бетонный постамент, на котором начертано: «Монах Климент. В миру Константин Николаевич Леонтьев. 1831–1891». И так же, как и сто лет назад, склоняется над могилой русского пророка развесистая ель, только уже молодая.

Все вернулось на круги своя?

Теперь можно склонить голову перед могилой Леонтьева и его пророческим гением. Можно поклониться мощам Святого Варнавы Гефсиманского, пройдя полсотни метров от могилы Леонтьева до церкви

Черниговской иконы Божией Матери. Это тот самый старец, которого во времена Леонтьева называли «старцем-утешителем», тот, которого Леонтьев рекомендовал Тихомирову духовником, тот, что причащал и соборовал Леонтьева перед смертью. Именно Варнава (1831–1906) предсказал посетившему его в 1905 году Николаю II мученическую смерть. Он предсказал и будущие гонения на Церковь, и грядущее затем возрождение ее: «Но когда уже невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение. И настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. **Перед концом будет расцвет**» (выделено мной. – *М. Ч.*).

Совсем в духе Леонтьева – не правда ли? И не во времена ли расцвета Церкви мы сейчас живем?

И ни в коем случае нельзя забывать, что на каждую силу, на каждый «расцвет» есть противодействие и «увядание». На пасху Христову 1993 года (18 апреля) в любимой Леонтьевым и благословенной Оптиной пустыни неизвестные убили сразу трех монахов: Василия, Ферапонта и Трофима. Сатанист, подняв руку на священнослужителей, недвусмысленно показал своим злодеянием, что с либеральной демократией пришло и их бесовское время.

4

2011 год. Самая что ни на есть новейшая история. Неужели и через 120 лет Леонтьев может рассказать о ней? Да!

Пришел в советскую Россию тот самый «либеральный демократизм, который давно уже трудится над разрушением великих культурных миров Запада». Наконец-то поднят «железный занавес», отделяющий Россию от западных общечеловеческих ценностей, – так с гордостью и придыханием писали и говорили «адвокаты, прокуроры и газетчики» после развала СССР. И что же в результате? Разрушена уникальная промышленность, развалено коллективное сельское хозяйство, но главным объектом разрушения стал человек. Через открытые границы в Россию хлынул грязный поток «прав человека» на пошлость,

мещанство, алчность, лень, атеизм, беспринципность, космополитизм, бандитизм, толерантность, наркотики, проституцию, алкоголизм, разврат. И русские захлебнулись и тонут в нем.

Боже, как же прав был Леонтьев, отмечавший: «Совсем неожиданно оказалось, что г. Достоевский, подобно великому множеству европейцев и русских всечеловеков, все еще верит в мирную и кроткую будущность Европы и радуется тому, что нам, русским, быть может и скоро, придется утонуть и расплыться бесследно в безличном океане космополитизма». Вот и дождалась Россия «кротости» братьев из Европы.

Если западный обыватель за долгий период своей «демократизации» успел приноровиться к ее правилам игры, а звенья «демократического» быта и политики ему естественны и привычны, то для русского человека они равносильны заразной болезни. Однотипные организмы, а советские люди, в большинстве своем положительно воспринимающие «Моральный кодекс…», таковы, то, согласно Леонтьеву, они легче подвержены внешней инфекции. Нас затрясло, как в лихорадке. Волна суицидов, инфарктов, инсультов из-за безработицы, потери смысла жизни прокатилась по России, теряющей в год по миллиону своих граждан. Ибо буржуазная власть России выбрала для своих подданных самую человеконенавистническую модель капитализма – монетаристскую.

Россия стала форпостом либерализма, но не по своей воле, а по указке экспериментаторов из Соединенных Штатов Америки. Даже в США до сих пор работает государственный капитализм, модель которого принята еще Франклином Рузвельтом после великой депрессии в 30-е годы. Власти США не решаются ввести монетаристскую модель (изобретение чигагского профессора М. Фридмана), ибо она почти полностью устраняет помощь гражданам со стороны государства.

В России один из самых высоких в мире уровней коррупции – 64% валового внутреннего продукта (Ирина Елисеева) – и в то же время самое либерально-мягкое антикоррупционное законодательство. Крупный коррупционер из правительственных кругов, как правило, не

сидит в тюрьме, у него не конфискуют имущество, нажитое «непосильным трудом», он платит штраф в соответствии с неким прейскурантом и благополучно отбывает за границу. Социальная несправедливость вопиюща: руководство госкорпораций, финансируемых из федерального бюджета, получает в качестве зарплаты 4–6 миллионов рублей в месяц, тогда как месячная зарплата рабочего и профессора в 200–300 раз меньше. Вспомним, что говорил Августин Блаженный: «Что есть государство без справедливости? Шайка разбойников».

Россия – форпост либерализма. Убийце десяти и более человек в лучшем случае «светит» пожизненное заключение, тогда как в США, которые российские либералы считают образцом для подражания, смертная казнь за убийство «положена» с 14 лет. В правительственных кругах России царит либеральная безответственность: министра, провалившего дело, пустившего на ветер миллиарды рублей, не увольняют, а сам он, без чести и совести, не подает в отставку. Во время мировых промышленно-финансовых кризисов в западных странах цены на товары снижаются для увеличения покупательной способности населения, а в России растут. И власть не принимает никаких мер по обузданию роста цен. Сельскохозяйственное производство в основном разрушено, а ведь еще Жан Жак Руссо говорил, что без собственного продовольствия государство не может считаться независимым.

Новая власть олигархической России с удовольствием согласилась исполнять роль сырьевого полуколониального придатка Запада, поставляя ему полезные ископаемые и другое сырье. Опустошая свои недра (они конечны) ради сиюминутных выгод, власти «новой» России лишают русский народ будущего. В России процветает хрематистика (термин Аристотеля), то есть производство ради личного обогащения, а не экономика как общенародное развитие производительных сил и производственных отношений. Потому-то наука не востребована разрушенной экономикой, а молодые ученые, не видя воплощения своих идей и открытий в металле, покидают Россию. Национальный интеллект, особенно технический, за последние 25 лет упал до неприлично

низкого уровня. Новый закон о всеобщем образовании с непреложностью свидетельствует, что полностью бесплатным будет только начальное обучение, то есть умение писать и считать.

Если богатейшие транскорпорации, не афишируя, отчисляют средства для уменьшения народонаселения планеты путем рекламы и продвижения гомосексуализма в массы, то в России регуляция численности проводится на государственном уровне. В поселках и районных центрах закрываются фельдшерские пункты, больницы, роддома под прикрытием более качественной медицинской помощи. Что испытывает роженица первого ребенка, трясясь по российским дорогам на долгих километрах пути в так называемые перинатальные центры? Министерство здравоохранения это мало интересует.

Перечень либеральных попущений в России бесконечен.

Упования на то, что свободный рынок сделает людей счастливыми за счет саморегулиции производственных и финансовых отношений, не срабатывают. Смена «курса» привела прежде всего к утрате общественно-государственной цели – строительству социализма, а без нее жизнь для многих потеряла смысл. Да и сама цель существования нынешней России испарилась над либеральным костром. Капиталистический каток **раздавил** русскую культуру и самобытность народа, его совесть и единение, внятную идеологию, экономическую, продовольственную, военную, культурную, научную и прочие безопасности.

Леонтьев предвидел и такой результат «буржуазной всеобщей мерзости» для России, и утверждал, что люди не станут дорожить таким государством. Тем, что «не дает им *особой* жизни и не освящено в их глазах *особыми идеалами*, преимущественно религиозными». Спросите сейчас гражданина РФ, отдаст ли он жизнь за сохранение богатств Абрамовича? Ответ очевиден!

Кто-то сейчас скажет, что жизнь стала налаживаться, что число автомашин в личном пользовании увеличилось в разы за последние 20 лет,

что вертикаль власти укрепилась. Да, либерально-демократические «органы» власти даже приумножились, если не сказать больше – они разрослись в гипертрофированных чудищ, пожирающих у народа остатки энергии и денег. Отсиживают время в прекрасно оборудованных кабинетах министерств, комитетов, агентств многочисленные и послушные сотрудники и их суровые начальники, заседают две палаты парламента, члены которого важно надувают пышные, буржуазные щеки, и еще тысячи муниципалитетов, городских дум и районных «думок». Даже эта внешняя витиеватость и кажущаяся многомудрость либеральной власти замечательно предсказана Константином Леонтьевым:

«Сложность машин, сложность администрации, судебных порядков, сложность потребностей в больших городах, сложность действий и влияние газетного и книжного мира (140 лет назад еще не было в ходу слова «пиар». – *М. Ч.*), сложность в приемах самой науки – все это не есть опровержение мне. Это всего лишь орудия смешения – это исполинская толчея, всех и вся толкущая в одной ступе псевдогуманной пошлости и прозы; все это сложный алгебраический прием, стремящийся привести всех и все к одному знаменателю. Приемы эгалитарного прогресса – сложны, цель груба, проста по мысли, по идеалу, по влиянию и т. п. Цель всего – средний человек; буржуа спокойный среди миллионов точно таких же средних людей, тоже покойных».

Между тем сцены эпилога драмы мировой истории продолжаются: в XX веке закончилась эра гуманизма, наступила эпоха постмодернизма (термин, введенный А. Тойнби, поддержавшим через 60 лет историософскую гипотезу Леонтьева). Постмодернизм – это отказ от поисков цели и смысла во всех сферах жизни, смешение добра и зла, веры и безверия, света и тьмы. Ничего национально-обособленного, все только общечеловеческое без этнических и эстетических пристрастий, без идеологии, управляющей каждым индивидуалистом. В моде все только типовое: мышление, образ жизни, походка, прическа, жажда денег и славы любой ценой. Вот оно «вторичное смесительное упрощение», вот причина «по-

хожести» людей всего земного шара независимо от цвета кожи, национальной и половой принадлежности.

На планете Земля установился «мир потребления» с мощнейшей информационной базой, доводящей до жителя любого глухого уголка земли, что у него есть права приобрести то-то и то-то. Пробуждается тщеславие, житель встает и идет «качать» свои права, требуя то-то и то-то, а ему отвечают: давай деньги. Где их взять? Образования и знаний мало, работы мало, да и она не совсем денежная. Житель берет нож (ружье), объединяется с другими, подобными ему, и выходит на большую дорогу. Какое уж тут счастье, обещанное либералами. Даже дети (ученики) вовлечены в этот процесс. Они избивают учителей за низкую оценку, а то берут в руки ружье и расстреливают «виновного» учителя. В мире потребления врага найти очень легко.

Потребление неразрывно связано с нежеланием работать и созидать! А это уже глобальная примета конца современной либеральной цивилизации. Вспомним Римскую империю. Патриции сотнями тысяч ввозили рабов со всех окраин империи, ввозили промышленные и продовольственные товары. Собственное производство падало и упало, а вместе с ним и Рим. Подобное мы видим в XXI веке в странах постиндустриальных демократий. США вывели свое производство в страны «третьего мира» с дешевой рабочей силой. Россия ввозит гастарбайтеров (дешевых рабочих) из Средней Азии.

И потому русская мировоззренческая «троица» – Семья – Труд – Родина разваливается под ударами постиндустриального движения, ювенальной юстиции, тихой сапой воцаряющейся в России, и усиливающейся борьбы либералов с Православием.

Либералов имел в виду Николай Клюев, восклицая:

Что ваши груди, ягодицы, пятки
Не случены с киркой, с лопатой, с хомутом.
В воронку адскую стремяся без оглядки,
Вы Детство и Любовь пугаете Трудом.

(1918)

К торжеству либерализма можно отнести всемирное распространение системы детского воспитания, придуманной итальянкой Марией Монтессори (1870–1952). Суть ее «изобретения» можно выразить в трех словах – «спонтанное развитие ребенка», то есть полное (100%) непринуждение ребенка к какой-нибудь деятельности. Ребенок сам должен выбирать, что он хочет, а если он не хочет что-либо делать, то пусть сидит и бездельничает, глядя на работающих детей и взрослых. Система Монтессори отрицает активную воспитывающую роль педагога. Считается, что взрослые, навязывая детям собственные зрелые установки, тормозят их естественное развитие. Так обрываются одна за другой нити традиционализма, связывающие поколения между собой, нити национально-культурных особенностей, так закладывались основы мультикультурализма, явный провал его повсеместно наблюдается в мире. Так дети всего мира стали похожи друг на друга своим внутренним содержанием. Слава Богу, что не все, но процесс оболванивания начался.

При всех имеющихся бедах России еще предстоит познать новые проявления либерализма, что идут опять же с Запада. Безработица среди молодежи, достигающая в ряде стран Евросоюза 50%, однополые браки, изгнание из лексикона слов «отец», «мать» и внедрение «родитель № 1» и «родитель № 2». По отношению же к детям будет использоваться местоимение «оно», а не «он» и «она». И даже ярое преклонение перед наукой, которую до сих пор используют как дубину в борьбе с религией, начинает гаснуть, человечеству уже достаточно пассивного знания и умения тыкать в кнопки ноутбуков, электронных тетрадей. На пороге новое единение и усреднение людей путем вживления в детский мозг чипов, с помощью которых будет закачиваться необходимая и дозированная информация.

Это ли не духовный конец света?

И тут встает другой вопрос. Смогут ли эти полуроботы и полулюди (манкурты) без души и совести управлять сложными техническими установками, технологическими процессами? Не прав ли окажется Леонтьев, говоря: «Однородное буржуазное человечество, дошедшее…

путем всеобщей, всемировой, однородной цивилизации до такого же однообразия, в котором находятся дикие племена, – такое человечество или задохнется от рациональной тоски и начнет принимать искусственные меры к вымиранию (например, стоит только приучить всех женщин перед совокуплением впрыскивать известные жидкости и они все перестанут рожать…); или начнутся *последние* междоусобия, предсказанные Евангелием (*я лично в это верю*); или от неосторожного и смелого обращения с химией и физикой люди, увлеченные оргией изобретений и открытий, сделают, наконец, такую исполинскую физическую ошибку, что и "воздух, как свиток совьется", и "сами они начнут гибнуть тысячами"…».

Что-то до боли знакомое видится среди этих вещих строк. Вспоминается «золотой миллиард», гомосексуализм, регулирующий численность населения планеты, бездетные пары, все большая зависимость человека от технических достижений, сбой в работе которой может действительно привести к катастрофе планетарного значения.

5

Вернемся, однако, в более близкое будущее. «Спасаемся ли мы государственно и культурно? – часто спрашивал себя Леонтьев. – Заразимся ли мы столь несокрушимой в духе своем китайской государственностью и могучим, мистическим настроением Индии? Соединим ли мы эту китайскую государственность с индийской религиозностью и, *подчиняя им европейский социализм,* – сумеем ли мы постепенно образовывать *новые общественные прочные группы* и расслоить общество на новые *горизонтальные слои* – или нет? – Вот в чем дело! Если же нет, то мы поставлены в такое центральное положение именно только для того, чтобы окончательно смешавши *всех и вся*, написать последнее *"мани-текель-фарес!"* на здании всемирного Государства… *Окончить историю – погубив* человечество; разлитием всемирного равенства и распространением всемирной свободы сделать

жизнь человеческую на земном шаре – уже совсем невозможной. – *Ибо ни новых диких племен, ни старых уснувших культурных миров тогда уже на земле не будет».*

Слова «мани», «текел», «фарес» взяты с небольшими искажениями из «Книги пророка Даниила» и адресованы, согласно Даниилу, царю Валтасару, пившему вино из священной посуды и не воздавшему за то хвалу Богу. Главное из них «Мене», и означает оно следующее: «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Никто не знает: исчислил ли Бог срок земной цивилизации в нынешнем ее неприглядном виде. И вот проявилась еще одна примета конца истории – главенство одной культуры над всем миром. Теперь на Земле есть «незаменимая нация», проповедник американского образа жизни, культуры и единообразного взгляда на мир. В XXI веке уже не русские занимают центральное положение в мировой истории, а американцы. Именно им уготовано написать последние слова «мани – текель – фарес».

И потому надежду на сохранение человеческой цивилизации надо связывать с самобытной культурой Китая да и с развитой его экономикой, одевающей, обувающей, кормящей половину населения земного шара. Конечно, высоколобый и либеральный европеец поморщится от такого утверждения, но он сам виноват в падении своей германороманской культуры.

Да и Россия в XXI веке без Украины, Белоруссии, Молдавии, Закавказья, Средней Азии и Казахстана, то есть без «иноверческих и драгоценных» окраин, а главное **с либеральным направлением ума и деятельности, прежде всех** может услышать зловещие слова «мене, текел, перес». Как бы ни копировала Россия западные либеральные ценности, как бы ни преуспевала в этом, для Запада она остается врагом № 1. Доказательством тому служит и 300-летняя история взаимоотношений с Западом, и последние события с Крымом. Чтобы сохранить свою государственность и суверенитет, России надо срочно перекатить свой вагон из западного эшелона в восточный, точнее, китайский. И сделать это демонстративно и откровенно, заключив самый

тесный Союз, какого, может быть, и не было в истории. Надо, наконец-то, прислушаться к советам Константина Николаевича Леонтьева.

* * *

В настоящее время тысячи прорицателей предрекают конец человеческой истории. Но если в устах Леонтьева конец ее воспринимался как трагедия, то устами местечковых оракулов чаще всего шевелит фарс. Попробуйте стать тем, кто на самом деле первый.

Мы уже называли имя нобелевского лауреата Конрада Лоренца, сказавшего: «Человек слишком глуп, чтобы выжить». Теперь до России дошли пророчества другого лауреата премии Нобеля – бельгийского биохимика Кристиана де Дюв. Они звучат так: «Именно мы, люди, виноваты в том, что происходит. В погоне за улучшением условий жизни мы создали такую ситуацию, когда наше будущее находится под угрозой».

Вторичность несет в себе дух подражательства.

150 лет назад Леонтьев первым поплыл против течения общественной мысли, утверждавшей, что свобода, равенство и братство принесут человеку счастье. И где оно? – спросим мы, подобно Леонтьеву. Ответ оставим каждому, кто прочтет эту книгу.

* * *

Да, почти по всем вопросам, мучающим нас в XXI веке, можно найти ответы в публицистических статьях К. Леонтьева.

Уже в январе 1991 года в Калуге состоялась научно-философская и литературно-публицистическая конференция, приуроченная к 160-летию со дня рождения Константина Леонтьева. Тон глубокому обсуждению наследия Леонтьева задала группа студентов философского факультета Московского университета. Леонтьев оказался нужен и интересен молодому российскому гражданину и личной судьбой, и сбывающимися пророчествами, и оригинальными приемами философствования.

Он стал интересен тем российским читателям, что стремятся понять изломанную судьбу России, оценить и представить ее будущее, судьбу русской культуры и противоречия либерально-демократических свобод. Он интересен тем, кто связывает себя с цельной и неделимой историей России и знаменитыми, яркими личностями: Александром Невским, Сергием Радонежским, протопопом Аввакумом, Михаилом Ломоносовым, Александром Пушкиным, Сергеем Есениным, Валентином Распутиным.

Толкнулась русская душа к Леонтьеву, почуяла правду в его мыслях, и в 90-е годы XX столетия годы вышли и выходят до сих пор десятки книг Константина Леонтьева многотысячными тиражами: «Записки отшельника» (1992), «Избранные письма» (1993), «Восток, Россия и славянство» (1996; 2007), «Полное собрание сочинений и писем» в 12 томах (с 2000 г. – издание продолжается), «Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты. 1865–1872» (2003), «К. Н. Леонтьев: Pro et contra» (1995) в 2-х томах и многие другие.

Читайте его труды, рассуждайте и набирайтесь ума.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА

(по старому стилю)

1831, 13 января – В сельце Кудинове Мещовского уезда Калужской губернии родился Константин Николаевич Леонтьев.

1841 – Определяется в гимназию города Смоленска, живет у дяди В. П. Карабанова.

1842 – Со смертью дяди уходит из гимназии и возвращается в Кудиново.

1843 – Уезжает с матерью в Санкт-Петербург и 5 сентября записывается кадетом в Дворянский полк.

1844, 6 октября – Увольняется из полка по болезни.

1844–1849 – Обучение в Калужской гимназии.

1849 – Поступление в Ярославский Демидовский лицей и перевод в том же году на медицинский факультет Московского университета.

1851 – Создано первое литературное произведение – комедия «Женитьба по любви». Знакомство с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Посещение литературного салона графини Е. В. Салиас-де-Турнемир (Евгении Тур), знакомство с Т. Н. Грановским, М. Н. Катковым, А. В. Сухово-Кобылиным и др.

1854 – В «Московских ведомостях» опубликована без указания авторства повесть «Благодарность».

18 мая – Сдает экзамен на звание лекаря и добровольцем уходит на Крымскую войну.

1854–1857 – Работа в лазаретах действующей Крымской армии, участие в боевых действиях, знакомство с будущей женой (Е. П. Политовой), служба лекарем в усадьбе И. Н. Шатилова.

1855 – Опубликована в «Отечественных записках» повесть «Лето на хуторе».

1857 – В «Московских ведомостях» появился очерк «Ночь на пчельнике».

сентябрь – Возвращается из Крыма в Кудиново.

декабрь – Отъезд в Москву на поиски работы.

1858 – В «Отечественных записках» вышел в свет рассказ «Сутки в ауле Биюк-Дортэ».

1858–1860 – Служба лекарем в имениях баронессы М. Ф. Розен и статского советника А. Х. Штевена в Арзамасском уезде Нижегородской губернии.

1859 – В «Отечественных записках» появляется первый критический очерк К. Леонтьева «Письмо провинциала к Тургеневу».

1860, февраль – Возвращение в Кудиново. Публикация повести «Второй брак» («Библиотека для чтения»).

декабрь – Приезд в Санкт-Петербург. Знакомство с Н. Н. Страховым, Аполлоном Григорьевым, В. Крестовским.

1861 – Изданы в «Отечественных записках» роман «Подлипки» и очерк «О сочинениях Марко Вовчка». Женитьба в Крыму на Елизавете Политовой, дочери греческого торговца.

1863, февраль – Экзамен на право замещения государственной должности в Министерстве иностранных дел, служба в Петербурге.

25 октября – Служба секретарем и драгоманом консульства на острове Крит.

1863–1872 – Вице-консул, консул в городах Адрианополе (Эдирне), Тульче, Янине, Салониках Оттоманской империи.

1864 – Вышел в свет роман «В своем краю».

1867 – Издана в «Отечественных записках» повесть «Ай-Бурун» («Исповедь мужа»).

1868 – Выход в свет восточных рассказов: «Хризо», «Пембе», «Хамид и Маноли», «Поликар и Костаки» в «Русском вестнике».

1869 – Написана статья «Грамотность и народность».

1871 – Смерть матери.

1871 – Заболевание холерой и мистическое выздоровление перед иконой Богородицы, обет пострижения в монахи, духовный переворот в жизни и творчестве, сожжение рукописи «Река времен».

1871, 24 октября – Подача прошения об освобождении с дипломатической службы.

1871–1872 – Жизнь среди монахов на Афоне.

1873, 1 января – Увольнение с дипломатической службы.

1872–1873 – Жизнь на острове Халки близ Константинополя. Создан основной историософский труд «Византизм и славянство». Написаны статьи «Панславизм и греки» и «Панславизм на Афоне».

1874–1875 – Возвращение в Россию, послушничество в Николо-Угрешской обители под Москвой.

1875 – Приезд в Кудиново.

Начало публикации в «Русском вестнике» романа «Воспоминания Одиссея Полихрониадеса, загорского грека».

1876 – Выход в свет книги «Из жизни христиан в Турции» в 3-х томах.

1875–1879 – Творческое отшельничество в родовом Кудинове с наездами в Оптину пустынь и Москву. Публикации философско-политических статей в «Русском вестнике», «Московских ведомостях», «Гражданине».

1878 – Знакомство с Владимиром Сергеевичем Соловьевым.

1880 – Помощник редактора в газете «Варшавский дневник».

декабрь – Начало службы в Московском цензурном комитете,

1881–1882 – В «Русском вестнике» издан роман «Египетский голубь».

1885–1886 – Выход книги статей «Восток, Россия и славянство» в двух томах.

1887, февраль-май – Оформление государственной пенсии.

1887–1891 – Жизнь возле Оптиной пустыни, издание цикла статей «Записки отшельника» и других.

1891 – Заочное знакомство и переписка с В. В. Розановым. Тайный постриг в Шамординской обители под именем Климент.

август – Переезд из Оптиной пустыни в Троице-Сергиеву лавру. Крупозное воспаление легких.

12 ноября 1891 г. в 10 часов утра К. Н. Леонтьев умер.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Астафьев Петр Евгеньевич (1846–1893) – юрист и философ. В философии исследовал проблему развития и психологического состояния общества, «женский вопрос» и другие. Непримиримый оппонент Леонтьева в национальном вопросе *127, 428–430, 436, 449, 455, 469–470, 482, 511–517*

Авсеенко Василий Григорьевич (1842–1913) – историк, критик и романист, публиковавший в 1870–1880-х годах в «Русском вестнике» обширные великосветские и обличительные романы: «Скрежет зубовный», «Злой дух», «Млечный путь», они раздражали Леонтьева своей малой художественностью *377–378*

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) – известный публицист и издатель славянофильского направления. Главный редактор газет: «День» (1861–1865), «Москва» (1867–1868), «Русь» (1880–1886) *128–129, 183–185, 198, 214, 258, 304, 306–307, 342, 354, 356, 357–358, 362, 411–412, 427, 457, 485, 489, 542, 544–549, 591*

Александров Анатолий Александрович (1861–1930) – филолог, поэт, приват-доцент Московского университета. Посещал «астафьевские пятницы» как студент историко-филологического факультета МГУ, где познакомился в 1884 г. с Леонтьевым. Был редактором «Русского обозрения» (1892–1898), опубликовал там ряд материалов, посвященных К. Н. Леонтьеву *267, 274, 430, 439, 461, 467–469, 480, , 487–488, 579–580, 582–583, 587, 590*

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) – русский философ. С 1922 г. в эмиграции (Берлин, Париж). Один из идеологов «нового религиозного сознания», сутью которого был ярко выраженный христианский персонализм, осознание христианства как религии свободы, чаяние Третьего Завета и Царства Святого Духа *305*

Берг Федор Николаевич (1839–1909) – поэт, переводчик, публицист, редактор журналов «Нива» и «Русский вестник» *244, 396, 399–400, 427*

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) – религиозный философ и богослов, с 1918 г. священник *327, 568, 577, 593–594*

Гагарин Константин Дмитриевич (1821–1915) – государственный деятель, заместитель губернатора Калужской губернии (1873–1875), товарищ министра внутренних дел у министра Д. А. Толстого. Князь Гагарин считал себя учеником К. Н. Леонтьева *253, 396, 482–485, 488, 548, 596*

Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (1850–1896) – литературный критик, с 1889 г. регулярно печатался в «Московских ведомостях», где обличал либерализм и западников. Особенно резко он критиковал Вл. С. Соловьева и бывшего своего друга народовольца Н. К. Михайловского. Он считал, что главный порок русской действительности (и литературы) – отрыв от Православия и откровенный атеизм *468, 516, 540, 568–571, 579*

Голохвастов Павел Дмитриевич (1839–1892) – историк, общественный деятель, славянофил, крупный землевладелец. Печатался в газетах, издаваемых И. С. Аксаковым, и в «Русском архиве» *354, 358–359, 547*

Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) – выдающийся критик славянофильского направления. Поэт. Противостоял Н. Г. Чернышевскому, Н. А. Добролюбову и Д. И. Писареву. Сотрудничал в журналах «Москвитянин», «Время», «Русская беседа», «Библиотека для чтения», «Якорь» *129, 139, 142–146, 155, 158–160, 183, 242, 314, 355, 538, 551, 619*

Грингмут Владимир Андреевич (1851–1907) – публицист, пдагог, общественный деятель консервативного направления. Преподавал греческий язык в Катковском лицее, где позже стал директором. В 1905 г. основал Монархическую партию и выступал против конституционного строя *468, 473, 516, 540, 569, 579*

Губастов Константин Аркадьевич (1845–1913) – близкий друг и сослуживец Леонтьева по дипломатической работе в Турции, под конец службы – товарищ министра иностранных дел России *211, 223–225, 232–233, 236, 244, 251, 271, 296, 337, 339, 359–360, 366–369, 382–383, 386, 388–391, 394, 396,*

398–399, 414, 418–419, 421, 423, 425, 429, 431–434, 436–437, 444, 455–456, 469, 483, 487–491, 509, 590

Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) – публицист, философ, естествоиспытатель, антидарвинист и пратический деятель народного хозяйства. Главный труд «Россия и Европа» (1869) посвящен философии мировой истории *126, 151, 240, 303, 306–311, 315, –316, 334, 336, 445, 447, 489, 494, 496, 499, 534*

Замараев Григорий Иванович (1860–1902) – один из членов юношеского кружка, сложившегося вокруг К. Н. Леонтьева. Литератор и чиновник. Автор статьи о Леонтьеве «Памяти К. Н. Леонтьева» *429–430, 438, 468, 569*

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) – профессор философии МГУ (1845–1851). Редактор журнала «Русский Вестник» (с 1856 г.) и газеты «Московские ведомости» (с 1863 г.). Придерживался до польского восстания (1863–1864) либеральных взглядов, после занял охранительную позицию. Один из главных идеологов царствования Александра III *52, 54–55, 60, 129, 199, 221–222, 235–236, 292,, 294, 297–298, 300, 303–304, 312, 337–344, 353–354, 357, 359, 362–363, 365, 372, 376, 378, 385, 393, 396–397, 400, 404, 407, 412, 416–417, 423, 428, 438, 443, 486, 489, 516, 527, 541, 548–549, 551, 569, 576, 618*

Краевский Андрей Александрович (1810–1889) – редактор-издатель журнала «Отечественные записки» (1839–1884), либеральной газеты «Голос» (1863–1884) *51, 54–55, 58–59, 139, 159, 221*

Марков Евгений Львович (1835–1903) – писатель, публицист и земский деятель. Его статьи в либеральной газете «Голос», издаваемой А. А. Краевским, имели шумный успех. Он один из первых, кто оценил талант Л. Н. Толстого *379*

Новикова Ольга Алексеевна (1840–1925) – общественная деятельница и журналистка из семьи известных славянофилов Киреевых. Большую часть жизни провела в Англии, издала несколько книг на английском языке в защиту России *235, 462, 510, 548, 570*

Пазухин Алексей Дмитриевич (1845–1891) – государственный деятель в Министерстве внутренних дел, возглавляемого гр. Д. А. Толстым. Консерватив-

ные идеи Пазухина, высказанные в статье «Современное состояние России и сословный вопрос» (1886), стали основой внутренней политики Российской империи до 1891 г. *484, 489, 530, 489, 530, 553, 560*

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) – один из первых славянофилов, известный историк и писатель, автор знаменитой исторической драмы «Марфа Посадница» *320, 342, 354–356, 359, 380*

Поселялин (настоящая фамилия Погожев) *Евгений Николаевич* (1870–1931) – публицист и церковный писатель. Его перу принадлежит статья «К. Леонтьев и Оптина пустынь». Расстрелян в 1931 г. *269, 427, 468, 471, 492–493, 543–544, 574–575, 579, 582, 585, 590*

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) – известнейший писатель, литературный критик, журналист и философ. Учитель провинциальных гимназий. По рекомендации Леонтьева поступил на службу в Государственный контроль к Т. Филиппову. Отличался непостоянством своих общественно-политических взглядов. Много сделал для популяризации идей К. Н. Леонтьева *106, 190, 263, 265–267, 375, 427, 440, 452, 458, 462–464, 471, 488, 510, 534, 540, 549, 554, 558–565, 568, 573–574, 576–580, 590, 620*

Соловьев Всеволод Сергеевич (1849–1903) – сын историка С. М. Соловьева, старший брат Владимира. По образованию юрист. Автор исторических романов, пользовавшихся широким успехом. Среди всего семейства Соловьевых остался единственным монархистом и православным, близким к о. Иоанну Кронштадскому *163, 197, 378, 396, 540*

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – религиозный философ, либеральный публицист, поэт, автор идеи объединения католической и православной Церквей. Под конец жизни разочаровался в либерально-демократическом прогрессе и по сути пришел к пониманию идей Леонтьева в этой части *127, 295, 309, 313, 315, 319, 327, 378, 396, 445, 456, 482, 489, 494–502, 505, 507, 510, 516–518, 522, 534–535, 540, 560, 580–581, 593–594, 620*

Соловьев Николай Яковлевич (1845–1898) – драматург. Случайная встреча его с Леонтьевым в Угреши определила всю его дальнейшую жизнь. Прочтя пьесу Соловьева «Женитьба Белугина», Леонтьев сблизил его с А. Н. Остров-

ским, который помог ему в отделке пьес и выходу их на сцену, где они шли с большим успехом *379, 435, 465, 540*

Страхов Николай Николаевич (1828–1895) – видный консервативный критик и публицист, философ. Редактор журналов «Время», «Заря» *139–140, 152, 160–161, 175, 199, 221, 235, 242–246, 249–250, 306–307, 338, 383, 462, 471, 619*

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) – политический деятель, философ, экономист, историк, академик РАН (1917–1928). Умер в эмиграции *593–594*

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) – участник народнического движения, член исполкома «Народной воли», эмигрировал за границу, раскаялся в революционной деятельности, вернулся в Россию в 1889 г. Стал публицистом-консерватором, опубликовал в «Русском обозрении» (1894, № 10) статью «Русские идеалы и К. Н. Леонтьев» *119–120, 177, 268–269, 303, 342, 466, 511, 569–572, 579, 590, 607*

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), граф, обер-прокурор Святейшего Синода (1865–1880), министр народного просвещения (1886–1880), министр внутренних дел (1882–1889), Президент Петербургской академии наук (1882–1889) *484–485, 548*

Трифон (Борис Туркестанов), иеромонах – родом из знатной княжеской семьи, в 1887 г. по благословлению родителей поступил послушником к старцу Амвросию в Оптину пустынь, где и познакомился с Леонтьевым. Был епископом Дмитровским, в годы Первой мировой войны полковым священником, затем – архиепископом и митрополитом (1931) *471, 509, 582, 584*

Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905) – русский религиозный философ, приверженец «конкретного идеализма», последователь Вл. Соловьева, автор работ по истории античной философии *341, 590, 594*

Тур Евгения (Салиас де Турнемир, девичья фамилия Сухово-Кобылина) Васильевна (1815–1892) – русская писательница, в последние годы писала историческую прозу для детей *48, 51, 53–54, 78, 104–105, 223, 483, 585, 618*

Тютчев Федор Иванович (1803–1873) – поэт, философ и публицист славянофильского направления. Автор книг по философии истории: «Россия и Гер-

мания», «Россия и революция», «Россия и Запад» *63, 122, 302–303, 314, 331, 489, 493, 544, 551*

Феоктистов Евгений Михайлович (1829–1898) – литератор и государственный деятель, начальник главного управления по делам печати (1883–1896). Был редактором «Журнала Министерства народного просвещения» *55, 221, 483*

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – религиозный философ, один из основоположников славянофильства *125, 127–129, 282, 303, 545*

Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1783–1867) – митрополит, крупный церковный и общественный деятель, составлял манифест 1861 г. об освобождении крестьян *440, 456, 458, 545*

Филиппов Тертий Иванович (1825–1899) – государственный и общественный деятель, писатель на богословские темы. Исповедовал славянофильство, русским идеалом считал церковный строй жизни допетровского времени. Один из первых показал художественное значение народных преданий и песен. Служил в Синоде и Государственном контроле, где достиг министерского поста. Верный покровитель и товарищ К. Н. Леонтьева *348, 366, 396–397, 399, 411, 413, 472, 482, 488, 490, 572, 590*

Флоренский Павел Александрович (1882–1937) – философ религии и культуры, математик и физик, доктор богословия. Расстрелян в 1937 г. на Соловках *566–568*

Фудель Иосиф Иванович (1864–1918) – православный священник, публицист, издатель сочинений К. Н. Леонтьева в 1912 г. (вышло 9 томов). Мать – польская католичка, отец – православный немец. По образованию юрист, служил в Московском окружном суде, по благословлению о. Амвросия бросил службу и был рукоположен священником в Белосток, далее – Московский период духовнической деятельности *109, 353, 397, 468, 471–482, 488, 495–496, 503–504, 507–508, 514, 516, 518, 536, 539, 548, 555, 567, 571, 575, 579, 584, 586–590, 593*

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания сочинений К. Н. Леонтьева

К. Н. Леонтьев. Собрание сочинений. В 9 т. Редакция, вступления, примечания о. И. Фуделя (т. X–XII изданы не были).

1912: т. I–VI, VIII, типография В. М. Саблина, М.

1913: т. VII, издательство «Деятель», СПб; т. IX там же, дата опубликования не указана.

К. Н. Леонтьев. Полное собрание сочинений и писем. В 12 т. СПб.: Изд. «Владимир Даль», 2000 – издание продолжается.

Константин Леонтьев. Восток, Россия и славянство. М.: Эксмо, 2007.

Константин Николаевич Леонтьев. Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты. 1865–1872. М.: Росспэн, 2003.

Константин Леонтьев. Избранные письма. 1854–1891. СПб.: «Пушкинский фонд», 1993.

Константин Леонтьев. Избранное. М.: «Московский рабочий», 1993.

Константин Леонтьев. Записки отшельника. М.: Русская книга, 1992.

Константин Леонтьев. Славянофильство и грядущие судьбы России. М.: Институт русской цивилизации, 2010.

Литература

1. Библия. 2 тома. Библейские комиссии «Духовное просвещение». 1991.

2. Большая Советская Энциклопедия. В 30 т. М.: Изд. «Советская Энциклопедия», 1970–1978.

3. Большая Российская Энциклопедия. В 20 т. М.: Изд. «Большая Российская Энциклопедия», 2004–2012.

4. Знаменитые россияне XVIII–XIX веков. Биографии и портреты. СПб.: Лениздат, 1996.

5. П. В. Алексеев. Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды. М., 2002.

6. Политология. Энциклопедический словарь. М.,1993.

7. Славянофильство. PRO ET CONTRA. Изд. Санкт-Петербургского университета, 2009.

8. К. Н. Леонтьев: PRO ET CONTRA. Антология. В 2 т. СПб.: Изд. Русского Христианского гуманитарного института, 1995.

Содержание:

Т. 1:

Ю. Н. Говоруха-Отрок. Несколько слов по поводу кончины К. Н. Леонтьева;
Вл. С. Соловьев. Памяти К. Н. Леонтьева;
В. В. Розанов. Эстетическое понимание истории;
С. Н. Трубецкой. Разочарованный славянофил;
Свящ. И. Фудель. Культурный идеал К. Н. Леонтьева;
Евгений Поселянин. Леонтьев. Воспоминания;
Г. И. Замараев. Памяти К. Н. Леонтьева;
Н. А. Бердяев. К. Леонтьев – философ реакционной романтики;
С. Л. Франк. Миросозерцание Константина Леонтьева;
Д. С. Мережковский. Страшное дитя;
Прот. И. Фудель. Судьба К. Н. Леонтьева;
В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева;
А. Г. Закржевский. Литературные впечатления;
Ф. Ф. Куклярский. К. Леонтьев и Фр. Ницше как предатели человека;
Б. А. Грифцов. Судьба К. Н. Леонтьева;
А. А. Александров. Памяти К. Н. Леонтьева;
С. Н. Булгаков. Победитель – Побежденный;
Свящ. И. Фудель. К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях;
В. В. Розанов. О Константине Леонтьеве.

Том 2:

Л. А.Тихомиров. Тени прошлого. К. Н. Леонтьев;
Н. А. Бердяев. Константин Леонтьев (очерк из истории русской религиозной мысли);
П. Б. Струве. Константин Леонтьев;

Георгий Иванов. Страх перед жизнью. Константин Леонтьев и современность;

Свящ. Кирилл Зайцев. Любовь и страх (памяти Константина Леонтьева);

Ю. П. Иваск. Константин Леонтьев (1831–1891). Жизнь и творчество.

9. Николай Данилевский. Россия и Европа. М.: «Терра», 2008.

10. О. Л. Фетисенко. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб.: Пушкинский дом, 2012.

11. Д. М. Володихин. Высокомерный странник. Философия и жизнь Константина Леонтьева. М., 2000.

12. Русская социально-политическая мысль XIX – начала XX века. К. Н. Леонтьев. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2000.

13. В. И. Косик. Константин Леонтьев: размышления на славянскую тему. М., 1997.

14. Р. А. Гоголев. Ангельский доктор русской истории. Серия «АИРО – первая монография». М., 2007.

15. К. М. Долгов. Восхождение на Афон. Жизнь и миросозерцание Константина Леонтьева. М.: Изд. «Отчий дом», 2008.

16. Иеромонах Ераст (Вытропский). Историческое описание Козельской Оптиной пустыни и Предтечева скита (Калужской губернии). Свято-Введенская Оптина пустынь, 2005.

17. Зоя Афанасьева. По этим стертым оптинским ступеням… Оптина пустынь: люди и судьбы. М., 2009.

18. Казанская Амвросиевская женская пустынь и ее основатель Оптинский старец иеросхимонах Амвросий. Шамордино., 2006.

19. Монах Арсений (Святогорский). К нам на помощь. Из сочинений Константина Леонтьева.

20. Н. А. Бердяев. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Философия свободного духа. М., 1994.

21. Н. А. Добролюбов. Стихотворения. Рассказы. Дневники. Г.: Волго-Вятское книжное издательство, 1986.

22. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд. Т. 38.

23. Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30 т. Л., 1984.

24. Дронов И. Сильный, державный. Жизнь и царствование Александра III. М.: ИИПК «Ихтиос», 2006.

25. Николай Гоголь. Из писем В. А. Жуковскому // Библиотека паломника. М., 1999.

26. Князь Мещерский. Воспоминания. М.: Изд. «Захаров», 2001.

27. Князь Мещерский. Гражданин консерватор. М.: ИИПК «Ихтиос», 2005.

28. Н. А. Некрасов. Собрание сочинений. В 8 т. М.: «Художественная литература», 1965. С.162.

29. П. А. Милюков. Энциклопедия русской православной культуры. М., 2009.

30. А. А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. М.: Изд. «Правда», 1989.

31. Борис Могилевский. Охотники за истиной. Жизнь Пирогова. М.: Изд. «Д.Л.», 1968.

32. А. И. Герцен. Былое и думы. М.: Изд. «Д.Л.», 1976.

33. Ф. И. Тютчев. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М.: Изд. «Правда», 1988.

34. Федор Тютчев. Россия и Запад. М.: Институт русской цивилизации, 2011.

35. Стефан Цвейг. Собрание сочинений. В 9 т. М.: Библиосфера, 1996.

36. И. А. Бунин. Собрание сочинений. В 9 т. М.: Изд. «Художественная литература», 1966.

37. М. Горький. Собрание сочинений. В 16 т. М.: Изд. «Правда», 1979.

38. С. Н. Пушкин. Историософия русского консерватизма XIX века. Нижний Новгород, 1998.

39. Н. А. Бенедиктов, С. Н. Пушкин, Л. Е. Шапошников, Е. Н. Шаталин. Философия истории в России – XIX век. Нижний Новгород, 1994.

40. Н. А. Бенедиктов. Русские святыни. М.: Алгоритм, 2003.

41. Письма Святогорца к друзьям своим о Святой Горе Афонской. «Отчий дом». М., 2007.

42. Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Апокалипсис мелкого греха. М.: Атлас-пресс, 2002.

43. Митрополит Филарет. Наш век. Творения митрополита Московского и Коломенского Филарета. М., 1994.

44. Б. Н.Тарасов. Тайна человека и тайна истории. СПб., 2012.

45. В. В. Розанов. Собрание сочинений. В 16 т. М., 1994–2005.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. **Нежное молоко матери** 5
Глава 1. Родители 5
Глава 2. Комната, формирующая сознание 16
Глава 3. Выбор пути 27
Глава 4. Университет 35
Глава 5. Тургеневские уроки 48
Часть II. **Первичная простота** 63
Глава 1. Крым. Год первый 63
Глава 2. Крым. Год второй 77
Глава 3. Крым. Год третий 89
Глава 4. Крым. Год четвертый 95
Глава 5. Последние врачебные тайны 102
Часть III. **Безвестность** 121
Глава 1. Славянофилы и западники 121
Глава 2. Неоцененные мысли 130
Глава 3. «Подлипки» и другие 146
Глава 4. Эстетика теории и жизни 168
Глава 5. Азиатский департамент 182
Часть IV. **По городам и весям Османской империи** 190
Глава 1. Крит 190
Глава 2. Адрианополь 202
Глава 3. «Исповедь мужа» 212
Глава 4. Тульча 222
Глава 5. Янина 236
Глава 6. Салоники 255

Часть V. **Византизм и славянство** 263
Глава 1. Перелом 263
Глава 2. Афон 276
Глава 3. Царьград 296
Глава 4. Самобытный взгляд на историю 312
Часть VI. **Страдания** 337
Глава 1. Неприветливая Москва 337
Глава 2. Ужасная исповедь 361
Глава 3. Женские прелести 380
Глава 4. «Варшавский дневник» 395
Глава 5. Цензор российский 418
Часть VII. **Утешение** 433
Глава 1. Домочадцы 433
Глава 2. «Египетский голубь» 441
Глава 3. «Восток, Россия и славянство» 451
Глава 4. Молодые друзья 464
Глава 5. Любимый ученик 472
Глава 6. Оптина пустынь 482
Часть VIII. **Цветущая сложность** 503
Глава 1. Национализм и культура 503
Глава 2. Имперский геополитик 518
Глава 3. Эсхатологические построения 530
Глава 4. О литературе и литераторах 540
Глава 5. Постриг и уход 572
Послесловие 587
И что сбылось и не сбылось 587
Основные даты жизни К. Н. Леонтьева 618
Указатель имен 621
Краткая библиография 627
Основные издания сочинений К. Н. Леонтьева 627
Литература 627

Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 14 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 160 томов).

Редактор Л. К. Молотилова
Корректор Ю. Н. Дородницына
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Автор М. П. Чижов, e-mail: mihailchizhov@mail.ru
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 07.10.2015 г. Формат 70 x 90 $^{1}/_{16}$.
Гарнитура «Times». Объем 30,2 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация *(вышел)*
Русское Православие в трех томах *(вышли)*
Русское государство *(вышел)*
Русский патриотизм *(вышел)*
Русское мировоззрение *(вышел)*
Русский образ жизни *(вышел)*
Русская география
Русское хозяйство *(вышел)*
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература *(вышел)*
Русская икона и религиозная живопись в двух томах *(вышли)*
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.

Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духовного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.

Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.

Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 с.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.

Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в XX веке: История экономического противостояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Открытия, 912 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПЛАТОНОВ О. А. СОБРАНИЕ ТРУДОВ В 6 ТОМАХ

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)